Н. И. КАРЕЕВ

ПРОЖИТОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ

Издательство
Ленинградского
университета

УЧЕБНАЯ КНИГА
НОВОЙ ИСТОРІИ

ИСТОРІОЛОГІЯ

ОЧЕРКИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИСТОРИИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ИСТОРІЯ ФРАНЦІИ
ВЪ XIX ВѢКѢ

ИСТОРІЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
ВЪ НОВОЕ ВРЕМЯ

ФРАНЦУЗСКИЕ
ИСТОРИКИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ
XIX ВЕКА

УЧЕБНАЯ КНИГА
ИСТОРІИ СРЕДНИХЪ ВѢКОВЪ

ОБЩІЙ КУРСЪ
ИСТОРІИ XIX ВѢКА

ВЕЛИКАЯ
ФРАНЦУЗСКАЯ
РЕВОЛЮЦІЯ

СЪ ПОРТРЕТАМИ И ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ

ИСТОРИЯ
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

ИСТОРИКИ
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

ОБЩІЙ ХОДЪ ВСЕМІРНОЙ ИСТОРІИ

ИСТОРИЯ
ВЫПУСК XVI
Н. И. Кареев
РЕВОЛЮЦИЯ И НАПОЛЕОНОВСКАЯ ЭПОХА

Н. И. КАРЕЕВ

ПРОЖИТОЕ
И ПЕРЕЖИТОЕ

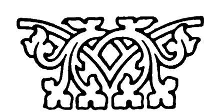


Н. Карѣевъ

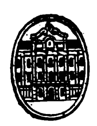
МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР

Н. И. КАРЕЕВ

ПРОЖИТОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ



*Подготовка текста,
вступительная статья
и комментарии В. П. Золотарева*



ЛЕНИНГРАД
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
1990

ББК 63.3
К22

Рецензенты: д-р ист. наук *В. Ф. Антонов* (Моск. пед. ин-т), д-р ист. наук *Л. П. Рощевская* (Сыктывкарск. ун-т).

Кареев Н. И.

К22 Прожитое и пережитое/Подготовка текста, авт. вступ. ст. и комментариев В. П. Золотарев. — Л.: Издательство Ленинградского университета, 1990. — 384 с.

ISBN 5-288-00507-9

Впервые издаваемые воспоминания выдающегося русского ученого — историка, философа, социолога и общественного деятеля Н. И. Кареева (1850—1931) отражают научную, педагогическую и общественно-политическую жизнь второй половины XIX в. и трех десятилетий XX в. в России, Франции, Германии, Польше и других странах.

Книга предназначена для историков и всех, интересующихся историей общественной мысли.

К $\frac{0502000000—144}{076(02)—90}$ 123—90 **ББК 63.3**

ISBN 5-288-00507-9

ИСТОРИК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КАРЕЕВ И ЕГО ВОСПОМИНАНИЯ «ПРОЖИТОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ»

Надобно знать, что любишь; а чтобы знать настоящее, дóлжно иметь сведения о прошедшем.

Н. М. Карамзин

Если заглянуть в многотомное издание аннотированного указателя «История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях»[1], то до обидного мало найдем мы там сведений о воспоминаниях профессиональных историков. Их не оставили ни крупнейшие отечественные историки (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, В. О. Ключевский и др.), ни выдающиеся «всеобщие историки» (Т. Н. Грановский, В. И. Герье, П. Г. Виноградов, В. П. Бузескул, Е. В. Тарле и др.). Тем более огорчительно, что немалое число мемуаров продолжает лежать в архивах. До недавнего времени там находилась и неопубликованная рукопись воспоминаний выдающегося русского ученого — историка, философа, социолога, педагога, методиста-историка и общественного деятеля, почетного члена Академии наук СССР Николая Ивановича Кареева (1850—1931) «Прожитое и пережитое». Именно ее мы и представляем сегодня на суд читателя.

---

[1] Исчерпывающие данные о мемуарах содержатся в аннотированном указателе: История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях/Под ред. П. А. Зайончковского. М., 1976—1986. Т. 1. (XV—XVIII вв.); Т. 2. Ч. 1—4 (1801—1856 гг.); Т. 3. Ч. 1—4 (1857—1894 гг.); Т. 4. Ч. 1—4 (1895—1917 гг.). — Выборочный характер носит аннотированный указатель: История советского общества в воспоминаниях современников. 1917—1957. Ч. 1—2. М., 1958—1967.

Н. И. Кареев при жизни был широко известен, его влияние на развитие отечественной и мировой историографии было огромно, он пользовался безусловным авторитетом среди российской молодежи второй половины XIX — первой четверти XX в. Но вот настало, начиная с 30-х годов, трагическое для советского народа время, и имя крупнейшего русского историка стремительно предается забвению, а его превосходные исторические исследования (даже академические издания) перестают упоминать. Однако все проходит, проходит и безвременье, и сегодня мы имеем возможность вернуть отечественной культуре ее наиболее значительных и еще совсем недавно запретных выразителей, к числу которых, безусловно, принадлежит и Н. И. Кареев.

Прежде чем дать слово самому историку, попытаемся обрисовать его жизненный путь и многообразную деятельность, кратко очертить его исторические воззрения и напомнить судьбу его мемуаров.

1

Николай Иванович Кареев родился в Москве 24 ноября (7 декабря) 1850 г. в обедневшей дворянской семье. Воспитывался и обучался он главным образом дома, так как не было средств для определения в гимназию. Как только появились малейшие материальные возможности, Николай Кареев при содействии профессора М. Я. Киттары 19 января 1865 г. был определен в 1-ю Московскую губернскую гимназию.[2]

Учился Н. Кареев блестяще. Именно в гимназии началось активное формирование его общественно-политического мировоззрения. Высшим чувством, которое владело сердцем тогдашних гимназистов, было чувство справедливости.[3] Вне всякого

---

[2] Московская 1-я гимназия, искони именовавшаяся «губернской», пользовалась хорошей репутацией, но была переполнена, так как помещалась «у Пречистенских ворот» (позже эта местность называлась Волхонкой), в лучшей и населеннейшей части города. Учитывая «переполненность» 1-й гимназии, 8 декабря 1864 г. последовало решение выделить из нее 12 параллельных отделений и образовать отдельную 5-ю семиклассную гимназию с тем, чтобы она, впредь до окончательного ее устройства, имела помещение в здании 1-й гимназии. До 1870 г. обеими гимназиями правил один директор — М. А. Малиновский. В этом же году 5-я гимназия была переведена (уже ее первым директором Н. А. Эминым) в арендуемое здание на Поварской улице. Все это объясняет, почему Н. Кареев, принятый в 1-ю (губернскую) гимназию, вскоре стал числиться уже в составе 5-й, а гимназический курс свой закончил в 1869 г. еще при М. А. Малиновском, директоре и 1-й и 5-й гимназий одновременно.

[3] Характерен случай, рассказанный учителем Кареева Егором Васильевичем Белявским. В 1-й и 5-й московских гимназиях Н. Кареев был первым учеником. Его имя было занесено на так называемую Золотую доску почета. В 1868 г. директор гимназии за что-то рассердился на своего первого ученика и приказал стереть его имя с почетной доски. Через мгновение ока оказались стертыми с доски и имена других лучших учеников. Расследова-

сомнения и то, что в становлении личности гимназиста Н. Кареева сыграло немалую роль внимательное изучение и чтение лучших (иногда запрещенных) произведений русской литературы. Кумирами Кареева-гимназиста стали Д. И. Писарев и Н. А. Добролюбов.

Много позже, уже будучи маститым ученым, Н. И. Кареев вспоминал: «Как и все у нас, и я познакомился с главными произведениями Добролюбова в ранней юности, на гимназической еще скамье... Образ молодого, вдохновенного Добролюбова так и сохранился в моей душе, но за ним, за этим духовным обликом знаменитого критика и публициста передо мною впоследствии стал вырисовываться и овладел моим воображением другой, более ранний духовный облик Добролюбова, Добролюбова-студента...»[4] Влияние Писарева и Добролюбова сказалось и на весьма рано проявившемся у Кареева стремлении писать для других. Будучи учеником 6-го класса, он создает свою первую (правда, компилятивную) работу «Краткая русская история для народных школ» (М., 1869. 54 с.).[5]

В 1869 г. Н. И. Кареев с блеском окончил гимназию и стал студентом историко-филологического факультета Московского университета.

Правил университетом его ректор — знаменитый историк С. М. Соловьев. У него Н. И. Кареев слушал лекции по русской истории. Курс всеобщей истории читали также весьма авторитетные ученые М. С. Куторга и В. И. Герье. Но влияние гимназического учителя словесности Е. В. Белявского еще продолжало сказываться: на первых курсах Кареев увлекается словесностью и приобщается к занятиям у профессора Ф. И. Буслаева.

ние предерзостного поступка оказалось безрезультатным. Тогда это щекотливое дело было поручено любимому учителю гимназистов Е. В. Белявскому. «Я вошел в класс, посмотрел на доску: на ней остались только следы размазанной желтой краски, — вспомнил много позже Белявский. — После этого я, стараясь быть спокойным, спросил: „Кто это сделал?" Тотчас же встает длинный красивый молодой человек и, с важно опущенными длинными черными ресницами, отвечает: „Это я сделал". Ученик этот был Влад. Серг. Соловьев (сын знаменитого русского историка С. М. Соловьева; сам в будущем не менее знаменитый философ. — *В. З.*), бывший вторым учеником в классе... „Зачем же вы это сделали?" — „Если Кареева стерли с золотой доски, то мы никто не желаем быть на этой доске", — последовал ответ». (Белявский Е. В. Педагогические воспоминания. 1861—1902 гг. М., 1905. С. 57.)

[4] Кареев Н. И. Н. А. Добролюбов в студенческие годы//Литературный сборник, изданный в пользу Смоленского общества взаимопомощи учащим и учившим. Смоленск, 1904. С. 94.

[5] Эта работа, несомненно, была написана Кареевым ранее, нежели «Фонетическая и графическая система древнего эллинского языка» (М., 1869), которая во всех списках его трудов значится первой. «Краткой истории...» он всю жизнь стыдился и был несказанно рад, что наборщик исказил его фамилию (вместо Кареев набрал Кажеев). В этом он покаялся лишь на своем юбилее 14 июня 1923 г.

Однако постепенно он все большее предпочтение отдает социологии, философии истории, а затем накрепко связывает себя с историей зарубежных стран. Думается, что на эволюцию интересов студента Кареева прямое влияние оказала российская действительность тех лет, которая властно диктовала свою волю всем, кто был воспитан на идеалах русских революционных демократов, кто видел страдание народа, сочувствовал ему и стремился помочь. Хотя крепостное право было уже отменено, многие, и в том числе студент Кареев, понимали, что крестьянский вопрос в России не был решен. Поэтому вполне закономерно, что Н. Кареев на четвертом году обучения в университете определяет тему своих научных изысканий — французские крестьяне позднего средневековья (по Артуру Юнгу[6]), которым он и посвятил свое кандидатское сочинение, а затем (правда, в иных хронологических рамках) и магистерскую диссертацию. Заметим, что этой проблемой он не переставал заниматься всю свою жизнь.

Упорное стремление заниматься историей крестьянства и дальнейшими судьбами этого класса свидетельствует о глубоком демократизме мировоззрения Н. Кареева начала 70-х годов XIX в. Как нам удалось установить, научный руководитель Н. Кареева В. И. Герье весьма настойчиво советовал молодому историку заняться исследованием жизни и деятельности Эразма Роттердамского (1469—1536). Об этом Н. И. Кареев как бы мимоходом сообщает в своем парижском письме М. С. Корелину от 16—28 сентября 1877 г. «Замечу, — писал он, — что Герье предлагал мне биографию Эразма как тему для магистерской диссертации».[7]

В 1873 г. Н. Кареев блестяще оканчивает Московский университет. В. И. Герье предлагает ему остаться на кафедре всеобщей истории, как тогда говорили, для приготовления к профессорскому званию. Это предложение было чисто формальным — Кареев мог сдавать магистерские экзамены и получить в дальнейшем право заниматься наукой, но... университет не предоставлял работы. Надо было думать о существовании. В сентябре 1873 г. Н. И. Кареев становится преподавателем 3-й Московской гимназии, в которой учительствует по 1879 г. (с перерывом для заграничной командировки). Это были годы упорного труда: Кареев не только учительствовал, давал частные уроки, но и много читал, готовился к магистерским экзаменам, печатался в известном российском журнале «Знание».

---

[6] Артур Юнг — английский агроном, путешествовавший по Франции и изучавший жизнь крестьянства. Его описаниями воспользовался Н. И. Кареев при подготовке дипломного сочинения.

[7] ЦГИАМ. Ф. 2202. Оп. 3. Д. 3. Т. 2. Л. 147 об.

В одной из своих статей 1876 г., помещенной в этом журнале, он ссылался на «Капитал» К. Маркса. Это опровергает сложившееся с легкой руки Б. Г. Вебера мнение исследователей научного наследия Н. И. Кареева о том, что русский историк познакомился с «Капиталом» К. Маркса в своей первой заграничной поездке (1877—1878) и не без влияния П. Л. Лаврова.[8] Однако это не так. Нам удалось установить, что в начале 70-х годов (т. е. задолго до поездки в Париж, начавшейся в августе 1877 г.) Н. И. Кареев уже читал «Капитал» К. Маркса. Об этом свидетельствует, например, то, что впервые отсылку на «Капитал» он сделал в своей рецензии на брошюру М. М. Ковалевского «Очерк истории распадения общинного землевладения в кантоне Ваадт», опубликованной в Лондоне в апреле 1876 г.[9]

Знакомство с работами К. Маркса сказалось не только на тематике научных исследований Н. И. Кареева. Оно не могло не повлиять и на формирование его мировоззрения.

В 1876 г. Н. И. Кареев, весьма успешно сдав магистерские экзамены: русскую историю — Н. А. Попову, всеобщую — В. И. Герье, политическую экономию — А. И. Чупрову, приступил к подготовке материалов магистерской диссертации. А тем временем В. И. Герье хлопочет о заграничной командировке своему ученику: главное — получить денежное содержание от министерства. Все устраивается как нельзя лучше, и вот 5 сентября 1877 г. Н. И. Кареев в Париже.

Первостепенная задача для него в Париже — работа над диссертацией. Вместе с тем он много общается, расширяет круг знакомств (который сам по себе о многом говорит). Он сходится с П. Л. Лавровым, Г. А. Лопатиным (из русских в Париже — это фигуры наиглавнейшие), с Фюстель де Куланжем, Альфредом Мори, Газье (родственником знаменитого деятеля Великой Французской революции аббата Грегуара) и другими, обсуждает с ними общественно-политические события в мире, во Франции, в России. 23 октября 1877 г. в письме он делится впечатлениями со своими московскими друзьями. Послание М. С. Корелину показывает, как хорошо его автор видел и понимал события того времени: «Скучно иногда бывает по родине, потому что ведь и „дым отечества нам сладок и приятен"... но самый-то этот дым, несмотря на сладость и приятность, спо-

---

[8] Диссертация Н. И. Кареева «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века» была написана в 1878 г., опубликована в 1879 г. (см. об этом: Очерки истории исторической науки в СССР: В 5 т. Т. 2/Под ред. М. В. Нечкиной. М., 1960. С. 465; Вебер Б. Г. Историографические проблемы. М., 1974. С. 280).

[9] Кареев Н. И. Заметка о распадении поземельной общины на Западе: (О брошюре М. М. Ковалевского)//Знание. 1876. № 4 (апрель). С. 11, прим. 4.

собен глаза есть. Здесь я отдыхаю от всего, чем не мила родина».[10]

А что же Париж? Очаровал ли он Кареева, как многих его соотечественников, впервые прибывших в этот город? Отнюдь нет. Молодой Кареев уже хорошо знал жизнь, поэтому он сразу заметил главное, что должен был увидеть историк, воспитанный на сочинениях русских революционных демократов. «Здесь ведь тоже не царство небесное: в Париже, в этом, действительно, прекрасном, богатом, великолепном Париже бывают случаи голодной смерти, бывают случаи самоубийства целой семьи, чтобы не околеть с голоду».[11] А неделю спустя, 29 октября 1877 г., он пишет тому же адресату новое письмо с проницательным прогнозом будущих политических событий во Франции: «...едва ли, как я думаю, скоро произойдет здесь революция: с одной стороны, пример, показанный на коммуниках,[12] которых до сих пор ловят, чуть они нос во Францию показывают, с другой — чисто политические интересы отодвигают вопрос социальный на задний план. На том собрании,[13] о котором я Вам писал, никто и ни в каком смысле не поднимал вопроса о нужде и капитале или о чем-нибудь подобном. Ежедневная пресса даже радикальных оттенков экономический вопрос тоже игнорирует. Рабочие, как говорил один из них на упомянутом собрании, не будут выставлять своих особых кандидатов, чтобы не дробить сил либеральной партии: при республике, какова она ни есть, можно будет подвигать решение рабочего вопроса, о чем лучше и не думай, если власть попадет в руки misérables (бонопартисты)».[14] Этот отрывок из письма недвусмысленно свидетельствует о прогрессивных взглядах Кареева в конце 70-х годов XIX в. Еще более показательно в этом отношении письмо, написанное Кареевым 19 марта 1878 г. сразу же после возвращения с празднования, посвященного очередной годовщине Парижской Коммуны. Симптоматично даже одно то, что это письмо Кареев начинает сообщением о праздновании годовщины Парижской Коммуны, отодвигая на задний план все другие парижские новости. «Вчера праздновалась... годовщина Парижской Коммуны, — пишет он. — Был банкет, которому пророчили неудачу, так как предсказывали вмешательство полиции... Все по случаю этой же Коммуны стал выходить... журнал „La Commune"». Карееву явно не по душе отношение некоторых слоев французского общества к Парижской Коммуне. «Вообще республиканская ин-

---

[10] ЦГИАМ. Ф. 2202. Оп. 3. Д. 3. Т. 2. Л. 39.

[11] Там же. Л. 39 об.

[12] Так Н. И. Кареев тогда называл участников Парижской Коммуны 1871 г.

[13] Н. И. Кареев, находясь в Париже, где тогда часто происходили митинги и политические собрания, присутствовал на некоторых из них.

[14] ЦГИАМ. Ф. 2202. Оп. 3. Д. 3. Т. 2. Л. 38, 38 об.

теллигенция, — констатирует он, — часто с ожесточением, которого Вы себе представить не можете, говорит о событиях 71 года».[15]

Однако как бы интересна и поучительна ни была для молодого историка политическая жизнь Франции — слишком резко она контрастировала с российской действительностью и тем самым, как магнит, притягивала к себе все его помыслы, — он всегда помнил, что главное для него в этом городе буржуазной демократии — диссертация. К концу пребывания Кареева в Париже она была готова в рукописном виде, показана П. Л. Лаврову и одобрена им. Настал час отбытия. В июне 1878 г. после краткого заезда в Москву он прибыл в свое родовое гнездо — сельцо Аносово. 13 июля 1878 г. не без озабоченности Кареев размышляет в письме к М. С. Корелину о своей диссертации, которую «остается только набело отделать да печатать, если скоро деньги приищешь. Сам я за границей приобрел только долги, а в будущем, кроме диссертации, расходы не малые». Однако тревожные нотки заглушены напряженной деятельностью: «...работаю над приведением в порядок архивного материала моей диссертации».[16]

В мемуарах Кареева весьма часто говорится о сельце Аносове, где он написал немало своих исторических сочинений. Бывал здесь каждое лето, пока это местечко в 1928 г. не перешло государству. Аносово находилось к западу от Москвы и почти на одной параллели с ней. При сельце числилось около 230 десятин земли. Имение это принадлежало тогда матери Н. И. Кареева. Местность вокруг была недурна, в версте — Днепр. Путь в Аносово из Москвы приходилось держать по Московско-Брестской железной дороге (открытой в 1871 г.) до Вязьмы, затем от Вязьмы к северу — на лошадях. Весь переезд из Москвы до Аносова составлял около 300 верст, в том числе 60 верст — с наемным ямщиком. На такое путешествие требовалось тогда в общей сложности около суток.

Н. И. Кареев любил работать (обычно это продолжалось с раннего утра до 6 часов вечера) в своем просторном, хотя и скромном по тем временам доме. Ничто не мешало уединению: до ближайшей почтовой станции было верст 35, и корреспонденция прибывала редко, так что не всегда можно было быстро узнать, что делается на белом свете. Утренние и вечерние прогулки по окрестным полям и лугам, катание на лодке по Днепру — все располагало к творческой работе над диссертацией, и уже к началу осени она была готова к отправке в типографию А. И. Мамонтова. Одновременно обложка, предисловие, библиографический указатель, оглавление, приложения набирались в типографии М. Н. Лаврова и К°.

---

[15] Там же. Л. 24.
[16] Там же. Оп. 2. Д. 11. Л. 2.

К концу 1878 г. диссертация Н. И. Кареева «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века» была готова (книга в 610 с.). Защищалась диссертация 21 марта 1879 г. Диспут проходил бурно. В своих мемуарах Н. И. Кареев довольно подробно описывает всю предысторию подготовки к защите и саму защиту. После присуждения степени магистра В. И. Герье предложил совсем неожидаемое Кареевым место экстраординарного профессора в отдаленном от обеих столиц России Варшавском университете. Документы свидетельствуют об огорчении молодого магистра.

Сам Кареев понимал, что по новизне содержания, оценок и выводов его работа представляла собой факт выдающийся. Но, что парадоксально, Ученый совет историко-филологического факультета Московского университета, присудив Карееву степень магистра, самого важного — блистательность диссертации — не увидел. Зато эту особенность сразу отметил Карл Маркс. Книга «Крестьяне и крестьянский вопрос» через посредство М. М. Ковалевского, видимо, еще до защиты была переслана К. Марксу, который к этому времени уже читал по-русски. Кареев, посетив М. М. Ковалевского, работавшего тогда доцентом Московского университета, узнал мнение Маркса. Вспоминая эти события, он писал в 1922 г.: «Соответствующую часть письма он мне прочитал, переводя ее с английского языка, на каком письмо было написано, по-русски, причем я тотчас же перевод записывал... Продиктованный мне Ковалевским перевод письма Маркса у меня сохранился, так как я его вписал в один из чистых листов, переплетенных с моим рабочим экземпляром книги».[17] Этот отрывок из письма К. Маркса начинался словами: «Сочинение г-на Кареева превосходно...».[18] Такого же мнения придерживался и Ф. Энгельс, который десятью годами позже заметил, что «лучшая работа о крестьянах — Кареева...».[19]

Мемуары Н. И. Кареева убеждают в том, что его труд, написанный с глубоких демократических позиций, испугал не только консервативную, но и либеральную часть профессуры Московского университета, и она постаралась отделаться от столь радикально мыслящего исследователя. Так Н. И. Кареев

[17] Кареев Н. И. Письмо Карла Маркса к М. М. Ковалевскому о физиократах//Былое. 1922. № 20. С. 103—104.

[18] Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 34. С. 286.

[19] Там же. Т. 37. С. 125. — Ответ на возникающий у читателя вопрос: «За что же столь высоко К. Маркс и Ф. Энгельс ценили исследование Н. И. Кареева?», можно найти в статьях: Фролова И. И. Значение исследований Н. И. Кареева для разработки истории французского крестьянства в эпоху феодализма//Средние века. Вып. 7. М., 1955. С. 315—334; Вебер Б. Г. Первое русское исследование Французской буржуазной революции XVIII века//Из истории социально-политических идей/Под ред Н. М. Дружинина, А. М. Панкратовой, Е. В. Тарле и др. М., 1955. С. 642—663, и др.

уже в конце августа 1879 г. оказывается на кафедре всеобщей истории Варшавского университета.

Пять лет в Привислинском крае — особая страница в жизни Кареева, которой он посвятил отдельную главу своих мемуаров. Не останавливаясь на фактах, о которых говорит сам историк, попытаемся, однако, привлекая дополнительные источники, наметить основные направления той поистине кипучей деятельности, которую развернул Н. И. Кареев в этом родственном славянском крае. Наверное, их было четыре: организация преподавания всех отделов всеобщей истории на современном научно-методическом уровне; написание докторской диссертации и ее защита; осуществление исследований по польской истории, ну и, конечно, убежденная политическая деятельность.

Хорошо знакомому с довольно высоким уровнем преподавания всеобщей истории в Московском университете 70-х годов XIX в. Н. И. Карееву не понадобилось много времени, чтобы убедиться, сколь сильно отстал в этом отношении Варшавский университет. В письме к М. С. Корелину от 10 сентября 1879 г. он писал: «До меня здесь почти не читалась новая история (до меня она была поручена ориенталисту Ковалевскому, который „дул" ее по Шульгину)»[20]. Разумеется, Кареев стремился поставить преподавание всеобщей истории в Варшавском университете на современный уровень. Примером ему мог служить лучший по тому времени Московский университет, а также французские высшие учебные заведения, на занятиях в которых Н. И. Кареев неоднократно бывал во время своей первой продолжительной заграничной командировки.

Но изменить качественный уровень изучения исторической науки в Варшавском университете было далеко не легким делом хотя бы потому, что молодому профессору пришлось сразу же читать лекции по всем отделам всемирной истории: от истории древнего мира до истории новейших времен. Причем чтение было с философским уклоном, о чем свидетельствуют вышедшие в Варшаве (а позже и в С.-Петербурге) «введения» к историческим курсам.[21]

Появление историософских введений было обусловлено не столько склонностью Кареева заниматься теоретическими вопросами исторической науки, сколько скорее всего тем, что он вовсю был занят подготовкой докторской диссертации «Основные вопросы философии истории». Он горел нетерпением скорее опробовать основные ее идеи и среди учащихся (читал

[20] ЦГИАМ. Ф. 2202. Оп. 3. Д. 3. Т. 2. Л. 149.

[21] Кареев Н. И. 1) Введение в курс истории новейшего времени. Варшава, 1881; 2) Введение в курс истории древнего мира. Варшава, 1882; 3) Введение в курс истории средних веков. Варшава, 1883; 4) Введение в курс истории нового времени. Варшава, 1884; 5) Введение в курс истории Древнего Востока. СПб., 1887.

«введения» студентам разных курсов), и среди специалистов (публиковал их в «Варшавских университетских известиях» и отдельными изданиями). Работа над докторской диссертацией успешно продвигалась. 6 марта 1882 г. Кареев сообщал в Москву М. С. Корелину: «...работать и здорово работать: занимаюсь философией истории, много читаю и много пишу».[22]

Несколько месяцев спустя он уже в Париже, откуда 8 октября 1882 г. информировал М. С. Корелина: «А я так поглощен своей работой, что мало слежу за здешней жизнью и редко с кем видаюсь».[23] 16 ноября из Парижа (опять Корелину) он писал с чувством гордости: «Национальной библиотекой я воспользовался, сколько было нужно, и подвинул вперед свою диссертацию, а потому с легким сердцем могу покинуть Париж».[24] 26 декабря (уже из Берлина) Кареев сообщал, что «четверть всей книги... теперь почти готова к печати, другая четверть может быть приведена в порядок еще в Берлине, а если в Варшаве удастся много работать, то к середине марта (1883 г. — *В. З.*) будет готово все».[25]

Однако до указанного срока не удалось выполнить задуманный план. Лишь 27 мая 1883 г. Кареев с удовлетворением сообщил, что «окончил писание диссертации и даже успел раз ее прочесть, переправить, переладить. Заглавие ее вот какое: „Основные вопросы философии истории (Критика историко-философских идей и опыт научной теории исторического процесса)"... В общем я доволен работой: по полноте материала, по разносторонности, по единству главной идеи, по соответствию с состоянием современной науки, по обстоятельности критики и по систематичности собственной моей теории, не хвалясь, могу сказать, ни в одной литературе нет ничего соответствующего».[26] А эту литературу Кареев знал досконально и был ею немало разочарован. «Господи! — писал он Корелину 20 октября 1882 г., — сколько писалось книг по философии истории и как мало из всего этого вышло толку. Знаете ли, что менее всего философски решен вопрос о сущности исторического процесса».[27]

Готовая рукопись была отправлена в одну из московских типографий, по-видимому, в начале июня, а уже к сентябрю 1883 г. два тома (856 с.) были набраны. Вопрос о месте защиты диссертации для Кареева не возникал — где же, как не в Московском университете! Хотя между Кареевым и Герье еще с марта 1879 г. прежних дружеских отношений не было, Кареев пересилил себя и вновь обратился к своему учи-

[22] ЦГИАМ. Ф. 2202. Оп. 3. Д. 3. Т. 2. Л. 132.
[23] Там же. Л. 154.
[24] Там же. Л. 152.
[25] Там же. Л. 125.
[26] Там же. Л. 124.
[27] Там же. Л. 160 об.

телю. Без Герье, который твердо правил кафедрой в Московском университете, не обойтись. Ранее ему были посланы два тома книги, но бывший учитель и покровитель молчал. В начале сентября 1883 г. Кареев был в Москве, а 16 сентября посетил Герье. В этот же день он написал об этом М. С. Корелину: «...долго Герье пришлось ждать, но дождался. В свидании нашем не было особой сердечности, но, к счастью, не было и натянутости; о диссертации моей разговору почти не было, а из его мнения только два кончика показались: он нашел, что у меня масса материала и много новых книжек рассмотрено, да еще он вопросил меня, неужели я постоянно следил за научными статьями в журналах».[28] Эти «кончики» были правильно поняты Кареевым: Герье тем самым приоткрыл дверь кафедры для защиты докторской диссертации своему — теперь уже бывшему — ученику. Так оно и получилось: Кареев без особых хлопот защитил диссертацию 24 марта 1884 г., а 30 марта совет Московского университета утвердил данное решение историко-филологического факультета.[29]

Как ни занят был Кареев подготовкой докторской диссертации, он не прекращал серьезно интересоваться историей Польши, собирая необходимые для этого источники (обработка их началась уже после того, как он покинул Привислинский край). За время работы в Варшавском университете (1879—1884) Н. И. Кареев постоянно публикует в «Русской Мысли» свои «Польские письма», которые он, позднее объединив и дополнив, выпустит в 1905 г. под названием «Polonica». Эта работа представляет и научный, и политический интерес. Советский исследователь В. А. Дьяков, изучивший «Польские письма», пришел к обоснованному выводу о том, что «политические позиции Н. И. Кареева содержали некоторые элементы оппозиционности, ибо он выступал за русско-польское сближение на либерально-буржуазной основе и не поддерживал откровенно русификаторскую политику царских властей».[30]

Читателю понятно, что «элементы оппозиционности», о которых пишет советский исследователь, появились не во время деятельности русского ученого в Польше — они зародились у гимназиста и студента Кареева, укрепились во время его работы над магистерской диссертацией в Париже. За них он поплатился местом штатного доцента на кафедре всеобщей истории в Московском университете. А на «польской почве»

---

[28] Там же. Л. 117.

[29] ЦГИАМ. Ф. 418. Оп. 52. Д. 221. Л. 8. См. также: РВ. 1884. № 84 (24 марта).

[30] Дьяков В. А. Польская тематика в русской историографии конца XIX — начала XX века (Н. И. Кареев, А. А. Корнилов, А. Л. Погодин, В. А. Францев)//История и историки: Историографический ежегодник за 1978 г./Под ред. М. В. Нечкиной. М., 1981. С. 150.

они получили лишь новую окраску. Об оппозиционности Н. И. Кареева было известно царской охранке, и за ним наблюдали не только в Польше, но и в Париже, где он часто бывал. В своих воспоминаниях он пишет о том, что после очередного возвращения из Парижа в Варшаву доброжелатели сообщили ему, что сыщики показывали ректору какую-то фотографию лица, посещавшего квартиру П. Л. Лаврова, и справлялись — не Кареев ли запечатлен на этом фото? К счастью, ректор не признал на этом фото Кареева и тем спас его от дальнейших терний. Но это был уже тревожный сигнал. Следовало серьезно подумать о переезде в Россию.

О Московском университете нечего было и думать — там прочно обосновался В. И. Герье. В северной же столице 6 ноября 1884 г. скончался профессор новой истории В. В. Бауер. Поэтому-то Н. И. Кареев и подал просьбу декану историко-филологического факультета С.-Петербургского университета В. И. Ламанскому. Это письмо свидетельствует о явном желании Кареева побыстрее перебраться в столичный университет.[31] Однако дело осложнилось тем, что на это место одновременно с Кареевым претендовали киевский профессор И. В. Лучицкий и одесский историк А. С. Трачевский — неудивительно, что факультет оттягивал решение дела. А стремление Кареева уехать из Варшавы было столь велико,[32] что он, не дожидаясь, пока университет решит дело, согласился на место преподавателя истории в Александровском Лицее. Впрочем, через не столь уж продолжительное время он был зачислен приват-доцентом С.-Петербургского университета,[33] где и проработал с некоторыми перерывами почти до конца жизни.

2

В С.-Петербургском университете во всем блеске развернулась плодотворная научная, педагогическая и общественная деятельность Н. И. Кареева. Он сыграл немалую роль в улуч-

---

[31] Архив АН СССР (ЛО). Ф. 35. Оп. 1. Д. 648. Л. 1—2об.

[32] В одном из писем М. С. Корелину он сообщал: «Ура! Из Александровского Лицея получил сегодня телеграмму (об избрании в преподаватели. — *В. З.*). Слава богу, могу уйти из Варшавской травли» (ЦГИАМ. Ф. 2202. Оп. 2. Д. 48—49. Л. 14). После того, как Кареев обосновался в Лицее, он уже в спокойных тонах сообщал: «Я не в Варшаве более, откуда стремился чуть ли не со дня приезда туда» (Там же. Оп. 1. Д. 60—65. Л. 2об.).

[33] 7 января 1885 г. Кареев был переведен преподавателем в Александровский Лицей, а 23 августа того же года был допущен к чтению лекций в С.-Петербургском университете в качестве приват-доцента (ГИАЛО. Ф. 14. Оп. 1. Д. 8612. Л. 299). Заметим, что за прогрессивные убеждения Н. И. Кареев очень долго, будучи доктором, работал в должности доцента. Чиновники Министерства народного просвещения чинили Карееву всяческие препятствия. Лишь в 1890 г. он был утвержден ординарным профессором (через 6 лет после защиты докторской диссертации, на 17-м году службы в системе Министерства народного просвещения).

шении постановки преподавания и изучения всеобщей истории в столичном университете. Имея в виду эту сторону деятельности Кареева, профессор И. М. Гревс свидетельствовал: «...в университете... он поднял преподавание новых веков всеобщей истории в такой момент высшей школы, после введения устава 1884 г., когда там гибли свобода и жизненность учения. Он широко развернул чтение общих и специальных курсов, [занялся] первоначальной организацией семинарских занятий по источникам, [проявил в этом] выдающуюся стойкость и последовательность».[34] Да, эти качества потребовались от Кареева, чтобы отстоять в университете более или менее полнокровные курсы новой и новейшей истории стран Запада, поскольку правительством делалось все для того, чтобы «вытравить» новую историю из учебных планов. «Я знаю, — писал Н. И. Кареев в Москву В. И. Герье, — что к всеобщей истории в научном и европейском смысле отношение теперь не особенно авантажное... положительно делается все, чтобы всеобщую историю затерять».[35]

По словам Н. И. Кареева, «„Новое время”, державшее нос по ветру, поместило у себя статью, в которой доказывалось, что в гимназии можно оставить один греческий язык».[36] А от призывов устранить всеобщую историю в гимназиях до требований реакционных кругов «вытравить» ее из университетов оставался один шаг. Потребовалась гражданская мужественность Кареева, чтобы такое положение всеобщей истории в учебных заведениях России квалифицировать как «принципиальное безобразие». «Тенденция положительна та, чтобы вытравить „Европу” и мытьем и катаньем, — писал Кареев, — а за это все: и греко-латины новейшей реформации, и византийцы, и славянолюбцы, и российские самобытчики».[37]

Чтобы как-то продвинуть дело, Кареев пошел на прием к министру народного просвещения И. Д. Делянову и беседовал с ним по вопросам преподавания всеобщей истории в университетах и гимназиях. Визит этот, как и следовало ожидать, результатов никаких не дал. Однако борьба за «всеобщую историю» в университетах и гимназиях продолжалась. По инициативе и при самом активном участии Н. И. Кареева на имя министра народного просвещения было составлено коллективное

---

[34] Гревс И. М. Николаю Ивановичу Карееву: (Сорок лет труда за культуру)//Речь. 1913. № 307. С. 3. — Об этом же писал и П. А. Конский (П. К. К 25-летию профессорской деятельности Н. И. Кареева//РШ. 1897. № 4. С. 271.).

[35] ГБЛ. Ф. 70. П. 46. Д. 7.

[36] Там же.

[37] Там же. — Этим же целям во многом была подчинена и деятельность созданного по инициативе Н. И. Кареева и бессменно руководимого им Исторического общества при С.-Петербургском университете (1889—1917 гг.), оставившего заметный след в научной и общественной жизни России.

письмо профессоров российских университетов. Его подписали крупнейшие ученые-историки того времени: В. И. Герье и П. Г. Виноградов (от Московского университета), И. В. Лучицкий и Фортинский (от Киевского университета), Ф. И. Успенский (от Новороссийского университета) и Н. И. Кареев (от С.-Петербургского университета). В письме доказывалась необходимость общих курсов всеобщей истории, так как они «могут дать студентам то связное представление о их предмете, то понимание исторической жизни и законов истории, без которых не может быть истинно плодотворной разработки частностей».[38] Поскольку советы факультетов и университетов располагали определенными прерогативами в научно-учебной деятельности, 15 марта 1897 г. Н. И. Кареев направляет в совет историко-филологического факультета докладную записку о реформе исторического преподавания в университете, где предлагает провести комплекс важных мероприятий.[39]

Говоря об активной позиции Н. И. Кареева по вопросам университетской жизни, следует отметить, что он давал резкие оценки и общественно-политическим порядкам царской России. Так, в речи, произнесенной им в «Союзе взаимопомощи русских писателей» по случаю празднования годовщины отмены крепостного права в России, Н. И. Кареев, как сообщал министр внутренних дел царю, в частности, заявил: «Русская действительность так мрачна, так отвратительна, что праздновать 19 февраля было бы нелепо. От реформ Александра II не осталось ничего, и то, что замышляет правительство в близком будущем, прямо зловеще».[40]

В связи с этим не может вызвать удивления тот факт, что в февральских 1899 г. выступлениях студентов, которые требовали от администрации свободы собраний, Н. И. Кареев встал на сторону молодежи. За это он поплатился профессорской должностью и в университете, и на Высших Женских курсах (ВЖК). В исторической литературе констатируется лишь факт изгнания Н. И. Кареева из профессоров университета и ВЖК[41] и указывается общая причина, вызвавшая эту меру царского правительства по отношению к Н. И. Карееву.[42] Между тем удаление Н. И. Кареева из университета — это продуманный акт царского правительства, которое не нуждалось в профес-

---

[38] Там же. Ф. 119. П. 9. Д. 78.

[39] ЛГИА. Ф. 14. Оп. 27. Д. 622.

[40] ЦГИАЛ. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 701. Л. 2.

[41] Бузескул В. П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века. Ч. 1. Л., 1929. С. 153—168.

[42] При всей умеренности своего либерализма Кареев в 1899 г. в связи со студенческим движением был уволен «без прощения» «за неблагонадежность из числа профессоров Петербургского университета» (Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 3/Под ред. М. В. Нечкиной. М., 1963. С. 477).

соре со столь прогрессивными общественно-политическими взглядами.

Вольнодумство Н. И. Кареева было известно царской охранке еще со времен Польши, где за ним был установлен надзор, который, вероятно, продолжался и после его переезда в Петербург. Подтверждением этой мысли является документ от 3 марта 1894 г., в котором столичный градоначальник в ответ на просьбу Н. И. Кареева о разрешении ему читать публичные лекции сообщал князю М. С. Волконскому: «Ввиду же имеющихся особых сведений о профессоре Н. И. Карееве, я полагал бы ходатайство о разрешении Карееву прочитать лекцию отклонить».[43] В последующие годы эти «особые сведения» о Н. И. Карееве накапливались в различных министерствах и ведомствах.[44]

Как известно, после студенческих волнений в Петербурге в феврале 1899 г. была создана комиссия для «дознания» под председательством генерала П. С. Ванновского. По свидетельству Н. И. Кареева, на его вопрос о причинах увольнения товарищ министра народного просвещения Н. А. Зверев дважды повторил, что оно — «прямое и логическое следствие дознания генерала Ванновского». На возражения Н. И. Кареева о том, что Ванновский его не допрашивал и в докладе комиссии его имя не упомянуто, Зверев ответил, что «это более общая мера, применимая к данному случаю» и что «у министра по отношению к Вам были особые сведения, составляющие секретную сторону дела...». «Могу только сказать, — продолжал Зверев,— что мера относительно Вас принимается в связи с проходившими студенческими волнениями».[45]

Н. И. Кареев в статье «Мое изгнание из профессоров Петербургского университета в 1899 году», написанной после 1917 г. и предназначенной для публикации, но оставшейся в рукописи,[46] отмечал, что причины его увольнения следует искать в его поведении во время студенческих волнений: «Настойчивость, с какой я добивался созыва совета, который должен был выступить на защиту студентов, мои непочтительные слова о министре в присутствии помощника попечителя, два выступления в том же присутствии против „поставленного высочайшею властью ректора" и многие другие слова в заседаниях совета, заключавшие в себе критику действий учебного начальства, все это в самом деле должно рисовать меня в глазах

---

[43] ЦГИАЛ. Ф. 733. Оп. 194. Д. 1527. Л. 15.

[44] Многие из них нам удалось разыскать в архивах. Все эти документы, дающие возможность выяснить причины изгнания Н. И. Кареева из университета и Высших Женских курсов, целесообразно сгруппировать: 1) официальные объяснения министерства Карееву причин его отстранения от преподавательской работы; 2) различные в то время секретные документы; 3) мнения самого Кареева по этому вопросу.

[45] ГБЛ. Ф. 119. П. 44. Д. 12. Л. 19—23.

[46] Там же. Д. 14. Л. 8—10 и др.

Боголепова как бунтовщика».[47] Кроме воспоминаний Н. И. Кареева, это подтверждают и протоколы заседания совета университета от 16, 17, 22 и 25 февраля 1899 г. Написанные очень небрежно, начерно и далеко не полностью воспроизводящие картину жарких споров по обсуждавшимся вопросам, они, однако, свидетельствуют, что Н. И. Кареев настойчиво предлагал совету ходатайствовать о немедленном прекращении полицейских мер воздействия на студентов и смягчении или совершенной отмены наложенных взысканий на студентов.[48]

И все-таки одну из основных причин своего увольнения из университета Н. И. Кареев видел в раздражении тогдашнего министра народного просвещения Боголепова против его резких выступлений в частных собраниях профессоров и на заседаниях советов.

Что же касается секретных сведений, которые особо оговаривал Зверев при беседе с Н. И. Кареевым летом 1899 г., то они состояли из справки, выданной Министерством внутренних дел Министерству народного просвещения.[49] Материал этой справки Н. И. Кареев не оспаривал, кроме двух-трех ее положений. К этой же группе документов следует отнести и материалы, которые появились позже 1899 г., но были связаны с поведением Н. И. Кареева во время студенческих волнений. Министерство внутренних дел сообщало министру народного просвещения в 1911 г.: «По имеющимся сведениям, Н. И. Кареев уже в течение многих лет принадлежит к либеральному лагерю ученых и литераторов; в бытность свою профессором С.-Петербургского университета он за свое оппозиционное направление к существующему тогда учебному режиму пользовался среди неблагонадежной части учащихся особой популярностью, а в 1899 году за активное участие в „обструкционном" студенческом движении он был устранен от чтения лекций в университете».[50]

О том, что Н. И. Кареев действительно пользовался «особой популярностью среди неблагонадежной части» молодежи, свидетельствуют многие документы. В Пушкинском доме хранятся письма к Н. И. Карееву, написанные в разные годы политическими заключенными из тюрем (Забайкальской, Калужской, Шлиссельбургской крепости и т. д.), в которых узники обра-

[47] Там же. Л. 14.

[48] ЛГИА. Ф. 14. Оп. 2. Д. 1355. Л. 214, 218 об.

[49] ГБЛ. Ф. 119. П. 20. Д. 66. — Копию этого документа Н. И. Карееву предоставил его родственник О. П. Герасимов, бывший одно время товарищем министра народного просвещения.

[50] ЦГИАЛ. Ф. 733. Оп. 201. Д. 156. Л. 44, 44об. — Почти дословно повторяются эти же мотивы и в относящемся к 1902 г. секретном отношении департамента полиции директору С.-Петербургского политехнического института, куда Н. И. Кареев был принят на работу. Департамент полиции явно не желал допустить Кареева к чтению лекций в институте (ЛГИА. Ф. 478. Оп. 23. Д. 133. Л. 31).

щаются к нему с просьбой прислать теплую одежду, книги, обувь и т. д., благодарят за участие в постигшем их горе. Один из них писал Карееву: «Я не могу выразить Вам того чувства бесконечной, глубокой благодарности, которое сейчас просится наружу, за участие и помощь мне в моем слишком тяжелом положении».[51]

Итак, к моменту отстранения Н. И. Кареева от педагогической деятельности в высших учебных заведениях в 1899 г. в министерствах внутренних дел и просвещения накопилось немало улик, позволяющих властям считать его неблагонадежным профессором.[52] В связи с этим можно полагать, что студенческие волнения февраля 1899 г. скорее всего были не причиной, а лишь удобным случаем для изгнания Н. И. Кареева из числа профессоров университета и Высших Женских курсов.

Но возникает вопрос, почему же Н. И. Кареев был оставлен на преподавательской работе в Александровском Лицее?[53] Лицей был одним из самых монархических учебных заведений, где «крамольный» профессор не мог быть опасным. «Успокойтесь, наши застрахованы; их ничем не проймешь»,[54] — так говорил один из директоров Лицея попечителю, указывавшему на либерализм преподавателей, как на нечто опасное для воспитанников. Обстановка в Лицее для Н. И. Кареева была не из простых, а чтение лекций становилось все более «неприятным». Лицеисты, сынки богатеев, старались «насолить» либеральному профессору. Уже после возвращения Н. И. Кареева в университет (23 февраля 1906 г.) с ним произошел такой случай. Н. И. Кареев входит в аудиторию и видит, что она пуста. Лицеисты же в последней комнате тотчас запели «Боже, царя храни». Н. И. Кареев повернулся и ушел, о происшедшем доложил начальству. Лицеисты оправдывались, утверждая, что если бы Н. И. Кареев услышал «Марсельезу», то, конечно, не ушел бы.[55] Как видим, лицеисты проявляли враждебность к политическому образу мыслей Н. И. Кареева. После этого он сократил свои занятия в Лицее, а затем и вовсе оставил это при-

---

[51] ИРЛИ. Ф. 422. Д. 14. Л. 7. См. также: ГБЛ. Ф. 119. П. 10. Д. 86.

[52] В начале XX в. Н. И. Кареев берет на себя еще одно дело: ведет преподавание в заграничной «Русской высшей школе общественных наук в Париже» (1901—1906 гг.), которую тогда называли «Свободным русским университетом». В этой школе читал лекции и В. И. Ленин. Царское правительство квалифицировало «высшую школу» «семинаром по революции» и сделало все, чтобы прекратить ее существование.

[53] Отстраненный от основной работы в университете, Н. И. Кареев сосредоточил свою деятельность как автор и редактор исторического отдела «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона (Т. 1—82, плюс 4 доп. тома. СПб., 1890—1907 гг.). В редакции этой энциклопедии Кареев проделал огромную работу по подбору авторов, редактированию материалов, написанию статей.

[54] См. с. 181 настоящей книги.

[55] См. с. 243 настоящей книги.

вилегированное учебное заведение. Тому были и другие причины. Россия вступала в бурный период своей истории.

3

В годы первой русской революции Н. И. Кареев оказался в водовороте политических событий, стал членом конституционно-демократической партии. «Если бы я когда-нибудь стал подробно рассказывать, как я сделался „кадетом" и как себя чувствовал в этом положении, — писал Н. И. Кареев, — я распространился бы на эту тему, что, кроме программы и тактики партии, меня особенно подкупала в свою пользу ее прочность, ее сила, которые, при надлежащей организованности и дисциплине, обеспечивают за ней успех».[56] Одно время Н. И. Кареев был председателем Петербургского комитета партии кадетов, состоял депутатом I Государственной думы, но рассматривал свое членство в партии как «профессорское участие в политике». Довольно скоро Н. И. Кареев понял, что парламентская деятельность как постоянное занятие, как деятельность надолго, навсегда, не по его характеру и темпераменту, не по его способностям и навыкам. К тому же основной была научная и учебная работа, которую сам Н. И. Кареев считал «небезуспешной».

Таким образом, с первых шагов активной политической деятельности Н. И. Кареев понял, что он не рожден для политической карьеры, что он прежде всего ученый. Потому-то вполне закономерен отход Н. И. Кареева от политической деятельности после революции 1905—1907 гг.

Тем не менее некоторым научным публикациям свойственно преувеличение роли Н. И. Кареева в кадетской партии. Одни авторы пишут о Н. И. Карееве этого времени как об «одном из основателей»,[57] другие — как о «руководящем деятеле либерально-монархической партии кадетов»,[58] третьи — как о члене ее центрального комитета.[59] Чтобы удостовериться, насколько эти утверждения соответствуют истине, просмотрим прежде всего списки членов бюро, на которое была возложена работа по организации в 1905 г. партии кадетов, а также списки членов центрального комитета, избранных на первом, втором, третьем съездах этой партии, и убедимся, что фамилии

---

[56] Кареев Н. И. Итак, мы пошли в Думу...//ГБЛ. Ф. 119. П. 23. Д. 26. Л. 8 (неопубликованная статья Н. И. Кареева времен первой русской революции).

[57] Вайнштейн О. Л. Историография средних веков. М.; Л., 1940. С. 311.

[58] История философии/Ред. колл.: М. А. Дынник, М. П. Иовчук, Б. М. Кедров и др. Т. 5. М., 1961. С. 351.

[59] Ефимов А. В. Некоторые вопросы методики истории как науки// Известия АПН РСФСР; Вып. 99. М., 1959. С. 88.

Н. И. Кареева в этих документах нет.[60] В современном исследовании историка кадетской партии В. В. Шелохаева[61] имя Н. И. Кареева упомянуто однажды, и то не в основном тексте, а лишь в примечании в связи со статьей последнего «К вопросу об учредительных функциях Государственной думы», опубликованной в «Вестнике партии народной свободы» (1906. № 3). Если бы Н. И. Кареев действительно играл определяющую роль в деятельности кадетской партии, видимо, автор в своей монографии об этой партии не смог бы обойти это имя.

В свете сказанного представляется соответствующим действительности рассказ самого Н. И. Кареева о своем «кадетстве»: «Я участвовал в организационных собраниях партии и выступал в устраивавшихся митингах, но не был за все время ее существования членом центрального комитета, а если очутился председателем городского ее комитета, то в нем больше следил за внешним порядком прений, чем играл сколько-нибудь руководящую роль... Если в конце концов я вступил в политическую партию, работал с ней, не отказался от кандидатуры в члены Думы, то больше исполнял то, что мне казалось требованием гражданского долга, чем испытывал влечение к политической деятельности».[62] Достоверность воспоминаний Н. И. Кареева подтверждает также брошюра Всеволода Ильчинского «Перлы кадетской партии» (СПб., 1907), которая была написана по горячим следам и показывала крутые зигзаги тактической политики кадетов на основе анализа статей органов этой партии — «Речи» и «Вестника партии народной свободы», статей видных ее членов, речей депутатов в Государственной думе и теоретиков партии на митингах и т. д. Н. И. Кареев даже не упоминается в этой брошюре.

В то же время нельзя согласиться с утверждением самого Н. И. Кареева, считавшего, что он был «самым, что называется, рядовым членом партии». Н. И. Кареев был известным ученым-историком, и его мнение было небезразлично для кадетского партийного руководства.[63] Идейные позиции Н. И. Карее-

---

[60] Конституционно-демократическая партия: Съезд 12—18 октября 1905 г. СПб., 1905. С. 26; Конституционно-демократическая партия (партия народной свободы): Постановления II съезда 5—11 января 1906 г. и Программа. СПб., 1906. С. 3; Конституционно-демократическая партия (партия народной свободы): Постановления III съезда 21—25 апреля 1906 и Устав партии. СПб., 1906. С. 11 (в этой же книге есть состав организационного бюро).

[61] Шелохаев В. В. Кадеты — главная партия либеральной буржуазии в борьбе с революцией 1905—1907 гг. М., 1983. С. 228.

[62] См. с. 233—234 настоящей книги.

[63] Напомним здесь, что власть предержащие отнюдь не жаловали кадетскую партию. Так, резко и грубо о ней писал П. А. Столыпин (с июля 1906 г. — председатель Совета министров России, а до этого — министр внутренних дел): «Шайкой я называю кадетскую партию, потому что у нее нет признаков политической партии, руководствующейся твердыми, громко провозглашенными принципами, но у нее налицо все признаки шайки, объ-

ва заметно укрепились в связи с его активным участием вместе с другими либеральными деятелями в попытке предотвратить кровопролитие 9 января. Помешать кровавой расправе не удалось, а члены депутации — Гессен, Арсеньев, Кареев, Пешехонов, Мякотин, Семевский, Кедрин, Шнитников, Иванчин-Писарев и Горький (взят в Риге и отвезен в Петербург) были арестованы. Им предъявили, как писал Ленин, «нелепейшее обвинение в намерении сорганизовать „временное правительство России" на другой день после революции».[64] Арестованный в ночь с 11 на 12 января 1905 г., Кареев был выпущен из Петропавловской крепости поздним вечером 22 января. Этот случай быстро поднял политический авторитет Н. И. Кареева среди интеллигентных слоев Петербурга. Он был выдвинут кандидатом в депутаты на выборах в I Государственную думу от партии кадетов. Став депутатом Думы, Н. И. Кареев был оптимистически настроен, но с 13 мая, всего через месяц после выборов, это настроение «стало меркнуть после правительственного „lasceiate ogni speranze" (оставьте всякую надежду. — *В. З.*)».[65]

В Думе Н. И. Кареев несколько раз выступал по разным проблемам: по национальному вопросу, об организации ответственного перед Думой правительства и т. д.[66] Поднимаясь впервые на трибуну, Н. И. Кареев заявил: «Мы явились сюда защищать права и достоинства попранной человеческой личности». Он призывал депутатов «основать новую Россию, которую точно так же должны будем любить, но Россию, которая будет существовать не сама для себя и для охраны каких-либо исторических традиций — для своих граждан. На фронтоне той России, которая была для нас подавляющей нас субботой, были написаны совсем другие слова, не свобода, не равенство, не братство, а знаменитая формула: „Самодержавие, православие и народность"». Н. И. Кареев страстно говорил о равенстве для всех народов, населявших Россию: «В России, кроме русской земли, есть земля польская, латышская, эстонская, грузинская и разных других национальностей. И тогда только можно будет Россию назвать русской землей, когда все эти национальности, оставаясь поляками, евреями, немцами, грузинами и так далее, будут считать себя русскими гражда-

единенной грабительскими целями, участники которой прикидываются мирными, безобидными в общежитии, но не останавливаются в своей деятельности ни перед широко организованным обманом, ни перед безжалостным душегубством, когда того требуют обстоятельства» (Вестник партии народной свободы. 1906. № 36. С. 1935).

[64] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 239.

[65] Кареев Н. И. Выборы в Петербурге в первую Государственную думу: К 10-летию I Государственной думы. Пг., 1916. С. 5.

[66] Сборник речей депутатов Государственной думы I и II созыва. Кн. I. СПб.. 1908. С. 63—65, 83—84; Государственная дума: Стенограф. отчет. Т. 1, ч. I. СПб., 1906. С. 120—123, 156, 1071—1072, и др.

нами. Россия должна предоставить всем народам, ее населяющим, полную свободу своего национального самоопределения, и от этого, уверяю Вас, выиграет, между прочим, и самая господствующая в настоящее время национальность».[67]

Однако сколько-нибудь продуманной программы решения национального вопроса у Н. И. Кареева не было. Его позиция по данному вопросу была противоречива. Именно этим можно объяснить то обстоятельство, что, спустя совсем непродолжительное время, Н. И. Кареев вместе с другими кадетами подписал обращение к обществу «кружка лиц, интересующихся славянским вопросом», о котором В. И. Ленин писал, что оно «отличается от национализма и шовинизма „Нового времени" и К°» «только белыми перчатками да более дипломатически осторожными оборотами».[68]

Выступая по вопросу о функциях ответственного перед Думой правительства, Н. И. Кареев констатировал, что Россия в текущий политический момент находится в «историческом тупике», из которого, как он ошибочно полагал, ее можно вывести только посредством «полного единения монарха и нации». Впадая в политические иллюзии, Н. И. Кареев выступал за образование «министерства, взятого из большинства палаты», как «соединительного звена» между монархом и Думой. Царь при этом должен был действовать в той области, «которая ему принадлежала бы по конституции». Теперь Н. И. Кареев был совершенно чужд юношеской мечтательности о революции. Как политический деятель Кареев-историк занял более чем умеренную позицию, полагая, что Франция 1789 г. пошла по пути «потрясений» и «ужасов внутренней анархии» и заявлял: «Нам нужно этого избежать».[69]

Этим и определялось тогда отношение Н. И. Кареева к происходившим событиям первой русской революции: с одной стороны, историк был напуган кровавым характером революции 1905 г., а с другой стороны, он пытался сохранить свои либерально-демократические принципы. Отсюда его резкая критика процедуры выборов в Думу, которые, как он полагал, были проведены неправильно, ибо Дума должна была быть избрана на основе «всеобщей, равной, прямой и тайной подачи голосов».[70] Только при этом условии она обрела бы, по его мнению, подлинно законные законодательные полномочия.

Комментируя позицию Н. И. Кареева в период его участия в Государственной думе, можно без особых натяжек утверждать, что Кареев-политик отошел от прогрессивных взглядов

---

[67] Сборник речей депутатов... С. 63—65.
[68] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 22. С. 157.
[69] Сборник речей депутатов... С. 83.
[70] Кареев Н. И. К вопросу об учредительных функциях Государственной думы//Вестник партии народной свободы. 1906. № 3. С. 147.

Кареева-ученого, способного объективно видеть магистральные пути общественного развития. Реалии революции напугали политика, заставили его вернуться в лоно теоретических исследований, а здесь, в привычной ему сфере, он снова становится самим собой. Спустя 10 лет, в статье «Годовщина», которая была опубликована в одной из газет в 1915 г., он уже по-другому оценивал первую русскую революцию: «Как-никак десять лет тому назад мы сдвинулись с мертвой точки и пошли вперед, вышли, я бы сказал, из тупика и вступили все-таки на некоторую дорогу, еще очень трудную, тернистую, окруженную опасностями, а не стоим перед глухой стеной. Как-никак, новая дорога, на которую мы вступили, ведет к лучшему будущему».[71]

Разочаровавшись в своей политической деятельности периода 1905—1907 гг., Н. И. Кареев решил более не испытывать свою судьбу. И когда руководство партии кадетов поставило имя Н. И. Кареева в списке кандидатов на городских выборах 1917 г., он твердо отклонил это предложение, заявив, что считает «себя совершенно непригодным для хозяйственно-административной деятельности».[72]

Кареев как политик для современного читателя, видимо, может иметь лишь исторический интерес. Для нас он значительно актуальнее как ученый, педагог, организатор науки. Именно к этим сторонам его творческой деятельности мы и вернемся.

С конца прошлого века Н. И. Кареев начинает издавать свой монументальный труд «История Западной Европы в новое время»,[73] которым могла бы гордиться любая национальная историография. В начале века выходят один за другим 5 томиков его типологических курсов,[74] в которых, по словам современного исследователя, «генезис и эволюцию политических форм Кареев рассматривает в неразрывной связи с историей социальных отношений, что делает его общую концепцию оригинальной и свежей».[75] В то же время, озабоченный низким научно-методическим уровнем учебно-исторической литературы для средней школы, Кареев издает свои учебники

---

[71] ГБЛ. Ф. 119. П. 48. Д. 6 — В архиве хранится отрывок из вырезки газеты, название которой пока не удалось установить.

[72] См. с. 264 настоящей книги.

[73] Кареев Н. И. История Западной Европы в новое время. Т. 1—7 (в 9-ти кн.). СПб.; Пг., 1892—1917.

[74] Кареев Н. И. 1) Государство-город античного мира. СПб., 1903; 2) Монархия Древнего Востока и греко-римского мира. СПб., 1904; 3) Поместье-государство и сословная монархия средних веков. СПб., 1906; 4) Западноевропейская абсолютная монархия XVI—XVIII вв. СПб., 1908; 5) Происхождение современного народно-правового государства. СПб., 1908.

[75] Историография античной истории/Под ред. В. И. Кузищина. М., 1980. С. 177.

и учебные пособия по всеобщей истории,[76] которые неоднократно переиздавались.

Перед самым началом первой мировой войны осуществилось давнишнее желание Н. И. Кареева — он получил разрешение издавать «Научный исторический журнал».[77] Однако жизнь журнала оказалась кратковременной: начавшаяся война и последовавшие за ней события сделали невозможным продолжить это начинание.

4

Социалистическую революцию Н. И. Кареев встретил в почтенном возрасте — в ноябре 1917 г. ему исполнялось 67 лет. Великий Октябрь он считал закономерным явлением в истории нашей страны. «Еще с первых месяцев войны, — писал он в своих воспоминаниях, — началось наше экономическое расстройство, создавшее и то положение, из которого возникла уже назревшая революция. Весь внешний строй жизни изменился до крайней степени».[78] В 1923 г. Н. И. Кареев отмечал: «...для меня и было ясно, что русская политическая, интеллектуальная и экономическая жизнь развивается в направлении все более и более назревавшей революции. Пришествие ее было естественным и необходимым, т. е. законосообразным моментом нашей исторической эволюции, ее неизбежной, неотвратимой стадией, потому что предотвратить ее могло бы только чудо — отказ царя от самодержавия, а высших сословий от привилегий, но и это чудо, в сущности, повлекло бы за собой тот же самый результат».[79] После окончания гражданской войны Н. И. Кареев констатировал победу нового строя как свершившийся факт. Об этом свидетельствуют письма Н. И. Кареева второй половины 20-х годов, написанные своей московской знакомой Н. П. Корелиной (вдове историка М. С. Корелина).[80]

При изучении вопроса об отношении Н. И. Кареева к Октябрьской революции, Советской власти, В. И. Ленину исследователь испытывает явный недостаток источников. Поэтому нам пришлось обратиться с соответствующими вопросами к внуку ученого, академику Академии художеств СССР, известному советскому художнику Оресту Георгиевичу Верейскому, который любезно согласился предоставить в наше распоряжение свои

---

[76] Кареев Н. И. 1) Учебная книга новой истории. СПб., 1900; 2) Учебная книга истории средних веков. СПб., 1900; 3) Учебная книга древней истории. СПб., 1901; 4) Главные обобщения всемирной истории. СПб., 1903, и др.

[77] Хотя за 1913—1914 гг. вышло всего 5 номеров «Научно-исторического журнала», тем не менее содержащийся в них материал составляет заметную страницу в отечественной журналистике.

[78] См. с. 271 настоящей книги.

[79] См. с. 289 настоящей книги.

[80] ЦГИАМ. Ф. 2202. Оп. 3. Д. 3. Т. 1. Л. 93об.

мемуары по данным вопросам.[81] В своем письме от 2 февраля 1982 г. О. Г. Верейский пишет, что его дед «принял революцию как логическое развитие истории, со всеми позитивными и негативными для него положениями. Я просто не помню ни одного его категорического высказывания, в котором выражались или протест, или, наоборот, особый восторг.

Что же касается отношения к В. И. Ленину, то он относился к нему как ученый к ученому. Об этом я могу судить по той атмосфере уважения к имени Ленина, которое царило в доме, в разговорах между ним (Н. И. Кареевым. — *В. З.*) и моим отцом (участником борьбы в 1905 году) и с самого начала человеком советской ориентации.

Конечно, дед ощущал многие неудобства и лишения в голодные неустроенные годы, но к ним относился скорее иронически. Иногда он возмущался по поводу каких-то проявлений нерасторопности или бескультурья, исходящих от организаций или учреждений, но я ни разу не слышал обобщений, относящихся к режиму. Никогда не слышал от него обывательского брюзжания. Он был всегда ровен, бодр и педантичен во всех делах домашних и, насколько помню, общественных».

Несмотря на 67-летний возраст, Н. И. Кареев после Великой Октябрьской социалистической революции продолжал активную научную, педагогическую и общественную работу. Он участвует в создании университета имени Н. К. Михайловского (Высшей школы гуманитарных и социальных наук),[82] выступает на значительных общественных мероприятиях. 10 мая (27 апреля) 1918 г. на собрании, которое было посвящено 12-й годовщине I Государственной думы, Н. И. Кареев, как сообщает газета, поделился своими воспоминаниями о первом дне первого русского парламента: «Оратор проникнут глубокой уверенностью, что переживаемое лихолетье скоро пройдет — и тогда воскреснут и получат осуществление лучшие идеалы первой Государственной думы».[83] Если верить газете, то у Н. И. Кареева в первой половине 1918 г., т. е. в острый период гражданской войны в нашей стране, была уверенность на скорое окончание «лихолетья», причем окончание ему мыслилось в виде осуществления кадетских идеалов I Государственной думы. Это пока единственное свидетельство о политической позиции Н. И. Кареева в 1918 г., может быть, потому, что в 1918—1920 гг. (да и в последующие годы) он жил в сельце Аносове Смоленской губернии. Тут-то, среди крестьянства, Н. И. Кареев и развернул активную лекторскую работу.

---

[81] О. Г. Верейский (род. в 1915 г.), сын Е. Н. Верейской (дочери Н. И. Кареева), популярной детской писательницы и Г. С. Верейского, известного советского художника. О. Г. Верейский жил вместе с дедом и хорошо его знал.

[82] Наш век. 1918. № 125 (24/11 июля). С. 4.

[83] Там же. № 93 (11/28 апреля). С. 3.

В июле 1923 г. он вспоминал: «Отчасти для развлечения, отчасти для добывания хлеба в буквальном смысле я ездил по соседним селениям и в крестьянских избах просвещал людей относительно устройства вселенной и солнечной системы, возил с собой глобус и кое-какие картинки... в виде же гонорара я получал рожь, крупу, льняное масло».[84] Конечно, устройство Вселенной для народа вещь полезная и интересная, но крестьяне хотели слышать о Карле Марксе, А. И. Герцене, декабристах и т. д. Кареев признается: «Я... читал лекции на темы, иногда подсказывавшиеся мне слушателями. Так, меня попросили прочесть о Марксе, „имя которого так часто слышишь". Лекция о Герцене тоже была почти подсказана. Декабристов я выбрал в связи с инсценировкой[85] некрасовских „Русских женщин" и чтением из „Декабристов" Мережковского».[86] Летом 1920 г. Н. И. Кареев продолжил чтение лекций о Марксе. В связи с происходившей тогда войной с Польшей Н. И. Кареев стал читать лекции и по истории польско-русских отношений. Иногда приходилось читать экспромтом, по просьбе слушателей. Так, на лекции «о жизни и деятельности Маркса» кто-то из слушателей послал Н. И. Карееву записочку с упреком в том, что он «скрыл заговор, в каком вся интеллигенция была с царизмом против народа». Этого Н. И. Кареев не мог оставить без аргументированного и подробнейшего развенчания. Пришлось «тут же экспромтом прочитать целую лекцию о Новикове и Радищеве, о декабристах, о Герцене, Чернышевском, о революционерах из дворян, поповичей и всех вообще сословий, принадлежавших к интеллигенции».[87]

Наряду с просветительской деятельностью в Аносове и близлежащих селениях Кареев создает целый ряд книг по социологии, истории;[88] именно в деревне он приступает к созданию своих воспоминаний.

В конце 20-х годов ситуация в Советском государстве начинает резко изменяться. Естественный ход послереволюционного развития страны прерывается, а затем и ломается под напором волюнтаристских амбиций Сталина. Последние два года своей жизни Н. И. Кареев наблюдал эту чудовищную ломку. Сейчас трудно определить, сознавал ли он ее масштабы и глубину. Однако противоестественность происходящих событий, видимо, ему была очевидна.

События этого времени не обошли и лично Н. И. Кареева.

---

[84] См. с. 280 настоящей книги.

[85] Дочь Н. И. Кареева, Елена Николаевна Верейская, в народном доме устраивала в это время любительские спектакли.

[86] См. с. 280 настоящей книги.

[87] См. с. 281 настоящей книги.

[88] Кареев Н. И. 1) Общие основы социологии. Пг., 1919; 2) Методология общественных наук//ГБЛ. Ф. 119; 3) Великая Французская революция. Вып. 1—5. Пг., 1918; 4) Очерки социально-экономической истории Западной Европы в новейшее время. Пг., 1923, и др.

В декабре 1928 г. был арестован его сын Константин. В январе 1929 г. он писал Н. П. Корелиной: «Теперь ни для кого из моих родных и здешних знакомых не секрет, что Константин сидит уже семь недель в доме предварительного заключения. И он сам, и мы убеждены, что в основе этого лежит недоразумение, а потому относимся к этому спокойно, но все-таки это крайне неприятно».[89] 4 февраля 1929 г. Константин был освобожден, и 5 февраля Н. И. Кареев отправляет письмо: «За все это время и он (Константин. — *В. З.*) (у меня было три свидания), и мы были относительно спокойны, так как совершенно искренне были уверены, что причины всего в каком-то недоразумении».[90]

Более драматично складывалась его собственная творческая судьба. Так, 5 января 1928 г. он писал Н. П. Корелиной: «Хотя мне почти 78 год, я чувствую себя годным для работы, а между тем от общественной деятельности я отшит совершенно, от преподавательской почти, а писательская тормозится невозможностью печататься».[91] Были и радостные события в жизни ученого. В феврале 1929 г. Н. И. Кареева избрали почетным членом АН СССР. И хотя свое приятное ощущение от этого события Н. И. Кареев стремится приглушить (ведь ему уже почти 79 лет), тем не менее оно проскальзывает в письме от 5 февраля 1929 г. «Меня выбрали в почетные члены Ак. Наук, — писал Кареев, — но я отнесся к этому высшему в ученом мире отличию довольно-таки равнодушно. Тем не менее пойду сегодня на торжественный акт, где „будут провозглашены", как сказано в пригласительном билете, вновь избранные».[92]

Через несколько месяцев после избрания Кареева почетным членом АН СССР последовало решение о назначении ему персональной пенсии в высшем размере. По предложению В. П. Волгина, заявление об этом сделал академик В. П. Бузескул. «Любопытно, — писал Бузескул Карееву 1 октября 1930 г., — что в заседании... присутствовали Бухарин, Лукин и Деборин, и они не только не возражали, но отнеслись сочувственно к моему заявлению».[93] Избрание в почетные академики придало Н. И. Карееву новые силы. Он стал участвовать в работе Академии Наук, интересоваться развитием исторической науки в СССР. Свидетельством этого является, например, лекция Н. И. Кареева на тему «Отношение русских историков к социологии», прочитанная им по приглашению академика В. И. Вернадского (председателя комиссии по истории знаний при АН СССР) 18 мая 1930 г. в малом конференц-зале.[94]

---

[89] ЦГИАМ. Ф. 2202. Оп. 3. Д. 3. Т. 1. Л. 93об.
[90] Там же. Л. 88.
[91] Там же. Л. 82, 82об.
[92] Там же. Л. 99.
[93] ГБЛ. Ф. 119. П. 5. Д. 152.
[94] Там же. П. 18. Д. 40. Л. 2.

Последние полтора месяца жизни Н. И. Кареева отмечены глубокими переживаниями, связанными с той критикой, которая прозвучала в его адрес на методологической секции общества историков-марксистов, которая была проведена 18 декабря 1930 г.[95] Академик Н. М. Лукин выдвинул против Н. И. Кареева чудовищные обвинения.[96] Н. И. Кареев написал и отправил письмо президенту Академии наук А. П. Карпинскому и непременному секретарю В. П. Волгину, в котором протестовал против заявлений Н. М. Лукина. Н. И. Кареев писал, что академик Н. М. Лукин выходит за рамки чисто научной полемики, что его «заявления и фактически погрешают правдой, потому что во всех моих писаниях академик Лукин не может указать ни одного листа, который отражал бы упомянутые реставрационные стремления, как и не существует и ряда антимарксистских работ моих в иностранной печати, с какими бы то ни было методологическими выкриками».[97]

Конечно, ни первое, ни второе утверждение Лукина не подтверждаются фактами. Но после учиненного разноса Кареев ждал «нового нападения» и об этом писал в письме к Н. П. Корелиной 20 января (4 февраля) 1931 г. (письмо было завершено за две недели до его кончины и хранилось в письменном столе Кареева): «Вчера (30 января 1931 г. — *В. З.*) я заходил на одно заседание Ак. Наук (они теперь публичны) и созерцал и слушал Лукина. Последний ученик Виппера, которого он тоже не пощадил в своем докладе. Что касается до моего протеста, о котором я Вам писал месяц тому назад, то он, конечно, остался ударом хлыста по воде, и только нужно ожидать нового нападения».[98]

18 февраля 1931 г. Н. И. Кареев скончался. Так завершился большой — и далеко не простой — жизненный путь ученого.

5

Н. И. Кареев оставил поистине огромное научное наследие, включающее и опубликованные, и архивные труды. В книге «Из далекого и близкого прошлого: Сборник этюдов из всеобщей истории в честь пятидесятилетия научной жизни Н. И. Кареева» (Пг.; М., 1923) помещен список научных тру-

---

[95] Информация об этом заседании была напечатана в ленинградской газете (Красная газета. Вечерний выпуск. 1930. № 305), из которой Н. И. Кареев и узнал о порочащих его обвинениях. Подробная стенограмма этого заседания опубликована в «Историке-марксисте» (1931. № 21. С. 44—86). Журнал вышел уже после смерти Н. И. Кареева.

[96] Буржуазные историки Запада в СССР (Тарле, Петрушевский, Кареев, Бузескул и др.)//Историк-марксист. 1931. Т. 21. С. 48 и др. — Акад. Лукин связал имя Кареева с едва закончившимся (25 ноября — 7 декабря 1930 г.) процессом «Промпартии», упрекнул ученого в реставрационных стремлениях свергнутых классов, в «антимарксистских выкриках» на страницах иностранных изданий и проч.

[97] Архив АН СССР (ЛО). Ф. 208. Оп. 3. Д. 253. Л. 4.

[98] ЦГИАМ. Ф. 2202. Оп. 3. Д. 3. Т. 1. Л. 126.

дов ученого, включающий более 350 названий и охватывающий время с 1868 по 1923 г. Однако в опубликованном перечне трудов за 1917—1923 гг. названы не все работы, находящиеся в архиве. Этот пробел восполняет составленный нами и помещенный в данной книге список произведений Н. И. Кареева, созданных ученым после 1917 г., куда входят его работы, находящиеся в различных архивах страны, а также те, которые были опубликованы у нас или за рубежом. Этот список включает более 110 наименований, но и его нельзя считать окончательным, так как могут быть обнаружены еще неизвестные сочинения Н. И. Кареева.[99] Таким образом, на сегодняшний день научное наследие Н. И. Кареева исчисляется более чем 460 работами. Причем только личный фонд Н. И. Кареева (Ф. 119) в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина в Москве содержит более 12 тыс. листов. Кроме того, материалы о Н. И. Карееве обнаружены нами в Центральном государственном историческом архиве Москвы, Государственном историческом архиве Ленинградской области, Отделе рукописей Института русской литературы, Центральном государственном архиве СССР в Ленинграде, Центральном государственном архиве Октябрьской революции и социалистического строительства в Москве и Ленинграде, архивах Академии наук СССР в Москве и Ленинграде и других архивах.

Среди архивных трудов Н. И. Кареева особый интерес представляет огромная рукопись его мемуаров. «Прожитое и пережитое» Н. И. Кареев создавал в течение 7 лет — с 1921 по 1928 г. с перерывами, иногда довольно продолжительными. Этот труд — большая рукопись, разделенная на 14 глав. Как видно даже из их названий, некоторые из глав представляют собой значительные «полотна» российской действительности: «Петербург в начале XX века», «Вставная глава о революции», «Новые заграничные поездки» и др.

В центре воспоминаний Кареева, как и любых мемуаров, — их автор, его внутренний мир, взаимосвязи с внешними обстоятельствами, взаимоотношения с окружающими людьми. Может быть, самой характерной особенностью рукописи «Прожитое и пережитое» является то, что она написана человеком, стоявшим в центре передовой научной мысли России и Западной Европы, искавшим и боровшимся за лучшие идеалы, человеком, умудренным историческим опытом, как немногие в нашей российской действительности, написана с позиций глубочайшего демократизма.

Обширна география воспоминаний Кареева: затерявшееся в глуши Смоленщины сельцо Аносово и крупнейшие города мира — Москва, Варшава, Париж, Берлин, Прага, Вена, Рим, Лондон и, наконец, Петербург—Ленинград.

---

[99] См. с. 361—368 настоящей книги.

Перебравшись в конце 1884 г. из Варшавы в «Северную Пальмиру», Н. И. Кареев остается здесь до последних дней жизни. Именно в Петербурге—Ленинграде во всем блеске разворачивается его научная, педагогическая и общественно-политическая деятельность. Здесь он оказался в вихре первой русской революции, боролся с ее недругами, которые посадили его в Петропавловскую крепость. В этом славном русском городе его избрали в 1910 г. членом-корреспондентом, а в 1929 г. почетным членом Академии наук СССР. Здесь он пережил и радостные и горькие дни, месяцы и годы своей жизни. Здесь встретился со своими друзьями: Г. А. Лопатиным, Н. К. Михайловским, М. М. Ковалевским, И. В. Лучицким, В. Фигнер, Н. В. Крыленко (товарищ Абрам), Е. В. Тарле и многими другими. Здесь спорил со своими оппонентами: С. Ю. Витте, П. Д. Святополк-Мирским, И. Д. Деляновым, Н. П. Боголеповым, А. Ф. Керенским и многими другими.

Н. И. Кареев был дружен с выдающимися французскими историками Г. Моно (зятем А. И. Герцена), Фюстель де Куланжем, А. Оларом, А. Сорелем, А. Матьезом. Обо всем этом (и многом другом) идет речь в мемуарах Н. И. Кареева. Перед читателем проходят картины научной, педагогической и общественно-политической жизни (в том числе заграничной). В воспоминаниях мы найдем огромное количество имен отечественных и зарубежных революционеров, ученых, политических деятелей, литераторов, которым он дает краткие, емкие и запоминающиеся характеристики, высказывает свое отношение практически ко всем в то время существовавшим течениям политической, общественной и научной мысли европейских стран.

Прежде чем представить читателю сами мемуары, хочется сказать несколько слов об отношении Н. И. Кареева к марксизму. Освещая эту проблему, следует отметить то внимание, которое уделяли Н. И. Карееву К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин. Как уже нами отмечалось, К. Маркс и Ф. Энгельс дали высокую оценку книге Кареева «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века». В. И. Ленин в статье «Карл Маркс» для Энциклопедического словаря Гранат назвал оба издания другой работы Н. И. Кареева «Старые и новые этюды об экономическом материализме» (СПб., 1896) и 2-е изд., вышедшее в 1913 г. под другим заглавием: «Критика экономического материализма».[100] Это весьма важная информация, поскольку, как писал Ленин, в редакции изданий Гранат ему «удалось решить трудную задачу, втиснуть изложение в рамки 75 тысяч букв или около того... литературу приходилось усиленно сжимать (15 000 было ультимативно)...[101] вы-

[100] Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 92.

[101] Таково, по-видимому, было требование редакции Энциклопедического словаря Гранат, по заказу которого В. И. Ленин писал статью «Карл Маркс» (Там же. С. 413—414).

бирать *существенное* разных направлений (конечно, с преобладанием *за* Маркса)».[102] В. И. Ленин, критикуя Кареева по идейным и политическим вопросам,[103] ценил его как ученого, изучал его труды, богатые фактическим материалом, и даже сделал конспект одной из глав четвертого тома его «Истории Западной Европы в новое время».[104]

Однако в дальнейшем научные исследования Н. И. Кареева подверглись конъюнктурным искажениям. В конце 20-х годов насаждавшиеся семинарская прямолинейность и категоричность в суждениях и оценках привели к тому, что в первом издании Малой Советской Энциклопедии Н. И. Кареев был представлен как «историк-идеалист» и «противник марксизма».[105] Эта оценка стала кочевать из статьи в статью, из одной книги в другую и сохранилась до недавнего времени. В действительности же отношение Н. И. Кареева к К. Марксу и марксизму было более сложным и неодинаковым в различные периоды жизни ученого, в отличие от представленного в энциклопедическом издании и последующих за ним публикациях.[106]

Источниковый материал позволяет установить, по крайней мере, четыре этапа в научной деятельности Н. И. Кареева, когда менялось его отношение к К. Марксу и марксизму: первый этап — вторая половина 70-х годов XIX в.; второй — 80-е годы; третий — с начала 90-х годов XIX в. до Великой Октябрьской революции и четвертый — от Великого Октября до смерти ученого.

Первый этап охватывает хотя и короткий, но очень важный в развитии мировоззрения ученого промежуток времени. Это были годы создания Н. И. Кареевым своих лучших конкретно-исторических исследований «Крестьяне и крестьянский вопрос» и «Очерк истории французских крестьян с древнейших времен до 1789 года» (Варшава, 1881), в которых влияние труда К. Маркса «Капитал» проявилось особенно сильно.

С 80-х годов XIX в. начинается второй этап в развитии мировоззрения Н. И. Кареева. На Западе уже в 70-х годах наступила реакция, а в России ее торжеством начались 80-е годы. Акт 1 марта исчерпал революционность народничества. Расправа царизма над цареубийцами и наступившая вскоре свирепая реакция заставили отойти от движения даже некоторых

---

[102] Там же. Полн. собр. соч. Т. 49. С. 31.

[103] См. там же. Полн. собр. соч. Т. 9. С. 239; Т. 6. С. 50; Т. 1. С. 141.

[104] См.: Ленин В. И. Конспективные заметки по книге Н. Кареева «История Западной Европы». Т. IV. Гл. VIII: Из истории войн Н[аполеона] с Г[е]рм[ан]ией//Ленинский сборник. Т. XI. С. 49—51.

[105] Малая Советская Энциклопедия. 1-е изд. Т. 3. М., 1928. С. 722. — Эта оценка вызвала резкое возражение со стороны Кареева (ГБЛ. Ф. 119. П. 43. Д. 7. Л. 1—6).

[106] См., напр.: Вайнштейн О. Л. Очерки развития буржуазной философии и методологии истории в XIX—XX веках. Л., 1979. С. 176, прим. 14.

революционеров. Это не могло не повлиять на позиции сочувствовавшей народничеству интеллигенции, к числу которой относился и Кареев. В нем берут верх либерально-буржуазные тенденции, он увлекается позитивизмом. В этот период Кареев начинает сомневаться в истинности марксистского учения. Однако он только отошел от Маркса, но не стал его противником. В это десятилетие ученый усиленно занимается теоретическими вопросами исторической науки, создавая докторскую диссертацию, пишет книгу «Сущность исторического прогресса и роль личности в истории» (СПб., 1890), публикует свои «Введения» к читавшимся им историческим курсам. В этих работах он не использовал идеи К. Маркса и Ф. Энгельса об историческом развитии. Занимаясь философией истории в библиотеках Парижа, Берлина, Варшавы, Кареев прочно становится на почву позитивизма. К тому же предстояла защита докторской диссертации в условиях жесткой политической реакции, и Кареев понимал, что даже краткое упоминание о марксизме принесет ему еще больше осложнений, чем при защите и после защиты в 1879 г., когда состоялся его магистерский диспут, так много наделавший шума в Москве.

И тем не менее это негласное неприятие идей Маркса не прошло для Кареева бесследно. В начале 90-х годов XIX в. и в последующие годы он опубликовал ряд статей историко-философского содержания, в которых выступил в качестве оппонента марксистских взглядов на историю.[107] В эти же годы он довольно резко полемизирует с Г. В. Плехановым, и с этого времени мы датируем начало третьего этапа в развитии отношений Н. И. Кареева к К. Марксу и марксизму.

В одной из своих работ этого времени Кареев выступил, по существу, с критикой марксизма как историко-философской теории.[108] Наиболее отчетливо отношение Кареева к марксизму выражено в его книге «Введение в изучение социологии» (СПб., 1897; 2-е изд.— 1907; 3-е изд.— 1913 г.), в одной из глав которой — «Экономический материализм как социологическая теория» — Кареев высказал положения, далекие от научного понимания марксизма. Пропаганда таких идей вызвала недоумение и решительный протест у прогрессивно мыслящей молодежи, о чем Кареев честно рассказал в своих воспоминаниях.[109] После

[107] Кареев Н. И. 1) Политическая экономия и теория исторического процесса//Историческое обозрение. 1891. № 2; 2) Экономическое направление в истории//Юридический вестник. 1891. № 5—6; 3) Заметки об экономическом направлении в истории//Историческое обозрение. 1892. № 4; 4) По поводу новой формулировки «материальной истории»//Там же. № 5; 5) Источники исторических перемен//РБ. 1892. № 1; 6) Новая попытка экономического обоснования истории//Там же. 1894. № 1; 7) Экономический материализм в истории//ВЕ. 1894. № 7—9, и др.

[108] Кареев Н. И. Критика экономического материализма: старые и новые этюды. 2-е изд. СПб., 1913. С. VII.

[109] См. с. 195—196 настоящей книги.

этого Кареев не публиковал принципиально новые статьи о марксизме, из чего, разумеется, никак нельзя сделать заключения, что учением Маркса Кареев перестал интересоваться. Скорее наоборот, в своих конкретно-исторических работах он посвящает немало страниц К. Марксу и Ф. Энгельсу, их теории,[110] что явилось одной из причин задержания обоих томов (5 и 6-го) «Истории Западной Европы в новое время» цензурой. Более того, в предисловии одной из книг Кареев писал о «частном усвоении марксизма».[111]

Как видим, отношение Кареева к марксизму в это время было двойственным: отрицание марксизма как научной теории и одновременно с этим использование в своих конкретно-исторических исследованиях оценок Марксом и Энгельсом западноевропейской истории.

После Октября отношение историка к марксизму должно было неизбежно измениться, поскольку свершилось событие, подтвердившее учение Маркса о развитии общества. И такая перемена действительно произошла. Изучение различных материалов, связанных с последним периодом жизни и деятельности Кареева, свидетельствует о том, что русский историк прежде всего пересмотрел тематику своих исследований в сторону требований современной действительности. Появилось несколько работ Кареева, посвященных крупнейшим историческим сдвигам в Европе.[112] Кареев штудирует труды К. Маркса и Ф. Энгельса. В результате появляется ряд исследований, посвященных историческим взглядам основоположников научного коммунизма. На первое место здесь надо поставить рукопись книги «Французская революция в философии истории», в особенности ее 10-ю главу — «Французская революция в понимании Карла Маркса»,[113] где историк восстановил Марксову концепцию «грозы осьмнадцатого века» и, в частности, подчеркнул, что после возникновения и распространения марксизма «люди иначе, чем прежде, стали понимать общественные отношения и приступили к их перестройке на основе новых идей».[114]

Как бы продолжением изложения исторических взглядов К. Маркса явилась большая статья Кареева «Историография Франции», помещенная в 45-м томе Энциклопедического сло-

---

[110] Кареев Н. И. История Западной Европы в новое время. Т. 5. 3-е изд. СПб., 1908. С. 363—370, 387—395, 873—884; Т. 6. Ч. 1. СПб., 1909. С. 275—281; Ч. 2. С. 480—481, 613—616.

[111] Там же. Т. 6, ч. 1. С. VIII.

[112] Кареев Н. И. 1) Великая Французская революция; Вып. 1—5. Пг., 1918; 2) Очерки социально-экономической истории Западной Европы в новейшее время. Пг., 1923; 3) Две английские революции. Пг., 1924; 4) Историки Французской революции. Т. 1—3. Л., 1924; 5) Французские крестьяне и рабочие в эпоху революции//ГБЛ. Ф. 119. П. 36. Д. 17—25. Л. 1—280 (написана в 1923 г.), и др.

[113] ГБЛ. Ф. 119. П. 36. Д. 12. Л. 1—28.

[114] Там же. Л. 17.

варя Русского библиографического института Гранат, 7-е издание которого выходило уже в советское время. Анализируя литературу о Французской революции 1848 г., Кареев писал, что она уже устарела, «чего отнюдь нельзя сказать о статьях Карла Маркса о французских событиях в „Рейнской газете" за 1850 год, изданных впоследствии (1895) в виде книги под заголовком „Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 год"».[115] Тщательное изучение Маркса Кареев продолжал почти до самой своей кончины: в его записной книжке стоит отметка от 8 января 1931 г.: «Работа об отношении к Марксу».[116] В рукописи книги «Основы русской социологии» (1930), законченной незадолго до кончины, Кареев приходит к знаменательному выводу: «Октябрьская революция, совершившаяся под знаменем марксизма, создала в высшей степени благоприятные условия для разработки и распространения путем печати и путем школьного преподавания марксистской социологии. Когда почти четверть века перед этим оппоненты указывали на недостаточную обоснованность главных положений доктрины и на неразработанность ее как системы, они имели в виду тогдашнее положение предмета в марксистской литературе. Это положение изменилось и количественно и качественно».[117]

Как видим, отношение Кареева к марксизму не всегда было одинаковым. Изменение его отношения к этому учению в отдельные времена было конъюнктурным, навевалось политическими бурями. Однако влияние К. Маркса на его творчество было постоянным и закончилось в советское время признанием Кареевым марксизма как ведущей общественной теории.

6

Автор «Прожитого и пережитого», разумеется, понимал все значение написанных им мемуаров, поэтому сразу же по их окончании начал хлопотать о публикации. Одно из издательств (пока не удалось установить, какое) приняло воспоминания Н. И. Кареева, однако по неизвестным для нас причинам почти сразу же вернуло их владельцу (об этом мы узнаем из письма Н. И. Кареева к Н. П. Корелиной от 9—11 марта 1929 г.). «Меня, — писал Н. И. Кареев, — окрылила было надежда скоро увидеть свои воспоминания в печати, да дело как-то затянулось, и ничего определенного впереди не видно».[118]

Надежда возродилась нежданно-негаданно. Соратник В. И. Ленина, профессиональный революционер В. Д. Бонч-Бруевич в это время возглавлял издательство «Жизнь и знание». Им было затеяно издание непериодических сборников

---

[115] Энциклопедический словарь Гранат. Т. 45. (ч. 1). Б. м., б. г. С. 415.
[116] ГБЛ. Ф. 119. П. 18. Д. 34. Л. 21.
[117] Там же. Л. 379—380.
[118] ЦГИАМ. Ф. 2202. Оп. 3. Д. 3. Т. 1. Л. 97, 97об.

под названием «Минувшее». Слухи об этом сборнике дошли до Н. И. Кареева. 13 января 1930 г. Н. И. Кареев предложил свои услуги В. Д. Бонч-Бруевичу, сообщив, что у него есть «рассказ об изгнании (его, Н. И. Кареева. — *В. З.*) из университета в 1899 г. Он был написан для „Былого", которое тем временем прекратило существовать».[119]

Видимо, между ними завязалась оживленная переписка. В документации переписки заметно отсутствие нескольких писем Н. И. Кареева к В. Д. Бонч-Бруевичу (и его ответов), поскольку на письмо-предложение Кареева от 13 января 1930 г. есть частичный ответ В. Д. Бонч-Бруевича в письме от 9 августа 1930 г. (Владимир Дмитриевич не мог молчать столь продолжительное время, т. е. почти 8 месяцев). В этом письме Бонч-Бруевич предлагал Карееву написать свои воспоминания о 9 января,[120] поскольку первый сборник «Минувшее», по-видимому, посвящался революции 1905 г. Н. И. Кареев был приглашен как один из его авторов в упомянутом письме от 9 августа, где В. Д. Бонч-Бруевич писал: «Ваша весьма ценная работа действительно мною может быть напечатана. Так как в настоящее время сборники „Минувшее" начинают действительно выходить в свет, и я с твердой убежденностью могу сказать, что их будет выходить много,[121] то и прошу Вас не отказать в высылке Ваших воспоминаний о 1905 г., самым подробным образом описав Ваше хождение к министрам с заступничеством за молодежь, Ваш арест и сидение в Петропавловской крепости. Я слышал, что у Вас есть фотография того времени[122] — пришлите ее обязательно. Само собой понятно, что все другие Ваши воспоминания о М. М. Ковалевском или о др. все крайне интересно».[123]

Н. И. Кареев сразу ощутил расположенность к нему Бонч-Бруевича, две фразы из письма которого его окрылили: «Все другие Ваши воспоминания — все крайне интересно», «„Минувшее" будет выходить много». И незамедлительно летит кареевское письмо в Москву: «Охотно буду писать и впредь... Инте-

---

[119] Н. И. Кареев — В. Д. Бонч-Бруевичу. 13 января 1930 г.//ГБЛ. Ф. 369. П. 282. Д. 41. Л. 2.

[120] В. Д. Бонч-Бруевич — Н. И. Карееву. 9 августа 1930 г.//Там же. П. 159. Д. 6. Л. 1.

[121] Надежды В. Д. Бонч-Бруевича не оправдались: как свидетельствует его переписка с Кареевым, было подготовлено три сборника «Минувшее», но ни один из них не увидел свет.

[122] В. Д. Бонч-Бруевич имеет в виду фотографию с большой картины художницы Е. Зарудной-Кавос, изображающую Н. И. Кареева сидящим на железной кровати в камере Петропавловской крепости и склоненного над книгой. По свидетельству О. Г. Верейского, картина была написана художницей по точному рассказу Н. И. Кареева. Она висела на стене в рабочем кабинете историка (О. Г. Верейский — В. П. Золотареву. 24 марта 1981 г.). Фотография хранится в архиве АН СССР (ЛО) (Ф. 980. Оп. 1. Д. 92).

[123] ГБЛ. Ф. 369. П. 159. Д. 6. Л. 1.

ресно было узнать от Вас, не взялись ли бы Вы издать книгу моих воспоминаний, целую автобиографию за 80 лет моей жизни (листов в 15)».[124] Отправив это письмо 17 октября 1930 г., Н. И. Кареев сразу же садится за очерк о 9 января 1905 г., и уже 29 октября сам относит на почту пакет с рассказом о кровавом воскресеньи.

Однако тревожно на душе: что станется с воспоминаниями? Кареев решает чуть пространнее рассказать Бонч-Бруевичу о своих мемуарах. «Что касается до целой книги моих воспоминаний, — пишет он в тот же день своему адресату, — то она охватывает восемь десятилетий моей жизни: детство, средняя школа, университет, учительство, заграничная командировка, профессура в Варшаве (с польскими отношениями), профессура и общественная деятельность в Петербурге, заграничные поездки и т. д. Время до 1917 г. изложено на 270 стр., а после еще на 50 страницах».[125] Бонч-Бруевич сразу оценил всю важность кареевской книги воспоминаний и даже договорился с отделом «Academia» Литературно-художественного Госиздата. Не без удовольствия сообщает он об этом почтенному автору, приноровив эту новость к праздничному дню — 7 ноября 1930 г.: «Что же касается издания биографии, о которой Вы сообщаете и которая будет около 12—15 печатных листов, то, повторяю, ее можно будет издать отдельной книжечкой, так как мною дотолковано с отделом „Academia"».[126]

Ну вот, кажется, и все — воспоминания увидят свет, найдут своего читателя. Но радоваться было рано: после заседания методологической секции общества историков-марксистов и нашумевшей ярлычно-дубиночной критики, которая прозвучала на этом совещании в адрес отечественных историков, в том числе и Н. И. Кареева, стало ясно, что публикация мемуаров никак не могла тогда состояться (как, впрочем, и в последующие годы).

Теперь, по прошествии (с последней попытки их публикации) без малого почти шести десятилетий, в условиях демократизации и гласности такая возможность открылась. Выход в свет воспоминаний выдающегося русского историка Н. И. Кареева «Прожитое и пережитое» восполнит многие пробелы (а их еще немало) в общей картине истории отечественной исторической науки, тем самым способствуя прогрессу отечественной культуры в самом широком понимании этого слова, о чем столь много заботился Н. И. Кареев. Нельзя не отметить,

---

[124] Н. И. Кареев — В. Д. Бонч-Бруевичу. 17 октября 1930 г.//Там же. П. 282. Д. 41. Л. 4.

[125] Н. И. Кареев — В. Д. Бонч-Бруевичу. 29 октября 1930 г.//Там же. Л. 7.

[126] В. Д. Бонч-Бруевич — Н. И. Карееву. 7 ноября 1930 г.//Там же. П. 159. Д. 6. Л. 5об.

что первое издание мемуаров Н. И. Кареева[127] предпринимает издательство Ленинградского университета. А для славы университета выдающийся историк трудился 37 лет (1885—1899 и 1900—1929 гг.).

Издание «Прожитого и пережитого» — это дань Ленинградского университета Н. И. Карееву, одному из своих самых заслуженных деятелей конца XIX в. — первых десятилетий нашего столетия.

* *
*

Воспоминания Н. И. Кареева воспроизводятся с его собственноручной рукописи, хранящейся в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина в Москве.[128] Готовя рукопись к изданию, Н. И. Кареев тщательно отредактировал ее (следы этой работы хорошо сохранились), и она была перепечатана на машинке. Много позже первый экземпляр машинописи[129] Елена Николаевна Верейская, дочь Н. И. Кареева, передала (вероятно, в конце 50-х — начале 60-х годов) советскому историку Б. Г. Веберу, после кончины которого (1984 г.) машинопись оказалась у Ореста Георгиевича Верейского. О. Г. Верейский любезно предоставил нам этот машинописный текст, который был сверен с архивным оригиналом.

Предоставление машинописи мемуаров Кареева в огромной степени облегчило их подготовку к изданию, за что приносим глубочайшую благодарность их обладателю, академику Академии Художеств СССР О. Г. Верейскому. Публикуемый текст «Прожитого и пережитого» полностью соответствует архивной рукописи Н. И. Кареева. Основная часть иллюстраций к мемуарам подобрана из личного фонда Н. И. Кареева архива Академии наук СССР (Ленинградское отделение) и воспроизводится впервые (лишь частично иконографический материал заимствован из различных отечественных периодических изданий). Несомненно ценным документальным материалом в книге мемуаров Кареева являются блестяще исполненные рисунки Г. С. Верейского и О. Г. Верейского.

В. П. Золотарев

[127] Небольшой отрывок из мемуаров Н. И. Кареева был опубликован в кн.: Ленинградский университет в воспоминаниях современников: В 3 т./Под ред. В. В. Мавродина, В. А. Ежова. Т. 2. 1895—1917. Л., 1982. С. 101—106.

[128] ГБЛ. Ф. 119. П. 44. Д. 1—13.

[129] Второй экземпляр машинописи Е. Н. Верейская в 1956 г. подарила музею Ленинградского университета, где он и по сей день хранится.





ПРОЖИТОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ



ПРЕДИСЛОВИЕ[1]

Я сохранил за этой книгой то название, которое дал ей в мыслях, когда только задумывал ее написать: «Прожитое и пережитое». «Прожитое», это — то, что в жизни стало прошедшим, протекшим, что было, но прошло. Слово «пережитое» заключает в себе другой оттенок, притом даже не один в зависимости от разного значения того, что в этом слове является приставкою (т. е. «пере»). «Пережить» — значит и продолжить еще жить после кого или чего-либо, и испытать от жизни нечто, или, наконец, как бы снова, во второй, в третий и не знаю который раз нечто пережить в воспоминании своем, в воображении. Я пережил много людей, с которыми жил, которых знал и любил (или не любил), и много событий, переживал целый ряд впечатлений, исходивших от жизни, многое думал и чувствовал и ко многому стремился, достигая этого или не достигая, а главное, это — то, что, набрасывая на бумагу одну за другою строки этой книги, я снова переживал свою жизнь в воспоминании. В этом последнем смысле главным образом я и взял слово «пережитое», хотя не исключал совсем и других его значений. Если бы я обладал художественным талантом, т. е. или бы мои припоминания были более образными, нежели отвлеченными, и или бы я умел посредством слова четко и ярко воспроизводить сохранившиеся в памяти моей образы прошлого (а они все-таки сохранились!), я, конечно, написал бы

эти свои воспоминания более искусно и интересно, но факты остаются фактами и в более бледной передаче.

Не ставя себе художественной задачи, я и не прибегал к приемам пробных набросков одного и того же в разных редакциях, переделок раз написанного заново, более тщательной отделки деталей для придания большей выразительности отдельным фразам и даже словам. Книга имеет характер более непосредственного воспроизведения беглого переживания прошлого в воспоминании во времени самого процесса писания своих отдельных припоминаний на бумагу. Как написалось, так без всяких литературных прикрас оно и осталось для печатания. Я даже предпочел не делать никаких вставок, чтобы сохранить за написанным этот характер непосредственности, решив отвести для дополнений, которые покажутся необходимыми, подстрочные примечания. Притом я все писал исключительно по памяти, не имея под руками никаких записей, и только впоследствии справился, где было можно, точно ли я, например, указал на ту или другую хронологическую дату.

Книгу эту я написал в два приема[2]: большую ее часть летом 192[1] в деревне в Смол[енской] губ[ернии], где привык проводить этот сезон с детских лет, последнюю главу, о которой сначала совсем не думал, летом 1923 года на даче под Петербургом, и в оба раза я брался за перо, так сказать, неожиданно для самого себя. Мысль о написании мемуаров у меня уже давно носилась в голове, больше, кажется, внушенная другими, которые слушали мои откровенные рассказы о прошлом, чем родившаяся из собственной потребности, но мне все как-то было недосужно и трудно приступить к выполнению этого, казалось бы, сложного дела, и я откладывал да откладывал приступ к этой работе на неопределенное время, в том предположении, что она может затянуться надолго, но, к моему удивлению, летом 192[1] я совершенно неожиданно, по какому-то вдохновению, сел за стол и, не отрываясь от работы для какого-либо чтения или другого писания, так сразу, с перерывами для сна, отдыха и принятия пищи, рассказал все, что пережил за семь десятков лет своей жизни. Такому же внезапному порыву обязана своим происхождением и последняя глава.

То обстоятельство, что я говорю в этой книге и об очень недавнем прошлом и упоминаю вообще о многих людях, еще здравствующих ныне, и что я задумал напечатать ее при своей жизни, конечно, не могло не отразиться на некоторой содержательности моих воспоминаний относительно лиц и событий, но центр тяжести моих воспоминаний лежит все-таки в более отдаленном прошлом, начиная с детства и отрочества. Я родился еще в середине прошлого века, в годы наибольшей реакции конца царствования Николая I, и застал еще существование крепостного права. Чем дальше от настоящего вспоми-

навшееся мною прошлое, тем с большим для самого себя интересом я о нем писал. Думаю, что и читатель это почувствует.

Примечания,[3] которые читатель найдет в «Прожитом и пережитом», написаны все уже после того, как была окончена вся книга. Я мог бы, конечно, их умножить и сделать многие более подробными, но боялся, чтобы они не превысили текста книги. В этих примечаниях особое место принадлежит ссылкам на отдельные статьи, в которых я уже рассказывал что-либо о своем прошлом.

28/VII 1923





Глава первая

МУРАВИШНИКИ

Характер самых ранних воспоминаний. — Жизнь в Муравишниках. — Дедушка Осип Иванович и его семья. — Некоторые черты помещичьего быта. — Муравишниковская дворня. — Время Крымской войны. — Мое обучение чтению. — Религиозное воспитание. — Муравишниковский дьякон. — Некоторые эпизодические воспоминания. — Мой характер в детстве. — Одно из ранних моих сновидений. — Ночные страхи. — Воспоминания о тетках, дядях и других родных. — Некоторые черты старых нравов.

Я помню себя с довольно-таки раннего возраста, но как помню? В прошлом, позади, вдали целый океан забвения, на котором там и сям, да и то изредка разбросаны маленькие островки отрывочных, но все-таки отчетливых воспоминаний, как бы они ни заволакивались дымкою протекших десятилетий. Впрочем, так ли я говорю? Может ли здесь речь идти о забвении? Не правильнее ли сказать, что то была пустыня бессознательности, когда переживания следовали одно за другим, не останавливая на себе хотя мимолетного внимания, не оставляя по себе никаких длительных следов, а только впоследствии исчезавших из памяти и постепенно забывавшихся? По крайней мере, припоминаются мне лишь немногие моменты. Вот я занозил себе пальчик, и мама вынимает мне занозу: мы сидим на лавочке у большой избы, в которой живем, а перед нами зеленый луг, и на нем очень близко большая, белая церковь, причем тут же стоит и меня забавляет какой-то присказкой «дедушка», старый мужик, имя которого я только еще помнил, но теперь забыл. Это хозяин той избы, в которой мы жили. Отец мой, Иван Васильевич,[1] был военный офицер, и его полк стоял в Тверской губернии, село же наше называлось Кесово, чего я никогда не забывал, между прочим потому, что там родился мой младший брат; впоследствии нам часто говорили, что я родился в Москве, а брат Вася в Кесове.

Когда же могла произойти запечатлевшаяся в моей памяти

сцена? Мне исполнился только год с двумя месяцами, когда родился брат, что случилось в конце января 1851 года,— вот, значит, когда мы жили в Кесове, а через два года отец уже отправился на начавшуюся тогда войну с турками.

Как перед глазами у меня и сейчас еще два момента. Я в карете с матерью, с няней и еще с одной барышней, но что-то случилось: все кричат испуганными голосами, через окно в карету (помню, с левой стороны) просунулась голова белой лошади, в другое окно, которое очутилось над нашими головами, меня за ручонку вытаскивает папа, а мама становится одной ногой на голову белой лошади, чтобы тоже через окно вылезти из кареты. Это наш экипаж провалился под мост и, за что-то зацепившись правыми колесами, повис над водой. Это было где-то около Кесова, когда, кажется, мы из него (из экипажа. — *В. З.*) вылезали, а отец и брат барышни, сидевшей с нами в карете, сопровождали нас на беговых дрожках. Смутно помню и барышню, и их мать, но фамилии их удержались в моей памяти — Милюковы.

Тогда ли или в другой раз, но как теперь вижу себя и моих родителей, поздно вечером подъезжавшими к какому-то городу, сидя не то на бревнах, не то на тёсе, которые везлись в город в целом таком обозе. Что было перед этим (может быть, провал моста) и после этого, не помню: вижу только один этот момент. Так в темную ночь, когда ни зги не видно, на мгновенье блеснет молния и все осветится, а потом снова все погружается во мрак.

Раннее детство — это тот сплошной мрак, лишь изредка прорезываемый вспышками молнии. Во всяком случае, эти воспоминания относятся к первым трем годам моей жизни. Помнится, но смутно, кое-что и другое, хотя, быть может, и по рассказам взрослых, но ясно я вижу только эти три момента, запечатлевшиеся в моей зрительной памяти. Окружающий мир проникал в мое *я* через глаза, а к звукам я, наоборот, был как-то нечувствителен. Помню весьма хорошо, что обратил внимание на гром только лет пяти, если даже не шести. При мне, понятно, часто произносилось это слово, а я не знал, что оно значит, и спрашивал, что называется этим словом.

Я мог бы привести еще кое-какие подробности насчет того, как мое детское внимание как-то сразу замечало и отмечало в уме разные зрительные впечатления, раньше как будто не доходившие до моего сознания. Помню, как уже лет пяти или шести в первый раз залюбовался синенькими цветочками в густой зеленой траве; даже теперь, когда вижу эти самые цветочки, как-то невольно вспоминаю то далекое-далекое время, когда в летний вечер на росистом лугу я в первый раз обратил внимание на эти цветочки; я даже не забыл того места, где это произошло, — опять случай острой зрительной памяти. Помню и тот осенний вечер, когда я впервые увидел во всем

своем величии звездное небо. Мне было тогда уже шесть-семь лет; прежде я либо совсем не видел звезд, так как нас укладывали спать очень рано, или же лучи небесных светил доходили только до моих глаз, не проникая в глубь сознания.

Первые три года моей жизни прошли в постоянных переездах с места на место. Мой отец, как я уже сказал, был военным и из военной семьи. Мой дед со стороны отца (звали его Василий Елисеевич) был генералом и занимал должность полкового командира, когда умер еще в сороковых годах в Москве, где и поселилась его жена и где в ее доме 24 ноября 1850 года я увидел свет в день именин матери. Перед этим отец участвовал в походе на венгерцев, но не дошел и до Польши, когда дальнейшее продвижение оказалось ненужным. Вскоре после этого со своим полком он очутился в Смоленской губернии, где и женился одновременно с несколькими своими полковыми товарищами, большей частью вышедшими в отставку и сделавшимися помещиками. Отец продолжал службу, и в моей детской памяти сохранились названия села Кесово, городов Кашина, Калязина и Дмитрова; в какой из этих городов мы въезжали на бревнах, не могу сказать.

Затем я помню себя уже в имении своего дедушки со стороны матери, Осипа Ивановича Герасимова, умершего, когда мне шел уже пятнадцатый год. В его поместьи, селе Муравишники Сычевского уезда Смоленской губернии, моя мать Екатерина Осиповна, с нами, своими двумя сыновьями, поселилась, когда отец отправился на войну с турками и находился сначала в Молдавии, потом в Крыму. С Муравишниками вообще у меня соединено множество детских, отроческих, юношеских и более поздних воспоминаний. Независимо от того, что там прошла часть моего детства, мы гостили там по летам, пока отец не построился верстах в восьми на земле, полученной моей матерью в приданое, и часто навещали впоследствии живших там родных.

Я помню Муравишники и при деде, и при младшем его сыне, которому досталось это имение, «дяде Васе», и при его сыновьях, Коле, Мише и Володе, умерших один за другим в молодых годах уже в начале XX века. Здесь перед моими глазами, в этом «дворянском гнезде», жили на моей памяти и сошли со сцены три поколения.

В детстве я видел еще крепостную Россию. Освобождение крестьян произошло, когда мне шел одиннадцатый год. Таким образом я помню помещичью жизнь последних годов крепостного права. В Муравишниках был большой одноэтажный деревянный дом, в котором были два зала, гостиная, диванная, несколько жилых комнат, особых помещений для прислуги, кладовых, чуланов и т. п. Этот дом до известной степени разделялся на мужскую и женскую половины, с соответствующими «лакейским» и «девичьими» крыльцами со стороны двора. И на-

селение дома было большое. Дедушка Осип Иванович, бывши уже седым стариком, когда мы у него жили, в молодости служил в военной службе, вышел в отставку в чине штабс-капитана, был по выборам одно время каким-то заседателем. Он принадлежал по состоянию своему к числу помещиков средней руки. Ходил он и летом, и зимой в черном сюртуке с пришитыми к нему владимирским крестом, двумя медалями и пряжкою за бессрочную службу за столько-то лет, у меня даже случайно сохранившуюся. Держал он себя не то чтобы важно, но как-то особенно степенно, хотя и любил добродушно пошутить, что не мешало, однако, и его семье, и домочадцам его все-таки побаиваться. Например, его дочери, даже взрослые и уже сами имевшие детей, курили маленькие дамские трубочки тихонько от «папеньки», хотя и сам он курил «цыгары» довольно, впрочем, сомнительного свойства. Привилегией курить при нем пользовалась из дам только гувернантка моих младших теток, пожилая уже женщина, Екатерина Анатольевна Григорьева, которая впоследствии жила у нас в качестве учительницы французского языка и музыки. Дедушка относился к ней очень почтительно, играл с ней иногда по вечерам в дурачки и охотно слушал ее рассказы. Перед обедом, когда в зале накрывался стол, все домашние обыкновенно были в сборе, большей частью в диванной, и тут один из слуг обносил на подносе графинчик с водкой и несколькими рюмками, кому по чину полагалось пить, но больше одной рюмки не пили, потому что подносик с графинчиком тотчас исчезал. Екатерина Анатольевна была в числе пивших, для чего у нее была своя маленькая рюмочка из белого и красного стекла. Закусывали черным хлебом с солью. Дедушка вел вообще трезвый образ жизни, чего, к сожалению, нельзя сказать о следующем мужском поколении, и только изредка откуда-нибудь из гостей приезжал, как говорили, под хмельком, тотчас же удаляясь от посторонних глаз в свой кабинет, служивший и спальней.

По тому, сколько человек садилось за обеденный стол, можно судить, как велика была жившая в Муравишниках семья. У дедушки, который овдовел в самый день рождения моего брата, было пять дочерей и два сына. Одно время из дочерей замужем были только две, в том числе моя мать, и обе они имели при себе детей, в общем семь мальчиков, да и муж одной из моих теток проживал тут же. Нас, ребят, сажали за общий стол и приучали сидеть смирно, не болтать и не шалить за столом. Оба сына дедушки учились в пятидесятых годах в гимназии и, когда полагалось, приезжали домой, еще более увеличивая число сотрапезников. Далее, в числе обедающих была гувернантка Екатерина Анатольевна и разные родственники, частью проживавшие в Муравишниках, частью подолгу здесь «гостившие», например, старшая сестра дедушки, Анна Ивановна, дожившая чуть ли не до ста лет, какая-то

безответная тетя Уля, заведовавшая кладовыми и часто нас, ребят, угощавшая сладостями, одна из сестер покойной бабушки и одна из (ее. — *В. З.*) дочерей, очень бедствовавшие и находившие приют в Муравишниках, и еще какие-то дедушкины племянники и крестники, то один, то другой, показывавшиеся на неделю — на две и надолго исчезавшие. Средним числом за стол садилось всегда человек, по крайней мере, пятнадцать, иногда и двадцать. Прислуживало всегда три лакея, из которых один, Егор Артемьевич, был специально дедушкиным, исполнявшим вместе с тем должность конторщика. Был еще казачок Митька, получавший из рук дедушки лакомые куски и обученный почему-то благодарить по-польски: «bardzo dzienkuje». Стол был по-деревенски простой, по средам и пятницам, не говоря уже о всех четырех длительных постах, — постный. За ужином ели то же, что и за обедом, и ужинали обыкновенно без свечей, пока было светло, от пасхи до воздвижения, т. е. в течение почти полугода. Только с середины сентября на стол ставились сальные свечи, с которых то и дело особыми щипцами приходилось снимать нагар.

Кроме господ как в самом доме, так и в особой «семейной» и иных помещениях жили многочисленные дворовые, женатые и холостые, с детьми и без детей. Мужскую половину этой части муравишниковского населения составляли лакеи, буфетчики, кучер, «форейтор», никогда форейтором не ездивший, псарь, ткач и еще кое-кто; женскую — горничные, ключница, скотница и т. п., из числа которых выделялась жена упомянутого Егора Артемьевича, ходившая в «головке» как мещанка и величавшаяся Марией Антоновной. В большой проходной комнате, называвшейся девичьей и соединявшей центр дома с комнатами младших теток и Екатерины Анатольевны и с «классной», постоянно сидело несколько девушек, или вышивавших на пяльцах, или плетших кружева на коклюшках.

Патриархальному режиму, царившему в доме, тон задавал дедушка, который держал себя со всеми очень спокойно и ровно. По крайней мере, мы, дети, никогда не слыхали его крика на прислугу и не видели никакого мордобоя. Режим был действительно патриархальный и в то же время, однако, какой-то далекий от духовных интересов. Я не помню, чтобы получалась какая-нибудь газета, кроме разве «Русского Инвалида», а если и получалась, то едва ли ее много читали и, во всяком случае, по поводу ее говорили. Как помимо официальных известий узнавали, что делалось на войне, не знаю. Впрочем, кое-какие известия о ней приходили в письмах, присылавшихся отцом моим матери. Хорошо помню известия о битве при Альма (мне шел четвертый год), о ране, полученной отцом, и о данной ему «Анне на шею»: последняя весть заставила меня даже разреветься не на шутку, потому что Анну я понял, как какую-то женщину, которая должна разлучить

папу с мамой. Мне шел, равным образом, только пятый год, когда я услыхал о смерти Николая I и о воцарении Александра II. Как отнеслись к этому известию в Муравишниках, не помню, да едва ли [я] тогда знал и что-либо понимал, но из последовательности обозначений «первый» и «второй» мой детский умишко вывел заключение, что Николай был вообще первым царем, раньше которого другого не было, и что Александр после него, конечно, должен считаться вторым царем.

Чего-нибудь похожего на библиотеку в Муравишниках не было, и читали здесь вообще очень мало. Лично меня мать научила читать очень рано, вследствие чего на меня даже смотрели как на какой-то феномен, достойный всеобщего внимания и удивления. С этим чтением у меня соединено одно особое воспоминание. Во время нашей муравишниковской жизни мать по какому-то случаю, должно быть, в 1854 году, ездила в Москву, взяв с меня крепкое обещание, что я каждый день буду приходить к Екатерине Анатольевне и немножко читать с нею. Я был ребенок застенчивый, и мне было как-то конфузно идти к мало, казалось, обращавшей на меня внимание гувернантке теток; и вот обещание я не исполнил, хотя постоянно держал его в памяти, и мучился тем, что его не исполнял. Особенно стыдно мне сделалось после возвращения матери. Однако она меня ни о чем не спросила, сам же я ей не решился признаться, и все сошло благополучно, хотя впоследствии я краснел каждый раз, вспоминая об этом эпизоде. Кажется, и вообще о нем я никому не говорил до сего дня. Это был первый случай, когда мне самому себе пришлось признаться, что поступил я не так, как следует. Впрочем, перерыв в моем обучении чтению вреда моему умению читать не нанес, и я тотчас же стал искать, что бы такое почитать, когда мать привезла из Москвы кое-какие детские книжки с картинками. Вскоре, как помню, попались мне еще в руки толстые-претолстые «Святцы», по которым с течением времени я даже научился разбираться в пасхалии и узнавать, в какой день недели было или будет какое-то число такого-то месяца.

Молитвам я с братом был обучен очень рано, и каждый день, стоя рядом, мы прочитывали эти молитвы, но совершенно безучастно, а одно место в великопостной «Господи и Владыко живота моего» нас даже смешило; когда дело доходило до «и не осуждати брата моего», мы клали земной поклон, искоса поглядывая друг на друга с улыбкой и чуть не фыркая. Религиозные переживания я стал испытывать уже позднее, пока же оставался равнодушным, хотя рано познакомился с главным в священной истории Ветхого и Нового заветов и с символом веры, в котором «чаяние воскресения мертвых» почему-то больше ассоциировалось с представлением утреннего или вечернего чая. В патриархальном доме дедушки, ко-

нечно, царила образцовая набожность, так что и нас, детей, каждое воскресенье и в другие праздники водили в церковь, находившуюся совсем близко от дома. Помню тогдашних священников, дьякона, дьячка и пономаря, особенно старичка-дьякона, который был с нами необыкновенно ласков. С дедушкой он был большим приятелем, играл с ним в шашки и проверял часы по заходу солнца: пойдут они летом для этого к церкви, влезет дьякон на колокольню и смотрит оттуда на заходящее солнце, а дедушка стоит внизу и ждет с часами в руках, когда дьякон ему скажет, что солнце село. Уже много позднее, когда мне было лет тринадцать, случилось мне быть на чтении двенадцати евангелий в муравишниковской церкви, сильно меня взволновавшем: голос старика-дьякона прерывался еле сдерживаемыми рыданиями. Еще одна подробность об этом почтенном человеке: с дедушкой они сговорились еще при жизни сделать себе по гробу; дьякон даже спал в своем гробу (я сам видел, как он в него ложился), дедушка же поставил свой гроб посреди дальнего зала, в который перенес свою кровать из прежнего тесного кабинета. Один раз и мне пришлось ночевать в этой комнате. Не скажу, чтобы мне было приятно, проснувшись ночью, когда во все комнаты ярко светила луна, увидеть такое memento mori.

В Муравишниковской церкви и впоследствии мне приходилось бывать неоднократно, между прочим, на печальных обрядах погребения отца и жены брата, оба раза, когда я был уже профессором. К сожалению, не совсем умелая реставрация много повредила первоначальному виду этой церкви, особенно ее живописи. По крайней мере, мне она как-то перестала напоминать прежний храм, с которым связано столько детских воспоминаний. Во времена моего детства на эктениях поминали всю царскую фамилию до Анны Павловны, королевы Нидерландов, включительно, старичок-дьякон не помнил наизусть всех имен, а потому в надлежащий момент ему подавалась дощечка с ручкой, где все имена были написаны. Мало-помалу, слушая дьяконское чтение, я запомнил эти имена, чем немало гордился.

Как живо вспоминал я муравишниковского дьякона и его дощечку (по-смоленскому до́сточку), на которой первым стояло имя Николая Павловича, когда много-много лет спустя вспомнил о том, как известный чешский писатель Гавличек[2] написал из Москвы своим пражским друзьям следующие слова: «Был первый раз в русской церкви во время службы и с удивлением узнал, что в России Бога зовут Николаем Павловичем». Случились со мною в церкви недоразумения, напоминающие тургеневское «Вонмем» или щедринское «Жезаны»: как ни плохо было пение дьячка и пономаря, но оно мне более нравилось, чем мало понятное чтение, а потому я был в наивности своей вполне уверен, что пение «слава тебе, господи, слава»

после чтения евангелия было выражением удовольствия, что чтению этому пришел конец.

Мы, дети, сравнительно редко проводили время в компании взрослых. У нас была своя детская, если только нас не выводили в сад, но, должно быть, и здесь, и там время проходило очень однообразно, и я почти совсем не помню детских игр и занятий. Опять здесь какая-то сплошная пустыня, и только изредка [возникают] оазисы отрывочных воспоминаний о моментах, когда почему-то я отмечал в своем сознании то или другое из своих переживаний. Вот я, пятилетний мальчик, стою в диванной, где в рамах из карельской березы висят в три-четыре ряда литографированные портреты генералов, и как-то особенно сознаю, что любуюсь деревянною резьбою и раскрашенной фигуркой, что эта старая моя игрушка меня как-то по-новому радует, и я чему-то удивляюсь. Странно, как и в этом периоде моего детства некоторые единичные моменты неоднократно вспыхивали в моей памяти с необычайною яркостью и до сих пор вспоминаются. Светлое зимнее утро. Я в диванной. Кто-то играет на фортепьяно, и по комнате тетя Варя, сестра папы, приехавшая из Москвы, в быстром танце вертит тетю Лизу, сестру мамы. Вот и все: больше ничего о приезде московской тетки не помню, словно она прилетела на одно мгновенье, чтобы раза три-четыре покружить по комнате другую муравишниковскую тетю. Почему столь многое другое из того, что было, потонуло в каком-то глубоком море, над поверхностью которого там и сям торчат, как концы мачт погибших кораблей, такие вот вещи, как резная раскрашенная игрушка или московская тетя, вертящая другую, муравишниковскую, под фортепьянную музыку?

Не раз всплывали и до сих пор всплывают в моей памяти и другие такие же отрывочные, ни с чем не связанные детские воспоминания. Мы ужинаем, — помню еще, — в сумерки, и я ем, в первый раз, как мне казалось, жаренную в сметане телячью печенку, а приехавшие откуда-то тетки рассказывают о своем помешанном дяде, собиравшемся рыть подземный ход из своего имения в Муравишники. Впоследствии я узнал, кто был этот душевнобольной, но долго еще по ассоциации я вспоминал его, когда слышал запах жаренной в сметане печенки.

Часто нас возили в гости к нашему дяде со стороны отца, Константину Васильевичу, женившемуся в одно с ним время, вышедшему в отставку и жившему верстах в тридцати. Почему из всего в этих поездках прочно засело в памяти и теперь очень рельефно в зрительном отношении вспоминается только то, как дядя и нас, и своих детей брал под мышки и высовывал наши головы из-под навеса балкона под проливной дождь, и мы хохотали; потом летний ужин при стеариновых свечах в больших канделябрах и со сдобными ржаными лепешками (то и другое было для меня чем-то невиданным), а на другой

день (или же в другой приезд) утреннее одевание, ничем, вероятно, не отличавшееся от других таких же ежедневных одеваний. А вот столь важного в семейной жизни события, как возвращение отца из Севастополя, где он просидел все одиннадцать месяцев осады, я совсем не помню, хотя и припоминаю, но как-то смутно, кое-какие из его рассказов, больше же всего игрушки и книжки с картинками, им привезенные. Гораздо лучше я помню то огорчение, какое испытал, когда услышал в разговоре отца с кем-то, что он ни за что не отдаст своих сыновей в кадетский корпус, не желая сделать из них военных: меня как раз манили к себе в это время все дедушкины генералы в диванной в их желтых рамках, все эти Меншиковы,[3] Горчаковы,[4] Нахимовы,[5] Бебутовы,[6] Багговуты,[7] среди которых я прекрасно разбирался, зная, у кого, как я говорил, усы намазаны сметаной (седые, белые усы) и кто носит картуз, сдвинутый на затылок; в особенности же привлекала меня красивая военная форма отца, каска с султаном, густые эполеты, сабля, ордена. Меня даже не страшил вид долго не заживавшей и ежедневно промывавшейся, полученной на войне раны на ноге отца.

Капризное дело — человеческая память, и в частности память детская. Как много хотелось бы воскресить в своей памяти из того, что теперь было бы особенно интересно вспомнить из собственных переживаний. Кое-что обо мне самом рассказывали взрослые, то напоминая что-либо такое, что без этого исчезло бы из памяти, то — и это бывало, пожалуй, чаще — не вызывая во мне ни малейшего воспоминания. Сколько я сам себя помню, я всегда говорил, верно произнося согласные звуки, и совсем не помню того времени, когда свой красный халатик назвал «катик-акатик». Конечно, только по рассказам других также я могу судить о своем детском нраве, в котором находили повышенную обидчивость, но многое в моем характере для взрослых оставалось книгой за семью печатями, потому что свои переживания я таил про себя, боясь насмешки над ними, хотя даже и в виде любовной шутки. Я уже рассказал эпизод о том, как мучился по поводу неисполненного обещания, данного матери. Свое огорчение, вызванное нежеланием отца сделать из меня военного, я тоже запрятал в самой далекой глубине своей души с надеждой, что, может быть, еще выйдет и не так,— и потому не отвечал сколько-нибудь определенно на вопрос взрослых, кем бы я хотел сделаться.

И еще одно очень сильное переживание, глубоко запавшее в мою детскую душу, я тоже оставил на веки при себе. Это был сон, при воспоминании о котором долго еще у меня, как говорится, мороз продирал по коже. Я видел себя в своей комнате, сидящим на суденышке, а рядом с собою, сидящею на корточках, свою няню «Китину» (Христину), как вдруг из-под моей кроватки высунулось желтое-желтое жирное лицо, не осо-

бенно страшное, но, как мне причудилось, донельзя испугавшее няню: она, снилось мне, громко ахнула и обеими руками закрыла свое лицо, чтобы не видеть уставившихся на нас из-под кроватки широко раскрытых, неподвижных глаз. Я тоже испугался, вскрикнул и проснулся: я был в той же комнате, которую видел во сне, лежал на той же кроватке, под которой привиделось мне испугавшее и няню, и меня лицо, а няня спокойно себе спала на своей постели при слабом мерцании теплившейся перед иконой лампады. На меня напал сильнейший страх: вот-вот «то» вылезет из-под кровати, и я его увижу около себя. Я зажмурился и боялся открыть глаза, боялся даже пошевелиться, боялся позвать няню, дабы не обратить на себя внимания «того». На другой день я никому не рассказал об этом сновидении и вообще никому потом не говорил, чего-то не то боясь, не то конфузясь. Зато я верил в реальность «того», живущего под моей кроваткой, боялся вечером хотя бы уголком глаза заглянуть под кроватку, а желтое лицо с неподвижным взглядом до такой степени врезалось в мою память, что я легко его всегда себе представлял. Кажется, будь я художником, я даже теперь мог бы нарисовать его красками. Этим сновидением было положено начало целому новому для меня невидимому миру каких-то существ, живущих среди нас, существ, увидеть которых я боялся и о которых упорно молчал.

Я не помню, чтобы кто-нибудь нам, детям, что-либо наговаривал о домовых, о леших, о русалках, о чертях, а когда позднее я и слышал эти названия, то с непременным осуждением людей, которые во все это верили. Конечно, нам рассказывались нашими нянями сказки, но все это было большей частью про хитрости лисички-сестрички, об Аннушке и ее братце, сделавшемся козленочком, об Иване Царевиче, о бабе-Яге, и все это выдавалось за сказку, за вымысел. Это уже я сам, лет шести, из случайного сновидения развил целую мифологию, не имея для «того» и вообще «тех» никаких названий. Наибольшего развития это детское фантазирование, остававшееся моей сокровенной тайной, достигло позднее, когда мы жили уже не в Муравишниках, а в уездном городе Гжатске. Против всего, что в таинственных «тех» могло быть враждебного, у меня тогда были мой ангел-хранитель да чудесная молитва «Да воскреснет Бог», которой меня научила мать в период, когда меня уже семи- и восьмилетнего мальчика время от времени посещали ночные страхи, именно когда на меня во сне лезло что-то безобразное, круглое, постепенно и грозно надвигавшееся и, надвигаясь, росшее, готовое раздавить; я кричал, плакал, взывал о помощи, о спасении и просыпался на кровати родителей, целовал икону в золотой ризе, которую вынимали из киота, пил воду, которую мне давали, еще некоторое время всхлипывал, постепенно успокаиваясь, засыпал и на

другой день только смутно вспоминал, что было со мной ночью.

Муравишниковское сновидение и гжатские ночные страхи еще позднее, когда мне было одиннадцать-двенадцать лет, нашли свое продолжение в более спокойном сомнамбулизме. Но, увлекшись этой, так сказать, мистической темой, я забежал вперед и притом не только в гжатский, но и сычевский период моего детства. Вернемся в Муравишники. Мне хочется еще, пока я не перешел к гжатскому периоду моего детства, вспомнить кое-что из дедушкинской семьи и остальной родни.

В общем, самые хорошие воспоминания оставили по себе во мне и дедушка, и все мои тетки, и дяди. Семья Герасимовых отличалась большой взаимной дружбой, что особенно проявилось при разделе имения по смерти их родителей. Наследники, согласно с желанием своего отца, не оформленным каким-либо официальным актом, разделили между собой все так, что сыновьям досталось только немногим больше. Добрые родственные отношения сохранились между всеми до их смерти. Из пяти сестер мать моя была третьею, и все три скончались скоро одна за другой, достигши восьмидесяти и даже с лишним лет.

Старшая дочь дедушки, «тетя Маша», — одно из моих хороших детских воспоминаний. Доброты непомерной, она любила детей, и дети платили ей взаимностью, причем роль одного из связующих средств играло варенье и другие лакомства, к которым имела свободный доступ одна тетя Уля. «Засидевшись, по тогдашним понятиям, в девках», тетя Маша позже других сестер вышла замуж, или скорее была выдана замуж, за богатого вдовца-помещика. «Я, душенька, — говаривала она в старости, — не очень-то хотела замуж, да, слава богу, ненадолго помучилась с моим: Бог скоро его прибрал, и так-то я себя почувствовала легко, свободно». Рано овдовев, с падчерицею и пасынком на руках и с прочими собственными детьми, она и прожила в поместье мужа до самой смерти в 1912 году. Одно время, когда ее дети учились в городах, она жила совсем одна, что при ее общительном характере было, конечно, трудно. «Не скучно вам так, тетя?» — спрашиваю ее в один из моих приездов к ней. «Ну, могу ли я скучать?» — «А что же?» — «Да, сплю». Действительно, спать тетушка — большая мастерица: в две недели, которые я однажды у нее провел, усиленно занимаясь своими книжками, урывая у них время для сна, тетя Маша только и делала, что спала. Впрочем, она занималась и чтением; в числе читавшихся ею книг были и мои диссертации,[8] которые, по ее просьбе, я должен был ей подарить. «Вот, — говорила она, — ничего-таки не понимаю, а все же читаю, что Коля написал». Под старость она свалила хозяйство на дочерей и стала уезжать на зимние месяцы в Москву, где и гостила в семье одного адвоката, своего дачника. Как весело

мы смеялись, когда она рассказывала о своих московских удовольствиях и особенно о своих общениях с учащейся молодежью: «Так, душечка, и сама, право, кажется, сейчас бы сделалась курсисткой».

Жизнь другой тетки, Татьяны Осиповны, сложилась совершенно иначе. Вышла она замуж совсем молоденькою за типичнейшего по лени «хохла», народив ему целую кучу детей. Тетушка была воплощением равнодушия и беспечности, а ее супруг — настоящим лежебокою: когда прославился гончаровский Обломов, дядюшку так и стали звать Обломовым, на что он отвечал улыбкой полного удовлетворения, чуть не гордости. Он где-то и когда-то служил и числился отставным титулярным советником и почил от всех своих, когда на жениной земле завел свой собственный хутор, где и кончил жизнь в полной праздности и потягивании водки. Помню его полуведерную бутыль с «горилкою» и привязанное к ней сильно увеличенное подобие аптечной сигнатурки с надписью: «По доброй чарке через каждые полчаса». Летом в хорошую погоду, с утра, в легком костюме и в туфлях на босу ногу он спускался к речке, где купался, пока на берегу ему расстилали ковер и клали мягкие подушки: начиналось бесконечное лежание (Михаил Иванович, как было его имя, вечно «отдыхал») с «цыгаркой» в губах, а сидевший у его изголовья мальчик Исачка махал над ним зеленой веткой, отгоняя докучных мух. Случалось, что сюда же приносили и покушать. В доме было все запущено: мебель ломалась и не чинилась, дети ходили неумытые, непричесанные, растрепанные. Оба супруга относились к жизни — он с каким-то спокойным незлобием, она — с полным безразличием, а дети росли без всякого воспитания и образования, так и оставшись неучами. Кто-то выхлопотал Михаилу Ивановичу прямо поместить двух старших сыновей в полоцкий или орловский кадетский корпус. Мальчиков наскоро подготовили к несложному экзамену, и заранее начались сборы в дальнюю дорогу, тогда еще на лошадях. Назначен был день выезда, напечены были на время пути пирожки и лепешки, нажарены цыплята, сварены десятки яиц вкрутую и по тогдашнему обычаю отслужен напутственный молебен еще накануне, но в самый день предполагаемого выезда добродушный pater familias* нашел, что торопиться нечего, что за глаза довольно еще времени выехать и завтра, а за этим «завтра» последовало другое «завтра», потом установлено было с очевидностью, что «теперь все равно не поспеешь», куда нужно, и все приготовленное на дорогу съедено было дома. Через год повторилась та же история, а потом больше уже и не повторялась. Последним известием о нем, полученным мною при его жизни, было то, которое находилось в письме ко мне отца, часто и много

* Отец, глава семьи (франц. — *В. З.*).

мне писавшего: «М. М. предстоит попасть под суд за то, что в пьяном виде он выпорол спасского попа».

Третья тетка, которую звали Александрой, на моей памяти вышла замуж за молодого не служащего дворянина, Митрофана Ивановича Дурново, жившего в поместье, доставшемся ему от его умершей девицею тетки, княжны Засекиной, последнего отпрыска богатого и знатного рода. С ним мы были в двойном родстве: на его сестре был еще раньше женат брат моего отца, Константин Васильевич. Это была пренесчастная семья: все в ней сходили с ума, как только вступали в брак. Злой рок преследовал и следующее поколение: у моего дяди был душевнобольной сын, а у тетки такая же дочь, тогда как дочь дяди и сын моей тетки были вполне нормальными людьми, т. е. выходило так, что у душевнобольной матери наследовал ее недуг сын, а у душевнобольного отца — дочь. Муж тетки совершенно расстроил свои дела, и тетка еле перебивалась. Из ее сына Васи, года два учившегося у меня, когда я студентом приезжал на лето домой, вышел дельный врач, молодым погибший при исполнении долга. Живя в деревне, он в весеннюю и осеннюю распутицу ездил к больным верхом, что при бывшей у него грыже привело его к роковой катастрофе — к страшно мучительной смерти.

Четвертую сестру матери, Елизавету, я помню, когда она была еще девочкой-подростком. Она имела несчастье влюбиться в пасынка своей сестры Марии Осиповны. Роман длился несколько лет, потому что архиерей не дал согласия на их брак, пока уже мне в студенческие годы не удалось найти в Москве военного священника, который их повенчал, раньше чего религиозно настроенная тетушка ни за что не хотела сделаться женой своего возлюбленного. Брак не был счастливым, потому что муж был горьким пьяницей и вообще был пренеприятным субъектом, отличаясь придирчивым нравом. «Ну, — со смешком говорил он, например, мне, — что, господин ученый, что такое ваша наука... хе-хе-хе... А мы вот без науки, как видите, тоже не дураки, а может быть, и поумнее иных ученых будем. Тоже ученые! Хе-хе-хе». Особенно он допекал своими приставаниями моих двоюродных братьев, гимназистов, Васю Дурново и Осю Герасимова. «Ну, чего вы учитесь, — приставал он к ним, — бросьте эти проклятые ваши гимназии... Хе-хе-хе... Смотрите на меня: чем не хорош?» Недолго пришлось несчастной тетке Лизе мучиться с таким мужем. Каждый раз, как он выходил из дому, она брала в руки подзорную трубу и смотрела, куда он идет, а он шел, конечно, в кабак, бывши просто, без трубы, хорошо видным из окна дома. Когда-то романтически настроенная барышня, она превратилась в постоянно печальную старуху, несшую безропотно свой крест. Еще задолго до проповеди Л. Н. Толстого тетя Лиза совсем опростилась, стала одеваться по-крестьянски и научилась всем деревенским работам,

лихо умела косить, споро жала рожь. Научила ее этому горькая нужда. Скоротечная чахотка быстро покончила с ее жизнью.

Взрослых сыновей у муравишниковского дедушки было двое: Петр и Василий. Они учились в Смоленской гимназии, но второй по лени курса не кончил. Почему старший не продолжал где-либо учиться, не знаю, но думаю, что тогда вообще сравнительно редко кто шел в университет, и людей с высшим образованием было чрезвычайно мало. Он поступил в военную службу, но пробыл на ней очень недолго, женился и, подав в отставку, поселился в Муравишниках. Жена его оказалась дамой с характером. Помню, как однажды к нам в наше Аносово приехал дедушка, один, без кучера, в простой телеге, и на вопрос родителей, что это значит, отвечал только: «Ну и баба же». Впоследствии она целиком ушла в сельское хозяйство, и дядя обосновался в доставшемся ему Зайцеве и взял на себя должность станового пристава, заставлявшую его быть постоянно в разъездах. Это был человек неглупый, добрый, но совершенно бесхарактерный. Сильно он запил в это время и кончил душевной болезнью, во время которой и умер, оставив вдову с малыми детьми. Старший его сын, Ося, воспитывался братом его матери в Москве, был в младших классах гимназии моим учеником, прошел потом курс историко-филологического факультета, где профессор Н. Я. Грот[9] предлагал ему остаться при университете по кафедре филологии, но его влекло к более практической деятельности. Из него вышел превосходный педагог: это был человек очень умный, с сильной, не как у отца, волей, с большой работоспособностью и преданностью делу. Он был одно время директором дворянского пансиона-приюта в Москве, два раза занимал должность товарища министра народного просвещения, первый — при графе И. И. Толстом[10] и П. М. Кауфмане[11] в эпоху I Думы, во второй раз — при А. А. Мануилове[12] во время Временного правительства 1917 года.

Мне было лет двенадцать, когда, еще при жизни дедушки, родился Ося, [которого] я очень хорошо помню на протяжении всей его пятидесятилетней жизни. Несмотря на разницу в летах и на довольно значительное несходство наших убеждений, мы между собою были очень близки, чему немало способствовала женитьба его на одной из сестер моей жены, особенно с нею дружной. Связывали нас и воспоминания о Муравишниках, где и Ося провел раннее детство и где мы встречались, когда приезжали на семейные праздники.

Вообще Муравишники продолжали оставаться своего рода семейным центром, куда охотно ездили или ходили пешком и мои дети. Здесь уже в их времена не было старого, дедушкиного дома, а стоял другой, втрое меньше, переделанный из прежнего. Дядя Вася, живший в Муравишниках, был человек добрый,

слабохарактерный и ленивый, склонный по временам сильно запивать. Когда я был гимназистом одного из старших классов, я играл роль шафера на его свадьбе с молодой, красивой и бойкой полькой, дочерью управляющего в одном магнатском имении по соседству. Лет через десять после начала их супружеской жизни жена его бросила, и между ними последовал развод и ее выход замуж за другого. Дядя сначала было запил, но потом остепенился и перед смертью служил агентом по земскому страхованию, оставив наилучшую память по себе как «друг крестьян» — слова на лентах одного из погребальных венков.

Ежегодно 2 августа Муравишники были местом съезда родных и соседей, где все чувствовали себя уютно, свободно и весело. Сыновья и дочери дяди жили между собою дружно и были вообще очень хорошими людьми. Старший, Коля, необычайно мягкого нрава, очень неглупый, начитанный, кончив курс по юридическому факультету, был одно время земским начальником, но не из таких, которые соответствовали своему назначению, а под конец — членом губернской земской управы в Смоленске, где и умер еще в довольно молодых годах, оставив вдову и маленького сына. Второй, Миша, кончивший курс в Дерптском ветеринарном институте, скоро забросил свою профессию, а занял, и потом долго занимал, должность председателя уездной земской управы в Сычевке, где потом выбрали его в городские головы. Он погиб в 1918 году во время устроенной там «Еремеевской» (Варфоломеевской) ночи, тоже оставив вдову и малолетних детей. Не остался в живых и третий брат, Володя, бывший земским врачом. Он еще раньше умер от сыпного тифа, которым заразился на службе, оставив молодую вдову и маленькую дочку. В довершение всего и муравишниковский дом случайно сгорел в зиму с 1916 на 1917 год, за несколько дней до революции.

Со стороны матери у меня вообще была в Смоленской губернии большая родня, многие члены которой так и просятся в семейную хронику, возьмись я всерьез ее писать. Далеко не вся эта родня была мне известна, но многих я знал, потому что они навещали Муравишники, оставаясь гостить иногда на несколько дней, да и нас возили кое к кому в гости. Все они казались мне, за немногими исключениями, добрыми и хорошими, потому что ласкали и баловали нас, да и всегда с гостями и в гостях было весело. Особенно меня располагал к себе дедушка, Сергей Дмитриевич Ловейко, брат бабушки Герасимовой, славный добродушный старик, веселый, большой шутник, находившийся, однако, под башмаком своей дражайшей половины, которую тем не менее любил поддразнивать. «А что, — спрашивал он, лукаво подмигивая присутствующим и поднося к носу понюшку табаку, — а что, Марья Васильевна, очень ты, признайся, была влюблена в меня, когда выходила замуж?»

«Какой ты вздор мелешь, Сергей Дмитриевич», — обидчиво отвечала бабушка, а дедушка точно сиял, обводя всех довольным взглядом. Когда-то он, высокий, статный, красивый, служил во флоте, но оставил службу, чтобы жениться на этой самой Марье Васильевне, бывшей, кажется, компаньонкой у княжны Засекиной, о жизни которой («у княжны») любила вспоминать до глубокой старости. У себя дома она старалась поддерживать «хороший тон», принимая даже родных в парадной гостиной и не допуская, чтобы приехавшие издалека гости ложились спать раньше положенного часа, хотя те носом клевали под монотонные ее рассказы о княжне. Дедушка любил и пофилософствовать. Один раз он приготовил для земского собрания в своем Дорогобуже какой-то длиннейший письменный доклад, чтение которого потребовало много времени. Между тем стало смеркаться, и дедушка подошел к окну и, стоя около него, продолжал читать. Наконец, он прочитал все, снял очки, протер глаза и обратился к собранию с вопросом, как же гласные думают по поднятому им вопросу, но увы! пока он стоял у окна, с трудом разбирая свою рукопись, в темной комнате не оставалось никого, чтобы ответить на его вопрос. У этих супругов был единственный сын, но маменька не отдавала его никуда учиться, боясь, чтобы как-нибудь не испортилась его нравственность, и даже до очень позднего возраста, чуть ли не до гражданского совершеннолетия, клала его спать на свою кровать, блюдя его нравственное поведение.

У этого дедушки был брат Василий, которого я никогда не видал, но о котором слышал: это он из своего имения Дулова, верстах в пятнадцати от Муравишников, собирался сделать подземный ход. У него было три дочери, из которых в детстве я знал только двух: тетей Надю и Лизу, сверстниц моей матери, и обе они вышли замуж за сослуживцев моего отца. Старшая была замужем за пожилым хохлом Петром Антоновичем Индушным, приехавшим с войны в чине полковника и со следом какой-то раны на одном из висков. Вид у него был довольно-таки солдатский, неотесанный, но человек это был, несомненно, очень неглупый. В детстве я как-то побаивался его сурового вида, низкого и густого голоса, но позднее мы чуть не сдружились, когда я подрос и он стал обращаться со мною, как со взрослым человеком. В студенческие годы, по дороге из Москвы в деревню или обратно, мне приходилось останавливаться у него ночевать, и вот тут у нас начинались бесконечные разговоры и споры на разные темы. «А что, господин, — спросил однажды он меня, употребив обычное ко мне свое обращение, — а что, господин, вы так-таки и думаете, что земля вертится?» — «Да, Петр Антонович, так-таки и думаю». — «А почему, любопытно было бы знать?» — с недоверчивой улыбкой спрашивал он. Мне пришлось выложить перед ним все свои гимназические знания по космографии, остановиться особенно

подробно на маятнике Фуко и сводить своего собеседника на крыльцо, чтобы показать ему полярную звезду, заметить с ним положение Большой Медведицы, предсказать, какое положение это созвездие займет через некоторое время. Петр Антонович выслушал все очень внимательно, а утром за чаем он мне сказал, что он ночью вставал раза четыре или пять и все ходил смотреть на Большую Медведицу. «А, пожалуй, господин, вы и правы», — прибавил он в заключение.

Его жена ничем особенно не замечательна, но ее сестра Елизавета Васильевна заставляла о себе говорить. Она была писательницей и отправляла свои повести в журналы, где их, впрочем, не принимали, потому что все у нее было очень старомодно, начиная с героев и героинь с романтическими фамилиями и именами Светозаровых и Аглай и кончая слащаво-сентиментальным стилем. Мне удалось познакомиться, уже после ее смерти, с одной ее рукописью, где была рассказана действительно романтическая история уже упоминавшейся выше Екатерины Антоновны, до Муравишников жившей в Дулове и обучавшей Елизавету Васильевну. К этой истории я еще вернусь.

Муж этой тетушки, старший отставной полковник, никуда не выезжавший из своего имения, любил толковать о политике (конечно, внешней) и высказывать свои соображения о намерениях Наполеона III, Пальмерстона, Гарибальди и т. п. Когда в России выдвигалось вперед какое-либо имя, стариком неизменно ставился вопрос: «А не тот ли это, что у нас в полку был офицером или юнкером?». Может быть, таких фамилий в полку, пожалуй, и не было или были только немножко похожие, но спрашивать так вошло у него в привычку. Помню, раз он говорил отцу, бывшему его товарищем по полку: «Молодец Катков, как он это только славно отделывает! А не тот ли это Катков, что был юнкером в нашем полку?» «Не помню такого», — замечает отец. «Ну, вот еще! Такой маленький». И далее следовало подробное описание наружности мнимого юнкера Каткова. То же проделывалось и с другими знаменитостями: очень уж хотелось Федору Александровичу, чтобы кто-нибудь был из его полка. У него было три сына и одна дочь. Последней то и дело доставалось от озорства братьев, а папенька только подзуживал: «Хорошенько ее, девчонку!» Кончилось дело тем, что девочку взяла к себе тетка.

Была у меня еще бабушка Александра Дмитриевна, рожденная Ловейко, по мужу Сергеева. Мелкопоместная дворянка Бельского уезда, она прослыла как крайняя притеснительница своих лошадкинских крестьян и особенно сердитая госпожа своих дворовых. Незадолго до падения крепостного права ее Лошадкино брала в аренду родная моя бабушка Елена Ивановна — мать отца, извечная городская учительница, немного потом похозяйничавшая, но при ней крестьяне и дворо-

вые Александры Дмитриевны отдохнули, потому что Елена Ивановна была воплощенная доброта. Сухая и черствая, Александра Дмитриевна не влекла к себе детей, но ближе я ее узнал только тогда, когда она, уже после отмены крепостного права, жила на покое, без власти, но в большом почете в том же Лошадкине, где две ее дочери устроили, как выражались насмешники, «благородный пансион для девиц обоего пола», о котором речь еще впереди.

Окончу свои воспоминания, связанные с Муравишниками, еще одной родственницей, родной племянницей дяди, жившей в версте от Муравишников, в усадьбе, где стоял и теперь еще стоит двухэтажный кирпичный дом. Владелица этого имения, Мария Яковлевна, в первом браке была за старым полковником, от которого имела шесть сыновей, воспитывавшихся на казенный счет в кадетских корпусах. Полковник был большим скопидомом, сохранявшим в своих амбарах изрядное количество хлеба, но тотчас после его смерти вдова поспешила продать этот хлеб, чтобы поехать пожуировать в Москву, где она и стала задавать балы да обеды, пока не приобрела другого мужа в лице однополчанина моего отца по фамилии Марлин.

Я знал Марью Яковлевну уже за вторым мужем, когда у нее было еще три новых сына, двое с братом моим однолетки. Благодаря близкому соседству, мы часто виделись, но, конечно, ездили одни к другим, а не ходили пешком, так как, по тогдашним понятиям, было бы не барским делом. Мария Яковлевна даже в церковь ездила, хотя до нее было только полверсты, в торжественные же дни для этого запрягалась карета «шестериком» — роскошь, которой в Муравишниках, где все было проще, не существовало. Вообще она была единственным подобием grande dame, какое я только видел в детстве. Но это было и воплощением легкомыслия. Помню, как ей однажды захотелось получить в собственность приобретенную старшим из ее сыновей игрушку в виде барана, нагибая голову которого можно было извлекать из него нечто, похожее на блеяние. Сынок показывал маменьке эту штуку, но ни за что не хотел уступить ее, пока та не согласилась выменять игрушечного барана на настоящего жеребца, которого сыну давно хотелось видеть своим. Мария Яковлевна была в восторге от приобретения и дня два-три только и делала, что показывала другим, как блеет игрушечный баран. Помню также, что она вечно окружена была приживалками из бедных чиновниц или поповен, занимавших ее своими россказнями. «Ну, расскажите еще что-нибудь, голубушка Ефросинья Поликарповна», — обращается М. Я. к такой приживалке. — «Да право, благодетельница, уж и не знаю, что и рассказывать». — «В таком случае, позовите Палашку». Палашка является на зов и тут же получает приказ: «Скажи кучеру Семену, чтобы он запряг тройку в тарантас, потому что Ефросинья Поликарповна хочет ехать в го-

род, а оттуда пусть кучер привезет...» — тут следовало имя такой же приживалки, которая впоследствии таким же образом оказывалась без своего ведома «хотящей» уехать в город.

Отъезжающие щедро награждались мукой, крупой, коровьим маслом, творогом и т. п., а приезжавшие привозили с собою целые вороха новостей и сплетен, которые потом и выкладывали перед Марией Яковлевной, изредка повторяясь и приукрашивая их тут же, на месте сочиненными подробностями. Менялись часто в доме и гувернантки, и гувернеры, одного из которых она тотчас же отправила назад, когда хозяйка увидела, что он не то с ножа ест, не то с поднятой ко рту тарелки. Справляться с ее сыновьями было очень трудно, особенно когда они лишились отца. Мать отдала их обоих в одну из московских гимназий, но они недолго поучились и были исключены. К 14—15 годам из них вышли страшные озорники, которых крестьяне грозили когда-нибудь побить за их проделки. Никуда их не удавалось пристроить, и они жили у матери, где и один из их сводных братьев, когда-то артиллерийский офицер, читавший Белинского, только горький пьяница. Чего только не проделывали братцы с муравишниковским священником, которого напаивали, что называется, до положения риз: например, напихают ему под белье крапивы, угостят чем-либо вроде ялапного пряника и запрут на ночь в какой-либо комнате второго этажа. Только младший их брат по своему возрасту не мог принимать участия в этих безобразиях.

Для приготовления его к поступлению в гимназию мать пригласила на лето какого-то провинциального гимназиста лет восемнадцати. К несчастью немолодая уже мать десяти сыновей, сама давно бабушка, влюбилась в оказавшегося очень ловким юношу, собралась выйти за него замуж, продала свое родовое имение и купила на имя жениха другое, из которого он ее потом и выгнал. Это случилось уже во время моего студенчества. Сижу я как-то за работой и вижу, входит ко мне Марья Яковлевна, постаревшая, бедновато одетая, причем цель ее визита была попросить денег на выезд из Москвы. Во время этого посещения гостья сняла с шеи небольшой медальон и показала мне вделанную в него фотографию, спросила у меня при этом: «Неправда ли, он похож на покойного Дмитрия Степановича (второго мужа)?». Прожила после этого Мария Яковлевна еще, по крайней мере, лет тридцать, скончавшись в глубокой старости. Сначала она околачивалась то в Сычевке, то в Вязьме, где у нее были знакомые, вроде прежних ее компаньонок, а главное, — много знавших ее купцов, у которых она когда-то была желанной покупательницей; теперь они ей жертвовали, кто восьмушку чайку, кто фунт сахару, кто остаточек от куска ситца, а кто и просто подавал милостыню гривенниками и пятиалтынниками. Потом на большую часть времени она нашла приют у вдовы самого старшего из ее сыновей,

но постоянно жаловалась на деревенскую скуку и часто просила дать ей лошадку съездить для развлечения в город.

После своего романтического приключения она оставила младшего сына своего ни с чем, и некому было позаботиться его чему-нибудь обучить. Из него, однако, вышел очень милый, добрый, деликатный человек, поживший то у одних родных, то у других до старости, но оставшийся до смерти самым заправским Обломовым. Он сам часто повторял: «Да, я Обломов, самый настоящий Обломов».

Сейчас перед моей памятью прошли все эти дедушки и бабушки, дяди и тети, которых я помню с пятилетнего возраста и среди которых по-детски различал «добрых» и «сердитых». В общем, все казались такими добрыми, но на самом деле, как бы там ни было, они [бывали] и недобры к своим крепостным, — чего мы, дети, большею частью не видели, — спасибо им и за то, что они нас как бы оберегали от знакомства с грубой стороной тогдашней действительности. Взрослые обыкновенно удаляли нас во время разговоров о чем-нибудь не для детей, да и няни наши с остальной прислугой держали язык за зубами. Только позднее мы узнавали разные подробности о закулисной стороне привольной помещичьей жизни. В Муравишниках все шло чинно, благообразно, под зорким наблюдением дедушки, при котором графинчики водки появлялись лишь две-три минутки перед обедом, и взрослые, замужние дочери только втихомолку покуривали свои трубочки с коротенькими чубуками. Командовать прислугой нам не позволяли. Весь уклад жизни казался мне долгое время столь же естественным, как смена дня и ночи, казалось естественным, что дедушка — барин, а какой-нибудь Евдоким — буфетчик, что я хожу хорошо одетым и в сапожках с красными отворотами у голенищ, а дедушкин казачок — засаленным и босым. С крестьянами сталкиваться почти не приходилось, так как в Муравишниках кроме барской усадьбы и поповской слободы никакого другого жилья не было, а крестьянские жилища были не ближе полутора—двух верст. Помню я только «бургомистра» Гришу, степенного, толстого, благообразного мужика, являвшегося к дедушке с докладами и за приказаниями, да печника Фаноса (Афанасия), лохматого и выпачканного глиной и сажей, которым, как своего рода букой, страшили всю муравишниковскую детвору.

Муравишники были маленьким, замкнутым миром, где редко появлялись совсем ему посторонние люди. Близких соседей-помещиков не было, или то были своего рода «магнаты», с которыми отношения могли быть только довольно далекие. Их фамилии, конечно, приходилось слышать, а одного из соседей, кажется, не всегда проживавшего в своем смоленском имении, часто вспоминали по поводу написанных им и всем нравившихся стихов на смерть его детей-малюток. Это был

А. А. Хомяков[13] в селе Липицах, в котором потом жил его сын, бывший в начале XX столетия председателем II Государственной думы. Слыхал я и фамилии Алмазовых,[14] у которых неподалеку было имение, но лишь много-много позже узнал, что один из Алмазовых был известным поэтом пятидесятых—шестидесятых годов.

Глава вторая

ГЖАТСК И СЫЧЕВКА

Первые далекие поездки. — Бабушка Елена Ивановна. — Ее сыновья и дочери. — Городническая деятельность отца в Гжатске. — Начало более близкой жизни с родителями. — Мое отношение к старшим. — Детские шалости наши. — Первые случаи влюбленности. — Любимые животные. — Мой фантастический мир. — Период повышенной религиозности. — Начало правильного учения. — Несколько мелких воспоминаний. — Настроение накануне падения крепостного права. — Переезд в Сычевку. — Отражение политических событий в детской душе. — Мои сычевские наставники. — Мой сомнамбулизм. — Товарищи игр. — Любовь к писательству и учительству. — Фантазерство. — Летние месяцы в Аносове. — Переселение в Аносово. — Мое с ним прощание.

Мои детские воспоминания становятся менее прерывистыми и более полными, отчетливыми и сознательными с шести-семилетнего возраста, т. е. около времени возвращения моего отца с войны и последовавшего за ним переселения в уездный город Гжатск, в котором я прожил до десятилетнего возраста и где впервые осознал свое *я* как нечто особое, индивидуальное. Переселению в Гжатск предшествовали отдаленные поездки за черту тесного муравишниковского горизонта.

Первая из них была богомольем в Нилову Пустынь на Селигерском озере близ города Осташкова Тверской губернии. Впервые я, шестилетний мальчик, вкусил поэтическую прелесть путешествий. Запечатлелись в моей памяти и большая рогожная кибитка, внутри которой были громадный пуховик и масса подушек, и проезды через города Сычевку, Ржев и Осташков, и остановки для подкормки лошадей и ночлега на постоялых дворах, и в первый раз испытанные мною переезды в большой лодке по озеру в монастырь и обратно, и обед у архимандрита за большим столом. Остались в моем запасе зрительных впечатлений и мощи самого преподобного Нила Столбенского,[1] хотя сейчас я и не уверен, так ли это было на самом деле: как будто не было никакой реки, а преподобный, одетый в черную рясу и с головой, закрытой капюшоном, сидел в кресле налево

от входа в какое-то помещение; таким все это представляется мне и теперь. Ни страха перед мертвецом, столь знакомого мне после, ни благоговейного чувства перед мощами, какое я тоже впоследствии испытал, тогда не было, а было какое-то любопытство. Во всяком случае, я за эту поездку понабрался разных впечатлений и тем для рассказов дома. Вероятно, тут мне представился первый случай рассказывать другим виденное и слышанное, что впоследствии мне всегда нравилось. Тесный муравишниковский горизонт раздвинулся, а тут еще скоро приехал из Севастополя отец со своими рассказами, к которым я охотно прислушивался, хотя не все в них было понятно для меня и интересно.

Другие две поездки были в Дорогобужский уезд, к тете Маше в Будаево, верст за семьдесят, и в Москву. И там, и здесь все для меня было ново, хотя бы, например, то, что в Будаеве прислуга называла меня «паничем», а не «барчуком»: в той стороне жили уже белорусы. Но, конечно, более всего произвела на меня впечатление Москва, куда, помнится, мы поехали зимой, в душном возке, где меня то и дело тошнило, когда возок нырял из ухаба в ухаб. Помню въезд в Москву, остановку перед шлагбаумом заставы для прописки подорожной и ту радость, что у заставы нет никакой «сопливой бабы», которая будто бы целует всех в первый раз въезжающих в город, как меня и брата в шутку стращали в Муравишниках. Самый город я почти не помню, кроме только поразившего меня вида из Кремля на Замоскворечье, куда как-то случайно нас завезли. Этот вид так врезался в мою память, что потом, через много лет, когда мои родители переселились в Москву, я смотрел на него, как на что-то знакомое, тем более, что он часто являлся в моем воображении при чтении чего-либо о Москве, вроде пушкинского описания в «Евгении Онегине».[2] Кстати сказать, Пушкин поселил во мне какое-то благоговейное чувство к самому имени Москвы, в котором «так много для сердца русского слилось». Впрочем, тогда мое сердце еще не было «русским», и поразили меня простор, множество церквей и домов и пестрота красок.

Мы прожили в Москве несколько месяцев и возвратились в Муравишники только весной, когда уже все зеленело и цвело; к этому времени, кажется, и приходится приурочивать радостное мое отношение к синеватым цветкам в зеленой траве. Все эти месяцы мы прогостили у матери моего отца, в той самой квартире, если не ошибаюсь, где я родился. Бабушка моя, которую звали Еленой Ивановной, была родом из старой Финляндии, присоединенной еще при Петре Великом, происходила из вильманстрандской купеческой семьи и вышла за моего деда, стоявшего там с полком, совсем еще подростком, чуть не девочкой четырнадцати-пятнадцати лет, когда ее еще не переставали забавлять куклы. Дедушка к тому времени уже успел

побывать в заграничном походе 1813—1814 годов, отличиться в нескольких сражениях и участвовать во взятии Парижа, который я, его старший внук, так полюбил через шестьдесят лет после того. Их дети, из которых старшим был мой отец, родились, кажется, все в Финляндии, отец — в Або, о котором и бабушка, и отец вспоминали с восхищением. Бабушка отлично знала по-шведски и часто разговаривала на этом языке с моим отцом, тоже его не забывшим. У нее и в прислугах жили говорившая по-шведски финка, упорно выдававшая себя за «федку», и немка, а крепостных слуг она никогда не имела до 1860 года, когда почему-то купила горничную. В пятидесятых годах бабушка с двумя дочерьми-девушками жила на вдовью пенсию в Москве, но по возвращению отца с войны переселилась в Смоленскую губернию, держала одно время в аренде в Бельском уезде имение Лошадкино, потом жила некоторое время у нас в Гжатске, вместе с нами переселилась оттуда в Сычевку, где даже купила себе небольшой домик, продавши разные дорогие вещи, а в конце концов уехала снова в Москву и нас перетянула туда, когда настала пора меня и брата поместить в школу.

За время совместной жизни я необычайно привязался к этой своей бабушке и крестной матери, отличавшейся поразительной добротой и жизнерадостностью. Тучная от сидячей жизни и больная, она никуда не выходила из своего угла, любила кухонную стряпню по поваренной книге на шведском языке, не искала никаких развлечений, но всегда была рада попотчевать чем-либо вкусным гостей, охотно рассказывала про старину, про финляндские нравы и обычаи и т. п., а нам, своим внукам, — интересные сказки и была всегда в превосходнейшем расположении духа, хотя часто кряхтела, приговаривая: «Старость — не младость». Особенной старости, впрочем, не было: когда я с бабушкой познакомился, ей только что пошел шестой десяток. Некоторое время в период повышенной во мне религиозности меня только одно в бабушке немного смущало: я никогда не видел, чтобы она молилась Богу, знал, что она никогда не ходит в церковь, не говеет, не читает религиозных книг, не приглашает священников, а это рядом с набожной до ханжества ее дочерью «тетей Варей», казалось бы, только и идти в монахини, если бы, впрочем, она вместе с тем не любила удовольствий и мужские ухаживания кавалеров. Уже когда во мне самом детская вера испарялась, однажды бабушка, взглянув на ярко освещенное небо, по которому красиво плыли белоснежные облака, начала что-то в таком роде: «Вот как посмотришь на это небо, на эти облака, то что-то не верится», — но тетя быстро и с сердцем ее прервала грозным окриком, заставившим бабушку конфузливо замолчать. Я не решался потом спросить бабушку наедине, что она собиралась сказать, не желая сделать ей неприятность напоминанием

о резком поступке тетушки, но в глубине души решил, на сей раз уже с иным, чем прежде, настроением, что бабушка плохо верит.

У бабушки, Елены Ивановны, было, кроме отца, еще два сына. Об одном, женившемся в Смоленской губернии и рано умершем, по имени Константин, я уже говорил. Другой, самый младший, Александр, служивший в артиллерии на Кавказе, приезжал один раз в очень продолжительный отпуск, когда мы жили в Гжатске, всех нас очаровал своим веселым нравом, и я искренне плакал на панихиде по нем, когда вскоре после его возвращения на место службы пришло известие, что дядя Саша был раздавлен тяжелым орудием при объездке молодых лошадей, которыми он сам занялся. От бабушки долго скрывали его кончину, о которой она как-то догадалась накануне нового (1861) года. В чтении дядею стихов Пушкина я впервые, благодаря кое-каким объяснениям и замечаниям дяди, оценил красоты пушкинских картин природы. Помню, какое сильное впечатление произвел на меня дядя, когда желая заставить меня в чем-то сознаться, сказал мне: «Ну, Коля, скажи, как честный человек, положа руку на сердце...» Подозрение дяди было неосновательно, но обращение его ко мне, как к взрослому человеку, напоминание о чести и самое это «положа руку на сердце» заставило меня расчувствоваться и как-то особенно полюбить милого, молодого, веселого дядю.

Дочерей у бабушки было четыре. Старшая из них, Елизавета, была замужем за одним богатым помещиком в Тульской губернии, и я ее вообще знал мало, хотя один из ее сыновей жил у нас, учась со мною в одной и той же гимназии и даже в одном со мною классе, не окончив, впрочем, курса, как прямой кандидат в Обломовы, каким он и сделался. Другая сестра моего отца носила фамилию Чичаговой;[3] ее рано умерший муж был каким-то родственником адмирала, упустившего Наполеона под Березиной. Она кончила жизнь в какой-то общине сестер милосердия полумонастырского типа, где с нею жила и одна из ее дочерей. С бабушкой жила до самой ее смерти третья моя тетка по отцу, Варвара, и очень короткое время, по выходе из института, и четвертая, Анна, родившаяся одновременно с дядей Сашей, то обучавшая детей старшей своей сестры, то вообще проживавшая вне родного дома, где с нею было тесно тете Варе. Из всех теток с отцовской стороны одна последняя занимает большое место в моих воспоминаниях, несмотря на многие неприятные стороны ее нрава, от которых немало приходилось терпеть и бабушке и моей матери. Она была хороша собой, хотя ноздри ее были сильно попорчены золотухой, была жива, общительна, остроумна, много возилась с нами, хотя и любила подразнить, и мы, т. е. я и брат, как-то сжились с нею и не то, чтобы ее любили, а как-то искали ее общества. Даже в период наибольшей религиозности я находил ее набож-

ность преувеличенной, подметив, например, что, выходя из своей комнаты, она как будто нагибалась, чтобы поднять что-нибудь с пола, на самом же деле, кланяясь своим иконам. Строго соблюдая все посты, чего бабушка не делала, она к установленным церковью постным дням от себя прибавляла еще понедельники, «понедельничала». Мечтой ее, умершей старой девой, когда я уже был студентом, было выйти замуж, но один только раз подвернулся ей жених в лице сычевского аптекаря-немца, да и тот сбежал. Она и притиралась, и красилась, и кокетничала, служа живым примером таких вещей, как искания ухаживателей, влюбленности, легкий флирт и т. п.; с этой стороной жизни на ее примере я впервые и познакомился, но убежден, что серьезных романов у тети Вари не было. Из всех родных отца я с первою познакомился с нею; это к ней относится мое мимолетное младенческое воспоминание о кружащей по комнате тете. Действительно, ее назначение было порхать, кружиться, веселиться и забавлять других, и с этой стороны в ней было что-то привлекательное.

Пока мы гостили у бабушки в Москве, после возвращения отца с войны, сам он уезжал в Петербург хлопотать о месте. На войне он был контужен и еще более серьезно ранен в ногу ниже колена с раздроблением кости, осколочки которой долгое еще время выходили из незакрывавшейся несколько лет раны. Был даже период ухудшения раны, когда отец передвигался при помощи двух костылей, а в Севастополе речь заходила, как рассказывал он сам, об ампутации ноги. Уже по одному этому думать о продолжении военной службы ему не приходилось. Как ни в моде были севастопольские герои, отцу в Петербурге хлопотать о новом месте довелось очень долго, а еще дольше хлопотать о пенсии в Комитете раненых. Наконец, ему дали место городничего в Николаеве Херсонской губернии, но ему это показалось слишком далеко, и он просил заменить большой и важный Николаев чем-нибудь поближе, а именно в Смоленской губернии. В конце концов назначение состоялось в Гжатск, где отец и прослужил «градоправителем» около трех с половиною лет.

Мы переселились туда не сразу, а провели еще лето в Муравишниках, где при разговорах при мне няни с горничными составили самое преувеличенное представление о будущем назначении отца, хотя о многом мать, с которой я делился радостными мечтами, и говорила, что это неправда. По толкам прислуги выходило так, например, будто городничий имел право в любой лавке забирать даром все, что ему ни понравится, а городнические дети становятся какими-то сказочными царевичами. Как-никак, однако, я на самом деле видел потом, что отец в Гжатске «самый главный», ну, как дедушка в Муравишниках: на улице все с ним раскланивались, в соборе после обедни он первый, когда бывал, подходил к кресту и получал

приносившуюся из алтаря просфору; вместо старосты Гриши к нему являлись рапортовать и получать приказы два квартальных надзирателя, стоявшие перед ним навытяжку, руки по швам, и, уходя, делавшие «налево кругом»; к нему приходили с просьбами и жалобами, и он судил и рядил, делал выговоры и налагал взыскания, свидетелями чего и нам приходилось бывать, если это происходило на дому, когда больная нога не позволяла отцу выходить, и если за мной и братом не досмотрят, и мы из любопытства чего-нибудь не подсмотрим и не подслушаем. Когда я познакомился с губернской «памятной книжкой», которую даже со смаком штудировал по отношению к Гжатску и его уезду, мне казалось несправедливостью, что в списке властей на первом месте стоял не городничий, а предводитель дворянства, даже и не живший в городе. Я быстро постиг всю чиновную иерархию и убедил себя и брата, что важнее папы — только губернатор, а важнее губернатора — только государь. Это льстило моему детскому тщеславию и приводило к тому сословно-чиновному «классовому самосознанию», от которого я впоследствии освободился и которое было мне много позднее столь несимпатичным в воспитанниках Александровского Лицея, где довелось довольно долго профессорствовать. Так из крепостной деревни я попал в бюрократический дореформенный город, где городничему принадлежала большая власть над населением. Я знал, что городничими понаделались и другие полковые товарищи отца, между прочим, и Индушный, сменивший его в Гжатске, когда мы переехали в Сычевку.

В Гжатске мы впервые вошли в более близкие отношения с родителями, или, вернее, с матерью, потому что прежде отца с нами не было. В Муравишниках мы как-то не выделялись из общей детской, где, кроме нас двоих, было еще пять мальчиков, да и «средостение» своего рода между нами и взрослыми представляли собою няньки. В Гжатске порядок изменился, не говоря уже о том, что я очень быстро развивался, начинал лучше понимать семейные отношения. Родители не проявляли своего родительского чувства какими-нибудь нежностями и ласками, но я чувствовал, что они любят нас, заботятся о нас, интересуются нашим образованием. Мать начала нас сама учить французскому языку, зная его, конечно, неважно. У нее же мы учились молитвам и священной истории. Отец лично посвятил нас в первые правила арифметики и научил писать, сам обладая замечательно красивым, прямо каллиграфическим почерком; умея сам рисовать, он и нас приохочивал к этому занятию, а также мы присматривались к тому, как он клеил разные коробочки, модели построек, даже сложные бонбоньерки — искусство, унаследованное в совершенстве моим братом, но плохо дававшееся мне. Любил отец и рассказывать нам о том, о сем. Я помню то удивление, с каким я узнал, лет семи, что

наша земля — планета, и что, кроме того, есть еще такие-то и такие-то планеты. Первые уроки географии я получил только от него и еще лет восьми-девяти отлично знал географическую карту Европы и названия гор и рек в других частях света. Еще раньше, чем у нас появились учителя и гувернантки, сделавшиеся новым «средостением» между большими и маленькими, я был знаком и с земным глобусом, и с географическим атласом, срисовывая кое-что с разных карт, а также с зоологическими картинами, изображавшими слона, льва, обезьян. Мои сверстники ничего такого обыкновенно не знали. При нашей квартире был сад, где отец устроил огород и цветник, сам копаясь в земле, делая грядки и клумбы, сея, сажая, поливая, занимаясь прививкою деревьев и приобщая нас к этой работе, причем у меня и у брата было по маленькому огородику, в котором мы сами разводили разные овощи, пололи их, поливали. В саду же была устроена гимнастика в виде высокой буквы П с приставленной к ней наклонно лестницей и с висевшими под перекладиной гладким деревянным шестом и узловатым канатом для лазания. Мать, видимо, была недовольна этой затеей, боясь, как бы мы не сломали себе спину и не получили горб, но отец сам учил нас разным штукам. Особым искусством отличался в этих упражнениях брат, а я по своей неповоротливости плоховал, за что тетя Варя называла меня «тюфяком». Из самолюбия я, однако, старался, прибегал к разным посторонним средствам, вроде намазывания ладоней и пальцев смолистыми тополевыми почками, чтобы легче влезать на гладкий висячий шест. Вообще тогда нам отдавалось много времени, даже нашим забавам: отец устраивал китайские тени, показывал карточные фокусы, объяснял свои пасьянсы, даже играл с нами в дурачки. Когда, после своей неудачной лошадкинской аренды, бабушка Елена Ивановна поселилась у нас в Гжатске, и она нам отдавала много времени, рассказывая про финляндские чудеса, вроде Иматры, или про три дня незаходящего летом солнца, или сказки о разбойниках и горцах, или посвящая в таинства приготовления всяких печений и пирожных, а тетя Варя специально учила манерам, танцам и приятному обращению вперемежку с объяснением богослужения (по Гоголю, как я узнал впоследствии). Романтическая сторона ее природы сказалась в том, что, оставаясь в Гжатске летом, когда мы уезжали на месяц в деревню, она взяла с меня слово, что я буду вспоминать ее, свою тетю Варю, каждый раз, когда я буду видеть на небе первую звездочку, и пообещала тоже меня вспоминать в тот же момент. Я и на самом деле вспоминал и даже много времени спустя вспоминал особо, когда узнал, что эта звездочка называется Арктур.

Все это, все эти золотые дни детства в Гжатске я вспоминаю с благодарным чувством. Внешней ласки со стороны отца и ма-

тери, однако, не было, и когда мне хотелось от них чего-либо особенного, я обыкновенно писал соответственное письмецо и где-нибудь его подметывал. В просьбе нередко бывал отказ, но молчаливый, т. е. как будто никакого письма от меня не поступало. Один раз я пустил в ход бо́льшую настойчивость. Мама уезжала в Москву, а я стал подбрасывать ей записку за запиской, чтобы и меня она взяла с собою. Мама молчала, что заставляло меня придумывать новые и новые аргументы в пользу моей поездки. Самым убедительным соображением мне казалось то, что вот в городе все будут смеяться: не взяла с собою родного сына, а поехала с какой-то совсем чужой Лизаветой. Но и это не помогло.

За шалости наказывали нас легко: сидением на месте или стоянием в углу, а то отделывались мы только нравоучением, иное же сходило с рук и без этого. Как-то мы взяли такую манеру. Едут папа и мама вечером в гости и приказывают кучеру приехать за ними в таком-то часу, и вот мы с братом (дело бывало в летние ночи) не спим, тайно покидаем свои постельки, одеваемся, забираемся в сарай, прячемся в крытой коляске под фартук и неожиданно являемся в гостях, где нас встречают веселым смехом и угощают разными лакомствами. Раз сошло это благополучно, даже без выговора, мы и повадились, пока нам это не запретили. Сошла мне даром и такая проделка. Лечивший у нас в доме доктор советовал давать нам перед обедом по маленькой полрюмочке (с чайную ложку) водки, что и было принято к исполнению. Знакомый со вкусом водки, я как-то, когда у нас были гости и на столе стояла закуска, хлопнул тихонько целую рюмку и разбушевался, требуя, чтобы меня посадили с большими за ужин, когда мне полагается уже спать. Я, обыкновенно скромный и тихий мальчик, насильно продирался к столу, а когда отец взял меня за руку, чтобы вывести из комнаты, я при всех замахнулся на него ложкой. В кроватке я горько плакал, но уже от стыда, что так дурно поступил, да еще при всех осрамил себя и маму с папой, но на другой день отец встретил меня, как будто ничего не произошло, что еще более меня пристыдило. Пользуясь у себя на двух обширных дворах и в саду большой свободой, мы частенько пошаливали: таскали, например, из сарая скипидар и грели его в углублении большого валуна; бросали булыжники в колодезь, отламывали от низких крыш грязные сосульки и сосали их, находя в них вкус ванили. А одна шалость вышла и посерьезнее. Приехал в Гжатск дедушка Осип Иванович и сказал при нас, что ему нужны будут дверные и оконные ручки и задвижки. Мы решили их ему доставить, забрались в пустую квартиру в том же доме, куда иногда проникали, играя в прятки, и в два-три дня отвинтили там несколько потребных приборов, принесли их потом дедушке. Возмездием за это было маленькое телесное наказание прутом, единственное

за всю жизнь (я даже шлепков не помню), а главное это то, что отец потребовал от нас, чтобы мы сходили одни к домовладельцу, живущему в другой части города, и принесли ему повинную и просили прощения. Пришлось покориться, но кого надлежало, мы дома не застали, а вторичного визита от нас отец не потребовал.

Так шло наше воспитание, во время которого во мне возник и развился сознательный пиетет к родителям, нашедший подкрепление в пятой из моисеевых заповедей, которым я, конечно, был обучен, и в той почтительности, какая самим отцом и матерью проявлялись по отношению к бывшим в живых бабушке и дедушке. Еще не зная ничего о табу, я уже ставил под его охрану отца и мать и не позволял себе что бы то ни было говорить о них с посторонними, ни жаловаться на них, ни даже хвалить, так как все это было бы неприлично, стыдно, конфузно. Этот семейный пиетет оставался у меня на всю жизнь, распространившись уже на членов моей собственной семьи. В раннем детстве отец был для меня идеалом мужчины, и когда я стал находить в нем тот или иной изъян, я страстно молил Бога, чтобы мне дано было не делать того, что я не одобрял в отце. Позднее ближе для меня была мать, несомненно, и сама меня больше любившая, нежели отец.

В Гжатске у меня развилось религиозное чувство, которого, казалось мне иногда, мало было у родителей моих: я находил, что они недостаточно благочестивы и набожны, и даже страдал от этого, заранее видя их в аду, как впоследствии пришлось сокрушаться моей матери по поводу моего нехождения в церковь и небывания у исповеди и причастия. В своих подозрениях относительно матери я был неправ: она была очень религиозна, хотя в молодости и не так сильно, как в старости; у отца же отношение к религии было более равнодушным, а в иных вопросах и вольнодумным.

Неразлучно с отцом я прожил до поступления в гимназию, с матерью — до поступления в университет, да и потом она чаще навещала меня, нежели он. Мать пережила отца на целую четверть века, поселившись в моей семье, в которой у нее были внучата, и даже при ее еще жизни родился правнук.

В Гжатске я вообще познакомился с сознательным переживанием любви, приязни, привязанности и верности и дружбы. В эти же годы я испытал и первые проявления способности влюбляться, чему, может быть, способствовали и разговоры взрослых, особенно тети Вари о любви. Первым предметом моей «страсти нежной» была моя двоюродная сестра Леля, дочь покойного дяди со стороны отца, моя ровесница. После смерти ее отца мои родители взяли к себе на воспитание ее маленького брата Мишу, который и прожил у нас, пока не был принят в малолетнее отделение кадетского корпуса. Навещать его к нам приезжала по временам его ненормальная мать

с дочерью Еленой. Я с нетерпением ожидал их приезда, но свое чувство строжайшим образом хранил про себя, ничем его не проявляя. Впоследствии мы были большими друзьями без всякой влюбленности; это была живая, веселая, остроумная девушка, вышедшая потом замуж и имевшая дочерей.

Другим моим «предметом» была маленькая дочурка какого-то купца, звавшаяся Серафимой. Как узнал я ее имя, не помню, но и самую-то ее я видел только издали, поджидая у окна, когда она должна была пройти мимо. Позднее, в Сычевке, у меня было несколько таких тайных обожаний и все очень юных девочек. Только один раз я готов был млеть в восторге перед семнадцатилетней барышней, Варенькой Миллер, которая чуть ли не каждый день бывала у тетки Варвары Васильевны. Помнится, как я блаженствовал, когда во время загородной прогулки сия девица спрятала меня от дождя под своим широким бурнусом, позволила мне для удобства ходьбы обнять ее за талию, но как вместе с тем я страдал от сознания, что она сделала так, только видя во мне двенадцатилетнего ребенка. Все такие вспышки влюбленности были очень непродолжительны, как и случаи дружбы с мальчиками, хотя к некоторым я искренне привязался.

Были у меня и любимые животные. По отношению к одному, к ручной мышке, жившей на подоконнике и никуда не убегавшей, я смалодушествовал, променяв ее одному офицеру за фунт конфет, но к ней я не успел привязаться так, как к морской свинке, подаренной мне еще в Москве бабушкой, и к собачке Фигаро, бывшей подарком дяди Саши. Когда в одно прекрасное утро любимый мною «свинтус» найден был бездыханным, я ревел чуть ли не весь день и, помню, долго после этого ни за что не хотел есть любимый рассольник с почками, потому что накануне видел во сне, что такое кушанье ел, считал это предзнаменованием случившейся беды. Потом любовь свою я перенес на Фигаро, который жил при мне несколько лет, хотя и сердил отца своим неумеренным в комнате лаем. Сколько раз во время загородных прогулок Фигаро, казалось, пропадал, а я мысленно молился Богу, обещая выстроить новую церковь, если Фигаро найдется. Я думаю, что если все эти обеты были исполнены, то на Руси стало бы несколькими десятками храмов больше. Фигаро жил у меня и в Сычевке, около которой тоже совершались загородные прогулки и происходили временные потери бродливой собачонки, вызывавшие новые обеты. Когда я поступил в гимназию, отец сделал мне сюрприз, привезши Фигаро в Москву. Здесь он действительно пропадал дня три-четыре, к страшному моему огорчению, но неожиданно явился исхудалый, с перегрызанной веревкой, которой был где-то привязан.

Одним словом, впервые в Гжатске я как бы проснулся для того, чтобы начать испытывать жизнь сознанием и чувством.

Здесь же окружавший меня реальный мир нашел дополнение в другом, воображаемом. Я окружил себя еще, но никому об этом не говорил, какими-то невидимыми существами, которых отличал, однако, от чертей, а скорее представлял себе нашими двойниками, и среди них подозревал существование другого такого же существа, как я. Они, эти двойники, были тут же, около нас, или близко, быть может, в пустой квартире над нами, где мы так расправились с дверьми и окнами. Столь же ощущал я, а не теоретически только признавал и «тот свет», Бога, святых, праведные души, входил в общение с этим миром, обращаясь к нему с молитвами, то по серьезным делам, чтобы, например, папа и мама не умерли, то по пустякам, чтобы нашелся Фигаро или чтобы дождь не помешал прогулке. На сей последний конец, когда дьякон в церкви молился о том, чтобы «нам сохранитися без греха», я мысленно подставлял на место последних двух слов — «без дождя». Я стал любить церковную службу. В дни рождения и именин мама возила меня в собор к ранней обедне, которая служилась еще в потемках, что наполняло мою душу каким-то благоговением, а когда я впервые присутствовал на каком-то соборном служении молебна св. Духа, то был умилен почти до слез, которым не дал воли, чтобы другие не заметили моего волнения. Я по нескольку раз прочитывал весь молитвенник, смущаясь в нем только тем, что во многих местах и молитвах говорилось об «отце и братиях», но нигде не упоминалось ни матери, ни сестры. В своих обращениях к Богу я делал необходимую поправку: вот где и когда у меня зародилась мысль о женском равноправии. Я даже сам тихонько от взрослых служил молебны с возжением восковых свечей, а один раз, как мне думалось, отслужил на заре обедню с причащением себя, причем красное вино было заменено вишневым соком. Усердно читал я и Евангелие, в котором сильное впечатление производило на меня предсказание о страшном суде, а грозные картины Апокалипсиса вызывали во мне жуткое чувство, родственное тем ночным страхам, о которых я уже говорил. Заповеди Христа о любви к ближнему, о милосердии, о прощении обид глубоко западали в душу. Говением с его длинным стоянием в церкви я не тяготился, а после причастия чувствовал себя как-то омытым, точно физически побывал в бане. Каких только прекрасных обещаний я не выдавал Господу Богу! Это настроение, начавшееся после тяжелой перенесенной мною болезни, по-видимому, дифтерита (назвали ее крупом), когда меня уже оплакивали, как обреченного на смерть, продолжалось и в Сычевке и было еще в первые годы учения в гимназии, когда перед экзаменами я, подобно многим тогдашним школьникам, бегал к Иверской за чудотворной ваткой. В первую же страстную неделю в Москве я решил из особого усердия приложиться к плащанице чуть ли не в пятидесяти церквах. В этой детской религиозности, владев-

шей мною, то усиливаясь, то ослабевая, около десяти лет, была и своеобразная поэзия мистики потустроннего мира, и глубоко этические переживания, возвышавшие душу, поселявшие в ней стремление к идеалу, жажду нравственного подвига, любовь к человечеству, но было и грубое суеверие с магическими устремлениями. Как и другие свои интимные переживания, я хранил все это про себя, тем еще больше питая свою скрытность.

Помню еще, что в Гжатске я очень боялся скорого светопреставления и страшного суда, лубочная картинка которого особенно охотно мною рассматривалась, показывалась прислуге и комментировалась. Страшила меня и смерть родителей, и я сам готов был умереть раньше их, чтобы только не испытывать этого ужаса. Сам я как-то не боялся, впрочем, что умру. Когда, больной крупом, я однажды услышал, как кто-то шепотом сказал: «Умрет, пожалуй», а мать тихо всхлипывала около моей кроватки, я был уверен, что этого не будет, потому что сам о том горячо молился. До 19 лет, когда скончалась бабушка, я не видел близко покойников, а те, которых проносят в открытых гробах по улице мимо наших окон второго этажа, вселяли в меня неудержимый страх к мертвецам, испытываемый иными, как известно, в зрелом возрасте. Как-то вошедши в церковь, я еще издали увидел впереди гроб и в паническом ужасе бежал из церкви, чуть ли не закричав от испуга.

В конце гжатской жизни у нас уже были учителя и очень короткое время гувернантка, оказавшаяся весьма плохой. В доме у нас жили один за другим два семинариста, один довольно долго, Арсений Иванович Качевский, другой недолго, только на летних вакациях, так что имя это забыл, да на дом в промежутки приходили учителя. Первый ушел от нас потому, что сделался священником. С его именем в моей памяти сохранился такой эпизод. Отца и матери не было в городе, когда однажды Арсений Иванович повел нас в гости к знакомому священнику, а от него с молодой поповной, ее братом и еще кем-то гулять за город. Дело было вечером; какими-то судьбами мы не то отстали, не то ушли в сторону и очутились одни, пустившись бежать в город, но сбившись с пути, когда уже стало темно и звезды высыпали на небе. К счастью, нас подобрал проезжавший в телеге какой-то гжатский гражданин, узнавший, что мы городнические дети, и доставивший нас домой с переездом вброд через реку. Как мы встретились со своим учителем, не помню, но только хорошо знаю, что, по обоюдному соглашению нашему, отцу и матери пассаж этот, по крайней мере, от нас не был известен, и Арсений Иванович еще оставался нашим ментором. Помню другого приходящего учителя по фамилии Эльманович. Он интересовался итальянской войной 1859 года и показывал мне на карте Италии крепости и места сражений, но меня это мало интересовало, вследствие чего я предпочел рассматривать крупные веснушки на его бледной

руке, чем следить по карте. Как запоминаются иногда такие мелочи!

В Гжатске мы жили широко и открыто. У нас была большая квартира, были выездные лошади, бывали вечера с танцами и с игрой в карты. В городе стояла артиллерия, офицеры которой были первыми танцорами для часто гостивших у нас теток. Кроме того, бывали чиновники с именами, отчествами, фамилиями, бывшими мне известными по «памятной книжке», бывали более образованные купцы, в общем довольно большое общество, да и детская компания изрядная. Жизнь шла весело. Вспоминаются приезжавшие в город труппы актеров, цирк, балаган, фокусники, что все нам показывалось и приводило в восторг. Помню и многое другое: великолепную комету 1858 года, относительно которой отец меня успокоил, что она светопреставления не производит, или зелененькую брошюрку «Об улучшении быта крестьян», вызывавшую много разговоров, проезд через Гжатск Александра II, промчавшегося мимо наших окон, известие о пленении Шамиля и т. п. Я уже начинал тогда испытывать патриотические чувства. Между прочим, имея учебник географии, я узнал из него, что русский государь — монарх неограниченный, тогда как английский, прусский и другие — ограниченные, и почему-то видел в этом какое-то преимущество, возвышающее Россию над другими государствами мира.

В момент переезда из Гжатска в Сычевку, куда отец перевелся на ту же должность, — это было в январе 1861 года, — мы были накануне освобождения крестьян. В самом раннем детстве вопрос о господах и рабах не тревожил моего ума и совести. Дедушкины дворовые говорили нам, что Бог унизил их за грехи их прародителя Хама, а родные объясняли происхождение бар заслугами перед царем и Россией, и на этом детский ум успокаивался. Первую критику крепостного права я услышал из уст отца, который нередко при мне говорил знакомым, что, родившись в Финляндии, где нет крепостных и сам не имевший никогда крепостных, он как-то долго не мог привыкнуть к этому учреждению, и что ему вообще должен быть положен конец. Его, очевидно, коснулись новые веяния. По крайней мере, в его бумагах я впоследствии нашел рукописную копию знаменитого письма Белинского к Гоголю,[4] а в его анекдотах о времени Николая I узнавал впоследствии заимствованные из Герцена, да и «Колокол», как помню, почитывался в нашем доме. Дедушка Осип Иванович, наоборот, высказывался против уничтожения крепостного права, находя, что это будет только шагом к республике, самое имя которой ему внушало ужас. Мое сочувствие было на стороне эмансипации, которую я одобрял и с христианской точки зрения, зная очень хорошо, что в деле крепостного права Хам ни при чем, но что виноват тут, как тогда думал, Борис Годунов. По переезде нашем в Сы-

чевку только разговора было, что о «положениях», которые будто бы везли в губернию на тридцати тройках. В тот день, когда воля была объявлена, я лежал в постели, опять довольно тяжело заболевший, на сей раз упорным воспалением в правом ухе, еще чем-то осложненным.

Вообще, я был еще слишком мал, чтобы интересоваться подробностями происходившего. Скрашивалось только общее и окрашивалось в субъективный цвет: мне казалось, что все так же радуются, как и я, и любят Александра II. Вообще политические события только мимоходом задевали мою ребяческую психологию, хотя до ушей доходили разговоры о студенческом «бунте», о петербургских пожарах, о варшавском покушении на великого князя Константина, о польском восстании, о горчаковских нотах.[5] Первых студентов в мундирчиках с голубыми воротниками я видел еще в Гжатске и даже очень любовался одним молоденьким студентиком, танцевавшим у нас на встрече нового (1861) года, так что тогда уже мне захотелось быть впоследствии самому студентом. В Сычевке тоже был чистенький и франтоватый студент, почтительно приходивший поздравлять бабушку и нас с праздниками. И вот они оказались бунтовщиками, высланными из столиц по родительским домам. Мои симпатии, не знаю почему, были на их стороне, тем более, что в числе высланных находился один двоюродный дядюшка.

Пожаров боялись и у нас, потому что о поджогах были какие-то подметные письма. Что касается до польских дел, то как будто к полякам относились сначала без вражды. И в Гжатске, и в Сычевке, как и в других городах, было очень много чиновников-поляков, не выделявшихся из остального уездного общества, но только после 1863 года все они куда-то большей частью исчезли. Только горчаковские ноты как-то всколыхнули благополучных россиян, и теперь я не помню, перед ними или после них, в Сычевке сочинялся адрес царю. Лично похвалы Горчакову возбудили во мне мечты о принесении пользы Отечеству в будущем на дипломатическом поприще, хоть суть дела для меня оставалась непонятной, как и настоящие причины гремевшей тогда славы Гарибальди, красная рубаха которого, кажется, даже проникла в дамские моды.

По переезде в Сычевку началось наше более систематическое, чем в Гжатске, учение. Для русских предметов был приглашен и до конца сычевского пребывания оставался нашим наставником учитель приходского училища Иван Васильевич Ольховский, который приезжал к нам летом (по крайней мере, один раз) в наше Аносово, к тому времени отстроенное для летнего местопребывания семьи. Это был очень хороший учитель, к которому я был очень привязан и даже с которым потом одно время переписывался. От него я узнал, сверх абонемента, кое-что из латыни и начертания и названия греческих

букв. Но у него была несчастная русская слабость: он часто запивал, во хмелю был буен, ссорился с женой, что доходило и до городнического сведения. Его, однако, как-то жалели и везде радушно принимали. Отец относился к нему очень хорошо и оставлял его нашим учителем, хотя с ним и случилась один раз у нас такая штука: в подпитии он появился в зале, где танцевали, сел на пол и начал было ловить танцующих за ноги. В деревне у нас я однажды на беговых дрожках за кучера повез его в одно соседнее село к обедне. К церковной службе мы опоздали, но зато священник оказался товарищем Ольховского по семинарии, сам был выпивоха и подпоил своего гостя, которого я до дому не довез, так как по дороге для протрезвления он задумал выкупаться и просил меня его не ждать. О нем рассказывали, что, возвращаясь в Сычевку на заре с какой-то пирушки, он вздумал выкупаться в Вазузе, но пока он барахтался в воде, его платье и белье на берегу кто-то похитил, так что ему пришлось вернуться в адамовом костюме. Человек это был неглупый, не без остроумия, начитанный. Я считаю многим себя ему обязанным и поминаю его всегда добром. У него был сын, постарше меня года, по крайней мере, на два, поступивший в Смоленскую гимназию, где прекрасно учился, как-то гостивший у нас в Аносове, куда привозил какую-то мудреную книгу Вирхова и где мне поведал, что влюблен в тетушку Варвару Васильевну. Чем он сделался потом и что у него вышло с отцом, не знаю; только старик жаловался на него в письмах ко мне. Когда, разыскавши его сына в Питере в восьмидесятых годах, я заговорил с ним о его отце, то он резко оборвал меня, на чем и кончилось возобновление старого нашего знакомства.

Одновременно с добрейшим Иваном Васильевичем по-немецки стал нас учить один маленький чиновничек, кажется, уездного суда, немец Шпиндлер, а музыке — некто Анатолий Алексеевич, отдаленная родня дедушки, тапер и настройщик по профессии, тоже запивавший. К музыке у меня не оказалось ни склонности, ни способности, хотя я прошел с учителем и сменившей его гувернанткой школу Гюнтера. Анатолий Алексеевич часто манкировал, а я изобрел особый заговор, чтобы он не приходил: шептал над цельным бобом заклинания о невозможности человеку пройти через него, разделял обе половинки и клал их в разных краях ворот двора нашей квартиры. А не то, если учитель опаздывал, и я даже видел его идущим, то через окно удирал в стоявшую напротив церковь. Вижу теперь, что и колдовство мое, и превращение церкви в убежище от учителя не вязались с общим религиозным строем моей души, но мало ли в жизни людей противоречий, бывших и во мне, грешном, даже в слишком большом количестве.

Наконец, к сычевскому периоду моей юности относится жизнь в нашей семье Екатерины Антоновны Григорьевой, о ко-

торой я уже упоминал, говоря об обитателях Муравишников в первой половине пятидесятых годов. У кого только она ни жила, и кого ни учила в Смоленской губернии, начиная с каких-то княжен, с поэта Алмазова и моих теток, двоюродной и родной, и кончая младшими моими кузенами и кузинами и, между прочим, будущим товарищем министра.[6] Урожденная Вейс, она была замужем за пожилым чиновником Григорьевым, у которого ее похитил блестящий военный Давыдов, если не сам славный партизан 1812 года Денис Васильевич,[7] портрет которого был приклеен к внутренней стороне крышки сундучка Екатерины Антоновны, то его брат или кузен. Муж нагнал беглецов на какой-то почтовой станции, но здесь же проиграл сопернику жену в карты, сам выиграв у него десять тысяч. Нашелся священник, который их обвенчал, и жили они потом на Кавказе, где Давыдов занимал видную военную должность; когда же он умер, его сестры, не желая, чтобы вдове чего-нибудь досталось, донесли о ее двоемужестве. Брак был признан незаконным, и Екатерине Антоновне было предписано именоваться по первому мужу. У нас она жила, уже будучи старушкой, и много рассказывала нам о Кавказе, о тамошней военной жизни и как из ее бального башмачка, по тогдашней моде, офицеры пили шампанское.

Я очень любил Екатерину Антоновну и заливался горючими слезами, когда, заболев, она собиралась умирать и мне диктовала свое духовное завещание. После этого она прожила еще без малого двадцать лет, переучив еще кучу ребят и только в глубокой старости согласившись переехать на учительство к своей племяннице, Софье Николаевне Фишер,[8] урожденной Вейс, бывшей очень известною в Москве как основательница и начальница женской классической гимназии. В последней я преподавал в середине семидесятых годов года, кажется, два, и у той же мадам Фишер видел старушку Екатерину Антоновну в 1881 году незадолго до ее смерти. Еще живя у нас в первой половине шестидесятых годов, она страдала глухотой и болела глазами, а все работала да работала.

Екатерина Антоновна была отличной воспитательницей и превосходной учительницей, пользовавшейся любовью детей и уважением родителей, как ни подсмеивались над нею за глаза. У нее был чудесный характер, большая добросовестность, педагогическая опытность и замечательное знание французского языка, хотя и с «нижегородским» выговором. Я с нею прошел полный курс этого языка, научился говорить и даже писать, перечитал целый ряд книг, но многое из всего этого потом растерял, когда поступил в гимназию. Екатерина Антоновна была, вдобавок, очень образованной женщиной, от которой я многое-многое узнал и из мифологии, и из французской истории и литературы. Она была разумно религиозна и обыкновенно говела вместе с нами, читала с нами Евангелие и го-

ворила о добродетелях без ханжества. Часто она уверяла, что хотела бы умереть, но это как-то не вязалось с ее интересом к жизни. Я встречался с Екатериной Антоновной неоднократно и гимназистом, и студентом и охотно с ней беседовал на серьезные темы. Однажды она спросила меня уже в эти годы, как я думаю, неужели милосердный Бог действительно установил вечность мучений. Я знал, что этот вопрос всегда ее тревожил, и ответил, что так думать не могу. «Вот и я то же думаю»,— с удовольствием ответила Екатерина Антоновна. Мне очень нравилось видеть вместе обеих старух: бабушку Елену Ивановну и Екатерину Антоновну, то вспоминающих военную старину, то шутивших по поводу новых обычаев, то мирно сражавшихся в дурачки. Со мной Екатерина Антоновна также поигрывала в «кавказский преферанс» на кедровые орешки. Когда отец кончил свою службу в Сычевке и мы переехали в Аносово, где прожили более года (1863—1864), старуха еще пожила у нас некоторое время.

В Сычевке жила все эти годы и бабушка Елена Ивановна в своем домике с огородом и садом, имея на дворе корову («коровушку» — на ее языке) и всякую живность. Дом был на той же улице, что и наша квартира, так что в течение дня мы могли по нескольку раз бегать туда и всегда получать какую-либо «вкусность». Однажды я пошел туда и ночью, проснувшись у калитки от прикосновения к холодному железному кольцу,[9] при помощи которого она открывалась.

Сычевские годы были временем моего сомнамбулизма, когда сонный, но с открытыми глазами, странствовал по ночам, часто зачем-то приходя будить родителей. Мне в таком случае задавали вопросы, какой то был день или который час, на что получались верные ответы: ночь с такого-то дня на такой-то, а взглянув на стенные часы, я и час обозначал правильно. Не обходилось дело и без комических эпизодов: один раз я разбудил ночевавшую у нас родственницу, пригласив ее следовать за мною, подвел к платяному шкафу, открыл его, вошел внутрь и прикрыл дверцу за собой. В испуге родственница разбудила мою мать, которая и пошла меня искать. Самый замечательный случай был такой: я проснулся ночью, почувствовав жесткость своего ложа и холод. Оказалось, что я лежу на голом полу средь зала, причем ноги мои были обуты, но кроме подушки со мной ничего не было. Я спокойно вернулся на свою постель, но через сколько-то времени проснулся на том же месте, но уже с одеялом, частью подвернутым под меня, частью меня прикрывавшим. Третий раз просыпаться там я не захотел: вернулся, сняв простыню и, намочивши ее водою, разостлал перед кроватью, забросив подальше от себя обувь. Немедленно заснувши, я опять, однако, проснулся, сидя на кровати с подушкой и одеялом в охапке и с босыми ногами на мокрой простыне. Эти явления объяснялись и влиянием луны, и глистами, и не

знаю еще чем. Впоследствии я сам усматривал здесь как бы раздвоение своего *я* или даже наличность в себе двух *я*. Годам к пятнадцати это прошло.

В Сычевке я уже как-то перестал чувствовать себя ребенком, читал книги для взрослых, любил вести беседы со взрослыми и уже не был наивным ребенком, начиная видеть и понимать многое. Пользуясь большею свободою, чем в Гжатске, мы уходили из дому в общественный сад, устроенный по инициативе моего отца на бывшем пустыре около глубокого оврага, а здесь всегда было много мальчиков из другого общественного круга, знавших по некоторым вопросам гораздо больше, чем мы с нашими арифметиками и географиями. Не скажу, чтобы это было в нашу пользу. Между тем, как раз боясь дурных влияний, отец не согласился меня отдать в уездное училище, куда я попросился было, побывав там с родителями и с братом на годичном акте. В сверстниках и товарищах недостатка не было, но переезд в Аносово положил конец нашему общению с неподходящими элементами. Менее как-то и взрослые стеснялись говорить при нас о таких вещах, о которых молчали прежде. Прежде жизнь воспринималась мною как-то только с казовой стороны, но тут начала обнаруживаться и изнанка. В нравах было много грубого, даже дикого, и многого стоили разные рассказы из скандальной хроники жизни города и уезда.

В Муравишниках мы познакомились с помещичьим бытом, в Гжатске и Сычевке — с чиновничьим и купеческим. Как понятно было мне потом многое в изображениях Пушкина, Гоголя, Тургенева, Гончарова, Островского, с произведениями которых стал знакомиться в этом возрасте. Тогда же я и сам начал сочинительствовать: составлять газету еще в Гжатске, писать стихи и комедии в Сычевке. У меня рано обнаружилась версификаторская способность, которую не я один принимал за поэтический дар. Впоследствии я понял, что тут что-то не так, хотя никогда не переставал пописывать стихи, но в 1863 или 1864 году дерзнул послать целую тетрадку своих виршей в «Сын Отечества» Старчевского.[10] На мое счастье в этой газете не было заведено «почтового ящика» для ответов авторам непринятых статей и стихов. Во всяком случае, о писательстве я начал мечтать очень рано, но верно предсказала мое будущее бабушка, называвшая меня «нашим профессором». С детства я любил рассказывать, что знаю, учить незнающих того или другого, и в этом, сколько могу теперь судить, было не хвастовство своею «образованностью», а альтруистическая потребность делиться с другими своими знаниями: приобретая их с наслаждением, я думал, конечно, что и для других великое удовлетворение узнавать что-либо новое. Кроме моих сверстников, большей частью интересовавшихся играми и забавами, слушателями у меня были слуги, позже крестьяне, а не то я вы-

кладывал вычитанные из книжек знания родным и даже наставникам своим, если думал, что это для них будет ново. Игр на эту тему, однако, не было, а на забавы оказывала влияние чиновничья среда: некоторое время с несколькими сверстниками мы устроили какое-то бюрократическое учреждение с функциями, бывшими нам самим неизвестными, но с определенными, хотя и фантастическими формальностями и с бумажным делопроизводством, с входящими и исходящими, с предписаниями и донесениями. Вообще, моя мысль всегда была занята чем-нибудь «деловым», хотя бы то было только фантастическим прожектерством самого фантастического характера. Еще в Гжатске, например, я занимался рисованием фонтана, в котором вода должна была возвращаться в бассейн, откуда вытекала. Мне казалось это так естественно и понятно, что я сердился на дядю Петю, который говорил мне, что это невозможно. В Сычевке я принимал особую систему денежных операций, казавшуюся мне гениальной, но тетя Варя доказала мне практически ее несостоятельность: она дала в виде опыта мне в долг двугривенные, которые я возвращал ей полтинниками, пока у меня был некоторый денежный запас, а когда он истощился, я понял, что проектированный фонтан — вещь неосуществимая. Я до поры до времени воображал, что и другие, например, бабушка, будут мне превращать гривенники в четвертаки, но этого не случилось. Какое счастье для человечества, что я не сделался ни инженером, ни финансистом. Во всяком случае, из меня вышел бы лучший натуралист. В Сычевке я наблюдал высоту ртути в барометре и термометре и записывал ее аккуратно в тетрадку, а летом срисовывал листья и подписывал под ними названия растений, которым они принадлежали, даже с некоторыми описаниями их формы. Первые приемы рисования преподал мне отец, но потом, к сожалению, я систематически не учился рисованию и только несколько поупражнялся в черчении географических карт.

Проживая около шести лет в городах, мы часть лета проводили в деревне, сначала в Муравишниках, а потом уже в своем Аносове, верстах в восьми оттуда. Там был у дедушки хутор с двумя приписанными к нему деревнями, данными в приданое матери и замужней тетке Татьяне, жене нашего Обломова. Я его, этот хутор, еще помню особенно по следующему поводу. Поехал туда дедушка посмотреть и меня взял с собою, когда мне было лет пять или шесть. Пока он что-то делал в овине, я забежал в соседний лесок, где и уселся преспокойно на муравейнике. Его обитатели очень больно наказали бесцеремонного гостя, в слезах и с ревом прибежавшего к дедушке, вдобавок обидевшего своего внука смехом, хотя и не злорадным, а очень добродушным.

Вот этот-то хутор с его пахотной землей, лугами и лесами и был разделен между двумя сестрами, мужья которых стали

строиться на новых местах неподалеку друг от друга: Михаил Иванович Греков (или Грёков, как произносили у нас его фамилию) — на высоком берегу речки, отец — поближе к большой дороге. Помню, как я восхищался прекрасными картонными моделями амбара, погреба, скотного двора и маленького флигелька, которые клеил в Гжатске отец, как все это строилось на совсем пустом месте, как засаживалось оно деревьями и кустами и как я и брат сами посадили по несколько крохотных березок, вершка два в вышину, выдернувши их в лесу из земли и чуть не собственными пальчиками проковырявши для них ямки. Эти наши березки выросли в большие деревья, сохранившиеся и до сего времени (1921), кроме одного, лично моего, сломанного бурею не так давно. Вот это и было то Аносово, в котором я впоследствии проводил летние месяцы и, пожалуй, особенно много работал, начиная с годов студенчества, читал, делал выписки, готовился к магистерскому экзамену, писал свои книги, продолжал сажать деревья, иногда греб сено и ходил в одинокие прогулки. Стали мы жить по летам в Аносове лишь после того, как выстроен был в нем небольшой домик, не раньше 1860, а может быть, и в 1861 году. Здесь же я впервые вошел в соприкосновение с крестьянами, работавшими на хуторе два года «временнообязанными», потом по найму. К сельскому хозяйству я, однако, не пристрастился и, очень вероятно, потому, что оно сопряжено было с разными неприятностями климатического и чисто человеческого происхождения. С течением времени я все более делался книжником и отходил от хозяйственных интересов, в которые все больше входили родители, особенно отец.

До выхода в отставку (1863) он очень редко мог бывать в Аносове, потому что мог ездить только в отпуск раз в год, не больше, без отпуска ездить даже на самые короткие сроки редко рисковал. Очень хорошо помню одну такую незаконную поездку. В соседнее с Аносовым село Воскресенское ехал по экстренному делу сычевский судебный следователь Григ[орий] Павл[ович] Филимонов, большой чудак и остряк, и предложил отцу с ним прокатиться и взять меня. Выехали мы после солнечного заката (дело было, должно быть, в мае 1862 года), необычайно быстро промчались тридцать верст до Воскресенского, где Филимонов остался ночевать для завтрашнего следствия, а мы вернулись в Аносово только перед солнечным восходом. Погода была чудная, соловьи заливались вовсю, спать не хотелось ложиться, и я побежал к своим березкам полюбоваться солнечным восходом и заснул, кажется, не раздеваясь. Сам Филимонов, которого я всегда видел говорящим только о следствиях и статьях закона да о разных случаях своей практики с разными шутками, прибаутками и любимыми словечками, вроде названия водки «центаврией», как могущей превращать человека в четвероногое (в Центавра), явился пе-

редо мной каким-то иным лицом под влиянием природы. Пока ямщик нас мчал из Сычевки, Филимонов, к моему удивлению, произносил стихи, восторгался некоторыми меткими выражениями Пушкина и Гоголя, вспоминал свои детские годы. Вся эта поездка осталась в моей памяти, как феерия. На другой день Филимонов должен был в Аносове пообедать, с каковой целью отец около полудня послал меня за ним с кучером на беговых дрожках. На обратном пути в дрожках сломался шкворень, следствием чего было падение нас обоих, но Филимонов как-то устроил дело так, что мы добрались до Аносова, не бросивши дрожек на дороге. К вечеру мы были уже в Сычевке, где, к счастью, за эти сутки не случилось ни пожара, ни другого какого-либо бедствия. С Филимоновым как с добрым старым знакомым я и потом встречался. Между прочим, он посетил меня в Москве, когда я был студентом, а приезжал он на суд в Судебной палате по обвинению в неправильном производстве одного следствия, в чем он был, однако, оправдан.

Летом 1863 года мы переселились в Аносово, где дом был расширен пристройкой, лишь временно: имелось в виду помещение меня и брата в школу. В приеме нас в гимназию на казенный счет было отказано, а тотчас ехать в губернский город или в одну из столиц не было средств. В сколачивании копейки прошло больше года: продана была большая березовая роща на сруб, проданы городские лошади и экипажи, некоторые ценные вещи, в том числе массивная золотая оправа часов-луковиц, купленная дедушкой Василием Елисеевичем Кареевым в 1814 году (механизм сохранился у меня) и т. п. В Аносово переехала с нами и Екатерина Ивановна и прожила у нас еще некоторое время, а когда ей нужно было уехать к брату, жившему помещиком в Тверской губернии, меня и брата отдали в один частный пансион, устроенный незадолго неподалеку от Аносова. Об этом эпизоде я расскажу отдельно. Самое последнее время мы оставались одни с отцом и матерью и коротали длинные осенние ночи в общих занятиях: раскрашивали красками карикатуры из «Сына Отечества», которыми оклеили одну комнату, читали (помню «Мертвые души», между прочим), рисовали. Изредка мы выезжали в Сычевку к бабушке. В марте 1864 года, возвращаясь с масленицы домой, в начинающуюся уже ростепель, мы с санями провалились на одном мостике в ручей и вымокли по грудь, подмочив и весь свой багаж, в котором были, например, две головы сахару. Пришлось ночевать в крестьянской избе, переодевшись в хозяйское платье, сушить свое, а с ним и сахарные головы, с которых, положенных концами на поленья дров, стекал в подставленные плошки настоящий сироп. Вскоре после этого мы и были помещены в упомянутый пансион, где пробыли около полугода, месяца два еще проживши с братом в Аносове.

Помню мое прощание с Аносовым перед выездом в Петер-

бург. За несколько дней перед тем муравишниковский причт служил у нас напутственный молебен, для чего привозилась чтимая на месте икона Николая Чудотворца. Я попросил позволения и мне позволили обнести эту икону вокруг всей усадьбы с ее парком, огородом, гуменником и т. п., что составляло добрую версту. Конечно, по дороге мы заезжали в Муравишники, куда наведовались вообще довольно часто. Дедушка болел: его готовому гробу уже недолго оставалось украшать его спальню. Дальнейший путь лежал через Сычевку, где бабушки, переселившейся незадолго перед тем в Москву, уже не было, через Ржев и Старицу в Тверь, откуда уже можно было ехать, как тогда выражались, «на машине», или «чугунке». Ехали по превосходному санному пути, в ясную, слегка морозную погоду «на долгих», т. е. с кормежками и ночлегами на постоялых дворах.

Глава третья

«БЛАГОРОДНЫЙ ПАНСИОН ДЛЯ ДЕВИЦ ОБОЕГО ПОЛА»

Лошадкино и его обитатели. — Пансион и винный склад. — Наши воспитательницы. — Лошадкинские соседи. — Дом-клоповник. — Внутренний распорядок пансиона. — Пансионские товарищи. — Лошадкинские гости. — Несколько заключительных строк.

«Благородный пансион для девиц обоего пола» — так в шутку называли небольшой деревянный интернат семейного характера, где я и брат учились с весны до осени 1864 года, чтобы окончить подготовку для поступления в настоящую школу. Впоследствии это учреждение было перенесено в Сычевку, где уже упомянутый следователь Филимонов называл его «огарками просвещения». Учились в нем девочки и мальчики у двух учительниц-сестер.

Лошадкино, где помещался пансион, было мне знакомо с раннего детства. Здесь проживала бабушка Александра Дмитриевна. Одно время это имение арендовала бабушка Елена Ивановна, к которой мы как-то зимой приезжали из Гжатска и летом из Муравишников. Теперь здесь две дочери Александры Дмитриевны, двоюродные тетки наши, держали учениц и учеников после того, как младшая из них, Екатерина Павловна, кончила курс в одном из петербургских институтов. Она

была наиболее деятельною учительницею, а старшая сестра, Прасковья Павловна, ее помощницей, главным образом в деле обучения музыке и танцам. Среди учащихся были собственные дети Прасковьи Павловны, с которыми мы играли и раньше, да еще жили с матерью две совсем маленькие дочери. Муж «тети Паши», отставной офицер Виктор Яковлевич Алянчиков, ведший свой род, кажется, от крещеных касимовских татар, проживал также в Лошадкине в довольно просторной бане, шагах в полутораста от дома. К делу просвещения он касательства не имел: у него было свое дело — винный склад.

Я помню еще винный откуп,[1] высшие агенты которого были принимаемы и в гжатском и в сычевском обществе. Когда откуп был уничтожен, некоторые служащие делали новогодние визиты человек по пяти в плохих санишках и на невозможной кляче. Результатом же разрешения вольной продажи водки было то, что, например, в деревне Щанихе на пути из Сычевки в Аносово из 22 дворов в 20 было по кабаку или по «патенту», как стали тогда называться питейные дома от стоившего всего 15 рублей в год патента на право торговли водкой. В то время многие бросились на эту торговлю, в их числе был и Виктор Яковлевич, устроивший в Лошадкине винный склад, бывший доступным и для нашего обозрения. Моя любознательность простиралась и на то, что делалось в этом складе, так что я познакомился с устройством спиртомера Траллеса и знал значение терминов «усыпка» и «утечка». Обоим последним явлениям очень усердно помогал сам Виктор Яковлевич, по временам и довольно-таки часто запивавший. Во хмелю он бушевал, гонялся за женой с палкой и делал попытки ворваться в дом, который тогда крепко запирался. Однажды посланный запереться изнутри, я не успел это сделать, когда Виктор Яковлевич уже просунул через порог ногу. Мне удалось, однако, надавить на дверь. Началась борьба, из которой победителем вышел я, прищемив просунутую внутрь дома руку. Виктор Яковлевич, бывший довольно слабосильным, а главное, — большим трусом, взмолился, чтобы я освободил его руку. «Хорошо — сказал я, — дайте честное слово офицера, что вы не воспользуетесь этим, чтобы отворить дверь». Слово было дано и сдержано, так что опасность вторжения пьяного в дом миновала. Виктор Яковлевич пил тогда, когда заболела и умерла его четырехлетняя дочь, пил с фельдшером Гамаюном, приглашенным ее лечить, и в пьяном виде они секли друг друга крапивой. Храбрый офицер, оказалось, боялся маленькой покойницы, и пока ее тело находилось в доме, приходил спать к нам, мальчикам. Дело было летом, когда мы ночевали вповалку под закромом амбара, да и тут Виктор Яковлевич не решался занять место с краю. Разумеется, бывали и трезвые дни, когда Виктор Яковлевич был вполне приличен и любезен.

Бабушка Ал[ександра] Дм[итриевна] была уже «большой»

старухой. С разных сторон я слышал, что это была жестокая госпожа, но в данный момент крепостных уже не было, сама она совсем не вмешивалась в хозяйство и целые дни сидела в своем кресле с каким-нибудь вязаньем, чистенько одетая и в чепце с громадными оборками. Во рту у нее был только один торчащий нижний зуб, который насмешница тетя Варя сравнивала с печной трубой, уцелевшей на пожаре. Дочери с ней были очень почтительны, а мы, воспитанники, должны были ежедневно здороваться и прощаться с нею, целуя ее руку. С нами она была очень приветлива, по три раза крестила каждого из нас при отходе ко сну и вообще была образцом корректности. Нередко она нам рассказывала разные истории о привидениях, о вещих снах и о таинственных предчувствиях, а один раз мы выслушали целое повествование о какой-то ее знакомой, обладавшей свойством одним своим взглядом изрезывать вещи: принесут ей ситец с цветочками, и вот от одного ее взгляда цветочки, словно вырезанные, сыплются из ткани на пол. Мы почтительно слушали, не смея выразить сомнения и не обсуждали таких рассказов между собою, зная, что Павленька любил все, что говорилось, передавать своей матери. Когда заходила гроза, бабушка снимала все иконы в доме и выставляла их на окна, ликами наружу. Разговаривать с нею мы должны были по-французски, с наставницами и между собою день — по-французски, другой — по-немецки под страхом получить «язык», кусок красного сукна на тесемочке, надевавшийся на шею и переходивший от одного к другому за каждое произнесенное по-русски слово.

Старшая тетушка была необычайно вертлява, вечно закуривавшая вечно погасавшую трубку с коротким чубуком, для чего никогда не выпускала из руки коробок с серными спичками; тетя Варя удивительно умела ее передразнивать. В сущности, однако, она была довольно добрым и очень несчастным существом, много видевшим горя на своем веку вплоть до ссылки в Сибирь по суду ее сына Павленьки, который впоследствии был в Москве «червонным валетом». Учила нас, собственно, тетя Катя, очень некрасивая, но и очень добрая, несколько восторженная институтка, всю жизнь свою до глубокой старости работавшая, не покладая рук. Впоследствии она имела пансион в Сычевке, потом в Новогрудке, где вышла замуж, жила с мужем и в Белеве, куда его перевели смотрителем уездного училища, наконец в Москве, когда муж выслужил пенсию, и здесь, в Москве, до конца дней давала грошовые уроки. В Лошадкине я очень сдружился с Екатериной Павловной, изредка, через промежутки в несколько лет, переписывался с нею, а в конце девяностых годов, более чем через тридцать лет после Лошадкина, перднринял поездку в Белев, куда не было тогда железной дороги, чтобы погостить у своей старой учительницы несколько дней. Когда она жила в Москве, я каждый раз, при-

езжая туда, неукоснительно навещал старуху, причем мы вспоминали старину. Жила она в довольно убогой обстановке, вся в прошлом, со своими старыми понятиями, и в очень многих отношениях оставалась донельзя наивной. Чуть не сорок лет после Лошадкина она мне говорила, что очень хотела бы побывать на старом пепелище и, собравши крестьян, показать им своего внука (в то время студента) и сказать им: «Вот посмотрите, какой внук вырос у вашей старой помещицы». Она, бедная, как будто не знала, какую память оставила по себе эта помещица, не представляла себе, что, пожалуй, и в живых-то из знавших ее крестьян уже никого не было, и не понимала, что вообще такое сентиментальное предъявление новому поколению крестьян «молодого барина» было бы очень странным в начале XX века. Большую часть того, чему мне пришлось учиться в Лошадкине, я уже раньше знал, но все-таки кое в чем учение там принесло мне пользу, особенно в отношении немецкого языка. Только незнакомство с латинским языком и алгеброй помешало мне в следующем году поступить в четвертый, а не в третий класс гимназии.

Была еще и третья лошадкинская тетя, которую я знал в младенчестве, по имени Фаня (Феофания). Она жила верстах в двух-трех компаньонкой у генеральши Змиевой, к которой пансион наш ходил в гости раза два потанцевать. В очень раннем детстве мне приходилось видеть и сестру мужа генеральши, прежде владевшую данным поместьем и носившую фамилию Гаузен. Та после уничтожения крепостного права восстановила его для себя, продав свое поместье, купив новую землю и устроив на ней женский монастырь, где и сделалась игуменьей, сохранив все барские и крепостнические привычки и порядки. Были у владельцев Лошадкина и другие соседи, отчасти родители обучавшихся там детей.

Лошадкинский дом был старый и плохой. Внутри он был оклеен обоями моей бабушки Ел[ены] Ив[ановны], но после нее кто-то точно нарочно ободрал стены, и за легко отстававшими от них обоями кишели мириады клопов, против которых особых мер как будто совсем и не принималось. Гигиеническая часть здесь вообще сильно хромала. Дортуарами для дюжин или около того мальчиков и девочек двенадцати—четырнадцати лет служили две комнаты. Нам, мальчикам, стлалось обширное общее ложе на полу в классной комнате, в виде соединения нескольких сенников или перин, и в той же комнате стояла кровать, на которой спала надзиравшая за нами Прасковья Павловна, долго не гасившая свечи, так как любила читать в постели. Я помню, что предметом ее восторгов было «Взбаламученное море» Писемского,[2] которое она мне самому, однако, читать не давала. Клопы забирались в наши постели, чуть ли даже не падая на них с потолка. Только летом, когда наши дортуары переведены были в два соседних отделения амбара, мы

отдохнули от этих кровопийц. Вообще, было в доме грязно, да и пища была плоховатая. Порядок дня поддерживался довольно строго: для всего были свои определенные часы — для общей молитвы, для уроков, для трапез, для танцев, для игр, для прогулок. Время в общем проходило весело, но на первых порах мы скучали по дому, особенно по матери, а между тем во весь великий пост из-за разлива речек и непролазной грязи сообщения между Аносовым и Лошадкиным не было. Потом, на праздничные дни, за нами присылали лошадей.

Мы, «благородные девицы обоего пола», жили в общем дружно, хотя между мальчиками и девочками иногда проявлялся некоторый антагонизм, но зато никакого флирта не было. Я, впрочем, питал некоторое нежное чувство к одной девочке, дочери сычевского почтмейстера, но тщательнейшим образом это скрывал. Думаю, что никто ничего и не подозревал, потому что иначе меня, конечно, дразнили бы. Позднее, уже будучи гимназистом и студентом, я навестил эту свою пассию раза два в Сычевке, но уже в качестве простого друга детства. В последний раз я ее видел уже замужней женщиной. Из мальчиков я особенно сдружился с одним, с которым встретился впоследствии только один раз. Его брат, красивый молодой человек, приезжавший в Лошадкино и всех нас пленивший своей жизнерадостностью, разыскал меня в Москве, когда я уже был на втором курсе университета, и привел с собой моего лошадкинского друга, в то время ученика земледельческой школы, но не знаю, почему знакомство наше не продолжалось. Я просил Гаврюшу, как его звали, бывать у меня, но он не приходил, а позже, вспоминая его, я себя неоднократно корил за то, что не собрался вытащить его к себе. И до сих пор я об этом искренне сожалею. Но своего кузена Павленьку я очень недолюбливал за его страсть дразнить и делать всякие каверзы. Однажды я, никогда ни с кем не дравшийся, дошел до такого остервенения, что при всех старших погнался за ним по двору, настиг его, повалил и начал дубасить палкой, пока ко мне не подскочил кто-то из взрослых и не освободил Павленьку от дальнейших побоев. Я был в таком исступлении, что меня же начали успокаивать и, помнится, никак не наказали. Я, впрочем, сам долго еще стыдился этого эпизода. Пренеприятной девочкой была кузина Липочка, большая любительница глупо дразнить, например прыгала перед мной и припевала: «Никола немощеный, Никола немощеный», — как называлось одно соседнее село на речке Немощенке. За нами был все-таки надзор, благодаря которому какие-либо коллективные шалости были невозможны.

Помню наше общее огорчение по поводу смерти четырехлетней дочери Виктора Яковлевича и Прасковьи Павловны. До этого времени я только раз и то мельком видел мертвого ребенка, а тут пришлось присутствовать при самой смерти.

Когда девочку обрядили и положили на стол, мы по очереди читали над ней акафисты, все как-то присмиревши и сделавшись очень серьезными. Все провожали маленький гробик в соседнее село. Суеверная бабушка и кто-то желавший ей угодить уверяли, что слышали потом вздохи умершего ребенка то в детской, то в сенях. Это производило впечатление. В то время я еще был настроен мистически, но как раз такого маленького мертвеца не боялся и посмеивался сам с собой над Виктором Яковлевичем, который боялся ночевать в своей бане.

В Лошадкино время от времени приезжали гости, в числе которых был сын Алек[сандры] Дмитр[иевны] Павел Павлович, исключенный за беспорядки 1861 года из Петербургского университета. Он очень расхваливал мне студенческую жизнь и одобрял мое намерение самому поступить в университет. Служил он по акцизу и был женат на сестре Гаврюши, брат которого был водочный заводчик, так что получалось некоторое водочное трио. Брат Гаврюши, перед которым тетя Катя, видимо, млела, любил декламировать из лермонтовского «Демона». Любопытно, что в той среде, в которой я вращался, то, что составляло суть литературы шестидесятых годов, было точно неизвестно. Я слышал еще названия «Обломов», «Взбаламученное море», «Дворянское гнездо», но имена Некрасова, Добролюбова, Писарева, не говоря уже о Чернышевском, кажется, оставались неизвестными, а между тем брат Гаврюша очень любил поговорить о литературе.

Из Лошадкина нас взяли, должно быть, в сентябре; в ноябре мы уехали в Петербург. Должно быть, в Лошадкине в этот промежуток времени что-то произошло необычное: по крайней мере, к нам, в Аносово, были неожиданно привезены все тамошние мальчики с письмом к матери, содержание которого осталось для нас неизвестным. Они прогостили в Аносове недели две, в течение которых мы бездельничали и шалили, тем более, что нас поместили в отдельном флигеле под присмотром работавшего у нас портного, оказавшегося порядочным шутом.

Как давно, как далеко все это было! Точно этот благонравный, примерный мальчик Коля — не я, а кто-то другой, мой сверстник, которого я также вспоминаю, как и других сверстников. Впрочем, и то, что я буду рассказывать дальше, тоже было так давно и так же как-то не верится, что это был все тот же я. Воспоминания детства имеют свою привлекательность. В Муравишниках, в Аносове, в Сычевке приходилось постоянно бывать, но Гжатск и Лошадкино с шестидесятых годов так-таки и не были мною посещаемы, хотя сколько раз я думал, что хорошо было бы побывать и здесь и там. Посетивши чуть ли не все государства Европы, я не удосужился съездить в Гжатск и в Лошадкино, до которого от Аносова только двенадцать верст. Лишь один раз незадолго до войны 1914 года, попав

в одну усадьбу верстах в четырех от Лошадкина, я поехал было туда и даже почти доехал, но тут приключилась беда: когда я слезал с беговых дрожек, разгоряченная лошадь дернула, я упал, колесом меня больно ударило по ноге, и мне пришлось немедленно вернуться назад. Не судьба, значит, была мне еще раз взглянуть на старый, оставшийся целехоньким парк.

Когда я покидал Смоленскую губернию, мне было уже почти четырнадцать лет. Детству моему пришел конец.

Глава четвертая

МОСКВА И ГИМНАЗИЯ

Месяц в Петербурге. — Переезд в Москву. — Поступление в гимназию. — Материальные средства семьи. — Моя семейная обстановка в гимназические годы. — Начало давания уроков. — Мое учение в гимназии. — Наши наставники и учителя. — Мои товарищи. — Вторжение в мою голову новых идей. — Знакомство с «нигилистами». — Общий перелом в моем миросозерцании. — Неприятная история в V классе. — Мои научные интересы. — Начало писательства. — Пирушка в день последнего гимназического экзамена. — Летнее чтение по окончании курса в гимназии.

В конце 1864 года мы были в Петербурге, в начале 1865 года — в Москве. Дело шло о нашем определении в школу. В Петербурге дело не выгорело, а бабушка Елена Ивановна звала нас в Москву, где она теперь снова поселилась. В Петербурге мы пробыли только около месяца, прожив почти все время в Толмазном переулке в гостинице «Старый Феникс». Собственно говоря, об этом пребывании нечего рассказать. Потом я не бывал в Петербурге без малого двадцать лет, в течение которых хорошо помнил его улицы и здания.

Разумеется, отец, сам воспитывавшийся в Петербурге, водил нас всюду, где следовало побывать, водил и в Эрмитаж с галереей Петра Великого, на выставку в Академию Художеств, и в Публичную библиотеку, куда я даже ходил читать книги, и в Гостиный Двор, и в Пассаж, и в театры, не говоря уже о соборах. Отец возил нас по своим родным и знакомым, но все это быстро промчалось, не оставивши прочных следов в душе. Помню, однако, тогдашние художественные новинки: «Княжну Тараканову» Флавицкого и старика-еврея, вырезанного на дереве Антокольским. Побывал я также на балетном представлении в какой-то морской школе, помещавшейся в Адмирал-

тействе. Неожиданными были только некоторые разговоры о высочайших особах. На только что упомянутом представлении какой-то франтоватый подросток гимназист пренебрежительно отозвался о бывшем там также паже, непочтительно отозвавшемся об императрице, теряющей головные шпильки, чтобы пажи их подбирали. Приглашенный подучить меня студент при мне рассказывал отцу, что Александр II изрядно выпивает. Что-то и еще приходилось слышать в подобном же роде. В провинциальной глуши таких вольностей не бывало, или, по крайней мере, такие вещи открыто не говорились. Водил меня отец и в 6-ю гимназию у Чернышева моста, но там нашли, что для четырнадцати лет я мало знаю, после чего я целые часы проплакал в своем гостиничном номере. Был один момент, но только один, когда я пожалел, что отец не хочет отдать меня в кадетский корпус: это сожаление вызвал во мне блестящий офицер, проходивший со взводом солдат мимо памятника Петру Великому и что-то громким голосом скомандовавший. У меня защемило сердце, что вот я, несчастный, никогда не буду таким офицером. О, каким, в сущности, ребенком я еще был тогда, несмотря на то, что все находили меня не по летам солидным, серьезным и развитым.

Не помню, где мы встретили новый (1865) год, но 19 января я уже был учеником 1-й Московской гимназии, при храме Спасителя, но лишь в третьем классе из-за недостаточной подготовки по некоторым предметам. Экзаменовали меня во время уроков учителя, в числе которых был мой будущий товарищ по профессуре в Петербурге, известный лингвист А. Л. Дювернуа.[1] Поступлению в гимназию предшествовали большие хлопоты, потому что нужно было иметь протекцию, чтобы в такое позднее время в учебном году найти гимназию, в которую приняли бы нового ученика. В этой беде помог профессор М. Я. Киттары,[2] к которому у отца было письмо от кого-то из его петербургских знакомых и который направил отца к директору 1-й гимназии А. М. Малиновскому. Накануне Крещения отец проводил меня к этому лицу, а у него случайно был инспектор Ф. Ф. Миллер,[3] оба они кое-что у меня спросили, я им понравился, ибо обнаружил хорошие познания и смышленость, а дефекты по алгебре и латинскому языку я наскоро преодолел при помощи рекомендованного отцу репетитора-студента. В гимназии, тогда семиклассной, я проучился четыре с половиной года. В следующем году из параллельных классов 1-й гимназии, в которые я попал, образовалась новая, 5-я гимназия, оставшаяся, однако, в том же здании и под начальством того же директора «двубунчужного», как его в шутку называли. в течение всего времени этой личной унии.

В Москве мы жили довольно стесненно и даже бедновато. Мои родители никогда не были богаты. Дедушка по отцу не оставил своей семье ничего, кроме честного имени. Еще в Гжат-

ске бабушка мне рассказывала, что в полку, которым командовал ее муж, по смерти его оказались какие-то большие экономические сбережения, лично же у его командира ничего, но я эту историю плохо понял, а потому и забыл, а когда отец о ней когда-то упомянул, как о хорошо мне известной, я не знаю почему, не стал его расспрашивать о подробностях дела. Позднее, когда я уже был профессором, один московский старожил, когда меня с ним знакомили, спросил меня, не родня ли я бывшему в свое время известным в Москве генералу и полковому командиру, и на ответ, что я его внук, сказал: «Ваш дед был благородный человек, о котором в Москве много говорили после его смерти». Мне было лестно это услышать, но показалось неловким расспрашивать, в чем было дело, да и отца тогда не было уже в живых. Муравишниковский дедушка был довольно зажиточный, но хозяйство его было довольно примитивное, да и семья большая. С войны отец вернулся с деньгами, но все пошло на обзаведение, и на службе он не нажился. Жалование, пенсия, доходы от Аносова проживались. Хотя жили мы открыто, но и жизнь была дешева: куль ржи в 9 пудов стоил пять рублей, фунт говядины — три-четыре копейки. Аносовская усадьба строилась помаленьку в течение пяти-шести лет, но без помощи займов. После 1861 года количество пахотной земли было сокращено, а когда в 1863 году отец совсем поселился в деревне, то начал разные сельскохозяйственные эксперименты по «рациональным рецептам», в которых более опытные соседи усматривали (и не без основания, по-видимому) верный путь к разорению. Немудрено поэтому, что более года отец добывал деньги, необходимые для помещения своих сыновей в школу, продавал рощу, драгоценные вещи и опять занимал. Жили мы уже в Сычевке не так широко, как в Гжатске, а в Аносове и вовсе скромно. В Москве мы нанимали очень маленькие квартиры, коих имели последовательно две, прожив во второй из них четыре года, платя по двести рублей в год. Это было на Пречистенке, недалеко от пожарного депо, в большом доме с хорошим садом со стороны улицы, в который выходили и наши окна, едва возвышавшиеся над почвой. Любезная домовладелица нам разрешила пользоваться садом, и мы вылезали в него прямо через окна. Не могу с благодарностью не упомянуть, что эта добрая старуха, Авд[отья] Федоровна Толмачева, сама редко бывшая в саду, разрешала мне по веснам готовиться к экзаменам в садовой беседке, представлявшей собою порядочную комнату с хорошей мебелью. Помню также и то, что первое форменное платье мое было перешито из старого отцовского мундира, что пришлось выхлопатывать у начальства для меня право ходить до конца учебного года в «штатском» сером пальто и т. п. Материальные затруднения с 1865 года объясняются и тем, что жили мы, что называется, на два дома. Отец приезжал

в Москву только по окончании молотьбы, обыкновенно к именинам матери, т. е. перед 24 ноября, и уезжал по последнему санному пути, т. е. в Великий пост. Конечно, он привозил с собою деревенские припасы, улучшавшие на некоторое время наш стол.

Вот тут-то и проявилась вовсю та женская способность, разительные примеры которой я видел потом, после 1917 года, в жене и дочери. Свою мать до того времени я видел настоящей барыней, любившей развлечения, занимавшейся только от скуки дамским рукоделием, хотя в Аносове она стала делаться работницей, тогда заменявшей кухарку, уже обшивавшей всю семью, штопавшей белье и чулки и т. п. В Москве она стала прямо зарабатывать деньги иголкой, получая заказы на вышивание из какого-то модного магазина на Кузнецком мосту. Весь день матери проходил в труде. Знакомства у нас было мало, в гостях мы бывали чрезвычайно редко, а у нас гости еще реже, в концерты не ездили никогда, в театр даже, кажется, не каждый год, дорогих лакомств покупать не могли. Я ходил в гимназию, усердно учил уроки, сам рано начал репетиторствовать, много читал, а в минуты отдыха у нас было чтение вслух да пение русских песен. У нас жил нахлебником двоюродный брат Миша, сын старшей тетки со стороны отца, учившийся в одном классе со мной, по лени не кончивший курса и парнем лет семнадцати увезенный своим отцом в деревню. Жила некоторое время у нас кузина Леля Кареева, пока не переселилась к бабушке Елене Ивановне, да из корпуса по субботам приходил к нам ее брат Миша. Первое время я даже почти никогда не бывал у товарищей, а накануне праздников ходил к бабушке, жившей версты за четыре с лишним, а иногда у нее заночевывал в комнате со свежевымытым полом и с ярко горевшей лампадой перед иконой. К концу гимназического курса я уже остался с матерью один, когда двоюродные брат и сестра выселились, а родной брат поступил в юнкерское училище. В этот год, с внешней стороны очень серый гимназический период жизни, я особенно сблизился с мамой, детская привязанность к которой перешла в настоящую дружбу, хотя я и скрывал душевный перелом, совершавшийся во мне в эти годы. Всю материнскую любовь я сознательно постиг во время случившегося со мной осенью 1865 года брюшного тифа, когда я буквально был между жизнью и смертью. Нас родители, конечно, могли бы отдать в пансион или поместить где-либо на квартире, но именно мать ни за что не хотела с нами расставаться. Тихо и мирно текла наша семейная жизнь, спасавшая от многих соблазнов.

Я тоже стал зарабатывать деньги уроками. Уже в четвертом классе директор рекомендовал меня в одну семью (Машковцевых) для подготовки мальчика, бывшего моим ровесником, ко вступлению в тот же класс гимназии, в котором он сделался

потом моим товарищем, что открыло мне доступ в эту очень культурную семью. Первые заработанные деньги я хотел отдать матери, но она наотрез отказывалась их взять, после чего я тратил все заработки по своему усмотрению, одеваясь и обуваясь на свой счет, приобретая дорогие книги и покупая родителям именинные и новогодние подарки в виде бумажников, несессеров и т. п. Преподавание мое шло так успешно, что недостатка в заработке у меня никогда не было.

Учение мое также шло успешно. Вскоре после поступления в гимназию я заболел корью, в самом начале которой родители уехали в Муравишники хоронить дедушку, оставив меня и заболевшего со мной брата на попечение тети Вари, читавшей нам исторические романы. Несмотря на то, что я пропустил шесть недель, я очень хорошо перешел в четвертый класс. С первой же «пересадки» в середине первого полугодия я сел в классе первым и был записан первым же на «золотую доску», сохранив это свое место до окончания курса. Теперь я, конечно, смотрю на себя в пятнадцать лет, как на какого-то другого мальчика, и потому мне легче сознаться, что накануне «пересадки» я боялся, что первенство у меня перебьет Писемский[4] (сын писателя), и заранее от огорчения плакал чуть не весь вечер. Я чувствовал, однако, что честолюбие — не добродетель, и вообще не был тщеславным и, даже не сочувствуя некоторым шалостям товарищей, принимал в них участие, дабы не выделяться из их среды в качестве «примерного» ученика.

О гимназии у меня сохранились наилучшие воспоминания. Я учился еще в головнинской гимназии,[5] реформированной в 1864 году, с умеренным классицизмом, обучался по латыни с третьего класса, по-гречески — с пятого (из семи) и кончил курс за два года до толстовской[6] реформы, так исказившей нашу среднюю школу в семидесятых годах своей казенщиной, своим формализмом, своим «избиванием младенцев». Свободный дух шестидесятых годов не уступил еще места катковщине. В гимназии царил порядок и дисциплина, но ученики не были запуганы, а педагоги, большею частью, были гуманные, доброжелательные, не то что в толстовской гимназии, когда в ней стали задавать тон выписанные из-за границы «братья-славяне» (чехи, галичане, угрорусы).

Директор (который тогда сам не преподавал) был очень важный — Михаил Афанасьевич Малиновский, появлявшийся в коридоре гимназии далеко не каждый день в вицмундире с белым пикейным жилетом, имея в руках лоснящийся цилиндр, каждый раз наводил панический страх на старика-надзирателя Адольфа Ивановича, бежавшего по классам в минуты перерывов между уроками с громким шепотом: «Тырэктор!» Наш директор был историк и латинист, и когда мы не хотели, чтобы в отсутствие того или другого учителя он появлялся в нашем классе, мы бросались к черной доске и писали на ней алгебраи-

ческие формулы или чертили геометрические фигуры, зная, что директор уйдет, из боязни, как бы его не попросили объяснить какую-либо трудность. Другой слабостью директора было говорить речи перед всеми учениками обеих гимназий, собранными в громадном, в два света, актовом зале по случаю какого-либо молебна, панихиды и т. п. Перед экзаменами привозилась икона Иверской Божьей матери, служился перед ней молебен и говорилась директором речь. Малиновский был типичный бюрократ, но доброжелательный к ученикам и заботливый о тех, которые нуждались. Через него я получил немало хороших уроков и по окончании курса в гимназии. Впоследствии он был помощником попечителя в виленском учебном округе, о деятельности его в каковой должности не пришлось ничего слышать.

Должность инспектора исполнял учитель географии, красивый, несмотря на пухлость и рыхлость, Фед[ор] Фед[орович] Миллер — настоящая «божья коровка», хотя иногда бывшая способной вспылить и даже накричать, особенно на какого-либо малыша: «Я выброшу вас в окошко!». Его мы любили за ласковое, в общем, обхождение и за большую снисходительность как преподавателя. В последнем классе мы с ним повторяли весь курс географии, но при этом Фед[ор] Фед[орович] и мы работали очень мало.

Из всего преподавательского персонала наибольший след в моей памяти и наибольшее влияние на меня вместе с тем оказал учитель русского языка и словесности Егор Васильевич Белявский,[7] впоследствии напечатавший отдельной книжкой свои «Педагогические воспоминания», в которых нашлось место и для упоминания обо мне. С ним у меня установилось близкое знакомство. Он был родом из одного села между Гжатском и Сычевкой, где его отец был священником. Где-то [там он] случайно познакомился с младшей из моих теток с отцовской стороны, произведшей на него, должно быть, впечатление, что и привело его к вопросу мне, не родственник ли я такой-то. Встретившись со мной однажды на улице, он зазвал меня к себе как земляка. Весной 1866 года я был отпущен для поправления здоровья в деревню без экзаменов, которые должен был сдать перед началом занятий осенью, а потому мне нужно было возвратиться в Москву раньше обыкновенного и ехать туда одному без матери, бывшей тогда больною. Село Белявское было по пути, а это повело к совместной нашей поездке от Гжатска на почтовых. Потом как-то мой отец был попутчиком матери Белявского из Москвы в Смоленскую губернию. Главным же образом мы сошлись на почве интересов к филологии, ради занятий которою я часто приходил к своему учителю по вечерам. Навещать его сделалось моей привычкой. Когда он был, уже во время моего профессорства, директором гимназии, сначала в Твери, потом в Риге, я нарочно приезжал в оба города,

чтобы повидаться со старым учителем, сыгравшим, к тому же, как шутили, роль свахи, так как он завел меня в семью своего товарища по преподаванию в 5-й гимназии Андрея Леонардовича Линберга,[8] моего будущего тестя. В ознаменование этого мы даже снялись на одном фотографическом портрете. Умер Белявский членом Главного управления по делам печати, каковую синекуру предложил ему его бывший ученик по 5-й гимназии, стоявший тогда во главе названного учреждения. От него осталось несколько учебников, один из которых, русско-славянскую грамматику, сближенную с латинскою и греческою, я беспристрастно разобрал в воронежских «Филологических Записках».[9]

Белявский, ученик Буслаева[10] и Тихонравова,[11] был человек умный и прекрасный преподаватель. В IV классе он сумел сделать интересным церковнославянский язык, в V — народную словесность и т. д. У него был свой курс, по записи которого мы учились, более слушая его лекции и разборы образцов, чем зубря какие-либо учебники, а кроме того, он толково учил нас писать сочинения, каждый месяц с пятого класса по одному. Он любил созывать у себя лучших учеников и с ними беседовать иногда о пустяках, довольно свободно говоря о многих вещах, а нередко приглашал умеющих играть на пианино и петь. Под его влиянием я выбрал историко-филологический факультет, хотя потом и изменил филологии. Внешность у Егора Васильевича была внушительная. Это был человек необычайного роста, на целую голову выше обыкновенных высоких людей. Два раза за границей, на Всемирной выставке в Париже в 1889 году и как-то в Карлсбаде, я узнал его среди громаднейшей толпы, над которой господствовала его характерная голова.

Если я в гимназии не сделался историком, вина лежала на учебнике и на преподавателе. Учились мы по маленькому Веберу,[12] составляющему сокращение среднего, четырехтомного Вебера с сохранением массы имен, годов, мелочей, а почтеннейший Фед[ор] Эмман[уилович] Будде, нужно признаться, как-то больше возбуждал в нас скуку, чем интерес к делу. Был он человек добрый и какой-то не от мира сего, плохо, тогда, по крайней мере, понимавший психику своих учеников-подростков. Мы подсмеивались над его потугами на красноречие и сочиняли самые невозможные, будто бы за ним записанные фразы, которые, с моих слов, привел в своей биографии Соловьева С. М. Лукьянов[13] (в «Журн[але] Мин[истерства] нар[одного] просв[ещения]» перед революцией 1917 года). Мало ли что мы сочиняли, вроде приписанного нами законоучителю, добрейшему священнику Косицыну, рассуждения: «В священном писании прямо сказано: рече безумец в сердце своем: несть Бог, а потому, кто отрицает бытие Божие, тем самым противоречит слову Божию, называющему его безумцем» и проч.

Латинистом в старших классах был Вас[илий] Петр[ович] Басов,[14] переводчик грамматики Мадвига, строгости которого побаивались, но зато совсем не боялись милого учителя греческого языка болгарина Ксенофонта Ив[ановича] Жинзифова.[15] Он знал язык очень хорошо, так как до Московского университета учился в какой-то школе в Константинополе, где и усвоил новогреческое произношение.

Это был большой патриот, не судьба которому была дожить до освобождения родины, и сгубила его русская водочка. Когда однажды в 1912 году в Софии, на устроенном в мою честь банкете, в своей речи я упомянул, что в числе моих учителей был болгарин Жинзифов, все собрание как-то радостно встрепенулось, потому что он, Райко Жинзифов, был одним из видных деятелей болгарского возрождения. А водочку он любил, часто приходил в класс с похмелья, жалуясь, что у него «голова трещит». Чтобы мы не шумели, он даже один раз дал нам рассматривать разные славянские журналы с карикатурами. В день окончания нами курса, — а мы были его первым выпуском, — он пригласил нас вечером к себе и всех нас буквально накачал шампанским. Натура у него была широкая и восторженная: много говорили в обществе о каком-то его вдохновенном тосте на банкете в те годы всеславянского съезда в Москве. Мы любили нашего «Ксенофонтика», хотя тоже на его счет сочиняли всякий вздор.

Учителя новых языков у нас менялись, между прочим потому, что один оказался драчуном (немец), а другой сошел с ума (француз), а заслуживает внимания лишь От[то] От[тович] Шталь, очень почтенный и весьма образованный немец, сын которого учился со мной. Он знал хорошо по-русски; конечно, было басней, будто бы однажды он сказал какому-то ученику: «Эх, батюшка, такой вы великосос выросли», — образовав новое слово по аналогии с «молокососом», в составе которого будто бы усмотрели прилагательное «малый».

Математику, физику и космографию преподавал, и нужно сказать блестящим образом, вдвое по росту меньше Белявского, приятель его Дм[итрий] Фед. Назаров, остряк, немножко циник, на уроках которого всегда поэтому было весело. Он любил подшучивать и над учениками, давал некоторым безобидные клички. Назаров был модным в городе учителем по частным урокам и загребал большие деньги. То были годы, когда провинциальные дворяне проедали в Москве выкупные платежи и готовили прямо к выпускному экзамену своих сынков, лет по 17—18 бивших баклуши в наследственных поместьях. Когда я был студентом, и у меня бывали такие ученики. Я так хорошо знал гимназический курс и так хорошо усвоил манеру Назарова объяснять, что особенно охотно брался за обучение математике, которое выходило у меня вообще успешным.

В третий класс я был принят сверх комплекта — сорок первым. Помню, из сорока одного ученика двадцать было Николаев: так популярен был на Руси мирликийский чудотворец, если тут причиной не было то, что родились мы, все эти Николаи, при Николае I. Из этих сорока одного со мною курс окончили очень немногие, человека четыре или пять, в том числе Коротаев, Писемский, Соловьев,[16] с которыми я был наиболее близок до самого конца. Остальные застревали в том или другом классе, а среди двенадцати, кончивших курс 5-й гимназии в 1869 году, большинство было из поступивших после или из отстававших от своих товарищей. Выпуск был блестящий: из двенадцати шестеро было медальеров, из [них] чет[веро] сделались учеными и профессорами: кроме меня, за исключением Писемского, застрелившегося вскоре после окончания университетского курса, Исаев (А. А.),[17] бывший известным в свое время экономистом, А. А. Коротнев,[18] окончивший университетский курс по двум факультетам (ест[ественный] и мед[ицинский]), был профессором в Киеве, а Владимир Соловьев прославился как философ. В четвертом классе мы еще были способны устраивать рыцарские турниры, причем я и Коротнев, как более сильные, сажали себе на загорбки Соловьева и Писемского и устраивали ристания. Это бывало не раз в квартире С. М. Соловьева,[19] когда старших не было дома, вследствие чего мы вольны были шуметь, сколько нам угодно. Мы были, разумеется, на *ты*, но обычая не было называть друг друга уменьшительными именами: звали один другого по фамилии, а позднее по имени и отчеству.

Главные свои воспоминания о Соловьеве, с которым я был особенно дружен, я сообщил С. М. Лукьянову, поместившему их в упомянутой биографии Соловьева. Здесь ограничусь немногим. С Соловьевым я познакомился только перед экзаменами из третьего класса в четвертый. Болезненный, а, может быть, еще более изнеженный и избалованный, он часто манкировал вообще, иногда даже продолжительное время не появлялся в классе. Сошелся с ним я уже в четвертом классе и часто бегал к нему в здание университета, где в четвертом этаже, над залом Совета и канцелярией, была квартира его отца, знаменитого историка, в те годы декана историко-филологического факультета. Соловьев был самым молодым в классе, на два года и два месяца, например, моложе меня, он был развитее громадного большинства класса. Я очень скоро воспылал самой нежной к нему дружбою и пользовался взаимным расположением. Когда я приходил к нему и уходил от него, мы целовались, как родные, чего в товарищеском быту совсем не было заведено. Комната Соловьева была общая с его бабушкой, старухой — матерью его отца, очень приветливой и добродушной, а свидания наши проходили большей частью не в одних разговорах об учителях и товарищах, но о том, кто что читал,

и вообще о серьезных материях. Позднее стала затрагиваться и религия. Еще в четвертом классе, когда моя детская вера оставалась непоколебленной, как-то Соловьев, дождавшись ухода бабушки из комнаты, поспешил сообщить мне по секрету, что перестал верить в мощи. Позднее мы сообща занимались вольнодумством, так что трудно решить, кто из нас кого «совращал». (Это нужно иметь в виду лицам, интересующимся Соловьевым и читавшим книжку о нем Величко.[20]) По мере того, как мы подходили к концу гимназического учения, все больше в круг наших интересов входили научные вопросы, тем более, что мы оба решили стать филологами. Странным образом математика с большим трудом давалась Соловьеву, долго, например, не могущему справиться с доказательством равенства вертикальных углов, что заставило меня переложить эту теорему в стихи, вроде тех, в каких передавались некоторые правила исключений латинской грамматики. Соловьев стишки эти выучил наизусть и, отвечая урок, переводил их в прозаическую речь. Приятельские отношения между нами мало-помалу, однако все-таки (становились) более холодные, чем раньше, [но] сохранились до самой смерти Соловьева в 1900 году. За несколько дней перед его кончиной, в последнее наше свидание, мы долго с ним перебирали в памяти старых товарищей и общих приятелей: как нарочно, все, кого мы вспоминали, оказывались умершими.

В классе ближе других с нами держались Писемский и Коротнев. Первый был вторым сыном известного писателя и носил имя Николая. Как Соловьев был хилым, так Писемский здоровым крепышом. Он отличался блестящими способностями, прекрасно учился, много знал и читал, был добрым малым и хорошим товарищем, но как-то ничем не увлекался, не имел, как позднее о нем выразился Соловьев, никакой сердцевины. Между мною и им вначале было некоторое соперничество, но, по-видимому, он придавал вопросу о первенстве гораздо менее значение, чем я, так что наше приятельство не омрачилось ничем. В классе мы сидели всегда вместе. По окончании гимназического курса Писемский поступил на математический факультет, прекрасно кончил курс и уехал в Петербург, где скоро застрелился. Причина осталась неизвестной. Его дядя по матери, академик Л. Н. Майков, рассказывал мне впоследствии, что перед тем, как выстрелить в себя, Писемский сыграл на рояле какую-то бравурную пьесу.

С Коротневым, в семье которого меня очень радушно принимали, [я] также был дружен и всегда поддерживал приятельские отношения с ним. Приезжая в Петербург, Коротнев всегда навещал меня, а последний раз я виделся с ним в Киеве, где он профессорствовал. Он пригласил меня к себе обедать, познакомил со своей женой, и мы долго предавались воспоминаниям. Еще гимназистом он серьезно занимался естествознани-

ем. От него впервые я услышал о теории Дарвина, и общие очертания мне были известны прежде, чем я прочитал блестящую статью о ней Писарева[21] (много раньше, чем книгу самого Дарвина).

С Исаевым, принадлежавшим к числу лучших учеников, наша маленькая компания более интеллигентных товарищей не сошлась. Он поступил к нам в класс позднее, сам мало с кем сближался, да и от него как-то все сторонились.

В новой обстановке, в которой я очутился после поступления в гимназию, изменились и мои отношения к брату. В учении он от меня поотстал, поступил в гимназию позднее и в более младший класс, завел своих собственных приятелей, а потом поступил вольноопределяющимся в полк. Наши дороги начали расходиться, как разошлись и наши убеждения, что, однако, не мешало сохранению родственной связи, оставшейся по-прежнему близкой и крепкой. Со мной в одном классе учился и жил в одной комнате, как уже упомянул, один мой двоюродный брат с отцовской стороны, но настоящей дружбы между нами не образовалось, хотя мы и жили в добром согласии и мире. Это был байбак, часто валявшийся на кровати. У него были свои приятели, с которыми и я вел компанию, мало что от них получая в умственном отношении. Оба мы часто бывали у нашего общего товарища Машковцева, которого я подготовлял к экзамену в наш класс. Это был очень милый юноша, принадлежавший к культурной семье, где были барышни, одна наша сверстница, гимназистка. Там мы танцевали, устраивали домашние спектакли, некоторые влюблялись, но я уже относился пренебрежительно к флирту, так что прежняя влюбленность надолго с меня соскочила, хотя и любил женское общество. Старшие сестры нашего товарища были девушки образованные, подолгу жившие за границей, веселые и окруженные поклонниками, в числе которых молодой врач, Дм[итрий] Ник[олаевич] Зернов, впоследствии известный московский профессор анатомии. Впервые в гимназии у меня завелись *свои* знакомства, не бывшие знакомыми родителей. Мать и отец, когда приезжали, не стесняли моей свободы, тем более, что рассказывал им всегда сам о том, у кого бывал и что видел, слышал и делал, как рассказывал дома и о гимназической жизни. Уходил я без спроса, хотя и заявлял, что ухожу. Один лишь раз, только что отец приехал из деревни, я должен был за чем-то сбегать к товарищу, но когда отец меня спросил, куда это, я довольно грубо ответил: «Не все ли вам равно? Ведь то или другое имя вам ничего не скажет». Мне потом самому стыдно стало моей грубости по отношению к отцу, к счастью, бывшей и последнею. Я, конечно, старался загладить дурное впечатление, произведенное этой выходкой, но не попросил извинения из-за ложного

стыда. Вообще, прежняя мягкость и податливость у меня исчезли, начав уступать некоторой жесткости.

Рассказанный только что случай относится, вероятно, ко времени пребывания моего в пятом классе, если не в шестом классе, когда я очень сдружился с двумя братьями Поливановыми, из которых один, Константин, был моим одноклассником, а другой, Николай, уже совсем взрослый, шел впереди. Они жили в двух шагах от нас, так что забегать к ним, хотя бы на минутку, было очень легко и скоро сделалось моей потребностью. С обоими братьями я поддерживал приятельские отношения до самой их смерти. Николай, по отчеству Михайлович, тотчас же по окончании курса женился и уехал в Петербург, где поступил в университет, но скоро овдовев, бросил его и имел какую-то частную службу, и где более пятнадцати лет спустя я с ним радостно встретился и возобновил старые приятельские отношения, оставшиеся близкими до самой его смерти около 1890 года. Другой Поливанов не кончил курса гимназии, очень рано женился, так что совсем еще сравнительно молодым имел внучат от сына (инженера по трамвайной части) и от дочерей, и служил при городской управе, скончавшись только уже после революции. Бывая в Москве, я всегда заглядывал к нему, запросто обедал и в последний раз виделся с ним на Пасху 1915 года, быв приглашен его женой «разговляться» у них после заутрени.

Хорошие это были люди, особенно старший, и хорошая старуха, их мать, своим старческим, дрожащим почерком переписывавшая для сыновей разные учебные записки по физике и т. п., и хорошая девушка сестра, с которой у меня были простые приятельские отношения. Старшие братья моих приятелей служили в Петербурге в гвардии, а один из них дослужился до крупного чина. Готовился к военной службе и Николай, но он, бывший уже в корпусе, потребовал, чтобы его оттуда взяли, и кончил курс в гимназии, потеряв много времени на подготовку по латинскому языку. Дух времени коснулся его, равно как много бывшего старше его брата Дмитрия, променявшего блестящий мундир на пиджак типичного интеллигента шестидесятых годов.

Через братьев Поливановых в мою голову проникли совсем новые для меня понятия, и я вошел в соприкосновение с бывшим мне раньше совсем не знакомым миром. От Поливановых я узнал о существовании Писарева, которым скоро стал зачитываться с настоящим упоением, купив себе все его сочинения. Писарев произвел на меня подавляющее впечатление. Даже статья его о Пушкине сделалась для меня каким-то высшим откровением истины, но зато «Наша университетская наука» и проповедь Писаревым единоспасающего естествознания не оказали на меня влияния и не отвратили меня от филологии. Как я стал относиться к Пушкину, показывает такой слу-

чай: когда Белявский спросил меня, какого автора я бы желал получить в награду на гимназическом акте, Пушкина или Гоголя, я без колебаний ответил: «Конечно, Гоголя». Через Писарева в меня впитывался тогдашний «нигилизм» со своеобразной идеализацией Базарова как «мыслящего реалиста». У Поливановых же я узнал, что есть на свете «новые люди». Кроме Базарова, перед мной стоял образ Рахметова из «Что делать?» Чернышевского,[22] знаменитый роман которого мною был, разумеется, прочитан. Статья же Добролюбова «Когда же придет настоящий день?», написанная по поводу тургеневского «Накануне», была одной из первых мною прочитана из того, что написал Добролюбов. У обоих братьев Поливановых были и какие-то соответственные знакомства. Когда Николай жил уже в Петербурге, Константин кое с кем и меня познакомил. Одна из девиц новой компании давала мне «Жизнь Иисуса» Ренана[23] в подлиннике. Ее жених, впоследствии супруг, взял у меня в долг несколько десятков рублей на короткий срок, но так-таки и не отдал, что несколько подорвало в моих глазах престиж «новых людей». Много лет спустя я встретился с ним в Париже, где он жил гувернером в доме одной либеральной русской баронессы и водил компанию с известным эмигрантом П. Н. Ткачевым.[24]

Неблагоприятное впечатление на меня произвел и другой случай. Как-то меня попросили вывести на улицу из комнаты в пятом этаже Кокоревской гостиницы одного молодого человека, очень закутывавшегося, в башлыке, совсем скрывавшем его лицо, причем он шел медленно, опираясь на мою руку, как больной или дряхлый старец. Я был убежден, что он скрывался от полиции, но Константин Поливанов со смехом мне потом объяснил, что данный субъект задолжал в этой гостинице за комнату и просто прятался от прислуги и от швейцара.

Скоро эта компания как-то рассеялась, но из нее много-много времени позже я встретил одну даму, Екатерину Яковлевну, по мужу Лобачевскую, которая теперь уже была женой бывшего гвардейца, Дм[итрия] Дмитриевича Поливанова. Они уже старыми людьми переселились в Петербург ради лучшего образования своего сына Евгения, сделавшегося потом приват-доцентом университета и игравшего некоторую роль в Комиссариате Иностранных дел вскоре после октябрьского переворота 1917 года. Екатерина Яковлевна занималась литературой, сотрудничала в «Историческом Вестнике» и, между прочим, поместила там интересные воспоминания.[25] Я получил от нее отдельный оттиск этой статьи, напоминавшей мне много о конце шестидесятых годов: я знал людей, о которых здесь рассказывалось, и нашел воспоминания очень верными.

Точно теперь я не могу сказать, будучи в пятом или шестом классе (вернее, в шестом), совершился перелом в моем миросозерцании, полное исчезновение из него всякой мистики и ро-

мантизма и замена их самым «трезвым реализмом». Старые верования постепенно падали одно за другим, причем пройден был весь путь отрицания до самого конца. Со мной по той же дороге шел живший у нас кузен и один его гимназический приятель, довольно, впрочем, вульгарный. В новых своих мыслях я встретился с Соловьевым, который тоже доходил до конца. Когда из физики мы узнали, что плотность газа обратно пропорциональна его объему, Соловьев со своим обычным громким смехом сообщил мне, что в таком случае «Бог есть газ, плотность которого равна нулю». (С. М. Лукьянов, которому я и это сообщил, в своей работе о Соловьеве несколько иначе переделал фразу.) Однажды мне в голову пришла идея кощунственного рисунка, понравившаяся Соловьеву: он просил одного хорошо рисовавшего товарища сделать ему такой рисунок, не объяснивши, однако, его смысла. Что вышло бы, если бы рисунок попался начальству? Некоторые товарищи знали о нашем настроении, но или подсмеивались, или не одобряли, но без озлобления. В числе не одобрявших был очень со мной друживший сын немецкого учителя, прекрасный, но недалекий юноша Оттон Шталь, собиравшийся поступить на теологический факультет в Дерпте и, действительно, сделавшийся впоследствии где-то пастором. Шталь был уверен (и ошибся), что все сие скоро пройдет, на своей подаренной мне фотографии написал по-гречески «отверзись» (EXAZE), которым Христос исцелил слепого.

Перемена в миросозерцании произошла столь постепенно и сравнительно медленно, что почти не сопровождалась душевной борьбой. Не было у меня и желания обращать других в свою новую веру, символом уже в студенческое время сделалась книга Бюхнера «Сила и материя».[26] Только один раз я, кажется, хотел попробовать найти презелитов... Дело было летом в Муравишниках. Дядя Петр Осипович жил еще там, имея около себя молоденького письмоводителя. В одно из моих посещений Муравишников этот молодой человек, бывший все-таки года на три старше меня, позвал меня гулять, и вот во время прогулки он угостил меня шкаликом водки в питейном доме, попавшемся на дороге: я выпил, слегка охмелел и начал было «просвещать» своего спутника, но тот заговорил со мной в таком тоне, затронул такие струны моей души, что я стал ему говорить о благотворном влиянии, которое имела на меня вера, и кончил тем, что «плакался горько», как апостол Петр после своего отречения, т. е. в буквальном смысле всхлипывал и рыдал, не на шутку перепугав спутника, не знавшего, как меня успокоить. Да, я горько плакал о чем-то бывшем прежде живым, а теперь умершем, но слезам и чувству не было дано воскресить то, что навеки было похоронено мыслью. Пародируя шатобриановское «J'ai pleuré et j'ai cru», я мог бы с полным правом тогда же сказать: «J'ai pleuré, mais je n'ai pas cru».[27] От преж-

него у меня сохранилось уважение к религии, как к культурному явлению, могущему иметь и часто имеющему моральную ценность, а также к религиозному чувству других, к свободе человеческой совести. На место бюхнеровского материализма пришли ко мне впоследствии идеи «Курса положительной философии» Конта,[28] «Критика чистого разума» Канта[29] и «Основных начал» Спенсера.[30]

Параллельно изменились и политические мои взгляды. Я хорошо помню то патриотическое настроение, которое вспыхнуло в обществе после каракозовского выстрела 1866 года.[31] Я был тогда в четвертом классе, ходил в какой-то самозванной ученической депутации с заявлением от гимназистов к редактору «Московских Ведомостей»,[32] нас, впрочем, не принявшему, был на всенародном молебне на Красной площади, купил себе портрет Комиссарова,[33] но через год после этого соловьевский[34] выстрел в Париже уже не произвел на меня прежнего впечатления. Без какого-либо определенного политического credo, которое впоследствии в очень раннем возрасте прочно захватывало молодых людей, я в общем был настроен радикально, мечтал о революции, в которой видел больше казовую, живописную, героическую, драматическую сторону, и о будущем общем счастье человечества после революции. Кроме «Что делать?», мною были прочитаны изложение системы Фурье,[35] сделанное, помнится, Бибиковым, первый том русского перевода «Французской революции» Карлейля[36] и т. д. В 1868 году стали выходить под новой редакцией «Отечественные записки», постоянным читателем которых я тотчас же сделался, с начала следующего года и сам подписался на этот журнал, имевший вообще большое влияние на мое общественное миросозерцание. «Современник» и «Русское слово» были закрыты, когда я был еще слишком юн для чтения каких бы то ни было журналов. Из современных писателей я в это время особенно любил Некрасова, не говоря о Писареве, которым продолжал зачитываться.

Но больше всего в последних классах гимназии меня тянуло к науке, к возлюбленной филологии. В шестом классе у меня даже был план выйти из гимназии и держать выпускной экзамен экстерном, как сделал это незадолго перед тем брат Соловьева, Всеволод, сделавшийся впоследствии романистом: все равно, думал я, в седьмом классе нового почти ничего не проходили. Такое намерение вызвано было у меня одним казусом, нашедшим место даже в упомянутых педагогических воспоминаниях Белявского. Шел я как-то на святки по улице с одним товарищем, курившим папиросу, что было строго запрещено. Навстречу ехал в санках другой немецкий учитель гимназии Томсон. Я имел неосторожность, предупреждая курившего товарища, слишком громко произнести фамилию немца, что обозлило последнего. Он остановил извозчика, подо-

звал меня и спросил у меня, как меня зовут. Я, конечно, назвался, и вот через два дня меня к себе на квартиру потребовал явиться инспектор Миллер, которому Томсон пожаловался на меня. Благодушный Федор Федорович удовлетворился моим объяснением и посоветовал идти к Томсону извиниться за свою «дерзость». «Видите ли, Федор Федорович, — сказал я, — он такой сердитый, что разве с вами я бы к нему пошел объяснять, что вовсе не думал его оскорблять». Добряк согласился, и мы пошли вместе, но Томсона дома не застали. Я на этом успокоился, но не успокоился Томсон. Результатом было то, что меня, не выслушав даже моего объяснения, наказали: посадили в темный карцер на четыре часа, постановили стереть мое имя с «золотой доски» и поставить тройку за поведение. Когда это было «торжественно» объявлено классу, Соловьев тотчас же стер губкой вообще все фамилии, бывшие на золотой доске (и свою в том числе), и отпер дверь чулана, в который меня посадили. Я, однако, не захотел уйти, и только кощунственно осенил Соловьева широким крестным знамением. Вышла новая история: на расследовании о «золотой доске» Соловьев сам сказал, что это было его дело, и по поводу всего этого директор всему классу прочитал нотацию, в которой предостерегал наших товарищей от нигилизма. Решение меня покарать было принято на каком-то частном совещании, но после поступка Соловьева был экстренно созван педагогический совет, бывший, кажется, довольно бурным. В конце концов, наши имена опять появились на «золотой доске», высокий балл по поведению мне был возвращен, а вся история предана была забвению. Давши ей улечься, ранней весной я и пошел к директору сообщить о намерении своем выйти из гимназии и в этом же году держать экзамен экстерном. Но меня от этого отклонили, главным образом Белявский, да и не захотелось, как мне казалось, быть выскочкой в глазах товарищей.

Уже будучи студентом, я был однажды приглашен директором к нему на вечер. Были гости, кое-кто из учителей, в том числе и Томсон. «А вот по какому поводу, — сказал директор, — Николай Иванович у нас ни разу не подвергался никакому взысканию». «Не так, Михаил Афанасьевич, — возразил я, — я четыре часа просидел в карцере». «Ну вот еще, — возразил Малиновский, — верно, в маленьком классе вы досадили чем-нибудь Адольфу Ивановичу (надзирателю)», — тотчас же переменил он тему разговора.

В сущности, в 1868 году я был действительно готов к поступлению в университет. Целью моих стремлений был историко-филологический факультет, о профессорах которого я уже кое-что знал от Белявского. Некоторые статьи Буслаева мною были уже с толком прочитаны, и даже была одолена диссертация слависта А. Л. Дювернуа о славянском словообразовании перед самым диспутом, на котором я, конечно, был. Я уже несколько

разобрался в некоторых вопросах лингвистики, что если бы обладал такой же храбростью, с какой через несколько лет после этого выступил на одном диспуте в Московском университете, еще будучи гимназистом, А. А. Шахматов,[37] известный впоследствии академик, то мог сделать Дювернуа два-три замечания по частным вопросам, решение которых у него считал неправильным.

В эти годы меня интересовали язык, фольклор (тогда еще не было в ходу этого термина), мифология, народная словесность. Я читал и даже конспектировал сравнительную грамматику Боппа,[38] во французском переводе «Лекции по науке о языке» Макса Мюллера,[39] книгу Ренана о происхождении языка и первый том его же «Histoire génerale des langues sémitiques»* и многое другое, что положило начало и ознакомлению со славянскими языками (особенно с польским) и т. п. Мало того, мне показалось, что я в состоянии решить существующее разногласие в вопросе о происхождении известных букв греческого языка и, написав об этом целую статью, по секрету от всех тиснул ее отдельной брошюрой под претенциозным заглавием «Фонетическая и графическая система древнего эллинского языка»[40] — довольно, конечно, слабое ученическое упражнение, к которому, однако, очень снисходительно отнесся рецензент «Журнала Министерства народного просвещения».[41] За сей подвиг ученика VII класса Совет гимназии наградил на акте осенью 1868 года, кроме золотой медали, семидесятью томами всяких филологических книг. Это, впрочем, был не первый мой печатный опыт. Чуть ли не в пятом еще классе или при переходе в шестой я составил русскую историю для народного чтения,[42] сам получил для нее цензурное разрешение и отнес к книгопродавцу Кольчугину, должно быть, не оставив ему своего адреса. Я уже успел забыть о существовании этого юношеского прегрешения пером, когда, будучи студентом, увидел его напечатанным с довольно лубочными иллюстрациями. Как я был этому рад, что наборщик переврал мою фамилию, принявши своеобразно писавшееся мною «р» за «ж». Я не подумал потребовать у издателя гонорар, чтобы не обнаружить своего авторства, не сохранив даже в тех же видах у себя купленного экземпляра, прямо изорвавши его в клочки, и никому не признавался в этом прегрешении до 1923 года, когда публично на своем пятидесятилетнем юбилее в нем покаялся, затронув в своей речи вопрос о настоящей дате начала писательства. Очевидно, у меня в юности уже была страсть писать и печататься, т. е. все то же, что и раньше, стремление делиться своими знаниями, хотя бы только что приобретенными. В начале семидесятых годов я уже был сотрудником воронежских «Филологических Записок»,[43] где пи-

* «История семитского языка» (франц. — *В. З.*).

сал статьи по мифологии. Филологом, однако, я все-таки не сделался.

На летние месяцы, конечно, мы оставляли Москву и ездили в Аносово на лошадях как на долгих, т. е. с остановками для кормления лошадей и для ночлега на постоялых дворах, так и на почтовых, но как-то об этом у меня не сохранилось никаких воспоминаний. Один раз, после четвертого класса, я уехал один с двумя попутчиками, со священником и торговым приказчиком, а возвращался в том же году на почтовых с Белявским и его сестрой, петербургской институткой. Ездили как-то на лошадях до Ржева, на пароходе до Твери, дальше по железной дороге. Как проводил я время в деревне, тоже хорошенько не помню. Дедушки в Муравишниках уже в живых не было, лошадкинский пансион перекочевал в Сычевку, а все новое как-то мало занимало. Не могу даже сказать, много ли и что именно я читал на каникулах.

Заключительным аккордом гимназической жизни была упомянутая уже пирушка у Кс[енофонта] Ивановича Жинзифова. Это было, помнится, 11 июня, в день последнего экзамена и заседания совета. Нас почему-то не отпустили после экзамена, а учителя что-то очень долго совещались, подводя вообще итоги под учебным годом всей гимназии. Когда нас пригласили в актовый зал, где любивший торжественность Малиновский поздравил нас и объявил о наших медалях, сказав при этом длинную речь, время склонялось к вечеру. Дома я успел едва кое-что перекусить, как нужно было отправляться к Жинзифову, он же главным образом приготовил для нас шампанское, сильно подействовавшее на наши тощие желудки. Было дружно и весело. Мы наперебой рассказывали гостеприимному хозяину, как сочиняли всякий вздор об учителях, будто громадный Белявский, встречая в коридоре маленького Назарова, пошире расставлял свои ноги, и тот проскакивал под ним, будто Басова поколачивает его супруга, а Будде сплетал самые невероятные фразы. Умолчено было, разумеется, что по легенде, автором которой был Шталь, сам Ксенофонт Иванович, в сущности, был пожарным в главном «депе» на Пречистенке. На этой гомерической пирушке, помню, хозяин свалился, прежде чем разошлись гости, если только не остались у него ночевать, как то случилось со мной.

С гимназией было покончено. На лето 1869 года я поехал в деревню с большим ящиком книг, среди которых были преимущественно сочинения по естествознанию, как, например, помню «Происхождение видов» Дарвина, «Душа человека и животных» Вундта[44] и т. п., купленные по указанию нового знакомого, студента-естественника Анд[рея] Дмитр[иевича] Карицкого. Мне, естественно, хотелось пополнить свое общее образование до начала специальных факультетских занятий. На общую важность естествознания указывал и Писарев, остав-

шийся еще для меня властителем дум, и Конт, с общими идеями которого я был несколько уже знаком, и, наконец, Бокль,[45] так как модная в те времена «История цивилизации Англии» читалась мною, пожалуй, еще на каникулах предыдущего, 1868 года.

В момент окончания гимназического курса мне было восемнадцать с половиною лет.

Глава пятая

В МОСКОВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Поступление в университет. — Новые знакомства. — Нервное настроение на первом курсе. — Мои факультетские профессора. — Мои занятия лингвистикой и литературой. — Переход к занятиям историей. — Профессора-историки. — Некоторые профессора других факультетов. — Общестуденческая жизнь начала семидесятых годов. — Факультетские товарищи. — Ближайшие приятели. — Мои чтения. — Специальные работы.

Когда я перед началом занятий приехал в Москву, меня встретило неожиданное и очень неприятное известие, что поступающие в университет будут подвергнуты проверочному испытанию, хотя бы только по некоторым предметам, сообразно с интересами того или другого факультета. Это было новшеством, очень нас обидевшим и за нас самих и за наши гимназии, которым профессора выражали такое недоверие. Все должны были написать по сочинению, будущих филологов, помню, «пощупали» по истории. Для меня и моих товарищей все прошло благополучно, но с первым учеником родственной 1-й гимназии Ливенцовым произошел скандал, он провалился на сочинении, и ему отказали в приеме. Вся его вина заключалась в том, что он сделал грубую орфографическую ошибку на букву *ять*. Наш директор ополчился на своего образцового ученика, [вступившись] за честь одной из своих гимназий. Скандал попал в газеты с освещением дела в сочувственном для Ливенцова тоне. Я был возмущен и поспешил выразить потерпевшему свое сочувствие, что сделалось началом моего знакомства, а потом и моего сближения с Ливенцовым и с двумя его гимназическими друзьями, Соколовым и Назимовым. С ними я скоро сделался приятелем, а через них с их учителем истории Егором Ивановичем Перетятковичем,[1] впоследствии бывшим профессором в Одессе. Мои новые знакомые очень любили и уважали Егора Ивановича, бывшего для них тем же, чем для меня Белявский. Они ходили к нему на дом, и од-

нажды с собой затащили и меня. Перетяткович был большой резонер, любивший ораторствовать на моральные темы; он напоминал мне Рудина, на которого едва ли был похож, тогда как в Белявском я усматривал без большого основания некоторые черты Базарова. Перетяткович очень мне понравился, я у него стал бывать и в первый раз встретился у него с В. О. Ключевским,[2] знаменитым потом московским профессором. С первого же абцуга с последним я о чем-то горячо поспорил, не помню по какому теоретическому вопросу, но помню только, что в этом споре он был язвителен и, как мне сдавалось, пренебрежителен. Это мне не понравилось, да и я, вероятно, Ключевскому тоже не понравился юношескою самоуверенностью и запальчивостью. С Перетятковичем у меня наладились добрые отношения, не прерывавшиеся до самой его смерти. Но каким поблекшим, опустившимся, неинтересным показался он мне, когда я через пятнадцать лет встретился с ним в Одессе. С Ливенцовым, Соколовым (естественником) и Назимовым (сначала тоже филологом) я сошелся, а через меня с ним познакомились и мои товарищи, хотя тесно сблизились между собой, да и то позднее, только Соловьев и Соколов. К нашей компании примкнул еще бывший старше нас Карицкий. (Старший Поливанов жил уже в Петербурге, младший куда-то стушевался, и моя ближайшая компания, таким образом, изменилась.)

Поселился я один поближе к университету, на Знаменке, как раз напротив Румянцевского музея, причем устраивала меня и прожила со мной короткое время мать. Любопытно, что, живя так близко от музея, я почему-то совсем не пользовался его библиотекой. На втором, третьем и четвертом курсах я жил в нумерах Скворцова («скворешниках»), рядом с университетом (на углу Воздвиженки), занимая — редкий случай в студенческой жизни — все три года одну и ту же комнату. Мне и в голову не приходило поселиться с кем-либо из товарищей: так я дорожил своей свободой и возможностью спокойно заниматься.

В самом начале студенческой жизни я испытал какой-то душевный кризис, да и вообще нервы мои в это время очень пошаливали. Очевидно, у меня была тогда неврастения, хотя этого названия я еще в то время не знал. Оставшись один после отъезда матери, я написал обоим родителям горячее благодарственное письмо, самого меня, когда я его писал, расчувствовавшее до слез, но не успели они еще его получить, как должны были приехать в Москву, будучи вызваны моей телеграммой о смерти бабушки, очень меня огорчившей. Я первый раз вблизи видел взрослого мертвого человека, и сам старался представить себя самого мертвецом, но без всякого страха смерти, да и с метафизикой вопрос о жизни и смерти у меня давно и прочно был покончен. Отец и мать дождались в Москве гимназиче-

ского акта, бывшего для них моим триумфом, сам же я лично к нему отнесся довольно равнодушо. Мною, бывшим всегда большим оптимистом, овладело пессимистическое настроение, какое-то общее недовольство самим собою, не повлиявшее, однако, на мои занятия: я аккуратно ходил на лекции, давал уроки, содержал себя всецело на личный заработок, много читал и даже «зубрил». Я деятельно в это время искал в себе разные недостатки, после того, как Карицкий передал мне один отзыв обо мне нового приятеля нашего Соколова. Я както случайно сказал при них, что хочу вплотную заняться применением теории Дарвина к жизни языка, находясь под влиянием брошюры Шлейхера[3] по этому вопросу, а Соколов Карицкому назвал это необычайным самохвальством. Я и сердился за это на Соколова, и очень мне вместе с тем хотелось, чтобы он не думал обо мне дурно, меня даже как-то особенно к нему потянуло, к Соколову, которого я находил более морально настроенным, чем я. Впоследствии мы действительно очень сдружились, но на первых порах в моих отношениях к Соколову была какая-то неровность и даже неловкость. В момент наивысшего напряжения моего пессимистического настроения я даже избегал встреч и бесед с людьми. Не вывело меня из этой «ацедии» и ответное письмо отца и матери на мое сердечное излияние, написанное перед смертью бабушки. Мало-помалу это несносное настроение прошло. С новыми товарищами, с которыми я водил компанию до конца курса и после, я даже слегка покучивал в «Русском трактире», недалеко от университета.

В числе частных учеников, которых я готовил к испытанию из гимназического курса, были почти мои сверстники, два брата Даневских, Всеволод (позднее профессор в Харькове) и Сергей, здорово работавшие. Они жили со своей матерью Софьей Христиановной, умной и образованной женщиной, которая сумела меня сделать как бы своим в ее доме, куда и впоследствии я приходил по воскресным дням обедать и где познакомился с очень интересным человеком, доктором Петром Ивановичем Боковым,[4] только что тогда переселившимся в Москву из Петербурга. В свое время Боков был близок с Чернышевским, старший сын которого, Александр, одно время жил у него в Москве. Я очень теперь жалею, что Петр Иванович, часто мною потом посещавшийся, не оставил мемуаров, так как, судя по его рассказам, они были бы весьма интересны. Жалею и о том, что сам не записывал его рассказов, да и вообще не вел дневника, считая это делом достойным лишь сентиментальных девиц. В доме Бокова я стал давать уроки, а также лечиться у самого Петра Ивановича, когда снова расстроились мои нервы. Но и другое особенно меня с ним сблизило, и наше знакомство не прерывалось до самой его смерти уже в начале XX века.

Таким образом, в начале своего студенчества я завязал прочные приятельские отношения с несколькими новыми лицами: с Перетятковичем, с тремя его учениками, с Даневской, с Боковым. Но и старые связи не порывались, хотя с Соловьевым, например, я стал видеться гораздо реже. Он поступил было, как и я, на филологический факультет, но сбежал на естественный, и в университете, не особенно им ревностно потом посещавшемся, мы не встречались, а жить он стал страшно далеко, в Николаевском институте, где отец его получил место инспектора классов. Сбежал с нашего факультета с самого же начала и Соколов, если мне не изменяет память, тоже на него поступивший под влиянием Перетятковича. Не выдержал филологии также и Назимов.

Дело в том, что студентов первого курса угощали преимущественно латинским и греческим языками с приемами, сильно напоминавшими гимназию. Первый преподавал нам Гавр[иил] Аф[анасьевич] Иванов, переводя и комментируя книгу Цицерона[5] «Об ораторе», а греческий язык был в руках лектора немецкого языка немца Фёлькеля, уже и совсем учившего нас по-гимназически. Оба они усиленно упражняли нас в переводах с русского. Все это было элементарно и необычайно скучно. Лично меня это, однако, не отпугнуло. Оба древние языка для первокурсника я знал недурно, скоро перестал ходить на лекции обоих преподавателей, а занимался дома. По-латыни я прочитал и даже изложил своими словами по-латыни же всю «Германию» Тацита,[6] каковую работу и представил Иванову, а в греческом языке упражнялся сам, давая по нему уроки. Как-то потом я забросил классические занятия, бывшие обязательными чуть не до конца курса, хотя и получал на экзаменах высший балл.

Знаменитого катковского друга Леонтьева[7] я почти и вовсе не слушал, потому что из трех лекций он сам обыкновенно пропускал две, а на третью являлся с таким запозданием, что только записные латинисты терпеливо дожидались его появления в аудитории. Ближайший сотрудник Каткова по «Московским Ведомостям», Леонтьев был больше занят последними, да своим Лицеем (Катковским), чем университетом. Известно, что после 25-летия своей службы он был забаллотирован Советом университета. Я слышал, что на это он разразился в Совете речью с такими выражениями: «Вы лизнули моей крови» и др. Тогда-то и начался поход «Московских Ведомостей» против университетского устава 1863 года. Вообще, этот человек был существом злобным. Студентам, которых он не видел на своих лекциях, он беспощадно ставил неудовлетворительные оценки. Ввиду этого я особенно тщательно приготовился к экзамену, когда дошла очередь до сдачи курса Леонтьева, и действительно отвечал хорошо, тем не менее Леонтьев поставил мне двойку, бывшую непереводным баллом. Я тотчас же, од-

нако, заявил сидевшему ассистентом Г. А. Иванову, что ведь я же отвечал хорошо. Тот пошептался с Леонтьевым, и мне было предложено перевести что-либо à livre ouvert.* Попалось нетрудное место, после чего двойка превратилась в пятерку.

Позднее приехал из-за границы очень интересный профессор греческого языка — Ф. Е. Корш,[8] знаменитый полиглот, но я уже тогда кончил курс, и мне учиться у него почти не пришлось. Ни один из профессоров-классиков не мог меня к себе привлечь. Леонтьев, относившийся к своим обязанностям крайне небрежно, был недоступным для студентов олимпийцем, да и политическая его физиономия, как сподвижника Каткова,[9] прямо от него отталкивала. Фёлькель был только случайным преподавателем и, нужно сказать, очень при этом неважным учителем. Временно промелькнул еще какой-то сухой и педантичный немец Виберг, толковавший нам, уже не помню, какого греческого автора, тоже привлекавшийся к преподаванию временно, пока Корш был в заграничной командировке. В Иванове было что-то подьяческое и молчалинское. Притом мы не считали его за настоящего ученого, так как он не напечатал ни единой строчки. Только по леонтьевской протекции он получил докторство honoris causa,** давшее ему право сделаться профессором, и что впоследствии открыло ему путь к деканству и ректорству, на каковых постах он, говорят, был типичным чинушей, исполнителем начальственных видов.

Появись Корш на нашем горизонте раньше, он, я думаю, захватил бы меня, когда главным, что меня привлекало, была лингвистика. Пока я научно интересовался преимущественно языком и не стал больше склоняться к фольклору и к литературе, я усердно слушал лекции слависта Ал[ександра] Льв[овича] Дювернуа. К его предмету я был более чем достаточно подготовлен, а потому оказался единственным на первом курсе студентом, который сколько-нибудь понимал этого профессора. Дювернуа взял с нами слишком высокий тон, прямо начал с очень специальных вопросов, да и читал, вдобавок, свои лекции каким-то макароническим языком. У него, например, какой-нибудь класс глаголов «абунтировал дефектами», а замену в сербском языке прежнего *е* звуком *а* (пес-пас, день-дан) он обозначал как проявление тенденции этого языка «все функции и извилины внутри своего интимного бытия окрашивать ярким элементом *а*». Я взялся даже составлять для товарищей записки по его лекциям, переводя всю эту тарабарщину на общепонятный язык. И в обыденной речи Дювернуа любил то же самое. Когда я однажды сказал ему, что имею от товарищей

* Без подготовки, без словаря (франц. — *В. З.*).
** Докторский диплом (лат. — *В. З.*)

поручение о чем-то его попросить, он любезно предложил мне тотчас «экспонировать наши дезиры». Человек это был благожелательный, как-то особенно вежливый, готовый всегда услужить и очень умный. Он даже предложил мне частным образом учиться у него чешскому языку и дал мне у себя на дому два-три урока, положившие начало моему, никогда не сделавшемуся, впрочем, близким, знакомству с этим языком. Ленился ли я, или ленился профессор, но как-то эти уроки далеко не пошли, как и завязавшееся было между нами частное знакомство.

Кроме лингвистического интереса к славянству был у меня еще интерес иной, именно — культурно-исторический. Если, с одной стороны, я приобрел «Сравнительную грамматику славянских языков» харьковского профессора Шерцеля,[10] одна из диссертаций которого была мною прочитана уже раньше, то с другой — я увлекался чтением сочинений Гильфердинга[11] об истории и о современном положении славянских племен, печальная политическая судьба которых вызывала во мне живейшее сочувствие. В частности, болгарами еще в гимназии меня заинтересовал Жинзифов, дававший мне болгарскую грамматику и кое-какие книжки на болгарском языке. Не будучи совсем славянофилом в специфическом смысле, я был все-таки славянолюбцем. Первым городом, в который я поехал за границей, была Прага, где я даже познакомился с некоторыми деятелями науки. Тот же интерес заставил меня, уже перед и после 1900 года, побывать неоднократно в юго-славянских странах. Наконец, упомяну в связи с этим, что в первые годы пребывания в университете я написал работу по славянской мифологии («Главные антропоморфические боги славянского язычества»), напечатанную в воронежских «Филологических Записках» за 1872 год. Там же еще в 1876 году я поместил статейку по поводу книги Креку «Введение в изучение славянства».[12]

На первых курсах я усердно занимался лингвистикой, проконспектировав «compendium»* сравнительной грамматики Шлейхера, прочитавши его известную книгу о немецком языке, начав даже заниматься санскритом у крупного знатока этого языка профессора П. Я. Петрова,[13] но дело на лад не пошло. Слушателей у него было двое, из которых одним был Вс[еволод] Фед[орович] Миллер, впоследствии академик, в то время бывший уже оставленным при университете и продолжавший упражняться у Петрова; мне было не по силам учиться трудному языку с таким товарищем. Интерес к лингвистической стороне филологии притом стал постепенно уступать место литературной, формальная — реальной.

А по русской словесности моими профессорами были уче-

* Краткий очерк основных идей и мыслей (лат. — *В. З.*).

ные с громкими именами — Фед[ор] Ив[анович] Буслаев и Ник[олай] Савв[ич] Тихонравов. Первый из них был необычайно симпатичным, даже прямо для нас, студентов, обаятельным человеком. По воскресным вечерам, с шести часов, он принимал студентов и других посетителей, а как-то, засидевшись и заслушавшись, я был оставлен и поужинать. Буслаев снабжал нас книгами из своей библиотеки, часто старопечатными. Интересуясь заговорами и заклинаниями, я брал у него латинские требники с экзорцизмами. Я продолжал у него бывать и впоследствии, всегда радушно им принимаемый, а незадолго до его смерти отвозил ему адрес Петербургского университета по случаю какого-то его юбилея. Около того же времени старик (он умер почти восьмидесяти лет), бывший тогда слепым, очень меня растрогал, посетивши меня в Петербурге. Во время моего учения в университете Буслаев, собственно говоря, никакого курса по истории русской литературы не читал, а излагал разные мифологические теории и сообщал различнейший фольклористический материал, все это как-то не систематически, разбросанно, отрывочно, но очень интересно. Общие теории у этого, очень образованного, талантливого человека, способного увлекаться и увлекать, были, однако, как-то расплывчаты, а нрав чрезвычайно живой. Вдруг, бывало, читая лекцию, больше по заранее написанному тексту (потом печатавшемуся), он останавливался и принимался молча записывать какое-нибудь новое соображение, только в эту минуту пришедшее ему в голову и тут же сейчас сообщавшееся слушателям. А не то, бывало, полезет он на верхнюю полку одного из своих библиотечных шкафов, чтобы достать какую-нибудь книгу, но заденет другую, стоявшую на нижней полке, та упадет, он ее поднимет, найдет ее не менее интересною и даст вместо предложенной раньше. В этой подвижности был весь Буслаев.

Его товарищ, бывший его же учеником, Тихонравов, был совсем другого рода. С каким-то уродством на лице, с неравным количеством пальцев на одной руке, несколько шепелявый, посему его мы называли Шавичем, вместо Саввича, он был, что называется, себе на уме и казался прижимистым. Много позднее Тихонравов был ректором, воевавшим с попечителем учебного округа и не дававшим спуску студентам. В начале моего студенчества Ник[олай] Сав[вич] числился преподавателем, не имея ученой степени, которую получил около 1870 года, в одно время с Ивановым. Говорили, что тут была сделка: за поддержку Леонтьевым Тихонравова Буслаев поддержал Иванова во время отсутствия ректора Соловьева, бывшего противником такой раздачи докторской степени собственным товарищам, в чем был, разумеется, прав. Против этого были голоса и в печати. Я помню, какой шум вызвала статья «Даровое докторство», появившаяся в «Отечественных записках».

Но Тихонравов был, по крайней мере, крупный ученый, а Иванов — только начетчик. Соловьев и раньше высказывался против докторства Иванова, а Леонтьев его защищал, ссылаясь на его скромность, помешавшую ему печататься. «Значит, мы все нескромны, издавая свои книги и статьи», — возразил Соловьев. Крупный, повторяю, ученый, сделавшийся, как и Буслаев, академиком, Тихонравов в мое время давал студентам меньше, чем мог бы дать. Он даже не читал настоящего курса истории русской литературы, а один раз в виде введения в такой курс по XVIII веку прочитал очерк французской просветительной литературы, бывший, в сущности, пересказом книги известного Геттнера,[14] как я потом это обнаружил, и вслед за ним свою работу о московских вольнодумцах начала XVIII века (Тверитинова и К°), напечатанную вслед за этим в «Русском Вестнике». Лектором Тихонравов был, однако, замечательным, хотя и считывал с написанного заранее. Манкировал он, впрочем, не менее Леонтьева: в одном (не помню, каком) полугодии он прочитал буквально только четыре часа, потому что, как гласила молва, заболел запоем. Общения у меня с ним было мало, хотя я для него и написал курсовое сочинение (мы писали ежегодно) о древнерусских «Пчелах», для чего получал от него его собственные рукописные сборники, кажется, XV—XVI веков, и отыскивал их источники в известной Патрологии (в греческой части) аббата Минье. Это была моя последняя дань филологическим занятиям, да и знакомство мое с Тихонравовым прекратилось.

Профессором всеобщей истории литературы сделался у нас уже во время моего пребывания в университете Ник[олай] Ил[ьич] Стороженко,[15] видный шекспиролог и вообще знаток старинного английского театра, но я слушал только первый его курс, к сожалению, не по его главной специальности, а по итальянскому Ренессансу, вышедший не совсем удачным, ибо во введении он нам обещал совсем другое, чем дал в своем изложении всяких дрязг и инвектив, а также похождения таких «прохвостов» (выражение Влад. Соловьева), как Фидельфо. Сам по себе Стороженко нам, однако, очень нравился, да и он нас жаловал, пригласив кое-кого из нас, между прочим, в свой кружок, где читались рефераты им самим, Алексеем Николаевичем Веселовским,[16] тогда еще не бывшим университетским преподавателем, и еще не помню кем. На этих собраниях я впервые услышал имя Георга Брандеса,[17] которого Стороженко весьма усердно пропагандировал как своего рода образцового историка литературы. Знакомство мое с Ник[олаем] Ил[ьичом], очень привлекательным человеком, продолжалось до самой его смерти.

Историю я слушал: русскую — у знаменитого С. М. Соловьева, всеобщую — у Михаила С[еменовича] Куторги[18] и у Вл[адимира] Ив[ановича] Герье.[19]

Куторга был одним из первых в России всеобщих историков, работавших самостоятельно и по источникам. Специальностью его была Древняя Греция, по истории которой он написал несколько работ, между прочим, на лат[инском] и франц[узском] языках. В 1869 году он только что, уже будучи стариком, перешел в Московский университет из Петербургского, где преподавал до того времени более тридцати лет. Почему-то в студенческой среде распространилась молва, что Куторга был ставленником Леонтьева (а следовательно, и Каткова), так что его заранее невзлюбили, но лекции его мне понравились, хотя в них было много ненужной и не идущей к делу болтовни, давшей повод издателю литографированных записей его лекций на последней странице поместить фразу из «Записок сумасшедшего» о шишке на носу алжирского бея. Профессор указывал на свои сочинения, называя себя «русским ученым Куторгой», имя которого стало рядом с именами Казаубонов,[20] Салмазиев[21] и других сторонних авторов. В обращении это был человек трудный по крайне щекотливому самолюбию. Ему не нравилось, если на экзамене кто-либо не знал, что в XIX веке первыми, прошедшими через Фермопилы, были он да англичанин Гордон.[22] Он с удовольствием рассказывал, как познакомился в Париже со знаменитым Гротом.[23] Последний не расслышал фамилию Куторги, когда тот ему рекомендовался, а едва Куторга стал спрашивать у него какого-то совета, английский историк сказал: «Вам, пожалуй, нечего приезжать было в Париж, когда у вас есть такой ученый, как Куторга». Когда я после одной лекции Куторги спросил у него, что мне читать по греческой истории, он мне назвал Геродота,[24] Фукидида[25] и т. д., но на мое заявление, что я спрашиваю о новейших историках, он ошарашил меня вопросом: «А разве вас не удовлетворяют мои лекции?», — подтвердив, что нужно читать только древних авторов. Он педантически требовал, чтобы мы по-рейхлиновски называли Гомера Омиром, Геродота Иродотом, Страбона Стравоном и т. п. и прямо остановил меня на экзамене, когда я заговорил о Пелопоннесской, а не о Пелопоннисской войне, и, спросив мое имя и отчество, стал доказывать свою правоту тем, что я называюсь Иванович, а не Иоганович или Жанович.

На последнем курсе нас, студентов-историков, было только четыре, и мы уже как-то свободнее чувствовали себя с ним в его семинарии. Я даже решился сказать ему, что, преследуя нас за обычное греческое произношение, он сам иногда сбивался на *эту* вместо *ита.* Он готов был идти на пари, что этого быть не может, но я выкопал ему в одной его книге «*пеней*» вместо «*пений*». Михаил Семенович покраснел, как рак, хлопнул себя по лбу и сказал: «Вы правы, молодой человек! Вот и на старуху бывает проруха, а я ведь сорок лет так писал». Когда я заболел в ноябре 1872 года оспой, долго не показы-

вался в семинарии Куторги, он, узнав о причине моего отсутствия, рассказал товарищам, каким он был хорошеньким юношей, как на домашних спектаклях ему давали женские роли и как оспа сделала его рябоватым и т. п. Я выздоравливаю, прихожу на семинарские занятия, и первыми словами Куторги были: «Поздравляю, поздравляю, мы теперь товарищи». «Как так, Михаил Семенович?» — «У вас была оспа?» — «Да». — «И у меня была». — «Что вы говорите?» — «А разве ваши товарищи вам не рассказывали?» Я слукавил и сказал, что нет, и тогда при едва сдерживаемом смехе студентов Куторга обратился к нам со словами: «Господа, вот ваш товарищ не слыхал, что я вам рассказывал, позвольте же мне, старику, еще раз вспомнить старину». Последовал тот же рассказ со всеми подробностями о хорошеньком личике, о женских ролях на домашних спектаклях и т. п. Вообще, в это время он был у нас своего рода figura comica, да и в профессорской среде о нем ходили всевозможные анекдоты. Как-то в это время он в одной своей статье проврался, переведши «potissimum» (преимущественно) как «potentissimum» (могущественнейшего). Корш, Герье и еще кто-то состряпали об этом злую заметку, которая, кажется, где-то даже была напечатана. Темой для зачетной работы Куторга дал историю города Трикки и был очень доволен, когда я ему сказал, что не знаю, что это за город. Оказалось, что Трикка существовала «при царе Горохе», но что ее имя встречается там-то и там-то у греческих писателей. По Страбону[26] и Павсанию,[27] пользуясь индексами, я смастерил реферат, где доказывал, сам в это не веря, что Трикка была колонией Эпидавра, что там был храм Асклепия, что правление было в Трикке жреческое и проч. и проч. И профессор, к моему удивлению, остался доволен работой.

Лекции Герье я слушал в течение трех лет, начиная со второго курса, а занимался у него и по окончании курса. Он сделался доцентом Московского университета с моим поступлением в гимназию (1865), провел потом три года за границей, не прошел на баллотировке в экстраординарные профессора и был назначен сверх штата министерскою властью, что не помешало ему быть впоследствии стойким поборником в печати университетской автономии и выборности профессуры. Вскоре сам выбранный Советом университета он прочитал при мне в три года очень систематический и содержательный курс западноевропейской истории от конца Римской империи до Французской революции и лучше чем кто-либо поставил у нас семинарские занятия.[28] Он был, пожалуй, самым требовательным экзаменатором, беспощадно «избивая младенцев», что сделало его довольно-таки нелюбимым в массе студентов-филологов, бывших тогда обязанными слушать все общие курсы по истории. Я аккуратно посещал все лекции Герье, читал указывавшиеся им книги (например, разные сочинения Гизо) и прини-

мал участие в его практических занятиях, пока под влиянием его преподавания не перешел со славяно-русского на историческое отделение.

В эти годы студенты нашего факультета впервые начали разделяться на специальности,[29] из коих третьею была классическая филология, но у всех студентов было еще несколько общих предметов. На третьем курсе, с которого начиналось разделение, я был на славяно-русском отделении, а на четвертом числился уже на историческом, куда факультет перевел меня без потери года. Переменив свою профессию, я чувствовал некоторую неловкость только перед Буслаевым, своим ближайшим, до того момента, учителем. По окончании мною курса Герье и предложил мне остаться для дальнейших занятий при университете. «Что вы намерены делать по окончании курса?» — спросил он меня после последнего экзамена. «Готовиться к магистерскому экзамену по всеобщей истории или философии», — отвечал я. Тут же он предложил мне остаться при университете по его кафедре,[30] что было для меня полной неожиданностью, так как у меня с Герье до того времени (да и после) были не совсем гладкие отношения. Герье был щепетильно самолюбив, не менее Куторги, я же как-то мало считался с этим и неоднократно навлекал на себя неудовольствие Герье. Во всяком случае, могу сказать, что его преподавание было наиболее дельным и что как учителю я более всего обязан именно ему. Если бы кроме всеобщей истории в 1873 году могло что-либо меня привлечь, то только философия по близости к теоретическим (психологическим и социологическим) интересам. К Герье как к своему ближайшему учителю я еще вернусь.

Русскую историю я слушал у С. М. Соловьева. Он был прекрасный лектор и прочитал, при четырех часах в неделю, цельный и стройный курс русской истории, слушание которого я дополнил посещением его известных публичных лекций о Петре Великом по случаю годовщины его рождения. От студентов Соловьев держал себя очень далеко, настоящим «генералом», не делая исключений для товарищей своего сына, впрочем, почти никогда его и не видевших, когда бывали у последнего. Я заметил, что и домашние Соловьева как будто побаивались. Среди студентов поэтому Сергей Михайлович только пользовался почтительным уважением. Он устроил для нас четырех на последнем курсе семинарии, куда являлся с зятем своим, другим профессором русской истории, Нил[ом] Алекс[андровичем] Поповым,[31] ни одной лекции которого я как-то не слыхал, когда был студентом. Соловьев и с ним держал себя важно и строго. Один раз он спросил кого-то из нас, как он понимает различие между вотчинами и поместьями, но пока тот собирался ответить, отличавшийся живостью характера Попов дал быстрый ответ. «Не вас спрашивают», — обрезал его

Соловьев, а Нил Алекс[андрович] поднял снизу свою большую длинную бороду, чтобы скрыть ею свой смех. С Поповым позднее я имел дела по магистерскому экзамену[32] и по славянскому вопросу со времени герцеговинского восстания. Это был человек чрезвычайно жовиальный, большой говорун и хлопотун, но как-то его научная деятельность мне оставалась мало известной.

Помню еще один случай на семинарии, руководившемся тестем-ректором и зятем-деканом. В первый же обычный день семинария, после святок, чуть не в первый раз после перенесенной оспы, я пришел в университет со своим рефератом о судебниках Иванов III и IV, но товарищи, не думая, что занятия возобновятся тотчас же после Татьянина дня, университетского праздника, не пришли, а тут как раз в аудиторию явились ректор, декан и попечитель округа, которые только и оказались слушателями моего реферата.

Из исторических курсов мы слушали еще и сдавали экзамены по церковной истории и по истории искусства. Профессор первого из этих предметов, протоиерей Ал[ександр] Мих[айлович] Иванов-Платонов,[33] был совсем не похож на своего товарища по рясе, профессора богословия и настоятеля университетской церкви Ип[полита] Мих[айловича] Богословского,[34] курс которого был обязателен для всех первокурсников. Как последний был генеральственно важен и напыщенно фразист, так тот был прост и в обращении, и в изложении своего предмета. Это был, действительно, историк, познакомивший нас с разработкой истории христианства первых трех веков. Мы относились к нему с уважением и с симпатией как к знающему свой предмет ученому и к очень обходительному человеку. Наоборот, историк искусства Карл Карл[ович] Герц[35] был довольно-таки комической фигурой. Кое-что я о нем порассказал его биографу А. Ю. Малеину,[36] написавшему о Герце целую книгу по поручению Академии наук, которой сестрой Герца завещан был на сей предмет некоторый капитал.

Мне остается еще вспомнить о профессоре философии Памф[иле] Дан[иловиче] Юркевиче.[37] Я не мог не отнестись к нему без некоторого предубеждения как к метафизику, которого в свое время, вдобавок, разносил Чернышевский, но к концу курса я смотрел на него уже несколько иначе, особенно прочитавши его превосходную параллель между Платоном и Кантом,[38] написанную в начале семидесятых годов. Юркевич был человек доступный, к которому по разным делам приходилось обращаться, когда он был деканом. Больше, впрочем, с философией я знакомился по книгам: по Льюису,[39] к сожалению, еще в гимназии; в университете — по Куно Фишеру,[40] Вундту, «De l'intelligence» Тэна,[41] которою просто увлекался. Для Юркевича я написал небольшую работку (тоже требовалось) о разуме и опыте, возвращенную мне им с одобрительным отзывом.

Психологию и логику Юркевич читал очень элементарно, экзамен по истории философии сдавался нами по небольшой книжке Швеглера,[42] сам же профессор излагал нам учение Канта. Был у него в мое время и необязательный курс о позитивизме, пессимизме (Шопенгауэра)[43] и спиритизме, но я на него не заглядывал. О Юркевиче говорили, как о верующем спирите, что родило в моем товарище Назимове мысль о такой штуке — поставить под кафедру Юркевича будильник, который затрещал бы как раз во время лекции о спиритизме. Шалун убеждал меня дать ему для этой цели будильник, но мне было и будильника жалко, да и Юркевича обижать не хотелось. Гораздо большее влияние, чем на кого-либо, Юркевич имел на Владимира Соловьева, который после Юркевича короткое время читал лекции в Московском университете.

Кроме своих профессоров, я заходил послушать и других, о ком больше говорили. Помню одну лекцию профессора гистологии и эмбриологии Бабухина,[44] очень популярного у медиков и естественников, написавшего свой курс с настоящим, нужно отдать ему справедливость, глумлением, злым и остроумным, над философией и вообще над умозрительным методом. Помню и несколько переливавшего из пустого в порожнее юриста Мих[аила] Ник[олаевича] Капустина,[45] перед смертью своей бывшего попечителем Петербургского учебного округа, показавшего себя в этой должности человеком очень порядочным и гуманным. Помню и еще кое-кого, но смутно, за исключением знаменитого профессора римского права Никиты Крылова.[46] Это был красноречивый и остроумный лектор, немного балаганивший и циничный. О нем ходила масса анекдотов, один другого забавнее. Говорил он, например, о дуализме в римской истории и о том, как часто два лица или предмета срастаются в мысли в одно представление. «Вот и я,— привел он пример,— вхожу в профессорскую и вижу стоит Леонтьев, а думаю себе, вишь два подлеца стоят (Катков и Леонтьев)». Ссылаясь на своего товарища, профессора гражданского права Умова,[47] он будто бы сказал: «Вот и наш — не по шерсти кличка — Умов и т. п.». Все это могло делаться, конечно, только в некотором подпитии, а Никита Иванович был выпить, что называется, не дурак.

Один эпизод, относящийся к Владимиру Соловьеву, с моих слов был рассказан С. М. Лукьяновым в биографии последнего. Готовимся мы сообща к экзамену у одного товарища, отец которого владел известным во всей Центральной России колониальным магазином и винным погребом, где покупал и Крылов, знавший моего товарища. Вдруг в нашу комнату, бывшую чуть не рядом с магазином, входит Никита уже в легком подпитии и объявляет свой приход: «Спросил у отца, где Василий, говорит, что с товарищами-филологами к экзамену готовится, вот и пришел посмотреть, каки-таки филологи. Вели-ка буты-

лочку красненького». Бутылочка явилась, потом, может быть, и другая. Мы не пили. Крылов пил и пил, забавляя нас разными анекдотами, остротами и шутками все больше насчет профессоров, что вызывало у нас неудержимый хохот, пока разошедшийся старик (ему было под семьдесят) не задел очень больно ректора Соловьева, а тут на несчастье случился его сын, мой приятель, державший экзамен прямо на кандидата историко-филологического факультета и приведенный мною для совместного прочтения записи курса церковной истории. С тем, до того момента безумно смеявшимся, сделалась настоящая истерика. Произошел переполох. Мне пришлось отвести Соловьева домой, но, вернувшись к товарищам, я застал еще там Крылова, сначала набросившегося на меня за то, что я его не предупредил о присутствии ректорского сына, потом просившего меня убедить его как товарища, чтобы тот не сказал отцу. Я был уверен, что, конечно, Соловьев не станет сплетничать, но Крылов пристал ко мне, чтобы я повлиял на Соловьева и ему самому, Крылову, сообщил о результате. Я дал ему слово, и на другой день, когда он экзаменовал юристов, подошел к экзаменационному столу и сказал, чтобы Ник[ита] Ив[анович] не тревожился. Удивляюсь, как ему все сходило с рук, когда он куражился над экзаменовавшимися студентами, особенно над «жидами, армянами, греками и другими восточными человеками», — одно из его присловий. А между тем это был большой ум и талант; так смотрел на него и его ученик С. А. Муромцев,[48] сделавшийся его преемником (впоследствии председателем I Государственной думы). В прошлом у Крылова была некоторая близость к Герцену[49] через Е. Ф. Корша[50] (отца известного профессора и академика), на сестре которого Крылов был женат.

Время моего пребывания в Московском университете было время спокойное.[51] Последнею студенческой историей перед тем была весной 1869 года, так называемая полунинская,[52] а следующая — не раньше второй половины 1873 года или начала следующего года. За все эти годы не было никаких сходок и демонстраций, не существовало ни землячества, ни касс. Правда, бывали в пользу недостаточных студентов концерты и балы, балы даже очень популярные в доме Дворянского собрания с его большими залами, но устройство этих благотворительных увеселений не являлось общим студенческим делом, хотя и были на них кое-какие студенты-распорядители. Другим общественным проявлением студенчества были ежегодные празднования Татьянина дня, когда все бывшие и наличные студенты наполняли наиболее известные рестораны и здорово кутили. Между прочим, Татьянин день описан был П. Д. Боборыкиным[53] в романе «Китай-город». Против этого обычая много позднее вооружился Лев Толстой в специальной статье.[54] Когда в первый раз я принимал участие в таком ку-

теже, теперь не помню, но, несомненно, это было в 1871 году, в последние дни осады Парижа пруссаками, когда мы дружно пили за Францию и кричали: «Vive la republique!» чуть ли даже без прибавки «française». Татьянин день 1872 года я провел в деревне, куда уехал на праздники по совету П. И. Бокова для успокоения расходившихся нервов, а в 1873 году я только что поправился от болезни (оспа) и не мог принять участие в кутеже. Позже я часто участвовал в этом празднестве, даже нарочно иногда приезжая из Петербурга: всегда можно было повидать сразу массу народа.

Как-то один раз сунулся я на обед бывших московских студентов в Петербурге, но когда увидел, что на видном месте восседает Плеве,[55] никогда больше нога моя на таких «товарищеских» обедах не бывала. Конечно, в это время я уже обедал не в шумных общих залах, а в более тесных кружках.

С течением времени круг моих знакомств расширился. На почве занятий русской литературой я очень сблизился с Василием Алексеевичем Андреевым, тем самым, в комнате которого был эпизод с Крыловым. Андреев был прекрасно подготовлен дома, зная три языка, на которых и говорил, начитан был в разных литературах, собирал большую библиотеку, между прочим, по русской церковной истории, и был чудесным товарищем. Когда я перешел на историческое отделение, и он по дружбе со мною последовал за мною, хотя очень недолюбливал Герье. Заниматься наукой он не переставал до последнего времени, но впоследствии какое-то тягостное душевное переживание заставило его совсем отойти от мира и по-толстовски опроститься. Я не прерывал с ним своих отношений и по окончании курса, останавливался у него во время моих приездов в Москву из Варшавы и пригласил его крестить сына,[56] родившегося в Москве.

Через Андреева я сошелся с небольшой компанией словесников, из которых один С. М. Георгиевский окончил еще курс восточного факультета в Петербурге, жил долго (между прочим, по чайным делам фирмы Андреева) в Китае, донельзя им идеализированным в одном большом труде, и был потом доцентом и профессором китайской словесности в Петербургском университете и, таким образом, снова сделался моим коллегой. Его отец, сильно «зашибавший» священник, не имел в семидесятых годах прихода, жил в Москве «ранним батюшко» (т. е. нанимался служить ранние обедни) и учил закону божьему в школе, устроенной Андреевым для магазинных мальчиков. Последний жил отдельно от родителей, в маленькой квартире около магазина, где устраивал журфиксы, посещавшиеся и его сестрами Александрой и Маргаритой, из которых первая выступала в печати со статьями по литературе. Семья Андреевых, в которой меня радушно принимали, была купеческая, старозаветная, но дети в ней получили прекрасное

европейское образование, а двум старшим дочерям, молодым девушкам, родители не возбраняли проводить время на журфиксах в холостой квартире брата.

К андреевской компании примкнул и студент-историк Мих[аил] Степ[анович] Громека,[57] сын известного в шестидесятых годах публициста, в семидесятых — седлецкого* в Царстве Польском губернатора, обращавшего тамошних униатов в православие («Степана Крестителя»). С этим юношей я лично близко сошелся, а когда был профессором в Варшаве, где он учительствовал в гимназии, один год жил с ним на одной квартире. Он был человек несколько легкомысленный, но очень талантливый. В 1883 году в припадке сумасшествия он кончил жизнь самоубийством, успев, однако, обратить на себя внимание своими этюдами о Льве Толстом, в которых очень искусно передал содержание с некоторыми выдержками не напечатанных в России богословско-философских статей из знаменитой «Исповеди» великого писателя.

Два кружка, в которых я участвовал, были довольно различными. В квартире Андреева, где жил и Георгиевский, собирались наши товарищи по славяно-русскому отделению, все «специалисты», и бывали кое-какие старшие лица той же профессии, как, например, Элпидифор (Вас[ильевич]) Барсов,[58] занимавшийся «Словом о полку Игореве», а потом, как я говорил, бывали и сестры хозяина, всегда угощавшие нас легким ужином с вином. Другой кружок (Соколов, Ливенцов, Назимов) собирался в студенческие годы у меня в определенные дни, причем нередко заканчивали вечер в Русском трактире. После окончания мною курса в университете центром второго кружка была семья Соколова. С ним я особенно сдружился, хотя между нами бывали и размолвки. Он был естественник, увлекался дарвинизмом, только в студенческие годы познакомился с Писаревым и подпал под его влияние, мечтал сделаться писателем и даже писал повесть, отрывки из которой приходилось читать мне. Это была натура с этическими запросами, но без какой бы то ни было общественной жилки. Через меня он познакомился с Соловьевым, когда тот уже был снова верующим и превращался в религиозного философа. Соколов уже по окончании учебного курса в университете подпал под влияние Соловьева и даже начал зачитываться отцами церкви, к великому огорчению страстно любившего его Ливенцова.

Семья Соколова состояла из родителей, пяти братьев и трех сестер. Кроме моего товарища Александра, бывшего четвертым, я ближе знал только двоих, ближайших к нему по возрасту, Владимира, готовившегося к магистерскому экзамену по политической экономии, но рано умершего, и Алексея, бывшего

* Имеется в виду губернатор Седлецкой губернии Царства Польского.— *В. З.*

еще гимназистом, через которого я потом приобретал некоторые знакомства в более молодом поколении. Из сестер старшая, Алевтина Алекс[андровна], сделалась женою Ливенцова, вторая, Зинаида, была из первых слушательниц на Высших Женских курсах Герье, только что открывшихся, и много рассказывала о том, что там происходило. Что касается до Ливенцова, то это был типичный математик не от мира сего, строгий позитивист и в политическом отношении теоретический радикал, мало бывавший в обществе и очень преданный друзьям, среди которых первое место занимал Ал[ександр] Ал[ександрович] Шахов[59] и Ал[ександр] Соколов. Когда он в первый раз в декольте увидел свою невесту (в которую влюбился еще гимназистом), собирающейся ехать с ним на студенческий бал, он, никогда не видевший такого наряда, сгорел было со стыда и не хотел верить, что Алевт[ина] Алекс[андровна] так-таки в этом виде и поедет. Он очень скоро выдержал магистерский экзамен, защитил диссертацию и раньше меня уехал в Париж, где потом мы вместе провели 1877—1878 гг. Сделавшись в 1878 году доцентом Московского университета, он неожиданно скончался.

В семье Соколовых часто по окончании курса бывал и Вл. Соловьев. Был принят в ней и член нашего старшего кружка, бывший несколько старше нас, Андрей Дмитр[иевич] Карицкий. Я познакомился с ним, когда был в VII классе гимназии, и заинтересовался им как человеком с большими знаниями в области биологии. Он, можно сказать, руководил моим чтением в этой области, сам мне многое рассказывал и объяснял. Но что это был за чудак, прямо сделавшийся притчей во языцех! Я нередко ему говорил, что если мне в жизни не повезет, я напишу книгу обо всех его чудачествах, уверенный, что книга будет выходить повторным изданием и давать мне хороший доход. Перед свадьбой Ливенцова, когда в квартире невесты был так называвшийся брачный обыск и приходил дьякон приходской церкви с метрической книгой для внесения в нее чего следует, были и мы, товарищи жениха, и всем нам была приготовлена закуска с возлиянием. Карицкий, любивший выпить и часто бывавший в этом отношении очень неумеренным, смешил нас своими чудачествами. «А вы, верно, актер», — сказал ему дьякон. «Собрат-с ваш по ремеслу», — резко ответил ему Карицкий. «Ах, господин, — заговорил дьякон, — по театрам ходите, а уж храм-то божий, наверное, редко посещаете». На это последовал ответ: «Рад бы бывать, да репертуар у вас, батюшка, однообразен». Судьбе было угодно, чтобы свою жизнь Карицкий заканчивал преподавателем одной провинциальной духовной семинарии. К числу чудачеств Карицкого принадлежало неумеренное нюханье табака, который он носил прямо насыпанным в один из жилетных карманов, где вдобавок смачивал его из ложечки довольно-таки насахаренным чаем. Я был

его шафером, когда он женился, и не раз останавливал его руку, когда, стоя под венцом, он делал поползновения насытить свой нос доброй понюшкой. А когда священник поздравлял новобрачных, молодой спросил: «Теперь, батюшка, я совсем женат?» — и после утвердительного ответа бросился целовать священника во всем его облачении.

Первоначально к кружку принадлежал и Вл[адимир] Серг[еевич] Назимов, товарищ Соколова и Ливенцова по гимназии, но потом от них отошел, оставшись, однако, моим приятелем. Поступив на историко-филологический факультет, он скоро перешел на юридический. Он много читал по социальному вопросу и в данном отношении мог мне кое-что дать. Когда я выздоравливал от оспы, он каждый день приходил ко мне по вечерам и читал мне вслух «Французскую революцию» Луи Блана,[60] бывшую предметом нашего обсуждения. Любя покучивать, он в то же время был изрядным шалуном, совсем не похожим на того серьезного и даже суховатого сенатора, каким я его увидел в Петербурге незадолго до войны 1914 года. Окончив курс, Назимов служил в провинции и время от времени, по разу года в два, писал мне длинные письма. По летам со мной переписывался и Соколов. Общей почвой у всего маленького кружка в самом его начале было вольномыслие как религиозное, так и политическое.

Я чувствовал себя как дома в обеих компаниях и даже участвовал в третьей, еще с шестью студентами-филологами имея абонемент,— целую ложу четвертого яруса в итальянской опере, в то время превосходной. Это было на II и III курсах. В числе участников абонемента были и классики, между ними — большой латинист Вл[адимир] Дм[итриевич] Исаенко, потом писавшийся Исаенковым, бывший учителем, окружным инспектором и помощником попечителя учебного округа. Вместе с ним мы еще встречались у Даневских, где он давал уроки и был желанным гостем. Каждый раз, встречаясь с ним, я шутливо спрашивал: «Который раз вы прозубрили грамматику Мадвига?» — на что он, смеясь, отвечал какой-нибудь трехзначной цифрой. О степени общего образования некоторых тогдашних филологов можно судить по просьбе одного из наших любителей оперы рассказать бывшее ему неизвестным содержание «Ромео и Джульетты».

В студенческой среде были у меня и одиночные, так сказать, знакомства. В числе их на первом плане ставлю Павл[а] Гавр[иловича] Виноградова,[61] сделавшегося позднее профессором в Москве, потом в Оксфорде, а под конец и членом Академии наук. Виноградов был двумя курсами моложе меня. Мы встретились случайно у Буслаева, который много времени спустя был шафером на моей свадьбе. Уже тогда он мало водил компанию с рядовым, так сказать, студенчеством, за что товарищи называли его генералом. Впоследствии, однако, мы

без всякой видимой причины очень отдалились друг от друга, но, сдается мне, отнюдь не по моей вине. Часто, помню, возвращаясь с вечернего семинария, происходившего у Герье на дому, мы заходили вдвоем в ресторан закусить и побеседовать. Живя рядом с университетом, я часто видел его у себя, а также бывал в его семье, в которую были вхожи и Андреев с Громекой, причем помню и три-четыре танцевальные там вечеринки. Общее участие в семинарии у Герье создало у нас некоторые общие научные интересы.

Там же познакомился, но не близко, со Ст[епаном] Фед[оровичем] Фортунатовым,[62] который был тогда оставлен при университете и пользовался большою популярностью благодаря своим историческим знаниям, превосходному характеру и большим чудачествам. О нем, как и о Карицком, можно было написать целую книжку забавных анекдотов, особенно по поводу необычайного неряшества Фортунатова и таким его странностям, как боязнь и даже неумение зажигать спички. Уже почти стариком он однажды объявил мне со смехом (он вечно смеялся), что научился зажигать спичку. Из него вышел замечательный преподаватель исключительно в женских учебных заведениях, между прочим, и на курсах Герье, где он преподавал с самого их начала. Был он и в качестве приват-доцента в университете большим любимцем слушателей. Фортунатов особенно любил новую историю Англии, Франции, главным же образом историю Соединенных Штатов, по которой у него были большие знания. Ученая его карьера, однако, не удалась. Две написанные им, довольно тощенькие диссертации, были забракованы, да вообще он терпеть не мог процесс писания. Я сблизился с Фортунатовым очень нескоро. Бывая в Москве, я никогда не пропускал [случая] его посетить, а приезжая в Петербург на Рождество или Пасху к своему брату-академику, он постоянно бывал у меня, то обедал, то пропадал на журфиксах (а в Москве он был гостем на всех журфиксах), приводя всех знакомых моих в восхищение своим оригинальным видом, своим заразительным смехом, потиранием и всплескиванием своих маленьких ручек и бесконечным благодушием. В Москве его любовно называли «Степочка», прибавляя иногда и «Растрепочка».

Фортунатов был большим другом А. А. Шахова, товарища своего по курсу, которого мой приятель Ливенцов просто обожал. Не знаю почему, с ним я познакомился только по окончании курса в университете у Соколовых, к которым Ливенцов, уже будучи женихом, привел своего друга знакомиться. Кажется, перед этим он жил за границей. По крайней мере, Герье говорил мне, что если Шахов оттуда не вернется, то он мне поручит чтение истории западных литератур на основанных им Женских курсах. Потом с Шаховым стали встречаться, но не особенно часто, будучи оба очень заняты, я — приготовлением

к магистерству, он — преподаванием на курсах Герье и писанием диссертации pro venia legendi* о французской литературе в начале XIX века. Это был человек обаятельный и блестящий, хотя нагонявший на себя напускную резкость, а в мужской компании и цинизм. Рано схвативши чахотку, Шахов жег свечу своей жизни с обоих концов и умер в Москве в 1877 году, по возвращении из Парижа, где мы встречались. Когда мне пришлось со всякими предосторожностями (даже захвативши одного общего приятеля доктора) сказать Ливенцову о смерти Шахова, с ним сделался страшный припадок, после которого он тяжело проболел довольно долгое время. Во всяком случае, в лице Шахова, судя по тому, что он успел написать, русская наука понесла большую потерю.

Как-то и с другими молодыми учеными, бывшими оставленными при университете, я в свои студенческие годы не был знаком, отчасти потому, что они, как С. А. Муромцев, были в заграничных командировках, отчасти потому, что не было общих знакомых, как с В. А. Гольцевым.[63] Как и Шахов, они очень молодыми кончили курс в университете, но были моими ровесниками и в одно время со мною увлеклись позитивизмом, который потом и был почвою для сближения со всеми тремя названными лицами.

Круг моих, в частности, не университетских знакомых расширялся и потому, что я давал уроки во многих домах, завязывая связи с семьями учеников и учениц. Одно такое знакомство с семьей Кишкиных,[64] из которых вышли потом профессор-медик (Ник[олай] Сем[енович]) и врач и общественный деятель (Ник[олай] Мих[айлович]), было особенно прочным и многолетним. Меня ввела в нее моя ученица (Над[ежда] Сем[еновна]), сделавшаяся впоследствии приятельницей моей жены, ездившая с нами в Крым и за границу в сопровождении своих племянниц, гостившая у нас в деревне и в Петербурге, сделавшаяся крестной матерью нашей дочери и проч. и проч. Я там, в этой семье, был принят как родной.

С московской родней моего отца после смерти бабушки, а за нею и тети Вари, я почти не видался, а поддерживал родственные отношения с одним свойственником — братом жены моего дяди Петра Осиповича. Его звали Ив[ан] Вас[ильевич] Кащенко, служил он в Опекунском совете, был человеком очень хорошим, относившимся ко мне с большим интересом и участием еще в гимназические мои годы. По летам он приезжал в Смоленскую губернию к сестре, старшего сына которой, будущего двукратно товарищем министра, взял на воспитание к себе, а к концу жизни и совсем переселился в наши края. И я забегал к нему, и он ко мне, но почти каждый раз для

* Специальное сочинение, которое дает написавшему право читать лекции в университете (лат. — *В. З.*).

того, чтобы сцепиться в споре, принимавшем иногда очень острый характер с моей стороны. Я вообще в те годы был большим спорщиком, от чего отделался только с летами, и в споре был довольно резок, и как мне было утерпеть, чтобы не сказать что-либо лишнее, когда этот мой собеседник был поклонником «Московских Ведомостей» и восхвалял толстовский классицизм, мною, наоборот, всячески поносившийся. Крайняя противоположность взглядов не портила наших человеческих отношений, потому что большой нетерпимости к чужим мнениям у меня все-таки не было.

В студенческие годы я был очень общительным, отдавая друзьям, товарищам, знакомым много времени, часть которого уходила и на давание уроков, но потерянное для занятий время я наверстывал ночною работою, расстраивавшей мои нервы. Переутомление было, несомненно, тем более, что и три летних месяца, проводившиеся мною в Аносове, целиком посвящались чтению и конспектированию книг, продолжавшемуся большей частью до восхода солнца. Я отказывался от самых выгодных летних уроков, чтобы проводить лето на свободе и с родителями, хотя они зимою и приезжали ко мне на месяц, а мать и чаще.

Я очень много читал по самым различным предметам, т. е. очень разбрасывался, гнался за расширением своих знаний в ущерб их углублению, начинал и не кончал, сам чувствовал весь вред этого, но ничего не мог поделать против своего влечения к тому, что в данный момент меня интересовало. Читая что-нибудь, я обыкновенно конспектировал читаемое, накапливал этим известный материал. Только на четвертом курсе у меня наметилась определенная тема занятий — французские крестьяне, общий, компилятивный, конечно, очерк истории которых представил осенью 1873 года Герье как кандидатское сочинение, задумав тогда же для магистерской диссертации взять тех крестьян в эпоху революции. Готовясь к магистерскому экзамену, я примечал все, что только может пригодиться для этой темы, вместе с тем перерабатывая постепенно написанную мною работу, которую позднее (1881) я издал отдельной книжкой.[65] В студенческие же годы стало понемногу мое внимание сосредоточиваться на вопросах первобытной культуры, социологии и философии истории, и начал у меня накапливаться материал для докторской диссертации, вышедшей в свет через десять лет после окончания курса в университете.[66] Маленькие подготовительные этюды к ней печатались мною в журнале «Знание», бывшем, вместе с «Отечественными записками», органами позитивизма и социологии в России. Я штудировал не только антропологические труды Дарвина[67] и Вайнца,[68] равно как книгу Тэйлора[69] и Лёббока,[70] но и работы П. Л. Лаврова (начиная с «Исторических писем»), Н. К. Михайловского,[71] В. В. Лесевича[72] и С. Н. Южакова,[73] приучив-

шие меня относиться критически к модным иностранным теориям. Из истории я знал меньше, чем мог бы и должен был знать, если бы так не разбрасывался. Это я не мог не почувствовать, когда самому пришлось преподавать историю в гимназии, тем более, что в университетском преподавании были большие «лакуны». Например, у нас не были пройдены ни греческая история с македонского периода, ни вся римская до последних двух веков Западной империи.

Мне было двадцать два с половиною года, когда я окончил курс в университете, был при нем оставлен для приготовления к профессорскому званию и сделался учителем истории в гимназии. То и другое было для меня неожиданностью.

Я уже говорил, что предложение остаться при университете сделал мне Герье. Я с ним познакомился осенью 1870 года, явившись на его приглашение студентам приходить к нему в какой-то день. Как-то все у меня выходило с ним невпопад. Он только что прожил долго в Германии, был настроен в духе тогдашних национал-либералов и очень сочувствовал объединению Германии, а потому стоял на ее стороне во время войны 1870 года, а я стал говорить ему о своем сочувствии французам, вызвав целую лекцию по истории борьбы на берегах Рейна. Я еще не знал, что Герье очень отрицательно отнесся в печати к Боклю и, как нарочно, заявил о своем восторге перед ним, и был как бы облит холодной водой, когда и тут попал впросак. Политическое миросозерцание его и мое было весьма вообще различным, его — консервативным, а во мне был юношеский радикализм, хотя его в разговорах с Герье и не проявлял во всей полноте. То же было и по отношению к философии, в которой он был последователем немецкого идеализма, а я был за англо-французский позитивизм. К тому же характер у Вл[адимира] Ив[ановича] был трудный, а я, признаюсь, не всегда был тактичен в сношениях с ним и знал стороной, что он бывал этим недоволен. Не всегда в его семинарии я решался вступать в прения, нередко не чувствуя себя достаточно сильным в том или другом вопросе, а ему это казалось равнодушием с моей стороны к занятиям. Сознаю теперь и еще одну вину: в семинарии я позволял себе закуривать сигару без разрешения. Тем не менее я был оставлен при университете именно Герье. Да и впоследствии не все было гладко в наших отношениях: Герье устроил у себя на дому собрания, на которых появились курсистски, большей частью аристократические, приезжавшие с ливрейными лакеями, а мы, молодежь, выступали перед ними с рефератами и прениями. Я, например, читал о социальной динамике Конта, которую уже тогда критиковали (за что меня не одобрил присутствовавший здесь Гольцев). После реферата В. Н. Пирогова, державшего в Москве магистерский экзамен, — а реферат был о жирондистах, — были прения, в которых приняли участие Фортунатов, Шахов

и еще кто-то, но я молчал, бывши еще недостаточно знакомый с предметом и боясь проврاться, но у меня все-таки было одно замечание, которое я вздумал сообщить Герье, когда уже все разошлись. И вот тут от своего учителя я выслушал такой реприманд: «Мне совсем не интересно ваше мнение; вы должны были говорить при всех, чтобы показать себя как занимающегося молодого человека». Меня это донельзя оскорбило. На другой день я отправился к Герье и обидчиво сказал ему, что если в число моих обязанностей входит показывать себя барышням, что я занимающийся молодой человек, то я отказываюсь от своего звания и предоставляю ему, без какого бы то ни было протеста, доложить факультету, что он, Вл[адимир] Ив[анович], во мне ошибся, как в занимающемся молодом человеке. Герье стал тогда меня упрекать в излишнем самолюбии, уверяя меня, что я истолковал его слова не так, как следует, просил меня взять свое заявление назад и т. п., чем инцидент и был исчерпан.

В выборе мною вопросов для экзаменов он был, однако, уступчив и не очень настаивал на том, чтобы я занялся либеральным католицизмом в Германии XVIII века и чтобы ехал не во Францию, [а] в Германию. Мой магистерский экзамен, кажется, произвел на него благоприятное впечатление: иначе он, уже по возвращении из-за границы, хотя и до предоставления диссертации, не предложил бы меня факультету в сторонние преподаватели для чтения мною курса по истории XIX века. Но в диссертации он остался недоволен тем, что для него пахло социализмом, тем более, что в одном месте, без особенной нужды, правда, я обмолвился несочувствием к его, Герье, и Чичерина книжке против кн. Васильчикова по вопросу об общинном землевладении.[74] На диспуте он был со мной так резок, что я не счел возможным более к нему идти, и мы не виделись после этого года четыре. Когда у меня была готова докторская диссертация о философии истории, которую я хотел защитить непременно в Москве, я написал Герье совершенно официальным тоном письмо с вопросом, считает ли он возможною для диссертации такую тему, и получил от него очень сердечное, дружеское письмо с заявлением о живейшей радости, доставленной ему моим обращением к нему. Мир был восстановлен. Мы потом видались и в Москве, и в Петербурге, посылали друг другу свои книги; я пригласил его быть сотрудником в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона, в котором редактировал исторический отдел, и т. д.

По-моему, в студенческие мои годы Герье был полезным для студентов более других работавших профессоров, и [хотя] в чем-то я с ним не соглашался, его работы ценил и ценю. Он расположил меня к занятиям историей, научил, как следует работать. Для экзаменов он предоставил мне самому выбрать темы, хотя некоторые предложил и сам. Всех их было пятна-

дцать, по пяти из древней, средней и новой истории, с очень обширной научной литературой, причем большая часть их была по духовной культуре, меня тогда интересовавшей сильнее, нежели политическая, социальная и экономическая история. В последнюю я стал углубляться только работая над магистерской диссертацией.

Глава шестая

ГОДЫ МОЕГО УЧИТЕЛЬСТВА В ГИМНАЗИИ

Поступление на место учителя истории в 3-ю московскую гимназию. — Мои отношения к ученикам и вообще к младшему поколению молодежи. — Гимназическая реформа 1870 года. — Общий дух ее проведения на практике. — Приготовление к магистерскому экзамену и самый экзамен. — Мой магистерский диспут. — Начало моего преподавания в высшей школе. — Сближение с академической средой. — Молодой профессорский кружок семидесятых годов. — Московские журфиксы. — Кратковременное преподавание в Женской классической гимназии.

Как неожиданно было для меня оставление при университете, так неожиданно было и поступление на учительскую должность в 3-ю гимназию.

Лето 1873 года я провел в Аносове, работая над кандидатским сочинением. В это лето приезжал ко мне и прогостил у меня недели две Вл. Соловьев, выдержавший экстерном кандидатский экзамен с нашим курсом и сообщивший мне о своем намерении поступить в Духовную академию. Он знал, как я продолжал относиться к богословию, но знал также, что я не позволю себе чем-либо оскорбить его религиозное настроение. Окончив работу, я съездил на короткое время в деревню к Соколову, по возвращении оттуда в начале августа нашел у себя письмо от окружного инспектора Як[ова] Игн[атьевича] Вайнберга — двоюродного брата Петра Исаевича,[1] старого литератора еще 60-х годов, с вопросом, не согласился ли бы я взять на себя какую-то должность. С Вайнбергом я был знаком, так как он был женат на одной из племянниц моей Екатерины Антоновны, с другой племянницей которой, Соф[ьей] Ник[олаевной], по мужу — Фишер, основательницей Женской классической гимназии, я был знаком еще гимназистом. Я подумал, что будет для меня удобнее и выгоднее, бегать ли по частным урокам, обучая отдельных лиц, или преподавать в школе,

имея дело со многими учениками и действуя уже на общественном поприще. Я выбрал второе и ответил Вайнбергу согласием, взяв место, и после того отказывался от частных уроков, желая сосредоточить все свое время на приготовлении к магистерскому экзамену, который я держал в 1876 году, получив от Н. А. Попова по русской истории четыре вопроса, да от А. И. Чупрова[2] указание на курсы политической экономии и ее истории.

Учительствовал я в 3-й гимназии четыре года подряд (1873—1877), да еще год после возвращения из заграничной командировки (1878—1879). Все эти годы прошли в усиленных занятиях историей, в приготовлении к магистерскому экзамену и его держанию, в собирании материала для диссертации, ее писании и, под конец, печатании, равно как в выработке и чтении первого моего университетского курса. Я уже менее отвлекался от научной работы посещением знакомых и развлечениями, хотя круг моих знакомств и расширялся, захватив и часть московской педагогической среды. Сделанного мне вскоре предложения прочесть курс новой истории на Лубянских Женских курсах я не принял, чувствуя наиболее слабою свою подготовку как раз в этом предмете и только позднее согласившись прочесть несколько лекций о преподавании истории[3] на курсах Общества гувернанток.

Хотя учительство для меня было как бы только временным и побочным занятием, я все-таки им не тяготился, потому что всегда любил кого-нибудь обучать. Конечно, я делал ошибки, на которые раза два-три и указывал мне очень тактично директор Вяч[еслав] Ил. Малиновский, человек умный, достаточно образованный и благожелательный, несмотря на свой суровый вид и некоторый формализм. Ученики были мною довольны, хотя я был очень требователен, да и я был доволен ими; я старался сделать историю для них интересной, они както считали за честь иметь хорошие отметки по этому предмету. Ну, значит, и начальство было тоже довольно и даже само предложило мне месячный отпуск, когда я держал магистерский экзамен, и даже согласилось после этого сохранить мое учительское место за мной на время моей командировки за границу. Следуя примерам Белявского и Перетятковича, я иногда приглашал к себе лучших учеников старших классов, но особенного ничего из этого не вышло. Чаще других у меня бывал А. Ник[олаевич] Филиппов, бывший впоследствии профессором истории русского права в Дерпте и Москве, но позднее связи со мной не поддерживавший.

Пробовал я пропагандировать между своими юными гостями позитивизм и однажды вкратце изложил им основные идеи Конта, но один юноша, искавший, конечно, в философии указаний на должное, выразил свое разочарование в виде вопроса: «А что из этого извлекается для жизни?» Вопрос для меня

был непредвиденным и поставил меня в затруднительное положение. Я был чистейшим интеллектуалом, ставившим на первый план вопросы теоретического знания, и готов был мерить своих учеников своей личной меркой, а потому мало принимавший в расчет, что у других людей преобладающими их интересами были другие, более практические, нравственного или общественного содержания. На этой почве возникали на первых порах и кое-какие недоразумения и со стороны учеников. Один юноша, чуя во мне «либерала», не то что другие учителя, на заданную мною историческую тему подал мне сочинение с резкими антирелигиозными и радикальными политическими заявлениями. Прочитавши тетрадку, я тотчас же позвал его к себе и сделал ему внушение на тему не только о неуместности и опасности для него самого такой выходки, попадись такое сочинение в ненадлежащие руки, но и внутренней пошлости хлесткого фразерства. Эту рукопись я при нем же разорвал, дабы он с ней где-нибудь не попался, и велел написать новое сочинение. Помню тоже, как мне пришлось убеждать одного прекрасно учившегося мальчугана лет 15 не бросать гимназию из-за того, что наука буржуазна и что нужно идти в народ. Я ему доказывал, что и в народ-то идти можно только вооруженным знаниями, но он был упорен. Пробовал его уговаривать, безуспешно, однако, и директор. Это было как раз в год, когда некоторые гимназисты и реалисты, отчасти и лично мне известные, пошли в революцию, о чем много написано в воспоминаниях Ник[олая] Ал[ександровича] Морозова.[4]

Кроме моих учеников, бывали у меня и другие гимназисты: младший брат Соколова, впоследствии известный детский врач, и его товарищи по первой гимназии, из которых назову Н. Н. Баженова, в будущем видного психиатра, и М. С. Корелина,[5] сделавшегося профессором всеобщей истории в Московском университете в девяностых годах. Вся эта компания увеличила собою завсегдатаев журфиксов у Соколовых, а потом у Ливенцовых, где я также бывал. С Баженовым, с которым я впоследствии поддерживал связи, я часто препирался, оспаривая материализм как метафизическую гипотезу, а с Корелиным у меня завязалась тесная дружба, не прекращавшаяся до самой его преждевременной смерти. Свои воспоминания о нем и его характеристику я напечатал в «Русской Мысли» за 1900 год и дал перепечатать в приложении ко второму изданию его «Раннего итальянского гуманизма». Корелин побывал у меня в Аносове, а, приезжая в Москву, я постоянно посещал его и каждое лето гащивал у него на дачах под Москвой, сдружился впоследствии с его женой, Над[еждой] Петр[овной], урожденной Александровой, один из братьев которой совсем еще мальчиком за политику был сослан в Сибирь. Н. А. Морозов вспоминает Корелина как постоянного своего оппонента в спорах, происходивших в кружках гимназистов.

Чтобы идти в революцию, нужно было иметь веру в ее успешность и немедленную спасительность и, главное, — боевой темперамент, которого у Корелина не было, хотя он в теории и разделял радикальные идеи как религиозного, так и политического содержания. Как историк, Корелин, впрочем, наиболее интересовался духовной культурой, в том числе искусством и религией, не будучи сам верующим человеком.

За время моего студенчества, в 1870 году, произошла толстовская гимназическая реформа, введшая в России строжайший классицизм с латинским языком с первого курса, с греческим — с третьего, с преобладанием этих предметов над всеми остальными, кроме математики, и с полным изгнанием естествознания из числа преподаваемых предметов, с призывом учителей из Австрии (чехов и галичан), с удлинением на год времени учения, письменными испытаниями зрелости, для которых темы по древним и по русскому языкам и по всем четырем отделам математики присылались попечителем учебного округа в запечатанных конвертах и т. п. Было реформировано и преподавание истории, и явились новые учебники, найденные мною уже в ходу. Один из них, учебник Беллярминова[6] для младших классов даже сделался притчей во языцех. Например, Французская революция в нем была передана в трех-четырех строках: безбожные-де французы, развращенные ложными учениями, возмутились против своего благодушного короля и низложили его, после чего чуть не тотчас же явился Наполеон, с полным умолчанием о казни Людовика XVI.

Я нашел нужным переменить учебники, но сразу этого сделать было нельзя. Потом я переменил. Конечно, о Вебере, внушившем мне отвращение к истории в гимназии, я и не подумал, но когда в педагогическом совете предложил прекрасный учебник Шульгина,[7] по справке оказалось, что он не был разрешен ученым комитетом и чуть ли не запрещен особым циркуляром. Пришлось взять Иловайского,[8] в то время начавшего царить в школах. Тогда мне в голову и пришла впервые мысль о написании своего учебника, осуществленная только четверть века спустя. Прелестна в своем роде была и официальная объяснительная записка к программам истории, рекомендовавшая, например, не останавливаться на мрачных сторонах отечественной истории.

Самыми ревностными блюстителями министерских предписаний были выписанные из-за границы славянские братушки, плохо знавшие русский язык. В 3-й гимназии их было двое, из которых один был очень добродушен, а другой — настоящий человек в футляре. Когда директор, отличный латинист, сам преподававший в старших классах, заявил в заседании педагогического совета, что колеблется в выборе отрывков из Тита Ливия для чтения с учениками между борьбой патрициев и плебеев и пуническими войнами, я высказался за первую тему,

но сердитый угрорус Ходобай возразил мне: «Разве вы хотите поделать всех наших учеников Долгушиными?»[9] Долгушин был, как известно, один из инициаторов хождения в народ, приговоренный к каторжным работам за революционную пропаганду. Мой оппонент был близок к Катковскому Лицею,[10] вследствие чего, может быть, его мнение и восторжествовало, но, в общем, среди моих товарищей по преподаванию, как среди стариков, так и между молодыми, царил все-таки дух порядочности.

Неприятным и полицейски настроенным был только инспектор и еще один, наоборот, очень обходительный преподаватель, выжитый директором из гимназии за крайнюю неаккуратность в ее посещении, много времени спустя [он] снискал славу в должности чиновника особых поручений при генерал-губернаторе. О нем говорили уже во время отправления этой должности, будто бы он, переодетый трактирным слугой («половым», по тогдашней терминологии), прислуживал иногда в отдельных кабинетах ресторанов. Хотелось бы думать, что последнее было сплетней, хотя сам я видел этого бывшего своего коллегу в полицейской роли. Приехал я как-то из Петербурга в Москву прочесть публичную лекцию, на которой он ex officio* присутствовал в вицмундире рядом с другим подобным же господином. Оба они посидели с четверть часика, увидели, что лекция читается на очень отвлеченную тему, и оба сразу же исчезли со своих мест в первом ряду.

Сделавшись учителем, я поселился на отдельной квартире рядом с гимназией, а потом даже в здании гимназии, где отдавались квартиры за дешевую плату и проживало там двое-трое учителей. Моя квартирка была крохотной, а потому для семейных неподходящей. В ней я успешно работал для магистерского экзамена, в ней дописывал и печатал первую свою диссертацию. Но привычка брала свое. Еще с гимназических времен я привык весной гулять на Пречистенском бульваре, где вообще всегда была большая публика, масса знакомых и куда собирались жившие большей частью поблизости мои приятели. Завсегдатаями бульвара были особенно Назимов, Соколов, Ливенцов, Карицкий из старших, а из младших — Корелин и проч. и проч. Как ни много я работал, весенние вечера любил проводить на воздухе. В середине семидесятых годов компанией мы заходили выпить по стакану чаю к молодоженам Ливенцовым.

Чем ближе подходил срок магистерского экзамена, тем более я относился к нему неспокойно. До меня у Герье держали экзамен оставленные им при университете Высоцкий и Фортунатов. Об экзамене первого Герье говорил довольно прене-

* От имени или по поручению власти, правительства; официально (лат. — *В. З.*).

брежительно, что меня несколько тревожило (как бы самому не сплоховать!). Незадолго до моего экзамена магистрировался по всеобщей истории еще В. Н. Пирогов, сын знаменитого Николая Ивановича, доктора, кажется, Берлинского университета, степень которого приравнивалась у нас к кандидатству. Я просил Пирогова, жившего близко от меня, прямо с экзамена зайти ко мне и под свежим впечатлением рассказать, как экзаменует Герье, на студенческих экзаменах бывший не особенно приятным. Пирогов исполнил мою просьбу и передал мне, что Вл[адимир] Ив[анович] несколько раз во время его ответа морщился, но ничего не говорил. «Например, — рассказывал Пирогов, — он спросил меня, кого в Риме называли „homo novus", а я, разумеется, сказал, что новаторов, вроде Гракхов; тут он так неприятно осклабился, что даже смутил меня». Я посовестился объяснить доктору Берлинского университета как он непростительно проврался, и успокоился, раз на экзамене спрашивают такие элементарные вещи. Тем не менее нервничать я продолжал. Однажды легши спать, я стал припоминать, как назывались по-латыни французские города в средние века, и хотя никак не мог припомнить имени лишь одного Амьена, очень взволновался, а вдруг на экзамене я тоже все забуду. На деле экзамен оказался очень легким, почти даже какой-то формальностью, потому что Герье по каждому вопросу давал мне говорить самому минут по двадцать и ограничивался лишь двумя-тремя легкими вопросами. На экзамене по русской истории Нил Попов по живости своего характера больше сам говорил, чем давал говорить мне, а ласковейший Ал[ександр] Ив[анович] Чупров, экзаменовавший по политической экономии, очень расхваливал меня за изложение теории ренты Рикардо, хотя это был только недурной студенческий ответ. Только в душе остался неприятный осадок от того, что на какой-то второстепенный вопрос Иванцова-Платонова о Лютере я ответил совсем невпопад и страшно переконфузился.

Держал я экзамен на магистра через три года по окончании курса, а защищал диссертацию еще через три года, весною 1879 года, уже после поездки за границу. Оппонентами моими были Герье и Виноградов, бывший уже сторонним преподавателем, как и я. Публики собралось великое множество, встретили и проводили меня рукоплесканиями, но мой учитель, в роли главного оппонента, был очень немилостивен, что и мои реплики делались запальчивыми, конечно, отнюдь не смягчающими оппонента. Раза два-три мне аплодировали. Не отличавшийся вообще находчивостью Вл[адимир] Ив[анович] как-то по их поводу осклабился и громко сказал: «Александр Македонский — великий человек, но к чему же стулья ломать?» Со стороны выступил Макс[им] Макс[имович] Ковалевский,[11] тогда молодой доцент. Он точно в пику Герье стал неумеренно расхваливать диссертацию и тем вызвал новые рукоплес-

кания публики. Он, впрочем, упрекнул меня, что по одному частному вопросу я не знал целой литературы, подтверждавшей мой взгляд. Дня через два я попросил у него указать эту литературу, но всего-то оказалось две небольшие статейки. Целая литература! Я впоследствии, лет через тридцать, припомнил Максиму Максимовичу эту со мной его проделку на обеде, после одного диспута в Петербурге, и он первый хохотал по поводу этого рассказа. Виноградов отделался на диспуте только несколькими бледными замечаниями. Вся деловая сторона диспута была изложена в «Критическом Обозрении»,[12] издававшемся Ковалевским и Всеволодом Миллером.

Ковалевский взял у меня экземпляр моей диссертации как посвященной социальной стороне французской революции и послал ее Карлу Марксу, с которым был знаком. От знаменитого экономиста, уже читавшего по-русски, пришло письмо на английском языке с весьма сочувственным отзывом, перевод которого у меня сохранился.[13] К сожалению, подлинник был уничтожен самим Ковалевским, у которого он остался и который боялся обыска. В числе авторов, писавших о моей книге, был П. Л. Лавров в «Деле»,[14] статья его перепечатана в «Собрании сочинений». Еще одна мелкая подробность: я думал озаглавить свою книгу «Французская революция и крестьянский вопрос», но опытные люди посоветовали мне в заголовке о революции не упоминать, дабы книга легче прошла в цензуре, так что «революцию» я заменил «последней четвертью XVIII века». Помню еще вопрос мне В. О. Ключевского после прочтения им книги: «А вы не боитесь, что вас обвинят в социализме?»

Я очень любил бывать на диспутах, а впоследствии бывал и на обычных в Москве обедах после диспутов, но сам обеда не устраивал, потому что это было очень дорого, денег же у меня не было, а занимать — я и так был в долгу, заняв несколько сот рублей для напечатания книги, так как от университета на это получил мизерно мало. Я даже был рад, что не было обеда после того, что вышло у меня с Герье на диспуте, хотя, быть может, и преувеличивал значение происходящего. Услужливые люди передавали мне, что и Герье был раздражен. Я чувствовал, что в Московском университете мне после этого не остаться. В сторонние преподаватели приглашен был только на год. Я и думать не мог, чтобы Герье пригласил меня на доцентуру. Впрочем, кто знает, что было бы, если бы я сам резким образом не прервал своих отношений с Герье.

А между тем по его инициативе я уже целый год преподавал в университете, тотчас по возвращении из-за границы. Самый предмет курса был назначен Герье — история XIX века. Программу его я выработал еще в Париже не без советов П. Л. Лаврова. Впоследствии по этой программе, конечно, измененной, я составил IV том своей «Истории Западной Евро-

пы». В программе был отдел о социализме, послушать который попросил у меня позволения Вл[адимир] Ив[анович]. Мне передавали, что он был недоволен моим общим рассуждением о разделении социализма на утопический и научный. Слушателей у меня было довольно много, в их числе мой приятель Корелин, тогда еще студент, его близкий товарищ Р. Ю. Виппер,[15] будущий его преемник по московской кафедре, с которым я был хорошо знаком до конца XIX века, В. Е. Якушкин,[16] впоследствии историк литературы, достигший некоторой известности.

Вступление мое в число преподавателей университета еще более, чем оставление при университете, сблизило меня с академической средой, в которой я приобрел множество знакомых, встречаясь в профессорской комнате, на журфиксах, на обедах (например, после диспута Ковалевского на банкете в честь И. С. Тургенева в 1879 году) и т. д. Еще раньше в качестве преподавателя гимназии я участвовал в комитете, подготовляющем 25-летие «Истории России» С. М. Соловьева. Мы ходатайствовали о выбитии в честь его золотой медали, модель которой была изготовлена известным художником В. О. Шервудом, но на Соловьева начальство тогда дулось, медаль не была разрешена, юбилей не состоялся, хотя частным образом мы и поднесли юбиляру адрес с художественной крышкой с шервудовским медальоном посередине. Коротко всю эту историю я рассказал уже в нашем столетии в «Русском библиофиле»,[17] дав воспроизвести и фотографию с папки.

Весьма естественно, что из ученого мира я больше всего сошелся с тогдашней молодежью, центром которой в конце семидесятых годов сделался Максим Ковалевский. В 1876 году я поместил в «Знании» рецензию на его книгу о распадении поземельной общины в кантоне Ваадт,[18] а в 1877 году, приехавши в Москву держать магистерский экзамен, он пришел ко мне с Перетятковичем «знакомиться со своим критиком». Мы были потом близко знакомы в течение почти сорока лет, встречаясь и в Москве, и в Париже, и в Петербурге, будучи в последнем товарищами и по университету, и по Политехническому, и Психоневрологическому институтам, и по I Государственной думе, и по редактированию нового издания «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона. После смерти Ковалевского я написал о нем статьи и в «Праве»,[19] и в «Вестнике Европы»,[20] и в специально посвященном его памяти сборнике.[12] Интимной дружбы между нами, однако, не было, я даже любил его, довольно-таки избалованного поклонением и даже лестью, несколько подразнить, к чему он относился, впрочем, добродушно,— но отношения наши были приятельские. Живой, веселый, добродушный, любезный, он был очень привлекателен, а большие средства давали ему возможность держать открытый дом, устраивать роскошные завтраки, обеды и ужины, тем более, что он сам любил покушать и запить

скушанное тонким вином, несмотря на свои болезни, — подагру и диабет, от которых часто лечился в Карлсбаде (и там я тоже бывал в одно время с ним). До конца своих дней Ковалевский оставался большим поклонником Конта, что тоже было в семидесятых годах обстоятельством, нас между собою сближавшим, как и то, что оба мы интересовались социологией, в некоторых же пунктах и исторические интересы наши совпадали. Эрудиция у него была громадная, но работа велась им нередко торопливо, даже небрежно. По возрасту он был несколькими месяцами моложе меня, но раньше приобрел положение в науке.

Кружок, собиравшийся у Ковалевского, был очень обширный и по специальностям участников весьма разнообразный. Были в нем люди и постарше, как Стороженко[22] и Ив[ан] Ив[анович] Иванюков,[23] с которым я случайно познакомился еще раньше и очень сдружился много позже в годы совместного профессорства в Политехническом институте, когда нам обоим шел шестой десяток. Были здесь и необычайно ласковый Чупров, и грубоватый И. И. Янжул,[24] которых я мысленно сравнивал, не совсем, впрочем, верно, с Маниловым и с Собакевичем, были В. А. Гольцев, С. А. Муромцев и т. д. С Сергеем Андреевичем я выпил однажды на брудершафт, и мы стали на *ты,* видаясь и в Москве, и в Варшаве, где он меня навещал проездом за границу, и в Петербурге, и в Париже, куда как-то одновременно попали на святках. В начале XX века мы были товарищами по партии в I Государственной думе, в которой Муромцев явился столь авторитетным и представительным председателем. В семидесятых годах нас сближали также позитивизм и социология. Муромцев, кроме того, оказал мне большую услугу, облегчив мне некоторой финансовой операцией печатание моей докторской диссертации, которую принял на склад при конторе редактировавшегося им «Юридического Вестника». Наконец, в этом издании по приглашению Муромцева я и участвовал в восьмидесятых годах.

В академическую среду я был принят благосклонно, хотя, быть может, и не всеми, но сам я как-то до своей диссертации не считал себя ровней остальным, чувствовал себя как бы младшим. Кроме «Юридического Вестника» я еще раньше пописывал в «Критическом Обозрении» Ковалевского и Миллера, моего прежнего знакомого по слушанию лекций о санскрите. Мои новые знакомые, составившие сплоченную компанию, были юристы или экономисты, что соответствовало моему новому научному интересу к социальной истории, развившемуся на тему о французском крестьянстве. Политическое их направление, более либеральное, чем у старой профессуры, конституционализм, дополненный социальным реформаторством, более соответствовал и моему общественному настроению, и моим политическим идеям, не бывшим, впрочем, особенно отчетливыми.

Известно, Муромцев и Ковалевский были в восьмидесятых годах изгнаны из Московского университета,— судьба, постигшая позже и меня.

Бывал я и на журфиксах Вл[адимир]а Ив[анович]а и Ав[дотьи] Ив[ановны] Герье, где встречал Ключевского, Корша, а также Н. П. Боголепова,[25] который здесь встречался со своей будущей женой, курсисткой княжной Ливен. Он только что сделался доцентом по кафедре римского права. Помню, шли мы раз вместе по Гагаринскому переулку от Герье и беседовали о происходивших тогда студенческих волнениях. Герье отозвался о них резко, что дало повод Боголепову сказать мне: «Неужели, Николай Иванович, так может говорить профессор, и неужели мы потом будем с вами так же думать?». Компания Ковалевского сумела произвести Боголепова в ректоры как наиболее умеренного из не их среды, но жестоко ошиблась: Боголепов сделался самым «законопослушным» ректором, а потом реакционным попечителем и министром. Вероятно, он забыл наш разговор, когда в 1899 году изгонял меня из Петербургского университета. В салоне Герье появлялись изредка и Гольцев, и Шахов, и Вл[адимир] Соловьев, и многие видные профессора физико-математического факультета. Ключевского и Шахова, бывших приятелями по старому частному учительству первого и ученичеству второго, она (Авдотья Ивановна. — *В. З.*) почему-то в шутку сравнивала с Робеспьером и Сен-Жюстом.

Московские журфиксы были одной из бытовых особенностей Белокаменной, мне очень нравившейся. Когда женились Ливенцов и много позже Корелин, я бывал и на их журфиксах. Приходилось бывать и у Нила Попова по целям славянского благотворительного Комитета, для которого я собирал деньги на герцоговинцев, сербов и болгар, пожертвовав им свою золотую медаль.

В 1879 году кончился московский период моей жизни, продолжавшийся около полутора десятка лет, из которых на время моей связи с университетом приходится целое десятилетие. В восьмидесятых и девяностых годах я очень часто посещал Москву, на святках, на страстной и святой неделях, проездом по ле́там, в деревню и из деревни, а в начале XX века уже реже.

Мне остается только упомянуть о том, что некоторое время перед отъездом за границу я преподавал в Женской классической гимназии С. Н. Фишер, племянницы моей наставницы Екатерины Антоновны. С Софьей Николаевной я познакомился еще будучи гимназистом, но вообще видался очень редко. Это была женщина умная, сама научилась классическим языкам, проявила большую энергию и организаторский талант, но, к сожалению, была ревностной* катковисткой в пе-

* В оригинале, видимо, ошибочно написано «равнодушной». — *В. З.*

дагогических вопросах. Один раз она зашла на мой урок и потом сказала мне, что я недостаточно благочестиво рассказывал о разделении церквей, не оттенил истины православия и заблуждений католицизма. Я возразил ей, что это не входит в задачу преподавателя истории, что это — дело законоучителя, но все-таки она осталась при своем мнении. На одном из школьных праздников Фишер был сам Михаил Никифорович (т. е. Катков). Побоявшись быть ему представленным, я держался подальше от его особы; но Софья Николаевна потом мне сказала, что и не подумала бы меня представлять из опасения, как бы я не сказал что-либо не в тон.

Глава седьмая

ПЕРВЫЕ ЗАГРАНИЧНЫЕ ПОЕЗДКИ И ВСТРЕЧИ

Первая поездка за границу. — Путешествие до Парижа. — Приезд в Париж. — Мои русские приятели в Париже. — Политическая жизнь Франции в 1877—1878 годах. — Французские знакомства. — Парижские ученые знаменитости. — Русские эмигранты. — Мое тогдашнее отношение к революции. — Экскурсии в Италию. — Вторая поездка в Париж. — Одно неудавшееся научное предприятие. — Третья поездка за границу.

Обычно заграничные командировки давались на два года, но я сам просил, чтобы меня отправили на год по многим мотивам: не хотелось расставаться надолго с родителями, хотелось сохранить за собою место в 3-й гимназии, а главное, я боялся соскучиться, как это случилось со старшим Фортунатовым,[1] который не выдержал в Париже даже трех месяцев и прикатил в Москву. Потом я очень и очень жалел об этом решении.

За почти пятнадцать лет жизни в Москве я никуда из нее не выезжал, кроме Смоленской губернии, так обсиделся в Москве, обжился, что меня никуда не тянуло. Жить за границей я решил в Париже, работать там над диссертацией, материал для которой уже отчасти у меня был подготовлен и в теме которой я успел уже достаточно ориентироваться. Перед Парижем я хотел, однако, прокатиться по интересным местам, составил себе маршрут, проштудировал соответственные путеводители Бедекара и пустился в путь. До Смоленска меня проводили отец и мать с заездом в Будаево к тете Маше, а в Смо-

ленске останавливались, чтобы там повидаться с моим двоюродным братом Алешей Кареевым, там служившим. Останавливался я и в Брест-Литовске, где Назимов был судебным следователем, побыл и в Варшаве, бывшей тогда местом пребывания моего приятеля Громеки. Славянские мои симпатии сказались в том, что первым заграничным городом на моем пути оказалась Прага, которую и впоследствии я неоднократно посещал, особенно в первые годы нынешнего столетия, когда собирал материал для глав об Австрии в конце XIX века и в начале этого века. Я не преминул посетить чешского ученого Патеру,[2] бывшего мне известным как русофил и познакомившего меня еще кое с кем из своих. Потом я побывал в Вене, проехал оттуда по Дунаю вверх до Линца, заехал в Мюнхен и пересек всю Швейцарию от Баденского до Женевского озера с остановками в Цюрихе, в Цуге, побывал на вершине Риги с ночевкою в Иннерлатернсе, куда попал через Брюнен на лошадях, в Верне, в Лозанне и в Женеве, откуда направился уже в Париж. Везде я осматривал всякие достопримечательности и, будучи в этом путешествии совсем один, делился своими впечатлениями в письмах отцу и матери, дав при отъезде слово писать как можно чаще. Новые места, незнакомая природа и люди, виденные мною памятники искусства производили на меня сильное впечатление, но больше всего — природа. Я не забыл до сих пор своего восторга, когда у австрийской границы, на заре летнего дня увидел вдали лиловую цепь Карпатских отрогов. Берега Дуная, по которым вверх пришлось ехать медленно, тоже мне необычайно понравились, потому что я не видел ничего подобного раньше. Особенно же меня поразили швейцарские горы и озера, зрелище солнечного восхода на вершине Риги, свечение Альп в Иннерлатернсе, вид на Женевское озеро из окна вагона после длинного туннеля перед Лозанной и многое другое. Через пять лет я проделал тот же маршрут по Швейцарии, но уже с женою, желая вспомнить первое путешествие и ее приобщить к своим восторгам.

Я уехал из России после того, как началась восточная война 1877—1878 года и лишь отрывочно знал из наскоро прочитывавшихся газет о том, что происходило на театре войны. Путешествие совсем меня захватило. В Париж я приехал на другой день после похорон Тьера[3] и очень жалел, что не попал на это грандиозное зрелище. Оставив свои вещи на Лионском вокзале, я пешком пошел на rue de Seine, где в какой-то семье Ливенцовы занимали большую комнату с балконом. Не застав их (как я все это хорошо помню!), я побродил по набережной Сены, потом пил у Ливенцовых чай, а на другой день, переночевав в отеле Корнейль, нашел себе комнату на углу бульваров Сен-Мишель и Сен-Жермен. В тот же день Ливенцовы показали мне наиболее красивые места центрального Парижа.

Весь год я прожил в обществе этих московских друзей. Ли-

венцов был очень доволен тем, что мы были в республике, хотя по тому времени в Мак-Магоновской.[4] Скоро к нам присоединился доцент Харьковского университета Конст[антин] Алексеевич Андреев, а несколько позже московский врач, впоследствии профессор медицинского факультета Вл[адимир] Карл[ович] Рот. Мы прекрасно сжились друг с другом, обедали вместе у Дюваля на бульваре Сен-Мишель, после обеда заходили в Люксембургский сад, иногда пили чай у Ливенцовых; вместе же мы ходили в театры и т. п. С Андреевым и Ротом я был потом в большой дружбе и навещал их, когда первый был профессором в Харькове, потом в Москве, а второй — прочно осевший тоже в Москве. Короткое время я в это пребывание виделся в Париже с Ковалевскими и с Шаховым, вскоре уехавшим на родину, чтобы умереть.

Достопримечательности Парижа я осматривал по праздникам, а по утрам в будни заглядывал в разные места Лувра на полчаса по дороге в Национальную библиотеку, где имел протекцию, по рекомендательному письму Бокова, у одного из библиотекарей Теста, бравшего на свое имя и дававшего мне книги на дом. Кроме библиотеки, я работал в Национальном архиве, где нашел массу важного для моей диссертации материала, остававшегося дотоле неиспользованным. Зимой, чтобы не сидеть в своей холодной комнате, я по вечерам занимался в библиотеке св. Женевьевы, около Пантеона. Я несказанно полюбил Париж, его красивые улицы, площади и сады, веселый нрав его оживленного и шумного населения, его библиотеки, музеи, театры, его кафе и рестораны, французскую кухню и красное вино. Полюбил я и его окрестности в сторону Медона и Севра, не говоря о Булонском лесе. Это было хорошее, очень хорошее время моей жизни. Полнейшая свобода в распоряжении своим временем, отсутствие внешних обязанностей, возможность всецело предаться работе над одним научным вопросом в обстановке отличных библиотек и архива, масса новых впечатлений, часы отдохновения в тесном кругу симпатичных людей — все это делало мою жизнь счастливой. Посещавшие меня прежде время от времени неврастенические припадки как рукой сняло раз и навсегда. Незадолго перед Парижем я бросил курить, что благотворно отразилось на моем физическом здоровье: в Париж я приехал не то, чтобы очень худым, но там я пополнел на прекрасном французском хлебе, так что потом пришлось даже спускать вес в Карлсбаде.

Большой интерес представляла собой и политическая жизнь Франции того времени. Маршал Мак-Магон, президент Республики, только что совершил свое «16 мая», вызвав этим на бой республиканскую партию, вождем которой был Гамбетта.[5] Я следил за начавшейся борьбой по газете Гамбетты «La République Française» (как за русско-турецкой войной по газете «Le Temps»), раза два проникал контрабандно с карточкой

избирателя на предвыборные собрания, видел, как граждане подавали голоса на осенних выборах, провел поздний вечер со своими русскими приятелями на Больших Бульварах, где объявлялись результаты выборов, кончившихся блестящей победой республиканцев. В этот же приезд или в другой, не помню, я побывал в Палате депутатов. Удалось мне попасть и на социалистический банкет, устроенный редакцией газеты «L'Egalité» в годовщину казни Людовика XVI, и наслушаться на нем революционных речей. Заинтересовала меня и Всемирная выставка 1878 года, и национальный праздник 14 июля этого года произвел грандиозное впечатление. Тоски по родине, которой боялся, я совсем не испытывал, но все-таки время от времени забегал в русскую читальню, находившуюся тогда около Одеона, чтобы просмотреть русские газеты и журналы. И случайных встреч с русскими было немало, но больше всего я их видел в кафе Суффле на бульваре Сен-Мишель, который посещался русскими эмигрантами и полуэмигрантами. Вообще, жизнь была наполнена так, что скучать было некогда, тосковать по родине не приходилось.

Французских знакомств у меня было мало. Посетил я уже упоминавшегося библиотекаря Теста, сын которого, тоже служивший в Национальной библиотеке, тогда раза три-четыре приходил ко мне, чтобы научиться у меня русской грамоте, бывшей ему нужной для умения разбираться в заглавиях русских книг. Но это были люди неинтересные. В своем кафе я познакомился еще с маленьким литератором, Виктором Дерели,[6] самоучкой, выучившимся по-русски, переводившим тогда названия кушанья «boeuf-nature» как «бык-природа», но уже переводившим русские романы на французский язык, и очень притом недурно. По моему совету, он переводил «Преступление и наказание» Достоевского, прислав мне свой перевод через год в Москву, а я послал ему свою диссертацию, о которой он поместил заметку в журнале Литре и Вырубова «La Philosophie Positive». Дерели мне часто впоследствии писал о своих переводах; письма его (на французском языке) я отдал в архив С. А. Венгерова. Получил я от него одно письмо и по-русски. Начиналось оно словами: «Многоуважаемый государь», а кончалось так: «Когда к вам будет приходить это письмо, вокруг нас будет раздаваться: с новым годом, с новым счастьем! Остаюсь к вам неизменно благосклонный В. Дорелли».

В том же кафе я встречался с редактором «L'Egalité» Лабюскьером, через которого проникал в предвыборные собрания и попал на банкет 21 января. В начале XX века я прочитал одну его работу, вошедшую в состав «Социалистической истории» Жореса. Заглянул я разок к Бонмеру, автору одной из общих историй французских крестьян, выходивших в пятидесятых годах. Он оказался совсем отставшим в этом вопросе, даже многое забывшим. Как-то во время возвращения из Вер-

саля я познакомился с одним старым ремесленником Шовеном, жившим под Парижем. Я ему понравился, он взял мой адрес, посетил меня и пригласил к себе обедать, после чего я и еще заглядывал к нему. В его доме на его семье я мог наблюдать жизнь мелкого буржуа. Шовен очень сочувствовал Коммуне, ненавидел деревенщину и удивлялся, как я мог ею интересоваться.

Ни к каким знаменитостям я не совался, как это делали наши путешествующие соотечественники былых времен, но тем не менее был знаком со стариком Виктором Консидераном,[7] обедавшим в одном ресторане со мной, заходившим в мое излюбленное кафе и бывавшим на лекциях Фюстель де Куланжа.[8] Об этом почтенном старике (ему было за семьдесят), игравшем такую роль в истории фурьеризма (его имя я запомнил еще гимназистом из романа Чернышевского), я уже написал несколько страниц, бывших напечатанными в «Голосе Минувшего».

К Фюстель де Куланжу, бывшему, конечно, хорошо мне известным по его «L'Etat antique», свел меня М. М. Ковалевский. Он отнесся ко мне очень любезно, но показался мне вообще несколько суховатым в обращении, напомнив в этом отношении Герье. Фюстель де Куланж заинтересовался моей темой и предостерегал меня от всяких «généralités»,* рекомендуя все основывать только на текстах источников, что, кажется, я и сделал в своей диссертации. Я сообщил ему кое-что из своих взглядов, которые он нашел интересными. По его же предложению впоследствии я составил краткое résumé моей работы на французском языке, взявши в основу заключительную главу книги, и Фюстель де Куланж представил посланный ему экземпляр книги в Академию нравственных и политических наук с коротким своим докладом на основании моего résumé.[9]

Свою любезность Фюстель де Куланж простер до того, что прислал мне номер «Journal Officiel» и экземпляр отчетов академических заседаний, говоривших о его докладе. Его же любезности я был обязан тем, что раза четыре мог быть на уроках истории в Лицее св. Людовика, к директору («провизору») которого он дал мне рекомендательное письмо, и что один раз присутствовал на практических занятиях историей (семинарии, по-нашему) в Высшей нормальной школе, готовящей профессоров, где сам Фюстель де Куланж был потом директором. Один из лицейских преподавателей, с которым я познакомился, по имени Газье, впоследствии — университетский профессор, оказался родственником знаменитого аббата Грегуара,[10] деятеля Великой Революции, и обладателем его архива, в котором для моей работы позволил даже немного порыться. Я прослушал

---

* Общее место (франц. — *В. З.*).

несколько лекций Фюстель де Куланжа о собственности в Спарте, а когда была им об этом напечатана статья, он мне ее подарил с любезной надписью.

Помню еще один эпизод. На лекциях Фюстель де Куланжа я познакомился с одной русской девицей, усердно за ним записывавшей и бывшей в него, как в профессора, влюбленной. Живя в Париже, она ни разу не была в Лувре, а все время сидела в Национальной библиотеке, подыскивая, без знания языка, греческие тексты, на которые ссылался Фюстель де Куланж, и французские к ним переводы. Услышав о моем знакомстве с обожаемым профессором, она попросила меня, чтобы я исходатайствовал у него разрешение ей издать свои записки. Последовало согласие, Фюстель де Куланж просмотрел рукопись, которую девица сама ему доставила, причем, по ее просьбе, я ее сопровождал. Ее работа оказалась, однако, ниже всякой критики по непониманию многих вещей и по плохому французскому языку. Всячески смягчая отзыв Фюстель де Куланжа, я передал его сущность несчастной, оказавшейся форменной психопаткой,— на другой же день, огорченная, она уехала на родину, так-таки и не повидав художественных сокровищ Парижа.

На лекции в Сорбонну и в Коллеж де Франс я заходил лишь изредка, чтобы посмотреть на ту или другую знаменитость, вроде Ренана. Был, между прочим, на одной лекции маститого Альфреда Мори. Он был тогда директором Национального архива, но мне дела с ним иметь не пришлось. Когда я, по архивным правилам, послал свою диссертацию в библиотеку этого учреждения, то каково было мое удивление, когда в трех выпусках «Journal des Savants» за подписью Мори появилось изложение моей книги. В другой приезд в Париж я посетил его автора, очень милого старика, оказавшегося знающим по-русски. Он рассказал мне, что учился еще у известного Мериме, а на вопрос его, правильно ли он меня изложил, я ответил, что только в одном месте он меня не понял. У меня было сказано, что были писатели, не смотревшие глазами крестьян, в переводе же стояло: «...которые видели крестьян собственными глазами». Добродушный Мори долго хохотал.

Был я еще слегка знаком из профессорского мира с Луи Леже, славянистом и славянолюбцем, уже побывавшим в Москве. Он преподавал русский язык в Высшей школе живых восточных языков, к которым французы причислили и наш. Леже просил меня как-нибудь зайти на его лекцию, чтобы показать учащимся настоящее русское произношение. Раза два-три, возвращаясь из Национальной библиотеки домой, я побывал в названной школе и учил, как произносить твердое «л», вспомнив по физиологии звуков соответственный схематический чертеж, который и воспроизвел на доске, не сумев, однако, сделать то же самое со звуком «х». Было много смеха, когда ученики Леже пытались произнести написанное на доске слово «хлыщ». В сле-

дующие приезды в Париж я приобретал новые и новые знакомства, особенно на международных социологических конгрессах, из которых я побывал на двух.

В Париже в это время было много русских эмигрантов, большей частью молодежи, а также учащихся, не намеревавшихся возвратиться на родину. С некоторыми из них я встречался и разговаривал в кафе Суффле, где они околачивались. Эмигрантская молодежь делилась на лавристов (название «лавристы» я что-то не помню) и ткачевцев, враждовавших между собою. Изредка появлялся среди последних сам Ткачев, но он тогда сильно предавался «абсентизму», т. е., попросту говоря, пил абсент, был всегда под хмельком, вечно окруженный поклонниками, так что охоты знакомиться с ним у меня не было. Только один раз я встретился с ним у одной российской баронессы, к которой меня затащил знакомый мой гимназических еще времен, тогда домашний учитель и поклонник Ткачева. С последним я возвращался в Латинский квартал, но по дороге его покинул, потому что чуть не у каждого кабачка по дороге он предлагал остановиться, чтобы посидеть и что-либо выпить.

Среди поклонников Ткачева было изрядное количество кавказцев, часто очень малокультурных. Помню, возвращался я однажды на империале омнибуса с упомянутого банкета 21 января, а сзади, спиною ко мне, сидели сильно выпивший грузин в белом башлыке с золотым галунчиком и армянин в барашковой шапке. Первый стал объяснять сидевшим двум молодым женщинам, что вот он — благородный грузин, а это армянин, что армяне — рабы, что если дамы только пожелают, он сейчас заколет его кинжалом. Я видел, как обе женщины переполошились и собрались было уходить, когда я схватил озорника сзади за его башлык и строго крикнул ему: «Не безобразничать!». Он тотчас же присмирел.

Не все, конечно, были такими и не все, как эти, били баклуши, чуть не днюя и ночуя в кофейнях. Особенно врезался в мою память один, с которым я познакомился ближе. Почтальон по ошибке занес ко мне его письмо из России в другой дом (где жил мой будущий знакомец), а тот принес его ко мне, объяснив, что видел меня в библиотеке, узнал там мое имя от Ковалевского, для которого делал какие-то выписки из книг,— и случайно заметил, в какой дом я вошел.

Тогда в Париже так мало было российских шпионов, или, по крайней мере, о них так мало говорили, что я совсем не остерегался соглядатайства и в данном случае не заподозрил ни в чем дурном оказавшего мне услугу молодого человека. Я предложил ему сесть, но он сказал, что лучше мне в такую погоду с ним идти погулять. Вечер был чудный, я согласился, и мы прошлись до Елисейских Полей. Но тут мой новый знакомый, добродушный и искренний, сообщил мне, что сказанная им мне фамилия не настоящая, что настоящей в Париже никто

не знает, что все свои бумаги он сжег, что родных у него нет, а воспитывался он в Гатчинском сиротском институте и т. п. Я, конечно, сам его ни о чем не расспрашивал, а потому и не узнал, что заставило его эмигрировать. Жаловался он и на трудности жизни, но, как это бывало иногда с другими, денег в долг не просил и даже деликатно отказывался впоследствии от скромных угощений в кафе. Между прочим, он говорил, что ему дорого обходятся свечи. Я думал, что он работает по ночам, но он объяснил мне, что у него всю ночь горит свеча, поставленная в таз с водою для предостережения от пожара, что он боится темноты и что на него в темной комнате нападает такой же страх, какой в детстве он испытывал в церкви за обедней при пении херувимской. «Хотя,— прибавил он,— я, конечно, ни во что не верю». Мне хотелось быть с ним поласковее; я даже разыскивал его в последующие приезды в Париж. Он не любил ткачевцев и, однажды, видя, что я здороваюсь с одним из них, выразил мне удивление, как это хороший знакомый Лаврова может знаться с ткачевцами.

О своем знакомстве с П. Л. Лавровым, все работы которого я знал до приезда в Париж, я написал целую статью, которую уже после революции 1917 года поместил в «Былом».[11] Я бывал у Петра Лавровича довольно часто и раза два на лекциях, которые он читал у себя на квартире. Одно время с ним переписывался (письма его ко мне отдал в печать для одного сборника в его память),[12] посещал его и в последующие приезды в Париж (в 1882 году с женою, которой он очень понравился), а после его смерти в разных местах писал о нем как о философе и социологе, имевшем на меня влияние. Он всегда спорил с теми, которые, мало его зная, не хотели признавать его значения как ученого и мыслителя. О моих французских крестьянах Лавров написал сочувственную статью в «Деле», а о докторской диссертации симпатично высказался в заграничном издании «Опыта истории мысли».[13] В последний раз я виделся с Лавровым в 1897 году, за три года до его смерти.

С Лавровым я познакомил Ковалевского, которого тот очень полюбил, называя его любовно «толстым мотыльком». У Лаврова я встретился в 1878 году с Герм[аном] Алекс[андровичем] Лопатиным.[14] Это был тогда разбитной, веселый, остроумный «добрый молодец» совсем русского стиля. Впоследствии я увидел его только через двадцать восемь лет, из коих более двадцати он провел в тюрьме, увидел уже довольно отяжелевшим стариком, после чего встречался [с ним] до самой его смерти уже после революции 1917 года. У Лаврова же я встретился с П. А. Кропоткиным.[15] Мы побывали по разу друг у друга, причем его я застал за мольбертом, на котором стоял холст с начатой женской головкой. С Кропоткиным я увиделся только через 39 лет, когда после революции он приехал в Петербург, да еще раз встретился на пресловутом «Государственном Сове-

щании» в Москве в августе 1917 года.[16] И с Лопатиным, и с Кропоткиным, не забывавшими наших прежних встреч, мы вспоминали, как о хороших временах, когда мы были молоды. Еще раньше Кропоткин, после моей статьи о его «Французской революции» в «Русском Богатстве»,[17] прислал мне из Лондона одну из своих книжек с обычным в таких случаях подписанием.

Наконец, опять-таки у Лаврова я в первый раз встретился с М. П. Драгомановым,[18] эмигрировавшим из России в 1875 году и приезжавшим в Париж на Всемирный конгресс деятелей печати с протестом против угнетения русским правительством печати на украинском языке. Я знал Драгоманова как историка, но мало был осведомлен относительно его публицистической деятельности. Лавров же охарактеризовал его мне односторонне, как простого «хохломана», что, в сущности, было неверно. Ближе я узнал Драгоманова незадолго до его смерти, когда мы в одно и то же время, в начале девяностых годов, были в Париже. Политическое его мировоззрение к моему было гораздо ближе, чем лавровское.

Посещал Петра Лавровича еще Деникер,[19] известный теперь антрополог, родившийся от французских родителей и учившийся в России, но эмигрировавший из нее, чтобы сделаться французским ученым. Вероятно, Деникер сблизился с Лавровым по антропологическим интересам, бывшим у Лаврова весьма большими. Во всяком случае, Деникер от него отошел в 1889 году. Когда я зашел к нему, чтобы узнать адрес Лаврова, предполагая, что он переехал на другую квартиру, он даже мне сказал, что совсем с ним не видается.

Лавровым я очень интересовался, как автором очень многих нравившихся мне ученых работ, да и Лавров во мне видел только будущего деятеля науки, рекомендуя, ради сохранения себя для науки, быть «мудрым, как змий». На революционные темы у нас поэтому никогда разговоров не происходило. Лавров и не пытался меня распропагандировать, сам же я считал неделикатным что-нибудь у него расспрашивать. Конечно, мы поговорили, но, так сказать, объективно о происходивших тогда процессах 193-х и Веры Засулич, о бывших тогда же покушениях Гёфеля и Нобилинга на жизнь германского императора, но главным предметом наших бесед были социология, история, философия. Во мне не было ни догматической веры в революцию, ни боевого настроения, а то, что было романтически революционного в раннем мечтательстве, уступило место политическому скептицизму, пища для которого нашлась и в нечаевском процессе, и в том, что в наших газетах писалось о Парижской Коммуне, и в более близком знакомстве с якобинизмом. Правда, я не без волнения читал еще до знакомства с Лавровым его «Вперед», негодовал на деспотизм русского правительства, преклонялся перед героическим самопожертвованием тех же Кропоткина, Лопатина, Веры

Засулич и др., но от этого еще было далеко [до того], чтобы сделаться деятельным революционером. Сам Петр Лаврович, созданный для мирной ученой работы и для преподавательства, был вынужден идти по той дороге, на которую вступил, только после того, как у него была отнята возможность чисто легальной работы. Во всяком случае, однако, меня все-таки больше тянуло к людям левого направления, как тогда, так и после.

Так полно и разнообразно протекала моя парижская жизнь. Раннею весной 1878 года я стал чувствовать переутомление и, боясь возрождения былых неврастенических бессонниц, хандры и т. п., решил освежиться маленьким путешествием в Италию, куда съездил со своим новым приятелем К. А. Андреевым, тоже чувствовавшим потребность отдохнуть. Мы выработали сообща маршрут: прямо в Геную, оттуда морем в Неаполь, затем в Рим, во Флоренцию и Венецию с возвращением через Милан, откуда Андреев должен был ехать в Гейдельберг. Маршрут этот был выполнен с одним отступлением. На Средиземном море мы испытали одну из сильных равнодейственных бурь между Генуей и Ливорно. Я крепился около трех часов, но в конце концов заболел обычной в таких случаях болезнью, и буквально был бы тогда рад, если бы наш пароход пошел ко дну. Страха смерти, действительно, не было ни малейшего. При мне был маленький чемоданчик с моими рукописями, между которыми были засунуты носовые платки и носки. В каюту нахлестнуло морской воды, перекатывавшейся через палубу, а мой чемоданчик, стоявший на полу, намок и разбух. Пришлось остановиться в Ливорно, нанять комнату в гостинице, купить веревок и на них развесить свои тетради и белье, с которых капала вода. Края тетрадей и отдельных листов прямо-таки просолились. Из Ливорно мы поехали в Неаполь по железной дороге, миновав Рим, чтобы посетить его на обратном пути. Ездили мы, для экономии времени и денег, по ночам в третьем классе, очень скверном, но от поездки у нас остались самые феерические воспоминания. Все наиболее замечательное в городах мы осмотрели, но с природой ознакомились мало. Даже после Лувра итальянское искусство поражало нас своим богатством и великолепием. И впоследствии туристом я посещал Италию, один раз с женою, в другой раз с нею и с нашими детьми, не считая особой поездки одной весной на итальянские озера и проезда через Северную Италию в Россию с французской Ривьеры. Путешествия сделались моей настоящей страстью. Из городов более всего меня манил Париж.

Большую часть лета 1878 года я прожил в Париже, вернулся в Россию через Берлин, заехал на короткое время в Аносово, где успел поработать, и был к началу осени в Москве. Через год я был уже профессором в Варшаве, откуда в 1880 году летом, побывав, однако, в деревне, опять съездил за границу —

через Дрезден, с посещением Саксонской Швейцарии, Майнца и Кельна, с прогулкой по Рейну, — опять в Париж, где пробыл около месяца, роясь в книгах по истории XIX века, которую желал возобновить в Варшавском университете.

Здесь я встретился с одесским профессором А. С. Трачевским,[20] виденным мною как-то прежде раза два в Москве. Узнав от меня, что в Париже находится Ковалевский, Трачевский просил меня познакомить его с Ковалевским, который в это время лежал в постели с вывихнутой ногой. Когда мы сидели в его комнате и Трачевский начал рассказывать историю административных преследований, каким он подвергался в Одессе, чуть не бывши даже сосланным на Пинегу, в комнату вошел М. Е. Салтыков,[21] живший в той же гостинице. Ковалевский, познакомив нас, предложил знаменитому сатирику послушать рассказ Трачевского. Салтыков остался, молча выслушал длинное, с мелочными подробностями повествование Трачевского и, не сказав ни слова, суровый действительно у него был вид,— ушел. Осенью того же 1880 года в «Отечественных записках», в виде одной из глав «За рубежом» Щедрина, появился рассказ, где в очень карикатурном виде был изображен трусливый учитель, которого за его крамольность начальство послало узнать за границу, как там склоняется латинское слово «domus». Не польстил Михаил Евграфович бедному Трачевскому.

Познакомил я Трачевского и с Лавровым, которому он не особенно понравился, а потом, когда он ближе того узнал, понравился. Беседуя с нами о русской исторической литературе, Петр Лаврович сказал, почему бы нам, историкам, не предпринять того же, что тогда было начато В. Ф. Коршем в виде коллективной «Всеобщей истории литературы». Мы ухватились за эту мысль, составили план издания и наметили сотрудников и будущую редакцию из меня, Трачевского и тогда киевского профессора И. В. Лучицкого,[22] которого я знал только по его трудам, но имя которого было названо Лавровым, очень его ценившим. Конечно, душой предприятия должен был быть Лавров, но Трачевский понял дело по-своему и захотел в нашем триумвирате разыграть роль Цезаря или Августа, к большой досаде Лаврова и моей, да и наше российское неумение делать что-либо сообща провалило это благое дело. С одной стороны, Трачевский, взявшийся найти издателя, заявил, когда нашел такового, притязания на своего рода диктатуру, с другой — обещаний было дано много, но к сроку никто не прислал детальных планов своих отделов.[23]

Третья моя заграничная поездка, уже женатым, была в 1882 году, когда мы вдвоем поехали в Париж, побывав по дороге в Дрездене, в Саксонской Швейцарии и в настоящей Швейцарии. На этот раз я пробыл в Париже три месяца, разыскивая разные редкие книги для своей докторской диссертации. Это было опять очень хорошее время. В 1882 году, как и в 1880,

я останавливался в тех же меблированных комнатах, как и в 1877—1878 году, и опять была русская профессорская компания: Ю. С. Гамбаров,[24] профессорствовавший в Одессе, И. И. Дитятин[25] — в Харькове, И. В. Лучицкий — киевлянин, правда, скоро уехавший в Россию. С Лучицким здесь встретился в первый раз, и тотчас же мы понравились друг другу, а много позднее и очень близко сошлись. Лучицкий был старше меня на пять лет, раньше проделал все этапы академической карьеры, раньше побывал за границей, жил в том же Париже, был знаком с тем же Лавровым. Уже с 1880 года видаться с Лавровым нужно было с некоторою опаскою, потому что с началом в России террора Париж, где было много революционеров, наполнился шпионами, шнырявшими около № 328 по rue St. Jacques, где жил Лавров.

Жена, так же как и я, очень полюбила Париж и познакомилась с некоторыми моими знакомыми, в том числе с Дерели и с семьей Шовена. Я уже чувствовал себя в Париже, как в родном городе, где все мне было близко и давно знакомо. В этот приезд я навестил больного И. С. Тургенева, с которым познакомился в Москве в 1879 году. Мы говорили о Париже, бывшем ему известным еще смолоду.[26] Но некоторых нужных мне немецких книг в Париже не нашлось, и после некоторого колебания между Мюнхеном и Берлином мы поехали в последний, прожив там больше двух месяцев. Из Королевской библиотеки я таскал книги на дом, по три названия в день, не возвращая взятых раньше, так со временем их у меня скопилось изрядное количество томов. Я много работал по ночам, к крайнему неудовольствию квартирной хозяйки, потому что каждый день ей приходилось наливать керосин в лампу, пока я не сказал, что за освещение буду приплачивать. Берлин я видел раньше. После Парижа он нам не понравился, да и знакомств у нас здесь никаких не было. Обедали мы и ужинали за общим столом у хозяйки с ее дочерью, женихом дочери греком, еще с одним греком — купцом, с итальянцем — врачом и двумя немцами: химиком и торговым приказчиком, — очень интересной компанией.

В начале 1883 года мы вернулись в Россию. После этого, до лета 1889 года мне не удавалось больше ездить за границу.

Глава восьмая

ПРОФЕССОРСТВО В ВАРШАВЕ

Мотивы переезда в Варшаву. — Варшавский университет. — Его два ректора и попечитель Варшавского округа. — Мои с ними отношения. — Преобладание «политики» в университетской жизни. — Островидовская история. — Русско-польские отношения в профессорской среде. — Варшавское студенчество. — Условия жизни в Варшаве. — Моя там работа. — Мои отношения с поляками. — Некоторые черты нравов в русской профессорской среде.— Варшавская русская молодежь. — Мои краковские и львовские знакомства.— Уход из Варшавы.

В Варшаве я прожил от августа 1879 года по январь 1885 года, т. е. четыре года и пять месяцев, но, в сущности, с поездками на рождественских и пасхальных вакациях в Москву, на лето в Аносово и дважды за границу, отчасти в учебное время, число месяцев, проведенных мною в этом городе, было не столь значительным: из 53 месяцев, наверное, наберется около двадцати, в течение которых меня не было в Варшаве.

Соображения, заставившие меня взять предложенное место в Варшавском университете, были такие. В Москве мне предстояло, при создавшихся условиях, остаться учительствовать, набрав уроков, так как по университету я больше ничего не получил бы. Ехать опять за границу для работы над докторской диссертацией не пришлось бы: не обращаться же мне было непосредственно в министерство, что было бы жалобой на университет. Из Варшавы мне дали бы новую командировку. Притом гимназическое вакационное время было очень коротким для серьезной работы. Кроме того, в Варшаве меня делали сразу экстраординарным профессором, тогда как в другом университете я мог бы быть только доцентом с половинным жалованием.[1] Далее, выслуга пенсии полагалась за двадцать, а не за двадцать пять лет. Манила и близость к границе: 16 часов — до Берлина, 20 часов — до Вены. А главное — это то, что, попробовав университетского преподавания, я хотел немедленно же его продолжить. Москва! Но в Москву я буду ездить и на католическое, и на православное Рождество и Пасху. А трудное положение русского человека во враждебной окраине? А разве, думал я, не заманчива была бы задача явиться там, среди родственного славянского народа, не казенным обрусителем, но человеком, который бы явился представителем гуманной, либеральной, прогрессивной части русского общества, раз историческая судьба соединила Польшу с Россией? Займусь и я там историей Польши, во многих отношениях интересной. Все это, вместе взятое, и определило мое решение. Лето 1879 года у ме-

ня прошло в подготовке курса, который я должен читать в Варшаве.

Варшавский университет был преобразован из прежней Главной школы за десять лет перед тем, в 1869 году. Прежние профессора были в нем оставлены и получили два года отсрочки для начала чтения лекций на русском языке, бывшем некоторым профессорам как воспитанникам русских университетов известным и раньше. Были, однако, и такие, что потом читали на невероятном языке: например, профессор гигиены говорил студентам о «казачьем молоке», вместо козьего, а другой — любителей искусства назвал «любовниками штуки» и т. п. Когда я приехал в Варшаву, большинство в Совете университета было польским, потом было почти поровну, около тридцати тех и других, хотя в числе русских были и немцы, но с «русской душой». Подавляющее большинство студентов были поляки или евреи, национально настроенные по-польски, «евреи моисеева исповедания», а русских было мало и большей частью из духовных семинарий. Русские чиновники охотнее посылали своих сыновей в Петербург, а семинаристов нигде, кроме Варшавского университета, не принимали. На историко-филологическом факультете поляков было вообще маловато, так как в учителя им ходу в Царстве Польском не давали, но слушателей у меня было больше польских, потому что читавшиеся мною курсы были обязательны и для юристов первых двух годов. Ректор был назначенный правительством, но деканы и секретари факультетов были выборные. Когда я приехал, кажется, все четыре декана были поляки, на нашем факультете — классик Тадеуш Мержинский, на юридическом — Юзеф Кашница, оба очень уже пожилые.

Ректором при мне был бывший петербургский профессор Ник[олай] Мих[айлович] Благовещенский,[2] известный в свое время филолог, у которого когда-то учились Чернышевский, Добролюбов, Писарев, человек лет шестидесяти, представительный, с изящными манерами, с изысканными выражениями, любивший помпу, но, в сущности, очень добрый и старавшийся поддержать равновесие между русскими и польскими элементами, будучи противником «политики булавочных уколов» (его собственное выражение). За это наши «обрусители» его очень не любили, сделавшись, наоборот, ревностными сторонниками только что назначенного попечителем округа Ал[ександра] Льв[овича] Апухтина,[3] служившего до того времени директором Межевого института в Москве и когда-то бывшего под начальством Муравьева-Вешателя. Апухтин приехал в Варшаву с какой-то стихийной ненавистью к полякам. Между ректором и попечителем тотчас начались контры, не без содействия со стороны некоторых профессоров. Я на общее представление профессоров новому попечителю не попал, а был ему отдельно представлен ректором, наговорившим ему кучу лестных для меня

вещей. «Вот, государь мой, — обратился ко мне Апухтин, — ваш ректор весьма отменно вас аттестовал, но мне, скажу вам, до вашей учености дела мало, а русского направления я от всех буду требовать».

В первое же свидание со мной Благовещенский предупредил меня, что нужно быть в аудитории поосторожнее, потому что в ней есть доносители. «Конечно, — прибавил он, — они не от университетского начальства поставлены; я даже их совсем не знаю, но имейте это в виду, чтобы не нажить себе неприятности». Позднее Благовещенский не замедлил мне сообщить секретно, что вскоре после одного моего возвращения из-за границы к нему явился жандармский офицер и показывал ему фотографию, спросив его, не моя ли она, но получил отрицательный ответ.

Еще был такой случай. В 1883 году в Варшаву был назначен профессором русского и церковнославянского языков большой полонофоб Будилович,[4] на вступительной лекции которого студенты, задетые принижением польского языка как только «наречия», пошаркали ногами (равносильно шиканью), а на другой день бурно мне аплодировали, хотя моя лекция была строго научного содержания. На другой день мне пришлось идти к попечителю по одному московскому поручению, и вот, когда я изложил ему дело и получил от него ответ, он еще сказал мне: «А я, государь мой, хотел послать за вами, потому что мне нужно вас спросить, почему это вам аплодировали, после того, как ошикали профессора Будиловича?» Я ответил, что моя лекция была о том-то и никакого отношения к содержанию лекции профессора Будиловича не имела. «Нет ли у вас ее конспекта?» — «Есть полное письменное ее изложение, потому что я собираюсь ее напечатать». — «Принесите ее мне теперь же. Ведь это меня самого спрашивают». «Хорошо, — ответил я, — но только я желал бы, чтобы *там,* где у вас спрашивают, моя рукопись не затерялась». — «Завтра же ее вам возвращу, ибо никуда отдавать не буду. Мне-то, государь мой, поверят».

Апухтин был вообще человек прямой, но один раз он, кажется, со мной слукавил. В 1882 году министерство не утвердило моей командировки, и я решил съездить в Петербург, где в тот момент был попечитель. «Так и так, хочу объясниться с министром». — «Погодите, государь мой, я сам поговорю». Поговорил и сообщил мне, что теперь командировка разрешена. Я спросил, не должен ли я, как это вообще делалось, представиться министру и поблагодарить его. «Как вам угодно-с, государь мой, а совета моего нет, а вот перед поездкой за границу побывайте у меня». Я, конечно, к министру не пошел, уехал в Варшаву, а потом, когда подошло время — в Аносово. По получении командировки я поехал в Варшаву, через которую лежал путь и где можно было получить заграничный паспорт. Являюсь к Апухтину, раньше мне сказавшему, чтобы я к нему зашел. Разговор был короткий и незначительный, но два места из него я запом-

нил. Попечитель высказал свой взгляд на Западную Европу и на поляков. Если бы можно было, по его мнению, отгородиться от Запада Китайской стеной, для России и для «русского дела было бы лучше, и поляки русского подданства не стремились бы в объятия Австрии». «А для последнего, — заметил я, — нужно сделать так, чтобы они сами искали наших объятий». «Фантазия, государь мой, — возразил Апухтин, — сколько волка ни корми, он все в лес глядеть будет». «А вы читаете по-польски?»,— спросил он. Получив утвердительный ответ, он протянул мне номер какой-то заграничной польской газеты, где я прочитал корреспонденцию из Варшавы с очень неверным описанием одного заседания нашего Совета с упоминанием о том, что «даже (nawet) такой профессор, как К..., голосовал в московском духе». «Но ведь здесь рассказано неверно, — заметил я,— потому что писал, конечно, не очевидец». «Не в том-с дело, государь мой, а вот вы поняли, что значит это „nawet", почему же это вас выделяют из других русских профессоров? Вот, может быть, за это вас и не хотели пустить, потому что и в Петербурге могли то же самое прочесть». Я взглянул на дату номера: он был совсем свежий.

Поляки Апухтина терпеть не могли. Кто-то выбил за границей бронзовую медаль с его изображением и надписью (по-русски), предававшей его проклятию за внесение раздора между поляками и русскими. Медаль была разослана по музеям. Мне, много времени спустя, подарили ее экземпляр, который я воспроизвел с кратким объяснением в «Голосе Минувшего».[5] Пощечине, полученной Апухтиным от одного студента, поляки очень радовались. В одной газете кто-то объявил, что по случаю радостного для него события он жертвует на бедных столько-то рублей. Уличные мальчишки, грозя друг другу плюхой, говорили: «А не хочешь ли „апухтынки"?». Когда Апухтину сейчас же был дан орден Александра Невского, в какой-то краковской газете был помещен его портрет с орденской звездой на одной щеке и с надписью на другой: «Место для второго Александра Невского». Сама пощечина была получена Апухтиным на приеме просителей. Взяв у студента бумагу и пробежав ее, попечитель нашел в ней что-то не по форме и, упрекнув просителя, что тот не знает порядка, возвратил ему бумагу, махнув ею перед самым носом, чуть не задев его, в ответ на что тот ударил Апухтина по лицу перчаткой. Студент, помнится, был русский. Русификаторское рвение Апухтина не одобряли многие русские, особенно судейские и военные, вообще бывшие далекими от внутренней политики. Как далеко заходил Апухтин, видно хотя бы из того, что в сельских школах по его требованию польские ребята должны были петь «Вниз по матушке, по Волге» и другие русские песни.

Распря попечителя с ректором кончилась поражением второго. Благовещенского незадолго перед моим уходом из Варшав-

ского университета сменил Н. А. Лавровский,[6] брат которого (Петр)[7] был первым ректором. Человек мягкий, весьма любезный, вкрадчивый, он был, однако, исполнителем апухтинских предначертаний, за что и сам впоследствии сделался попечителем в Дерпте. В Варшаву он приехал из Нежина, где был директором тамошнего лицея, и попал под ферулу отъявленного полонофоба Будиловича, бывшего при нем (Н. А. Лавровском.— *В. З.*) влиятельным у Апухтина варшавским профессором, а потом, в попечительство самого Лавровского, дерптским — юрьевским ректором. Благовещенский приглашал иногда к себе по нескольку профессоров на чашку чая, комбинируя русских с поляками.

Первый же вечер у Лавровского был только с русскими и попечителем. Был ужин человек на тридцать. Апухтина хозяин хотел посадить на одном конце стола, но он сел посередине и как раз против того места, за стулом которого стоял я, ожидая, когда станут садиться. Увидев это, Будилович оттолкнул в сторону одного намеревавшегося сесть рядом со мною коллегу, и сам занял это место, а ректор принес с конца стола бутылку красного вина и поставил против Апухтина, сказав, что выбрал для его превосходительства самое лучшее. Тот только ухмыльнулся в свои густые нависшие усы. Когда потом он налил себе стакан, я тоже протянул руку к той же бутылке, как к стоявшей ближе других, но Будилович попытался отвести мою руку своей левой, подав мне правою другую бутылку со словами: «Пейте вот это». Но я все-таки налил себе из попечительской бутылки, громко сказав Будиловичу: «А я как раз хочу попробовать хваленого». От такой дерзости некоторые соседи мои обомлели, а Апухтин еще сильнее ухмыльнулся, закрыв рот рукою. Сейчас же он стал говорить со мною о Москве. Оказалось, что в учебном заведении, где он был начальником, законоведение преподавал Муромцев. «Хороший человек Сергей Андреевич, — заметил Апухтин, — хотя и либерал». «А разве, ваше превосходительство, — спросил я, — либералы не могут быть хорошими людьми?». «Бывают-с, да редко», — ответил Апухтин. Мое обращение с попечителем многим показалось прямо нахальным, но сам Апухтин, что называется, был человеком хорошего общества и в глубине души презирал подхалимство. Один профессор както пригласил его в крестные отцы своего сына. Рассказывали, что за ужином Апухтин сказал: «Вот, государи мои, что значит быть попечителем: когда я был директором Межевого института, крестить меня у себя приглашали только сторожа, а здесь — какая честь — крестить у ординарного профессора».

У Лавровского я ужинал еще только один раз по настоятельной его просьбе прийти немедленно. Во время ужина поднялся Будилович и начал речь о назначенном на следующий день заседании Совета, развив свою идею, как нужно будет голосовать. Дело шло о толковании одного духовного завещания на студенческие

стипендии, причем было неясно, имел ли завещатель в виду всех студентов вообще или только поляков. После речи Будиловича ректор, обходя гостей, спрашивал каждого, как тот будет голосовать. Спросив моего визави, он через стол обратился прямо ко мне. «Не знаю», — сказал я. «Колеблетесь?» — с хитроватой улыбкой заметил он. «Нет, действительно, не знаю, — возразил я, — ведь у нас по этому вопросу была образована комиссия, она свое заключение доложит, тогда я буду голосовать, а пока считаю это для себя неуместным». Дальнейший опрос прекратился, но и я после этого больше к ректору не приглашался. Впрочем, когда товарищи давали мне перед оставлением мною Варшавы прощальный обед, на нем были Апухтин и Лавровский. Второй из них раза два посетил меня впоследствии в Петербурге, когда приезжал председателем государственных экзаменов и во время своего попечительства. Во второй раз он искал в Юрьев кандидата на профессуру русской истории. Я назвал ему Е[вгения] Фр[анцевича] Шмурло.[8] «Но Францевич?» — возразил Лавровский, вопросительно взглянув на меня. Я его успокоил, сославшись на то, что предмет диссертации Шмурло — митрополит Евгений.

Вот каково было университетское начальство в Варшаве. С приездом Апухтина завзятые обрусители совсем оставили Благовещенского, который поэтому дорожил теми немногими, которые относились к нему порядочно. В нем были свои смешные стороны: некоторое чванство, любовь покушать, частое попадание впросак. Студенты даже называли его «бывшим ученым» и «машиной до пржеждвания покармув» (для пережёвывания пищи) и т. п. Он сам рассказывал о себе такой пассаж. Отправился он на похороны одного профессора-поляка, но до отпевания в костеле пошел в ресторан позавтракать. Когда в окно он увидел погребальную процессию, то тотчас же к ней присоединился, заняв место непосредственно за катафалком. На кладбище он, однако, удивился полному отсутствию профессоров и студентов, на другой день в газетной хронике он прочитал описание похорон с упоминанием о том, что было много профессоров и студентов, что говорились такие-то речи, и в том же нумере газеты была еще заметочка о похоронах известного мозольного оператора, похороны которого были почтены ректором университета. Вообще о Благовещенском ходило много забавных анекдотов. После отставки он проживал в Петербурге, где мы продолжали видаться, причем, скучая от безделья, он бывал у меня гораздо чаще, чем я у него. Предметом наших бесед очень часто был Варшавский университет.

Для университета было небезразлично, кто был начальником края. Я приехал при гр[афе] Коцебу,[9] был еще при Альбединском[10] и уехал в начале правления Гурко.[11] Первый и третий, особенно третий, были обрусители, а Альбединский держался

примирительной политики (он был в начале восьмидесятых годов), сделался даже очень популярен в нетребовательном польском обществе. Апухтин был с ним не в ладах, тем более, что он поддерживал Благовещенского. «Политики» в университетской жизни было хоть отбавляй. В Совете то и дело возникали quasi* политические вопросы. Партий было две: русская и польская. Был такой момент, когда силы были почти равные. Тогда решение некоторых вопросов зависело от голосов «гангреновского» центра, как, должно быть, Будилович, прозвал трех профессоров: меня, ботаника Людв[ига] Альб[ертовича] Ришави[12] и минералога Ал[ександра] Евг[еньевича] Лагорио;[13] двое из этого центра были не русские, что увеличивало odium** по отношению ко мне. Всех членов Совета было 63, по тридцати в каждой «партии», так что три голоса давали перевес той или другой стороне. Наша тройка, даже не сговариваясь, стояла на принципиальной точке зрения, вследствие чего мы подавали свои голоса в зависимости от сущности дела то с поляками, то с русскими. Первые за это нам были благодарны, а вторые негодовали. Один раз русские решили провалить при баллотировке на оставление для дальнейшей службы одного поляка, отслужившего 25-летний срок. Они имели в виду очистить вакансию на ординатуру для одного из обрусителей. Я был тогда в командировке в Париже, сохраняя свой голос в Совете. Меня известили о готовившейся несправедливости (поляки за 25 лет получали только половинную пенсию) и просили по телеграфу передать кому-нибудь свой голос, что по закону было можно. Я передал [его] одному из своих единомышленников, к великому негодованию «патриотов». Без моего голоса остальные разделились бы поровну, что значило бы неизбрание. Это тоже был «политический» вопрос.

Особенно яркая «политическая история» разыгралась в начале 1881 года. Студенты, безразлично — поляки или русские, взволновались по поводу доноса, сделанного одним русским студентом-медиком, pour ne le nommer pas*** Островидовым, имевшим еще глупость хвастаться своим поступком. От него товарищи потребовали, чтобы он оставил Варшавский университет, но тот упорствовал. Кто-то надоумил Островидова обратиться за советом ко мне. Дело заключалось в том, что он донес в полицию на кого-то, потребовавшего в каком-то кабаке игры на рояле польских революционных гимнов. Я объяснил, что это называется доносом, что донос — вещь очень скверная и что ему самому лучше, в самом деле, уйти. В тот же день со мною о студенческих волнениях заговорил инспектор студентов, господин очень подозрительный, и на мой рассказ об островидовском по-

* Мнимые (лат. — *В. З.*).
** Ненависть (лат. — *В. З.*).
*** Чтобы не называть его (франц. — *В. З.*).

сещении заявил мне, что, наоборот, самым решительным образом советовал бы этому студенту остаться и продолжать ходить на лекции, даже если при его входе в аудиторию студенты демонстративно уходили бы. Я пошел тогда к Благовещенскому, бывшему в большой тревоге. Он решил созвать Совет, но чуть я только вымолвил «политический донос», как он мне заявил, что не допустит произнесения такого слова на Совете. Мы поговорили довольно крупно при этом. Когда я в заседании экстренно созванного Совета собрался говорить, он сделал было попытку мне воспрепятствовать, но вся польская половина профессуры потребовала, чтобы мой рассказ был выслушан. У Островидова нашлись заступники, но в конце концов большинство решило обратиться к студентам с воззванием, что-де университет просит их предоставить ему, Совету, охрану чести студенчества и возвратиться к нормальному ходу занятий, а Островидову постановили дать consilium abeundi* и даже облегчить переход его в другой университет. Воззвание редактировали четыре декана с моей помощью в стилистическом отношении. Генерал-губернатор Альбединский, следивший за всей этой историей, одобрил такое решение, и я даже был приглашен на раут в его дворец. Но Апухтин и «патриоты» морщились. В дни этой истории профессора Самоквасова[14] не было в Варшаве, а когда он приехал, его некоторые русские профессора просили устроить вечеринку, пригласить на нее меня и тут сообща дать мне такой consilium abeundi, чтобы и духу моего более не было в Варшаве. Он от этого отказался, а он был единственным из русских членов Совета, у которого я изредка бывал. Тем не менее при встрече в профессорской Самоквасов устроил мне сцену, заставившую меня прекратить с ним знакомство. Только много позднее, когда и он постиг всю суть островидовской истории, он чистосердечно просил у меня прощения и рассказал, как отклонил заговор против меня.

Любопытно, что, встречаясь в профессорской, в Совете некоторые русские профессора не были знакомы (т. е. не здоровались) с польскими из других факультетов. Сижу я однажды в профессорской рядом с очень корректным, даже как бы накрахмаленным, юристом, профессором Бялэцким, и оживленно беседуем. В наш разговор вмешался профессор-математик Н. Я. Сонин[15] (впоследствии академик и попечитель учебного округа в Петербурге). В конце этой беседы втроем Бялэцкий обращается ко мне со словами: «Будьте добры представить меня профессору Сонину, с которым мы уже встречаемся несколько лет и до сих пор я не имел чести быть лично знакомым». Сам я, замечу мимоходом, тотчас по приезде сделал визиты всем профессорам двух факультетов, на которых читал лекции,— и постепенно познакомился со всеми другими. Домашнего зна-

---

* Совет удалиться (с места работы или учения) (лат. — *В. З.*).

комства, однако, у меня почти ни с кем не завязалось: приглашавших меня к себе могу счесть на пальцах. Когда я уезжал, на прощальную трапезу явились очень многие. В числе лиц, у кого я бывал, назову декана Мержинского, философа Струве, гистолога Гойера, физиолога Навроцкого и т. п. Приезжая в Петербург, некоторые навещали меня.

Островидовская история всколыхнула студентов, до того времени более десяти лет смирно сидевших. Студенты-поляки очень были непохожи на тогдашних русских. Это были чистенькие франтики, очень вежливые, толпившиеся в цукернях, где в большом количестве потребляли сладкие пирожки. Но в начале семидесятых годов к ним стал проникать иной дух. Во время островидовской истории заговорили о сходках, о землячествах, о студенческой кассе и т. п. Начали бегать ко мне и просить, чтобы я им во всем этом помог. Я сказал, что если они не желают видеть, как меня вышлют из Варшавы, то пусть не настаивают на своей явно безнадежной просьбе — добиться от начальства студенческой организации. Встревожившиеся движением деканы пришли ко мне совещаться, что предпринять, дабы молодежь не наделала глупостей. Они так долго просидели у меня, что я пропустил обычный час обеда в клубе и наскоро поел сыру, колбасы и т. п. Только вечером решил идти в клуб поужинать. Это было 1 марта 1881 года. Воспоминание о том, как было в Варшаве принято известие об убиении Александра II, я напечатал в «Былом».[16] Здесь скажу только, что в клубе я увидел генералов и полковников, действительных статских и просто статских советников, спокойно играющих в карты, а когда некоторые в одно время со мною сели поужинать, то мои соседи за общим столом, все военные, спорили только о том, в каком мундире положат в гроб убитого царя. Эта катастрофа как-то заставила студентов притихнуть, но они все-таки выжили из своей среды двух товарищей-поляков, навязавшихся начальству в депутацию на похороны якобы от лица всего варшавского студенчества. Сумели студенты дать этим товарищам consilium abeundi без всякого шума. Один из изгнанников был впоследствии профессором в Томске и Петербурге, ни там, ни здесь не покрыв свое чело лаврами.

Политическая атмосфера Варшавы с самого же начала неприятно бросилась мне в нос. Я даже стал думать, не вернуться ли мне в Москву. Со мною одно время был назначен проректором минералог Ерофеев, немедленно же сбежавший. Помню, я с ним обедал и гулял после обеда в тот день, когда мы были приглашены к ректору на чашку чая. Я предложил Ерофееву идти вместе, но он сообщил мне по секрету, что в эту ночь уезжает в Петербург на доцентуру в Лесном институте, от которой было отказался. Мне захотелось последовать его примеру, но некуда было ехать на профессорское место. Во всяком случае, я смотрел на Варшаву, как на место временного пребы-

вания, и как только оказывалось возможным, уезжал оттуда. Иногда даже на летние месяцы я не оставлял квартиру за собою, перевозя свои пожитки в склад. Свою библиотеку, уже бывшую порядочной, я держал в деревне.

Каждый раз осенью устраивать на новой квартире меня приезжала мать, гостившая у меня при этом по месяцу и больше, а один раз приезжал и отец, в эти годы уже сильно хворавший. В первом году я нанимал квартиру сообща с московским своим приятелем Громекой и с его товарищем по учительству В. Н. Микешиным, с которым через десятки лет встретился в I Государственной думе. Работы было по горло. Пришлось читать два курса: общий и специальный. Приняли меня студенты превосходно, тем более, что первая моя лекция была посвящена вопросу о прогрессе,[17] модному в то время, как я после узнал, у польской молодежи. Тогда же я занялся основательнее и польским языком, имея около себя при чтении живой словарь в лице рекомендованного мне гимназиста старших классов. С ним я прочел польскую историю Бобржинского,[18] впоследствии вышедшую в русском переводе по моей инициативе и под моей редакцией.

Овладев лексическою стороною языка, я обратился к изучению реформации и католической реакции в Польше по немногим имевшимся в то время пособиям, и по некоторым источникам (дневникам сеймов XVI века), включивши в свой общий курс о реформационной эпохе отдел о Польше. Этот отдел привлекал особенно много слушателей, в числе которых, с разрешения ректора, был какой-то ксёндз. Этим было положено начало моим занятиям польской историей, свои работы о которой я печатал в течение целого десятилетия (в 1881, 1884, 1885, 1886, 1888, 1889, 1891 и 1892 годах).[19] Некоторые из них были переведены по-польски и доставили много позднее мне звание члена-корреспондента Краковской Академии наук. Одновременно с этим я подготовил докторскую диссертацию под заглавием «Основные вопросы философии истории», предварительные этюды к которой, начатые еще в семидесятых годах, продолжал печатать и в начале восьмидесятых.

Диссертация моя вышла в 1883 году, была мною защищена в Московском университете в 1884 году,[20] так что моя надежда получить с докторскою степенью вакантную ординатуру разлетелась, когда, по воле начальства, я, доктор своей науки, был два раза обойден в пользу других, бывших только магистратами, но зато пользовавшихся репутацией благонамеренности. Моя диссертация вызвала ряд статей в периодической печати, вызвавших, с моей стороны, ряд ответов в виде отдельных статей и даже целой книги.[21] Через четыре года книга была переиздана, а еще через десять лет и в другой раз. Диспут в Московском университете прошел совершенно гладко. В Варшаве я вообще писал для печати немало, между прочим, без подписи, о поль-

ских делах в «Русской Мысли» (1881, 1882 и 1885) и в «Русских Ведомостях» (1884), переиздав это все в 1905 году в сборнике «Polonica», куда вошла и позднейшая 1901 г. статья «Мои отношения к полякам».[22]

Отношения эти с обеих сторон были благожелательными, чего было достаточно для варшавского русского общества, чтобы я прослыл в нем «полякующим». Польских знакомств у меня было мало, а вне университета — только с приватным ученым Сев. Смольниковским, писавшим много по философии и социологии, с Алекс[андром] Свентоховским,[23] публицистом, поэтом и философом, редактировавшим еженедельник «Правда» с прогрессивным, по отношению к католицизму, и радикальным направлением. В восьмидесятых годах Свентоховский пользовался среди польской молодежи такою же популярностью, как у нас Михайловский. Проезжая впоследствии через Варшаву за границу, я навещал Свентоховского, когда останавливался в этом городе, в первых годах нынешнего столетия, кажется, два раза, в одно и то же с ним время лечился в Карлсбаде, а в 1905 или 1906 году он был у меня в Петербурге. В последующие годы мне о нем говорили как о большом антисемите, хотя он и опровергал эту кличку в разговоре со мной в 1912 году.

Ближайшим моим товарищем по кафедре был Адольф (по-русски — Иванович) Павинский,[24] бывший старше меня на десять лет, профессорствовавший еще в польской Главной школе, стоявший во главе Главного архива древних актов Царства Польского, издавший массу исторических источников и напечатавший крупные исследования по польской истории. Это был крупный ученый, который, конечно, должен был бы преподавать историю родного народа, но таковой в Варшаве не полагалось. В студенческие годы за границей он был близок с другими видными впоследствии историками, которые тепло отзывались в беседах со мной о Павинском: это были парижский профессор Габриэль Моно[25] (зять Герцена), цюрихский — Альфред Штерн,[26] и пражский чех — Ярослав Голль.[27] С Павинским у меня были наилучшие товарищеские отношения, хотя и без особой близости.

Другим моим коллегой по кафедре был Н. Н. Любович,[28] русский, но занимавшийся особенно много польской историей, к которой относились обе его диссертации. С Любовичем, несмотря на многие несходства в характерах и взглядах, я очень сошелся и никогда не прерывал приятельских отношений, заезжал к нему в Варшаву, даже останавливался у него, как и он, приезжая в Петербург, первым делом являлся ко мне. О некоторых работах Павинского и Любовича я писал (о докторской диссертации второго по поручению Академии наук[29]).

Русскими историками были А. И. Никитский,[30] один из определеннейших апухтинцев, и Н. П. Барсов,[31] хороший человек, но совершенно обленившийся, опустившийся и спившийся. Послед-

ний грех был и за В. В. Макушевым,[32] товарищем Писарева по университету, сделавшимся видным славистом, очень ученым, но зараженным ненавистью к полякам. Он не был единственным славистом в Варшаве. Правительство хотело привлечь в Варшаву студентов из западных славян (как в Одессу — из южных), а потому богато обставило кафедру славистики в Варшаве, но цель не была достигнута. Кроме Макушева, здесь были очень почтенный, обруселый и женившийся на русской чех О. О. Первольф,[33] с которым я поддерживал знакомство, другой чех Иезбера,[34] немного юродивый, но славный, позднее нейтральный, Я. К. Грот[35] и П. А. Кулаковский,[36] очень боевой, антипольским образом настроенный белорус. Иезбера действительно был блаженненьким и носился со своим русским музеем, в котором рядом с ценными вещами был разный хлам, вроде горшка с землей с того места, с которого Фридрих-Вильгельм III после 1812 года любовался Москвой. Были в музее и образцы московских калачей, саек, розанчиков, плюшек и т. п. Один раз Иезбера просил меня купить ему для подновления своего музея всяких таких хлебов в Москве на целый рубль, но увы! на обратном пути в Варшаву я на двое суток застрял в снеговом заносе и съел сии музейные экспонаты с одним швейцарцем-виноделом, везшим с собой на родину несколько бутылок вина, тут же нами обоими и выпитого. Был еще близкий к славистам доцент Микуцкий, белорус-католик, человек одинокий, нелюдимый, с утра до ночи проводивший время в университетской библиотеке, большой ругатель поляков и особенно «жидов». Об Ант[оне] Сем[еновиче] Будиловиче, видном ученом-слависте, но в то же время беспощадном обрусителе, и в Варшаве, и в Юрьеве, я уже упомянул. Ректор Лавровский очень его слушался, а у Апухтина Будилович с Никитским и Сониным были свои люди, настоящие его «тайные советники».

Классиками были, кроме почтенного старика Мержицкого, дожившего, кажется, до восьмидесяти с лишком лет, латыш Тресс и галичанин Дьячан, бывший прежде униатским священником, но сделавшийся православным протоиереем без прихода. Он не вполне хорошо владел русским языком и, как говорили мне специалисты, был плохой эллинист. Это был один из осведомителей Апухтина, прямо с заседаний Совета шедший в попечительскую квартиру, тут же на обширной университетской усадьбе. С именем Дьячана связан в моей памяти такой эпизод. В перерыве во время одного заседания Совета в соседнем зале, куда уходили курить, я разговаривал с упоминавшимся профессором Ришави, который, куря сигару, играл гильотинкой, отрезывающей кончики сигары. Подходит Дьячан и спрашивает у моего собеседника: «Что это у вас в руках?» Ответ он получает такой: «Машинка для обрезывания языков, у кого они слишком длинны». Дьячан удаляется, но минуты через две-три возвращается и происходит следующий диалог: Дьячан: «А вы

все того, с машинкой?» — Ришави: «А вам она уже нужна? Могу услужить». — Дьячан: «Ах, что вы за человек: дай вам в руки ружжо, вы и человека убьете». — Ришави: «Ружжо! Отец протоиерей, русский профессор! Не ружжо, а ружье нужно говорить. Вот так русский язык у вас!» — Дьячан: «Язык что? Чувства русские нужно иметь!» — Ришави: «Ну, для языка есть объективные признаки, а о чувствах как узнать? Впрочем, могу вас утешить: в Америке изобрели маленький инструмент под названием мерзавцемера. Приложишь к человеку — и увидишь, что мерзавец». Произнося последние слова, Ришави достал из кармана карманные часы, приложил их к Дьячану и немедленно посмотрел на них.

У этого самого Ришави, державшего себя независимо, был язык, как бритва. После полученной Апухтиным пощечины входим он и я в русский клуб, где мы столовались. Навстречу идет жандармский генерал, здоровается с нами, как будто мы были давно с ним знакомы, и спрашивает: «Что это случилось с вашим попечителем?» — «Извините, ваше превосходительство, — ответил Ришави, — я по департаменту раздевания шлюх не служу». Кончились такие выходки для него тем, что Апухтин добился от министра Делянова увольнения Ришави по третьему пункту. Ришави стоило больших хлопот вернуться в профессуру, на сей раз в Одессе. Это был очень талантливый человек, но, к сожалению, разменявшийся на мелочи, обленившийся и спившийся в конце концов с круга. В политических вопросах большой скептик, Ришави не был индифферентным к простой общественной порядочности, что его и привело в наш сам собой образовавшийся «гангренозный центр», в котором очутился и совсем противоположный скандалисту Ришави очень мягкий, корректный и степенный немец А. Е. Лагорио, бывший потом первым директором Варшавского Политехникума, а еще позже стоявший во главе учебного дела Министерства финансов (или торговли и промышленности). В Петербурге с Лагорио, когда он занимал последнюю должность, я встречался чрезвычайно редко.

Выходки Ришави довольно характерны для тогдашних товарищеских отношений в среде русской профессуры. Нравы были довольно странные. Я сам своими глазами видел, например, нотариальный акт, по которому один профессор (nomina sunt odiosa)* отказал другому своему товарищу по факультету от знакомства с запрещением и ему самому, и его жене, и его теще бывать в больничной комнате, где лежала его жена, как в части его, данного профессора, квартиры. Несомненными фактами было и то, что двое жестоко обращались со своими женами, причем в одном случае дело доходило до суда. Просто за русских

* Имен называть не следует, об именах лучше умалчивать (лат. — *В. З.*).

было стыдно. Было немало грубых людей, не стеснявшихся выражений, что шокировало благовоспитанных, корректных европейцев, какими являлись профессора-поляки.

Из юристов вспоминаю Ф. Ф. Зигеля, профессора истории славянских законодательств, человека порядочного, но в общественном смысле индифферентного; разбитного Дм[итрия] Як[овлевича] Самоквасова, историка русского права с очень странными теориями и археолога-самоучку; донельзя трусливого Гр. Ф. Симоненко, экономиста и статистика, полемизировавшего с поляками, но более всего — молодого в то время доцента А. Л. Блока,[37] отца известного поэта. С Блоком в варшавские годы я был довольно близок, но потом потерял его из виду, когда он, говорят, очень изменился и приблизился к типу обрусителей. Блок был очень интересный собеседник, любивший серьезные научные разговоры, очень часто приходивший ко мне, чтобы вместе пофилософствовать. В péndant* к моим «Основным вопросам философии истории» он, государствовед, собирался писать (но не написал) «Коренные вопросы теоретической политики». Из разговоров с ним родились моя статья «Мечта и правда о русской науке» (в «Русской Мысли» за 1884 год) и публичная лекция о духе русской науки, прочитанная в русском клубе в присутствии Апухтина, когда я уже был на отлете, и напечатанная отдельной брошюрой в 1885 году. За нее мне досталось от Будиловича, по ее поводу аттестовавшего меня в официальном «Варшавском Дневнике» как «национального санкюлота», как «человека, выхолощенного в национальном отношении», причем экземпляры нумера с этой статьей были посланы петербургским профессорам, когда шел вопрос о моем переходе в Петербург. Интересная брошюра Блока «Политическая литература в России и о России» была предметом моей маленькой заметки в «Юридическом Вестнике».

В Варшаве же я познакомился еще с учеником Громеки, Дм[итрием] Ив[ановичем] Шаховским, тогда гимназистом, потом петербургским студентом, пасынком его сестры Крыжановской, Ю. В. Вульфом, тоже гимназистом и петербургским студентом, который одно время писал у меня под диктовку, и в первый раз видел С. Ф. Ольденбурга,[38] тоже гимназистом. Первый из названных лиц был секретарем I Государственной думы, второй из радикала сделался реакционером, третий, сделавшийся крупным минералогом, профессорствовал в Варшаве, потом в Москве, четвертый стал академиком и непременным секретарем Академии наук.

Через жизнь в Варшаве я вошел в соприкосновение с поляками, расширив свои польские знакомства неоднократными посещениями Кракова и Львова. В Кракове я был первый раз в 1889 году, когда познакомился лично с профессором Бобржинским и некоторыми другими и встретился с петербургским зна-

* Уточнение (франц. — *В. З.*).

комым поляком-славянофилом Маршианом Здзеховским,[39] автором книги (под псевдонимом Урсина) о славянах и мессианистах. «Польская история» Бобржинского уже тогда была переведена на русский язык под моей редакцией. Она вышла в свет в конце семидесятых годов и за резко отрицательный взгляд на прошлое Польши вызвала массу нападок на автора как человека, «марающего родное гнездо» и чуть ли не подкупленного московскими рублями. Странное дело: за перевод этой книги на меня обрушился профессор Петербургской Духовной академии Коялович,[40] крайний националист, обвинявший меня в непатриотическом поступке и чуть ли не в подкупе поляками, на каковую статью прямо доносительного содержания я ответил печатно, защищая научность книги Бобржинского. Наместником Галиции Бобржинского я уже не видел.

В следующие приезды я расширил свои краковские связи, познакомившись между прочим с И. А. Бодуэном де Куртене,[41] будущим товарищем по Петербургскому университету. О тамошних и львовских встречах я уже рассказывал кое-что в статье о своих отношениях к полякам, перепечатанной в «Полониках». Здесь вкратце повторю только один эпизод. В Кракове по поводу моего приезда несколько человек сходилось для товарищеской беседы в оригинальном ресторане Гавелки, а во Львове неожиданно для меня был устроен целый банкет на пятьдесят — шестьдесят ученых, писателей и журналистов. Когда мы сидели за столом, одним из устроителей был прочитан мне привет, на который я должен был, конечно, ответить речью. Что было делать? Польским языком я владел не настолько, чтобы публично ораторствовать, а тут ее картежная компания высыпала из других комнат и встала вдоль стен. Я спросил соседа своего, профессора-слависта Калину, не говорить ли мне по-русски, только объявив по-польски, что я этим языком недостаточно владею, а на родном полнее и ярче выражу свои чувства. Тот это одобрил. Я сказал по-польски то, что хотел, и все собрание дало согласие громкими «owszem» (конечно). Я был в ударе и в приподнятом настроении, говорил, отчеканивая каждое слово, и прерывался аплодисментами, хотя были поляки, впервые слышавшие русскую речь, тоже впервые произнесенную публично во Львове, в польском учреждении. Устроители потом мне говорили, что боялись, как бы какой-нибудь «трамтратадор» не свистнул, как за несколько лет перед этим свистали на публичной лекции В. Д. Спасовича.[42] Все обошлось прекрасно. Многие оставались сидеть за вином до поздней ночи, и беседа тогда уже велась прямо по-русски. Во Львове, кроме того, я прочитал в Историческом обществе при университете реферат об изучении в России западноевропейской истории, напечатанный в «Kwartaliki Historycznem». Одновременно я завел тогда и связи в украинском обществе, где близко познакомился с М. Грушевским,[43] Иваном Франко и Павликом.[44]

Заканчиваю свои варшавские воспоминания этим экскурсом в область галицийских воспоминаний, потому что последние имеют отношение к одной из задач, какие я ставил своей деятельности в Варшаве. Я всегда был врагом всякой национальной исключительности и розни, всякого квасного патриотизма, шовинизма и т. п., всегда мечтал в духе завета Мицкевича о времени, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся», всегда в особенности думал о необходимости русско-польского «примирения». Мое политическое поведение в Варшаве определилось этим настроением, а между тем я видел, что в Варшаве русские люди только и делают, что всячески теснят поляков и своей некультурностью позорят русское имя, к чести которого я не мог быть равнодушным на чужбине. Вот почему я искренне радовался, когда был избран членом-корреспондентом Краковской Академии, когда краковские профессора собрались у Гавелки по-приятельски провести вечер в моем обществе, когда во Львове чествовали меня банкетом. В варшавские времена съездить в Галицию я не решался. Когда в 1879 или 1880 году в Кракове праздновался юбилей Крашевского, я хотел было туда поехать, но мне прямо было сказано знающими людьми, что это невозможно без перспективы лишиться профессуры, а в Кракове встретить враждебный прием.

Только один русский в Варшаве действовал в духе «примирительской» политики. Это был Ник[олай] Вас[ильевич] Берг,[45] бывший лектором русского языка в университете, поэт и автор истории польских заговоров и восстаний, очень достоверной и объективной, интереснейший рассказчик о виденной им осаде Севастополя, о поездке в гарибальдийский лагерь, о пребывании в 1860 году в Сирии, о польском восстании 1863 года, которое мог наблюдать вблизи. Он был женат на польке, говорил по-польски, как поляк, прекрасно знал польскую литературу, очень хорошо перевел «Пана Тадеуша» на русский язык. Берг любил заходить ко мне в сумерки и вести свои повествования о прожитом. Он ненавидел первого ректора Варшавского университета П. А. Лавровского, называя его всегда Петрушкой, ругал «фельдфебеля» Апухтина и всю его «свору», везде подозревал шпионов и часто передавал мне, что пишут о нас галицийские газеты, бывшие в Царстве Польском все без исключения запрещенными. Сам он получал их как редактор «Варшавского Дневника», ведшегося им до самой смерти в 1884 году, который в неофициальной своей части был вполне корректным, но бесцветным при строгостях варшавской цензуры, прямо анекдотических. У Берга были в Галиции литературные связи, но на юбилей Крашевского и он не поехал. Он-то и сказал мне, что меня даже просто и не отпустили бы в Варшаве. Вступительную лекцию в университете я думал было закончить стихами Мицкевича о том, что «солнце правды не знает ни востока, ни запада», но Берг, которому я сообщил об этом своем намерении,

замахал руками: «Что вы, что вы, душенька! Вы не знаете наших нравов, наших порядков».

Однажды, зашедши в клуб почитать русские газеты, я нашел в одной из петербургских газет известие о смерти петербургского профессора новой истории В. В. Бауера;[46] не заходя посоветоваться с женой, стремившейся из Варшавы, я пошел к попечителю учебного округа просить отпуск в Питер, объявив ему прямо о цели моей поездки — посмотреть, нельзя ли будет занять место покойного Бауера. Отпуск мне был разрешен. «Не смею, — сказал Апухтин, — удерживать, государь мой, потому что рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше». Когда мой переход был разрешен, в Варшаве стали говорить в связи с незадолго перед тем совершившимся изгнанием Ришави, что и я, собственно, тоже был выжит попечителем. Ему почему-то не хотелось, чтобы так думали, а потому он сам пожелал быть на данном мне товарищами прощальном обеде, где держал себя очень просто и благодушно. Это был Татьянин день 1885 года.

Глава девятая

В ПЕТЕРБУРГЕ НА ИСХОДЕ XIX ВЕКА

Моя женитьба. — Семья моей жены. — Периоды петербургской жизни. — Причины неведения мною дневника. — Обстоятельства моего перехода в Петербург. — Мое поступление преподавателем в Александровский Лицей.— Моя приват-доцентура в университете и вступительная лекция. — Анекдотический попечитель учебного округа. — Приглашение читать лекции на Высших Женских курсах. — Мое преподавание и связанные с ним печатные труды. — Различия между студентами, курсистками и лицеистами. — Лицейское начальство. — Университетские порядки по уставу 1884 года. — Искажение общего характера историко-филологического факультета. — Высшее над университетом начальство. — Реакционный ректор. — Смерть отца. — Мои семинарии и ученики. — Коллеги по историческому преподаванию. — Участие в общественной жизни и личные знакомства. — Историческое общество при университете. — Работы по вопросам самообразования. — Мой личный секретарь девяностых годов. — Студенческие чаепития. — Раскол в студенческой среде во второй половине девяностых годов. — Один мой доклад в Москве. — Юношеский догматизм в студенческой среде.— Случай клеветнического навета на меня. — Мое участие в третейских судах. — Шпионаж и конспираторство. — Печатные труды второй половины девяностых годов. — Моя опасная болезнь. — Студенческие волнения девяностых годов. — Студенческая история 1899 года.

Когда я расставался с Варшавой, я был nel mezzo del cammin di mia vita,* потому что мне шел уже тридцать пятый год. В Варшаву я приехал холостым, выехал женатым и даже имел уже сына. Женился я, однако, не в Варшаве, да и сын родился не там, а в родной Москве.

* На половине моей жизни и в зрелом возрасте (итал. — *В. З.*).

Выше я ничего не говорил о своих сердечных делах в молодые годы, потому что как-то вообще на этот счет был очень скрытен еще в детстве, когда был довольно влюбчив. Потом подростком, до студенческих лет, был большим ригористом в этом отношении, а в студенческие годы были некоторые мимолетные увлечения, серьезный же роман у меня был только один, когда мог считать себя уже женихом одной из своих кузин, но мы, к счастью, не сошлись характерами и скоро охладели друг к другу, разошлись без всякой ссоры.

Приезжая из Варшавы в Москву на святки, я останавливался или у университетского своего товарища В. А. Андреева, или у учителя своего Е. В. Белявского. Однажды он предложил мне съездить с ним к его товарищу по преподаванию Андр[ею] Леонард[овичу] Линбергу, с которым я был немножко знаком и раньше. При этом Белявский сказал мне, что в семье Линберга есть барышни-невесты. Семья мне очень понравилась, я стал в нее заглядывать довольно часто, приезжая в Москву, и посетил эту семью на даче под Москвой. По летам я любил недели на две из Аносова, где усиленно работал, прокатиться до Москвы и погостить день-другой у кого-нибудь из хороших знакомых, особенно у Корелина, в то время бывшего уже женатым. В августе 1881 года я был уже женихом, в ноябре — мужем второй дочери Линбергов, Софьи.

Мой тесть, семья которого состояла из жены и пяти дочерей, был большим работником. Он являлся одним из наиболее видных в Москве преподавателей географии, устроившим образцовый географический кабинет в Николаевском сиротском институте. Изданные им у Брокгауза в Лейпциге учебные атласы были в большом ходу, отличались изяществом и сравнительною дешевизною. Издавал Андрей Леонардович потом и стенные карты, печатал равным образом и учебники. Как человек он пользовался всеобщим уважением и любовью всех, кто близко его знал. Необычайно деликатный, мягкий, с прогрессивным образом мыслей, он сразу расположил и меня к себе, так что мы скоро сделались друзьями, перешли на *ты* и очень часто встречались. В Москве я стал после женитьбы останавливаться у Линбергов, да и тесть нас навещал и в Варшаве, и в Аносове, позднее и в Петербурге, бывал также с обоими нами или с одним мною за границей, куда однажды ездил с ним в Лейпциг, вознамерившись издать при его сотрудничестве исторический атлас, что не осуществилось, может быть, только из-за смерти тестя. Мужем он был образцовым, отцом очень нежным.

После нашего брака моя теща, Марья Васильевна, прожила только десять лет. Это была женщина очень болезненная, но бодрая и веселая, любившая молодежь, очень притом добрая, потому и с нею я жил душа в душу. Тесть и теща даже звали меня уменьшительным именем, как родного сына. Старшая их дочь, Анна, в восьмидесятых же годах вышла замуж за моего

двоюродного брата О. П. Герасимова, имя которого я уже не раз упоминал выше, и с ними у меня образовалась особая дружба, а третья сестра жены, Вера, часто гостила у нас и в Варшаве, и в Петербурге. Младшие сестры (Елена и Лидия) были еще девочками.

Как только я сделался женихом, родители мои приехали в Москву знакомиться с моей невестой и ее родней. Будущая жена моя понравилась им обоим, а матери было особенно приятно, что новая невестка носила имя Софья. Дело в том, что когда моя мать была беременна братом, то очень желала рождения дочери и даже видела во сне свою мать, которая велела ей назвать новорожденную Софьей. Случилось притом, что брат мой, женившийся четырьмя годами раньше меня, имел тоже жену с этим именем. В этом совпадении моя мать, верившая в разные приметы, видела доброе предзнаменование.

Обвенчавшись, мы в тот же день укатили из Москвы в Варшаву, откуда часто уезжали в Москву и где нас посетили и тесть, и мои родители и гостила сестра жены Вера. В 1882 году мы съездили за границу, в 1884 году побывали в Крыму и в Одессе во время Археологического съезда.[1] Жена в Варшаве очень скучала и была несказанно рада, когда я ей неожиданно объявил, что намерен ехать в Питер хлопотать о переводе туда. В Петербург мы переселились в середине января 1885 года.

Женитьба и переселение в Петербург были двумя важными переменами в моей судьбе. До этого переселения моя жизнь, так сказать, удобно расчленивается на периоды по местам жительства: московский период — на годы гимназические, студенческие и учительские, а теперь начался сплошной петербургский период, в котором разве только и можно различать первое мое профессорство в университете от 1885 до 1899 года, годы изгнания из университета (1899—1906) и второе профессорство с 1906 года, в каковом году я и был членом I Государственной думы, — коротенький эпизод, когда я принял скромное участие в политической жизни.[2]

Здесь в моей памяти начинается некоторая хронологическая путаница насчет того, что было раньше, что позже, в каком году что случилось, и даже, как произошло то или другое, я не всегда отчетливо помню. С летами моя память стала ослабевать, да и рассказывать то или другое из моих воспоминаний так часто не приходилось, как, например, эпизоды из варшавской жизни, которыми я многих занимал до переселения в Петербург. Сколько раз мне приходилось жалеть, что я не вел дневника: дневник мог бы быть такой надежной опорой для моих воспоминаний, не говоря уже о том, что сам по себе имел некоторую ценность (как, положим, хотя бы дневник Никитенки[3]). Почему, в самом деле, я не вел дневника, который начинал было в детстве? Почему? Да потому, во-первых, [что] в известном возрас-

те мне казалось это сентиментальностью, приличной разве только наивным институткам и пансионеркам. Вообще, далее, я был всегда скрытен и не хотел, чтобы кому-либо когда-либо попадались мои записи интимных переживаний, а когда же у меня завелись политические мысли и нигилистические знакомства, считал и небезопасным записывание многого при тех полицейских обысках, которые были столь обычным бытовым явлением. В более зрелом возрасте, при всей напряженности деятельной жизни, и мысль в голову о дневнике даже не приходила. А между тем, какое это было бы подспорье для воспоминаний! Самое писание воспоминаний при отсутствии обильных записей мне казалось невозможным, хотя меня некоторые близкие люди давно убеждали их писать. Вот только теперь, летом 1921 года, когда я очутился в Аносове без определенной работы и без большого количества книг, я решился подвергнуть экзамену свою память и мысленно пережить с пером в руках, имея перед собой бумагу, пережитое за семь десятков лет. Как раз в середине этого длинного промежутка времени, дальше которого лишь немногие остаются в живых, я переселился из Варшавы в Петербург.

Это произошло в момент введения в университетскую жизнь устава 1884 года,[4] которым отменялась университетская автономия — выборная профессура. Переход мой в Петербургский университет от его профессоров более не зависел. Те, у кого из них я побывал, чтобы заявить о своем желании, говорили, что все теперь в руках министра, а им был Ив[ан] Дав[ыдович] Делянов.[5] Пошел к нему и поставил перед ним вопрос о своей кандидатуре, и из первых же слов узнал, что, кроме меня, есть еще два конкурента: Лучицкий и Трачевский. Делянов стал расспрашивать, что заставило меня оставить Варшаву: «Поляки заели?». «Нет», — отвечаю, — на поляков пожаловаться не могу, а вот сами там себя едим: многие свои же недовольны мною, находя меня „полякующим", я же не чувствую себя способным вести иную политику». Делянов ухватился было за эту мою неосторожную фразу, чтобы что-нибудь у меня выведать, — охоч был хитрый армянин до сплетен, — но я уклонился от разговора на эту тему. По моему делу Делянов мне сказал, что пока он сам не знает, как будут на практике осуществляться подробности нового устава, но все-таки взял у меня мой петербургский адрес.

На другой или на третий день в гостиницу у Исаакия, где я остановился, является ко мне инспектор Александровского Лицея Н. М. Коркунов, молодой человек лет тридцати, и сообщает мне, что покойный профессор Бауер, кроме университета, преподавал и в Лицее, что, ища ему преемника, директор этого учебного заведения обратился за советом к министру народного просвещения (Лицей не был в его ведомстве) и что министр сообщил директору о временном пребывании в Петербурге та-

кого-то варшавского профессора, желающего перебраться в Питер. Коркунов прибавил к этому, что места в Лицее ищет еще профессор Трачевский, тоже находящийся в Петербурге, но что все будет зависеть от избрания в Совете Лицея. Вопрос ставился так: предъявлю ли я свою кандидатуру? Я просил дать мне день-другой, чтобы подумать, и, узнав адрес Трачевского, съездил к нему и предложил ему разделить между собою полюбовно наследие Бауера: я же не буду ставить своей кандидатуры в Лицее, где выборы предполагаются на днях, а мне он пусть не мешает в университете, где еще бог знает когда кафедра будет замещена. Трачевский отклонил мое предложение и, очевидно, думая, что его положение по отношению к обоим учебным заведениям прочно, выразил мне сожаление, что мне не удалось устроиться в Петербурге. Видя вместе с тем, что дело с университетом у меня, пожалуй, еще и не выгорит, а в Варшаве же я все-таки оставаться не хочу, я, после такого ответа Трачевского, дал свое согласие на выставление кандидатуры своей хотя бы в Лицее. Еще во время моего временного пребывания в Петербурге или вскоре после возвращения моего в Варшаву я был избран преподавателем старшего (университетского) курса в Лицее с обязанностью читать пять часов в неделю лекции по новой истории. Бауер касался в своем курсе и русской истории XVIII и XIX веков, но теперь ее выделили в особый курс, который несколько времени спустя был поручен В. И. Семевскому.[6]

В январе 1885 года я прочитал в Лицее вступительную лекцию, ровно через двадцать лет, помнится, день в день, после поступления моего в гимназию. В этом учебном заведении я преподавал двадцать два года, оставаясь в нем даже после изгнания моего из университета и из Высших Женских курсов в 1899 году. Это было привилегированное учебное заведение, в котором воспитывались сыновья разных сановников и богатых дворян, но в нем совсем не было полицейского духа, а преподавание находилось в руках прогрессивных профессоров юридического факультета.

Вопрос о замещении университетской кафедры между тем затормозился. Некоторые профессора (особенно В. Г. Васильевский,[7] известный византивист; О. Ф. Миллер,[8] читавший русскую литературу; Е. Е. Замысловский,[9] профессор русской истории) относились к моей кандидатуре очень сочувственно, но министерство медлило принимать какое-либо решение. Тогда, пользуясь широким правом введения в университете, по уставу 1884 года, приват-доцентуры, я решился открыть с осени 1885 года на историко-филологическом факультете приват-доцентский курс. Утверждение в этом звании зависело от попечителя учебного округа, а им тогда был весьма анекдотический И. П. Новиков[10] (муж известной публицистки, урожденной Киреевой). В своем прошении, посланном летом из Смоленской губернии с указанием на тамошний адрес, я назвал себя только доктором

всеобщей истории, не упоминая о своем лицейском преподавании, и вот Новиков замедлил с утверждением моей приват-доцентуры, начав наведение обо мне справок у смоленского губернатора, который обо мне, конечно, ничего не знал. Произошла волокита, прекратить которую я мог только личным обращением к Новикову. Генерал (он ходил в военной форме), узнав, что я преподаю в Лицее, тотчас же меня утвердил. Он спросил при этом, какой курс я буду читать. Я назвал религиозную реформацию XVI века. «Но, — сказал он мне, — надеюсь, что вы будете рассматривать реформацию с православной, а не протестантской точки зрения». Я отвечал, что ни с той, ни с другой. «Неужели же вы католик?» — спросил меня он тогда. Я стал тогда говорить генералу о культурно-исторической точке зрения, об объективности науки, о недопустимости в ней тенденциозности. Он внимательно меня выслушал, но прибавил: «Едва ли все это верно, а впрочем, ваше дело, не забывайте, что вы православный и живете в православном государстве». На моей вступительной лекции генерал тоже был, а потому я счел нужным закончить свою лекцию повторением своих слов об объективности настоящей науки и о ненаучности в ней предвзятых взглядов. К сожалению, бывший на лекции В. И. Семевский понял эти слова в смысле желания с моей стороны сказать нечто приятное начальству... Свое впечатление, должно быть, он передал Михайловскому. По крайней мере, когда моя лекция была напечатана в «Русском Богатстве» (еще под редакцией Л. Е. Оболенского[11]) и вышла отдельной брошюрой, Михайловский, помнится, где-то прошелся по поводу данного места моей лекции. Это меня огорчило, тем более что недоразумение не сразу разъяснилось.

Чтобы не возвращаться к анекдотическому Новикову, упомяну о других моих встречах с ним. Уже в 1886 году он был у меня на лекции. Я, помню, читал о том, как феодальная королевская власть во Франции постепенно превращалась в абсолютную монархию. Прослушав лекцию, попечитель, уже в коридоре, откровенно мне сказал, что что-то плохо понял, и вполне успокоился лишь тогда, когда я ему сказал, что для него все было бы ясно, если он был бы знаком с моей предыдущей лекцией. Как-то позднее я вздумал прочесть публичную лекцию о причинах падения Польши. Разрешение зависело от попечителя, и вот он приглашает меня явиться к нему. Являюсь, думая, что будет политический разговор. Ничуть не бывало. «Вы хотите читать о причинах падения Польши?» — «Совершенно верно». — «Но зачем же о причинах, а не просто о самом этом событии?» Я ответил ему ссылкою на задачу исторической науки в смысле искания причин того, что происходило, но он недовольным тоном мне возразил: «Меня нечего учить, все это я слышал, но, согласитесь, что это ни к чему». «Однако, — заметил я, — так человеческий ум устроен». «Да, — подтвердил он, — но это же

ненормально. Ведь, указав на те или иные другие причины, захочешь искать их причины и вот дойдешь до Бога, да, пожалуй, станешь его отрицать. А как быть без Бога? Все равно, что в море без компаса. А, впрочем, я это только так: хотите читать о причинах, ну и читайте».

Встретились мы еще в Москве на вокзале Николаевской железной дороги. Новиков был с нумером «Московских Ведомостей» в руках и спросил меня, знаком ли я с только что напечатанной программой по истории для государственных экзаменов. Я ответил утвердительно. «И вы одобряете?» — спросил он. Программа, принадлежавшая Герье, была мне уже знакома, и я находил ее вполне приличной, а потому ответ мой был опять утвердительный. Последовал новый вопрос: «И вы будете читать о Монтескье, Мабли и Руссо?» «Не только буду, но уже читал», — сказал я. Новиков почмокал губами и провещал: «Что такое Мабли, я не знаю, но о Руссо не советую читать, а вот, пожалуй, о Монтескье можно, я сам придерживаюсь его в своих размышлениях». Звонок прервал этот любопытный разговор.

Наконец, однажды я был вызван к попечителю официальной бумагой, как было вызвано до меня еще пять-шесть профессоров. Дело заключалось в доносе, что на студенческой вечеринке в день университетского акта мы говорили речи непозволительного содержания. Новиков объясняет мне, почему он меня пригласил, и просит рассказать, что было на вечеринке. Я осведомился, являюсь ли я перед ним в качестве подсудимого или свидетеля, но он ограничился только указанием на то, что он допрашивает не по своей инициативе. Я передал ему вкратце содержание своей речи. «А что говорил профессор Фойницкий?» — полюбопытствовал он. «Я думаю, — отвечал я, — что профессор Фойницкий мог бы точнее вам сказать, чем я». — «Но я его уже спрашивал». «В таком случае, — заметил я, — ничего прибавить нового не мог бы». «Как же приняли вашу речь?» Говорю ему, что студенты меня качали, и генерал стал расспрашивать, что испытывает качаемый, прибавив, что никогда не дозволял себя качать мужикам, когда он угощал их водкой в своем имении. В заключение он просил меня свое показание изложить письменно и прислать ему, прибавив, что у него уже есть несколько таких показаний. Я иронически заметил, что это будет интересный материал для будущего историка. «Ну, — добродушно, не поняв иронии, сказал Новиков, — какой же это исторический материал?» Еще передавали мне, что после моей речи на акте Высших Женских курсов о развитии идеи прогресса он обратился к бывшему тоже на акте ректору Духовной академии, епископу Антонию (впоследствии митрополиту) с неудовольствием на то, что я как будто симпатично говорил о древнехристианских и средневековых еретиках — хилиастах, но духовная особа мою речь стала защищать (позднее статью на эту тему

я напечатал в «Северном Вестнике» и перепечатал в одном сборнике своих статей[12]).

Ровно через год после начала чтения лекций в университете я был приглашен читать лекции на Высших Женских курсах (Бестужевских, как их тогда называли), а в самом конце 1886 года (когда у нас родилась дочь) я был утвержден экстраординарным профессором университета по неофициальному представлению факультета, которому сие было разрешено министром. Таким образом, я читал лекции одновременно в университете (6 часов), на Высших Женских курсах (2—3 часа) и в Лицее (5 часов), везде по новой истории, сделавшейся теперь моей главной специальностью.

Через семь лет после начала моего преподавания в Петербурге и через четырнадцать после первой моей университетской лекции, бывшей в Москве, я приступил к печатанию своей «Истории Западной Европы в новое время», первый том которой появился в 1892 году, а последний, седьмой,— в 1917 году, так что в общей сложности между первым и последним томами прошло двадцать пять лет. Лишь временно, по поручению факультета, я читал элементарный курс истории Древнего Востока в университете, да средние века и в университете и на Высших Женских курсах, чтобы заменить уехавшего за границу И. М. Гривса.[13]

Случалась еще надобность прочесть один лишь полугодичный курс в Лицее. В. И. Семевский вынужден был покинуть Лицей после доноса на его неблагонадежность, сделанного в реакционном «Гражданине» кн. Мещерского. Меня просили взять на себя временно преподавание русской истории, а я прочел небольшой специальный курс о падении Польши, историей которой тогда занимался, составляя историографический труд по этому вопросу. Вообще в первые годы в Петербурге я продолжал начатые в Варшаве занятия польской историей. Между прочим, я предложил в университете тему на золотую медаль «Крестьянский вопрос в Польше в эпоху ее падения». На нее написал работу (потом напечатанную) и получил за нее золотую медаль бывший тогда еще студентом Вен[едикт] Ал[ександрович] Мякотин,[14] принимавший участие и в редактированном мною переводе «Истории Польши» Бобржинского. После Семевского русскую историю в Лицее преподавал С. Ф. Платонов,[15] а когда он ушел, то по моей рекомендации преемником его сделался Мякотин, с которым я очень тесно сблизился.

Так протекала моя преподавательская деятельность в трех учебных заведениях: в Александровском Лицее, исторический очерк которого за третью четверть века его существования (1861—1886) был мною составлен по поручению его Совета,[16] двадцать два года без перерыва, а в университете и на Женских курсах с семилетним перерывом (не считая еще одного годичного перерыва на Женских курсах при их преобразовании).

Преподаватели везде были, большей частью, общие: юристы — у университета и у Лицея, словесники, историки, математики и натуралисты — у университета и на Высших Женских курсах, своих же, специально лицейских или курсовых, было сравнительно мало. Больше различия было между учащимися, слушательницы курсов были на первых порах подготовлены к научным занятиям заметно меньше, а потому больше, чем студенты, напоминали школьниц, но мало-помалу это различие сгладилось, так что «курсистки» начала XX века уже были настоящими студентками. Лицеисты старшего (университетского, как его называли) курса в среднем возрасте были моложе студентов летами и больше напоминали учеников средней школы, заставляя профессоров поддерживать в аудитории дисциплину призывами к порядку. Кроме того, настроение лицеистов было более консервативное, хотя в конце XIX века и на историко-филологическом факультете было немало националистов, несочувственно относившихся к моему западничеству и либерализму.

В первые же годы разница между студентами и лицеистами была мне ясна. Вот характерный ее пример. И в университете, и в Лицее мои лекции записывались кем-либо и потом составлялись для литографирования. Читал я, между прочим, о первой английской революции, разумеется, в одном тоне и здесь и там. И вот в студенческой записи, отданной мне на просмотр, читаю фразу, наполовину не принадлежащую мне: «Слишком долго церемонились с Карлом I, но в конце концов отрубили ему голову. А снявши голову, по волосам не плачут: на другой день после отмены королевской власти уничтожили и палату лордов». Мне пришлось объяснять составителю, чтобы в записях моих лекций не было никакой, что называется, отсебятины, но это была отсебятина радикальная, тогда как составитель моих лекций из лицеистов включал в нее отсебятину благонамеренную. «Следуя, — написал он, — верноподданническим заветам своих благородных предков и чувству долга перед монархом, дворяне грудью стали за своего короля». Пришлось опять разъяснять, что сочинительствовать не следует, тем более, что верноподданность в данном случае была плохого свойства, раз один король был даже посажен на раскаленный железный кол, и что в войне с Карлом I принимала большое участие английская джентри.

Впрочем, большинство лицейского состава учащихся было довольно аполитично. Только в 1905—1906 годах разыгрались среди лицеистов дворянские страсти, когда на общем товарищеском обеде 19 октября 1906 года, или 1907 года, в годовщину Лицея, воспитанники вытолкали на двор одного бывшего лицеиста, осмелившегося предложить тост за здоровье Муромцева, тоже читавшего в Лицее лекции, и мое как бывших членов Г[осударственной] д[умы]. Одна из причин, заставивших меня покинуть это учебное заведение, заключалась во враждебном от-

ношении ко мне довольно многих воспитанников. В общем, однако, при встречах, старые лицеисты были обыкновенно рады поговорить со своими бывшими профессорами.

Среди учебных заведений старого порядка Александровский Лицей занимал особое место. Он не числился ни за одним ведомством, а был подчинен особому попечителю, который по делам Лицея имел доклад непосредственно у императора. Обыкновенно, но это не было общим правилом, этот попечитель был главноуправляющим ведомством императрицы Марии, с которым Лицей был связан в отношении денежного контроля. В сущности, Лицей стоил казне лишь восемьдесят тысяч рублей в год, шедшие на содержание ста казенных стипендиатов, а существовало материально это учебное заведение на очень высокую плату своекоштных воспитанников. Попечители посещали лекции изредка, являясь большей частью только на экзамены и на вступительные лекции, мало распоряжались непосредственно, так что Лицей как бы управлялся сам собою с широкими правами небольшого по составу Совета, членом которого под конец моего пребывания здесь был и я. Директоров при мне было последовательно четыре: Н. Н. Гартман, Ф. Ф. Врангель, Ф. А. Фельдман[17] и А. П. Саломон. Первый и третий умели поддерживать в Лицее порядок и дисциплину, не превращая его в «дортуар в участке», но при втором и четвертом в заведении была страшная распущенность, делавшая неприятным чтение в нем лекций. Последний директор очень меня недолюбливал, как не любил и Мякотина за направление его лекций. Мне рассказывали, что он указывал попечителю (Ермолову, который был одно время министром земледелия) на либерализм кого-то из преподавателей, как на нечто опасное для воспитанников. «Успокойтесь, — сказал тот, — наши застрахованы; их ничем не проймешь». Как бы там ни было, за двадцать два года моего пребывания в Лицее от начальствующих лиц я не имел ни малейших неприятностей, а двое, как я расскажу дальше, даже отнеслись ко мне как нельзя лучше, когда я был изгнан из университета.

Середина восьмидесятых годов в жизни университета была временем жесточайшей реакции. Устав 1884 года отменил выборы профессоров, деканов и секретарей факультетов и ректора, ограничил прежнюю власть Совета, увеличив попечительскую, учредил должность инспектора студентов, поставленную в двусмысленное положение по отношению к ректору по непосредственному подчинению инспектора попечителю и т. п. Над студентами в здании университета был учрежден строгий полицейский надзор субинспекторов и педелей. Не знаю, с самого ли начала так было, но потом существовала секретная комната, где висели фотографические карточки студентов (таковые прикладывались в трех экземплярах к прошению о приеме), а педели время от времени сдавали экзамен по этим карточкам в знании,

какая фамилия соединена с какой физиономией. Соблюдение введенной по уставу 1884 года формы неукоснительно требовалось: за то или другое отступление делался выговор, пришедшего в партикулярном платье не впускали в здание университета, были и случаи отсидки в карцере. У каждого студента было свое место на вешалке верхнего платья, так что педели могли проверять, кто ходит и кто не ходит на лекции. Введение особого гонорара в пользу профессоров повысило плату за учение. Студенчество присмирело.

В преподавании на историко-филологическом факультете была произведена полная ломка. Все студенты должны были быть прежде всего классиками. Вопреки обещанию устава относительно нескольких планов прохождения курса, министерство предписало для всех один. Из 18 обязательных для студентов часов в неделю 14 приходилось на классические языки, древнюю историю, древнюю литературу, древнюю философию, древнее искусство, — всего в четыре года 56 часов, а на все остальные предметы по 4 часа, что в четыре года составляло только 16 часов, причем одни студенты должны были слушать исторические предметы, другие — филологические. При таком порядке дел на общий курс новой истории отводилось или два часа в одном году, или четыре в одном полугодии (а в Лицее я имел пять часов!). Число студентов историко-филологического факультета сразу сильно упало, потому что усиленный толстовский классицизм успевал набить оскомину еще в гимназии. Творцом всех этих мер был председатель Ученого Комитета А. И. Георгиевский,[18] деятель и гимназической реформы 1870 года.

Возглавлял ведомство народного просвещения И. Д. Делянов, занимавший пост министра с 1882 года до самой своей смерти в конце 1897 года, когда ему было уже почти восемьдесят лет. Человек очень лукавый, но прикидывавшийся добродушным простаком, по природе не злой и по личному почину, пожалуй, не делавший пакостей, но угодливый по отношению к влиятельным лицам, к числу которых относил своего же директора департамента Аничкова, Делянов был очень доступен и приветлив. Чуть не с восьми часов утра в приемной комнате его квартиры, в доме Армянской церкви на Невском, начинали собираться посетители, а в девять часов начинался и самый прием в кабинете министра, очень приветливо и благодушно выслушивавшего всех и старавшегося каждому пообещать, обнадежить его, да и на самом деле часто исполнявшего свои обещания.

Кроме уже переданного выше моего разговора с Деляновым при переходе моем в Петербург, были у меня с ним и другие разговоры. Раз после какого-то диспута в университете подходит он ко мне и спрашивает, прочитал ли я статью Кояловича о переведенной под моей редакцией польской истории Бобржинского (статья была доносительная). Я отвечал утвердитель-

но и прибавил, что статья очень тенденциозна. «Да, — сказал Делянов, — любит Михаил Осипович экзажерировать, ох, как любит экзажерировать, но вот и я захотел прочесть книгу, послал ее купить, да нигде не нашли: все лучше самому знать, если меня спросят». Я ответил, что могу доставить ему экземпляр, и доставил. «А вы, — прибавил он, — лучше бы все-таки ему ответили». Делянов вообще боялся, что «его спросят», а он не знает. Однажды я объявил курс в университете под заглавием «Теория культурного процесса истории», но Делянов его вычеркнул из обозрения преподавания и заменил другим, по своему усмотрению. Я отправился к нему объясняться. «Да, да, да, — заговорил он, — помню, помню: у вас какое-то мудреное заглавие было». Я повторил заглавие. «Вот видите, — продолжал он, — я ведь не знаю, что это такое, а у меня могут спросить, я же не буду знать, что там читает профессор такой-то, войдите в мое положение». «Так выходит, — спросил я, — что вас смущает только название курса?» — «Да, да, название, название: „культурный", „процесс", как там еще?» — «Значит, — заключил я, — под другим названием я могу читать этот курс?» «Да, все дело в названии. Читайте, что хотите, только чтобы не было повода меня спрашивать: а что такое читает „этот профессор... культурный!.. процесс!.."» Я назвал курс исторической энциклопедией, и он был спасен.

Не помню, когда и по какому делу я был у Делянова, когда он меня спросил, читал ли я исторические учебники Трачевского. Не желая пускаться в их оценку перед Деляновым, если бы он спросил, какого я о них мнения, я сказал, что не пришлось. «Он, — начал Делянов, — право, иллюминат какой-то, и на нас обижается, что мы не даем одобрения его учебникам. Что у него о пророках сказано! Прямо они у него выходят какими-то фантастами и болтунами. Еще в ученой диссертации такая вольность позволительна, но не в учебнике! Одобри ученый комитет министерства его учебники, я ведь был бы в ответе, когда святейший синод обратил бы на них внимание: ведь просто меня по шапке погнали бы с министерской должности. А он обижается!»

Приходилось мне раза два-три ходатайствовать перед Деляновым о своих учениках. За одного (Евгения А. Соловьева), добровольно уехавшего в Якутскую область, взявшего большие подъемные и обязавшегося прослужить там сколько-то лет, нужно было просить, чтобы его до срока перевели в Европейскую Россию, а о другом (М. Г. Васильевском, студенте), чтобы ему можно было по болезни отложить некоторые экзамены до осени, и т. п. Обе просьбы он обещал исполнить, спросивши только о первом, не «завиральные» ли у него идеи, и просьбу исполнил, а вторую не исполнил. Мой protégé поехал в Крым лечиться, вполне уверенный, что экзамены ему отложат, как то обещал Делянов, а на поданное им прошение последовал отказ. Я пошел

к Делянову, указал ему, в какое ложное положение он меня поставил и перед студентом, и перед факультетом, которому я сообщил, что министр разрешил отсрочку экзамена и т. п. Ректор (П. В. Никитин) советовал мне не уходить от Делянова, не получив от него разрешения не на словах, а на записочке к нему, ректору. Я так и сделал: хоть и поворчавши немного, все-таки записочку Делянов мне дал.

В сущности, Делянову одинаково было мало дела до всего: он только угождал. Ему пришлось проводить в Государственном Совете устав 1884 года и приводить его в исполнение. Я приехал в Петербург когда, как я упомянул, только что началось его осуществление. Бывший попечителем округа еще в конце 1884 года известный юрист Ф. М. Дмитриев,[19] московский профессор шестидесятых годов, вышел в отставку и был заменен Новиковым, о котором сам Делянов, вертя пальцем у лба, говорил, что у него в голове не все дома. Прежние выборные деканы ушли, и деканом историко-филологического факультета сделался М. И. Владиславлев,[20] профессор философии, натура довольно грубая, автор «Психологии», в которой, между прочим, степень уважения или пренебрежения к человеку измерялась высотою получаемого им дохода, о чем тотчас же заговорили в прогрессивной печати.

Лишь один выбранный в 1883 году ректор И. Е. Андреевский,[21] принадлежавший к либеральным профессорам, оставался на своем посту, стараясь смягчить приведение в действие нового устава, им порицавшегося. Но как раз в его ректорство произошло так называемое второе «первое марта», когда было предупреждено покушение на жизнь Александра III, в котором участвовали студенты Петербургского университета. Ловкий Андреевский тотчас же устроил в Актовом зале университета собрание учащихся и учащих, где произнес патетическую речь, встреченную несколькими шиканиями и свистками в студенческой среде.

В новом учебном году ректором уже был Владиславлев, представивший, как тогда говорили, в высшие сферы записку о мерах к оздоровлению университета. Слухи об этой записке были самые чудовищные. Но и без слухов деятельность Владиславлева обозначилась в самом репрессивном направлении. Основанное в попечительство Дмитриева студенческое научно-литературное общество было закрыто. Закрыта была и студенческая читальня. Полицейские меры инспекции были усилены. В первом же заседании Совета Владиславлев разразился такой речью против поведения профессуры, что ответом на нее был формальный протест, подписанный, сколько помнится, двадцатью восемью членами Совета (я был в их числе). Не знаю, было ли это уже при Владиславлеве или перед его вступлением в должность, но только множество студентов, найденных неблагонамеренными, было исключено из университета и выслано из Пе-

тербурга. Вполне в духе нового ректора действовал и инспектор студентов Цивильков. Ректорство Владиславлева (1887—1890) было очень мрачным временем в истории Петербургского университета.

1887 год памятен мне еще потому, что осенью умер мой отец. Получив известие о его тяжкой болезни, я поехал в Аносово, но едва, по окончании срока кратковременного отпуска, вернулся домой со слабой надеждой, что больной протянет до святок, как получил телеграмму о его кончине и снова съездил [теперь уже] на похороны, происходившие в Муравишниках. Через несколько времени, устроив свои дела и сдав Аносово в аренду соседним крестьянам за баснословно малую плату, лишь бы было кому охранять дом для летних наших приездов и иметь тогда коров и лошадей, моя мать приехала к нам в Петербург и уже не расставалась с нами до самой своей смерти в 1913 году. В 1888 году я сам очень захворал. Думал, что это была болезнь сердца, так как припадки (иногда во время лекций), напоминавшие грудную жабу, сопровождались страхом внезапной сейчас же смерти, к чему еще присоединялась бессонница с неврастеническим самочувствием. Мой московский приятель П. И. Боков нашел, что во всем виновата главным образом моя печень, и посоветовал мне поездку в Карлсбад, которая летом 1889 года действительно меня совершенно обновила. После 1882—1883 года это была первая поездка в чужие края. Конечно, я не миновал Парижа, где была Всемирная выставка по случаю сотой годовщины Французской революции.

В эти и ближайшие последующие годы (1885—1891) я напечатал перечисленные выше работы по польской истории,[22] две большие книги «Литературная эволюция на Западе» (1886) и «Сущность исторического процесса и роль личности в истории» (1890) и ряд брошюр и статей, подготовляя постепенно материалы для своей «Истории Западной Европы в новое время». С первых же лет преподавания в Петербургском университете я стал вести практические занятия преимущественно по французской и по польской истории. С первых же лет я стал приобретать учеников. Одним из первых был А. М. Ону,[23] которого мальчиком лет двенадцати я видел еще в Париже, где мать его, жена одного из наших дипломатов в Константинополе, жила во время войны с Турцией в 1877—1878 гг. Я хотел предложить Ону к оставлению в университете, но едва я об этом заикнулся, как Владиславлев решительно заявил, что он этого не допустит, что если бы даже Ону прошел в факультете и в Совете, в чем Владиславлев, однако, сомневался, то министерского утверждения такого постановления не последовало бы. Дело в том, что мой кандидат участвовал в студенческих беспорядках. Занимался у меня Ону французскими наказами 1789 года. Своих занятий этим предметом он не оставлял и впоследствии. Его служба в Государственной канцелярии с продолжительными летними

вакациями позволяла ему ездить часто во Францию, где он и продолжал заниматься своею темою в Национальном архиве. Когда его работа достаточно подвинулась вперед, то стала частями печататься в «Журнале Министерства народного просвещения», а кое-что из нее появилось и в «La Révolution Française» Олара. В сильно переделанном виде труд Ону вышел в свет уже в нашем столетии большим томом. Можно сказать, что и во французской литературе до того не было такого обстоятельного критического исследования о наказах 1789 года как об историческом источнике. Если бы Ону был уже магистрантом, т. е. был выдержавшим магистерский экзамен, ученая степень магистра была бы дана ему совершенно заслуженно. Когда он представил свой труд в Академию наук на одну из премий, Академия обратилась ко мне за отзывом, но я не счел возможным взять его составление на себя, так как книга была посвящена мне. Блестящий отзыв о ней был дан Лучицким.[24] Перед самой революцией Ону был допущен в университет в качестве приват-доцента как «известный ученый».

Французскими наказами занимались у меня и другие, так что я объявил о них тему на золотую медаль. Писало на эту тему, помнится, трое, из которых двое были предложены к оставлению в университете и оставлены, но оба отошли и от науки, и от своего учителя. Вообще к делу оставления при университете применимо изречение: «Много бывает званых, но мало избранных». Третьим, писавшим о наказах, был не историк, а математик Я. Д. Юделевский, еврей, уехавший за границу, в Париж, где сделался инженером и где я его посещал уже после 1910 года. Он написал несколько интересных работ по социологии, всегда мне им присылавшихся.

В числе моих учеников был Е. А. Соловьев, который почему-то вздумал закопаться в Якутск, откуда мне пришлось его вызволять, чтобы можно было оставить при университете. Магистерский экзамен он выдержал, но дальше не пошел, увлекшись журнальной деятельностью, и умер молодым, к сожалению, слишком предавшись страсти к вину. Между нами (могу сказать, не по моей вине) пробежала черная кошка. В какой-то своей статье, как мне говорили, он подверг меня сильной разделке, как говорится, под орех, но мне прямо не советовали читать этот пасквиль, чтобы себя не расстраивать лишний раз. Дабы, действительно, не огорчаться и раздражаться лишний раз, я так-таки и не познакомился с этим произведением Соловьева. Мне тем не менее искреннее было жаль этого живого, увлекающегося, талантливого человека, хотя, нахожу теперь, едва ли из него, бывшего мало склонным к усидчивой систематической работе, вышел бы ученый.

Был оставлен при университете по моей инициативе еще П. Д. Погодин (внук московского Погодина),[25] но и он отошел от науки и от меня. В довольно молодом возрасте, благодаря

близкому родству с государственным контролером Т. И. Филипповым, он сделался директором гимназии без учительского стажа, а потом попечителем Казанского учебного округа. А жаль: у Погодина не только была намечена, но и значительно подвинута вперед работа об отношении дипломатии и общественного мнения в Западной Европе к греческому восстанию двадцатых годов XIX века.

По моему же предложению был оставлен при университете и Э. Д. Гримм,[26] в 1894 году сделавшийся приват-доцентом Петербургского университета, коротенькое время читавший лекции в Казани, с 1899 года — опять в Петербурге, где уже в XX веке довольно долгое время занимал должность выборного ректора. На некоторое время (1899—1906) мы расходились, но впоследствии у нас были вполне корректные товарищеские отношения.

В конце периода (до моей отставки в 1899 г.) занимался еще под моим руководством П. П. Митрофанов,[27] который взял и тему для своей магистерской диссертации (об Иосифе II Австрийском) по моему совету (о том же написал статью и Ону). Сколько-нибудь близок с Митрофановым, отличавшимся, как, впрочем, и Погодин, консервативным образом мыслей, я не был, но ценил его как научного работника. О его магистерской диссертации, нужно сказать, переведенной по-немецки, я написал большую статью в «Журнале Министерства народного просвещения», где указал и на некоторые недостатки труда, отмеченные мною и на его диспуте. Митрофанов был отчаянный националист, напечатавший в июне 1914 года в «Prenszіche Jahrbücher» статью о ненависти русских к немцам. Она наделала много шума в германской периодической прессе. В начале 1917 года, в дни Февральской революции, он скончался, не успев защитить совсем уже бывшую готовой докторскую диссертацию о Леопольде II. Я навещал его за несколько дней перед его кончиной, когда он был уже совершенно плох.

Последним моим учеником за этот же период моего профессорства был Вад[им] Ап[поллонович] Бутенко,[28] кончавший курс уже после моей отставки. С ним я очень близко сошелся и, уходя из Лицея, рекомендовал его в свои преемники, что и было принято. Когда он поехал в заграничную командировку, его в Лицее временно замещал другой мой ученик, Ону. Во время этой командировки я дважды ездил на зимнее вакационное время в Париж и ежедневно виделся с Бутенко и его женой. Мы встречались и в Национальной библиотеке, и в Архиве, и в ресторане за обедом. При защите им магистерской диссертации о французском либерализме эпохи Реставрации я был первым оппонентом, а о самой этой диссертации написал статью, напечатанную в «Вестнике Европы». По переезде Бутенко в Саратов, где он получил в 1917 году профессуру, мы время от времени переписывались.

Мог быть у меня учеником подававший некоторые надежды,

но политически скомпрометировавший себя прикосновением к делу 1 марта 1887 года, хотя вся прикосновенность заключалась только в знакомстве с кем-то, лишь привлекавшимся к делу, но отпущенным на свободу, — очень симпатичный В. Д. Цветницкий, сначала со мной переписывавшийся с Кавказа, куда его забросила судьба и где я с ним виделся в 1891 году, в единственное посещение мной этой страны. Не знаю, жив ли он теперь, и правда ли, что он в конце концов ударился в мистику.

Таким образом, за полтора десятка лет между 1885—1899 годами у меня было несколько ближайших учеников, из которых некоторые сделались учеными и университетскими преподавателями. И в числе моих слушателей было несколько будущих ученых, в числе которых наиболее известным был А. С. Лаппо-Данилевский,[29] впоследствии известный академик по кафедре русской истории. Будучи еще студентом, он бывал у меня, да и потом наше знакомство не прекращалось до самой его смерти уже после революции. Я посвятил ему статью в специальном сборнике в его память, где вспомнил и о первом знакомстве с ним в его студенческие годы, когда мы часто беседовали о разных историко-философских и социологических вопросах. За отсутствием в университете штатного профессора русской истории, когда была готова магистерская диссертация Лаппо-Данилевского, факультет поручил мне составление о ней отзыва и назначил меня первым оппонентом на диспуте. Лаппо-Данилевский принадлежал к тому поколению петербургского студенчества, которое группировалось около научно-литературного общества,[30] закрытого в 1887 году. До его закрытия я успел побывать в нем два-три раза и познакомился с некоторыми его членами, отчасти студентами, отчасти только что кончившими курс молодыми людьми. Из числа первых назову В. В. Водовозова,[31] сделавшегося потом известным публицистом, и А. А. Кауфмана,[32] ставшего потом очень видным статистиком: с обоими я оставался потом в приятельских отношениях. А из вторых [назову] И. М. Гревса и С. Ф. Ольденбурга, бывших потом моими товарищами по профессуре, и М. И. Свешникова,[33] впоследствии, однако, перешедшего в другие общественные круги.

В том же научно-литературном обществе состоял и В. А. Мякотин, с которым [я] тогда сошелся так близко, как ни с кем. Первые мои встречи с ним были, помню, у профессора О. Ф. Миллера, председательствовавшего в упомянутом обществе. Тогда еще очень молодой студент, он мне очень пришелся по душе, а узнав, что он читает по-польски, я предложил ему принять участие в переводе на русский язык польской истории Бобржинского вместе еще с одним студентом, поляком Гриневецким. Я уже упомянул, что Мякотин получил золотую медаль за работу по истории польского крестьянства в XVIII веке, появившуюся в печати. Я был бы очень рад, если бы Мякотин сделал-

ся специалистом по новой западноевропейской истории, но он предпочел русскую, и был по этой кафедре оставлен при университете по предложению профессора Замысловского. Когда последний умер, факультет поручил мне заботиться о Мякотине, и мне удалось устроить его командировку в Киев, где он занялся историей малороссийских крестьян и очень сошелся с моим приятелем, профессором Лучицким и его кружком. Через меня же устроилось и преподавание Мякотиным русской истории в старшем курсе Лицея, продолжавшееся около десяти лет. В самом начале нынешнего столетия Мякотин был арестован, просидел некоторое время в тюрьме и подвергался на продолжительные сроки высылке из Петербурга. До этого времени мы постоянно виделись, познакомившись и семейным образом (с матерью и сестрами Мякотина), а во время его высылки я бывал у него и в Валдае, и в Сестрорецке, как посетил его и в Двинской крепости, когда он сидел в ней (1912) за какое-то литературное прегрешение. Очень близкие друг к другу, в 1905 году мы, однако, очутились в разных политических партиях. Он был одним из основателей партии народных социалистов (н. с.), не имевшей, как известно, большого количества членов.

Такова была молодая университетская компания, с которою я сблизился во второй половине восьмидесятых годов, кроме еще некоторых других, с кем, однако, не завязалось прочных связей. Во всяком случае, эта компания была мне ближе, чем мои товарищи по факультету, среди которых более других мне нравился чистотой своей души Орест Миллер и в более хороших отношениях был со своими коллегами-историками: В. Г. Васильевским и Г. В. Форстеном,[34] а также (много позднее) с В. И. Ламанским.[35] Из внеуниверситетских историков я сблизился с В. И. Семевским, которому восторжествовавшая реакция не дала читать лекции ни в университете, ни в Лицее, с директором частной гимназии Гуревичем,[36] одно время и приват-доцентом в университете, и с Е. А. Беловым,[37] уже большим стариком и несколько стародумом, но прогрессивного направления, преподававшим в младшем курсе Лицея. Все это были люди очень непохожие друг на друга, но вообще я как-то всегда отличался способностью вести компании с очень непохожими друг на друга людьми и вращаться в разных кругах. Не знаю, достоинство ли это или недостаток, и констатирую только факт.

Со многими теми же самыми людьми, часто в разных комбинациях, мне приходилось встречаться в разных общественных организациях, в которые меня приглашали или в устройстве которых я сам принимал более или менее деятельное участие. Я не мог удовлетвориться одними кабинетною работою и преподаванием и тратил массу времени на участие в разных предприятиях, посвящая им свой досуг, который у других уходил на концерты, на игру в карты или в шахматы и другие развлечения. Я работал в комитетах и обществах пособия студентам

и Литературном фонде. В первом я оставался до 1899 года и устраивал в нем бюро для приискания студентам работы, во втором оставался до 1917 года, побывав в нем и секретарем, и товарищем председателя, и председателем (на мое председательство пало празднование пятидесятилетнего юбилея Литературного фонда в 1909 году). За пребывание мое в комитете фонда членами его перебывали, и притом по несколько раз, многие нотабли русской литературы, публицистики и науки: Н. Ф. Анненский,[38] К. К. Арсеньев,[39] П. Д. Боборыкин, П. И. Вайнберг, Ф. Ф. Воропаев,[40] С. А. Венгеров,[41] Я. Г. Гуревич, А. А. Корнилов,[42] В. Г. Короленко, Н. А. Котляревский,[43] В. Д. Кузьмин-Караваев,[44] В. В. Лесевич, Д. Н. Мамин-Сибиряк, В. А. Манасеин,[45] Н. А. Меншуткин,[46] Н. К. Михайловский, В. Д. Набоков,[47] С. А. Постников,[48] К. А. Поссе,[49] В. И. Семевский, Е. П. Султанова,[50] В. И. Сергеевич,[51] Н. С. Таганцев.[52] Всех на память не перечислишь. Ежегодно после годичного собрания, бывшего всегда 2 февраля, устраивался товарищеский обед настоящих и бывших членов комитета со вновь избранными, а в последнее время стали участвовать в обеде и члены ревизионной комиссии, почти бессменным председателем которой была М. В. Ватсон. Участие в течение более нежели двадцати пяти лет в комитете Литературного фонда очень близко познакомило меня с массою подробностей житейского и бытового содержания, касающихся пишущей братии.

С литературною средою приходилось встречаться и на разных собраниях вроде литературных вечеров и разных пиров. Существовал, например, либеральный кружок «ежемесячно обедающих», собиравшийся в ресторане Донона на Мойке. Здесь бывали и главари «Вестника Европы» (Стасюлевич, Пыпин, Арсеньев), и члены комитета Литературного фонда (Вейнберг, Гуревич и др.), и общественно настроенные профессора (Боргман, Меншуткин, Поссе, Сергеевич, Таганцев и др.), и либеральные думцы и земцы, прогрессивные чиновники, всегда человек 25—30, а 19 февраля, в день падения крепостного права, устраивался и большой банкет человек на 80—100 с речами, в которых блистал своим ораторством Ф. И. Родичев.[53] Бывали и экстренные банкеты по случаю всяких юбилеев, из которых особенно помню чествование пятидесятилетней годовщины смерти Белинского. Встречались и в частных домах на разных литературных именинах и днях рождения у Н. К. Михайловского, у М. В. Ватсон, у Ф. Ф. Фидлера,[54] переводчика русских поэтов на немецкий язык, бывал настоящий «сбор все частей», чуть ли не генеральский смотр всей прогрессивной литературы. В вине недостатка обыкновенно не было. Во всех этих кругах я часто бывал, как и на разных вечерних журфиксах, большей частью поздно вечером, после кабинетной работы или какого-либо заседания. Были и более тесные кружки и скромные журфиксы (между прочим, и у нас по вторникам), причем одно время и у нас и друг у друга

вместе с нами особенно часто бывали в разных комбинациях Мякотины, Беренштамы[55] (известный педагог Вильям Людвигович и его семья), врач и философ П. В. Мокиевский,[56] с одной стороны, и Вейнберг, Гуревич — с другой.

Вспоминая все это, просто теперь удивляюсь, как хватало времени на разные заседания и журфиксы, да еще при такой массе работы, которую я производил: в 1886 году две книги, в 1888 опять две книги, в 1890 то же самое, в 1892 и 1893 первые три тома «Истории Западной Европы в новое время» и т. д., не считая брошюр и статей и взятого мною на себя в начале девяностых годов редактирования исторического отдела «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона.[57] Мне предлагалось даже разделить с профессором физики Ф. Ф. Петрушевским[58] все главное редактирование, но от такой сложной, громоздкой и ответственной работы я отказался. Это место занял К. К. Арсеньев, с которым я уже был знаком по Литературному фонду, а теперь особенно сблизился. Это был один из наиболее уважаемых мною людей. Я видел его в последний раз в середине февраля 1917 года, когда ездил с некоторыми особенно близкими ему людьми в Царское Село поздравлять его с исполнившимся восьмидесятилетием его жизни. Это было за несколько дней до революции.

В 1889 и 1894—1895 годах я взял на себя еще два дела. В 1889 году по инициативе моей и близких тогда ко мне лиц при Петербургском университете возникло Историческое общество, в котором я занял место председателя и редактора непериодического сборника под заглавием «Историческое обозрение»[59] (всего вышел двадцать один том). Часто устраивавшиеся нами публичные заседания постоянно привлекали много посетителей, особенно из учащейся молодежи, более всего в середине девяностых годов, когда в этих заседаниях происходили словесные битвы между «марксистами» и «народниками», о чем, впрочем, речь еще впереди. С 1889 года, когда по независящим от меня причинам открытые заседания общества прекратились, а по смутному времени и закрытые сделались редкими, общество захирело. Тогда русское его отделение, выделившееся из общего его состава как особая «секция» под председательством Лаппо-Данилевского, работало хорошо до самой смерти своего председателя. К 1914 году я написал краткий отчет о деятельности общества за двадцать пять лет, напечатанный в XX томе «Исторического Обозрения».[60] Того, о чем я мечтал при основании общества, из него не вышло, но все-таки и оно наполняло некоторым содержанием мою жизнь в эти годы.

В начале девяностых годов меня занимал немало вопрос о самообразовании учащейся молодежи. Осенью 1894 года я напечатал небольшую книжку под заглавием «Письма к учащейся молодежи о самообразовании». Первое ее издание было расхватано в несколько недель, так что потребовались новые и но-

вые издания, и в течение нескольких лет их вышло десять. Эта книжка, чистый доход от которой шел в общество пособия студентам, вызвала массу писем ко мне от молодежи со всех концов России и появилась в переводах — чешском (1895), болгарском (1896), польском (1903) и частично сербском. Я не помню теперь общей цифры этих любопытных писем, которые уже в двадцатых годах этого столетия я отдал в архив Пушкинского дома при Академии наук, но она была очень значительной. Как я жалею теперь, что в свое время не издал эти «человеческие документы», не использовав их вместе с тем для подведения под ними итогов, которые могли бы прекрасно характеризовать умственную и нравственную физиономию учащейся молодежи старших классов средней школы и младших курсов высшей. Успех «Писем о самообразовании», бывший для меня совершенно неожиданностью, внушил мне мысль написать еще несколько таких же книжек: «Беседы о выработке миросозерцания», выдержавшие пять изданий (между 1895 и 1904 гг.), «Мысли об основах нравственности» (три издания от 1895 до 1905 г.) и «Мысли о сущности общественной деятельности» (три издания в 1897—1905 гг.), все три были переведенными на болгарский. Вот в связи с этой-то работою, равно как с толками об «University extension» одновременно с московскими «Программами для домашнего чтения», я и принял участие в организации кружка специалистов, который выработал энциклопедическую (общеобразовательную) программу чтения в целях самообразования.

Ядро этого кружка составили со мной В. И. Семевский, уже раньше составлявший для обращавшейся к нему молодежи программы чтения по русской истории, и В. А. Мякотин, очень тесно сдружившийся с первым. Мы единогласно наметили ближайших сотрудников по всем отделам знания, причем в образовавшемся кружке было принято за правило принимать новых членов не иначе, как по единогласному избранию, путем подачи закрытых записок. Мне удалось через тогдашнего директора Педагогического музея военно-учебных заведений, прекраснейшего человека, генерала Апол[лона] Ник[олаевича] Макарова,[61] включить этот наш кружок в число отделов музея под названием «Отдел для содействия самообразованию». По уставу музея нашим председателем был сам Макаров, но он предоставил нам полную свободу, взяв только с меня слово, что мы не подведем ни его, ни музей. Со званием товарища председателя фактически все заседания вел я, секретарствовал же Семевский, ведший подробнейшие протоколы. Работа затянулась на весьма продолжительное время, потому что вопрос о внесении в каталог каждой книги тщательно обсуждался и даже вызывал настоящие прения. Об этом большом труде, [проделанном] Семевским, я после его смерти поместил небольшую заметку в «Голосе Минувшего» за 1916 год...[62]

В 1896 году мы выпустили в свет первое издание «Программ

чтения для самообразования»,[63] общее введение к которым было составлено мною, как и программы по всеобщей истории и по социологии. Для новых изданий, из коих последнее, шестое, было сделано в 1911 году, программы перерабатывались всей комиссией, выросшей до сорока членов, а приготовленное к печати седьмое издание уже не осуществилось вследствие расстройства печатного дела.

Итак, в девяностых годах я одновременно работал по редакторству «Энциклопедического словаря», в двух благотворительных комитетах, в Историческом обществе и в Отделе для содействия самообразованию, что отнимало у меня немало времени и заставляло подумать о домашнем секретаре, который бы облегчил мою работу писанием под диктовку, держанием корректуры, наведением справок, составлением набело протоколов заседаний комитета фонда, исполнением его постановлений в виде ответов клиентам и т. д. Конечно, такого секретаря я стал искать в студенческой среде.

В новом поколении студентов у меня были новые приятели, из которых добрые, дружеские отношения поддерживались мною и впоследствии до самого последнего времени как с П. А. Конским,[64] сделавшимся педагогом, директорствовавшим последовательно в целом ряде средних школ, [так и] с Е. А. Звягинцевым,[65] много работавшим над делом народного образования, с Н. В. Ястребовым,[66] будущим профессором по кафедре русской истории славян в Петербурге и др. Я предпочел, однако, взять в секретари новое лицо, как бы наймита, по отношению к которому нельзя было бы быть нетребовательным и невзыскательным. Мой выбор остановился на студенте-первокурснике М. Г. Васильевском,[67] как раз обратившемся ко мне с просьбой о помощи как к члену Комитета пособия студентам. Юноша оказался не только умелым и добросовестным секретарем, но и настроенным очень идеально, так что я прямо полюбил его и даже стал говорить ему *ты* и называть его уменьшительным именем. Он приходил к нам обедать, после чего я тотчас же ему диктовал часа по два и три в день, а другую работу он брал с собою на дом. По летам он ездил со мною в Аносово, где обучал моих детей, оставаясь даже на время моего и жениного отсутствия. В спорах с ним о происхождении нравственности даже возникла моя книжка, названная выше. В этот момент Мих[аил] Гр[игорьевич] был сторонником утилитаризма, возражения против которого я писал и отдавал ему, выслушавши его возражения, и опять отвечал на них в письменном же виде, пока не написалась таким образом целая книжка, на форме которой сказалось такое ее происхождение. Мой секретарь оказался недурным переводчиком с французского, так что я мог его рекомендовать издателям, и кое-какие его переводы вышли в свет под моей редакцией. Проредактировал я еще его перевод

«Contrat Social» Руссо, но рукопись перевода, взятая кем-то из его приятелей, пропала.

Васильевский пробыл моим секретарем и как бы своим человеком в моей семье несколько лет, пока не был арестован в 1900 году. Причина ареста была в его связи с революционными кругами (он был близок с братьями Савинковыми). Я несколько раз навестил (его) в доме предварительного заключения и просил Таганцева как товарища председателя комитета Литературного фонда похлопотать за арестованного как начинающего писателя, кроме переводов поместившего еще несколько статеек в «Энциклопедическом словаре». Хлопоты Таганцева ускорили его освобождение, но он был выслан из Петербурга, жил в Екатеринославе, в Киеве и в Полтаве. Я виделся с ним в Киеве, а в другой раз нарочно заезжал в Полтаву в 1902 году, во время происходивших в губернии крестьянских волнений. Страдая неизлечимым пороком сердца, еще раз посидевши в тюрьме в Киеве, он скоропостижно скончался в 1903 году. Я написал маленький некролог в «Русских Ведомостях», перепечатанный потом мною в последнем издании «Писем о самообразовании», потому что эта книжка была написана в первое время нашего знакомства, когда мы много беседовали на эту тему.

Во второй половине девяностых годов самыми близкими из своих учеников я считал Мякотина, Конского и Васильевского, с которыми снялся на одной фотографии, хотя сами они были далеки друг от друга.

Со студенчеством отношения у меня были хорошие. В университетские годовщины, 8 февраля, я был в числе сравнительно немногих, в том числе и писателей, приглашавшихся на «чаепития», которые происходили в кухмистерских и сопровождались речами на высокие темы. Разумеется, каждое сказанное здесь слово делалось известным власть предержащим. О том, как я призывался к попечителю Новикову по поводу одного такого чаепития, я уже рассказал. Был и другой случай в попечительство М. Н. Капустина. Однажды Капустин приехал в университет и, увидев меня в профессорской, сказал, что имеет для меня нечто. При этом он достал из кармана и дал мне прочитать бумагу, адресованную ему из министерства с предложением «поставить на вид» профессору К., что с его стороны непростительно было говорить на студенческой вечеринке с симпатией о научно-литературном обществе, закрытом правительством за то, что из его среды вышли цареубийцы. «Что это, — спросил я, — официальный выговор?» — «Я только исполнил данное мне поручение», — отвечал Капустин и тотчас же мягко заговорил, что он понимает настроение молодежи, «жаждущей слова» и ценящей искренность в сношениях с нею. Я своими глазами видел: однажды моя речь к студентам записывалась кем-то из-за полуоткрытой двери, ведшей в «артистическую» Дворянского собрания, на одном балу в пользу недостаточных студентов, когда никого из

артистов, певших и игравших перед танцами, в комнате не было, и она наполнялась студентами, «жаждавшими слова».

Дружное настроение прогрессивного студенчества во второй половине девяностых годов было нарушено спором между «марксистами» и «народниками». На чаепитиях происходила иногда полемика, и раздавались шиканье и свистки. Однажды приглашенный говорить, я произнес речь на ту тему, что неужели хоть раз в год, на празднике науки, студенты не могут забыть свои теоретические разногласия. Речь была принята хорошо, но в то время, когда я еще только подходил к столу, какая-то сидевшая за ним девица с крайней ненавистью во взоре уже заранее на меня шипела (я считался за народника, хотя сам себя таким не называл). Особенно же студенческая аудитория делилась на два лагеря, попеременно аплодировавших и свиставших на заседаниях Исторического общества, где П. Б. Струве[68] и М. И. Туган-Барановский[69] были просто идолами одной части слушателей, а их оппоненты пользовались сочувствием другой. Разделение это приняло такой характер, что один наивный первокурсник сказал мне после такого бурного заседания, что не знает, кем ему быть, марксистом или народником, а быть тем и другим студенту-де нельзя. Когда я сослался на то, что вот я ни то, ни другое, он возразил: «Вам можно — вы профессор, а вот нашему брату нельзя». Нужно прибавить, что это разделение еще не было политически партийным на социал-демократов и социал-революционеров, а догматически теоретическим по вопросам об экономическом материализме и роли личности в истории, о фабричном труде и крестьянской общине с артелью и кустарным производством. В таком именно аспекте, совсем, притом, не касаясь экономического вопроса, а только имея в виду историко-философскую теорию, я и рассматривал возгоравшийся спор в своих журнальных статьях тех годов, собранных и дополненных в книге «Старые и новые этюды об экономическом материализме» (1896).[70]

Общее заключение из этой работы я доложил в закрытом заседании Исторического общества, считая невозможным действительное обсуждение вопроса в бурном собрании, где происходила непрерывная борьба между рукоплесканиями и свистками. Струве не явился, был только Туган-Барановский. (Известно, что впоследствии оба они были уже только «бывшими марксистами».) Свой доклад я задумал повторить в Московском Историческом обществе при университете, где председательствовал тогда Герье. Я знал, что в Москве заседания общества были всегда закрытыми, но не предвидел того, что Герье из любезности ко мне сделает заседание публичным. Узнав об этом по приезде в Москву в день доклада, я сказал Герье, что дело кончится скандалом, чему он не поверил. Вышло по-моему. Заседание из-за массы собравшейся публики пришлось перенести в Актовый зал, где тем не менее было донельзя тесно, так что

я еле-еле пробрался через толпу к кафедре. Реферат мне дали прочесть спокойно, но едва я кончил, как в разных местах зала раздались полицейские свистки, с которыми бешено боролись рукоплескания. Герье, взволнованный и бледный, тщетно потрясал звонком, звук которого заглушался бурею аплодисментов, шиканья и свиста. Ожидавший всего этого, я попросил у председателя слова и хотел даже сделать рукою жест, который показал бы собранию, что я еще хочу говорить, но Герье решительно воспротивился. Ни мне, стоявшему на кафедре, ни комитету и членам общества, сидевшим около нее, не было возможности выйти, потому что мы со всех сторон были окружены и к нам протискивались, вдобавок, наиболее рьяные хлопальщики и свистуны. Так продолжалось несколько минут, пока более индифферентная публика не стала расходиться. Выходить пришлось как между шпалерами, откуда раздавались те же звуки сочувствия и неприязни. Так как президиуму было сообщено, что две толпы, одна в вестибюле, другая на дворе, ждут моего выхода, [то] во избежание дальнейшего скандала меня провели с фонарем через темные залы библиотеки, помещавшейся тогда в одном здании с Актовым залом, и выпустили через боковой выход. Пересекая двор, я видел еще темную массу людей, толпившуюся у главного подъезда.

Это было в период наибольшего обострения борьбы двух направлений, когда очень много читалось книг Струве и Бельтова (Плеханова),[71] когда, кроме Струве, выступал с проповедью нового направления Туган-Барановский, а с другой стороны новое направление критиковали такие люди, как Михайловский. Впоследствии страсти поуспокоились, а когда начались более острые студенческие волнения, борьба обоих направлений прекратилась до возобновления ее уже в виде борьбы двух политических партий: «эсдеков» и «эсеров».

Мне всегда был не по душе всякий догматизм, соединенный в области чувства с фанатизмом, в области проявлений воли — с деспотизмом, а между тем этими тремя грехами особенно склонно заражаться юношество. Было в студенчестве того времени еще одно поветрие, не такое общее, как те, о которых я только что говорил, но державшееся очень упорно. Я называл его про себя лесгафтинизмом. Очень почтенный человек, бывший прежде профессор анатомии в Казани, П. Ф. Лесгафт[72] читал лекции в это время в Петербургском университете, а также у себя на дому чуть не с семи утра, привлекая массу слушателей особою внушительностью своей речи. Действие его на молодежь я сравнивал с действием Иоанна Кронштадтского[73] на верующих простаков. Особенно захватывал Лесгафт первокурсников своими нападками чуть не в каждой лекции на бывший всем ненавистным классицизм, а вместе с ним и на всякую мертвую, книжную науку, под понятие которой подводилось все, преподававшееся на историко-филологическом и юридическом

факультетах, причем единоспасающим объявлялось не естествознание вообще, а именно анатомия. Человек суровой внешности, с резкими движениями, с властной речью, он прямо производил опустошение в более слабых головах, что меня очень досадовало при всем моем уважении к честной и стойкой личности Петра Францевича, и сколько у меня было споров с отдельными студентами по поводу идей, которые им догматически вкладывались в юные головы.

Помню, правда, особенно тупого студента-филолога. Он просил меня указать книгу по какому-то вопросу. Пришлось назвать что-то на французском или немецком языке. Оказалось, что иностранных языков он не знал. Я посоветовал учиться. «Мне некогда, — отвечал он, — я очень занят». Я думал, что он дает много уроков, может быть, содержит целую семью, но выяснилось, что ему родители высылали довольно много денег. Последовал между нами диалог: «Чем же вы так заняты?» — «Учусь анатомии». — «Верно, у П[етра] Ф[ранцевича]?» — «Да, и в университете, и на дому». — «Зачем вам это?» — «П[етр] Ф[ранцевич] говорит, что без анатомии нельзя». — «Что нельзя? Для общего образования есть популярные книжки, а специально анатомия нужна врачу, скульптору и т. п.». — «Нет, П[етр] Ф[ранцевич] говорит, что все должны подробно изучать прежде всего анатомию». Через два года я спросил того же студента, как идет его анатомия, и узнал, что он повторно слушал те же лекции. Другой студент мне рассказывал, что на первом курсе естественного факультета он принес Лесгафту переписанное на листке бумаги расписание лекций с просьбою дать совет, чем более всего ему заниматься. Лесгафт перечеркнул крест-накрест все написанное, перевернул бумажку и на обратной стороне крупным шрифтом написал: «Анатомия».

Меня, повторяю, очень досадовали такие проявления догматизма. Помню и такой случай. Один студент стал горько мне жаловаться на Михайловского. «Я просто возненавидел его», — сказал он мне.— «За что?» — «Да как же! Он все бранил Спенсера, так что я не стал его читать, а теперь оказалось из статьи Слонимского,[74] что сам Михайловский ничего не стоит. А я ему верил, не стал читать Спенсера» и т. д. Пришлось разъяснить ему, что на веру ничего принимать не следует и что виноват здесь он сам, а не Михайловский. Вот такие проявления веры и заставили меня обратить на них особое внимание в «Письмах о самообразовании».

Всем хорошо известно, как легко бывало прослыть в студенческой среде хотя бы на короткое время за доносчика. Однажды мне грозила как раз такая опасность. В зиму с 1890 на 1891 год возвращаюсь я вечером с Семевским из заседания комитета Литературного фонда на Васильевский остров, где оба мы жили. Моего спутника, видимо, занимала какая-то мысль. Когда нам нужно было распрощаться, Семевский вдруг мне говорит, что

имеет сказать мне нечто очень важное, и сообщает о слухе, пущенном в студенческую среду Трачевским, что я-де на него сделал донос в министерстве, вследствие чего его, Трачевского, удалили из университета. Дело было в том, что, вышедши в Одессе в отставку, Трачевский приехал в Петербург, сделался приват-доцентом, в каковом звании был утвержден попечителем и уже успел прочитать вступительную лекцию, но когда Делянов узнал об этом только из газет, то, вообще имея что-то против Трачевского, запретил ему через попечителя дальнейшее чтение лекций. Помню, что вскоре после того, как я это узнал, я съездил к Трачевскому выразить ему свое соболезнование и тогда уже заметил какую-то натянутость, даже нарочитую неприветливость со стороны обоих супругов. Я узнал далее, что сам Семевский услышал об обвинении меня в доносе от своего пасынка, Николая Водовозова, бывшего тогда студентом, что Трачевский говорил это студентам направо и налево и что это производит сенсацию. Я поблагодарил Василия Ивановича за его сообщение и просил быть свидетелем при моем объяснении с клеветником. На другой день мы поехали в Соляной Городок, где Трачевский читал публичную лекцию и в присутствии своего свидетеля я в упор поставил вопрос, правда ли то, что вот я слышал. Трачевский ответил утвердительно, прибавив, что еще два приват-доцента такие-то убеждены в том же. Тогда я попросил студента Водовозова созвать на мою очередную лекцию как можно больше студентов, среди которых Трачевский распространял свой навет, и рассказал сошедшейся массе молодежи подробно всю историю, как я об этом узнал, как я с Семевским ездил к Трачевскому объясняться, как он указал мне еще на двух приват-доцентов, утверждающих то же самое, причем имя одного, довольно сомнительной репутации, я назвал во всеуслышание, по окончании же своей лекции я повторил весь этот рассказ в профессорской, где на свою беду был другой приват-доцент, стоявший ни жив, ни мертв и услышавший из моих уст и свое имя (после он каялся, и я его простил). В сущности, оба приват-доцента только подтвердили догадки самого Трачевского, будто я донес Делянову на некоторые места его лекции из боязни, что он будет опасным для меня конкурентом в университете. Последовал между нами суд чести в составе К. К. Арсеньева, моего арбитра В. Д. Спасовича, арбитра другой стороны и Владимира Соловьева, избранного нами суперарбитром. Трачевскому, который сначала хорохорился, пришлось выслушать очень неприятные для него вещи и тотчас же пришлось уйти из квартиры Спасовича по прочтении приговора третейского суда, который тоже не мог ему понравиться. Я испросил у суда право опубликовать его приговор, сказав при этом Трачевскому, что сделаю это только в том случае, если опять что-либо такое о нем услышу. Студенты еще на моей лекции проявили полное ко мне доверие, а я еще не знал, что Трачевский повторил свою клевету

в редакции газеты «Новости», где сотрудничал. Вскоре после суда, идя за гробом Э. К. Ватсона, рядом с одним из сотрудников «Новостей», я услышал от него изъявление радости по поводу того, что суд меня оправдал. Оказалось, что Трачевский представил в редакцию «Новостей» дело так, будто он вызвал меня на суд, а не я его, и будто я на суде доказывал свою невиновность. Узнав, когда все сотрудники газеты бывают обыкновенно в сборе, я посетил редакцию и прочитал собравшимся подлинный приговор третейского суда. По моему мнению, Трачевский был просто психопат, в чем я особенно убедился, когда через не очень продолжительное время он явился ко мне с просьбой оказать ему добрую товарищескую услугу — устроить ему чтение лекций по истории Древнего Востока на Высших Женских курсах.

Мне самому неоднократно потом приходилось участвовать в третейских судах и в особом «суде чести», бывшем организованным при Союзе взаимопомощи русских писателей в первые годы XX века. Часто дела возникали из-за дрязг, не стоящих внимания, но один случай был очень характерен для студенческого быта девяностых годов. Имен я называть не стану, а заменю их буквами. Однажды писательница *А* оскорбила действием некоего молодого человека *В* в публичном месте, свидетелями чего было несколько студентов и курсисток. Товарищи оскорбленного написали негодующее письмо к *А*, в ответ на что получили от нее ответ, в котором не замедлили усмотреть тяжкое оскорбление для всех, подписавших письмо. Оказалось, что *А* мстила *В* за распространение им слуха, будто она играла роль шпиона-провокатора в студенческой среде. Обиженные *В* и представитель всех оскорбленных студентов *С* подняли дело перед третейским судом, который и составился из В. И. Семевского, арбитра *В* и *С*, профессора В. А. Манасеина, арбитра *А* и меня, выбранного ими в суперарбитры. Когда состав суда определился, мне были предъявлены сторонами два совершенно противоположных, но одинаково неисполнимых требования, с одной стороны, чтобы дело велось в полной тайне, с другой же — чтобы суд был публичным в присутствии делегатов от студентов высших учебных заведений Петербурга. И в том и в другом пришлось отказать.

Во-первых, не было никакой возможности сохранить дело в секрете, когда оно было известно не только великому множеству студентов и курсисток, указанных обеими сторонами, но даже самой полиции, которая в данный момент требовала, чтобы *А* покинула Петербург и дала ей отсрочку только ввиду ее просьбы со ссылкою на предстоящий ей третейский суд, во-вторых, для выбора делегатов во всех учебных заведениях начались бы строжайшим образом запрещенные сходки, тем более еще, что на разбирательстве было бы и без делегатов достаточное количество (около тридцати пяти) молодых людей обоего пола, вы-

званных в качестве свидетелей. Разбирательство происходило на квартире Семевского в течение трех вечеров, даже далеко за полночь. Нам, судьям, длинно рассказывалось, как все произошло и что этому предшествовало. На Манасеина показания свидетелей произвели такое впечатление, что он не раз повторял в последующих разговорах с ними: «Когда же эти молодые люди учатся?» Читались на разбирательствах и некоторые документы, как письмо *А* к Михайловскому с объяснением, почему мог возникнуть для нее неблагоприятный слух. Характерною особенностью разбирательства была та, что вся мужская половина свидетелей стояла на стороне *В* и *С*, вся женская — на стороне *А*. Семевский, по поручению обоих товарищей, ознакомился со всеми произведениями *А* и нашел их вполне добропорядочными в политическом смысле. Нашим приговором *А* вполне реабилитировалась, хотя некоторые ее поступки нам и казались странными, а для *В* было признано смягчающим его вину обстоятельством то, что он не злостно распространял позорящий *А* слух, предупреждая конфиденциально некоторых девиц, чтобы они не очень-то доверялись *А*. Что касается до грубой расправы *А* с *В*, то мы ей выразили порицание. Семевский хотел бы, чтобы *А* извинилась перед *В*, но Манасеин был против этого; я присоединился к Семевскому, и мы оба высказали это свое мнение в postscriptum'е, в чем я скоро увидел с нашей стороны ошибку, так как это повлекло за собою протесты со стороны защитниц *А*, приславших мне свое заявление даже с помощником присяжного поверенного. Без этой приписки *А*, вероятно, сочла бы себя вполне удовлетворенною, по нашему же двоих мнению, она, конечно, извиняться и не подумала, только затаив против нас непримиримую rancune.* Этот третейский суд дал материал очень интересный в бытовом отношении. Свидетельские показания тридцати пяти лиц мы подробно записывали для наших соображений, но тотчас же по миновании надобности эти записи были уничтожены, дабы как-нибудь не попали в руки полиции.

Упомянув о полиции, расскажу, кстати, как в течение нескольких лет меня преследовал один шпион. Дело началось еще в Варшаве, когда, в самом еще начале моего там пребывания, явился ко мне молодой человек, поляк, и стал меня уверять, будто встречал меня в Москве у таких-то и что был близко знаком с моим учеником по гимназии Гусевым. Я сказал, что не помню, чтобы с ним встречался, а что ученика Гусева у меня не было. Кончилось тем, что сей субъект, под предлогом потери денег, выманил у меня кое-что для поездки в Москву, обещав возвратить долг по приезде. Такую же шутку он проделал с моим коллегой Блоком,[75] с заменою только Москвы Петербургом и одних имен другими. В первую же поездку в Москву я узнал, что в 3-ю гимназию, уже после моего ухода из нее, был при-

* Озлобленность; чувство недовольства чем-либо; обида (франц. — *В. З.*).

нят ученик Гусев, вскоре бывший арестованным по политическому делу. Прошло несколько лет.

Как-то получаю я уже в Петербурге письмо от бывшего варшавского студента Домбковского: пишет, что очень меня вспоминает и что желал иметь отдельные оттиски таких-то и таких-то моих статей. Ничего не подозревая, я их ему выслал, а он с ними, как с доказательствами моего с ним близкого знакомства, являлся в Петербург и в Москву к разным лицам за справками моего летнего пребывания и также выманивал деньги, причем обнаруживал хорошее знакомство с разными обстоятельствами моей жизни. Думая, что эти проделки мне остались неизвестными, сыщик однажды явился ко мне в университет, и тут я в нем узнал своего варшавского соглядатая. Когда он мне сказал, что он называется Домбковский, я тотчас же отрезал ему, что какой-то негодяй под этим именем выманивает деньги у моих знакомых и что я должен принять меры к отысканию этого негодяя. Домбковский очень смутился и заторопился уходить, заявив мне, что он племянник профессора Вржеснёвского[76] в Варшаве, крестный сын ксендза такого-то там-то и близкий знакомый профессора Бодуэна де Куртене в Дерпте, у которых и просил навести о нем справки. Я, конечно, написал всем троим указанным лицам, но Вржеснёвский ответил, что никогда у него такого племянника не было; от ксендза, быть может, на самом деле не существовавшего, никакого ответа не было, а Бодуэн де Куртене мне написал, что Домбковский в Дерпте прямо слыл за шпиона. После изучения этих писем я как-то увидел Домбковского идущим впереди меня по улице, догнал его, громко окликнул, когда тот, увидев меня, страшно смутился, я прямо сказал ему, чтó я о нем думаю. Это был, несомненно, филер из самых мелких и прямой жулик, много мельче того поляка, любопытные записки которого, попавши в руки польских революционеров, были изданы за границей («Pamietniki szpiega»).

На чем-то, по-видимому, хотел меня поймать и знаменитый Азеф,[77] который о чем-то писал мне из Гейдельберга; когда прославилась его фамилия, мне она показалась что-то знакомой, и вот, как-то отыскивая чей-то адрес в своей записной книжке с алфавитом, я наткнулся на эту фамилию с гейдельбергским адресом. В сохранившихся письмах, какие я получал, может быть, находится письмо Азефа; всего же того, что мне приходилось отвечать на получавшиеся от разных незнакомых лиц письма, я и не упомню.

Страха ради полицейска нужно было конспирироваться даже в самых невинных вещах. Какими, например, предосторожностями были обставлены совещания нескольких писателей, вздумавших после смерти Александра III подать его преемнику петицию о свободе печати. В этом запрещенном законом действии скопом участвовали все более [или менее] видные деятели периодиче-

ской печати и некоторые ученые (в том числе и я, собиравший подписи именно в профессорской среде). Особенно же я хлопотал об организации этого дела, которое приходилось вести весьма конспиративно. Журналист М. Л. Печковский,[78] один из инициаторов всего предприятия, вложил и больше всего настойчивости в его осуществление. Подать эту петицию было поручено действительному статскому советнику В. А. Бильбасову,[79] когда-то бывшему профессору в Киеве, потом одному из руководителей либерального «Голоса», автору «Истории Екатерины II». Через Бильбасова мы получили ответ, что-то вроде «оставить без последствий». С большою осторожностью во время студенческих волнений приходилось также видаться с вождями студенческого движения, особенно ввиду бывшего очень распространенным мнения, будто либеральные профессора играли в нем роль тайных подстрекателей, чего на деле, конечно, не было, так как профессора, пользовавшиеся доверием студентов, наоборот, их убеждали и себя не губить, и не вызывать новых репрессивных мер против высшей школы, и вообще не причинять ущерба правильному ходу учебных занятий.

Университетская работа между тем шла своим чередом. Во второй половине девяностых годов с профессором зоологии Н. П. Вагнером[80] мы задумали было организовать общеобразовательные курсы для студентов всех факультетов, но дело по разным причинам не ладилось между прочим потому, что начальство не согласилось открыть для этого аудитории по вечерам. От этого предприятия для меня был тот результат, что я начал и в общей системе читать необязательные курсы по философии истории и социологии, замаскировавши их названием исторической энциклопедии, как я уже рассказывал об этом выше. В связи с таким курсом была написана мною книга под заглавием «Введение в изучение социологии».[81]

Не буду останавливаться на своем участии в ряде магистерских и докторских диспутов, два раза переходивших в печатную полемику (с В. Н. Латкиным — в 1886 году и Н. Д. Чечулиным — в 1897 году),[82] равно как на отзывах по поручению Академии наук о представлявшихся в нее на разные премии книгах.

С наибольшим удовольствием принял я на себя составление отзыва о труде своего старинного приятеля Корелина «Ранний итальянский гуманизм». Я предложил дать автору полную премию, но ему присуждена была половинная, а полная дана труду гораздо менее важному, но рецензировавшемуся членом академии. Я хотел прямо писать об этой несправедливости, но Корелин убедительно просил меня этого не делать. Я теперь могу сказать, что думал заступиться не за приятеля, а за правду. Вспоминаю еще, что в последние годы перед изгнанием из университета я издал книгу «Выбор факультета и прохождение университетского курса»,[83] имевшую несколько изданий, дважды писал против студенческого гонорара в пользу профессоров

(в «Вестнике Европы» за 1897 и 1898 года)[84] и выпустил в свет сборник своих «Историко-философских и социологических этюдов».[85]

Вся эта деятельность и самая жизнь моя чуть не прервалась в декабре 1898 года вследствие тяжелой болезни, мною перенесенной. Кажется, 14 числа я почувствовал невообразимую боль в области кишечника, такую боль, что не мог удерживаться от стонов и крика. Призванный ко мне врач и близкий человек, П. В. Мокиевский, определил сразу, что имеет перед собой хирургический случай, именно заворот кишок. Немедленно приглашены были хирурги, доктора Ванах и Фигк, которые на другой день перевезли меня в немецкую Александровскую больницу на 15-й линии Васильевского острова, а на третий день мне сделали операцию чревосечения, спасшую меня от смерти. Узнав об этой моей болезни, многие выразили свое сочувствие. Жена получила очень трогательное письмо от Герье, а из лиц, посетивших меня в больнице, особенно обратили на себя мое внимание В. И. Ламанский и Н. Д. Чечулин. Первый в самом начале моей профессуры в Петербурге относился ко мне не очень благосклонно и вследствие моего «западничества», и по тем сведениям обо мне, которые ему сообщил Будилович. Потом как-то его отношение ко мне улучшилось, и он даже отозвался на мое приглашение сойтись у меня с Пыпиным, Спасовичем и Пильцем,[86] редактором польской газеты «Край», издававшейся в Петербурге, для обсуждения русско-польских отношений (ничего, впрочем, из этого не вышло), но теперь я увидел, что Ламанский и по-человечески был ко мне расположен. Что касается до Чечулина, то он имел все основания быть мною недовольным, так как на диспуте (в 1898 г.) я был очень резок, а потому его посещение меня не могло не тронуть. Едва я настолько оправился, что, кажется, накануне Нового года был перевезен на свою квартиру, как получил огорчившую меня весть о смерти Корелина, с которым я был так тесно связан в течение целой четверти века.

Не вполне я чувствовал себя здоровым, когда 8 февраля, в день университетского акта, произошло избиение студентов казацкими нагайками, вызвавшее большие «студенческие беспорядки», которые, в свою очередь, имели своим результатом мое и некоторых других (И. М. Гревса и М. И. Свешникова) удаление из университета.

Студенческое движение 1899 года было далеко не первым в мое профессорство за 1885—1899 годы. Я, однако, затруднился бы рассказать их историю до 1899 года, потому что, вероятно, перепутал бы хронологию и многое интересное пропустил бы, но я не имею претензию писать историю университета за эти годы. Достаточно сказать только о своем отношении к этим студенческим волнениям. Я сам был студентом в очень спокойные годы, но, несомненно, не остался бы в стороне от движения, если

бы оно произошло. И позднее психология «бунтующего студента» была мне понятна, но отсюда было далеко до поощрения профессором увлечений молодежи. Вместе с другими профессорами я видел, как такие «беспорядки» нарушали правильное течение учебной жизни, особенно когда лекции прерывались волею иногда небольшого, но более энергичного меньшинства. Во-вторых, нельзя было не понимать, что каждое такое волнение вызывало те или другие репрессивные по отношению к высшей школе меры. В-третьих, жалко было и жертв начальственного возмездия, когда наиболее живые и впечатлительные юноши исключались из университета, заключались в тюрьмы, высылались в глухую провинцию, где часто опускались и гибли. Я никогда не мог вполне согласиться с теми, которые смотрели на эти волнения, как на проявления общественного протеста против деспотизма. По моему мнению, они демонстрировали не силу, а слабость этого протеста, раз за авангардом «детей» не шла плотная масса «отцов», общество в настоящем, а не будущем. Одним словом, в университетских «беспорядках» я видел их вредоносность и нецелесообразность, очень скептически относился к их положительному значению. Положение дел, при котором вся тяжесть борьбы с правительством падала на юношей восемнадцати—двадцатичетырехлетнего возраста, казалось мне ненормальным.[87]

Поэтому я всегда, как раньше, так и позже, был противником этой формы общественного протеста. Сколько раз приходилось спорить со студентами, сколько прямо ссориться. Помню одного юношу, который в своем пылу утрачивал всякое чувство действительности. Один раз мы убеждали его втроем, именно Гревс, Ольденбург и я, но на все наши аргументы он отвечал так: «Вижу, господа, вы совсем не понимаете, для чего существует университет». «Мы-то понимаем, — сказал я, — а вы как понимаете?» «Чтобы готовить революцию, — последовал ответ, — а те студенты, которые не с нами,— даже не студенты, а черт знает кто». Тот же юноша, бывавший у меня, один раз вечером прибежал ко мне сообщить, что на другой день поднимет студентов, что это будет специально для поддержки ректора (в то время П. В. Никитина) и что будто ректор сам этого желает. «Спросите его сами», — прибавил он, когда я, очень хорошо знавший ректора, не мог не усмехнуться. «Хорошо,— сказал я,— готов сейчас предупредить его, не называя, конечно, вас». Мой юноша согласился, что нужно так сделать, и пошел со мною, оставшись дожидаться меня на улице, пока я был у ректора и больше осведомлялся у него о положении дел, чем сам что-либо ему сообщал. Но все-таки я ввернул два слова о том, что есть наивные юноши, которые воображают, что их выступление его, ректора, поддержит. Ответ Никитина, не нуждавшегося в такой поддержке, я передал юнцу, но он вообразил, что со стороны ректора это — просто притворство, и на другой день

в каком-то чаду, царившем в его голове, проповедовал свою идею товарищам, ссылаясь при этом на меня, как на человека, взявшего на себя роль посредника в переговорах с Никитиным. Ко мне прибежало трое студентов спросить, правда ли это, и я помчался в университет, созвал как можно больше встреченных студентов в одну из профессорских комнат, запер за собою входную дверь на ключ и сказал собравшимся, что их товарищ, затеявший все это дело, просто невменяемый человек, совершенно не понимающий ни того, что происходит, ни того, что сам делает. На то оно и было похоже.

Помню еще такой случай. Был я на журфиксе почтенного педагога В. Л. Беренштама. Гостей было много, а в комнате его сына (впоследствии известного адвоката) и дочери-курсистки собралось несколько человек молодежи. Когда я уходил и был уже в шубе и шапке, хозяин в передней сказал мне, что очень сожалеет, что ему не пришло раньше в голову попросить меня поговорить с молодежью о готовившихся волнениях, которым сам он, Беренштам, приписывал провокационное происхождение. «Да позовите их сюда», — сказал я. Те вошли, я спросил их, что такое готовится, и вот началась беседа, длившаяся ровно полтора часа. Я оставался в шубе и шапке, моей жене, тоже одевшейся и уставшей стоять, принесли стул, да из гостиной пришли оставшиеся гости. Не помню, убедил ли я молодых Беренштамов и их товарищей, но говорил я очень горячо, развивая свою обычную тему.

Когда на другой день после избиения студентов нагайками начались сходки, я поспешил в университет и стал убеждать ректора Сергеевича (как оказалось, своим бестактным письменным воззванием к студентам перед актом вооружившего против себя студентов) и бывших тут же деканов, что нужно Совету университета взять это дело на себя, обратиться к студентам с призывом успокоиться и предоставить Совету добиваться у властей расследования возмутительного поведения полиции и наказания виновных, причем я рассказал, какое благотворное следствие имела аналогичная мера в Варшаве во время островидовской истории. Мне казалось, что это предложение уже принято, как все по воле высшего начальства приняло другой ход. Начались заседания Совета, одно за другим, начались частные совещания профессоров и других лиц (помню, одно в квартире П. И. Вейнберга). Сергеевич вел себя невозможно, прямо издеваясь над членами Совета, предлагавшими то, что ему было неудобно. Попечитель Капустин был болен. На заседания Совета стал являться его помощник Лаврентьев, не вмешивавшийся ни во что, только наблюдавший за тем, что происходило. Поведение ректора вызвало среди некоторых профессоров мысль просить Лаврентьева взять на себя председательство ввиду враждебного положения, занятого ректором. Эту щекотливую миссию возложили на меня, но, конечно, мое обращение к Лав-

рентьеву с такой просьбой дало только повод Сергеевичу еще поиронизировать, как вдруг на середину зала выступил старик Ламанский с такими приблизительно словами: «Василий Иванович! Мы обращаемся к вам с товарищескою просьбою. Уйдите в отставку из ректоров, студенты вас не любят, не губите университет. Мы так будем вам благодарны». Затем он обернулся, как бы ища поддержки со стороны товарищей, но никто не шелохнулся. Мне стало стыдно, и я громко, встав со своего места, заявил: «Владимир Иванович, я к вам присоединяюсь». Думаю, что этот поступок и был одной из причин моего увольнения из университета. Сергеевич ответил, что он на своем месте «по воле государя императора» и что потому не нам его смещать, а через несколько дней он подошел ко мне в упор, бледный от гнева и еле сдерживаясь, потребовал от меня ответа по поводу каких-то, кажется, слов, будто бы сказанных мною студентам в облыжное его, Сергеевича, обвинение. Он подошел ко мне так близко, что я заложил руки за спину, как бы боясь задеть его каким-нибудь невольным жестом. Во всей этой истории Сергеевич потерял свою прежнюю либеральную репутацию и в других кругах общества.

Министром народного просвещения в это время был Боголепов, мой старый московский знакомый, с которым я почти одновременно начинал свою преподавательскую деятельность в высшей школе. Выбранный, как сказано выше, при содействии группы Максима Ковалевского в ректоры Московского университета, он потом самым чиновничьим образом проводил в жизнь устав 1884 года, сделался позднее попечителем Московского учебного округа, а по смерти Делянова занял пост министра народного просвещения. Своим возвышением Боголепов был обязан великому князю Сергею Александровичу, бывшему московским генерал-губернатором и очень благоволившему Боголепову еще во время его ректорства. По его-то личному приказанию и не было допущено то, что предлагалось мною и одобрено было правлением университета. Я в заседании громко выражал неодобрение направлению, приданному ходу дела министром, что, конечно, тоже было поставлено мне в счет.

Между тем общественно настроенная часть профессуры отрядила депутацию к самому Николаю II в лице академика Н. Н. Бекетова[88] и А. С. Фамицына,[89] бывших принятыми благосклонно. Последовало назначение бывшего военного министра Ванновского[90] для расследования всего дела: вызывались и профессора, и студенты, но как раз я не был в числе вызывавшихся. Это назначение успокоило большинство студентов, которое готово было приступить к занятиям, прерванным «забастовкой» и «обструкцией», как сами студенты называли свой образ действий, заимствовав эти термины из фабричного и парламентского быта. Скоро, однако, вспыхнула вторая, более длительная забастовка. Однажды студент Носарь, прославившийся позднее

под псевдонимом Хрусталева[91] в бытность свою видным деятелем Совета рабочих депутатов, созвал сходку под тем предлогом, что инспектор студентов обыскал его пальто и взял оттуда сверток с прокламациями, но когда возбужденная толпа собралась в Актовом зале, дверь в котором была выломана, начались агитационные речи, в которых уже совсем не упоминалось ни об инспекторе, ни об обыске в студенческом пальто, ни о похищенных из него прокламациях. Я всячески убеждал знакомых студентов прекратить эту новую забастовку и ссорился со своим секретарем Васильевским, ездившим в Юрьев для агитации среди тамошних студентов. В числе студентов, с которыми я обсуждал со своей точки зрения положение университетских дел, были Борис Савинков,[92] скоро сделавшийся выдающимся революционером, и П. Е. Щеголев,[93] будущий исследователь нашего литературного прошлого.

Последний месяц вакационного времени, проведенного большей частью в Аносове за работой, я с женой находился в путешествии, целью которой была Далмация. Оттуда я заехал на несколько дней в Аносово. Утром следующего по приезде дня жена передала мне отданное ей моей матерью накануне официальное предписание мне подать в отставку. Я решил не подчиняться этому требованию, хотя бы это повлекло за собой увольнение по знаменитому «третьему пункту» (без объяснения причин и с лишением права на государственную службу) и лишение меня выслуженной пенсии. Я немедленно поехал в Петербург и первым делом отправился в Министерство народного просвещения. Боголепов был в отпуске, а должность его исполнял товарищ министра Н. А. Зверев,[94] тоже мой бывший знакомый по Москве, где он прежде был профессором, очень быстро освоившийся со всеми бюрократическими повадками. За год перед тем, например, он официально вызывал меня к себе по поводу моего намерения прочесть публичную лекцию. Обыкновенно разрешение на это давалось попечителем округа, а почему на сей раз в дело вмешался товарищ министра, не знаю, но только Зверев потребовал от меня полного текста лекции. Я стал ему доказывать, что в Петербурге этого никогда не делалось, он убедился моими доводами, прибавив к данному разрешению лекции начальнический совет не выходить за пределы дозволенного, на что я ответил: «Позвольте, ваше превосходительство, мне вам сказать, что мы ведь с вами сверстники, учились в одно и то же время, в одном и том же университете, в одно и то же время начали свою профессорскую деятельность, и я решительно не понимаю, почему вы сделали мне такое внушение».

Разговор со Зверевым по поводу требования от меня прошения об отставке я дословно записал тотчас же после его окончания.[95] Зверев глухо сослался на расследование генерала Ванновского как на причину моего увольнения. Через несколько времени это дошло до слуха Ванновского, который меня по этому

случаю пригласил к себе и сказал, что обо мне и речи во время дознания не было, и заявил, что будет говорить с самим Зверевым. Разговор у них потом действительно был, и когда я узнал от Ванновского, что Зверев отрекся от своих слов, я ему написал внушительное письмо, копию с которого препроводил и Ванновскому. Носился слух, что, занявши сам пост министра народного просвещения, Ванновский будто бы намеревался провести мою реставрацию, но не знаю, имел ли этот слух основание. Черновики моих писем к Звереву и Ванновскому у меня сохранились, равно как и копия длинного письма, отправленного к Боголепову.[96] С ним я потом как-то встретился случайно на улице незадолго до его трагической смерти; конечно, мы разминулись, как незнакомые. Со Зверевым я также один раз встретился на похоронах своего учителя Белявского, но как-то не решился у самого гроба, когда Зверев протянул мне руку, на это не ответить.

Немедленно после свидания с товарищем министра я поехал в Лицей передать директору Ф. А. Фельдману о том, что́ со мною случилось. Почтенный военный генерал сказал мне, что Лицея это распоряжение совершенно не касается. Через несколько дней, вечером, присылает ко мне курьера с приглашением к себе попечитель Лицея, граф Протасов-Бахметев.[97] Я поехал. Он принял меня в домашней обстановке и очень любезно, начав, однако, убеждать меня подать в отставку в университете. Доводы его были разнообразны. В монархическом-де государстве нужно исполнять требования поставленных верховной властью министров, но я отпарировал этот его аргумент ссылкою на совесть и честь, которые выше предписаний власти. Тогда Протасов-Бахметев стал говорить, каково будет моим детям слышать впоследствии, что их отец сделал что-то дурное, повлекшее за собою увольнение по «третьему пункту», но и это я отпарировал словами: «А каково им было бы слышать, что я признал, значит, правоту начальства, погнавшего меня за какой-то дурной поступок, раз поспешил исполнить требование начальства».

Дело в нашем разговоре доходило до просьбы подать в отставку в виде личного одолжения Протасову-Бахметеву. Думая, что ему хотелось бы и самому отделаться от меня в Лицее, я сказал, что, быть может, мне нужно отказаться и от Лицея, но он решительно запротестовал и, наоборот просил меня этого не делать, если бы у меня и возникло такое намерение. «Вижу,— сказал он наконец,— что мне вас не убедить. Может быть, вы больше послушаетесь вашего бывшего попечителя Мих[аила] Ник[олаевича] (Капустина), находившегося уже в отставке как бывшего профессора. Побывайте у него». «Но он умирает, — возразил я, — и, конечно, я не был бы принят, если бы и поехал». «Нет,— заявил Протасов-Бахметев,— он вас примет, он сам просил меня прислать вас к нему».

Я исполнил желание умиравшего Капустина и поехал к нему. Добрый старик убеждал меня, даже просил со слезами на глазах, обнимал меня и целовал, что заставило меня притворно сказать ему: «Хорошо, Михаил Николаевич, я подумаю». Через короткое время Капустина не стало.

В середине сентября последовало мое увольнение. Большинство профессоров приезжало ко мне с визитом соболезнования, а я потом пригласил к себе всех у меня бывших на товарищескую вечеринку. Тем прискорбнее было для меня равнодушие двух-трех москвичей, которых я считал своими приятелями. Один из них прожил в Петербурге полтора месяца и только перед самым отъездом на минуточку заглянул ко мне. Газеты промолчали об удалении из университета меня и моих товарищей по опале.[98] Многим студентам самый факт моего изгнания остался неизвестным. Литературный фонд располагал несколькими студенческими стипендиями, по поводу которых один студент был у председателя комитета фонда В. А. Манасеина. Он с возмущением мне рассказывал, что когда он этого студента направил ко мне, тот сказал: «Я завтра же поймаю его (т. е. меня) в университете». Манасеин стал стыдить студента, что он так мало знаком с университетскими делами.

Вопреки угрозе Зверева, что я могу быть лишен пенсии, то, что я выслужил по закону, мне было назначено, но для получения пенсии я должен был в Лицее выйти в отставку, оставшись, однако, в нем преподаваталем по вольному найму: получать пенсию, находясь на службе, было нельзя.

Что касается Высших Женских курсов, то распоряжением попечителя округа я был «освобожден» от чтения лекций и там. Этим попечителем в данный момент был Н. Я. Сонин, мой бывший коллега в Варшаве, а также коллега и по Высшим Женским курсам в данный момент. В Варшаве он был одним из влиятельных у Апухтина лиц, но по приезде в Петербург, где в девяностых годах сделался ординарным академиком, нашел нужным посетить меня и даже был у меня еще раза два-три. Судьбе было угодно, чтобы в моем изгнании из университета участвовало трое моих коллег, бывших притом давнишними личными знакомыми, тогда как два военных генерала (Фельдман и Протасов-Бахметев) оставили меня читать лекции в Лицее. Любопытно, что с Сониным во время волнения 1899 года я довольно мирно беседовал о тогдашней злобе дня.

Через два месяца после моего увольнения мне пошел пятидесятый год.

Глава десятая

НОВЫЕ ЗАГРАНИЧНЫЕ ПОЕЗДКИ И ВСТРЕЧИ

Частые поездки за границу с 1889 года и посещение разных мест в России. — Цели этих путешествий. — Мои пребывания в Праге и чешские знакомства. — Встречи с поляками и украинцами в Галиции. — Посещение Болгарии и Сербии. — Отношение славянской интеллигенции к русскому языку. — Мои знакомства в немецком ученом мире. — Воспоминания о двух швейцарцах. — Парижские знакомства. — Участие в международных социологических конгрессах. — Вольная русская школа общественных наук.

В первые годы петербургской жизни материальные условия не позволяли нам ездить за границу, куда мы попали в первый раз после семилетнего перерыва только в 1889 году. Болезнь печени (камни) заставили меня ехать лечиться в Карлсбад, куда я потом еще несколько раз возвращался после рецидива той же болезни, начиная с 1901 по 1914 год. Я очень полюбил знаменитый курорт с его чудесными прогулками. Здесь я встречался с массою соотечественников, частью знакомых (больше всего с М. М. Ковалевским, в два приезда с Ришави, со Свентоховским), частью с такими, с которыми здесь познакомился (с профессором А. С. Алексеевым,[1] исследователем Руссо, с физиком Н. А. Умовым и др.), с которыми приятно проводил время, причем приобретал знакомства с иноплеменниками, вроде знаменитого Георга Брандеса, известного польского историка Тадеуша Корзона[2] и еще нескольких поляков разного звания. Из Карлсбада в 1889 году я приехал в Дрезден, куда приехала к этому времени жена с моей старой ученицей Н. С. Кишкиной и двумя ее молоденькими племянницами, чтобы потом отправиться в Париж на Всемирную выставку и в Нормандию на морские купанья.

За этой поездкой последовал ряд других. Обыкновенно из трех месяцев вакационного времени я полтора или два проводил в Аносове, усиленно работая, остальное время за границей, то просто в качестве туриста, то в каком-либо курорте; кроме Карлсбада, в Наугейме, в Киссингене, в Руая, где жена лечилась от болезни сердца, а иногда и я после Карлсбада. Здесь также мы встречались и проводили время со знакомыми, например, в Наугейме — с супругами Бутенко, с целой компанией «Русского Богатства», с А. Ф. Анненским, с В. Г. Короленко, П. В. Мокиевским,* П. Ф. Якубовичем,[3] с их женами. Ездил я за границу и один, и с женой, один раз оба мы с моей матерью и с нашими, тогда еще маленькими, детьми, потом и уже со взрос-

---

* С ним, когда он овдовел, мы неоднократно путешествовали вместе, а кроме того, он гостил у нас в Аносове (прим. Н. И. Кареева. — *В. З.*).

лыми детьми два раза, неоднократно с тестем и т. п. Во время этих поездок я бегал по книжным магазинам, знакомился с научными новинками, приобретал книги и т. п. В [начале] XX столетия хорошие заработки позволяли мне уезжать и на рождественские, и на пасхальные вакации, но уже для научной работы, для собирания материалов для новейшей истории или для архивных розысков по истории Французской революции, причем читал в разные времена года лекции и доклады и в Париже (в Вольной русской школе,[4] основанной М. М. Ковалевским, в Историческом обществе и частным образом), и в Праге (по-русски), и во Львове (по-польски и по-русски), и в Софии (по-русски) и приобретал знакомства в ученом и литературном мире. Чаще всего мне приходилось бывать в Германии, в Австро-Венгрии, в Швейцарии, во Франции, реже — в Италии, на Балканском полуострове, в Бельгии, по одному разу в Англии и Шотландии, в Голландии и на съезде в Испании. В путешествиях мы были неутомимыми. Эти отлучки из России на две недели, на месяц, самое большое на шесть недель (кроме более продолжительной поездки в 1889 году), меня очень освежали, особенно если они сопровождались лечением в курортах. С точностью не могу определить, сколько раз за эту четверть века (1889—1914) я брал заграничный паспорт.

По России, наоборот, я ездил мало. Прокатился по Волге — от Нижнего до Сызрани, и по Кавказу — от Пятигорска до Батума только один раз, да и то очень быстро (в 1881 году), побывал неоднократно в Крыму, виденном еще раньше (1884 и 1887), причем два раза сопровождал туда больных Мякотина и Васильевского (своего секретаря), а Финляндии, дальше Иматры, на которой был два раза, не видал. Бывал в кое-каких городах, то для посещения близких людей (у брата — в Пензе и на Кавказе, у Белявского — в Твери и в Риге, у Лучицкого — в Киеве не раз и в его полтавской деревне дважды, в Белеве — у своей старой учительницы, в Полтаве — для свидания с Васильевским и т. п.), то для чтения лекций с благотворительной целью, что делал и в Москве не раз, и в Смоленске, и в Киеве, и в Харькове, и в Одессе, и в Юрьеве, и в Пскове. Больше меня вообще тянуло на Запад, что и понятно по отношению к такому западнику, как я. Меня влекла туда культура, влекла возможность хоть временно окунуться в более свободную жизнь, влекли музеи и библиотеки, влекли интересные люди. В первые годы XX века я посещал часто Прагу, Краков и Львов, где заводил разные знакомства и собирал на месте сведения о политической жизни Австро-Венгрии для шестого и седьмого томов «Истории Западной Европы», касательно столь сложных там национальных отношений. В Париж я два раза заезжал для участия в Международных социологических конгрессах, а перед войной 1914 года для возобновления архивных занятий по Французской революции.[5] Посещение некоторых русских городов, меня инте-

ресовавших (особенно в Верхнем Поволжье), я все откладывал да откладывал в долгий ящик, но не успел даже побывать в Гжатске, где протекала часть моего детства.

Затрудняюсь припомнить мои заграничные поездки и встречи в 1889—1914 годах в хронологическом порядке и буду придерживаться географического, во всяком случае оставляя в стороне впечатления и воспоминания свои как туриста, много ездившего и даже пешком исходившего много интересных мест, хотя обо всем этом всегда любил рассказывать людям там, где я был, не бывшим: так приятно было хотя бы мысленно побывать еще и еще на берегу моря, в горах, на озерах и особенно в городах Западной Европы.

Куда, бывало, ни поедешь в чужие края, всегда нужно было ехать или через Германию или через Австрию; только один раз мы совершили проезд через румынскую границу по дороге на Балканский полуостров. Интересные для туриста места были и в Германии, и в Австрии, но в последней меня тянуло еще в славянские страны, в особенности в Чехию и в Галицию, где я и был по нескольку раз. По дороге в Карлсбад во время первой поездки в Карлсбад я вторично посетил Прагу, куда заезжал еще многократно. Более близкими моими знакомыми были: профессор Томас Масарик, впоследствии первый президент Чехословацкой Республики, с которым я видался и в Петербурге, куда он приезжал; Ярослав Голль, один из видных чешских историков; историки же Бидло, часто бывавший у меня в Петербурге, где он жил одно время, и Пекарж, Кайзль, бывший одно время австрийским министром финансов; этнограф Зибрт; антрополог и археолог Нидерле, юрист Кадлец; известный политический деятель Крамарж; публицист Гайн (переводчик моих «Писем о самообразовании», редактор «Славянского Пржегледи»);* Адольф Черный и др., все более или менее русофилы и многие из них знающие по-русски, что обеспечивало за мною с их стороны особенно радушный прием.

Самую крупную для меня фигуру представлял собою среди других Масарик, человек с широким философским кругозором и большим политическим талантом, с которым я особенно охотно видался и беседовал. В один из моих приездов в Вену, где я пробыл дней десять, во время сессии рейхстага, членом которого был Масарик, я каждый день ужинал с ним в одном ресторане, куда приходили и его единомышленники Крамарж, Кайзль и еще один депутат, купец Ваганка. Они составляли тогда вчетвером особую, отколовшуюся от младочехов группу «пеалистов». Помню одну воскресную поездку с Масариком, Крамаржем и Кайзлем куда-то в живописные окрестности Вены, где мы провели приятно целый день, бродя по горам и лесам и ведя оживленные беседы. Между прочим Крамарж жаловался на

* Slovianský přehled (прим. Н. И. Кареева. — *В. З.*).

внутреннюю политику Австрии и сказал, что лучше был бы абсолютизм, но под условием всяких видов свободы. Я отпарировал ему и, шутя, заметил: «Хорошо, что я не репортер какой-либо газеты, а то мог бы опубликовать ваш разговор, и вас более не стали бы выбирать в рейхстаг».

С чехами я часто вел беседы о русских делах и нередко видел, как они плохо разбирались в наших внутренних отношениях, смешивая народников с националистами, ввиду того, что по-чешски «национальный» будет «народный» и «народный» — «лидовый» (людовый). По этому поводу в один из приездов в Прагу я прочитал в «Умелецкой Беседе» лекцию (напечатанную потом в журнале Черного) о наших общественных направлениях (это было до 1905 года). Я был крайне удивлен, когда увидел, что на мою лекцию явилось около двухсот человек, среди которых было много женщин: все это были члены так называемого русского кружка, общества любителей русского языка и литературы. После лекции был скромный ужин в ресторане, куда пришли и некоторые журналисты, но Масарик шепнул мне, что им не понравилось мое отношение к русским националистам, бывшим у чехов, наоборот, очень популярными. Я просил Масарика прислать мне в Карлсбад отзывы о моей лекции, но он предупредил, что кроме одной старочешской газеты и его собственного органа «Час» о моей лекции другие газеты промолчат. Так оно и вышло.

Бывал я еще в Пражском (Чешском) университете на двух-трех лекциях и семинарских занятиях. Знакомые ученые награждали меня своими книгами, среди которых были, конечно, и произведения Масарика, и отдельные оттиски. Беседы с чешскими политиками и их указания на литературу, интересовавшую меня, много мне помогли ориентироваться в их внутренних отношениях для моей «Истории Западной Европы». Немножко я посотрудничал в «Чешском Историческом Часописе» и в «Славянском Пржегляде».

Удалось понаблюдать кое-что в чешско-немецких отношениях. Иду я, например, раз в летний жар по Праге с одним профессором и изнемогаю от жажды: предлагаю ему зайти в хорошо известный мне ресторан, который уже завидел впереди, и прибавляю, что там хорошее пиво, но мой спутник запротестовал, указав, что лучше будет идти туда-то, назвав при этом очень далекое место. «Почему?» — спросил я, но в этот момент мы поравнялись с рестораном, на вывеске которого стояло «Deutsches Homo»*. «Мне сюда нельзя», — объяснил чех, метнув глазами на немецкую вывеску. «А мне можно», — смеясь, сказал я, забежал внутрь и наскоро выпил кружку пива. Даже у коробочек с зажигательными спичками для немцев и для че-

* Только для немцев (нем. — *В. З.*).

хов были разные этикетки: каждый покупал только свое «родное».

Одновременно с Прагой я часто заезжал в Краков и во Львов, как уже упоминал об этом выше и подробнее писал в статье о своих отношениях с поляками, перепечатанной в моих Polonic'ах (правда, относящейся еще только к 1901 году). В обоих городах я приобрел много знакомых, хорошо меня принимавших. Здесь у меня больше всего интересных встреч было в профессорском кругу, среди преимущественно историков, филологов и философов. Назову Здеховского, Закржевского,[6] Войцеховского,[7] Дэмблиского,[8] Потканьского,[9] Ашкенази,[10] Бальцера,[11] Финкеля,[12] Калину[13] и др. Был я знаком и с ветераном польской филологии Антонием Малэцким,[14] в честь которого была названа одна из львовских улиц. Удалось мне повидаться и с некоторыми публицистами, а из политических деятелей и вождей польских социалистов — Игн[атием] Дашинским,[15] которого видел на обеде у профессора бактериологии Буйвида.[16] Я как-то возвращался в Россию через Краков, где пробыл только два дня. Буйвид пригласил к себе меня и жену пообедать запросто в его семье по дороге из гостиницы на вокзал. Со смехом он и жена его рассказывали нам, как переполошилась их прислуга, узнав, что у них будут обедать москали,* — и тут же говорили своим маленьким детям: «Видите, москали совсем не страшные». Из Кракова и Львова я, как и из Праги, увозил немало книжных подарков, не говоря уже о том, что как только я сделался членом-корреспондентом Краковской «Академии Умеентности»,** она аккуратно присылала мне свои ценные издания вплоть до начала войны 1914 года, когда эти присылки прекратились, чтобы возобновиться только лет через десять-одиннадцать.

Бывая во Львове, я делил свое время между польскими и украинскими знакомыми. Польское и русинское общества во Львове также не смешивались, как чешское и немецкое в Праге, или русское и польское в Варшаве. Украинская интеллигенция была гораздо малочисленнее польской. Здесь я чаще всего видался с М. С. Грушевским, специалистом по украинской истории, с известным писателем Иваном Франко и радикальным публицистом и политическим деятелем Михайлом Павликом. Это были все «щирые украинцы», как и те, кого я у них встречал, а из «твердых», или «москвофилов», был только у безобидного Исидора Шараневича,[17] ветерана украинской историографии.

В один из приездов во Львов я прочитал в тамошнем русин-

* Это напоминало мне жалобу моей прислуги, полячки, на своего мужа, который ругал ее «последними словами», назвал (за службу у русского) «московкой». «Но ведь и я москаль,— возразил я своей „пани Вицентовой", которая ни за что не хотела со мной согласиться, упорно утверждая, что я „россиянин"» (прим. Н. И. Кареева.— *В. З.*).

** Academia umijetnosty.— *В. З.*

ском народном (национальном) доме лекцию о Н. К. Михайловском (по поводу его юбилея), которая была в украинском переводе помещена в «Вестнике Общества имени Шевченко».[18] Я начал лекцию с выражения сожаления о том, что не могу говорить на языке моих слушателей, так как не учился этому языку. Такое непризнание догмата «твердых» об абсолютном единстве русской народности и языка заставили нескольких господ из местной интеллигенции москвофильского направления, среди которых были редактора местных газет, демонстративно встать со своих мест в первом ряду и покинуть зал. Когда отдельные оттиски моей лекции о Михайловском были присланы в Петербург, я с превеликим трудом получил их, да и то по непосредственному разрешению главного начальника по делам печати, князя Н. В. Шаховского,[19] которого я знал в Москве еще когда он был гимназистом. Кроме того, во Львове я читал лекцию о самообразовании у русской молодежи, повторив ее по-польски в квартире Козловского,[20] переводчика на польский язык моего «Польского сейма». Из любопытства я был и у обедни в униатской церкви, чтобы послушать проповеди на украинском языке.

Кроме Чехии и Галиции, из славянских стран Австрии я, уже как простой турист, побывал, не заводя никаких знакомств, и везде очень недолго, в Загребе, в разных городах Далмации, с заездом из Котора в Черногорию (ровно на одни сутки), в Мостаре и в Сараеве, посетив по пути и Будапешт. Но у бывших турецких славян я погостил больше и кое с кем познакомился как в Софии, так и в Белграде.

В Болгарии я был два раза — в 1900 и в 1912 годах, в первый раз с женой во время поездки в Константинополь, во второй — один, и ездил только в Болгарию с Сербией. Первое путешествие мы сделали от Рущука до старой Загоры на лошадях с покормками и ночлегами, на что ушло около пяти суток; за прекрасный экипаж и четыре лошади при расстоянии в триста верст заплачено было восемьдесят левов, что равнялось тогда тридцати рублям, да при подъеме на Шипкинский перевал за четырех волов было дано десять левов — удивительная дешевизна! Путь лежал на Тырново и Шипку. Лошадей нам нанял в Рущуке случайно встретившийся в гостинице болгарский офицер, поручивший нам передать его жене в Тырнове изящный дамский зонтик, за которым по записке, посланной ей с кучером, явился ко мне ее брат. Узнав мою фамилию, он, как угорелый, выбежал, не сказав ни слова, и через несколько минут привел с собой другого болгарина, который оказался Дейковым,[21] переведшим на свой родной язык мои «Письма о самообразовании», а эти двое позвали еще человека три из местных интеллигентов. В Тырнове мы провели полдня, гуляли в большой компании в городе и за городом и поздно вечером ужинали в нашей гостинице, разговаривая о России и о Болгарии. В Со-

фии мы провели около недели, каждый день раза по два видаясь с знаменитым болгарским политическим деятелем Петкой Каравеловым[22] и его женой, оказавшейся воспитанницей той же женской гимназии в Москве, где училась и моя жена. Вообще здесь я виделся со многими деятелями, фамилии которых теперь не припомню, хотя к одному мы ездили на дачу на склоне великолепного Витоша. Помню лучше других профессоров истории Агуру[23] и Златарского,[24] который был моим слушателем в Петербурге, и поэта Величкова, женатого на бывшей ученице гимназии С. Н. Фишер в Москве, куда она была привезена совсем маленькой девочкой с войны 1877—1878 года каким-то русским полком, ее удочерившим.

Меня поразило, что многие болгары мне говорили: «Когда я был министром», так что, разговаривая с профессором Агурою, я однажды невольно его спросил: «А когда вы были министром?» В доме Каравелова мы встретились с женой русского посланника Бахметева,[25] пригласившей нас к себе обедать. Позднее я узнал, что последний был тем самым лицом, которое выжило П. Н. Милюкова[26] из Болгарии, потребовав у софийского правительства его отставки. Во второй раз я пробыл в Софии также около недели. Каравелова уже не было в живых, но я виделся с его вдовой. Больше всего я здесь проводил время на сей раз с профессором иностранных литератур И. Д. Шишмановым,[27] вскоре после того приезжавшим в Петербург, и с шурином А. И. Чупрова, Богдановым, переехавшим на жительство в Софию, где дочь его была замужем за местным врачом. В этот приезд я побывал в Софийском университете на семинарии Шишманова, посетил несколько уроков истории и русского языка в двух-трех гимназиях и видел, как учатся по моему учебнику в болгарском переводе,[28] и даже прочитал по-русски при большом стечении публики две публичные лекции. Удалось также побывать в заседании болгарского парламента... Наконец, мне пришлось видеть, как происходило братание болгар с сербами и какое оживление было в Софии в день избрания в депутаты социалиста Сакарова.[29] Необычайно подвижный и живой Шишманов, — кстати сказать, женатый на дочери Драгоманова, — вошедши со мной в одну многолюдную кофейню, громогласно представил меня публике, как большого болгарофила, на что я ответил, что я прежде всего антропофил. Перед отъездом моим был в мою честь устроен банкет, где было много народа и произнесено было немало речей. Присутствовал на нем и также говорил министр народного просвещения Бобчев, с которым я предварительно познакомился. Как-то странно было слышать, когда меня величали «скупым гостем»; тут я в первый раз узнал, что «скупой» значит по-болгарски «дорогой».

В Белграде, куда я поехал из Софии и где пробыл дней пять, я застал такие же сцены болгаро-сербских братаний. Это было накануне балканской войны, о которой тогда еще совсем

не говорилось. В этом городе я был проездом еще в 1900 году, а теперь ближе с ним познакомился, не завязавши, впрочем, ни с кем более близких отношений. В Сербии я не заметил такого культурного тяготения к России, какое я нашел в Болгарии, где русский язык был очень распространен среди интеллигенции. В Софии я все время разговаривал по-русски, в Белграде же со своими коллегами по профессии вел беседы по-немецки или по-французски, хотя я встречал и людей, говоривших по-русски.

Вообще в славянских странах я очень интересовался отношением интеллигенции к русской культуре и к знанию ею русского языка. Более всего образованных людей, знавших русский язык, я встречал в Чехии и Болгарии. В этой последней, кроме времени господства Стамбулова,[30] русский язык преподавался в средней школе, о чем я даже писал в своей статье «Высшая и средняя школа в Болгарии» (в «Школе и жизни»).[31] Среди поляков, не учившихся в России, знание русского языка было распространено мало: некоторые участники львовского банкета, о котором была речь в своем месте, говорили мне, что, когда я произносил свою речь, они вообще в первый раз слышали российский язык. Прибавлю, что меня также интересовал вопрос об изучении русского языка и во Франции: я бывал на лекциях о русском языке у Леже, у Буайе (в Школе восточных языков), и у Омана (в Сорбонне) и тоже поместил об этом небольшую заметку в «Вестнике Европы».[32] Во время поездок по Болгарии и сербохорватским частям Австрии, равно как в Черногории, я довольно легко справлялся при помощи русского языка.

В немецких странах больших знакомств в ученом мире у меня не было, а если и были, то случайные и мимолетные. Больше других приветливо относились ко мне в Берлине Т. Шиман, в Лейпциге — Лампрехт и Маркс, в Страсбурге — Циглер, в Вене — Бенедикт, в Цюрихе — Альфред Штерн, в Берне — Людвиг Штейн. С Бенедиктом (автором, между прочим, «Психологии») и Штерном даже мы сошлись несколько ближе. О книгах последнего («Мирабо» и «История XIX века») я помещал изредка заметки в русских журналах,[33] и мы даже переписывались. У Бенедикта, профессора по нервным болезням, я был за медицинским советом. Узнав, что я профессор, он не только не взял никакого гонорара, но пригласил к себе и обедать, и на вечер. Бывая впоследствии в Вене, я всегда заходил к Бенедикту. Он заявлял себя величайшим поклонником русской интеллигенции, наиболее, по его мнению, духовно свободной. Один раз, возвращаясь из-за границы, я столкнулся с Бенедиктом на вокзале в Варшаве. Он ехал в Москву на международный конгресс врачей в специальном поезде для заграничных гостей. С разрешения начальника станции я со своим билетом до Вязьмы поехал в этом поезде. Мы вместе завтракали и обедали

в поезде, а Бенедикт восторженно говорил немецким и венгерским врачам о том, что́ такое русская интеллигенция, и предлагал тосты за молодую Россию. В большинстве случаев отношение немцев к русским было иное.

Приятно вспомнить еще об обрусевшем немецком швейцарце Ф. Ф. Эрисмане,[34] бывшем профессоре в Москве, удаленном оттуда Деляновым. Он очень радушно не раз принимал меня в Цюрихе, где у него был прекрасный домик с садом. Хорошее воспоминание осталось у меня еще о другом швейцарце, докторе Мюрэ, лечившем моего сына, когда тот был ребенком. Мюрэ, оказавшийся большим русофилом, стал запросто навещать нас, пригласил меня к себе обедать и много рассказывал о своей дружбе с известным доктором Белоголовым.[35]

Дольше всего мне приходилось проживать и иметь больше всего знакомств в Париже, в котором я бывал в течение чуть ли не сорока лет (1877—1914) и где главным образом работал, так сроднившись с самим городом, как ни с каким другим. Даже останавливался я в нем в одних и тех же домах, в XIX веке — на углу бульваров Сен-Мишель и Сен-Жермен, а в XX веке — на rue des Ecoles напротив Сорбонны, в hôtel du globe, где в приезды последнего времени занимал одну и ту же комнату. Круг моих знакомых среди французских историков постоянно расширялся. Назову прежде всего Габриэля Моно, зятя Герцена, основавшего и много лет редактировавшего «Revue Historique», а также его преемников по редакции этого журнала Бемона[36] и Пфистера.[37] Далее идет Альфонс Олар, профессор истории французской революции, в органе которого — «La Révolution Française» — я напечатал несколько статей и на лекциях и практических занятиях которого был два раза. В один из последних приездов я познакомился еще с Анри Берром,[38] редактором «La Synthèse Historique» и автором книги, подробно мною разобранной в «Историческом Обозрении». Не особенно, впрочем, близко я был знаком с Альфредом Рамбо,[39] написавшим, между прочим, «Историю России», но зато очень сошелся с его зятем Оманом, прожившим в Петербурге довольно долго и написавшим книгу о влиянии французской культуры на Россию; она была мною рассмотрена в «Вестнике Европы».[40] Через Омана я сблизился с вдовой Рамбо, у которой несколько раз обедал, и познакомился с ее сыном, занимавшим кафедру в Бордо и убитым [позже] на войне 1914—1918 гг. Заходил я и на лекцию Омана, когда он читал о Герцене.

Не с одним Оманом из французских ученых я познакомился в Петербурге, а потом виделся в Париже. Таковы были еще Ланглуа,[41] занявший незадолго до войны 1914 года пост директора Национального архива, Лиштанберже,[42] Фердинанд Лот.[43] К числу более поздних знакомых отнесу Матьеза,[44] знатока Французской революции, редактора робеспьеристских «Annales Révolutionnaires», сделавшегося профессором в Безан-

соне; Эрнеста Дени,[45] историка Чехии, обучавшегося по-русски и читавшего курс о России при Николае I (был на его лекции о Киселеве); Сеньобоса,[46] книга которого о XIX веке имела такой успех в России. Путем переписки я вошел в сношения с Брэшем,[47] автором книги о Коммуне 10 августа 1792 года, профессором в Монпелье, к которому нарочно по дороге заезжал в Монтрё, где он проводил лето. Два реферата моих в Обществе Французской революции и в Обществе новой истории об изучении Французской революции в России (сначала в XIX веке, потом в XX) дали мне возможность видеть еще многих историков.[48]

Совершенно также участие мое в двух международных социологических конгрессах и посещение одного заседания Социологического общества дали мне возможность встретиться с французскими социологами (Ренэ Вормсом,[49] Габриэлем Тардом,[50] Эспинасом и др.) и познакомиться со многими социологами других стран: с ветераном американской социологии Лестером Уордом,[51] с итальянским экономическим материалистом (но не марксистом) Лориа,[52] один труд которого я разобрал в особой статье, с итальянским же криминалистом Гарофало, с швейцарским философом Людвигом Штейном и проч. и проч., а также с русскими социологами, которых лично прежде не знал, — с Лилиенфельдом,[53] Я. Новиковым, Де-Роберти и др. В числе русских на этих же конгрессах бывали и старые знакомые, как Ковалевский и Лесевич. У меня сохранились и общие фотографические группы некоторых членов этих съездов.

На одном из них председательствовал нарочно из Америки приезжавший Лестер Уорд. Он дал членам конгресса обед, члены конгресса — ему. Здесь Уорд узнал от меня, что первый том русского перевода его «Динамической социологии» был уничтожен цензурою, вероятно, по сходству одного слова в заглавии с динамитом, а другого — с социализмом, а Лилиенфельд рассказал, как, будучи лифляндским губернатором, он приводил в исполнение приказ об изъятии из общественных библиотек собственной своей книги «Мысли о социальной науке будущего» с инициалами «П. Л.», принятыми за инициалы Лаврова. Лестер Уорд пожелал прослушать, как звучат речи на разных языках, ему неизвестных: я говорил по-русски, Лесевич — по-украински, молодой, рано умерший социолог из русской Польши Келлес-Крауз[54] — по-польски и т. п. Так как ни одного немца в компании не оказалось, взялся по-немецки произнести речь француз Рауль де ла Грассери,[55] много писавший по социологии, но это были какие угодно звуки, только не немецкие. Вспомнили, наконец, о провансальском языке, но среди присутствующих не нашлось ни одного, знающего этот язык. Тогда выступил Лесевич и продекламировал по-провансальски два-три стихотворения. Это было еще в блаженные времена все более и более развивающегося международного общения ученых.

Приобретал я знакомства и среди парижских «россиазанов» (russisants), как стали звать занимающихся русскими вещами (des choses russes), т. е. языком, литературой, историей. Кроме старых моих знакомых этой категории Леже и Омана, это были Поль Буайе — директор Высшей школы восточных языков, ее секретарь Андре Мазон[56] — автор книги о Гончарове, Патулье, писавший об Островском и бывший в начале войны директором французского института в Петербурге, два брата Шаля, один — юрист, другой — филолог, и т. п. Через кого-то из них я познакомился еще с молодым католическим священником Кенэ, два года учившимся в Киеве и с восторгом говорившим мне о киевских студентах, «совсем не таких буржуазных, как французские». Он интересовался историей русской церкви и иконописи.

Не было, конечно, недостатка встреч в Париже с жившими там или приезжавшими русскими. С Лавровым я продолжал видаться во все свои приезды 1889 и девяностых годов. Он умер в 1900 году, после чего я писал о нем несколько раз. Всегда кого-нибудь да и встретишь из своих коллег (Гревса, Гамбарова, Ковалевского, Лучицкого, Муромцева, Ростовцева, Тарле), а также учеников (Погодина, Бутенко). Так привлекал к себе всех нас Париж. Особенно много нашего брата было в начале XX века, когда в одном доме на rue Sorbonne действовала Вольная русская школа общественных наук, организованная М. М. Ковалевским при ближайшем участии Ю. С. Гамбарова и В. В. Де-Роберти. Приглашенный прочесть в ней несколько лекций, я ездил в Париж в зимнее вакационное время с 1901 на 1902 год. Слушателей у нас была масса, принимавших нас, гастролеров из России, очень хорошо. Школе ее основатели и руководители хотели придать строго научный, чисто академический характер, чего школа, однако, с течением времени не выдержала, когда сделалась ареной борьбы между марксистами и народниками по вопросу о русской общине. К сожалению, наши газеты раздули значение этого предприятия, говоря о ней, как о настоящем организованном университете, дающем законченное высшее образование. Сколько было разочарований со стороны приезжавшей в Париж русской молодежи учиться в «Русском университете» и не бывшей в состоянии по совершенному незнанию французского языка учиться в настоящих парижских высших школах. Я даже счел своим долгом по этому поводу тиснуть статейку в «Русских Ведомостях». Были разочарования и с иной точки зрения. Одна петербургская знакомая читала мне письмо от своего юного сына из Парижа с жалобой на то, что приезжие русские профессора читали в Париже так, как будто бы и не переезжали русской границы, т. е., короче говоря, не призывая к революции.

Большей частью пребывания мои в Париже в конце XIX века и в самом начале XX были слишком непродолжительны для

того, чтобы я мог много работать в Национальной библиотеке, а тем более в Национальном архиве. На более продолжительное время я стал ездить туда ежегодно с декабря 1910 года на целый месяц рождественского вакационного времени, да один раз на пасхальное время, что дало мне возможность хорошо поработать и издать потом несколько архивных документов и издать несколько работ о парижских секциях времен Французской революции. Два сборника неизданных источников напечатала наша Академия наук, а мои исследования о секциях печатались с 1911 по 1915 год.[57] Вообще за последние годы перед войной я вернулся к более интенсивной работе по эпохе Французской революции. В архиве я нашел немало нового, чем еще не успел поделиться с французскими историками. Между прочим, мною был найден один оставшийся неизвестным источник, которым я хотел вплотную заняться зимой с 1914 на 1915 год.

В последний раз я был в Париже в июле 1914 года, недели за две до объявления войны. В этом году, поработав месяца два в Аносове, я с женою предпринял чисто туристическую поездку в Англию через Голландию и Бельгию, причем мы доезжали до Инвернесса на севере Шотландии. С нами ездил, как это случалось и раньше, П. В. Мокиевский. Жена осталась на острове Уайте, откуда должна была съехаться на берегу моря с нашей дочерью, а я поехал сначала в Париж, а оттуда в Карлсбад, куда должна была приехать жена. Неожиданно объявленная война расстроила все наши планы. Жена с последним поездом успела проскочить в Россию, дочь с племянницей и ее мужем вернулись позже через Средиземное и Черное моря, а я застрял в Германии, через которую думал вернуться в Россию, в плену, на целые пять недель. И счастье мое было, что я не остался в Карлсбаде, а переехал в Дрезден: в одно время со мною в Карлсбаде находился Ковалевский, которого австрийцы продержали в плену около полугода. О своем пятинедельном плене в Германии я подробно осенью 1914 года рассказал в «Русских Записках» и в «Русских Ведомостях».[58]

Карлсбадом, можно сказать, до некоторой степени и начался и окончился двадцатипятилетний период (1889—1914) моих частых заграничных поездок. Я очень благодарен этому курорту, дважды вылечившему меня от тяжелой болезни.

Глава одиннадцатая

В ПЕТЕРБУРГЕ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Мои занятия по удалении из университета. — Преподавание на экономическом отделении Политехнического института. — Работа в Союзе взаимопомощи русских писателей.— Участие в городском самоуправлении.— «Записка 343». — Кровавое воскресенье. — Интеллигентская депутация к министрам и ее заключение в Петропавловскую крепость. — Инцидент на обеде городского головы. — Мое сидение в крепости. — Его последствия. — На другой день 17 октября.— Академический союз преподавателей высшей школы. — Конституционно-демократическая партия. — Мое в ней участие. — Партийность и учащиеся. — Мои выступления на публичных митингах. — Мое избрание в I Государственную думу и пребывание в ней. — Отношение мое к Выборгскому воззванию. — Два небольших эпизода 1906 года. — Возвращение в университет и на Высшие Женские курсы. — Софьинский департамент. — Выход их Лицея. — Реакционные министры народного просвещения. — Профессорская оппозиция. — Участие в университетском суде. — Новые учебные планы прохождения курса. — Мои работы этого периода.— Цензурные препоны. — «История Европы по эпохам и странам» и «Научный исторический журнал». — Празднование сорокалетия со дня окончания курса в университете. — Беглый взгляд на мое прошлое в Петербургском университете и на мои исторические занятия. — Преподавание на курсах Лесгафта. — Психоневрологический институт и Педагогическая академия. — Юбилей Литературного фонда. — Репортерское вранье. — Клиенты Литературного фонда. — Семейные дела. — Новые ученики. — Годы войны.

С удалением меня из университета и с Высших Женских курсов начался новый период в моей жизни. Ввиду сокращения моих доходов надо было подумать о новом заработке, да и времени освободилось у меня много. Еще раньше я интересовался вопросами преподавания истории в средней школе. Устраивая Историческое общество при университете, я имел в виду не только разработку научных вопросов, но и вопросов о преподавании истории в средней школе, в чем был поддержан некоторыми преподавателями, [такими] как Я. Г. Гуревич, товарищ мой по комитету Литературного фонда, Е. А. Белов, лицейский сослуживец, Ю. Ю. Цветковский, В. Л. Беренштам и др. Гуревич, о котором я написал статью в «Юбилейном сборнике Литературного фонда» (как и о Манасеине), только что в последние годы прошлого столетия основал педагогический журнал под заглавием «Русская Школа», в некоторых книжках которого за 1899—1901 гг. я поместил кое-какие заметки о преподавании истории в средней школе.[1] В эти же годы вышли в свет один за другим три мои учебные книги по новой, средневековой и древней истории, имевшие потом по нескольку изданий (15, 10 и 8), переводившиеся по-болгарски[2] и по-польски и вышедшие также в сербской переделке.

С осени 1899 года по осень 1902 я преподавал только в Лицее. Лекции меня никогда не тяготили; я даже мог скучать

без лекций, но преподавание в Лицее меня не удовлетворяло. Во-первых, я должен был повторять из года в год один и тот же курс, а во-вторых, лицейское юношество состояло из «воспитанников», а не студентов и учились они ради только баллов, от высоты которых зависел класс табели о рангах, с которыми воспитанник кончал курс. Я очень обрадовался, когда старый знакомый А. С. Постников, назначенный деканом экономического отделения в только что учрежденном Политехническом институте, пригласил меня взять на себя в этом новом высшем учебном заведении чтение лекций. Кроме меня, историю здесь стал преподавать И. М. Гревс, через год, впрочем, оставивший институт, после чего я оставался один год на все отделы истории. Так как ездить в институт было далеко, за город, то я расположил свои лекции так, чтобы бывать там лишь два раза в неделю с ночевкой между первым и вторым днями. В студенческом общежитии мне была отведена комната, а столоваться пригласил у себя старый мой московский знакомый И. И. Иванюков, сделавшийся профессором института. С добрейшим и милейшим Иваном Ивановичем мы стали большими друзьями, жившими душа в душу в течение почти полных десяти лет, до самой его смерти в первый день Пасхи 1912 года. После скоропостижной кончины Иванюкова свои о нем воспоминания я поместил в «Известиях» института.[3] С большой признательностью вспоминаю всегда о его приветливой семье.

Я понял, что студентам-экономистам нужно не то, что студентам-историкам, и задумал читать особые, как я их назвал, типологические курсы, в которых были бы с сравнительной и обобщающей точки зрения рассмотрены и государство-город античного мира, и древний деспотизм, и средневековый феодализм, и западноевропейские монархии трех категорий: сословная, абсолютная и конституционная. И вот я начал составлять такие курсы и тотчас же их печатать. С 1903 по 1908 год этих типологических курсов вышло в свет пять томиков[4] (из которых первый имел четыре издания, второй и третий — по три, четвертый — два). Имея свободные вечера, когда я оставался ночевать в Политехникуме, я воспользовался ими для того, чтобы для желающих из всех отделений читать необязательные лекции общеобразовательного характера, сделав их предметом введения в философию. Вследствие того, что почти все студенты жили в общежитии при институте, далеко от городских развлечений, эти мои лекции усердно посещались; аккуратно ходил на них и Иванюков. Имея комнату в общежитии, я довольно близко мог общаться и со студентами.

Товарищеская среда была весьма приятная. Директором был князь А. Г. Гагарин,[5] человек младенчески чистой души, а Постников сумел подобрать и очень хорошую компанию преподавателей на экономическом отделении. Деканом металлургического отделения был Н. А. Меншуткин, мой прежний товарищ

по университету, по Комитетам пособия студентам, по Литературному фонду и по ежемесячным обедам в ресторане Донон; после его смерти я продолжал посещать и его вдову, очень начитанную в истории женщину. Одним словом, пребывание мое в Политехническом институте было для меня очень приятным. Впоследствии в число его профессоров вошли и старые мои московские знакомые: Гамбаров и Ковалевский. Каждый год Постников, впоследствии и директор, в день своего рождения (14 декабря) устраивал большой пир. В 1904 году на этом пиру уже чувствовалось то настроение, из которого вышел протестующий Академический союз.

С возвращением в университет и на Высшие Женские курсы в 1906 г. я несколько сократил число своих часов в Политехникуме, а потом, когда расстроилось его сообщение с городом, я совсем прекратил там свое преподавание, рекомендовав своим заместителем по преподаванию новой истории и там, и в Лицее Бутенко. Осенью 1920 года меня снова звали преподавать в институте, но я не мог взять на себя это дело, потому что поездки были бы сопряжены с величайшими затруднениями, а то и прямо были бы невозможны.

Прежняя моя деятельность в Литературном фонде в отделе для содействия самообразованию в Историческом обществе (несколько впрочем, ослабевшем), по редактированию «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона продолжались, но в Комитете пособия студентам я более уже не работал. Зато довольно деятельное участие принимал я в организации и в делах возникшего в первых годах текущего столетия, но очень скоро закрытого властями Союза взаимопомощи русских писателей, проявившего оппозиционный дух, что не могло понравиться власть предержащим. Между прочим, Союз организовал писательский протест по поводу одного избиения участников студенческой демонстрации у Казанского собора, когда в числе пострадавших был Н. Ф. Анненский, сам же, однако, и высланный тогда в Ревель всесильным тогда Плеве.[6]

Началось бурное время, предшествовавшее революционному взрыву 1905 года. Любопытная вещь — это то, что с одними и теми же людьми приходилось участвовать в разных учреждениях. У меня есть снятые в одно и то же время фотографические группы членов комитета Литературного фонда и Союза писателей: сколько на них одних и тех же лиц, и сколько из них имеется также на фотографической группе[7] посетителей журфиксов редакции «Русского Богатства», снятой в десятую годовщину перехода этого журнала в руки Михайловского и его единомышленников. Как мал был, в сущности, круг общественных работников вне официальных учреждений, городских и земских.

В эти же годы я впервые соприкоснулся с общественной деятельностью в области городского самоуправления. До этого вре-

мени я участвовал исключительно в совершенно свободных, неофициальных общественных единениях и никогда не имел касательства не только к каким-либо казенным комитетам и комиссиям, но и к учреждениям местного самоуправления. Когда в Петербурге избирательные права были получены квартиронанимателями с известным цензом, я сделался гласным Городской думы в расчете, что буду работать в комиссии народного образования, но при выборах в нее я остался «за флагом», попав зато в комиссию по разбору нищих, в какой и участвовал некоторое время, пока не убедился, что комиссии по народному образованию при тогдашнем составе гласных мне не видать, как своих ушей, и пока не убедился, что вообще деятельность городского гласного не по мне, слишком кабинетному, мало практическому человеку.

Наступил 1904 год. В начале его вспыхнула японская война, в середине — был убит Плеве (о чем известие я прочитал в швейцарских газетах, садясь на пароход на Боденском озере), а осенью началось сильное общественное движение, захватившее и профессорскую среду. За время своего изгнания из университета я значительно поотстал от того, что в нем делалось, и стоял, пожалуй, гораздо ближе к делам литературным и журнальным. Следил я за происходившим в университете только издали и часто был доволен, что Боголепов избавил меня от множества тягостных переживаний того времени, когда студенты разрушали академическую жизнь, а правительство свирепствовало своими репрессивными мерами — вплоть до отдачи непокорных студентов в солдаты, как во времена Николая I.

В конце 1904 и начале 1905 года происходили частные совещания наиболее передовых профессоров в петербургских высших учебных заведениях, причем образовался небольшой инициативный кружок, выработавший текст декларации политического содержания, получившей потом название «Записки 343» по числу на первых же порах собранных под ней подписей и бывшей платформой образовавшегося вскоре Академического союза. Я участвовал в собраниях этого кружка и в выработке записки. Предполагалось устроить грандиозный банкет деятелей высшей школы в знаменитый Татьянин день, годовщину основания Московского университета, чтобы огласить на нем нашу декларацию и собрать под ней подписи присутствующих. Для банкета были выбраны распорядители, нанято помещение, заготовлены билеты, намечены ораторы, причем произнести речь, которая бы комментировала нашу декларацию, было поручено мне. В записке говорилось, что так дальше жить нельзя, что нужно народное представительство, что профессура дальше не будет работать в условиях постоянных стеснений и репрессий. Приняты были все меры, чтобы на банкете было как можно больше деятелей высшей школы, дабы придать ему особую внушительность.

Но банкет не состоялся. За двое суток перед днем, на который был назначен банкет, произошло событие, известное под названием «кровавого воскресенья», когда толпы рабочих, руководимые священником Гапоном, пошли с петицией к царю и подверглись расстрелу на Дворцовой площади, у Александровского сада и в начале Невского проспекта. Наши профессорские собрания были и в этот день, и следующие. Утром 9 января я участвовал в собрании на Моховой, в Тенишевском училище, откуда уехал домой, когда уже начали собираться кучки рабочих, чтобы слиться с главной процессией, шедшей от Нарвских ворот. Был я на одном собрании нашего кружка в квартире профессора Аршаумова на Выборгской стороне, вернувшись откуда очень поздно и едва успев немного поспать, был арестован и увезен в Петропавловскую крепость.

Для меня это было тяжелое время по семейным отношениям. В ноябре моя жена опасно заболела гнойным аппендицитом и отвезена была в Еленинский клинический институт, где подверглась серьезной операции. Едва начав оправляться, она возвратилась домой, как ей пришлось узнать о смерти в Москве ее отца, которого она очень любила, что неприятно отразилось на ее хронической болезни сердца. А тут случился этот, совершенно неожиданный арест, донельзя перепугавший и мою мать. А я, в своем крепостном уединении, не знал, что делается дома.

Арест был вызван участием моим в одной депутации, ездившей к некоторым министрам в ночь с 8 на 9 января.[8] Слух о том, что готовится грандиозное шествие рабочих для подачи прошения царю уже ходил по городу не первый день, но подробности большинству интеллигенции оставались неизвестными. Утверждалось со всех сторон, что демонстрация будет мирная, что масса будет в ней участвовать с верою в царя и что ни у кого не будет никакого оружия. Вечером 8 января мне было сообщено, что в редакции такой-то газеты (названия ее сейчас не помню) на Невском собираются для обсуждения создавшегося положения дел. Я поспешил туда поехать и нашел там небольшое помещение редакции битком набитым. Долго и много говорили, пока не пришли к решению послать депутацию к министрам: внутренних дел — кн. Святополк-Мирскому и финансов — Витте с просьбой принять меры для предотвращения кровопролития. Стали называть имена, которые тут же без прений принимались. Депутация составилась из десяти лиц. Этими лицами были: Н. Ф. Анненский, К. К. Арсеньев, И. В. Гессен, Максим Горький, я, Е. И. Кедрин, В. А. Мякотин, А. В. Пешехонов, В. И. Семевский и один рабочий-гапоновец, фамилия которого была Кузин.

Прием у Витте у нас был заранее обеспечен Гессеном, но мы первым делом отправились с Невского на Фонтанку, к зданию «Цепного Моста», где жил Святополк-Мирский, где нам в приеме было отказано, так как министра не было дома. Тогда

мы пошли в соседний дом, где помещался департамент полиции, и просили доложить о себе товарищу министра (вот и его фамилию теперь забыл), послав ему свои визитные карточки. К нам вышел сурового вида военный генерал, принял нас стоя, выслушал, зачем мы явились, но ограничился упреком нам, как будто вот мы-то сами и взволновали рабочих: лучше-де было не мутить народ, чем теперь хлопотать по поводу самими затеянного. Конечно, слова эти не остались без протеста со стороны некоторых из нас. С Невского на Фонтанку и с Фонтанки на Каменноостровский проспект, где жил Витте, мы ездили на пяти извозчичьих санях, я на одних, помню, с Арсеньевым. Витте мы не застали дома, но нас пригласили подождать в приемной. Ждать пришлось довольно долго, пока хозяин дома не вернулся откуда-то и не позвал нас в свой кабинет. Сам Витте уселся за письменный стол, а мы разместились кругом в покойных креслах. Не помню уже, кто (чуть ли не Анненский) изложил министру, в чем дело, а Горький прочитал и передал Витте текст петиции царю, полученный им от рабочего-гапоновца. Витте стал говорить, что, к сожалению, сделать он ничего не может, что мы преувеличиваем его значение и роль в высших сферах и т. п. Говорили из нас немногие, да и каждый только очень кратко. Помню только, что я спрашивал, неужели ему, министру, нельзя сейчас же, на экстренном поезде, на тройке, наконец, в санях, поехать к государю, чтобы убеждать его, просить, молить не проливать кровь народа. Витте возразил мне, говоря, что я только обнаруживаю незнакомство с придворными обычаями. «Неужели, — воскликнул я, — нельзя было бы добиться возможности не соблюдать этикет при таких исключительных обстоятельствах?» На это Витте, помнится, пожал только плечами. Во всяком случае, наша миссия окончилась полною неудачею. Мы поехали обратно в делегировавшее нас собрание, где Анненский, вообще особенно проявлявший свою энергию в общественных собраниях, тотчас же стал докладывать о нашей поездке.

Крайне утомленный всеми собраниями предыдущих дней и тревожась за здоровье жены, я тотчас же после начала речи Анненского уехал домой. Через два дня мы и были все арестованы, кроме Арсеньева, которому крайне неприятно было, что по отношению к нему было сделано исключение (вероятно, в виду его возраста, а может быть, и чина действительного статского советника). Аресты были произведены в одну и ту же ночь. Когда меня в извозчичьих саночках переодетый полицейский вез в крепость, как раз мимо дома, где жил Семевский, я видел у подъезда такие же саночки и догадался, в чем дело.

Нашему аресту давали разное толкование. Один иностранный корреспондент, даже говорили тогда, телеграфировал за границу, что в лице всех нас захватили революционное Временное правительство. Другие объясняли дело тем, будто мы

были делегатами самих рабочих. Один министр говорил директору Политехникума, что я скомпрометирован в самой последней степени. Лично мой арест кое-кто объяснял и другими обстоятельствами.

За два дня до 9 января городской голова Делянов устроил у себя для гласных Городской думы обед, идти на который решила и группа оппозиционных гласных. Сидели за несколькими столами, я с В. Д. Набоковым и Е. И. Кедриным в сторонке, в небольшом отдалении от центра. Обед должен был иметь совершенно частный товарищеский характер, без всяких официальностей, но вдруг во время обеда пришло известие, что крещенский парад, на котором был сам Николай II, окончился неблагополучно: когда с Петропавловской крепости раздались обычные пушечные салюты, один выстрел оказался с картечью, полетевшей в Зимний дворец. Известие это пришло, когда выпито было уже довольно много вина, что придало начавшейся в зале монархической демонстрации прямо неистовый характер. Сообщив о происшествии, хозяин предложил тост за царя в таких холопских выражениях, что без всякого уговора мы трое (Кедрин, Набоков и я) не сочли для себя возможным к нему присоединиться и не встали со своих мест. Это было, конечно, замечено, между прочим, гласным Городской думы, генералом от инфантерии Петр[ом] Павл[овичем] Дурново,[9] и он подошел к нам и добродушно покачал головой со словами: «Что же это вы, господа?» На что Набоков ответил приблизительно так: «Мы были приглашены на товарищескую трапезу, а не для политической демонстрации». Этот самый Дурново в том же 1905 году был сделан московским генерал-губернатором и впоследствии говорил мне в Городской думе, что если бы его послушались, то в Москве не было бы необходимости усмирять декабрьское вооруженное восстание. Наш поступок сказался только на Набокове, которого немедленно лишили придворного звания (кажется, камер-юнкерства), а иные, не знавшие настоящего повода к моему аресту, истолковывали его в смысле воздания за «оскорбление величества».

Все обстоятельства ареста и сидения в крепости, продолжавшегося только одиннадцать дней, я помню отчетливо. Обыск в квартире, довольно поверхностный, был произведен уже после того, как я был увезен. Забрали только все, какие у меня были, письма да две нелегальные брошюрки. Потом все мне было возвращено, кроме одной брошюры (кажется, «Коммунистического Манифеста»). Обыскивать ходили и чердак, и дровяной сарай на предмет искания оружия и бомб, которые полиции, конечно, легко было и подбросить, если бы она захотела: обыск происходил без меня. Помню, как меня привезли в крепость, как долго не отворялись перед нами ворота в Трубецкой бастион, как меня записали, обыскали, отобрали у меня все вещи, одели во все казенное (в арестантский халат) и заперли

в камеру, в которой было так жарко, что я запросился в другую, грозя, что со мной здесь случится удар.

Первым делом было спать и спать. Наступило какое-то спокойное, равнодушное состояние, даже не без некоторой радости, что изъяли из обращения: так тягостны были предыдущие переживания. Тревожился только за своих. На другой день взялся за лежавший на столике около кровати Новый завет, где начал читать «Деяния». Когда я дошел до того места, где говорится о том, что около взятого под стражу апостола Петра положили спать воина, то порадовался, что живу не в те времена и в моем каземате не поместили еще жандарма, но когда я прочитал о том, что ангел вывел Петра из темницы, то, наоборот, пожалел, что прошли те времена, когда ангелы освобождали заключенных.

На третий день мне дали по каталогу выбрать себе книгу (не больше одной в день), так что я мог много читать: прочитал (даже два раза) «Тартарена из Тараскона» Доде, какую-то французскую книгу об Эразме Роттердамском, перечитал «Боярскую Думу» Ключевского и начал, но не успел окончить «Консуэлу» Жорж Занд. От холода иногда я бегал по камере (11 шагов длины и 6 — ширины), припоминая когда-то заучивавшиеся наизусть стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, делал комнатную гимнастику, чего обыкновенно дома никогда не делал, отмывал от жира свою кружку, в которой мне приносили кипяченое молоко, и в той же кружке делал лимонад, после чего тщательно вымывал ту же кружку, чтобы в ней не было следов лимонной кислоты.

Гулять выводили нас на четверть часа на дворик, где каждый раз прохаживался только один заключенный. Один раз побывал в бане, где были в одно время со мною три-четыре жандарма. Раза два или три приходил совершенно глухой полковник Веревкин, любезный, он же приходил объявлять мне об освобождении. На допрос возили меня на Тверскую к жандармам в карете со спущенными шторами и в обществе жандармов только один раз, сняв с меня показания о моей прикосновенности к 9 января, какой на самом деле не было. Здесь мне разрешили по телефону вызвать кого-нибудь из домашних на свидание, и ко мне приезжали моя мать, дочь и свояченица. Посадили меня в ночь с 11 на 12 января, выпустили поздно вечером 22 числа. Сидя в крепости, я вспоминал, что ровно за сорок лет перед тем в эти дни я поступал в гимназию, а за двадцать лет — читал первую лекцию в Лицее. Одновременно со мной был освобожден и Мякотин. Дома знали о предстоящем освобождении и ждали.

Когда перед освобождением мне вернули мои вещи, я зарисовал в записной книжке вид моей камеры, по которому М. И. Мокиевская, жена нашего приятеля, бывшая художницей, сделала увеличенный рисунок, послуживший для написания мас-

ляными красками моей портретной фигуры в тюремной обстановке. Написать такую картину предложила мне и написала известная в свое время портретистка Е. С. Кавос, урожденная Зарудная. Картина эта была выставлена на небольшой выставке портретов членов кадетской партии в 1906 году.[10]

Пока мы сидели в крепости, наши близкие справлялись о нас, хлопотали. Вейнберг, который знал директора департамента полиции Трусевича, обращался к нему. Директор Политехникума Гагарин, имевший большие связи, также туда-сюда обращался. Жена, едва себя пересиливая после своей болезни, в сопровождении своей старшей сестры Герасимовой, нарочно приехавшей в Петербург, отправилась к самому Святополк-Мирскому, министру внутренних дел. Она воспользовалась тем, что когда Святополк-Мирский был губернатором в Пензе, то с ним был хорошо знаком мой брат, служивший в этом же городе, и что я, бывши там, с ним познакомился и случайно встретился с ним в Петербурге. В приемной министра было несколько просителей. Не зная бюрократических порядков, жена послала министру с одним из лакеев визитную карточку, но через минуту лакей вышел из кабинета и громко объявил, что приема в тот день не будет. Просители всполошились, но лакей им что-то шепнул, и они остались; жену же и ее сестру прислуга поспешила в вестибюле одеть и широко распахнула перед ними двери. Когда жена и ее сестра выходили на улицу, то, видя, что более за ними никто не выходит, догадались в чем дело: их просто-напросто спроводили, так как, очевидно, Святополк-Мирский хотел избежать неприятного ему свидания.

После моего освобождения последствия ареста продолжали еще сказываться. В течение долгого времени я не получал никаких писем. Оказалось, что все они задерживались, так что мне пришлось отдельно хлопотать о снятии с меня запрещения получать письма и о доставке мне всего задержанного. Далее, когда я подал прошение градоначальнику о заграничном паспорте, мне в нем было отказано без специального разрешения жандармского управления. Пришлось ехать туда добывать паспорт. Это учреждение, куда меня возили из крепости на допрос, помещалось на Тверской улице, недалеко от Таврического дворца, где тогда была историческая выставка портретов. Я, кстати, зашел на эту выставку, не подозревая, что в этом здании менее, нежели через год, будет помещаться российский парламент, и что я буду даже его членом. Отпуск за границу мне был дан, но на обратном пути я еще раз испытал последствия своего ареста. На границе жандармский офицер отобрал у меня паспорт и заменил его проходным свидетельством, данным Николаю Ивановичу (не Ивановичу) Карееву для немедленного следования в Петербург и явки в полицию. Я возвращался из-за границы с семьей и думал еще побывать недели две в Аносове, но пришлось ехать в Петербург, где от градоначальника меня направили

к жандармам, от них — в департамент полиции: нигде мне не могли объяснить, кому и что от меня нужно, и рекомендовали еще побывать в охранке, но туда я уже не отправился, так как в департаменте полиции мне в конце концов обещали доставить на дом мой вид на жительство.

Припоминаю еще, что мою жену за время моего заключения посещали многие знакомые и что, в частности, В. В. Водовозов, сам не раз уже сидевший в тюрьмах, принес ей костяные ложку, ножик и вилку для передачи мне, а Е. В. Аничков,[11] тоже знакомый с сидением в крепости, советовал жене выходить на Неву, чтобы я из своего каземата мог ее видеть. Не знаю, где сидел Аничков, но у меня окно было на высоте трех аршин от пола, и перед ним только стена. После моего освобождения между посетившими меня были студенты-политехники, которых едва отговорили от того, чтобы явиться ко мне целой процессией.

Девятое января 1905 года было исходной датой движения, приведшего к семнадцатому октября, когда России ее злосчастным самодержцем обещана была конституция. Известие о знаменитом манифесте распространилось по городу вечером того же дня. Я узнал о совершившемся событии на собрании в зале Вольно-экономического общества, а на другой день ходил с женою к университету и на Невский, чтобы посмотреть на происходившее в этих местах, как и в других, народное ликование. Но уже в тот самый день произошла и стычка войска с народом у казарм Семеновского полка, где бывший в то время приват-доцент университета Е. В. Тарле получил от удара саблей рассеченную рану на голове. Узнав об этом происшествии, в тот же день я и В. И. Семевский отправились к Витте, чтобы довести до его сведения о том, что делается на другой день после провозглашения свобод. Витте мы не застали дома, прождали его часа два и уехали, написавши ему длинное письмо, на которое ответа не получили, но которое должно было сохраниться в его архиве.[12]

В тот же 1905 год образовался Академический союз и конституционно-демократическая партия, в которой я принял деятельное участие. «Записка 343» имела громадный успех во всех городах, где имелись высшие учебные заведения. В то время как профессора более консервативного образа мыслей оставались в стороне от этого движения и даже прямо его не одобряли, все деятели высшей школы прогрессивного направления во всей России присоединились к нашей декларации, сделавшейся платформой Академического союза преподавателей высшей школы. Я был в числе его организаторов, состоял в его центральном комитете, участвовал в его съездах и был председателем особой комиссии, вырабатывавшей проект нормального устава высших учебных заведений. Работа в учреждениях Союза и участие в его делегатских съездах столкнула меня с множеством петербургских и иногородних коллег. Имея постоянно дело

с типографией Стасюлевича, где я печатал свои книги, я взял на себя заведование печатанием публикаций Союза (по примеру того, как делал это по отношению к Отделу для содействия самообразованию).

Один из делегатских съездов состоялся в августе 1905 года в Москве, где мы во время съезда узнали об указе, дававшем высшей школе «автономию», которая потом мало-помалу была отобрана, когда усилилась общая реакция, а проводниками ее в жизнь высшей школы явились такие министры, как Шварц и Кассо,[13] оба, к прискорбию, бывшие, подобно Боголепову, профессорами Московского университета.

Наиболее живым временем Академического союза был 1905 год, но до какой степени тогда плохо разбирались, что такое профессиональный союз и что такое политическая партия, можно видеть из того, что очень многие участники Союза и, в частности, делегаты на съездах требовали принятия Союзом определенных резолюций по вопросам аграрному и рабочему и очень резко относились ко всем ученым, которые отклоняли обсуждение таких вопросов. При Союзе был суд чести, была и особая комиссия по оказанию денежной помощи товарищам, как тогда выражались, потерпевшим аварию. Я имел близкое отношение и к обоим этим учреждениям. Возникал вопрос о присоединении Академического союза к всеобщей забастовке, но реального значения вопрос для нас не имел по той простой причине, что студенты давно уже прекратили научные занятия и профессора поневоле бастовали. Впоследствии Союз как-то постепенно сошел на нет. Только в 1917 году была сделана попытка его воскрешения. В Москве, летом, даже был делегатский съезд, не очень, правда, многолюдный, и мне пришлось быть на нем председателем. От Академического союза 1905 года осталось несколько печатных документов и некоторый архив. К сожалению, отдельные части последнего находились в руках пяти-шести человек (в том числе и у меня), но все разговоры о том, чтобы собрать их воедино и отдать на хранение в Академию наук или в Публичную библиотеку, так и остались разговорами, как я ни старался осуществить эту мысль. Лицами, у кого, полагаю, должны были оставаться те или другие документы, были Э. Д. Гримм, К. М. Дерюгин, Н. К. Кульман[14] и С. С. Салазкин, в разное время большей частью выехавшие из Петербурга.

Одним из результатов Академического союза было более резкое, чем то было раньше, разделение профессуры на правую и левую. В самой левой части профессуры обнаружился некоторый антагонизм между старшими и младшими преподавателями, т. е. между профессорами, с одной стороны, и приват-доцентами, ассистентами, лаборантами — с другой. Я, не бывший до осени 1906 года профессором (в Политехникуме я читал лекции по найму), формально принадлежал к младшим препода-

вателям, но не разделял некоторых стремлений этих своих коллег, требовавших иногда чрезмерного понижения ценза для права занимать профессорские кафедры. Помню, как один молодой химик-лаборант доказывал, что профессору достаточно знать подробный учебник своего предмета. Когда Меншуткин, сам видный химик, при этом заявлении демонстративно расхохотался, оратор поправился, что называется, из кулька в рогожу. «Я, — заявил он, — не говорю, чтобы профессор полагался на свою память и не заглядывал в учебник перед чтением лекции».

В связи с деятельностью своей в Академическом союзе я написал несколько статеек в радикальном «Сыне Отечества», в связи со ставшим на очередь конституционным вопросом. В той же газете [я напечатал] ряд исторических справок о введении конституций в западноевропейских государствах и очерк на ту же тему в сборнике «Конституционное государство».[15] Осенью 1905 года я уже был членом конституционно-демократической партии, которую по первым двум буквам ее имени стали называть ка-де, или кадетами.

Это было временем дифференциации русской интеллигенции на политические партии. Подпольно уже существовали социал-демократы и социалисты-революционеры, а так называемые народные социалисты народились позже, никогда, впрочем, не достигнув сколько-нибудь значительной численности. Зерно этой партии составила редакция «Русского Богатства», к которой я стоял довольно близко, но некоторые члены этой партии, особенно Мякотин, проповедовали бойкот выборов в Государственную думу. Если бы эта партия образовалась раньше кадетской, и ее члены не были склонны к бойкоту выборов, очень может быть, я и примкнул бы к ней, но конституционно-демократическая партия по своему общественному направлению была близка «Русскому Богатству», считавшемуся преемником традиций и «Современника», и «Отечественных записок», и по чисто личным своим отношениям к будущим основателям партии народных социалистов. Конституционно-демократическая партия, образовавшаяся осенью 1905 года, называвшая себя партией народной свободы, не только не исключала широких социальных реформ, но даже включила в свою программу многое, что было и в социалистических программах.[16] Я участвовал в организационных собраниях партии и выступал в устраивавшихся ею митингах, но не был за все время ее существования членом центрального комитета,[17] и если очутился председателем городского ее комитета, то в нем больше следил за внешним порядком прений, чем играл сколько-нибудь руководящую роль.

По многим детальным вопросам программы и тактики, по которым другие высказывались очень решительно, у меня часто не было вполне определенного и решительного мнения, как у человека, более привыкшего к исследовательской работе и к

критическому рассмотрению чужих мыслей, по свойству моего характера. В вопросах принципиальных мы были в общем обыкновенно согласны, а по практическим я больше занимался взвешиванием доводов, приводившихся в пользу тех или иных других решений, чем стремился настаивать на своих мнениях. Поэтому, в сущности, я все время оставался самым, что называется, рядовым членом партии, никогда не получал никаких ответственных поручений от центрального комитета и выступал только по личной инициативе и с заявлением своих личных мнений. Когда окончились выборы и особенно когда собралась I Дума, роль городского комитета партии сошла на нет, а с нею и то близкое отношение к партии, какое как-никак обусловливалось моим участием и даже председательством в этом комитете.

Уже на первых порах всей своей партийной деятельности я стал понимать, что не рожден для политической карьеры. Если в конце концов я вступил в политическую партию, работал в ней, не отказался от кандидатуры в члены Думы, то больше исполнял то, что мне казалось требованием гражданского долга, чем испытывал непосредственное влечение к политической деятельности. Когда партия только начала организовываться и устанавливала свои основные положения, меня несколько смущал параграф о партийной дисциплине, и я очень хорошо понимал К. К. Арсеньева, когда он говорил мне, что этот параграф был главным препятствием к его вступлению в нашу партию. Главное же, это — то, что природа не дала мне той гибкости, которая необходима для политического деятеля, не могущего не изменять своей тактики в зависимости от обстоятельств момента. В политике я, как Австрия в былые времена на войне, опаздывал бы d'une idée, d'une armée et d'une année.* Вот почему после роспуска Думы в 1906 году я отошел от политической деятельности[18] и, в сущности, и от участия в партии, постоянно, однако, подавая голос в пользу ее кандидатов и формально из нее не выходя, особенно после того, как она сделалась опальной. Время от времени, изредка, я не отказывался выступать на митингах, но более не принимал участия ни в каких комитетах.

В 1905 и 1906 годы в наших партийных делах принимали участие многие профессора, бывшие деятелями и Академического союза, и большая группа студентов разных высших учебных заведений. Некоторые кадетские студенты стали говорить о необходимости, чтобы профессора, студенты кадетской партии в каждом учебном заведении образовывали одну партийную группу, которая проводила бы в академической жизни директивы партии. Нашлись в центральном комитете партии такие члены, которые стали поддерживать такую мысль, встретившую с нашей, профессорской, стороны самую решительную оппозицию. Мне пришлось много спорить со сторонниками указанной

* На идею, на армию и на год (франц. — *В. З.*).

мысли и даже подать в центральный комитет особое письменное заявление, к которому присоединились и некоторые коллеги. В нем было указано на то, что если бы такое постановление было принято, нам оставалось бы на выбор только одно — или отказаться от профессуры, или покинуть партию: во что превратилась бы высшая школа, если бы профессора и студенты одной и той же партии составляли особые группы, повинующиеся предписанию своих партийных начальств.

Многие студенты совершенно не понимали всю несуразность своего требования, да и вообще партийность вносилась всюду, где ей не было места. Например, в студенческих комиссиях по заведованию столовыми члены должны были быть от всех партий, как будто, положим, в составлении меню обедов могли проводиться принципы эсдеков, эсеров, кадетов и т. п. Партийность проникала в среднюю школу. Пришла ко мне один раз депутация от учеников Ларинской гимназии с приглашением прийти на их митинг для защиты кадетской программы. Все пришедшие ее сторонники были крайне удивлены, когда я решительно отказал им в просьбе, конечно, указав и на свои мотивы. «Но, — возражали мне, — приходят же к нам, например, эсдеки». «Зачем же, — отвечал я, — мы должны подражать другим партиям во всем, что они делают? Дайте же нам быть самими собою и чем-нибудь отличаться хотя бы от тех же эсдеков». Политика вторгалась в 1905 и 1906 годы всюду: многие члены Академического союза, как уже упоминал, думали о принятии и им резолюций по аграрному и рабочему вопросам; по представлению некоторых членов кадетской партии в высшей школе профессора и студенты, принадлежавшие к партии, должны были объединяться; партийность овладела подростками и в средней школе. Одним словом, профессиональные отношения, научные интересы, педагогические требования — все это должно было идти на буксире кадетской политики.

На митингах и на предвыборных собраниях я выступал очень часто в самых различных помещениях, обыкновенно с изложением основных принципов партии, сводившихся мною главным образом к идеям «Декларации прав человека и гражданина» времен Французской революции, и без всякой полемики с другими прогрессивными партиями, которую я считал прямо вредною: рано было делить шкуру еще не убитого медведя. Нужно, впрочем, оговориться, что, сколько я помню, вообще кадетские речи не отличались агрессивностью по отношению к другим партиям,[19] а социал-демократические ораторы только и делали, что травили кадетскую партию. Доставалось лично и мне, особенно от одного молодого студента, который громко заявлял, что я не знаю истории. Через восемь лет, когда студенты разных учебных заведений устроили в одной из аудиторий университета чествование меня по случаю сорокалетия моей преподавательской деятельности, явился тогда и мой бывший оппонент, чтобы

произнести похвальное слово мне как именно историку. Отвечая на все приветствия сразу, я закончил свою речь такими словами: «Особое удовольствие доставило мне выступление такого-то (имярек), который признал во мне историка после того, как прежде публично заявлял, что я совсем не знаю истории». Этот мой оппонент был «товарищ Абрам»,[20] игравший позднее очень крупную политическую роль.

Из этого периода частых митинговых выступлений своих вспоминаю еще один вопрос, предложенный мне из публики: «За что стоит партия — за монархию или за республику?» Вопрос, может быть, и не имел провокационного характера, я же совершенно мог искренне сказать, что, насколько мне известно, в партии вопрос такой не обсуждался, мое же личное мнение таково: «Какая еще монархия и какая республика? Монархия в Англии совместима со свободой, а вот в иных республиках Южной Америки и не знают, что такое свобода».

Партийный плебисцит наметил меня в число кандидатов в Государственную думу. О выборах в нее я написал несколько страничек воспоминаний в сборнике «К десятилетию первой Государственной думы», изданном в 1916 году.[21] Между прочим, как на этих выборах, так и на последующих, я участвовал в комиссии, принимавшей бюллетени и подсчитывавшей голоса. Такую же функцию исполнял я и при выборах в несостоявшееся Учредительное собрание 1917 года. Выборы 1905 года были двухстепенные; я получил наибольшее число голосов на Васильевском острове и при окончательном избрании депутатов. В самый день выборов в депутаты пришлось писать в газеты с опровержением наветов на кадетскую партию по поводу того, что в депутаты не попал ни один рабочий. Я назвал бы этот случай единственным примером политической полемики, если бы около того времени же не написал небольшую статейку (кажется, без подписи и, кажется, в «Русских Ведомостях») против профессора Герье, обвинявшего партию народной свободы в якобинизме. В сущности, я очень сожалел, что в Петербурге не состоялось такое же соглашение с рабочими, какое было в Москве, где из четырех депутатских мест одно досталось представителю рабочего класса.

День открытия Государственной думы (27 апреля 1906 года) сохранился в моей памяти превосходно и прямо даже, можно сказать, сохранился в моей зрительной памяти. Помню и то радостное настроение, которое тогда переживалось и не одним мною. Правда, за полгода, протекших со дня издания манифеста 17 октября, не было недостатка в фактах, наводивших на скептические размышления относительно будущего русской конституции, но теперь все как будто забылось и хотелось верить, что все дурное позади, что впереди — одно хорошее. Правда, такой оптимизм был не к лицу историку, много занимавшемуся политической историей западных народов, но, во-первых, я всегда

был оптимистом по натуре, а во-вторых, момент был действительно знаменательный. Как-никак, неограниченному царскому самодержавию приходил конец, Россия сдвигалась с мертвой точки, на которой ее держало это неограниченное самодержавие.

Самая погода в тот день способствовала радостному настроению. В 1906 году весна была превосходная, и в конце апреля (по старому стилю) было так тепло, что можно было чувствовать себя, как в самый разгар лета. Доехавши на извозчике до Адмиралтейской набережной, я увидел, что собрался слишком рано, и зашел к жившему там товарищу своему по депутатству от Петербурга — В. Д. Набокову, с которым пошел пешком в Зимний дворец. Около подъезда мы встретились с товарищем по партии Ф. И. Родичевым, а фотограф Булла, сделавший своей специальностью «снимать» своим превосходным аппаратом все, что только происходило в жизни столицы выходящего из ряда повседневности, тотчас же запечатлел нас троих на фотографической пластинке.[22]

Отчетливы в моей зрительной памяти и теперь передо мной залы Зимнего дворца, наполненные депутатами, с одной стороны, и сановниками и придворными чинами в их расшитых золотом мундирах, разными роскошно одетыми, декольтированными дамами — с другой. Вся картина приема новых законодательных учреждений Николаем II и произнесение им тронной речи стоят перед моими глазами. Некоторые из нас высказывали опасение, как бы депутаты из крестьян, которых в I Думе было немало, не были подавлены всем величием и блеском придворного церемониала и, пожалуй, не пали бы перед царем на колени. Тогда еще не было известно, что все эти депутаты были настроены оппозиционно, на деле же оказалось, что большинство крестьян отнеслось отрицательно ко всему этому раззолоченному обществу, к этим «оголенным бабам» и т. п. На колени мужички не становились и даже не кричали «ура», совершенно так же, как и остальные депутаты.[23]

Помню еще, что отсутствие амнистии в тронной речи неприятно подействовало на членов Думы. Помню далее, как мы ехали вверх по Неве на пароходе из Зимнего дворца в Таврический, и вот теперь еще перед моими глазами тюрьма на Выборгской стороне: все окна в этом четырех- или пятиэтажном здании открыты, и нам из них машут белыми платками, на что мы отвечаем тем же, а стоявшая на левом берегу у парапета публика приветствует нас восторженными криками, среди которых раздается слово «Амнистия!» Помню, как на берегу меня подхватывают на руки и, несмотря на сопротивление, несут по направлению к Таврическому дворцу. И все, что там происходит, помню до мельчайших подробностей: вижу освещенный электричеством белый зал, хотя дело было еще днем, вижу председателя Муромцева на его возвышенном месте, вижу старика Ив[ана]

Ил[ьича] Петрункевича,[24] говорящим с трибуны в пользу амнистии, — все это и теперь перед моими глазами, как будто бывшее вчера. И вечер в кадетском клубе помню: перед балконом порядочная толпа народа, но вот справа послышался конский топот, толпа разбегается и снова собирается, когда патруль проехал. И здесь пришлось говорить, припоминая, в ответ на вопросы публики, что было сказано в тронной речи.

В Думе я выступал очень редко, раза, вероятно, три-четыре.[25] С самого начала я находил, что многие говорили слишком часто, говорили иногда очень длинно и повторяя то, что уже было сказано другими и даже сказано неоднократно. Об этом я даже написал статейку для «Речи», органа кадетской партии, печатавшей мои небольшие заметки, но там эту статейку поместить не захотели. Одна моя речь была за необходимость парламентского министерства, две другие — в защиту политических прав женщин. Я, кажется, говорил по поводу необходимости (будто бы) для России держаться исключительно славянской политики. Подробнее помню только об одной своей речи.

В проекте ответного адреса на тронную речь Россия раза два была названа «русской землей», на что обратили мое внимание знакомые поляки, справедливо говоря, что новая Россия не должна быть только «Россией для русских», но что им настаивать на этом громко не приходится, дабы не вызвать какого-нибудь диссонанса. Тогда я и сказал свою речь, результатом которой было, с одной стороны, то, что в тексте ответа на тронную речь была внесена соответственная поправка, с другой — то, что один из правых членов Думы, возражая мне, исказил мое предложение в том смысле, будто я предлагаю истребить самое имя России и т. п. Его выходка нашла тут же надлежащий отпор, но это не помешало его словам быть подхваченными черносотенной прессой, которая стала говорить обо мне как ренегате, отрекшемся от своей народности, и о проповеднике разрушения России. Этот вздор черносотенная печать повторяла потом несколько лет подряд. Я видел даже своими глазами печатный, но не поступивший, однако, в продажу, учебник русской истории для юнкерских училищ, написанный одним из реакционных публицистов и повторявший эту клевету на страницах, посвященных I Думе, причем целую страницу занимала иллюстрация, на которой был изображен стилизованный «жид» с крючковатым носом и длинными пейсами, стоящим на трибуне в позе оратора, а внизу приведена была никогда мною не произносимая фраза; в тексте я был прямо назван по имени. Еще в конце 1916 или начале 1917 года клевета была повторена в «Киевлянине» известным Шульгиным, которому вскоре после этого пришлось играть некоторую роль в истории отречения Николая II. Мне все это надоело, и я написал статью, где рассказал, как было дело. Редакция «Вестника Европы» согласилась напечатать эту статью, но вскоре после происшедшей Фев-

ральской революции я уже не считал нужным занимать публику своей особой.

I Дума, как известно, продолжалась только семьдесят два дня. Я, сколько помнится, не пропустил ни одного заседания, но не нес никакой сколько-нибудь ответственной работы. Бывши уж тогда несколько туг на правое ухо, я давно уже имел привычку в разных собраниях помещаться так, чтобы иметь все собрание с левой стороны, чем и определился выбор мною места на самом правом, а от председателя — на самом левом краю, но тогда депутаты левее кадетов потребовали перемещения членов Думы по партийной принадлежности и пожелали занять самые левые места, я по этому вопросу голосовал с ними, хотя лидеры кадетской партии были против этого; я, однако, не видел в этом принципиального вопроса и, следовательно, не считал себя нарушившим партийную дисциплину, как это казалось некоторым моим товарищам по партии.

Через две недели после начала заседания министерство Горемыкина ответило на наш адрес декларацией,[26] глубоко нас возмутившей. Теперь, после того, что 13 мая нам прочитал Горемыкин, уже не было больше надежды на то, что Дума могла долго существовать и, мирно работая, осуществить программу ответного адреса на тронную речь. Начался ряд конфликтов с отдельными представителями власти, а известие о казни в Риге нескольких рабочих, которых Дума рассчитывала спасти своей интерпелляцией, показало, что правительство не намеревалось отказаться от своей репрессивной политики. Мало того, правительство стало прямо защищать смертную казнь в ответ на думское законодательное предложение об отмене смертной казни. Все более и более приходилось чувствовать свое бессилие и ожидать насильственного конца, хотя и не так скоро, как он на самом деле произошел. Перед роспуском, или, как тогда предпочитали говорить, «разгоном», Думы я еще собирался принять участие в прениях по поводу вопроса о религиозной свободе.

А между тем в обществе многие обвиняли Думу в том, что она оставляет в Российском государстве все по-старому, как будто у нее были власть и сила. Однажды, например, по дороге в Думу (я часто ходил пешком) меня окружила кучка молодежи, из которой одна молодая девушка обратилась ко мне очень резко с упреком, что вот столько времени (дело было приблизительно через неделю) мы сидим, а тюрьмы с политическими заключенными все еще остаются запертыми. Объясняя ей, что мы не имеем власти отпирать тюрьмы, я встретился с возражениями. «Не не можете, а не хотите». — «Почему мы не хотим? Дайте нам ключи, и мы всех выпустим». — «Будь у нас ключи, мы и без вас это сделали бы». — «Но ведь и у нас ключей нет».— «Ну, тогда зачем вы заседаете? Это измена народу». На первых порах солдаты, жившие в соседних с Таврическим дворцом ка-

зармах, при проходе нашем так или иначе нас приветствовали, но потом, кажется, это было запрещено.

Роспуск Думы был объявлен в воскресный день. Ложась спать накануне, я, будучи крайне утомлен предыдущими днями, просил меня не будить, хотя бы я проспал до полудня, и то же самое было сказано временно жившим на нашей квартире моим двоюродным братом О. П. Герасимовым, занимавшим пост товарища министра народного просвещения и страшно много работавшим по ликвидации запущенных прежними министрами дел. Встали мы действительно поздно, газеты или не было в тот день, или ее не принесли вовремя, но только уже довольно поздно я послал купить газету на улице, из которой и узнали о роспуске Думы. Нашим лидерам это сделалось известным очень рано, и они поспешили уехать в Выборг, где и составили известное воззвание. Я жил от Таврического дворца очень далеко, телефона у меня не было, так что я об отъезде депутатов в Выборг узнал только тогда, когда приехал в партийный клуб, где почти никого не застал, а те, которые были, говорили, что через непродолжительное время все вернутся. Я стал ждать, как и некоторые другие члены партии, начавшие собираться в клубе. Действительно, скоро кто-то (совсем не помню кто) приехал из Выборга и привез текст воззвания,[27] сделавшегося потом столь знаменитым, сообщив, что большинство там еще пробудет некоторое время. Недолго думая, я и еще двое-трое послали телеграмму в Выборг с просьбой присоединить и наши подписи к воззванию, хотя я не ожидал, чтобы оно могло оказать на население то действие, на какое рассчитывали его инициаторы. Затем я ездил на одно собрание, бывшее в Териоках, и стал ожидать повторения ареста. Последнего, однако, ни с кем из подписавшихся под воззванием не случилось, так что, прождавши еще несколько дней, я решился попробовать взять заграничный паспорт, чтобы съездить в Карлсбад, что мне и удалось. Только впоследствии, когда началось следствие по делу выборгского воззвания, я был приглашен к следователю в качестве свидетеля, но по той статье, которая предвидит возможность превращения свидетеля в подсудимого. Меня, как и других, не участвовавших в составлении воззвания, а давших свои к нему подписи только postfactum оставили в покое, внешним же признаком непосредственного участия или позднейшего присоединения было присутствие или отсутствие подписи под первым печатным изданием воззвания. Нас и в свидетели на суд не вызывали, но я все-таки был на суде в публике, среди которой в первый раз после долгих лет увидел Г. А. Лопатина.

Так окончился кратковременный период моей политической деятельности, показавшей, прежде всего мне самому, что это — не мое призвание ни в смысле способности, ни в смысле склонности. Быть может, в пятьдесят пять лет и поздно было ее начинать без всякой предыдущей деловой подготовки. При всем

теоретическом признании мною необходимости партийной дисциплины на практике я ею, наоборот, тяготился, потому что не всегда и не во всем сходился со своей партией в вопросах тактики.

Из этого периода припоминаются два маленьких эпизода, характерные для переживавшегося момента. Однажды я был вызван на кухню, где меня ожидал молодой парень с лицом, так сказать, прирожденного преступника. Едва я подошел к нему с вопросом, что ему нужно, как он быстро двинулся ко мне и почти на ухо громким шепотом сказал мне: «Возьмите меня в боевую дружину вашей партии». Я ответил ему, что у нас нет никакой боевой дружины, но это не помешало ему повторить свое предложение с прибавкой, что это дорого стоить не будет. Пришлось на него прикрикнуть и прогнать его вон. Я невольно вспоминал это посещение, когда узнал, что в Териоках через несколько дней после нашего там собрания убит был из-за угла член Государственной думы М. Я. Герценштейн.[28] О существовании боевой дружины Союза русского народа было известно.

Другой случай такой. В кабинет ко мне входит молоденький студентик и передает письмо. Я вскрываю конверт и читаю требование от какого-то кружка анархистов дать пятьдесят рублей с предупреждением, что если я доведу об этом до сведения полиции, то буду убит. Мне вспомнился аналогичный случай в Одессе, где был убит один мой знакомый только за то, что не положил на указанное место потребованной у него суммы. Я вышел в другую комнату, где находилась жена, и показал ей это письмо. Она стала умолять меня отдать 50 рублей, которые я у нее и взял. Возвратившись в кабинет, я передал молодому человеку деньги, но в то же время, грузно опустив правую руку на его левое плечо, спросил его, неужели ему не стыдно прибегать к таким способам. Мне показалось, что юноша был смущен. Во всяком случае, он поспешил удалиться, а на другой день я получил письменную благодарность от кружка анархистов на розовом листке почтовой бумаги, на котором, как и на первом листке, красовалась эмблема — череп с двумя сложенными под ним крест-накрест костями. Явный бандитизм, сопровождавший освободительное движение 1905—1906 годов, очень меня вообще огорчал. Тогда же было произведено дерзкое ограбление университетской кассы.

Осенью 1906 года я вернулся на университетскую кафедру и на Высшие Женские курсы, с которыми я был разлучен целых семь лет. Университетам было возвращено отнятое у них уставом 1884 года право выбора профессоров и должностных лиц: ректора, деканов и секретарей факультетов. Если бы это мое возвращение произошло годом ранее, я, вероятно, не стал бы подвергать себя избранию в Государственную думу, так как ее членом по закону нельзя было быть, состоя на государственной службе. В университетском Совете я был избран значительным

большинством при не то семи, не то девяти неизбирательных шарах, положенных, вероятно, наиболее «правыми» членами. Но требовалось еще министерское утверждение, а здесь произошла задержка, которую ликвидировала только настойчивость моего двоюродного брата, состоявшего тогда товарищем министра. Он мне и сообщил, что ему пришлось довольно-таки сильно поспорить с министром, а им тогда был П. М. Кауфман, смущавшийся тем, что я был удален «по высочайшему повелению».

Я уже не раз упоминал, что с О. П. Герасимовым у меня были давнишние родственные отношения: он был моим двоюродным братом и мужем сестры моей жены. Это был человек умный и с сильной волей, необычайно прямой и очень честный, весьма трудолюбивый и с большими административными и педагогическими способностями. Наши политические взгляды сильно расходились: он был более правых убеждений, не без славянофильской притом окраски, но мы уважали друг друга и умели, не ссорясь, отстаивать друг перед другом свои точки зрения. Как-то многим сделалось известным наше родство, особенно, когда во время отъезда моей семьи в деревню, я предложил Герасимову поселиться на нашей квартире, так как своей у него не было. И вот мне особенно и моей жене пришлось подвергнуться настоящему нашествию разных незнакомых нам людей за протекцией у товарища министра, обладавшего большим влиянием на своего принципала.

Например, однажды ко мне приехали две дамы, одна несколько мне знакомая, другая совсем незнакомая, и с ними один педагог, с которым я раньше как-то встречался, и сказали, что намерены открыть такую-то среднюю школу, в которой желали бы видеть меня почетным попечителем. Меня это очень удивило, но я тотчас же сообразил, в чем дело, когда меня стали просить замолвить словечко Осипу Петровичу в пользу этой школы. Я на это ответил, что это совершенно излишне, что мой кузен просто этого даже не любит, да и я тоже, что он очень доступен и притом сам только и думает об умножении всяких школ. Я узнал потом, что просители были поражены той легкостью, с какою товарищ министра разрешал открытие частных среднеучебных заведений. Школа была открыта, но лицо, намечавшееся в почетные ее попечители, даже не было приглашено на открытие этой школы.

Особенно наседали подобные просители на мою жену в надежде на дамское влияние, которое вообще было в тогдашних бюрократических нравах. Сначала смеясь, а потом уже не без раздражения жена рассказывала Герасимову о том, как к ней обращаются всякие просительницы, не веря, что ей все это крайне неприятно. Нашу гостиную, куда они являлись, Герасимов в шутку называл «Софьинским департаментом».[29] Одна дама, приехавшая из Томска, просила в министерстве о казенной субсидии для женской гимназии, которую она еще только

намеревалась открыть, кажется, даже не имея для этого вдобавок надлежащего педагогического ценза. Когда ей было отказано, она стала являться к моей жене и просить, чтобы она убедила своего родственника исполнить ее желание. Жена просто не знала, как от нее отделаться, но однажды, на ее счастье, в гостиную вошел сам этот родственник, очень сурово взглянувший на непрошеную гостью, которую тотчас же узнал, и самым строгим тоном сказавший ей, чтобы она оставила все свои надежды.

Как бы то ни было, только благодаря энергическому вмешательству своего двоюродного брата я был утвержден в должности профессора университета, о чем он мне сообщил только postfactum. Между прочим, я воспользовался его пребыванием в министерстве, чтобы узнать, почему я был удален из университета в 1899 году. Ему, конечно, это не составило труда, и он мне принес выписку из дела,[30] из которой я с удивлением узнал, что принимал участие в какой-то конспирации, с каковою целью летом такого-то года, когда меня и в Петербурге-то не было, виделся на Островах с какою-то француженкой, тоже мне совершенно неизвестною. Мы оба смеялись над этим измышлением, но я остался при убеждении, что поплатился за свое поведение во время студенческой истории в начале 1899 года.

С возвращением в университет и на Высшие Женские курсы я мог сократить количество своих лекций в Политехническом институте, а в Лицее и совсем прекратил свое преподавание после того, как некоторая часть лицеистов проявила свою враждебность к моему политическому направлению. Я уже рассказал выше о том, как скандально был встречен на официальном обеде бывших и тогдашних лицеистов тост за здоровье Муромцева и мое, а другой случай несколько раньше был такой: я вхожу в аудиторию и нахожу ее пустой, лицеисты же в соседней комнате тотчас же запели «Боже, царя храни». Я, увидев пустое помещение, повернулся и ушел, молодые люди потом, оправдываясь перед начальством, утверждали, что я, конечно, не ушел бы, если бы услыхал пение «Марсельезы». Я отказался тотчас же от преподавания в том классе, где встретил враждебное отношение, и хотел было немедленно покинуть вообще Лицей, но из другого класса явилась ко мне депутация с протестом против поступка старших товарищей и с просьбой продолжать преподавание в их классе. Я дал на это свое согласие, но решил по окончании учебного года совсем оставить Лицей. Так я и сделал, рекомендовав на свое место своего ученика Бутенко.

После августовского указа 1905 года университет пользовался некоторою внутреннею свободою в устройстве факультетского преподавания, пока назначенный в министры народного просвещения в 1907 году А. Н. Шварц, бывший раньше московским профессором, а после него Л. А. Кассо, также бывший профессором в Москве, не начали отнимать у университетов

одну за другою из сделанных в 1905 году уступок, что вызвало снова новую цепь студенческих волнений, нарушивших правильное течение академической жизни и расстраивавших добрые отношения между профессорами и студентами.

В это время Академический союз постепенно «разложился», но в Совете Петербургского университета от него осталась группа человек в двадцать с небольшим, которая продолжала быть центром оппозиции против реакционной политики министерства, возбуждавшей против себя на сей раз и «правых» профессоров. Мне тем легче было примкнуть к этой группе, что я уже был одним из наиболее деятельных членов Академического союза, правда, не от университета, а из «младших преподавателей» Политехникума, где состоял не на службе, а читал лекции по возобновлявшимся каждый год приглашениям. Наша левая группа собиралась довольно часто по вопросам о выборах ректора, выборщиков в Государственный совет и т. п., а также по поводу вопросов, возникавших в связи с политикой министерства или со студенческим движением. В Совете вообще и в частности в нашей группе было много лиц, которых еще не было в 1899 году. В вопросах, касающихся политики министерства, наиболее видную роль играли юристы Д. Д. Гримм, М. Я. Пергамент[31] и И. А. Покровский,[32] на которых потом Кассо и обратил свое милостивое внимание, чтобы их выжить из университета. В числе вновь вступивших профессоров был и старый мой приятель Максим Ковалевский.

По инициативе нашей академической группы я попал в члены университетского суда, восстановленного в 1905 году и находившегося под председательством Пергамента. Всего, сколько я помню, пришлось рассматривать три дела. Одно было о настоящем побоище, происшедшем на сходке в Актовом зале между крайне правыми и крайне левыми студентами, причем одним из первых было выбито оконное стекло на улицу с целью вызова оттуда полицейской силы для подавления «беспорядка». Суд вызвал массу свидетелей, на основании показаний которых и по поручению товарищей изложил фактическую сторону дела, целую «историю о драке», резолютивную же часть доклада Совету написал Пергамент, а в результате оказалось, что судить было некого.

Другой случай представлял собой суд над одним студентом, подделавшим в своем матрикуле несколько профессорских отметок о выдержанных им будто экзаменах, в чем подсудимый и был уличен. Третий, самый неприятный случай имел некоторый политический оттенок. По поводу возмутительной казни в Испании известного Феррера,[33] наделавшей много шума по всей Европе, три наших студента написали очень дерзкое письмо испанскому посланнику, который, однако, не поднял дела об его оскорблении, а ограничился отосланием письма университетскому начальству, как присланном не по адресу и на непонят-

ном для посланника языке. Взыскание, наложенное нами, было самое незначительное — удаление из университета до конца семестра. Других случаев не помню, да и потом я просил меня не выбирать.

В деле организации преподавания за время моего изгнания из университета произошли многие перемены к лучшему. Уже перед 1899 годом, когда я вышел из состава профессоров, установленные в 1884 году невозможные порядки более не существовали, а в 1905 году организация преподавания была предоставлена самим факультетам, что дало возможность особенно развить практические занятия студентов (семинарии и просеминарии). Я тотчас же ревностно занялся этим последним делом, сделав темою руководимого мною семинария как в университете, так и на Высших Женских курсах экономические требования французских наказов 1789 года, целые громадные тома которых стали в это время появляться в «Collection des documents inédits sur l'histoire de la Révolution française».

Другим удобным для меня обстоятельством было то, что труд преподавания новой истории был систематически разделен между несколькими ответственными преподавателями (главным образом Г. В. Форстеном, Э. Д. Гриммом и мною, не считая нескольких приват-доцентов), и я мог специализировать свои курсы преимущественно по истории XVIII и XIX веков. В общем, мой семинарий по наказам 1789 года, продолжавшийся до 1919 года, пошел очень успешно: из него стали выходить молодые люди, специализировавшиеся в новейшей истории. Первым из них был Евг[ений] Ник[олаевич] Петров, автор нескольких печатных работ, занявший вместе с В. А. Бутенко кафедру в Саратове. За этот же период времени я приобрел новых товарищей по преподаванию новой истории в Петербургском университете в лице трех приват-доцентов: старого моего приятеля И. В. Лучицкого, его ученика Е. В. Тарле и моего ученика А. М. Ону, с которым у меня были наилучшие отношения.

В промежуток времени между 1899 и 1906 годами я, кроме трех учебных книг, первых трех «Типологических курсов по истории государственного быта», а также разных статей, подготовлял к печати шестой том «Истории Западной Европы», посвященный последней трети XIX века. Две его части вышли в свет в 1909 и 1910 годах, более, нежели через десять лет после пятого тома, появившегося всего за несколько месяцев до моего невольного выхода из числа университетских профессоров. Когда этот том был отпечатан и я ожидал получения первых его экземпляров, мне дали знать, что, по постановлениям цензурного комитета, он был задержан в типографии. Я ездил объясняться по этому поводу к читавшему его цензору, в цензурный комитет, в Главное управление по делам печати. Цензор указывал мне на места о польской конституции, а когда я отпарировал его возражения указаниями на то, что у меня по этому предме-

ту нет ничего такого, чего уже давным-давно не было в русской печати, он стал говорить, что в этом томе слишком подробно излагаются учения социализма и коммунизма. Последний аргумент был выдвинут и председателем цензурного комитета, которому тоже пришлось доказывать, что о большей части излагаемых социальных идей русская публика уже знает из других русских же книг. Дело тянулось целых шесть недель,[34] пока цензура не сменила гнев на милость на том основании, что в томе более 800 страниц и что цена ему пять рублей, т. е. что очень большого распространения книга не получит. Новые издания этого тома проходили вполне благополучно, да и сама цензура после 1905 года поослабла.

Вообще с цензурой у меня дел было мало. Я предпочитал не иметь дело с предварительной цензурой, а для этого старался печатать вещи более десяти печатных листов, что освобождало от предварительной цензуры, или печатать с разрешения университета, Политехнического института и даже Исторического общества, в последнем случае сам, как председатель его, давая себе разрешение. Тем не менее случаи «недоразумений» бывали.

Еще в 1889 году в «Вестнике Европы» была напечатана изданная потом отдельной книгой большая статья моя «Польские реформы XVIII века».[35] Она вышла несколько большею, чем мне на нее дал место редактор (Стасюлевич), который потому отказался печатать ее résumé. Узнав об этом, редактор польской газеты «Kraj» Пильц просил меня дать ему этот отрывок, но цензура ему это издание не пропустила. По просьбе Пильца я принес жалобу на цензурный комитет главному начальнику по делам печати, знаменитому Феоктистову, который обещал мне разрешить напечатание этой статьи. Потом я был в Карлсбаде и при встрече с одним знакомым поляком спросил, не видел ли он в «Крае» такую-то мою статью. Тот мне ответил утвердительно, прибавив, что только сам он не успел статью прочесть. Встречаю чуть ли не в этот же день Феоктистова и благодарю его за содействие, заметив, что и резон-то был странный для запрещения: не нужно-де напоминать полякам о временах их независимости. Феоктистов благодарность принял, сказав, что в данном случае ревность цензора была не по разуму. Каково же было мое удивление, когда в Петербурге от Пильца я узнал, что статья вторично была запрещена. Мой знакомый, якобы видевший ее, просто, что называется, сбрендил. В отдельном же издании данной моей работы, дважды запрещавшейся, заключение преспокойно прошло.

Другой курьезный случай был такой. В 1894 году в подцензурном тогда «Русском Богатстве» я дал статью итальянского экономиста Лориа об экономических основаниях социального устройства. Цензор ее запретил, редакция же попросила меня принести жалобу в цензурный комитет. Там мне отказали, причем председатель объявил, что не будет ничего иметь против

появления моей статьи в бесцензурном журнале; он мне даже указал на «Русский Вестник». Я возразил ему, что в этом журнале не печатаюсь, что мог бы обратиться в «Вестник Европы», но что мне хочется видеть ее помещенной именно там, куда я ее отдал. Председатель комитета стал меня уверять, что у «Русского Вестника» тоже много подписчиков, даже хотел навести справку об их количестве, но я настаивал на своем и, получив отказ, направился к главному начальнику, которого удалось убедить, что в статье нецензурного ничего нет. Разрешение на печатание, в конце концов, было дано, хотя и с урезками двух-трех совершенно невинных мест.[36]

Еще об одном цензурном казусе я уже рассказывал. Это тот, когда комитет иностранной цензуры не хотел мне выдать отдельных оттисков статьи моей из львовского «Наукового Вістника» на украинском языке. Я забыл только упомянуть, что когда начальник главного управления дал мне записочку, разрешающую выдачу, то мне вручили только один экземпляр из присланных 50 на том основании, что в записочке не было сказано, чтобы выдать все. Пришлось еще раз тревожить высшее начальство. Это было в 1901 году. Тогда же я прозондировал, не будет ли мне разрешено редактировать чисто научный исторический журнал, и получил самый категорический отказ со ссылкою на мою общую репутацию как человека весьма неблагонадежного.

Для такого журнала имелся уже и издатель в лице предприимчивого и тороватого Ил[ьи] Абр[амовича] Ефрона, главы издательской фирмы «Брокгауз—Ефрон», не всегда думавшего только об одной материальной выгоде. Еще в конце XIX века он взял на себя издание под моей и И. В. Лучицкого редакцией коллекции под названием «История Европы по эпохам и странам»[37] — коллекции, бывшей в некотором роде осуществлением мысли П. Л. Лаврова (о ней было уже сказано выше). К сожалению, из этой коллекции не вышло того, что должно было выйти: план издания был разработан до мельчайших подробностей, множество сотрудников надавало обещаний к таким срокам представить рукописи, но обещания большей частью остались обещаниями, так что даже мой коллега по редакции Лучицкий не написал того, что предполагал, а потому пришлось отказаться от систематического проведения первоначального плана и вместо оригинальных вещей прибегать к переводным. По той же отчасти российской неспособности ученых к конкретным предприятиям не удалось превратить редактировавшийся мною непериодический сборник «Историческое обозрение» в настоящий научный журнал, бывший целью моих мечтаний. А между тем Ефрон охотно брался за его издание. Предприняв уже в первые годы текущего столетия издание «Вестника самообразования», он предполагал редактирование его поручить мне как автору ходких «Писем о самообразовании», но в Главном управлении

по делам печати ему сказали, что как редактор журнала я невозможен. Только перед самой войной удалось наладить издание тем же Ефроном и под моей редакцией «Научного исторического журнала», просуществовавшего только один год.[38] Прибавлю, что я по отношению к своим книгам был большей частью своим собственным издателем и даже имел возможность кое-что из них издавать с благотворительными целями («Письма о самообразовании» и др.) и построить в Аносове начальную народную школу, которую и передал уездному земству, обеспечив ее содержание некоторым капиталом. Любопытно, что осуществление моего желания назвать ее «В память 19 февраля 1861 года» встретило какие-то препятствия.

Но я уклонился в сторону от обозрения того, над чем работал в начале текущего столетия. Если между V и VI томами «Истории Западной Европы» прошло около десяти лет, то между VI и VII томами тоже был промежуток лет в восемь. Чем ближе подвигался этот мой труд к нашим временам, тем все подробнее он делался. Одно изложение в нем истории XIX века потребовало 2400 страниц. В связи с этой работой я написал (с добавлениями) и издал читавшийся мною в университете и в Политехникуме «Общий курс истории XIX века» и напечатал еще более популярную «Краткую историю прошлого столетия». На эти же годы падает и окончание серии «Типологических курсов» и нескольких работ по Французской революции, в том числе исследований по истории парижских секций, для которых несколько раз ездил в Париж, разыскивая там архивный материал для этой темы. Некоторым подведением под этими занятиями была вышедшая в свет в 1918 году «Великая Французская революция» (в приложении к журналу «Нива»).

Продолжались и занятия социологией и теорией истории. В первые годы нашего столетия преподавание последней было введено в курс обязательных для студента-историка предметов. Когда я вернулся в университет, ее читал в нем Лаппо-Данилевский, а я стал преподавать этот предмет на Женских курсах, издав два своих по нему курса («Историку» и «Историологию») в 1913 и 1915 гг., к чему нужно еще прибавить «Общие основы социологии», изданные в 1919 году.

В этот же период я сделался членом-корреспондентом Краковской и нашей Академии наук. Для последней я уже давно работал в качестве рецензента трудов, представлявшихся на разные премии*. Перед самой войной я был привлечен к работе в академические комиссии по подготовке Международного конгресса историков, имевшего состояться (но не состоявшегося) в Петербурге в 1918 году, и по изданию на русском и француз-

* Мои печатные отзывы были о книгах Д. Цветаева (1887), Любовича (1892), Корелина (1897), Ардашева (1910), Тарле (1913), Г. Шмидта (1916) (прим. Н. И. Кареева.— *В. З.*).

ском языках большого сборника под названием «Русская наука»,[39] тоже не увидевшего свет.

В 1913 году исполнилось сорок лет со дня окончания мною университетского курса, что дало повод моим благожелателям устроить юбилей, к каковому сроку был издан сборник статей моих «учеников и товарищей по науке».[40] Это, как и другое, раньше бывшее, но более скромное чествование дало мне повод самому оглянуться назад и подвести общие итоги своей научной и преподавательской деятельности за все время со дня окончания курса. Общий взгляд на него я высказал в ответной речи на адреса и приветствия, которые пришлось выслушать на многолюдном банкете[41] в ноябре указанного года. Я сравнивал в своей речи историческую науку с могучим деревом, корни которого глубоко уходят в землю, где в тишине и тьме извлекают из нее питательные соки, а ветви и листва высоко поднимаются над землей, купаясь в воздухе и свете, видны для всех: корни — это непосредственная работа над сырым материалом, крона дерева — идейные обобщения. Из двух видов исторической работы меня всегда более привлекала работа синтетическая, обобщающая и объединяющая, нежели аналитическая, детальная и изолирующая. Вопрос не в том, что нужнее и что ценнее, ибо обе работы одинаково нужны и каждая имеет свою ценность, а в том, какая работа более соответствовала складу моего ума и моим влечениям, среди которых не последнее место занимает с детства еще мне присущее стремление передавать другим накопляемые знания. Избранная мною преподавательская деятельность сверх того возлагает на занимающегося ею обязанность не замыкаться в узкой специализации.

Так приблизительно я формулировал свой взгляд много лет тому назад, так понимаю дело и теперь. Мне часто казалось, что среди профессоров нашего факультета были, как я их называл, фактопоклонники, или, как их обозначал Орест Миллер, крохоборы, олицетворением которых был в Петербургском университете профессор греческой истории Ф. Ф. Соколов,[42] человек большой учености и хороший руководитель будущих специалистов, но читавший нестерпимо скучный и совершенно безыдейный курс, где, кроме сырого фактического материала, ничего не было. Я знаю, что мои насмешки над фактопоклонниками многих против меня вооружали, а в глазах некоторых студентов даже прямо дискредитировали как человека мало основательного, что было только лишним у меня минусом рядом с моим «западническим либерализмом». В самом деле, когда я начал преподавать в Петербургском университете, на нашем факультете царил консервативно-патриотический дух (понимая, конечно, патриотизм в особом, специфическом смысле). Быть может, с некоторыми преувеличениями, которые не были по существу справедливыми, но глубоко убежденный в своей правоте, я всячески защищал свою точку зрения, между прочим, развив ее

в одной статье (в «Историческом обозрении» за 1891 г.),[43] а потому весьма естественно, что коснулся той же темы в своей речи на юбилейном банкете.

И теперь, кода я пишу свои воспоминания, я думаю так же, как и прежде, какие бы частичные ошибки ни находил в некоторых прежних выражениях своей основной мысли. Далее, просто в силу своего характера и темперамента, я не мог замыкаться от влияний со стороны окружающей жизни в своих научных интересах. Историей крестьянского вопроса во Франции я занялся ввиду того важного значения, какое имел тот же вопрос для России и после освобождения крестьян, а вообще интерес к Французской революции не может быть вполне понятным ввиду того, что, как не я один думал, рано или поздно и у нас должна произойти революция. Мною был далее задуман и отчасти осуществлен в специальных курсах большой труд по критике исторических взглядов на Французскую революцию.

Самое занятие почти остававшейся неразработанной истории парижских секций стояло в связи с наметившимся у нас в 1905 году вопросом о значении организации населения в политическом движении. Немудрено, что моя довольно-таки специальная брошюра о революционных комитетах парижских секций необычайно скоро вышла из продажи. Будучи противником экономического материализма как полной и цельной историологической теории я как раз особенно много занимался и занимал своих учеников экономическою стороною Французской революции. В течение целого десятилетия это было темой моего семинария в университете и на Высших Женских курсах, причем работа шла в направлении тщательного и детального изучения источников. Углубление в новейшую историю, результатом которого были IV—VII тома «Истории Западной Европы», стоит также в связи с интересом к современности. Наконец, если я некоторое время занимался польской историей и вопросом о русско-польских отношениях, то не нужно забывать, что около пяти лет мне пришлось жить в Польше. Я вовсе не думаю хвастаться этою связью моих научных занятий с вопросами современной жизни, как отнюдь не намерен осуждать тех, которые работают в областях, далеких от жизни, а только объективно подвожу себя под некоторую общую категорию, отмежевываясь, однако, от чисто публицистического направления, заставляющего историю подчиняться целям, ей посторонним: для меня история была всегда самодовлеющей наукой, ни в коем случае не прислужницей политики. При всяком удобном случае в своих историко-философских книгах и статьях я высказывался против всякого «незаконного» субъективизма, какой бы ни был его источник: вероисповедный, национальный, партийный, классовый, высказывался во имя требования научного объективизма и единственного признаваемого мною субъективизма этического, не обрекая этим, однако, историю на морализирование.

За сорок лет перед тем, как мои благожелатели устроили мое юбилейное чествование, я еще несколько колебался, как уже говорил об этом, быть ли мне в будущем историком или философом. В течение всего последующего времени философские интересы не покидали меня, приняв историко-теоретическую и социологическую окраску. Докторская моя диссертация была об основных вопросах философии истории, и занятия в этой области не прекращались до самого последнего времени. И опять я здесь невольно откликался на явления современной жизни, к числу которых относится пропаганда и распространение у нас в последних годах прошлого столетия теории экономического материализма. В IV—VII томах «Истории Западной Европы» я притом дал довольно много места рассмотрению главных течений философской мысли в XIX и XX веках, знакомство с которыми, скажу кстати, не поколебало во мне моего позитивизма, хотя внесло в него некоторые поправки и приучило более исторически понимать культурное значение осуждаемых позитивизмом стремлений. Наконец, и в своих книгах для молодежи о значении самообразования, о способах выработки миросозерцания, об основах нравственности, о сущности общественной деятельности я подчинялся тем же философским устремлениям своей психики.

Такое подведение итогов под своею научною деятельностью, конечно, приходило мне в голову неоднократно и не по поводу только каких-либо годовщин. Если не одно, так другое ставило передо мною, время от времени, вопросы, тó ли я делал, что нужно было делать, и тáк ли, как было нужно, делал и стóлько ли сделал, сколько мог бы сделать. И мне то казалось, что я слишком разбрасываюсь, хватаясь за многое, когда нужно было бы сосредоточиваться на одном, то думалось, что я работал с меньшею основательностью, чем надлежало бы, то и количественно я мог бы дать больше, если бы менее отвлекался от работы своей общительностью и своим тяготением к общественности. Все, однако, объяснялось моим характером и темпераментом, с которыми ничего не поделаешь. Как я завидовал иногда людям скупее, чем я, умеющим распоряжаться своим временем, не быть слишком торопливыми в своей работе, держаться в ней более ограниченной области, и в то же время я ставил себе вопрос, не являлось ли иное поведение искусственным отторжением себя от жизни, которую, как-никак, проживаешь только один раз. Ну, хорошо, сделаешь, пожалуй, немного больше и немного лучше, по мере сил и способностей, и, пожалуй, что-нибудь, что окажется несколько более кому-либо нужным, но жизнь проплывет мимо тебя, а жизнь для меня — это были природа и люди, природа, заставлявшая меня искать отдыха в путешествиях, люди, которые влекли меня в более или менее интересные для меня собрания, хотя бы это были однообразные подчас журфиксы, «ежемесячные обеды» и столь же однообразные заседа-

ния. Затворничество не было никогда в моем характере, а если в более молодых годах я и искал полного одиночества, не ради усиленной работы, то лишь тогда, когда меня посещало мрачное настроение с сомнением в себе самом и вообще в людях, но на такие периоды я всегда смотрел, как на болезнь.

С другой стороны, у меня было и известное тяготение к общественной работе, заставлявшее меня отдавать немало времени таким учреждениям, как Историческое общество, Литературный фонд, Отдел для содействия самообразованию, Комитет пособия нуждающимся студентам, Союз взаимопомощи писателям и Академический союз. Если мне пришлось признать себя мало пригодным для политической деятельности, требующей особых качеств, необходимых во всякой борьбе, то способность к совместной с другими мирной работе меня не оставляла, и я никогда не отказывался от участия в деле, которое было для меня симпатично и в котором я мог быть сколько-нибудь полезным. А это, действительно, брало у меня немало времени, какое могло идти на научную работу. Особенно я охотно отзывался на приглашения читать лекции без всякой мысли делать из этого добавочный заработок, в котором я не нуждался.

Перед своим возвращением в университет, когда вследствие общей студенческой забастовки и в Политехникуме лекции прекратились, я с удовольствием читал общеобразовательные исторические курсы в двух пригласивших меня учреждениях. Одним из них было то, которое было основано уже упоминавшимся мною П. Ф. Лесгафтом и представляло собой так называемый народный университет. Аудитория здесь была наполовину из учащейся молодежи и вообще из образованной публики, другая — из рабочих. В такой аудитории лектору приходилось не удовлетворять одну половину слушателей, в случае более элементарного изложения, и другую, когда лектор предполагал в своих слушателях очень многое уже известным. Рабочие правильно рассуждали, что у интеллигенции есть другие места, где она может учиться, а потому здесь, на курсах Лесгафта, читая лекции, и я имел в виду главным образом слушателей из рабочей среды. Это был мой первый опыт чтения лекций перед такой аудиторией, и я им остался доволен. Тогда же небольшой кружок, в котором принял участие и я, задумал организовать народный университет на Васильевском острове, но по разным причинам дело это как-то не пошло. Другим учреждением, где я тогда читал лекции, было «университетское отделение» при общеобразовательных курсах А. С. Черняева (на Петербургской стороне).

Тогда же, в конце 1905 и в начале 1906 года, возник в Петербурге Психоневрологический институт,[44] в котором несколько позднее и я взял на себя организаторскую работу. Инициатором этого учреждения был известный психиатр В. М. Бехтерев, думавший создать нечто подобное, например Институт эк-

спериментальной медицины, где могли бы изучаться явления мозговой, нервной и психической деятельности кончившими курс врачами, юристами и педагогами, специализирующимися в лечении нервных и душевных болезней, в судебной медицине и воспитании подрастающих поколений и особенно дефектных детей. Когда правительство закрыло курсы Лесгафта, Бехтереву пришлось устроить дело так, чтобы слушатели этих курсов были приняты в новый институт, где для них было организовано преподавание университетского типа, причем видное участие в этом предприятии принял М. М. Ковалевский, увидевший в новых курсах как бы возобновление своей Парижской вольной высшей школы.

Широта программы, отсутствие всякой казенщины и знаменитой процентной нормы для евреев сделали образовательные курсы при Психоневрологическом институте очень популярными, вследствие чего они быстро наполнялись большим количеством слушателей. Однако года через два среди самих же этих слушателей возникло желание специализироваться по факультетам, аналогичным университетским, в результате чего была студенческая ко мне депутация с просьбой взять на себя организацию словесно-исторического отделения. Когда я в принципе выразил свое согласие, если, конечно, меня пригласит Совет института, немедленно последовало избрание меня в профессора, а потом и на должность декана. Я попробовал было взять на себя и чтение лекций (два часа в неделю), но дальность расстояния (версты за три за Невской Лаврой), а потом перенесение лекций на вечерние часы в более близком помещении заставили меня ограничиться только организацией преподавания не только на специальном факультете, но и на так называвшемся основном (двухлетнем общеобразовательном).

Не скажу, чтобы со всем этим у меня не было множества хлопот и даже неприятных столкновений по вопросу о взаимных отношениях обоих отделений. Дело, однако, я довел до конца, убедив многих ученых специалистов, что дело может быть серьезным и полезным, благодаря чему состав профессоров получился весьма приличный, тогда как сначала многие относились к институту (называвшемуся в шутку неврилогическим) с большим сомнением и даже с насмешкой. Кое-кто в глаза упрекал меня, что я легкомысленно впутался в неподобающую историю. Отрицательные стороны в этом учреждении действительно были, между прочим, в студенческой среде, где было немало проявлений невысокой культурности. Когда все преподавательские вакансии были заполнены и все дело преподавания налажено, я просил товарищей освободить меня от деканской должности, сведшейся теперь к председательству в факультетских заседаниях. Не читая лекций и не посещая тех помещений, где они читались, я совсем был разобщен с тамошним студенчеством, которое во всех случаях, когда оно нуждалось в разъяснениях,

должно было обращаться к секретарю, так что декан для студентов сделался своего рода мифом. Уже после моего ухода курсы Психоневрологического института были признаны «вторым Петербургским университетом» («второпетуном» или «трепетуном»), третьим же названы были Высшие Женские курсы, пока эти все три университета не были слиты воедино.

Принимал я участие, но не столь близкое, и в организации Педагогической академии, инициатором которой в те же годы был тогдашний приват-доцент университета Александр Петр[ович] Нечаев,[45] специалист по экспериментальной психологии. И в ней я попробовал читать лекции, но по дальности расстояния и неудобному расположению часов вынужден был прекратить это чтение. Как и в Психоневрологическом институте, так и в Педагогической академии мне пришлось немало переломить копий с биологами, анатомами и физиологами, которые хотели, чтоб педагоги-историки проходили по их предметам такие же дробные курсы, какие читались ими для будущих медиков. В конце концов, широко задуманная Педагогическая академия как-то не удалась вообще и незаметно прекратила свое существование. Теперь мне жаль массы непроизводительно затраченного времени на организационную работу в двух учреждениях, ныне не существующих.

Я уже упомянул, что в рассматриваемый период я продолжал свою работу и в отделе самообразования, и в Литературном фонде. В 1909 году это последнее учреждение праздновало свой шестидесятилетний юбилей, пришедшийся как раз на один из годов моего председательствования. Комитет издал в этом году большой «Юбилейный сборник», в котором я поместил статью об общественных традициях этого почтенного учреждения и о двух его деятелях, незадолго перед тем умерших: о В. А. Манасеине, особенно часто бывавшем председателем комитета, и о Я. Г. Гуревиче, часто занимавшем в нем должность казначея[46] (о других покойных деятелях писали другие). По поводу этого празднования вспоминаю один забавный случай, показывающий, как иногда создаются мистические легенды. На одном из годовых обедов членов комитета участники товарищеской трапезы написали на оборотной стороне меню несколько слов о только еще тогда предстоящем юбилее. В числе писавших был известный педагог В. Л. Беренштам, обещавший, даже в случае смерти своей, явиться на обед «яко дымец мал». Когда на юбилейном публичном заседании в зале Городской думы, наполненной публикой, тогдашний фотограф разных торжеств Булла снял фотографию, воспользовавшись для этого вспышкой магния, от последнего остался небольшой дымок, заставивший меня вспомнить уже не бывшего в живых Беренштама. Я упомянул об этом курьезе в беседе с газетными репортерами, получившими от меня кое-какие справки, и вот на другой день в одной газете (чуть ли не в «Биржевых Ведомостях»)

я читаю, что несколько лет тому назад таким-то было дано такое-то обещание и что на интимном товарищеском обеде в ресторане над столом вдруг ни с того, ни с сего появился дымок. Это только один из немногих случаев репортерского вранья, с которым так часто приходилось встречаться: сколько раз в газетных отчетах о моих выступлениях в качестве публичного лектора, референта в ученых обществах, референта или оппонента на диспутах мне приписывались невообразимые вещи, среди которых смешения Конта с Кантом было еще пустяком.

Вспоминаю, между прочим, и такой случай. Я уже упоминал, что ежемесячно в ресторане Донона обедал небольшой кружок либеральных писателей, профессоров и земцев, а 19 февраля устраивался и очень многолюдный банкет. Прознал об этом какой-то юркий репортер и стал добиваться, чтобы его пустили в зал, где происходил один из таких больших обедов. К нему вышел в вестибюль распорядитель П. И. Вейнберг, сказал ему, что собрание имеет совершенно частный характер и что газетным корреспондентам здесь делать нечего. Тогда настойчивый репортер просил, по крайней мере, назвать некоторых участников. Чтобы отвязаться от его назойливости, Вейнберг назвал ему несколько имен, упомянув, что первый, сделавшийся у нас традиционным, тост был предложен мною. На другой день в «Биржевых Ведомостях» появилось описание обеда, где было сказано, что первый тост за драгоценное здравие хозяина Русской земли, принятый громким «ура», был произнесен профессором Кареевым.[47] Вейнберг не объяснил репортеру, что на обедах в память дня падения крепостного права первым делом чествовалась память людей, в свое время для этого работавших, начиная с Радищева, декабристов, Герцена, Чернышевского и т. п., а понято это было им самим в самом неприятном для меня смысле. Я поехал немедленно к редактору газеты Пропперу с требованием, чтобы он напечатал опровержение. Проппер, разумеется, стал отказываться и согласился напечатать только тогда, когда я придал этому опровержению за моей подписью формулу протеста против репортера, описавшего то, чего он не видел, придавшего частному собранию официальный характер, какого он не имел, и приписавшего мне не то, что я говорил.

Репортерство, действительно, приняло у нас в конце XIX века очень непривлекательные формы, особенно вследствие крайних невежественности и бесцеремонности некоторых отдельных представителей этой профессии. Один, например, назвав себя специальным информатором по университетским делам, выслушав мой ответ на поставленный им вопрос, вдруг, к моему удивлению, спросил меня: «Извините, я кое-чего не понял». «А, например?» — спрашиваю я. «Да вот вы несколько раз говорили о деканах, а я не знаю, что это такое». Особенно стали злоупотреблять репортеры телефонами, когда те вошли в большое упот-

ребление. В общем репортаж получил такой характер, что комитет Литературного фонда специальным постановлением решил считать репортерство за литературную профессию.

Мое участие в делах Литературного фонда в течение более четверти века дало мне хорошее знание материальной, а отчасти и нравственной стороны писательской среды. За денежною помощью и за всякого рода содействием в комитет за все время его существования обращались тысячи лиц, имена которых держались в секрете от посторонних глаз, что позволяло иным недоброжелателям фонда обвинять его комитет в том, что, например, такого-то писателя оно оставило без помощи.

А сколько неприятностей выпадало на долю должностных лиц комитета, т. е. в первую голову на председателя, потом на секретаря, а также и на казначея, если комитет отказывал в просьбе или назначал пособие не в таком размере, в каком была просьба. Среди клиентов фонда бывали душевнобольные, горькие пьяницы (или, по нашей общей терминологии, «потаторы»), нахалы. Одна дама, не имевшая никаких прав на пособие, получив отказ, явилась ко мне, бывшему тогда секретарем, накричала на меня и хотела вырвать из моих рук свое прошение, уже подшитое к протоколу, а потом отправилась к прокурору окружного суда с жалобою на меня за грабительское похищение принадлежавшего ей документа.

Другой раз я вызывался к мировому судье по обвинению в какой-то статье. Я не пошел, а попросил жену сходить и послушать, в чем дело; оказалось, что жаловался один сумасшедший клиент, обвиняя меня в намерении моем уморить его голодом. Когда я был председателем, он неоднократно приходил ко мне, шумел, кричал, ругался, грозил, а уже после моего председательства стал даже буйствовать и драться. Или такой эпизод. Приходит ко мне проситель, которому было отказано по поводу полного отсутствия литературных прав, приходит, вдобавок, в подпитии. Когда я ему повторил, что ему комитет ничего выдать не может, он схватил кресло и сказал: «Ну, так я у вас это возьму и продам». «Положим, — ответил я, — этого я вам не позволю, а раз вы дошли до такой крайности, то я вот дам своих вот столько-то». Он деньги взял, и, начав ругаться еще в передней, продолжал ругань и на лестнице. Был и такой случай, когда проситель как на свое право получить субсидию сослался на принятие им православия.

А не то вот еще такой разговор. Является ко мне человек в железнодорожной форме и только называет себя по имени: такой-то. «Чем могу служить?» — спрашиваю я. «А разве вам мое имя ничего не говорит?» — «К сожалению, первый раз слышу». — «Да газеты-то вы читаете?» — «Разумеется, но если вы по Литературному фонду пришли, то, вероятно, вы пишете в такой газете, которой я не читаю. Вам что угодно?» — «Я, видите, служу, но служба мешает мне творить. Я хочу выйти в отстав-

ку, а комитет пусть года на два обеспечит мне безбедное существование, чтобы я мог написать большой роман». — «Извините, это совершенно невозможно, да позвольте вас спросить: а семья у вас есть?» — «Да, есть, но какое вам до этого дело?» Я объяснил ему, при каких условиях можно жить исключительно литературным заработком, попросив указать, какова была до сих пор его писательская деятельность. Оказалось, что он начал писать чуть не со вчерашнего дня и писал маленькие заметочки в мелкой прессе. Одну из таких заметок он мне и вручил: она была направлена против привычки многих трамвайных пассажиров приклеивать слюною билеты к окнам вагона. «И все в таком роде?» — спросил я, на что получил утвердительный ответ. Я, разумеется, предупредил посетителя, что все это не дает ему права на помощь из сумм Литературного фонда, помогающего только профессиональным писателям, но он на это гордо сказал: «Посмотрим», — и ушел. Когда ему послано было извещение об отказе, он прислал в комитет письмо, в котором просил не возлагать на его гроб венков, не говорить речей на его могиле, когда он покинет этот мир.

Не менее курьезов было и с вдовами умерших клиентов фонда. Например, одна, недовольная малостью назначенного ей пособия, сказала мне, что комитет не сумел оценить, как следует, заслуги ее мужа, что ее муж не только писал в газетах, но и служил также в тайной полиции.

Хотя комитет Литературного фонда состоял почти исключительно из представителей передовых направлений общественной мысли, но оказывал помощь и консервативным писателям, если только они были корректными писателями, т. е. не занимались доносами, шантажом и т. п. С другой стороны, комитет не стеснялся оказывать помощь писателям и семьям писателей, которые были на дурном счету у правительства и даже состояли в ранге государственных преступников, раз у них были литературные права. Больше всего в таких случаях Литературный фонд помогал разными ходатайствами перед властями, для чего обыкновенно в ход пускался довольно постоянный член комитета Н. С. Таганцев, бывший сенатором, даже первоприсутствующим в уголовном департаменте, а потом и членом Государственного совета. На него же возлагались хлопоты о писателях из евреев, когда, например, их высылали за пресловутую черту оседлости. (Прибавлю еще, что довольно долгое время я заведовал издательским делом Литературного фонда.)

В первой половине второго десятилетия XX века в моей семье очень многое изменилось. В 1913 году, когда мне самому было уже за шестьдесят, скончалась моя мать, жившая с нами целую четверть века и нянчившая наших детей. Несмотря на преклонный возраст, она выдержала две, бывшие очень успешными, глазные операции, после которых могла целые дни читать до самой смерти. Перед кончиной она выдержала еще

одну операцию, необходимость которой была вызвана непроходимостью кишечника. Операция была очень удачной, но однажды, вставая с постели, моя мать упала и сломала себе ногу, вследствие чего должна была слечь в постель и умерла от отека легких. В первый раз в жизни на старости лет я присутствовал при кончине человека, — зрелище, которое меня страшно потрясло, независимо от испытанного горя. Моя мать умерла, когда у нее уже был за полгода перед тем родившийся правнук. Дело в том, что в 1911 году моя дочь вышла замуж за молодого художника Г. С. Верейского,[48] и у них в 1912 году родился сын Николай, мой крестник.[49] Таким образом, я сделался дедушкой. В 1915 году к Николаю прибавился Орест.[50] Для обоих я сделался первым учителем и, издавая в 1916—1917 годах седьмой том «Истории Западной Европы», посвятил его «своим внукам и сверстникам их» (как посвятил VI том «другу-жене», а второе издание книги «Сущность исторического процесса и роль личности в истории» — памяти матери). Наконец, в 1914 году, женился и наш сын, вскоре разошедшийся с женой.

В эти же годы мы переменили квартиру. Двадцать один год прожили мы на одной и той же квартире по 10-й линии Васильевского острова. Невольно вспоминаю теперь, когда приходилось платить за один фунт картофеля 1200 рублей, что как раз столько стоила эта наша квартира в год с отоплением! Цена эта, конечно, за два десятилетия выросла, но и новая квартира (на Большом проспекте Васильевского острова), гораздо более значительных размеров, обходилась не дороже того, что в зиму с 1920 на 1921 год стоили два фунта картофеля. При перевозке с одной квартиры на другую я пожертвовал массу хороших книг для библиотеки Высших Женских курсов, Исторического общества, студенческой читальни в университете (сколько картофеля можно было бы купить за цену этих книг!).

Я вообще не любил менять жилищ, даже в молодые годы. Например, и студентом, и учителем гимназии я жил на одних и тех квартирах. Весьма естественно, что переезд на новую квартиру в 1912 году являлся для меня как бы началом нового периода в моем существовании. Незадолго перед тем я стал ежегодно ездить в Париж для архивной работы над революционными секциями 1790—1795 годов, всего за год перед переездом была свадьба дочери, уже во время жизни на новой квартире родился старший внук и умерла моя мать, а через два года после переселения был мой германский плен и началась война, отразившаяся на жизни каждого из нас так или иначе.

По поводу начавшейся войны я написал несколько популярных статей и организовал сначала в университете, потом на Высших Женских курсах практические занятия по истории государственных границ в Западной Европе с распадения монархии Карла Великого. К сожалению, занятия шли довольно-таки плохо вследствие крайней слабости географических знаний учащих-

ся, но, работая сам над этою темой, я написал на нее целую книжку, пока оставшуюся в рукописи.[51] Кроме того, я принял участие в Обществе для оказания помощи лазарету, устроенному в новом здании Высших Женских курсов, и, занимая в нем пост председателя, имел на своем попечении известное количество раненых. Особенным умением в последнем деле, к сожалению, похвастаться не могу: чего-нибудь похожего на брата милосердия из меня не вышло.

С новой квартирой ассоциируются в моей памяти воспоминания о моем семинарии этих годов. В занятиях наказами Французской революции как в университете, так и на курсах наметилось несколько серьезных работников, которых для более специальных занятий под моим руководством я и стал собирать по определенным вечерам на своей квартире. Здесь образовался более тесный кружок, работавший до весны 1919 года, когда я уехал на лето в деревню, чтобы по тогдашним обстоятельствам вернуться в Петербург только осенью 1920 года, и возобновившийся по моему возвращении. Некоторые имена, относящиеся к этому кружку, мною были уже названы (Е. Н. Петров, И. Л. Попова, В. В. Бирюкевич и др.), а о других хочется вспомнить теперь. Одним из них был Сергей Васильевич Казанский. Он занимался у меня сначала в просеминарии, потом в семинарии чуть ли не с первого же или второго года пребывания своего в университете. Юноша очень симпатичный, с мягким и добрым нравом, он как-то особенно располагал к себе людей, а любознательность, добросовестность в работе и хорошая к ней подготовленность при научном складе ума обещали, что из него выйдет хороший ученый. Он был одним из наиболее деятельных и дельных участников моего семинария, с которым и лично я очень близко сошелся. К сожалению, здоровье Казанского было хрупкое; в первой половине 1918 года он заболел и скончался, оплакиваемый родителями, которые души в нем не чаяли. Еще при его жизни я и жена познакомились с ними и поддерживали знакомство после его смерти. Помню я, как он весь горел, когда вспыхнула революция 1917 года, как часто забегал к нам, чтобы рассказать, что делается на улицах, какие ходят слухи.

Другим моим учеником, с которым я сердечно сошелся, был Александр Яковлевич Шульгин, своим открытым и приветливым нравом очень к себе располагавший людей. Это был также одаренный хорошими способностями научный работник, уже успевший напечатать одну из своих работ (в «Русском Богатстве»), но, будучи убежденным украинцем, он в начале же революции уехал в родной Киев, где, несмотря на очень еще молодые годы, стал было играть видную политическую роль или, по крайней мере, занял выдающееся положение (чего-то вроде министра по национальным делам). Потом я слышал, что он уехал в Швейцарию с дипломатической миссией. Когда он выезжал из

Петербурга, то говорил мне, что очень боится, как бы на родине его не отвлекали от научной работы, но, очевидно, он тогда не представлял себе, какие серьезные дела будут на него возложены. Думаю, что Шульгин отвлекался от научной работы больше по чувству патриотического долга, чем по влечению к участию в активной политической борьбе: слишком мягким, женственным, как и Казанский, он мне представлялся. Оба они одинаково были оставлены по моему предложению при университете для приготовления к профессорскому званию.

Исчез из нашего семинарского кружка еще очень дельный и работающий, хорошо подготовленный к научной деятельности Ник[олай] Петр[ович] Соколов. Он, собственно, не был петербургским студентом, а окончив курс в Нежинском историко-филологическом институте, был прикомандирован к нашему университету, избрав для своих занятий руководство мое и И. М. Гревса. Когда окончился срок его прикомандирования, он уехал на родину, и что с ним потом сталось, мне неизвестно, хотя одно время он и подавал мне вести о себе. В Соколове я видел тоже будущую научную силу.

За все время моей преподавательской деятельности у меня сразу или на протяжении короткого времени не было такого количества способных и обещающих в будущем учеников, как в эти годы, когда в моем семинарии работали названные лица и, кроме того, Е. Н. Петров, В. В. Бирюкевич и И. Л. Попов. Участие в моем семинарии приняли и некоторые слушательницы Высших Женских курсов. Среди них отмечу А. А. Матвееву (по мужу — Леман), уже кое-что печатавшую, а также назову С. М. Данини, которая примкнула к семинарию после того, как самостоятельно поработала в общей сложности около года во французских архивах над историей крестьян в Дофине в эпоху революции. Я был очень доволен, когда после годичного отсутствия моего в Петербурге некоторые участники моего семинария в него возвратились и к нему примкнули новые лица. Трудно сказать, почему раньше не образовалось такого кружка: я был тем же, даже темы для занятий мною предлагались те же, а между тем разве только некоторые единичные студенты проявляли на моих практических занятиях действительную активность. Думаю, что большое значение в данном отношении имело более свободное развитие университетской жизни с 1906 года сравнительно с временами, когда царил дух устава 1884 года.

На обратном пути из Крыма мы заезжали в Харьков, где посетили родителей нашего зятя и одного моего товарища по профессии, профессора В. П. Бузескула. Я вообще всегда искал случаев знакомиться с другими историками и всегда старался завязывать с ними добрые отношения, но только сравнительно с немногими устанавливались у меня более близкие отношения, ничем притом никогда не омрачавшиеся. К числу таких коллег принадлежит и Бузескул, знакомство с которым было сначала

заочное и поддерживалось только письмами, пока я не поехал в Харьков для прочтения публичной лекции в пользу какого-то благотворительного учреждения и не стали еще встречаться в Крыму, куда Бузескул и его жена ездили каждое лето. Вот и с этою симпатичной семьей как-то всякие сношения прекратились, равно как и с вдовою Лучицкого, Марией Викторовной, известной переводчицей очень многих книг. Им я писал, но или мои письма к ним не доходили, или же их письма до меня.

В 1914 году я совершил последние свои путешествия: на Пасху — в Крым, куда раньше уехала заболевшая жена, летом — за границу, где я попал на пять недель в плен к немцам.

С 1914 года я уже никуда, кроме Смоленской губернии, не ездил, а во время поездок уже лишен был возможности забирать с собою много книг. От моего возвращения в Петербург из немецкого плена в августе 1914 года до начала революции в феврале 1917 года прошло два с половиною года, которые остались какими-то бледными в моей памяти: так заслонили их собою грандиозные события двух революций 1917 года.

Вспоминаю, однако, еще участие свое в небольшом кружке ученых, собиравшихся на квартире А. А. Шахматова для коллективного обсуждения славянских вопросов, связанных с войною, при участии кое-кого из сербов, чехов и поляков. Нами был намечен по этим вопросам целый ряд брошюр, из которых появилось на самом деле очень мало. Одною из появившихся была моя — об итальянских притязаниях на Дальмацию,[52] где я доказывал, что у Италии нет никаких прав на эту страну и что, наоборот, есть резоны географические, этнографические и экономические для сохранения за собою хорватами не только Фиуме, но даже и Триеста. Брошюра была отпечатана, но на нее наложило свое вето Министерство иностранных дел как на несогласную с видами правительства. Я отправился к товарищу министра Нератову, чтобы отстоять возможность появления своей брошюры в печати. Очень жалею, что по свежим следам не записал довольно длинной своей с ним беседы, очень, как мне казалось, характерной для бюрократических нравов старого порядка. Когда я говорил этому сановнику, что я рассматриваю вопрос о Дальмации с чисто научной точки зрения, отнюдь не оскорбляя Италию, нашу союзницу, он сказал мне, что вот эта-то именно чисто научная точка зрения и неудобна, так как ее сила и может идти вразрез с обязательствами, принятыми на себя русским правительством. Не могу сейчас хорошенько припомнить, как в конце концов согласие на выпуск брошюры было дано. Скажу только, что брошюра помечена была 1917 годом, чем определяется и время разговора с Нератовым: немудрено, что более важные события заслонили в моем сознании этот маленький эпизод.

Как задолго до 1914 года говорили о близости великой войны, но мало кто накануне еще думал, что война на носу, и нечто

давно уже ожидавшееся началась совершенно неожиданно, так вышло и с революцией 1917 года. Я превосходно помню чудесное, солнечное утро воскресного дня в последних числах февраля (безошибочно могу сказать: 26 числа). Я решил съездить на Петербургскую сторону, чтобы сделать визит В. Н. Фигнер, с которою незадолго перед тем познакомился и которая сказала мне, что была бы рада видеть меня у себя. Я сел в вагон трамвая около своей квартиры на углу Большого проспекта и 8-й линии, чтобы ехать на Петербургскую сторону, но уже у Среднего проспекта вынужден был выйти, да и все мои дальнейшие попытки сесть где-нибудь в вагон оказались бесполезными. Веру Николаевну я дома не застал и пошел домой пешком. Где-то, проходя мимо, я увидел десять-двенадцать трамвайных вагонов под охраною городовых и никого вокруг. Я спросил у одного из них, что такое происходит. «Да вот безобразничают, а мы — не мешай», — с неудовольствием отвечал страж порядка. Вечером я зашел к Е. Н. Семевской, у которой по воскресеньям собирались ее знакомые. Разговор вертелся около того, что делалось в этот день в Петербурге. Помню, особенно много говорил Г. А. Лопатин, но никто еще ясно не отдавал себе отчета в том, что началась настоящая революция.

Но нельзя было не поверить в то, что началась эта революция, которой одни боялись, другие желали, третьи ожидали со смешанным чувством, когда на улицах стали раздаваться выстрелы, а в квартиры стали врываться матросы, ища спрятанного оружия. Не помню, в какой день, и к нам явилось три молодых матроса, из которых один, сильно нетрезвый, держа револьвер против моего лба, настойчиво требовал выдачи оружия, никогда у меня в заводе не бывшего. Пришлось божиться, что у меня нет ничего, и подтвердить божбу крестным знамением, подействовавшим на матроса умиротворяющим образом, но не помешавшим ему тут же попросить сколько-нибудь денег.

В конце февраля и в начале марта 1917 года кончились времена, сделавшиеся предметом моих воспоминаний в настоящих записках, и началось время, ныне переживаемое.

9/VIII 1921

Глава двенадцатая

ТРУДНЫЕ ГОДЫ

Давнишний отказ от политической деятельности. — Возобновление Академического союза. — Приезжие иностранцы в Петербурге весной 1917 года.— О. П. Герасимов. — Летние месяцы 1917—1919 гг. — Деревенские впечатления. — «Государственное совещание». — Холодное и голодное время. — Условия научной работы в эти годы. — Работа исторического семинария. — Вопрос о реформе университетского преподавания. — Круглый год в деревне.— Деревенская весна. — Возвращение в Петербург. — Возобновление преподавательской деятельности. — Научная работа начала двадцатых годов. — Пятидесятилетний юбилей.

Между двумя революциями 1905 и 1917 годов прошло почти полных двенадцать лет. Эти двенадцать лет приблизили меня к семидесятилетнему возрасту, когда уже поздно думать о возможности какой бы то ни было новой деятельности, в данном случае — о деятельности политической. В 1905—1906 году я попробовал было вступить на этот путь, но убедился, как я уже упоминал выше, что моя психика мало приспособлена к требованиям политической жизни, и с этим сознанием я жил в течение всего времени, которое протекло от роспуска I Государственной думы до Февральской революции. Вот почему я не добивался того, чтобы опять вступить на политическое поприще, и отказывался от предлагавшихся мне кандидатур. Не выходя формально из той партии, в которую я вступил в 1905 году и в качестве члена которой был выбран в I Государственную думу, я уже давно не вступал ни в какие комитеты и продолжал оставаться вне их по-прежнему. Самое большое, на что я в данном отношении шел, это было выступление на устраивавшихся партией митингах, на которых, однако, говорил больше на тему, в чем должна заключаться истинная свобода и при каких внешних условиях она должна существовать, чем полемизировал с другими партиями по поводу практического разрешения стоявших на очереди политических и социальных вопросов. Вот от чтения популярных лекций после революции 1917 года я не отказывался и отправлялся всюду, куда меня приглашали, причем моими историческими темами была Французская революция, Декларация прав человека и гражданина. Между прочим, читал я такие лекции в университете для служащих и служителей, равно как и для «посторонней публики» в казармах Пав-

ловского полка для нижних его чинов, в Морском корпусе и в Мореходных классах в конце Большого проспекта Васильевского острова для воспитанников, на каком-то, не помню, заводе для рабочих и т. п. Для чтения таких просветительных непартийных лекций образовалась небольшая группа университетской молодежи, т. е. так называемых младших преподавателей и оставленных при университете старших студентов, и я был приглашен председательствовать на собраниях группы. В том же направлении я развивал свою деятельность в периодической прессе, печатал небольшие статьи на историко-политические темы. К числу изданий, в которых я поместил не одну из таких тем, был «Правительственный Вестник», и мой большой фельетон, помещенный в одном из первых его номеров после революции, был и единственным в этом роде, потому что Временное правительство нашло неудобным печатание неофициальных материалов в этом своем органе. Кроме статей я напечатал и несколько брошюр по просьбе некоторых издательств.[1]

Когда зашла речь о выборах и прежде всего городских, мое имя было поставлено в списке кандидатов кадетской партии вторым, но я отклонил эту честь, заявив, что не хочу обманывать избирателей, так как не имею ни малейшей охоты повторить опыт, уже делавшийся мною за полтора десятка лет перед тем с Петербургской городской думой, считая себя совершенно непригодным для хозяйственно-административной деятельности. Я дал согласие на включение своего имени только на одном из наиболее отдаленных мест, до которого ни в каком случае очередь бы не дошла. О кандидатуре в Учредительное собрание с моей стороны и речи быть не могло. Все мое отношение к созыву этого собрания заключалось лишь в том, что я печатал в газетах исторические справки о бывших на Западе учредительных собраниях,[2] да состоял в членах комиссии, принимавших бюллетени на выборах. Судьбе было угодно, чтобы я для выполнения этой функции попал в здание Морского корпуса, где подавали свои голоса преимущественно военные. Особенно помню великое множество матросов. Чтобы покончить с этою своею деятельностью, упомяну, что участвовал также в собрании членов всех четырех Дум, устроенном в Таврическом дворце 27 апреля в годовщину созыва I Думы, и в пресловутом Государственном совещании,[3] бывшем в Москве, в зрительном зале и на сцене Большого театра в первой половине августа 1917 года. Об этом эпизоде сообщу после, а теперь укажу лишь на то, что было общим в обоих собраниях: этим общим являлся полнейший общественный разброд, совершеннейшая разноголосица, взаимная грызня. Утешительного в таком зрелище было мало. Надежда на мирный исход революции была, и независимо от этого, минимальной.

К этому же периоду революции относится и возобновление Академического союза 1905 года. Я опять попал в его руководя-

щий комитет, поручивший мне выступить на первом же общем собрании Союза в известном зале Тенишевского училища. Того единодушия и, скажу далее, энтузиазма, каким отличался первый Союз в самом начале своей деятельности, теперь не было. В центральном комитете Союза обнаружились разногласия по политическим вопросам, которые с наибольшею силою проявились в августе в Москве, куда на Государственное совещание съехались и делегаты союза. Явившись тоже в Москву, я мог участвовать в совещаниях, вырабатывавших свои декларации, и в качестве члена I Думы, и как председатель Академического союза. Я выбрал последнее, попал в комиссию, составлявшую проект нашей декларации, и отстаивал его в общем собрании, затянувшемся на несколько часов вследствие упорной оппозиции незначительного меньшинства, которое настаивало на включении в декларацию выражения полного упования на то, что только рука Керенского в состоянии вывести Россию на надлежащий путь ее исторического развития. Громадным, подавляющим большинством эта прибавка к декларации была, однако, отвергнута.

Скажу еще, что этому съезду Академического союза предшествовал другой, в Москве же, где я был делегатом от петербургской секции и был избран председателем общих собраний. Был этот съезд в конце июня и в начале июля, прошел очень гладко, так как на нем дебатировались исключительно одни академические вопросы. Более всех других вызвал прения вопрос о студенческом представительстве в факультетских и советских заседаниях, но и тут удалось достигнуть некоторого соглашения.

С осени 1917 года Академический союз захирел, и даже члены комитета перестали собираться. На последнем собрании, не помню уже когда, в квартире А. А. Брандта,[4] директора Института путей сообщения и нашего председателя, я встретился, кроме хозяина, только с Д. С. Зерновым,[5] директором Технологического института. Дописывая эти слова, я вспомнил еще, что на одном из общих собраний Союза весною выступал известный французский общественный деятель Альбер Тома[6] с речью чисто политического содержания по поводу русских дел. Впрочем, говорили и о науке. По поручению комитета я произнес по-французски от имени Союза приветствия французским коллегам, которое мы и просили Тома передать по назначению. Кроме Тома, из приезжавших весною 1917 года французов я виделся еще с другими социалистами: Кашеном,[7] Лафоном и Мутером, которых приводила к нам вечером первого дня Пасхи жена второго из них, бывшая бестужевская курсистска, давнишняя наша знакомая З. Н. Гогунцова. Ее первый муж Юбер-Лагардель, которого я тоже знал, был редактором журнала «La Mouvement Socialiste». Мы много говорили о будущем франко-русском общении. И еще по некоторой ассоциации представлений я вспоминаю о посетившем меня той же весной румынском социологе,

писавшем по-французски, Драгическо, который мне признавался, что раньше боялся ехать в Россию при самодержавии (такие признания случалось мне слышать и от других иностранцев) и высказывал надежду, что теперь наладятся более прочные культурные связи между двумя нациями.

Возвращусь еще раз к Академическому союзу. Мне пришлось раза два-три в качестве его члена принимать участие в совместном заседании Учительского союза с высшими чинами Министерства народного просвещения по принципиальным вопросам организации средней школы, но я, как и другой делегат (насколько помню, А. А. Бранд), не имел от комитета никаких директив и лишь временно принимал участие в этих совещаниях. Первое собрание открылось под председательством члена Временного правительства, министра народного просвещения А. А. Мануилова, но он, произнесши краткую приветственную речь без определенного содержания, передал председательство своему товарищу О. П. Герасимову, который и повел дело очень умело, по каждому вопросу твердо и спокойно заявляя, на что́ министерство может согласиться и что́ он сам готов всячески поддерживать, а на что́ оно никоим образом пойти не может, оставаясь во главе общегосударственной организации народного образования. Некоторые требования наиболее прогрессивных педагогов и действительно били через край в смысле полной автономии каждой отдельной школы. Когда я уходил с этого собрания, я слышал, как его члены из более настойчивых говорили, однако, что Герасимов — человек, с которым работать можно как со знающим хорошо свое дело и способным понимать чужие точки зрения.

О Герасимове мне уже пришлось говорить в своих воспоминаниях. Он был моим двоюродным братом и мужем сестры моей жены. Ту же должность товарища министра народного просвещения он занимал в эпоху I Думы и вышел в отставку вследствие разногласия со Столыпиным. Февральская революция вернула его на старое место, и, освоившись с положением дел, он в разговорах со мной высказывался крайне пессимистически, отказывая всему кабинету в единстве направления, а большинству его членов в правительственных способностях. Это был человек прямой и даже резкий, говоривший откровенно с теми членами кабинета, с которыми был знаком. Как известно, первое Временное правительство не долго продержалось у власти, так что участие в нем Герасимова скоро прекратилось. Его отставка произошла, когда меня уже не было в Петербурге, и мы скоро встретились с ним в деревне, куда он приехал с большим запасом наблюдений и с очень определенными предсказаниями, с которыми и стал делиться со мною. Герасимов не верил в то, что соберется Учредительное собрание, настаивал на возможности, даже неизбежности гражданской войны и т. п., хотя в то же время был уверен почему-то, что крестьяне «не тронутся».

После Октябрьского переворота он остался жить спокойно у себя в деревне и, уезжая оттуда по делам в Москву, в начале декабря убеждал свою жену и гостившую у них мою дочь, что «ничего не будет». Потом, однако, все-таки «было», и он уже не возвращался в свое поместье и умер в одной из московских тюремных больниц в мае 192[?] года*. [Год кончины О. П. Герасимова не указан. — *В. З.*]

За первые четыре месяца после революции, которые я провел в Петербурге, Герасимов был, пожалуй, единственным человеком из тех, с кем я встречался, который знал, что у нас делается не по газетам только да по слухам. Других своих знакомых, из самого ли правительства или из сфер, вообще близких к политике, я никого не видал. Я читал себе свои лекции, писал себе свои статьи и брошюры, да посещал митинги и заседания университетские, Академического союза и Литературного фонда, членом комитета которого был в этом году. Так как в Петербурге на лето меня не удерживали никакие обязанности, то я и уехал с семьей по обыкновению в Смоленскую губернию на лоно природы (с заездом в Москву на съезд Академического союза, как о том было сказано выше). В учебный сезон 1916/17 года пришлось много работать. Как раз к Февральской революции оканчивалось печатание второй части VII тома моей «Истории Западной Европы в новое время», а тут началась усиленная деятельность по чтению публичных лекций и писанию статей и брошюр. Требовался отдых, да и многолетняя привычка проводить лето в деревне взяла свое.

Я потом проводил летнее время в Смоленской губернии и в следующие ближайшие годы. Уехав на обычный срок в 1919 году, я даже не возвращался в Петербург до осени следующего года, а в 1923 году впервые совсем не поехал в родные места, ограничившись переселением на дачу под Петербургом. Мало того, обычный порядок жизни нарушался еще тем, что два лета в 1917 и 1918 годах я провел не в своем Аносове, а в верстах 11—12 оттуда, в имении О. П. Герасимова Зайцеве.

Дело в том, что живший и хозяйничавший в Аносове мой брат поступил вторично на военную службу и отправился на фронт, а у племянницы моей, оставшейся в Аносове, при начавшейся уже тогда хозяйственной разрухе, было слишком много хлопот и забот, чтобы мы могли ее обременить еще своей семьей. У Герасимовых хозяйство было налажено лучше, и мы воспользовались их предложением провести лето в их Зайцеве, откуда я навещал время от времени Аносово, ходя туда пешком. И теперь я, продолжая свою научную работу, все-таки не отказывался и от чтения лекций, ездя для этого в находящееся

* В известных мемуарах гр. Витте о Герасимове сказано, будто на пост тов[арища] мин[истра] он был рекомендован Николаю II кн. Мещерским, ред[актором] «Гражданина». Я счел своим долгом это опровергнуть (прим. Н. И. Кареева.— *В. З.*).

в четырех верстах от Аносова село Воскресенское, где был просторный народный дом, выстроенный по инициативе моего брата. Читал я здесь лекции на свои обычные историко-политические темы, прибавив к ним еще одну новую — об аграрных программах наших политических партий. Вообще в предисловиях, так сказать, к своим беседам я настойчиво предупреждал слушателей, особенно крестьян, что я читаю просветительные, осведомительные лекции, а вовсе не веду какую-либо партийную пропаганду. Так я поступил и в начале лекции об аграрных программах, потом изложив все их и указав на аргументы их защитников и противников. Когда я повторил такую лекцию в зайцевской школе, один местный крестьянин обратился ко мне с такими словами: «Да вы скажите нам прямо, как нам нужно на этот случай думать». Но я только напомнил ему то, что было мною сказано в начале лекции.

По поводу совершившейся в феврале революции приходилось вести и просто разговоры с крестьянами, приходившими к Герасимову или с встречавшимися со мною на прогулках. В первый раз в жизни пришлось беседовать с народом без оглядки назад. Ничего в партийном смысле им не внушал, а если что-либо и оспаривал, то их неверные политические понятия. Некоторые такие разговоры особенно хорошо запомнились. Встречаюсь я, например, на дороге со знакомым кузнецом, идем в одну сторону, беседуем. «Я хочу, — заявляет мне мой спутник, — чтобы наша республика была социалистическая». «А что, — спрашиваю я, — вы называете социалистической республикой?» «Да такая,— последовал ответ,— в которой нет президента». Я разъясняю ему, что Швейцария, в которой нет такого президента, как во Франции или в Америке, вовсе не социалистическая республика и, делая характеристику швейцарских нравов, продолжаю: «Вот, видите ли, мы прошли вместе версты две, и нигде не встретили надписи, запрещающей ступать на чужую собственность, а в Швейцарии это бывает написано то направо, то налево, т. е. это-де частная собственность и для посторонних прохода по ней нет». Кузнец со вниманием выслушал мое объяснение и очень похвалил швейцарские порядки, прибавив, что он сам всецело на стороне частной собственности. Он оказался выделившимся из общины хуторянином, и мне пришлось ему объяснить, что он неправильно толкует самое слово «социализм».

После нашего водворения в Зайцеве довольно скоро в него приехал и его владелец с кучей рассказов и новостей, разъяснявших и дополнявших то, что я узнавал из получавшихся мною газет. Если не изменяет мне память, от Герасимова впервые узнал я об имевшем состояться в Москве Государственном совещании. Я решил на него ехать не потому, конечно, чтобы считал себя в силах что-либо сделать, а ради того, чтобы узнать, что же в самом деле у нас творится. Поехал я на железнодорожную станцию, верстах в сорока, с одним соседним помещиком,

бывшим членом IV Государственной думы, и вместе же мы вернулись приблизительно через неделю.

Государственное совещание продолжалось четыре дня. Происходило оно в Большом театре, причем и вся сцена была занята местами для участников, а стол, за которым сидело тогдашнее правительство, помещался на помосте, над местом оркестра; недалеко от него стояла высокая кафедра для ораторов. Мне отвели место в четвертом ряду кресел с левой стороны, как раз против правительственного стола. Я очень хорошо видел лица членов Временного правительства, среди которых были и знакомые (С. Ф. Ольденбург, А. В. Пешехонов и др.) и незнакомые. С Керенским, председательствовавшим в собрании, я был лично знаком довольно поверхностно, и мне он здесь показался каким-то совсем другим — не без нарочитого позирования. Сзади него торчали направо и налево двое молодых и благообразных, с иголочки одетых, офицерика, один сухопутный, другой морской. Говорил Керенский громко, но отрывисто, отчеканивая каждое слово и подчеркивая отдельные места, то возвышением голоса до крика, то трагическим шепотом, то выразительным жестом, вообще же не жестикулируя, но одною рукою опираясь на стол, другую же заложивши за борт своей австрийской куртки: «Я должен вам напомнить, что (с выкриком) Временному правительству принадлежит не-о-гра-ни-чен-на-я (особенно громко) верховная власть (трагическим шепотом)... Кто этого не понимает, тот будет иметь дело (короткая пауза, а потом почти крича) со мной» (и жест указательным пальцем в собственную грудь). Когда вступительная речь Керенского окончилась, сосед мой по креслу спросил меня: «Скажите, профессор, кто так говорил в истории?» «Наполеон после битвы при Маренго»,[8] — почему-то ответил я.

Это были речи, речи без конца, какой-то всероссийский митинг, на котором отводилось кому четверть часа, кому десять или пять минут, по предварительному соглашению с организациями, от которых произносились речи. Так сказать, индивидуальных речей было только три: Брешковской,[9] Кропоткина и Плеханова. Кропоткин, с большой белой бородой, говорил о необходимости братской любви, напомнив мне легенду об апостоле Иоанне, который, по преданию, в старости не уставал повторять: «Дети, любите друг друга». По окончании его речи другой мой сосед наивно сказал мне: «Вот кого бы сделать президентом республики». В тот же день мне удалось в перерыве протиснуться к Кропоткину, с которым я свиделся еще раньше в Петербурге, посетив его в день приезда как старый его знакомый (по Парижу в 1878 году).

Плеханов, которого я видел в первый раз в жизни, говорил с приемами опытного западноевропейского оратора, уверенно и авторитетно, с несколько искусственной модуляцией голоса и широкими жестами. Я отмечал в своей карманной записной

книжке, к сожалению, потом потерянной, последовательность речей и по привычке педагога баллами отмечал внутренние и внешние достоинства прослушанных речей. Плеханову я поставил в ней 5 с плюсом. Мне очень было хотелось подойти к нему, чтобы познакомиться и даже упрекнуть его в шутливой форме, что, полемизируя со мной в своей известной книге, он приписывал мне вещи, в которых я был совершенно неповинен, по части высказывания своих чувств о разных русских князьях, Изяславах и Святославах, о которых никогда ничего не писал.[10] Но потом я подумал, как бы еще это было принято Плехановым, и воздержался.

Зато я не воздержался от того, чтобы сделать то же самое по отношению к Шульгину, который не переставал в своей киевской газете утверждать, будто я в I Государственной думе советовал изничтожить даже самое имя России. На мое заявление он ответил, что только повторял общую молву, имевшую веру в его кругах, но что он готов дать место в своей газете моему опровержению. Не знаю, как бы я еще поступил, но после Октябрьской революции этот способ опровержения глупой клеветы уже не заставлял меня о себе думать.

По поводу произносившихся речей помню еще замечание, сделанное мною Родзянко,[11] бывшему председателем IV Думы, выражавшему при мне досаду, что Керенский оборвал его речь (по истечении, конечно, данного ему срока) в тот самый момент, когда оратор только что собирался говорить о самом важном. «Вы, — не удержался я заметить, — построили слишком длинный коридор к тому залу, в который собирались нас ввести». Такой же «коридор», помнится мне, сделал и Гучков.[12] Керенского некоторые упрекали в том, будто для некоторых ораторов он отсчитывал более длинную минуту, но эти разговоры были только показателями той атмосферы недоброжелательства и подозрительности, какая была на злосчастном совещании.

Ничто вообще так мало не соответствовало миролюбивой речи Кропоткина, как та озлобленная атмосфера, которая наполняла зал Большого театра. Как и заседание в Таврическом дворце 27 апреля, в годовщину первого созыва Думы, она напоминала не общее ликование после победы, а перебранку неприятелей перед вступлением в бой. В программу последнего дня этого совещания не входило никакой заключительной речи, и я ушел, когда на кафедру вступил последний по списку оратор. Так было условлено у меня с профессором Московского университета Д. Н. Егоровым,[13] гостеприимством которого я в эти дни пользовался. При выходе я не нашел Егорова и, немного подождавши, отправился один на его квартиру. Нас ждала его жена с чаем, но хозяин вернулся лишь часа через два, возбужденный и почти крича, что Керенский сошел с ума. По его словам, Керенский говорил что-то невообразимо истерическое, заразившее некоторых нервных женщин. В газетах об этом инциденте ни-

чего не было, кроме одного понедельничного листка (заседание было в воскресенье), сообщавшего краткое резюме этой психопатической речи Керенского.

С невеселыми впечатлениями возвратился я в Зайцево, где после этого пробыл еще около двух месяцев. Из Петербурга мне писали, что торопиться с возвращением нечего, ввиду того, что едва ли учебные занятия наладятся скоро. Давным-давно я не заживался в деревне так поздно осенью, когда уже начинались заморозки, замерзали лужи и покрывались ледяной корочкой хвои елок и сосен, т. е. вообще чувствовалось приближение зимы. Я задумал наполнить часть свободного времени, которым располагал, занятиями в зайцевском начальном училище. Эта школа давно уже возникла по почину Герасимова, который отчасти дал на это свои деньги, отчасти собрал средства в виде пожертвований и сборов от публичных лекций, пока ему не удалось выхлопотать и казенную субсидию. В школе было три учительницы и один учитель, в данный момент находившийся в австрийском плену. Вот я и взял на себя временно занятия со старшей группой учеников, рассказывая им то или другое из истории и географии, читая отрывки из образцовых литературных произведений, а когда я уезжал, то посоветовал дочери своей, остававшейся в Зайцеве на зиму со своими маленькими детьми, заменить меня в школе. Так и было сделано.

В начале декабря Зайцево покинул Осип Петрович, а через два месяца вынуждена была уехать и его жена, но дочери моей разрешено было местными властями остаться жить в доме и даже оберегать находившееся в нем имущество; при этом ей была дана корова как вознаграждение за занятия в школе, за которые она никакого жалованья не получала. После отъезда своей тетки моя дочь прожила в зайцевском доме еще около полугода. Зайцево превратилось в «совхоз», но дом остался в ведении местного совдепа, разрешившего и мне с женой летом 1918 года поселиться вместе с дочерью, потому что в Аносове, сохранившемся за моей племянницей, как и в предыдущем году, не представлялось удобным жить. Но об этом эпизоде речь будет еще впереди.

В Петербург из деревни в 1917 году мы, т. е. я и жена, возвратились недели за полторы до Октябрьской революции, чтобы провести одну из самых тяжелых зим в моей жизни. Еще более тягостною оказалась, однако, следующая зима, т. е. с 1918 на 1919 год. Говорят, что зима с 1919 на 1920 год была в Питере еще более трудной, но мы провели ее, как об этом будет подробнее сказано дальше, в своем Аносове. Еще с первых месяцев войны началось наше экономическое расстройство, создавшее и то положение дел, из которого возникла давно уже назревшая революция. Весь внешний строй жизни изменился до крайней степени. Не ставя в своих воспоминаниях задачу писать историю своего времени, я здесь отказываюсь от сколько-

нибудь полной картины петербургской жизни в худшие в материальном отношении годы. Описываю только то, что пришлось испытать самому по части личных лишений, между прочим, создавших невероятно тягостные условия для научной работы.

Вспоминаются холод, тьма, недоедание, безденежье и невозможность многое достать и за деньги. Целые осень, зиму и весну (1920—1921) мы прожили в Петербурге даже не на своей квартире, уступив ее на время долгого своего отсутствия художнику М. В. Добужинскому[14] с семьей, но и возвратившись в город, предпочли потесниться в двух маленьких сырых комнатах, где нам обещали доставку дров, которая производилась, однако, неаккуратно, причем дрова были плохие, сырые, не дававшие тепла. Было даже такое время, когда я с женой приносил по нескольку поленьев в заплечных мешках из случайно сохранившегося запаса в сарае старой квартиры. А тьма! Бывали времена, когда электричества или совсем не было, или пользоваться им можно было только в очень короткие часы, да и керосину тоже не всегда можно было достать. С питанием дело обстояло также очень плохо. Хлеб выдавался только по карточкам в небольшом количестве, доходившем иногда до одной четверти или даже восьмушки фунта в сутки, а не то вместо хлеба отпускался овес, который приходилось парить и дважды пропускать через мясорубку, чтобы делать из него нечто вроде каши. По целым неделям мы не ели никаких жиров, хотя бы растительных, не говоря уже о каком-либо мясе, если не считать плохой, жесткой и сухой конины. Чай и кофей заменялись всякими суррогатами и пились, конечно, без сливок, даже без молока, без сахара, вместо которого не всегда можно было достать и сахарин. Белые булки были только предметом воспоминаний.

Питание ухудшалось не только качественно, но и количественно. Чувствовалось постоянное недоедание, сопровождавшееся физическою слабостью. Однажды весной 1919 года со мной сделалось вне дома нечто вроде обморока, а когда мы приехали в деревню, нас, как говорится, там не узнавали. До такой степени мы действительно похудели. Я, например, потерял до трети своего веса, и даже после четырнадцати месяцев пребывания в деревне, где пищи было больше, я не вернулся к своему прежнему весу. Замечательная, впрочем, вещь. С этим невольным голоданием у меня и вообще у всех, с кем приходилось об этом говорить, прекратились всякие гастрические расстройства, заставлявшие прибегать по временам к разным горьким каплям, рижскому бальзаму и т. п. Даже печень моя, заставлявшая меня ездить в Карлсбад, перестала шалить. Не знаю, как с другими, но со мной это постоянное недоедание сыграло и еще одну шутку. То, чего не было наяву, особенно часто начало являться мне в сновидениях: рестораны, в которых приходилось столоваться в заграничных поездках, любимые кушанья, вкусные вина, но все это во сне видели только глаза, а губами остава-

лось лишь облизываться да тянуться к краям призрачных стаканов с призрачными напитками.

Плохо было и с платьем, и с бельем, и особенно с обувью. Старое изнашивалось, а нового было купить или не на что, или негде. Ах, как мы тогда все обносились! Я не стеснялся ходить в брюках, на коленях которых заботливой рукой жены были положены квадратные заплаты, правда, из той же материи, вырезанной откуда-то из-под верхних пуговиц, а у академика Н. А. Котляревского[15] я видел на пальто серого цвета квадратные черные заплаты с проделанными на них новыми петлями, показывавшие, что прежняя ткань под ними разлезлась, да под пуговицами на другом борту были такие же заплатки. При первой встрече с ним я только указал на них пальцем и, подняв полу своего пальто, обнаружил нечто подобное на коленях своих брюк. Мне казалось иногда, что не сквозит ли через эти заплатанные прорехи тщеславие, в чем один давний философ упрекал своего ученика, ходившего в дырявом плаще. Крахмальные воротнички и манжеты отошли в область преданий, вспоминая которые, невольно задавал себе вопрос: неужели мы носили жесткие хомуты? А обувь! Не приходилось ли многим, как это делал я одно время, прикручивать к ботинку, «просившему каши», простой бечевкой развалившуюся резиновую галошу? A la guerre comme à la guerre.*

Франтовства в молодости я никогда не любил, а если чемнибудь иногда и щеголял, то скорее или эксцентричностью в молодости, или старомодностью в пожилом возрасте. Так, я никогда не носил перчаток и даже зимою ходил с голыми руками, пряча их от холода в карманы или засовывая из рукава в рукав. От недоедания и от постоянно пониженной температуры в комнате руки мои сделались очень зябки и в зиму с 1918 на 1919 год покрылись болячками (engelures), от которых пришлось лечиться ихтиолом. Особенно пострадала, к счастью, не правая, а левая рука. На ней ногти росли какими-то размягченными, пока уже летом опять не стали принимать обычный вид. При дороговизне на все получавшихся мною денег не хватило даже на самое-самое необходимое, и мы были вынуждены продавать разные вещи, вроде серебряных ложек, дорогой чайной посуды, занавесок, ковров, а осенью 1921 года наступил такой момент, что очередь дошла до моей библиотеки, часть которой я был вынужден продать, чтобы купить на зиму дров и обзавестись так называемой (почему-то) «буржуйкой», т. е. небольшой железной печкой с маленькой плиткой для несложного приготовления пищи. Нечего говорить, что за полцены я спустил фрак, которого, впрочем, не надевал с открытия I Государственной думы, порядочно из него «выросши». После голодовки он

---

* На войне — по-военному (франц. — *В. З.*).

опять был бы мне впору, но уже носить его было бы совсем не по сезону.

Жили мы, конечно, и без прислуги. Вот жена занята своим хозяйственным делом, чистит картофель, перемалывает овес, готовит кушанье, стирает белье, а я читаю ей вслух какую-нибудь книгу. Целые часы мы проводили вместе таким образом. Да и все вообще больше сидели по домам. Как-то и не тянуло в гости, тем более, что по временам не было совсем трамвайного сообщения, а извозчики, как и многое другое, отошли в область преданий. Сходишь на лекцию, да и вернешься домой усталый, голодный. Умирали у нас знакомые, и не всегда удавалось побывать на панихиде, тем более проводить покойника на кладбище или даже посетить осиротевшую семью. Не было ни сил, ни расположения.

Расстроилась и учебная жизнь. Аудитории не топились, посещались очень малым количеством слушателей. Не только тогда, но и позднее, когда дела заметно поправились и аудитории стали наполняться, все-таки и профессора, и студенты зимою сидели здесь в теплом верхнем платье, в шапках, в валенках или в другой теплой обуви. Не до учения было и молодежи, большая часть которой до четырех часов дня была где-либо на службе и на других заработках, вечерние же занятия не всегда были возможны, потому что очень часто не было никакого освещения.

В 1917—1919 годах я читал лекции в университете и на Высших Женских курсах, но последние во время моего более нежели годового отсутствия в Петербурге слились с университетом в одно высшее учебное заведение.

Несмотря на все эти неблагоприятные условия, я все-таки работал, конечно, не так, как желал бы и как мог бы это делать при более благоприятных обстоятельствах. Вся наша житейская обстановка сложилась так, что мы очутились отрезанными от научного движения на Западе. Я не говорю уже о недоступности заграничных поездок, но и получение из-за границы научных книг и журналов почти совершенно прекратилось. Отчасти и по отсутствию нового материала, отчасти и по другим причинам оставалось главным образом перетряхивать старый материал для новых книг и статей, имея в виду и заработок. Но тут встречались препятствия двоякого рода. Во-первых, трудно было (особенно в деревне) добывать писчую бумагу. Когда мой прежний запас истощился, я писал на том, что попадалось под руку: на обратной стороне старых рукописей, на чистых листках всякого рода сохранившихся писем, на каких-то разграфленных листах, вырванных из всевозможных конторских книг[16] и дарившихся мне добрыми знакомыми.

Во-вторых, было трудно с типографиями и издательствами. Вот пример: «Московское научное издательство» взялось напечатать второе издание моей «Истории Западной Европы в нача-

ле XX века», но без подстрочных примечаний, и печатание этой книги затянулось на два с половиною года.[17] Другое издательство заказало мне общий очерк истории Франции, получило рукопись в десять листов, но так ее и не напечатало. То же случилось и с рукописью книжки «Секуляризация духовной культуры в Западной Европе», взятой другим издательством («Огни»). Две большие рукописи были приняты издательской фирмой «За́друга», но тоже остались там лежать. Кое-что пропало в редакциях закрывшихся журналов. Это случилось именно с большой статьей «Французская революция в историческом романе»[18] и с другой, маленькой, под заглавием «Французская революция и мировая скорбь». Обе были приняты иллюстрированным журналом «Нива», но при закрытии этого журнала и переходе типографии в другие руки рукописи затерялись. Прекращение «Вестника Европы» не дало возможности появиться в этом журнале двум статьям, из которых одна уже была набрана и прокорректирована, а другую я года три считал пропавшей («Попытка дехристианизации Франции в эпоху революции»). Не была напечатана за прекращением «Ежемесячного журнала» вторая половина статьи о коммунистических стремлениях Французской революции.[19]

В 1918 году удалось все-таки выпустить две книги. Одной из них была «Великая Французская революция», написанная для большой публики и вышедшая в свет в приложении к иллюстрированному журналу «Нива», в котором напечатано было еще и несколько мелких статей о революции.[20] Книги и статьи были иллюстрированы, причем предполагалось книгу в дополненном еще виде и с лучшими в техническом отношении иллюстрациями выпустить как édition de luxe,* но это не осуществилось. Другой книгой были «Общие основы социологии».[21] В это время я перешел к новой орфографии, которую теоретически одобрял еще до того, как она сделалась обязательной. Выработана она была особою комиссией второго отделения Академии наук и принята для школ еще первым Временным правительством, благодаря настойчивости главным образом Герасимова, который и привез с собою в деревню летом 1917 года брошюру с новыми правилами. Шутники, думавшие, что придуманы они министром Мануйловым, называли новую орфографию «мануилицей» по аналогии с кириллицей, но судьба этой книжки была не та, какая выпала на долю «керенкам», т. е. бумажным деньгам, выпущенным при Керенском.

Самыми тяжелыми временами в типографском и издательском деле были 1919—1921 годы, в течение которых мне почти ничего не удалось напечатать.[22] В 1922 году началось улучшение, и я получил возможность довольно много напечатать, хотя и не все, что мне особенно хотелось видеть выпущенным

* Роскошное издание (франц. — *В. З.*).

в свет. Считаю нужным прибавить, что большей частью это не были совсем новые работы с материалом, который ранее не был мною использован, хотя кое-какие исключения были (книжки о Вильяме Годвине, родоначальнике теоретического анархизма, о Томасе Карлейле, о новых государственных границах после мировой войны и др.).[23]

Итак, работа у меня все-таки шла, хотя и не та, о продолжении которой я думал после архивных занятий в Париже в последние годы перед войной. Скажу даже, что в работе я находил моральную поддержку в эти трудные годы и что потому очень скучал по работе, когда пришлось прожить более года в деревне без книг, без света по вечерам, по временам без бумаги. Находил я нравственное удовлетворение и в специальных занятиях со студентами. Еще до войны, как я уже об этом сказал, в университете стал у меня формироваться кружок, ревностно занявшийся изучением экономической истории Франции по наказам 1789 года и по другим источникам. Небольшая группа студентов, к которой постепенно присоединились и курсистки, стала заниматься настолько успешно, что некоторые вышедшие из этого семинария работы были напечатаны. Занятия были перенесены для этой группы ко мне на дом и продолжались в первые два года после революции, пока я на долгое время не застрял в деревне, но в 1920 году, как мы увидим, возобновились.

В указанных два академических года (1917—1919) я, конечно, не мог не принять посильного участия в попытке обновления университетской жизни. Положение высшей школы было одним из очень больных мест старого порядка. Блеснувший было в 1905 году луч надежды очень скоро погас, и такие министры народного просвещения, как Кассо и Шварц, вернулись к худшим традициям реакционной политики в школьном деле. Революция 1917 года открывала перед университетом новые перспективы и ставила перед ним новые задачи. Ради этого и возобновился Академический союз, но работа шла главным образом в факультетских и советских заседаниях и в специальных преподавательских комиссиях. Теперь в этом деле приняло участие и студенчество, из среды которого выходили очень радикальные предложения, поддерживавшиеся его представителями очень настойчиво. Одно из них, например, клонилось прямо к уничтожению факультетских перегородок, как «средневекового пережитка». «Пусть, — говорили новаторы, — читаются курсы по разным предметам, а студенты комбинируют слушание их и сдачу по ним зачетов, буде пожелают, как кому угодно, хотя бы то было соединение астрономии, нумизматики, торгового права и ботаники».

Для рассмотрения студенческих предложений Совет университета выбрал несколько профессоров в смешанную комиссию, в которой приняли участие и студенческие представители. Пред-

седателем этой комиссии Совет назначил меня. Это было уже весной 1919 года. Мы собирались очень часто, по два раза в день, заседали подолгу, много спорили и даже немного ссорились, но в конце концов нечто выработали. Жизнь, однако, шла столь быстро и изменчиво, что продолжения это дело в принятом им направлении не имело. Состоялось у нас еще одно заседание в здании бывшего сената, куда мы были приглашены для обсуждения дела совместно с представителями Комиссариата народного просвещения, который потом и взял дело реформы целиком на себя, и притом в направлении, диаметрально противоположном студенческим аспирациям. Участие мое в указанном совещании было единственным случаем, кода мне пришлось войти в контакт с представителями Наркомпроса. Когда после годичного отсутствия я вернулся в Петербург, дело реформы высшей школы шло иным путем. По моем возвращении образовавшиеся было три университета, в число которых попали Психоневрологический институт (второй университет) и Высшие Женские курсы (третий университет), слились в одно высшее учебное заведение, сохранившее имя Петроградского, позднее Ленинградского университета.

На летние месяцы этого (1919) года мы поехали в Аносово после двух летних вакаций, проведенных в бывшей усадьбе Герасимовых. Я уже сказал, какие причины заставили нас проживать в Зайцеве (в лето 1918 года уже без бывших владельцев). Большую приманку жить в Зайцеве для меня представляло и то, что там была большая библиотека, — обстоятельство тем более важное, что по тогдашним условиям транспорта не приходилось брать с собою много книг. Имение было теперь «совхозом», а мы жили в доме с разрешения совдепа или его «исполкома». Сначала в нашем распоряжении был весь довольно поместительный дом, но вскоре из него было выделено три-четыре комнаты под какое-то учреждение вроде военного комиссариата.

Уживались мы в одном доме совершенно мирно, тем более, что и входы у нас были разные: у нас со стороны сада, у них — со двора. Без всяких трений была увезена из зайцевского дома и часть мебели в соседнюю деревню (Паршино). Все вещи в доме еще раньше были сданы нашей дочери по описи, и увоз части мебели был произведен под расписку. Забрали и чернильницы. Какой-то юный писарек, вошедши в мою комнату и увидев на столе чернильницу, которою я пользовался, хотел взять и ее. Когда я ему сказал, что она мне нужна, он буквально сказал следующее: «Ну, зачем она вам? Вы все равно ничего не пишете, а мы пишем». Я попросил позвать начальника экспедиции, который и оставил за мною чернильницу. Так мы прожили до середины сентября по старому стилю, собираясь возвращаться в Петербург, когда произошло нечто неожиданное. Семья (жена и дочь со своим мужем и детьми) сидели за чай-

ным столом, а я работал в соседней комнате, когда вдруг услышал, что в столовую вошло несколько человек и началось чтение какой-то бумаги. Это был приказ из уездного города арестовать «всех бывших помещиков, их управляющих или доверенных лиц и прочих паразитов», как значилось в бумаге, и отправить их немедленно в такое-то село, позволив каждому взять с собою только по одному пуду клади. Я возразил, указав, что мы здесь в Зайцеве не подходим ни под одну из этих категорий, в том числе и под последнюю, поскольку я и зять состоим на государственной службе и находимся только в отпуску. Мои аргументы подействовали, но когда я хотел изложить их письменно, мне это не было разрешено. Председатель совдепа сказал, что мы остаемся под домашним арестом, пока нарочный, которого пошлют в город Белый, не вернется и не привезет дозволения нас отпустить. Отпустили нас только на пятый день, до того же времени мы не могли выходить за ограду. К нам даже был приставлен страж с каким-то ружьишком и с саблей.

После ухода всей компании, состоявшей из человек 12—15, я сел один пить чай, и около меня очутился упомянутый страж. «Что вы тут стоите?» — спросил я его. «Вас караулить поставлен», — последовал ответ. «Что же вы все что ли время будете так стоять?» И я посоветовал ему попросить у моей дочери для себя комнату. «А как вы убежите?» — возразил страж. «Ну, куда я убегу, — успокоил я его, — когда мы тут больше старые да малые, — и в доказательство того, что не убегу, прибавил: „Вот вам крест"», — осенив себя широким крестным знамением. Страж ушел, ему отвели комнату с постелью, и сам он, оставив в этой комнате свое оружие, побежал в соседнее имение, откуда только что успел убежать помещик со своей женой и где приходившая с бумагой компания устроила пир. Только на ночь вернулся наш страж, да и в следующие дни где-то пропадал. Мы отнеслись к этой маленькой передряге больше комически, чем трагически, и я даже говорил своим, что непременно напишу маленькую «трилогию» под заглавием «Три плена», в которой постараюсь юмористически рассказать поддающиеся такой трактовке стороны «сидения» моего в Петропавловской крепости в 1905 году, в немецком плену в 1914 году и в Зайцеве в 1918 году. Разумеется, потом об этом обещании я забыл. Вспомни я тогда более далекое прошлое, к этим трем «сидениям» я мог бы прибавить четвертое — в гимназическом карцере, о чем я рассказал в одной из первых глав этих воспоминаний. Общим во всех этих случаях было переживание птицы, взятой с воли и посаженной в клетку. Но не была ли и Россия дотоле громадной клеткой?

Когда нас через четыре дня объявили свободными, дочери было предложено остаться по-прежнему охранять дом и вещи, но мы решили, что теперь она переедет в Аносово. Произошла официальная сдача по описи всего находившегося в доме. Я про-

сил только позволения взять портреты (небольшие) моих дедушки и бабушки, альбомы с фотографическими карточками родных и знакомых Герасимовых и их небольшой архив. Это было разрешено, но уже после нашего отъезда в Петербург приехали в Аносово люди, после обыска отобравшие у дочери все названные предметы. То, что я назвал архивом, состояло из нескольких фамильных документов, писем и деловых бумаг по служебной деятельности Герасимова, и что со всем этим сталось, я не знаю, как не знаю и судьбы библиотеки. Во всяком случае, я позаботился о том, чтобы она не была расхищена. Общими силами мы рассортировали книги, какие могли бы быть оставлены в Зайцеве, чтобы превратиться в народную библиотеку, а какие следовало отправить в город потому, что среди книг были и на иностранных языках, и слишком специальные (по философии, по психологии, по педагогике и т. д.). После этого я в Зайцеве больше не был.

Только раз или два побывал я и в тех Муравишниках, где провел в доме деда раннее детство, когда отец был на войне в Севастополе. Еще до Февральской революции тамошний дом сгорел со всем содержимым по неосторожности сторожа. Бывший муравишниковский владелец, М. В. Герасимов, мой двоюродный брат от другого, не О. П., дяди, был в городе Сычевка городским головой и погиб во время, как ее звали на месте, «Еремеевской» ночи по личной, думаю, мести, оставив вдову и четырех маленьких детей. Как и Зайцево, Муравишники превратились в совхоз.

Наше Аносово с его более, нежели скромным хозяйством, уцелело в руках племянницы, так что в 1919 году мы могли туда поехать на лето, как ездили потом вплоть до 1924 года. В 1919 году мы поехали в Аносово налегке месяца на полтора и застряли там на целый год и два месяца без осенней и зимней одежды, без достаточного количества платья и белья, совсем, одним словом, налегке. Сначала я получил из Петербурга известие, что учебные занятия не налаживаются и что условия жизни только ухудшились. Потом, когда мы уже тем не менее подумывали о переезде, прямое сообщение с Петербургом на некоторое время прекратилось по случаю перевозки войск из-за наступления Юденича. Затем оказалось нестоящим делом ехать ввиду приближающихся зимних вакаций, а в январе 1920 года меня уложила в постель бывшая тогда эпидемической «испанка». В постели я провалялся около трех недель и приблизительно столько же чувствовал себя слабым, после чего подошла весенняя ростепель с разливом речек и ручьев, подошла Пасха, и декан факультета продолжал мне писать, что занятий никаких нет. Так мы и остались жить в Аносове.

На зиму пришлось из небольшого летнего помещения переселиться в зимний дом, который не был, однако, достаточно теплым. И мне, и жене зимою пришлось наряжаться для вы-

хода на воздух в чужое платье. Например, мне одна соседка-хуторянка дала на время полушубок и валенки своего, незадолго до того умершего мужа, и то и другое было мне тесновато, и я имел довольно комичный вид, когда ходил с сохранившимся у меня от одного из швейцарских путешествий альпенштоком. Брат снял меня в таком виде на фотографической карточке.

В двух только клетушках рядом с чердаком, в которых помещались жена и я, было тепло от проходивших через них печных труб, но внизу было холодно. Сидели больше в маленькой столовой, где был камин, но беда была в сырых дровах. Керосин доставать было очень трудно, и мы освещались не лампой, а ночником-коптилочкой, в котором жгли разбавленный керосином олеонафт (смазочное масло), да и этот светильник зажигали часа на три в сутки (от шести до девяти часов вечера). Питание было лучше городского очень немногим, но во всяком случае порции хлеба, картофеля, капусты были большими, да и молоко было.

Умственная пища добывалась из библиотеки народного дома в селе Воскресенском (в четырех верстах), где дочь служила библиотекаршей. В эту библиотеку привозилось очень много новых книг, которые для зарегистрирования доставлялись в Аносово, потому что заниматься этим делом в нетопленном народном доме было невозможно. Часть записей в инвентарь и в библиотечных карточках была сделана мною — все-таки занятие от скуки, чередовавшееся с раскладыванием пасьянсов. Отчасти для развлечения, отчасти для добывания хлеба в буквальном смысле я ездил по соседним селениям и в крестьянских избах просвещал людей относительно устройства Вселенной и солнечной системы, возил с собою глобус и кое-какие картинки. Брат мой имел небольшую коллекцию книг по астрономии, которые я прочитывал не без удовольствия, в виде же гонорара получал рожь, крупу, льняное масло. Кроме того, в народном доме, где дочь без всякой мзды устраивала любительские спектакли, я тоже часто читал лекции на темы, иногда подсказывавшиеся мне слушателями. Там меня попросили прочесть о Марксе, «имя которого так часто слышишь». Лекция о Герцене мне тоже почти была подсказана. Декабристов я выбрал в связи с инсценировкой некрасовских «Русских женщин»[24] и чтением из «Декабристов» Мережковского.[25]

По поводу последней темы вспоминается курьез. Один из очень немудрящих крестьян, узнав о том, что я буду говорить о декабристах, спросил меня, что это такое. Я вкратце удовлетворил его любопытство, но получил совершенно неожиданный отзыв о событии со стороны своего собеседника. «Вот и видно, — сказал он о Николае I, — что это был умный человек, — справился, не то что этот дурак, Николай II». Это, оказалось, был человек, думавший, что все невзгоды экономического характера пошли оттого, что «дурак» Николай не расправился с бунтом,

как Николай I. Я спросил его, пойдет ли он меня послушать, но он сказал: «Что же еще слушать, как я все от вас и без того узнал». (К числу таких курьезов отнесу еще один. Один хуторянин, бравший у меня мою «Великую Французскую революцию», услышав, что я бывал в Париже, вообразил, что я видел все рассказываемое в книге собственными глазами. Книгу он прочитал, не обращая внимания на хронологию.) В селе Волочке, куда меня пригласили прочесть лекцию, темой был ответ на вопрос о причинах культурной отсталости русского народа.

Чтобы уже сразу покончить со своими популярными лекциями, скажу, что в эти годы я читал их и в своем уездном городе Сычевке при проезде через него в Петербург в обмен за бесплатную доставку нас на лошади в Аносово местным кооперативом, с которым я вошел в такую сделку. Кроме того, летом 1920 года, по приглашению из Сычевки, я прочитал там лекции по истории русско-польских отношений (по поводу происходившей тогда войны с Польшей), о причинах культурной отсталости России, о жизни и деятельности Маркса. Вторая из этих лекций дала повод кому-то из публики послать мне на кафедру записочку, упрекавшую меня в том, что я скрыл заговор, в каком вся интеллигенция была с царизмом против народа. Это заставило меня тут же экспромтом прочитать целую лекцию о Новикове и Радищеве, о декабристах, о Герцене, о Чернышевском, о революционерах из дворян, поповичей и всех вообще сословий, принадлежавших к интеллигенции. Занимался я также обучением своего старшего внука, которому в сентябре 1919 года пошел седьмой год, и изредка ходил в построенную мною в Аносове школу, где читал ребятам что-нибудь подходящее для возраста.

Но что с особым удовольствием вспоминается мною из того времени, это поразительная весна 1920 года. В своей сознательной жизни я помню, кроме этой, только одну весну, проведенную в деревне, именно в Аносове же в 1864 году, т. е. за 56 лет перед тем. Весна 1920 года действительно была на редкость ранняя, ясная, теплая. Особенно показалась она мне живительной после перенесенной «испанки». Выходить из дома я не мог, пока таял снег и дороги были грязны, потому что у меня не было подходящей обуви, но все-таки мне представлялась возможность проводить целые часы на воздухе, на плоской крыше над сенями, представлявшей собою небольшую площадку с парапетом. Голубое небо, яркое солнце, теплый, ласкающий ветерок, налившиеся почки совсем близко стоящего тополя. Берешь с собою на эту площадку книгу, но глаза то и дело отрываются от нее, и взор устремляется в видневшуюся с южной стороны даль, с полями, еще кое-где под снегом, с побуревшими лесами, с белой церковкой села Караваево, выглядывавшей из-за перелеска. А когда дороги просохли, какую красоту представляла пересыхающая летом речка Стрельня, оба берега ко-

торой у самой воды были окаймлены пышными, ярко-желтыми цветами с названием «калужница», тогда только мне сделавшимися известными. Весна 1920 года вполне вознаградила меня за все лишения осени и зимы.

Я думаю, что чувство природы, вкус к ее красоте развиваются с годами в таком же смысле, как вкус к произведениям искусства. И в любовании природою человек, так сказать, делается знатоком, более тонким ценителем, более сознательно отдавая себе отчет в наслаждении. И вспоминались мне другие, еще столь недавние вёсны на итальянских озерах, на французской Ривьере, на южном берегу Крыма, куда уже, видимо, никогда-никогда не предстояло опять попасть, к этим горам, на которых лежит снег, имеющий стаять летом, к этим озерам и морям с их синевой, с их берегами, на которых такая масса цветов, к этому южному высокому небу, к этому мягкому, ласкающему воздуху. Небо-то, по крайней мере, и воздух, и это яркое, веселое солнце были и здесь, а калужницы чаровали не меньше пышных цветов юга, всяких этаких глициний и т. д. Если бы, думалось, хотя бы сюда, по крайней мере, можно было попадать каждую весну. Так подействовала на меня живительная весна 1920 года, усилив своим теплом и блеском приятное самочувствие человека, долго провалявшегося на постели и не выходившего на волю из тесных комнат деревенского дома. И во сне посещали меня видения не одних заграничных ресторанов с вкусными яствами и напитками, но и гор, и озер, и моря, встречи с которыми так радовали меня в свое время в странствиях по белу свету. Замечательно, что раньше никогда мне это не снилось. Видно, сны дополняют то, чего не хватает наяву: недаром же с детства до сих пор я вижу себя нередко во сне летающим по воздуху при самых незначительных движениях обеих рук.

Да, вот как прошел целый год в необычной для меня обстановке, вдали от привычного мне общества. Конечно, это не было абсолютным одиночеством. Дома в те часы, когда светила наша коптилочка, мы проводили время все вместе, причем я, отличаясь очень сильным зрением, читал что-нибудь вслух. Довольно часто нас навещал один бывший помещик, мастер на все руки и большой остряк, В. И. Трояновский, имевший в своем доме, в 7—8-ми верстах от нас, мастерскую со всякими кузнечными, слесарными, токарными, плотничьми, столярными, шорными и не знаю еще какими инструментами. Эту его мастерскую очень удачно нарисовал мой зять, художник Г. С. Верейский, а рисунок купили у него для Русского музея на Михайловской площади в Петербурге. Зимою 1920 года Трояновский застрелился, когда, как оказалось напрасно, встревожился за судьбу своей мастерской. Бывали у нас гости и из Воскресенского. Посещал и я некоторых знакомых крестьян в окрестных деревнях. Отношения с ними все время были хорошие. С добрым чувством

вспоминаю, что крестьяне из соседней деревни Игнатихи, когда-то арендовавшие у моей матери землю на очень сходных для них условиях, узнав, что у нас нет для детей молока, постановили им нас снабжать некоторое время без всякой платы. Многих в этой деревне я знал еще малышами и подростками, да и не переставал некоторых из них называть уменьшительными именами.

Из Аносова мы возвращались в Петербург через Москву, в которой я был перед этим два раза в 1917 году. Это было время, когда для проезда по железным дорогам нужно было иметь всякие командировки, разрешения, пропуски, нелегко иногда добывавшиеся. Какие были железнодорожные условия, можно видеть из того, что от Вязьмы до Москвы 230 верст мы ехали более двенадцати часов, в товарном вагоне, ночью не освещавшемся и до такой степени набитом людьми, что сидевшие прямо на своих мешках и узлах пассажиры должны были просить своих соседей как-нибудь привстать, чтобы самим переменить положение той или другой отсиженной ноги. Не знаю, сам ли я обронил, пролезая под вагоном ночью, наши паспорта и всякие удостоверения на проезд, или у меня их вытащили из кармана, но приехали мы в Москву без документов, что заставило пробыть в ней, вместо двух дней, как предполагалось, около недели, пока не удалось выхлопотать себе необходимые бумаги. Во время этого пребывания в Москве встретивший меня на улице бывший ученик мой Г. К. Вебер, только что приехавший с Кавказа, был немало поражен моим появлением перед ним. На Кавказе меня похоронили, и сам Вебер прочитал бы обо мне поминальную речь в каком-то заседании, если бы дела не заставили его неожиданно поехать в Москву. Прибавлю, что меня похоронили также в Эстонии. Одна из тамошних газет даже рассказала, что я отморозил одну ногу, стоя в очереди, что в ноге этой сделался «антонов огонь» и что после ампутации ноги я отправился ad patres.* (В одном польском научном журнале тоже был напечатан на меня некролог.[26])

В Петербурге мы поселились не на своей квартире, где жили Добужинские, а в профессорском общежитии на Тучковой набережной Васильевского острова, в квартире, где уже жил с семьей И. М. Гревс, и жили еще мать и дочь-астрономичка Штауде. Я уже говорил, как нас соблазнила перспектива жить в двух комнатах, которые оказались, однако, над обширным подвалом, заливавшимся водой, а потому холодными и сырыми. Мы прожили там до поездки в Аносово в 1921 году, откуда вернулись уже прямо на старую свою квартиру. К осени 1920 года материальное положение профессоров улучшилось, благодаря учреждению «Кубу», как сокращенно стали называть Комиссию улучшения быта ученых, начавшую выдавать так называемые

* К отцам, к праотцам; употребляется в значении: умереть, скончаться (лат. — *В. З.*).

академические пайки, хотя все-таки и кроме того надо было кое-что прирабатывать. На литературный труд рассчитывать тогда было нельзя, вследствие чего я стал читать лекции по истории в так тогда называвшемся «университете имени тов. Толмачева» (в бывшем здании военного министерства у Исаакиевского собора) и на кооперативных курсах на Фонтанке;* выступал с несколькими публичными лекциями в Доме литераторов (на Бассейной) и в «Доме искусств» (на Морской). От чтения лекций в первом из названных учреждений я отказался, когда по тамошним правилам обнаружилась необходимость не прерывать лекции и летом, а от кооперативных курсов потому, что при отсутствии трамвая я был не в состоянии ходить туда пешком, обещание же высылать за мною лошадь не исполнялось. Что касается названных двух «домов», то их существование одного за другим скоро прекратилось.

В то время, как я зарабатывал кое-что за лекции, жена моя зарабатывала шитьем, только стесняясь назначать плату в размере, какой был в ходу. Такой заработок у нее начался еще в деревне, где, кроме шитья за плату, она за рожь давала уроки фортепьянной игры. С течением времени материальные условия стали улучшаться: университет стал платить и больше, и аккуратнее; и в «Кубу» к пайку натурою присоединилось «денежное обеспечение». Из-за границы через «Американскую ассоциацию помощи» (сокращенно «Ара») стали приходить от добрых друзей посылки с мукой, сахаром, чаем и т. п., а с ними и некоторые другие посылки (от чешских и польских ученых, нансеновские и др.); наконец, возобновилась деятельность издательств. С 1922 года я стал опять печатать свои книжки, хотя, нужно прибавить, гонорар за них (полистный) сравнительно с прежним, считая на золото, значительно понизился (например, 15 рублей за печатный лист).

Одною из приятных вещей, встретивших меня по приезде в Питер в 1920 году, было решение прежних участников моего повышенного семинария возобновить под моим руководством прежние занятия, но уже на новую тему, которой я дал название «Французская рационалистическая и революционная идеология XVIII века». В 1920/21 году занятия проходили в университете, в следующие годы — на моей квартире, причем они были легализированы учрежденным при университете Историческим исследовательским институтом,[27] сотрудниками которого сделалось большинство участников семинария. Некоторые из более деятельных членов кружка были моими давнишними учениками: Е. Н. Петров, занявший кафедру в Саратове, но вернувшийся в Петербург и проживший учебный сезон 1921/22 года в нашей квартире, В. В. Бирюкович, давно выдержавший магистерский экзамен и начавший преподавать в высшей школе,

* Не смешивать с Кооперативным институтом, где я читал лекции по одному полугодию в 1918 и 1922 гг. (прим. Н. И. Кареева.— *В. З.*).

и И. Л. Попов. К ним постепенно стали присоединяться новые лица, между прочим, несколько бывших слушательниц Высших Женских курсов, занимавшихся большей частью прежде у других профессоров (Э. Д. Гримма, И. В. Лучицкого и Е. В. Тарле). Таковы были М. А. Буковецкая, С. М. Данини, А. А. Леман, М. Либталь. Общение с этой молодежью доставляло мне истинное удовлетворение. Особенно было приятно, что, несмотря на многие невзгоды, члены кружка работали, поддерживая товарищеское единение в исследовательской работе. Большое нравственное удовлетворение доставило и устроенное в самом кружке празднование моего пятидесятилетнего юбилея (13 июня 1923 года), который некоторые из них ознаменовали участием своим работами в юбилейном сборнике под заглавием «Из далекого и близкого прошлого».[28]

Сравнивая между собою 1920/21, 1921/22 и 1922/23 академические годы по отношению к слушанию студентами лекций и участию в практических занятиях, не могу не отметить происшедшего в последнем значительного улучшения. Кроме университета, в два последние из указанных годов я преподавал в незадолго перед тем возникшем Географическом институте, где на этнографическом факультете начал прежде всего читать курс по исторической этнографии, а с 1922 года — и курс под названием «Общий ход мировой культуры». В осеннем семестре 1922 года я прочитал еще небольшой курс по методологии общественных наук, отличный от теории исторического знания, лекции по которой читал на Высших Женских курсах и в университете (после смерти А. С. Лаппо-Данилевского), хотя продолжать чтение этого курса потом мне и не пришлось. В связи с чтением этих курсов и по образцу «Общих основ социологии» я написал еще пока не напечатанную «Общую методологию общественных наук».[29]

Упомяну для полноты о возобновлении заседаний Социологического общества имени М. М. Ковалевского, в котором после смерти Лаппо-Данилевского председателем выбрали меня. В 1919 году, когда в университете зашла речь о курсе социологии, кандидатом на него намечался я, но после слияния с университетом Психоневрологического института, где этот предмет преподавали П. А. Сорокин[30] и К. М. Тахтарев,[31] весьма естественно было передать им этот предмет и в университете. Оба они были наиболее деятельными работниками Социологического общества. С его упразднением и с учреждением особой секции для социологии в Историческом исследовательском институте в нее К. М. Тахтеревым была перенесена социологическая работа. Мне было довольно и одного Исторического института с его двумя в месяц общими и секционными (по новой истории) собраниями при председательствовании в последних. В этих собраниях как бы воскресло прежнее Историческое общество, никогда, однако, так интенсивно не работавшее, как Исследовательский инсти-

тут. (В одном из собраний я прочитал реферат «Жорес как историк французской революции», очень сокращенное изложение одной главы из моей книги «Историки французской революции»). Это общее оживление научной работы, несмотря на все разные невзгоды, ее постигшие, поддерживало во мне бодрость духа.

Летом 1921 года я и жена уехали в Аносово, возвращаясь откуда, были искусаны на железной дороге вшами, что вызвало у обоих на груди экзему, не сразу поддавшуюся лечению, но в 1922 году возвращение было вполне благополучным с дочерью и двумя ее сыновьями, прожившими в деревне целых пять лет. Таким образом, семья восстановилась. С осени 1922 года на старой квартире, стены которой видели еще мою покойную мать, мы поселились вместе с сыном, дочерью, зятем и внуками. Целый период моей биографии отошел в прошлое. В конце этого периода было три юбилея: 24 ноября ст. стиля (7 декабря по новому стилю) 1920 года мне исполнилось семьдесят лет, менее чем через год — 1 (13) ноября 1921 года — сорокалетие нашей свадьбы, а в июне 1923 года — пятьдесят лет со времени окончания университетского курса. Семейный юбилей был отпразднован домашним образом, но семидесятая годовщина дня моего рождения и пятидесятилетие с начала самостоятельной общественной деятельности вызвали и празднование их со стороны друзей, товарищей, учеников и читателей моих книг. На самом большом праздновании в университете 14 июня, между прочим, было высказано два пожелания: одно — чтобы я написал свои мемуары, другое — чтобы продолжил свою «Историю Западной Европы» после 1914 года. Молчу пока о втором, по поводу первого могу ответить, что большая часть их была написана в 1921 году, и вот у меня сначала возникла мысль, потом образовалось намерение и, наконец, созрело решение дописать свои воспоминания, оборванные на 1917 году, выдерживая тот же общий тон, в котором написаны все предыдущие главы «Прожитого и пережитого», прожитого на самом деле, пережитого в воспоминаниях во время процесса писания.

Отвечая на многочисленные приветственные речи, выслушанные мною на юбилейном вечере в университете, я главной темой своей речи[32] сделал изложение того, как я понимаю свое место в общей жизни, свою работу в ее развитии, свою faculté-maîtresse.* Я думаю, что этим свойством является стремление передавать другим то, что я сам знаю. Такое стремление проявилось у меня в раннем еще детстве, что подало повод моей бабушке, матери моего отца, прозвать меня «наш профессор», когда я еще даже не понимал значения этого слова и сердился на одну из теток, любившую меня подразнить такой кличкой. В гимназии, в университете я охотно делился своими знаниями с товарища-

* Основная отличительная черта (франц. — *В. З.*).

ми, помогая им в делании задач или переводов и т. п., не говоря уже о давании уроков гимназистом и студентом. Давание уроков и чтение лекций никогда мне не надоедало. Кроме той работы, которую я исполнял по должности, я учил и иными способами, например, обучая внука,[33] давая уроки деревенским ребятам в зайцевской школе, читал стихи и сказки в аносовской школе, читал публичные лекции не только в столицах, но и в губернских и уездных городах, в селах, в деревнях. Эта faculté-maîtresse проявилась и в литературной моей деятельности, в которой количественно большая часть рассчитана была скорее на широкие круги читателей, нежели на тесные круги специалистов, что сказывалось часто и на выборе мною тем для исследования. Некоторые мои книги и прямо имеют учебный характер или возникли из читавшихся мною курсов. То же скажу и о своих политических выступлениях на митингах. Целью их была не пропаганда, не агитация, а информация, осведомление, разъяснение основных политических понятий. Я знаю твердо вот то-то и то-то, и пусть другие знают то же самое, потому что в самом знании заключается нечто важное, дорогое, интересное, самодовлеющее. Эту же мысль я проводил и в своих книжках о самообразовании, о выработке миросозерцания, об основах нравственности, о сущности общественной деятельности — в книжках, в свое время читавшихся множеством молодежи. Это вот и есть моя faculté-maîtresse, основной стержень моего *я*. Каждый находит наивысшее благо в удовлетворении той способности и потребности, которая в нем доминирует. Но, конечно, живую человеческую личность нельзя свести к абстрактной схеме или формуле. То, что я сейчас назвал основным стержнем, есть только обобщение преобладающих стремлений личности, кроме которых есть другие, находящиеся в разных отношениях к первым, в согласующихся с ними и усиливающих внутреннее единство личности, то, наоборот, им противоречащие и тем вносящие в жизнь человека элементы неустойчивости и шатаний.

Впрочем, менее всего я намеревался сделать из своей автобиографии исповедь, которая не в моем характере. Место для изложения своего отношения к вечным вопросам жизни и к злобам текущего дня не в автобиографии, особенно последнее может не соответствовать обстоятельствам времени. Свои философские, этические и политические принципы я достаточно ясно формулировал во многих своих писаниях, а как они развивались и сменялись одни другими — особая задача, более трудная и более тонкая, долженствующая быть выделенной из чисто внешнего очерка того, как складывалась жизнь со всей ее обстановкой.

На этом я и останавливаюсь, не зная, придется ли еще продолжить.

Саблино-Козловка.
Июль 1923 г.

Глава тринадцатая

ВСТАВНАЯ ГЛАВА О РЕВОЛЮЦИИ

Задача этой главы. — Мои историко-философские взгляды. — Историческая наука не предсказывает событий. — О некоторых газетных суждениях по поводу нашей революции. — Параллели между Французской революцией и нашей. — Переменила ли последняя мои взгляды на первую. — Пробуждение в части русского общества особого интереса к труду Тэна. — Замечания о двух сторонах жизни каждого человека.

Предыдущей главой я думал было закончить свои воспоминания, остановившись на моменте начала великого переворота в исторической жизни России. Но впоследствии мне захотелось продолжить свои переживания в памяти пережитого в прошлом, и послесловие, каким должна была быть по первоначальному замыслу эта глава, сделалась, так сказать, главою вставною.

В своих воспоминаниях я вовсе не думал написать «историю своего времени», я хотел только написать, как Короленко, «историю моего современника»,[1] без всякого только притязания на беллетристическую форму и на художественность содержания. Поэтому и тогда, когда я пришел к мысли написать сначала одну (а впоследствии — и другую) главу о дальнейшем течении моей жизни, я менее всего предполагал рассказывать события нашей революции или передавать те впечатления, какие получал от отдельных ее моментов, что нарушило бы общий характер моих воспоминаний. Да и что я мог бы сказать нового, что прежде оставалось бы неизвестным, о ходе событий, в которых я не играл никакой активной роли, оставаясь только их зрителем, да и то даже не в качестве очевидца, поскольку узнавал о совершавшемся от других и более всего из газет. Я не мог бы назвать себя и наблюдателем в том смысле, в каком можно это название применять к репортерам, корреспондентам, хроникерам, собирателям материала, которым мог бы потом воспользоваться для своего изображения хода событий. Вся предыдущая деятельность моя сделала из меня не практика текущей жизни с ее злобами дня, а человека книжного, чисто кабинетного ученого, взирающего на жизнь через призму научной теории, хороша ли или дурна эта теория. Это, конечно, мой недостаток, который в себе я могу только констатировать как факт, как бы я к нему ни относился, — со стыдом ли, с сожалением ли, или же с равнодушием.



Н. Кареев. 1869 г. Москва.
Публикуется впервые

Е. В. Белявский, гимназический учитель Н. Кареева.



Н. И. Кареев. 24 ноября 1871 г.
Публикуется впервые

С. М. Соловьев (с гравюры 1870-х годов).

В. И. Герье

А. И. Чупров



В. С. Соловьев



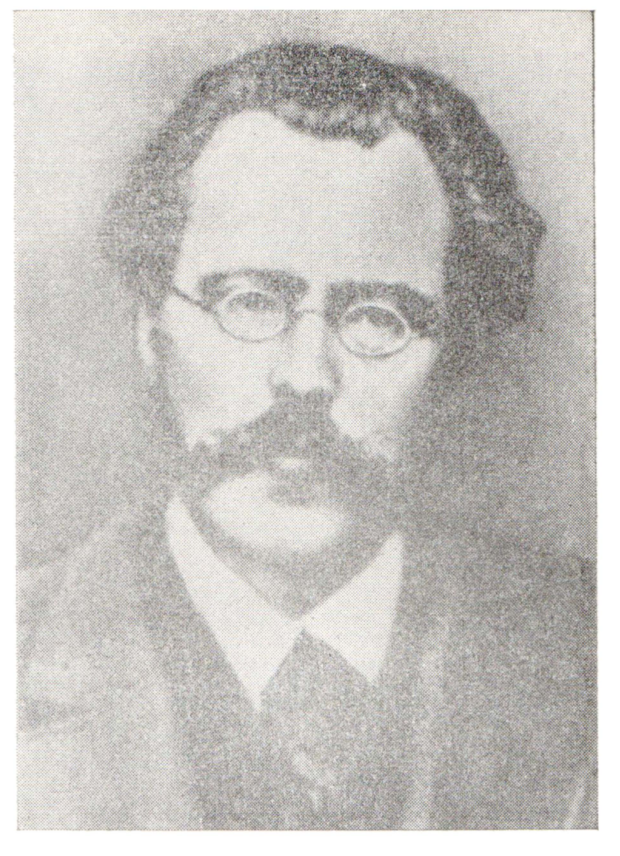
Н. И. Кареев. 4 октября 1874 г. Москва.
Публикуется впервые

Н. И. Кареев. 23 января 1878 г. Париж.
Публикуется впервые



П. Л. Лавров

М. С. Корелин



Г. А. Лопатин



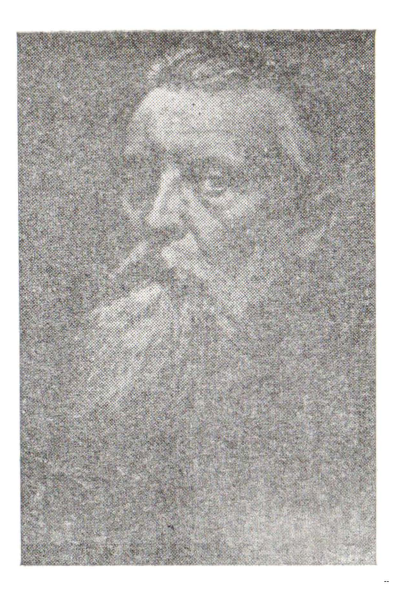
Н. И. Кареев. 17 января 1880 г.
Варшава. Публикуется впервые

Н. П. Корелина



И. В. Лучицкий

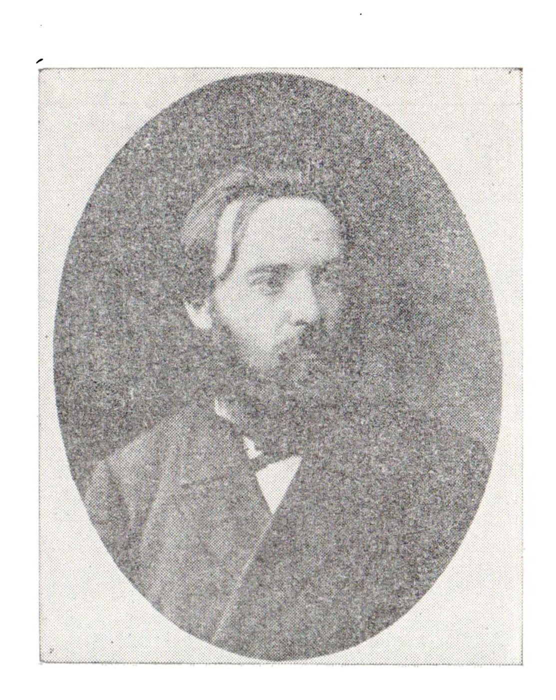
Е. Н. Водовозова



Александр Свентоховский



Н. И. Кареев. 17 января 1880 г. Варшава. Публикуется впервые



Н. И. Кареев. 1884 г. Публикуется впервые



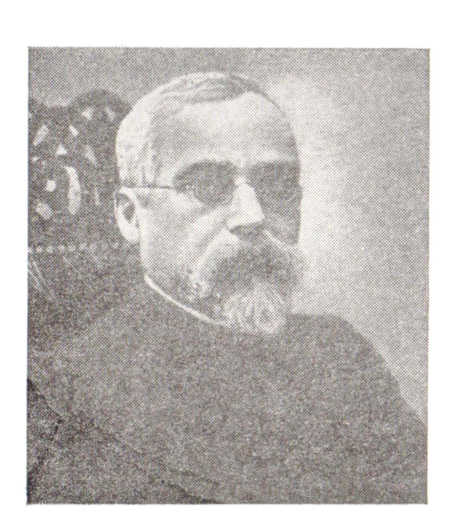
Кареев с родными и знакомыми на крыльце дома
в Аносове (1890-е годы).
Публикуется впервые.



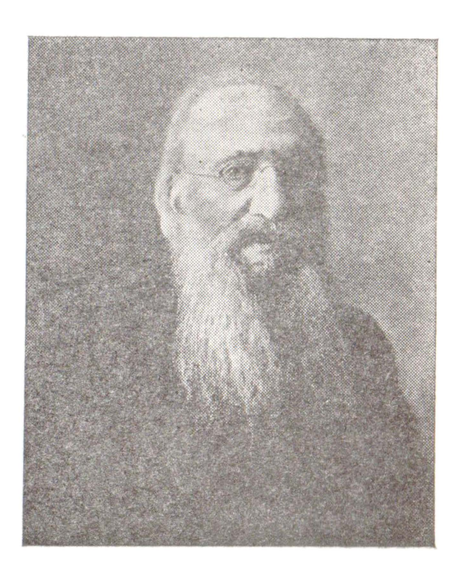
Групповой фотопортрет.
Слева направо (сидят): В. А. Мякотин, Н. И. Кареев, П. А. Конский;
стоит: М. Г. Васильевский (секретарь Н. И. Кареева).
Петербург. Апрель 1895 г. Публикуется впервые



Н. И. Кареев с сыном Константином во время путешествия по Германии в 1896 г. Публикуется впервые



С. А. Муровцев



В. И. Ламанский

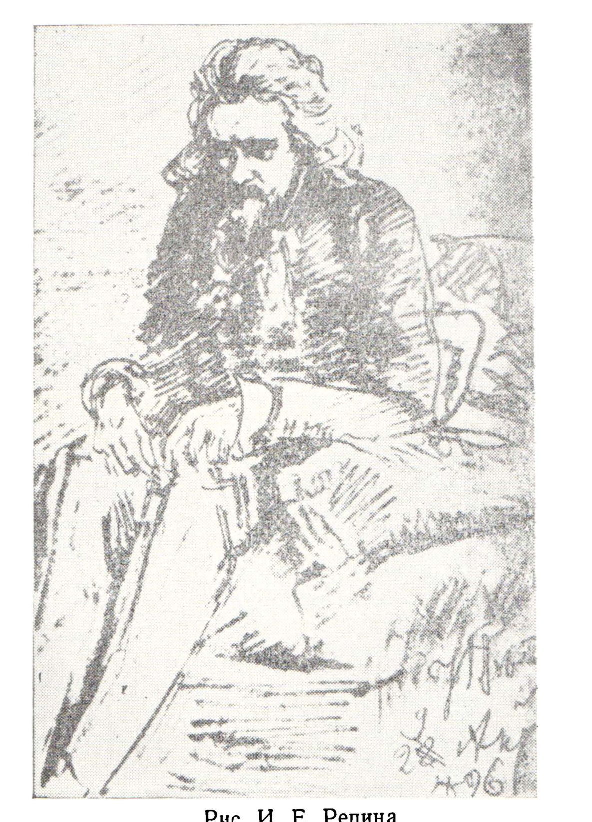


Рис. И. Е. Репина

Влад. С. Соловьев в минуту мрачного раздумья.

В. И. Семевский

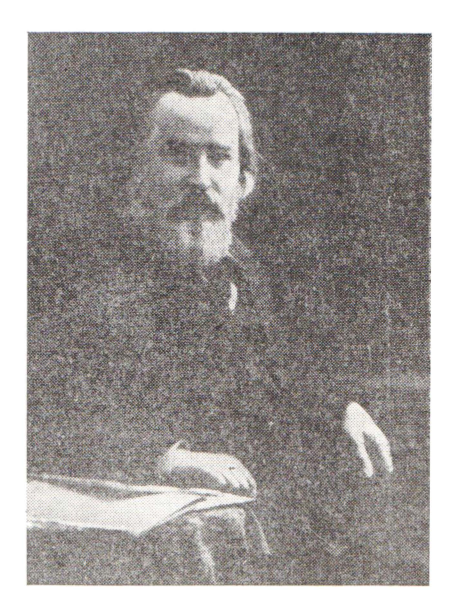


П. Н. Милюков

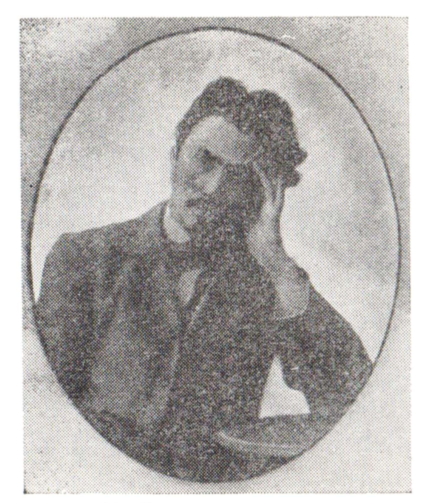
Н. И. Кареев с женой Софьей Андреевной в Карлсбаде. 1900 г. Публикуется впервые.



П. И. Вейнберг



Н. И. Кареев. Петербург. 1906 г.





М. Г. Васильевский



Е. В. Тарле



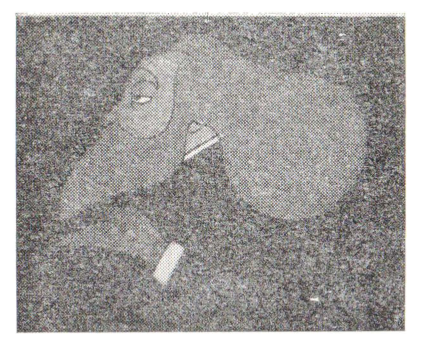
Н. И. Кареев в Петропавловской крепости (1905 г.). Картина Е. С. Зарудной-Кавос. Публикуется впервые.



Н. И. Кареев идет по Дворцовой площади от Зимнего дворца.
Фото К. К. Булла. 1906. Публикуется впервые.



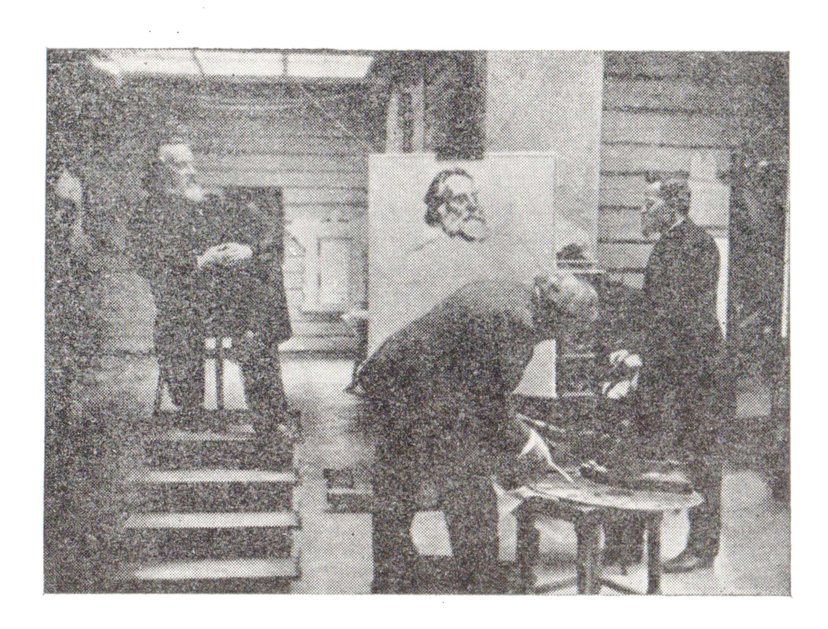
Члены Государственной думы от С.-Петербурга. Слева направо: **1-й ряд (сидят)**: М. И. Петрункевич, М. Л. Винавер, Н. И. Кареев, Е. И. Кедрин; **2-й ряд**: А. З. Петражицкий, В. Д. Набоков. Публикуется впервые.



Н. И. Кареев выступает в Государственной думе. Карикатура К. Каррика. 1906 г.



В. П. Бузескул



И. Е. Репин пишет портрет Н. И. Кареева. Слева направо: Н. И. Кареев, И. Е. Репин, Н. А. Морозов.

Р. Г. Виппер



А. С. Лаппо-Данилевский



Н. И. Кареев в своем рабочем кабинете. Петербург. 26 октября 1913 г. Фото Якоба Штейнберга. Публикуется впервые.

Н. И. Кареев в Аносове. Публикуется впервые.



80-летний юбилей со дня рождения Л. Н. Толстого в зале С.-Петербургского Тенишевского училища. Слева направо: 1-й ряд: В. В. Котляровская-Пушкарева, А. И. Куприн; в центре (рядом с портретом Л. Н. Толстого): Ф. Д. Батюшков и Н. И. Кареев.



Н. И. Кареев в своем рабочем кабинете. 1910 г. Публикуется впервые.



Комитет союза писателей. 1900 г. Справа налево: 1-й ряд (сидят): П. И. Вейнберг, М. А. Загуляев, Н. Ф. Анненский, Н. К. Михайловский, П. Н. Исаков, С. А. Венгеров, Л. Е. Оболенский, П. Д. Боборыкин; 2-й ряд (стоят): И. Н. Потапенко, Н. И. Кареев, Д. Н. Мамин.



Н. И. Кареев среди профессоров и преподавателей Московского университета, Москва. 1925 г. Публикуется впервые.



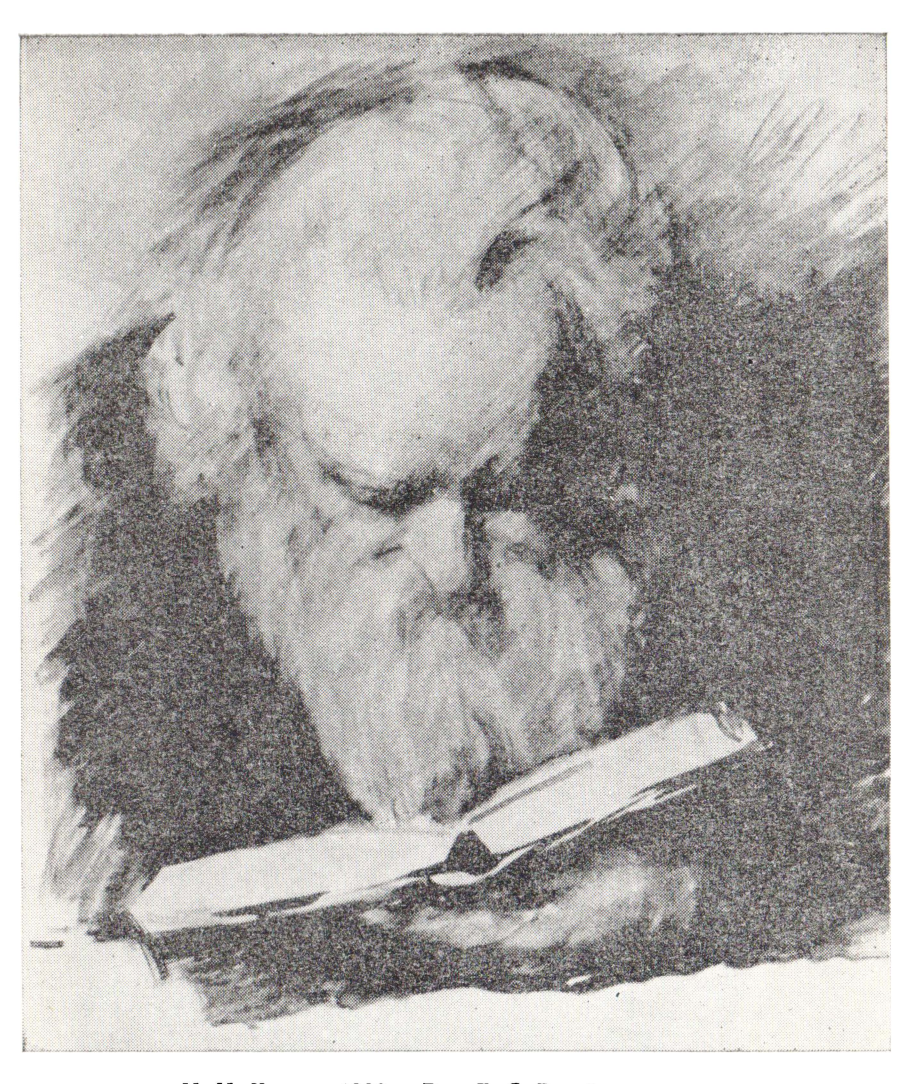
Уроки французского. Рис. О. Г. Верейского. 1988 г. Публикуется впервые.



Н. И. Кареев. 1927 г. Рис. Г. С. Верейского.



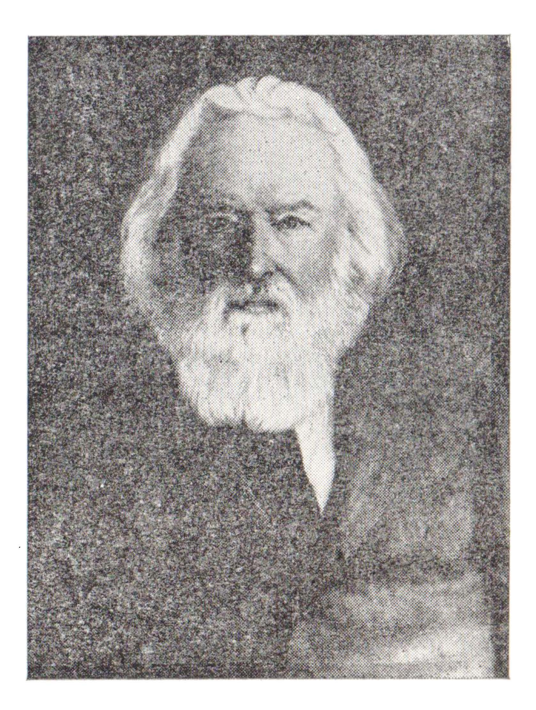
Н. И. Кареев с братом В. И. Кареевым. Рис. Г. С. Верейского. 1927.



Н. И. Кареев. 1928 г. Рис. Г. С. Верейского.



Н. И. Кареев в кресле. Санаторий «Узкое». 1928 г. Публикуется впервые.



Н. И. Кареев. Вторая половина 20-х годов.



Групповой фотопортрет Н. И. Кареева с родными (дома в Ленинграде). Слева направо: 1-й ряд (сидят): Е. Н. Верейская (дочь Н. И. Кареева), Н. И. Кареев, К. Н. Кареев (сын); 2-й ряд (стоят): О. Г. Верейский (внук), Г. С. Верейский (зять), Н. Г. Верейский (внук). 1929 г. Публикуется впервые.



В деревню за молоком. Рис. О. Г. Верейского. 1988. (Н. И. Кареев с внуком).
Публикуется впервые.



Н. И. Кареев и Н. П. Корелина. Ок. 1930 г. Публикуется впервые.



Н. И. Кареев, Е. Н. Верейская на балконе своей квартиры в Ленинграде.
Ок. 1930 г. Публикуется впервые.

Как книжный человек и чисто кабинетный ученый я, однако, совершенно от жизни не отрывался. Недаром одним из главных предметов моих исторических занятий сделалась Великая Французская революция со всеми другими революциями, следовавшими за нею и наполнившими прошлое столетие. Кто начал жить сознательною жизнью в шестидесятых—семидесятых годах минувшего века, тот не мог не задумываться над тем, когда и как захватит Россию в свой неудержимый поток длительная западноевропейская революция, начавшая уже со времени декабристов оказывать влияние на передовые круги нашего общества. Как я лично для себя разрешил вопрос о революции практически, я об этом уже говорил выше, здесь же только скажу о том, в каком аспекте вопрос мне являлся в смысле чисто теоретической, социологической проблемы.

Я всегда отрицал и продолжаю также теперь отрицать существование исторических законов в смысле законов, действие которых предрешало бы самое течение исторических событий, и за это по поводу своих «Основных вопросов философии и истории» подвергался нападкам со стороны критиков, не хотевших понять, что своим отрицанием исторических законов я отнюдь не исключал признания психологической и социологической закономерности.[2] Вот именно с точки зрения последней для меня и было ясно, что русская политическая, интеллектуальная и экономическая жизнь развивается в направлении все более и более назревавшей революции. Пришествие ее было естественным и необходимым, т. е. законосообразным, моментом нашей исторической эволюции, ее неизбежной неотвратимой стадией, потому что предотвратить ее могло бы только чудо — отказ царя от самодержавия, а высших сословий от привилегий, но и это чудо, в сущности, повлекло бы за собою тот же самый результат. Но эта психологическая и социологическая необходимость, в зависимости от внешних и внутренних событий, от соотношения общественных сил, от лиц, наконец, могла перейти в действительность весьма различными способами. Никто не станет отрицать, что, не будь войны и ее неудач, будь Николай II не тем, чем он был, и окружай его не такие люди, которые его окружали и от его имени правили Россией, ее история пошла бы несколько иным путем, хотя бы в более или менее определенном эволюционном направлении. Делая различие между якобы особыми историческими законами и законами социальной эволюции, я отказываюсь видеть в русской революции какое бы то ни было повторение хода событий, например, революции французской или германской 1848 года, в силу какого-то мистического закона революций, но допускаю только аналогии, когда одинаковые причины порождали одинаковые следствия.

Как только началась в 1917 году революция, ко мне стали совершенно так же, как это было в 1914 году, в начале войны,

обращаться с вопросом о том, в каком порядке будет протекать наша революция. Я будто бы должен был это знать как историк, специально занимавшийся Французской революцией. Ответ я давал тот же, что и в 1914 году, история — зеркало, хорошо ли, дурно ли отражающее то, что было, но тотчас же покрывающееся каким-то матовым налетом, как только оно бывает обращено к будущему. И чаще, чем прежде, приходилось слышать вопрос: «К чему же существует эта ваша наука, и неужели вы не жалеете, что потратили жизнь на занятия такой бесплодной наукой?» Но я уже давно был убежден, что знание само по себе может носить свою цель — удовлетворение потребности в знании и понимании, и отнюдь никогда не считал такое знание, «чистое знание», бесплодным и в практическом отношении. Знание жизненного опыта учит тех, которые хотят у него учиться, учит и исторический опыт.

Одною из первых моих статей, вызванных событием, была небольшая заметка под заглавием «Уроки истории» (в «Речи»), где я проводил ту мысль, что если одна из причин революции — незнание абсолютными правительствами истории низвергавшихся раньше правительств, то и народы тоже нередко теряли свободу от незнания аналогичных случаев в прошлом. Конечно, это было чисто «академическое» рассуждение, которое ни на кого подействовать не могло, но, по крайней мере, я высказал здесь мысль, шедшую вразрез с тогдашними настроениями многих. Если одни думали, что в ходе своей революции мы чуть не шаг за шагом будем повторять то, что проделывали французы в конце XVIII века, то другие готовы были думать, что для нас, что называется, закон не писан, что мы пойдем каким-то особым, необыкновенным путем.

Помню одну маленькую заметку в «Биржевике», как неуважительно называли тогда шустрые «Биржевые Ведомости».[3] Это был какой-то дифирамб, пожалуй, даже акафист русскому народу, «стихотворение в прозе», где русский народ назывался мудрым, святым, единственным учителем всех народов и т. п. и т. д.; была обычная фразеология мистического славянофильства или народничества в юзовском вкусе. Едва ли это писалось искренне, но, несомненно, угождало настроению многих, бывших упоенными победою народа и думавших, что дело сделано и мы из царства «самодержавия, православия и народности», понимаемой в черносотенном смысле, перескочили без всяких затруднений в царство «свободы, равенства и братства». Если я выше сказал, что не был непосредственным наблюдателем событий революции, то настроения-то общественные все-таки наблюдал: наивный энтузиазм, легкомысленную веру в то, что мы — исключение из общего правила, что у нас все пойдет гладко, как по маслу, т. е. ни на чем не основанную убежденность, например, в том, что наш вождь и спаситель — Керенский и т. п.

Упомянутая заметка в «Биржевике» заставила меня также скептически отозваться по ее поводу в печати. И эта заметка, и мое о ней упоминание, конечно, не могли тогда обратить на себя ничьего внимания (не до того было, не до мелочей), но я все-таки это помню: одно — для характеристики некоторых тогдашних настроений, другое — как выражение того скептицизма, который встречали с моей стороны романтические упования. Да, я был наблюдателем не событий, а настроений. Чаще, разумеется, приходилось говорить о них в печати, где я занял позицию информатора по части прежних революций (это было моей специальностью), и в беседах с отдельными людьми, с которыми иногда я вступал в споры. Содержание этих споров не привожу, но я не могу умолчать, что многие мои предсказания исполнились (хотя бы, положим, о Керенском). Наша революция не повторяла прежних, но в прежних было много аналогичных фактов, знание которых давало возможность, если не предсказывать, то предвидеть. Но для предвидения нужно было быть ближе к самой гуще движения, нежели то я могу сказать о себе. Поэтому и область подлежащего для меня предвидения была очень ограниченная, и я, впоследствии читая такие обзоры событий, какие были даны Сухановым,[4] Милюковым и др., мог только видеть, до какой степени нам, простым смертным, не участвовавшим в политике, многое в свое время оставалось неизвестным и даже непонятным. Тут же читая эти книги, я имел перед глазами наглядный пример той разницы, какая существует между писанием истории по горячим следам фактов и писанием по документам, изданным позднее или хранящимся в архивах и бывших еще неиспользованными.

Да, слишком много требуют от истории, когда хотят, чтобы она предсказывала события совершенно так же, как астрономия предсказывает солнечные и лунные затмения. Исторические события очень часто бывают такими же неожиданными, каким бывает появление в небесном пространстве какой-нибудь бывшей совсем неизвестной дотоле кометы. Сама революция, так долго ожидавшаяся одними с надеждою на ее приход, другими со страхом перед этим приходом, одними с попытками ее приблизить, другими с усилиями ее предотвратить, была тоже великою неожиданностью. Чем больше кто-либо принимал участие в политике, тем меньше было для него неожиданностей как предвиденных возможностей. Признаюсь, неожиданностей для меня в ходе событий было немало, хотя немало было и такого, возможность чего мною предвиделась. Но, с другой стороны, раз что-либо даже неожиданное наступило, я не видел в этом для себя чего-либо нового, неизвестного, каким многое должно было казаться людям, бывшим менее знакомыми и незнакомыми с историей. Их то или другое могло удивлять, как нечто небывалое, чего раньше будто бы не случалось, а если и случалось, то както не так, как они готовы были допустить в своем воображении.

Перед моими глазами развертывались знакомые явления, только, так сказать, в новых вариантах.

Мне нередко за последние годы ставились вопросы: не изменил ли я своих прежних взглядов на Французскую революцию под влиянием русской, и не стало ли что-либо в первой мне более понятным на основании аналогичных фактов второй. На оба вопроса я считал себя вправе отвечать отрицательно. По отношению ко второму вопросу, впрочем, я всегда делал оговорку. Мне всегда казалось маловероятным, и я даже как бы не верил, что во время Французской революции за чашку кофе приходилось платить сотни или тысячи ливров. Я готов был видеть в этом одно из бывающих нередко преувеличений какого-либо редкого, исключительного, но чрезвычайно обобщенного факта. И, лучше сказать, я не верил, хотя на этот счет говорила масса достоверных источников, а скорее просто не понимал, как могла существовать такая невероятная дороговизна и как с нею справлялось население. Здесь была для меня некоторая невразумительная историческая проблема, которую разрешил для меня наш собственный исторический опыт. Но это и был единственный случай, когда для лучшего понимания Французской революции мне пригодился этот опыт революции нашей.

Весьма естественно, что широкий размах и глубокий сдвиг, характеризующий русскую революцию, заставил многих наброситься на чтение книг по истории Французской революции. По крайней мере, ко мне то и дело обращались за советом, что́ лучше всего прочесть и именно для лучшего уразумения происходящего у нас. Я знаю, далее, что некоторые по собственной инициативе обратились к Тэну. Были между читателями этого историка революции такие, которые знали о нем лишь понаслышке, но были и такие, которые перечитывали его во второй раз и признавались мне, что относились к нему по-новому. И вот тут также задавался мне вопрос, не заставила ли меня наша революция переменить взгляд на Тэна. И опять я считал себя вправе сказать, что не имел ни малейшего для этого основания. По старой традиции, воспитавшейся на более ранних историях революции (Минье и Тьера, Мишле и Луи Блана),[5] бывших ее апологиями, прежде всего бросалась в глаза казовая, героическая, праздничная сторона революции, сделавшаяся поэтическою легендою. Клятва в Jeu de paume,* взятие Бастилии, ночь 4 августа, праздник федерации, «Декларация прав», «Марсельеза», — какие это, в самом деле, красивые, эффектные вещи, способные настраивать на повышенный тон. Но все это именно поэтическая, праздничная, казовая сторона революции, у которой была своя проза, свои будни, своя изнанка, рядом с героизмом, своя патология. Ее-то Тэн нарочито, но односторонне и выдвинул вперед. Наша революция в этом отношении для меня не представляла ничего

* Помещение для игры в мяч (франц. — *В. З.*).

нового, ничего, что было бы мне раньше неизвестно, и Тэн остался для меня таким же Тэном, каким был и раньше: нового из него я ничего не вычитал, когда для главы о нем в предпринятой мною книге «Историки Французской революции» я начал внимательно его перечитывать. Я и раньше не иначе понимал стихийную бурю Французской революции, как разложенную на великое множество отдельных однородных фактов, так и здесь, вчера и сегодня, фактов, сделавшихся на время бытовыми явлениями. Как же иначе можно было бы ее себе представить? Тэн изобразил и другую совокупность ставших тоже бытовыми явлений, политику революционного правительства, изобразил не в общих отвлеченных определениях, а в ряде, в целой массе конкретных фактов, но и с этой стороны наша революция не заключала в себе никаких неожиданностей.

Впрочем, в книге, в которой должны найти свое место эти строки, вся эта небольшая глава, я поставил себе целью больше рассказывать, чем что-нибудь доказывать: scribitur historia ad narrandum, non ad probandum, а потому je ne prépose rien je ne propose rien, j'expose.* Менее всего хотел бы я здесь что-либо доказывать ни по отношению к себе, ни тем более по отношению к революции. Повторяю, что я пишу не историю своего времени, а автобиографию, и самое большее, что мне хотелось показать, это то, как связывалось во мне, историке, много занимавшемся Французской революцией, все прежнее понимание мною с переживанием русской революции в действительности. Идти здесь дальше этого значило бы идти в одном направлении в сторону философии истории, в другом — в сторону публицистики, ибо всякое обсуждение политической современности было бы неизбежно публицистикой. Только на более отдаленном расстоянии можно научно понять связь причин и следствий и значение отдельных моментов в целом, ближайшее же бывает обыкновенно больше предметом оценки непосредственно переживаемых в данные минуты результатов совершившейся части процесса. Ведь и все предыдущее в этой книге рассказывается, как ряд чисто личных переживаний, без отношения к окружающей политической обстановке. Высказывая вот эту мысль, я вспомнил одно место в «Войне и мире» Толстого, которое может быть сделано эпиграфом к моей книге: Sapienti sat.**

Окончив эти строки, я вспомнил, что сегодня первое августа, что это — девятая годовщина объявления мировой войны, положившей начало новому крупному периоду общеевропейской, если не сказать всемирной истории. Девять лет! Это составляет одну восьмую часть прожитой мною доселе жизни, а если исключить из нее первый десяток лет, то одну седьмую, что соответствует

* История пишется для рассказывания, а не для доказывания: я ничего не предполагал, я ничего не предлагал, я излагаю (пер. Н. И. Кареева. — *В. З.*).

** Для мудрого достаточно (сказанного) (лат. — *В. З.*).

одному дню в неделю. И в эти годы, из которых две трети приходится на революцию, жизнь, выражаясь словами Льва Толстого, не вполне мною принимаемых, «настоящая жизнь людей со своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, со своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей, шла, как и всегда, независимо и вне политической близости и вражды с Наполеоном и вне всевозможных образований (III, 1—2)... Есть две стороны жизни в каждом человеке: жизнь личная, которая тем более свободна, чем отвлеченнее ее интересы, и жизнь стихийная, роевая, где человек неизбежно исполняет предписанные ему законы. Человек сознательно живет для себя, но служит бессознательным орудием для достижения исторических общечеловеческих целей» (IV, 5).[6]

Я, конечно, не такой индивидуалист, чтобы без оговорок подписаться под приведенными словами Толстого, потому что не могу не чувствовать себя частью некоторого целого, не жить и его жизнью, но и помимо этого даже сам Толстой, доживи он до наших дней, испытал бы на себе влияние совершившихся общественных перемен, если бы даже, чего я не допускаю, у него и не было интереса узнать, что же будет дальше с той жизнью, которую он противополагал личной как жизнь роевую. Не желать жить дальше, хотя бы для того, чтобы видеть, «что из всего этого выйдет», можно было бы только изверившись в своих идеалах, но им-то я остался верен, невзирая на все испытания, у других иногда подрывающие их прежнюю веру. Всякая твердая вера, не исключая веры чисто религиозной, с которой я давным-давно свел счеты, является источником бодрости в жизненной работе. В ином аспекте она является тем, что называется твердостью убеждений. Но я вдаюсь здесь невольно в тон profession de foi (проповедования веры), а это так же далеко от моего автобиографического замысла, как и публицистика, и поэтому здесь ставлю точку.

1 августа 1923 года.

Глава четырнадцатая

ЗАКАТНЫЕ ГОДЫ

Прекращение чтений исторических лекций в университете. — Закатные годы. — Смерть жены. — Конец Аносова. — «Санузия». — Беллетристическое чтение. — Сокращение круга старых знакомств. — Отношение к смерти. — «Отшитость» от жизни. — Занятия с внуками. — Старческие развлечения.

Продолжаю свою автобиографию.

Вскоре после того, как было в 1923 году отпраздновано пятидесятилетие со дня окончания мною университетского курса, которое было ознаменовано выходом в свет второго, посвященного мне сборника статей моих друзей и учеников, еще тою же весною я был отставлен от чтения лекций в университете, оставшись, однако, профессором в Географическом институте. Впрочем, немного времени спустя, я, так сказать, автоматически вернулся в университет, когда этот институт превратился в университетский факультет, причем, однако, за мною на сей раз было оставлено только чтение исторической этногеографии, предмета, сделавшегося в то же время для студентов лишь факультативным, а другой из читавшихся мною курсов о ходе мировой культуры был отменен. Так кончилось преподавание мною истории в высшей школе, продолжавшееся, с небольшими перерывами, сорок пять лет. В этом смысле 1923 год является для меня знаменательной датой, особенно если принять в расчет, что около этого же времени прекратилось и печатание моих исторических работ. Еще в начале двадцатых годов мне удалось кое-что напечатать из вещей иногда немного «халтурного» характера, но после трехтомного труда «Историки Французской революции», вышедшего в 1924 году, более мои книги не печатались, так что у меня образовался довольно большой запас рукописей,[1] среди которых очутился и четвертый, меньших размеров том «Историков Французской революции», посвященный обзору всех, что-либо говоривших об этой революции, философий истории.

Каковы бы ни были причины непоявления в печати новых работ, условия ли книгоиздательства, или цензурные, результат был один: в одно и то же время остановилось и мое историческое преподавание, и издание моих научных работ. Если к этому прибавить прекращение более старого Исторического и более молодого Социологического обществ, прежнего Литературного

фонда, Отдела для содействия самообразованию и т. п., в которых я принимал деятельное участие, то моя деятельность окажется еще более сократившейся. Начали брать свое, конечно, и годы, естественное ослабление трудоспособности и чаще ставшие меня удручать болезни. В самом деле, в 1924 году я перенес воспаление легких, повторившееся в 1927 году, затем в следующем же году меня посетил жестокий и упорный грипп.

Все это, вместе взятое, заставляет меня смотреть на двадцатые годы вообще и на 1923 год в особенности как на начало моего жизненного заката. Семьдесят лет уже в древности (и в Библии, и у Гомера) рассматривались как естественный предел человеческой жизни. Я переступил эту грань, притом достаточно ослабленный и голодовкой, и приключившейся со мной «испанкой» в 1920 году. Сам по себе восьмой десяток лет — это уже закатные годы, сколько бы люди ни находили, что я для своего возраста прекрасно сохранился. Да, закатные годы пришли, и я наступление их датирую 1923 годом, его весною, моментом окончания моих исторических лекций в университете. Конечно, этим создавался для меня досуг, освобождалось много времени для научной работы, но этого было мало для ее осуществления: невозможность легких, как прежде бывало, поездок за границу, затруднительность в финансовом отношении выписки себе большого числа иностранных книг, неуверенность в том, что все написанное будет немедленно же, как раньше, напечатано, действовали тормозящим образом. Мне очень, например, хотелось написать большой разбор сочинения Н. А. Морозова «Христос»,[2] но я ограничился только двумя-тремя докладами о нем в Клубе ученых (в 1926 году) и в одном Доме отдыха. Этот объемистый труд явился попыткой разрушить и всю вековую традицию о ходе истории, и всю новейшую историческую науку, и я прямо счел своим долгом изобличить всю неосновательность, всю произвольность морозовского построения, не встретившего должного отпора со стороны представителей нашей науки.

В этом же периоде моей жизни меня постигло величайшее несчастие — внезапная кончина моей жены в самом начале 1926 года, через шесть недель после того, как ей самой исполнилось 63 года, меньше, чем через два месяца после моего пятидесятилетнего юбилея, на котором она была еще бодрой и веселой, как и на встрече в тесном кругу Нового года. У покойной была старая болезнь сердца, от которой она лечилась ваннами в целом ряде курортов и которая, как предупреждал меня и детей моих лечащий ее П. В. Мокиевский, всегда могла разрешиться скоропостижной смертью. Все мои знакомые совершенно правильно говорили, что только любящая жена могла создать для меня наиболее удобные условия продуктивной работы; это была сущая правда.[3] В течение целого ряда лет она была членом комитета Общества для доставления средств Высшим Женским курсам, отдав притом немало времени безвоз-

мездной скромной работе в библиотеке курсов. Мы дружно прожили вместе сорок четыре года, а последние годы совсем не расставались. После того, как я застрял в 1914 году в немецком плену, мы дали друг другу обещание по возможности удерживаться от поездок куда-нибудь поодиночке, и в особенности это обещание получило серьезный характер в годы гражданской войны, когда члены многих знакомых семейств на долгое время разлучались, живя в разных местах и даже ничего иногда не зная друг о друге.

Изменились в закатные годы и условия моей летней жизни. В 1923 году мы в первый раз не поехали в Аносово, а наняли дачу около станции Саблино, недалеко от Питера. В 1924 и 1925 мы по одному месяцу прожили в санатории Цекубу (Центральной Комиссии по улучшению быта ученых) в селе Узком под Москвой и только в первом из этих годов съездили на короткое время в Аносово, во второй же — только прокатились по Волге. Поездка в Аносово в 1924 году была для нас обоих последней. После смерти жены в 1926 и 1927 годах я с дочерью и ее детьми прожил в Шалове под Лугой,[4] побывав в 1927 году в Узком, куда на месяц съездил и в 1928 году.

К этому времени самому Аносову пришел конец. В декабре 1928 года, в силу общего декрета, мой брат и его дочь были выселены из насиженного гнезда. Хлопоты, предпринятые мною и поддержанные Академией наук как ее члена-корреспондента, привели было к возвращению нам Аносова, но потом в возмещение отобранной усадьбы была дана дача около ст. Остафьева, недалеко от Подольска (Московской губернии), где я и провел часть лета 1928 года. Так вот и кончилась моя многолетняя связь с усадьбой, возникновение которой я видел, будучи ребенком, в которой проводил все летнее время в гимназические и студенческие годы, как и в годы учительства и профессорства, и имя которой стоит в конце написания там книг. Это обстоятельство, как и многое другое, только еще больше подчеркивало для меня закатность данного периода моей жизни. Связь моя с Аносовым была старая, от детства до старости. И березки, и елочки, которые я там сажал еще крохотными, успели не только вырасти и состариться, и вопрос еще, суждено ли им пережить меня при новых владельцах.

Аносово как дачу до некоторой степени стала мне заменять упомянутая уже санатория в селе Узком, в бывшем барском доме графов Шереметьевых. Здесь я, с женою два раза, в остальные разы один, проводил время с пользой для здоровья и очень приятно. В Узком я встречался со старыми московскими знакомыми, которых не видал иногда по десяткам лет (например, с одним я увиделся здесь вновь через 52 года), что влекло за собой продолжительные с обеих сторон припоминания прошлого — о тех или иных общих знакомых, о тех или других обстоятельствах. Кроме того, я здесь знакомился с массою людей,

бывших мне раньше неизвестыми, с некоторыми даже сближался и вел бесконечные беседы на разные темы, научные и философские, общественные и литературные, а также делясь с ними своими воспоминаниями. Гости этого дома отдыха прозвали его «Санузией» (из санатория «Узкое»), в честь которой и я, как многие, кропал вирши, записывавшиеся в особые погодные книги. Но, увы! С каждым новым приездом в «Санузию» я замечал, что круг моих прогулок все более и более суживался, и это также в моих глазах было признаком закатности.

В этой-то вот самой «Санузии» и пишется мною настоящая глава через пять лет (1923) после предыдущей. Особенно хорошая черта жизни в Узком та, что люди, приезжающие сюда отдыхать на лоне природы, делаются в большинстве случаев общительными, любезными, милыми. Среди них бывали музыканты, певцы, поэты, развлекавшие «Санузию» своим искусством, параллельно с некоторыми учеными, делавшими доклады по своей специальности. Любя сам подобные вещи, я тоже выступал с чтением, из которых помню критику книги Морозова «Христос», лекцию об историках Французской революции, воспоминания свои о Москве времен моего детства и отрочества и о варшавском профессорстве, рассказ о том, как я и мои сверстники относились к Пушкину в разные периоды жизни. Преклонные годы не отняли у меня охоты лекторствовать, но поднимать в «Санузии» спорные темы было уже не по сезону.[5] Было и много времени для чтения беллетристики.

Вообще, кстати сказать, досуг больший, чем во времена моей чрезмерной занятости научною работою, преподаванием, общественной деятельностью, предоставлял мне большие возможности для литературного чтения, на которое я в последние годы мог уже отводить больше дней в году и больше часов в течение дня. Часто влекло меня просто к перечитыванию наших классиков, возвращаться к которым до того времени приходилось сравнительно редко. Иное в классиках казалось даже как бы новым и сильно захватывало. Между прочим, это относится к Пушкину, которым я в самые юные годы пренебрегал под влиянием Писарева.[6] Это возвращение к Пушкину, впрочем, давнишнее; я еще во времена короткого сидения в Петропавловской крепости (1905 г.) развлекал себя припоминанием стихов Пушкина, которые когда-то знал наизусть. Меня до некоторой степени, хотя только по-дилетантски, увлек даже «пушкинизм»: читая новейшие работы о Пушкине, я иногда ловил себя на сожалении, что я не пошел по литературоведческой дороге. Впрочем, это бывало со мной не всегда, а когда я читал что-либо интересное по философии или по какой-нибудь отрасли наук и у меня возникала при этом мысль о том, почему бы мне не было в свое время сделаться тем или другим, а не историком. Старые писатели были, впрочем, сами по себе, но читались и новые, хотя, признаюсь, читались так, как читает большинство людей, видя-

щих в этом занятии средство убить время, бегло, вперемешку, без системы и без отдавания себе критического отчета. Может быть, и эта последняя черта — признак закатности.

Параллельно с расширением литературного чтения шло, наоборот, сокращение личных знакомств, хождение в гости и приемов гостей у себя, посещение не только журфиксов, но и деловых собраний. Только пребывание в «Санузии» и проезды туда и обратно через Москву давали случаи заводить новые знакомства. Полоса журфиксов отошла в прошлое в зависимости от более стесненного, чем прежде, экономического положения. А главное то, что неумолимая смерть то и дело жатву жизни косит: сколько, хотя бы с начала войны или с начала революции, перемерло знакомых ученых, литераторов, публицистов, на смену которым в кругу моих знакомств не приходило новых лиц. Теперь для меня многие новые знакомые — только имена, тогда как раньше с носителями более или менее известных имен я при встречах здоровался как со знакомыми, разговаривал, иногда входил и в более близкое соприкосновение.

Целый ряд старых знакомых после революции (Мякотин, Пешехонов, Милюков и проч.) очутились на чужбине, с иными я сам как-то незаметно разошелся, третьи перемерли. Из последних не могу здесь не вспомнить верного друга всей нашей семьи — П. В. Мокиевского, бывавшего в нашем доме особенно часто, в последние годы обязательно два раза в неделю, гостившего у нас подолгу в Аносове, ездившего с нами за границу. Как врач, постоянно gratis* нас лечивший, он имел много пациентов в ученом и писательском мире, сам будучи философом и писателем; особенно он был популярен среди женской учащейся молодежи. Его громадная начитанность делала для меня беседы с ним весьма поучительными. Человек крепчайшего здоровья и громадной физической силы, он как-то сразу одряхлел. Серьезно он заболел весной 1927 года и по случайно сложившимся обстоятельствам пролежал больным целых два месяца в нашей квартире, одновременно со мной, больным вторым воспалением легких. После этой болезни он уже не поправился как следует и умер в самом конце 1927 года. После его смерти я почувствовал некоторую и притом немалую пустоту в своем окружении. Не всякая смерть близкого или хотя бы просто знакомого человека бывает своего рода memento mori, но кончина Павла Васильевича была именно таким напоминанием, а он был моложе меня лет на шесть.

Мокиевский нередко говорил, что когда он увидит, что делается инвалидом, он добровольно положит предел своей жизни, «если только, — прибавлял он, — моя психика не изменится». В этом пункте мое отношение к смерти с его к ней отношением не сходилось: «Как ни тошно жить, а умирать еще тошнее», да

* Бескорыстно (лат. — *В. З.*).

и сам Павел Васильевич слов своих не исполнил, как ни велики были его физические страдания при наступлении совершеннейшей инвалидности. Зато в остальном, в самом существенном, мы сходились, не ощущая страха смерти и не веря в личное бессмертие за гробом. Если лет сорок пять тому назад мысль о неизбежности смерти меня пугала, и я, например, однажды не мог заснуть целую ночь, прочитав одну из вещей Льва Толстого,[7] в которой он описал свой ужас перед перспективой рано или поздно умереть, то с течением времени этот страх у меня исчез. В 1899 году я совершенно спокойно шел на трудную операцию, сознавая возможность близкой кончины, и после этого страх смерти ко мне никогда не возвращался. Что касается до загробного существования, то вместе с верою в какой бы то ни было потусторонний мир я совершенно и бесповоротно покончил семнадцатилетним юношей и только не считал нужным говорить направо и налево о таком своем убеждении. Шесть десятков лет кряду я не разделял настроения, продиктованного изречением: «Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман»,[8] и не потому что я как-нибудь особенно фанатично дорожил истиной, а потому что не мог мыслить иначе. Конечно, вдруг перестать быть — величайшая неприятность, какая только может быть в жизни, но самое лучшее не думать об этой неотвратимой неприятности, когда же о ней что-нибудь слишком реально напоминает, как смерть, например, близкого человека, то нужно памятовать, что это новое memento mori не сказало, в сущности, ничего нового. Чем дольше живешь, тем сильнее привычка жить, но ведь жизнь и утомляет. Может быть, и прав Мечников, — от которого я и лично это слышал, — что в крайней старости развивается такое же по отношению к жизни настроение, как желание уснуть от усталости дня. Только я сейчас ничего подобного в себе еще не ощущаю, потому что продолжаю интересоваться жизнью, хотя не с такою, конечно, напряженностью или по временам страстностью, как в былые годы. Этого менее беспокойного, менее тревожного, нежели прежде, отношения к жизни я не могу, однако, в себе не отметить за последние годы, что только свойственно закатному периоду жизни, предшествующему наступлению мечниковского «желания уснуть».

Не столько мои годы, сколько внешние обстоятельства превратили меня из участника жизни только в ее созерцателя, с чем тоже пришлось примириться. На жизненной сцене выдвинулись вперед новые люди, создавались новые учреждения, возникли новые периодические издания. Кажется, с обеих сторон одинаково не было желания знакомиться, да и для новых общественных единений я оказывался неподходящим, как и в новых журналах и газетах для меня не было места в то время, как перестали существовать издания, в которых время от времени помещал статьи и заметки. Правда, в первые годы после революции нарождались какие-то эфемерные органы, открывавшие

для меня свои страницы, но они тоже быстро перемерли, не оставив преемников. При создавшихся условиях стала невозможною даже простая перепечатка моих старых книг, наиболее ходких, как учебники истории, тем более, что школьное преподавание истории было радикально реформировано. Добрые люди спрашивали меня, почему бы мне не переделать своих учебников применительно к новым педагогическим требованиям, а в самом начале два-три издателя предлагали написать и новые руководства, не понимая, что не всякий же хочет приспосабливаться и подделываться и хоть бы в мелочах с малейшим отречением от своего прежнего *я*.

Я считал себя всегда человеком прогрессивных устремлений и искал знакомств среди либералов, радикалов и революционеров, а в области мысли чувствовал себя всегда ближе к позитивистам, реалистам и материалистам, относясь отрицательно к противоположным направлениям, и революция отнюдь, думаю я, не заставила меня в области мысли повернуть направо или двинуться назад. Я не только не изменился, но и не хотел измениться не по внутреннему убеждению, а в порядке приспособления.[9] Эту мою верность самому себе, которою я особенно дорожу, прямо отмечали некоторые речи на упомянутых юбилейных чествованиях 1913, 1920 и 1923 годов. «Hier stehe ich — ich kann nicht anders»,*— повторю здесь знаменитые слова Лютера[10] на Вормском сейме. Не нужно ни компромисса, ни притворства, т. е. дела обстояли для меня так же, как тогда, когда от меня министр Боголепов требовал подачи прошения об отставке, что для меня было признаком своей неправоты, противным голосу совести и чести.

Так обгоняла меня быстро текущая жизнь, так все более сходил я с общественной сцены и даже при жизни начинал приходить в забвение. Ярким доказательством последнего является то, что когда летом 1928 года был опубликован список 225 лиц, рекомендованных как кандидаты в Академию наук разными научными учреждениями и частными группами ученых, моего имени в этом списке не оказалось.[11]

Сокращение, притом сильное сокращение преподавательской и общественной деятельности, этот вынужденный досуг (atium cum dicnitate, бывший римским идеалом) давал мне возможность больше жить семейною жизнью и предаваться простейшим забавам. Я не раз замечал, что бабушки посвящают своим внукам больше времени, чем могли посвящать своим детям. То же случилось и со мною как с дедушкой: в годы кипучей деятельности мне часто было недосуг возиться со своими собственными детьми, а тут как раз с дедушкой произошло то, что обыкновенно бывает с бабушками. У меня два внука: Коля и Орик

* Стою на этом — иначе не могу (нем. — *В. З.*).

(Орест) Верейские, родившиеся один осенью 1912 года, другой летом 1915 года. Еще в 1919—1920 годах я стал им рассказывать сказки в виде целого ряда греческих мифов, которые выходили у меня лучше, чем русские народные сказки, но для последних мне на помощь приходил Пушкин. Старший внук под моим отчасти руководством готовился к поступлению в школу, да и с младшим тоже мне пришлось заниматься. Главное же, что я взял на себя, это было обучение французскому языку, знанием которого, по крайней мере, старший внук будет обязан исключительно мне, хотя и далеко не в таком совершенстве, в каком оба внука знают по-немецки, благодаря урокам Марты Рудольфовны Шарловой. (Эта почтенная женщина в молодости своей, когда была еще Frühen Silber,* долго жила в нашей семье, обучая по-немецки сына и дочь наших, и, овдовев, опять жила с нами, обучая уже детей дочери.)

Кроме французского языка, я старался знакомить своих внуков с историей, которая из школы исключена: и в вопросе о школьном преподавании истории я остался верен своим старым взглядам. Если в этих моих занятиях с внуками и был, пожалуй, некоторый элемент исполняемого семейного долга, то в неизмеримо большей доле здесь проявлялась моя любовь к учительству, особенно в тех случаях, когда сами ученики к учению охочи.

Вот эта склонность моя давала мне возможность заполнять часть досуга. И прежде в театре по своей занятости я бывал редко, а концерты и вовсе не посещал по полному отсутствию во мне музыкальности. Потом и по материальным условиям происходило то же самое. Ни в карты, ни в шахматы я не играл никогда, а теперь открылась возможность брать часто карты в руки для старческого занятия, делания пасьянсов, которые тем хороши, что успокаивали нервы, главное же тем, что в каждый момент можно бросить карты, чего не сделаешь ни в какой игре, связывающей тебя с партнерами. Чаще также стали сочиняться мною и стихи, с которыми я обращался, однако, как Тютчев, бросавший написанное. С его стороны, правда, это было непростительно, он разбрасывал бриллианты и перлы, у меня же это были самые простые бусы, собирать которые совершенно не стоило. Моя версификаторская способность была признана всеми, кто видел ее образцы, но для меня стихи мои — забава для себя и для других, так как мои старые опыты серьезной поэзии я сам давным-давно признал неудачными. Мой жанр — эпиграммы, акростихи, шутливые оды[12] — особенно расцветал в Узком

* В расцвете лет (нем. — *В. З.*).

с его часто праздным препровождением времени. Вот эта способность меня не оставила, а другая — много и без утомления гулять по полям, лугам и лесам — увы! значительно ослабела, на что, повторяю, я смотрю, как на один из несомненных симптомов закатности. А еще недавно я был незаурядный ходок.





КОММЕНТАРИИ И ПРИМЕЧАНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

[1] Н. И. Кареев, создавая свои многочисленные исследования по весьма широкому спектру проблем — более всего исторической и философской науки, — неизменно придерживался принципа: предисловия и заключения к ним он писал тогда, когда книги были уже написаны или даже набраны в типографии. Ученый не изменил этому правилу и на сей раз. Закончив двенадцатую главу «Трудные годы» в середине июля 1923 г., уже 28 июля, будучи на отдыхе в местечке Козловка-Саблино, что находится под Ленинградом, он написал и предисловие, вовсе и не имея мысли присовокупить к ним еще две главы. Поэтому в предисловии Н. И. Кареев счел нужным пояснить лишь то, что может вызвать у читателя вопросы при чтении уже созданных им глав.

Хотелось бы обратить внимание читателей на то, что в рукописи предисловия Н. И. Кареев не поставил точную дату начала написания мемуаров, скорее всего потому, что не имел их под рукой (предисловие писалось под Ленинградом, а воспоминания лежали там, где он их создавал — в деревне Аносово Смоленской губернии), но ее легко установить: 9 июля 1921 года — это начертано в левом верхнем углу первой главы его мемуаров.

[2] В действительности свои мемуары Н. И. Кареев написал в «три приема»: главы I—XI — с 9 июля по 9 августа 1921 г. (Аносово), главы XII, XIII и предисловие — в июле—августе 1923 г. (Козловка-Саблино), последнюю, XIV главу — летом 1928 г. (санаторий «Узкое» под Москвой).

[3] Подстрочные примечания к воспоминаниям (около двух печатных листов) были составлены Н. И. Кареевым в последние годы жизни. Но автор не успел их «прикрепить» к соответствующим страницам своих воспоминаний. Подстрочные примечания носят в основном библиографический характер и мемуаристом явно недоработаны.

Глава I

[1] *Кареевы* — русский дворянский род, происходящий, по преданию, от татарина Едигея-Карея, выехавшего в XIII в. из Золотой Орды в Рязань

и принявшего крещение с именем Андрея. Сын его, Епифан Кареев, упоминается Д. И. Иловайским (см.: История Рязанского княжества. М., 1858. С. 196—197) в числе «Олеговых бояр и слуг». Епифан Кареев искусно вел переговоры Олега Рязанского с Мамаем и Ягайлом.

Дед Николая Ивановича, *Василий Елисеевич Кареев* (1786—1846), участвуя в ряде «дел против неприятеля» от 1807 г. до 1814 г., дослужился до генеральского чина. Он был участником завоевания Финляндии, был в заграничном походе русской армии в 1813—1814 г., брал Париж.

Отец Николая Ивановича, *Иван Васильевич Кареев* (1822—1887), пошел по стопам своего родителя — стал военным, поступив в полк, которым командовал его отец генерал. Участвовал в Крымской войне 1853—1856 гг. После ранения в чине майора вышел в отставку и был городничим в Гжатске и Сычевке Смоленской губернии. Иван Васильевич был человеком прогрессивных взглядов — и как его отец, Василий Елисеевич, — безупречной честности, которую он старался прививать и своим детям, в том числе Николаю.

[2] *Гавличек-Боровский К.* (1821—1856), известный чешский публицист и поэт. Некоторые его произведения переведены на русский язык (например, «Тирольские звезды» (РС. 1860. IV)). Гавличек-Боровский одно время жил в Москве, в семье профессора Московского университета С. П. Шевырева, что в какой-то степени и определило его публицистическую деятельность, направленную на возрождение самостоятельности Чешского государства.

[3] *Меншиков Александр Данилович* (1673—1729), русский государственный и военный деятель, генералиссимус (13 мая 1727 г.). Участвовал во многих военных, политических и хозяйственных предприятиях царя Петра I.

[4] *Горчаков Михаил Дмитриевич* (1793—1861), князь, генерал-адъютант, участник Отечественной войны 1812 г., заграничного похода русской армии. Командовал войсками во время Крымской войны 1853—1856 гг., был главнокомандующим Южной армией, руководил обороной Севастополя с февраля по август 1855 г., после чего был назначен наместником Царства Польского и главнокомандующим вновь образованной Первой армии. В этой должности он оставался до самой смерти.

Несмотря на столь блестящую карьеру, современники справедливо попрекали Горчакова в отсутствии самостоятельности и решительности, что не могло не отзываться отрицательно на военных действиях тех военных подразделений, которыми приходилось командовать князю.

[5] *Нахимов Павел Степанович* (1802—1855), русский флотоводец, адмирал. Сыграл выдающуюся роль в Крымской войне 1853—1856 гг., в обороне г. Севастополя.

[6] *Бебутов Василий Осипович* (1791—1858), русский генерал от инфантерии. Участник русско-турецкой войны 1806—1812 гг. и Отечественной войны 1812 г. В 1844—1847 гг. командовал войсками, действовавшими против Шамиля.

[7] *Багговуд Александр Федорович* (17?—18?), генерал от кавалерии, участвовал в декабрьских событиях 1825 г. на стороне царя, в войне с Персией, в подавлении Венгерской революции 1849 г. С 1852 г. — командующий 20-й пехотной дивизией.

[8] Магистерская диссертация Н. И. Кареева называлась «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века» (М., 1879), докторская — «Основные вопросы философии истории» (Т. 1—2. М., 1883).

[9] *Грот Николай Яковлевич* (1852—1899), профессор (с 1886 г.) философии в Московском университете, позитивист. Основные труды относятся к исследованию проблем, лежащих на стыке философии и психологии, например: «Значение чувства в познании и деятельности человека» (М., 1889), «Отношение философии к науке и искусству» (Киев, 1883), «К вопросу о критериях истины» (РБ., 1883. IV—VI), «Жизненная задача психологии» (Вопросы философии и психологии. 1890. Кн. 4), и др.

[10] *Толстой Иван Иванович* (1858—?), русский нумизмат, археолог, государственный деятель. Окончил юридический факультет С.-Петербургского университета. С 1885 г. — член Археологической комиссии Академии наук. В 1893—1905 гг. — вице-президент Академии художеств, участвовал в ее

преобразовании, а также в создании Музея Александра III. С 1899 г. — помощник председателя Русского археологического общества. В 1905—1906 гг. в кабинете С. Ю. Витте был министром народного просвещения и через полгода вышел в отставку вместе с премьером. После Великой Октябрьской революции эмигрировал.

[11] *Кауфман П. М.* был министром народного просвещения России (после И. И. Толстого). Именно в его ведении было решение вопроса о возвращении Н. И. Кареева к профессорской деятельности в С.-Петербургском университете во второй половине 1906 г.

[12] *Мануилов Александр Аполлонович* (1861—1929), русский экономист, доктор экономических наук, профессор. С 1902 г. заведовал кафедрой в Московском университете, в 1905—1908 гг. — проректор, в 1908—1911 гг. — ректор университета. Уволен с этого поста царским правительством. Член ЦК партии кадетов. В 1917 г. был министром просвещения Временного правительства. После Октябрьской революции эмигрировал, но вскоре вернулся. Преподавал в вузах.

[13] *Хомяков А. А.*, малоизвестный русский поэт второй половины XIX в., уроженец Смоленского края.

[14] *Алмазов Борис Николаевич* (1827—1876), известный поэт-юморист. В 1851 г. примкнул к «молодой редакции» «Москвитянина», в котором помещал под псевдонимом Эраста Благонравова остроумные фельетоны и небольшие обозрения текущей журналистики. Стихотворения Б. Н. Алмазова отличались легким и гладким стихом, богатой рифмой и изящными выражениями, но были бедны содержанием и поэтому не доставили их автору славы. В связи с этим, видимо, Н. И. Кареев узнал об Алмазове «лишь много-много позже» своей юности, когда был уже зрелым человеком.

Глава II

[1] *Столбенский (Столобенский) Нил* родился в одном из селений Новгородского края (Деревенской Пятины Жабенского погоста). Дата рождения не установлена. Умер 7 декабря 1554 г. на о-ве Столбенском, на оз. Селигер, близ г. Осташкова. Русской церковью причислен к лику святых. Жил на острове с 1526 по 1554 г. В 1591—1594 гг. на месте кельи Нила возведен храм и основан монастырь, получивший название «Нилова пустынь». Мощи преподобного Нила обретены 27 мая 1667 г. и почитались открыто в соборном храме. Здесь находилась чудотворная икона Богоматери, называемая Селигерскою, и схима, в которой он был погребен.

[2] «...о Москве, вроде пушкинского описания в „Евгении Онегине"». Н. И. Кареев, вероятно, имеет в виду 36—38-е главы из романа в стихах А. С. Пушкина с описанием приближающейся взору путника Москвы: «Но вот уж близко. Перед нами уж белокаменной Москвы...» (Пушкин А. С. Евгений Онегин: Роман в стихах//Собр. соч.: В 10 т. Т. 4. М., 1975. С. 132 и след.).

[3] *Чичагов Павел Васильевич* (1765—1849), адмирал (сын Василия Яковлевича, тоже адмирала), был в немилости у Павла I (сидел в заточении в Петропавловской крепости), но Александр I приблизил к себе Чичагова, назначив его морским министром и членом Государственного совета. В 1811 г. Чичагов занимает пост главнокомандующего Молдавией, Валахией и Черноморским флотом, а в следующем году ему поручается преследование отступающих войск Наполеона I, которые вследствие медлительности Чичагова успели переправиться через Березину. Это послужило поводом к обвинению Чичагова чуть ли не в измене и со стороны его современников, и со стороны многих историков Отечественной войны 1812 г., о чем и говорит Н. И. Кареев.

[4] В данном случае имеется в виду знаменитое «Письмо к Н. В. Гоголю» В. Г. Белинского, написанное 15 июля 1847 г. в г. Зальцбрунне (Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 8. М., 1982. С. 281—289).

[5] «Горчаковские ноты» (Горчаковы циркуляры). В 1870 г. А. М. Горчаковым были направлены инструкции русским дипломатическим представи-

телям об отказе России соблюдать ограничительные статьи Парижского мирного договора (1856 г.).

В 1875 г. циркуляры приняты в переговорах имп. Александра II с Вильгельмом I в Берлине, в результате которых предотвращено нападение Германии на Францию.

[6] Кареев имеет в виду своего двоюродного брата *Осипа Петровича Герасимова*, занимавшего дважды пост товарища (т. е. заместителя) министра народного просвещения: во время революции 1905—1907 гг. и в первом Временном правительстве после Февральской революции 1917 г.

[7] Предположения Н. И. Кареева, хотя и выраженные в явно вероятностной версии, не подтверждаются фактическими данными. Легендарный партизан Отечественной войны 1812 г. Д. В. Давыдов (1781—1839) был женат на Софье Николаевне Чарковой, а один из любовных романов у него был с Евгенией Дмитриевной Золотаревой, дочерью пензенского помещика Дмитрия Васильевича Золотарева (Задонский Н. А. Избр. произв.: В 2 т. Т. 1: Денис Давыдов: Историческая хроника. М., 1981. С. 664—665; см. также. С. 445; 2) Денис Давыдов. Воронеж, 1959. С. 94, 269—276).

[8] *Фишер Софья Николаевна* (1826—?), урожденная Вейс, была убежденной сторонницей идеи, что девочки должны получать совершенно такое же образование, как и юноши. Это и заставило ее открыть в 1872 г. Женскую классическую восьмиклассную гимназию в Москве, причем программа преподавания здесь являлась общей с мужскими гимназиями. С. Н. Фишер была привержена классицизму в педагогике и отличалась, по свидетельству Н. И. Кареева, «консервативным образом мыслей» (ГБЛ. Ф. 119. П. 44. Д. 12. Л. 38). Именно это и снискало ей «благоволие М. Н. Каткова», нередко посещавшего ее гимназию, о чем дальше вспоминает Н. И. Кареев.

[9] Н. И. Кареев до 15 лет страдал сомнамбулизмом, или лунатизмом, что выражалось в своеобразном расстройстве сознания, характеризующемся автоматическими сложными действиями во время сна: юный Кареев часто гулял сонный по дому и даже по улице.

[10] *Старчевский Адальберт-Войтех Викентьевич* (1818—?), известный журналист и знаток европейских и восточных языков. В 1848—1853 гг. редактировал «Справочный энциклопедический словарь» Крайя (в 12-ти томах), издававшийся на русском языке. Был редактором газеты «Сын Отечества» (с 1856 г.), а позже и журнала того же названия, о котором вспоминает Н. И. Кареев. В 1879—1885 гг. — редактор журналов «Современность», «Улей», «Эхо» и «Родина». Он оставил «Воспоминания старого литератора» (ИВ, 1888. X; 1889. X).

Глава III

[1] Винный откуп — это система передачи купцам-откупщикам за определенную плату права взимания государственного налога с населения от продажи вина. Доход казны от питейного налога составлял свыше 40% поступлений всех налогов. В 1863 г. винные откупы в России были заменены акцизом.

[2] *Писемский Алексей Феофилактович* (1820—1881), известный русский писатель, вышедший из старинного дворянского рода. Его большой роман «Взбаламученное море» печатался в журнале «Русский Вестник» за 1863 г.

Глава IV

[1] *Дювернуа Александр Львович* (1840—1886), профессор «славянских наречий» в Московском университете. Окончил Московский ун-т. Долго жил после этого в Праге, изучая славянские языки. В 1867 г. защитил магистерскую диссертацию «Об историческом наслоении в славянском словообразовании», которая, по существу, осталась незамеченной в прессе. Последние годы жизни Дювернуа был занят работой по составлению «Словаря (ново-) болгарского языка...» (М., 1885—1889).

[2] *Киттары Модест Яковлевич* (1825—1880), известный технолог, воспитанник Казанского университета, в 24 года был уже доктором естественных

наук. С 1857 г. Киттары был приглашен в Московский университет на кафедру технологии, одновременно он стоял во главе Московской практической академии коммерческих наук. С 1879 г. Киттары — в С.-Петербурге, где возглавил ученый Комитет интендантства, которому и посвятил свою последующую жизнь. Киттары пользовался большим авторитетом среди московского купечества, один из представителей которого, по всей видимости, и попросил его по настоянию И. В. Кареева замолвить словечко за мальчика (Николая Кареева) у директора 1-й Московской гимназии А. М. Малиновского. Протекция Киттары оказалась счастливой для Н. Кареева.

[3] *Миллер Федор Федорович* работал инспектором и учителем географии 1-й и 5-й Московских гимназий в 60 — 70-е годы XIX в. О нем тепло отзывается его коллега по гимназии Е. В. Белявский (Белявский Е. В. Педагогические воспоминания. 1861—1902 гг. М., 1905. С. 52—53).

[4] *Писемский Николай Алексеевич* был вторым сыном известного романиста А. Ф. Писемского, обладал большими способностями, окончил физико-математический факультет Московского университета. Вскоре после этого покончил жизнь самоубийством (подробнее см.: Зелинский В. Алексей Феофилактович Писемский, его жизнь, литературная деятельность и значение его в истории русской письменности: Критико-биографический очерк//Писемский А. Ф. Полн. собр. соч.: В 24 т. 2-е изд. Т. 1. СПб., 1895. С. LCCVI и след.).

[5] *Головнин Александр Васильевич* (1821—1886), сын адмирала, с 1859 г.— член главного правления училищ при Министерстве народного просвещения, а с 1862 г. — министр народного просвещения. Он произвел полное преобразование центрального аппарата управления министерства, в частности, передав цензурное управление в Министерство внутренних дел. Университеты получили по новому уставу от 18 июня 1863 г. значительную самостоятельность. Подверглись преобразованиям и гимназии, в которых было ослаблено внимание к классицизму, и наоборот, большее место заняли предметы, отражающие реальные потребности страны. А. В. Головнина еще при его жизни называли «красным», а некоторые, издеваясь над его внешностью (он был горбат), говорили: «Он в своем горбу носит конституцию».

Широкие планы Головнина были пресечены всплеском безудержной реакции, развернувшейся после покушения на царя 4 апреля 1866 г. и раскрывшей факт распространения среди учащейся молодежи крамолы. Через 10 дней после этого (14 апреля) Головнин увольняется Александром II с должности министра.

[6] *Толстой Дмитрий Андреевич* (1823—1889), граф, с 1865 г. — обер-прокурор св. синода. В 1866 г. заменил Головнина на посту министра народного просвещения, занимая оба эти поста до апреля 1880 г. По инициативе Толстого в 1871 г. была проведена гимназическая реформа, которая, по существу, отменила новации, введенные Головниным, усилив в гимназиях преподавание «мертвых языков» (в частности, латинского языка), причем по этой реформе только выпускники классических гимназий имели право поступать в университеты. В мае 1882 г. Толстой получил посты министра внутренних дел и шефа жандармов и занимал их до самой смерти.

[7] *Белявский Егор Васильевич* (?—1903), учитель русской словесности в 1-й и 5-й Московских гимназиях, где учился Н. И. Кареев. Прогрессивный русский педагог, написавший (кроме учебников и пособий для учителей) интересные «Педагогические воспоминания. 1861—1902 гг.» (М., 1905). Белявский пользовался заслуженным авторитетом у гимназистов и передовой русской интеллигенции второй половины XIX в.

[8] *Линберг Андрей Леонардович* (1837—1905), педагог, учитель географии одной из московских гимназий. Окончил Московский университет. Линберг, по словам хорошо его знавшего Кареева, «был превосходный учитель географии, следивший за развитием своей науки, устроивший в Николаевском Сиротском институте образцовый географический кабинет» (ГБЛ. Ф. 119. П. 44. Д. 12. А. 52). Андрей Леонардович был автором широко известных в свое время учебников географии и географических атласов для средней школы: Краткий учебник всеобщей географии/Сост. А. Линберг.

Ч. I—II. М., 1886; 12-е изд. 1909; Маленький географический атлас с объяснительным текстом. М., 1897; Начальный курс географии. М., 1893; 4-е изд. 1907; Учебник географии России: Курс IV класса гимназии. М., 1890; 12-е изд. 1912).

Линберг был сыном шведа, состоявшего на русской службе, и немки, предки которой уже давно переехали из Германии в Россию.

[9] Кареев Н. И. Научный учебник грамматики//ФЗ. 1876. Т. 15 (или отд. оттиск: Воронеж, 1876). — Рец. на кн.: Белявский Е. Этимология древнего церковно-славянского и русского языка, сближенная с этимологией языков греческого и латинского. М., 1875.

[10] *Буслаев Федор Иванович* (1818—1897), русский филолог и искусствовед, академик Петербургской академии наук (1860). Окончил Московский университет (1838). Профессор Московского университета (1847). Труды Ф. И. Буслаева в значительной мере сохранили свое научное значение, а его книга «Русский лицевой апокалипсис. Свод изображений из лицевых апокалипсисов по русским рукописям с XVI века по XIX» (Т. 1—2. М., 1884) доставила Буслаеву мировую известность.

[11] *Тихонравов Николай Саввич* (1832—1893), один из видных историков русской литературы, ученик Ф. И. Буслаева. В 1859 г. Тихонравов перешел с учительской работы в одной из московских гимназий в Московский университет. В 1870 г. получил степень доктора русской словесности, в 1876 г. был избран деканом историко-филологического факультета, а в 1877 г. стал ректором университета. В 1890 г. был избран ординарным академиком.

[12] *Вебер Георг* (1808—1888), немецкий историк, был учителем, а потом директором высшей городской школы в Гейдельберге. Главная работа Вебера «Allgemeine Weltgeschichte für die gebildeten Stände» (Leipzig, 1857—1880. Т. 1—15.), как известно, переводилась на русский язык Н. Г. Чернышевским (под псевдонимом Андреев). Кроме того, на русский язык переведена «Краткая история» Вебера (3 выпуска, перевод Соколова), о которой и упоминает Н. И. Кареев.

[13] Этот труд С. М. Лукьянова назывался «О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы: Материал к биографии» (ЖМНП. 1915. № 5, 6, 9, 11; 1916, № 1, 3, 5, 7, 9; 1919. № 1, 3—4, 6, 9, 11—12). Впоследствии журнальный вариант «Материала к биографии» был издан под тем же названием в трех книгах: книга первая (Пг., 1916), книга вторая (Пг., 1918), книга третья (Пг., 1921).

[14] *Басов Василий Петрович,* филолог, автор книги для средних учебных заведений «Начальные основания этимологии греческого языка» (М., 1866). По-видимому, В. П. Басов переводил широко известный труд И. Н. Мадвига (1804—1886), популярного датского филолога, профессора Копенгагенского университета. Этот труд (Madvig J. N. Latinsk Spraglaere til Skolebrung. Kopengagen, 1841) был переведен почти на все европейские языки.

[15] *Жинзифов Ксенофонт (или Райко) Иванович* (1838—1877), болгарский литератор и общественный деятель. Курс средней школы окончил в Константинополе, где превосходно изучил новогреческий язык. Затем учился в Московском университете. В болгарской литературе он известен рядом стихотворений, а также патриотической повестью «Кровяна Роза». В 60-е годы XIX в. и до конца жизни преподавал греческий язык в 1-й и 5-й Московских гимназиях. Он был учителем многих впоследствии известных деятелей российской культуры (Н. И. Кареева, Влад. С. Соловьева, М. А. Андреева и др.).

[16] *Соловьев Владимир Сергеевич* (1853—1900), русский религиозный философ. Сын историка С. М. Соловьева. Учился вместе с Н. И. Кареевым в 1-й Московской гимназии и Московском университете. В 1874 г. защитил в Петербургском университете магистерскую диссертацию «Кризис западной философии», после чего был избран доцентом кафедры философии Московского университета. В 1877 г. В. С. Соловьев оставил университет, не желая «участвовать в борьбе партий между профессорами...» (Соловьев В. С. Письма. Т. 2. СПб., 1909. С. 185). Через некоторое время после этого пере-

селяется в Петербург, где в 1880 г. защищает докторскую диссертацию «Критика отвлеченных начал», но профессуру в университете не получил, а читал лекции лишь в порядке приватной доцентуры. В 1881 г. академическая карьера Соловьева пресеклась: 28 марта он публично выступил с обращением к царю не казнить народовольцев-первомартовцев. Эта речь навсегда испортила его отношения с официальной Россией. Для Соловьева началась кочевая жизнь, полная лишений. С 1891 г. он стал редактором философского отдела в «Большом Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона, в котором, как мы уже упоминали, редактором отдела истории был Н. И. Кареев.

Умер В. С. Соловьев 31 июля (13 августа) 1900 г. на руках русского философа Евгения Николаевича Трубецкого в его имении Узкое под Москвой (ныне — санаторий работников Академии наук СССР).

[17] *Исаев Андрей Алексеевич* (1859—1924), русский экономист народнического направления, статистик и социолог. В 1879—1893 гг. преподавал политическую экономию и статистику в Петербургском университете и Ярославском Демидовском лицее. С 1884 г. — профессор лицея. Работы Исаева о товариществах и кооперативах содержали ценные статистические данные, которыми пользовался В. И. Ленин (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 328—452).

[18] *Коротнев Алексей Алексеевич* учился вместе с Н. И. Кареевым и в гимназии, и в Московском университете (на физико-математическом и медицинском факультетах). Был ученым зоологом, профессором Киевского университета.

[19] *Соловьев Сергей Михайлович* (1820—1879), знаменитый русский историк, автор многочисленных исследований по отечественной истории, среди которых особое место занимает его 29-томная «История России с древнейших времен» (М., 1850—1879). В 1842 г. окончил Московский университет, в котором с 1845 г. начал преподавательскую деятельность, с 1847 г. — профессор, в 1864—1870 гг. декан историко-филологического факультета. Академик (с 1872 г.). В 1871—1877 гг. — ректор Московского университета. В последние годы жизни был председателем Московского общества истории и древностей российских.

[20] *Величко Василий Львович* (1860—1903), поэт и литератор. Был в дружеских отношениях с Владимиром Сергеевичем Соловьевым. Движимый чувством долга, написал биографию Вл. С. Соловьева (Величко В. Л. Владимир Соловьев: Жизнь и творчество. С приложением рисунка И. Е. Репина, портрета и факсимиле. СПб., 1902; 2-е изд., 1904).

[21] *Писарев Дмитрий Иванович* (1840—1868), русский публицист и литературный критик, философ-материалист и революционный демократ. Окончил историко-филологический факультет С.-Петербургского университета (1861). В 1861—1866 гг. — ведущий критик и идейный руководитель журнала «Русское слово». С 1862 по 1866 г. отбывал заключение в Петропавловской крепости, где написал более половины своих сочинений. В 1867—1868 гг. сотрудничал в журналах «Дело» и «Отечественные записки». Был властителем дум передовой молодежи России в 60-е годы XIX в. Жизнь Писарева трагически оборвалась в полном расцвете его духовных сил: 4 (16) июля 1868 г. он утонул при купании.

[22] Н. Г. Чернышевский роман «Что делать?» писал с 14 декабря 1862 г. по 4 апреля 1863 г., находясь в Петропавловской крепости. В романе поставлена проблема раскрепощения женщины, а главное — проведена идея необходимости организации революционеров, создан замечательный образ революционера-профессионала. Роман был опубликован в журнале «Современник» за 1863 г. (№ 3, 4, 5). Но оплошность цензуры была вскоре замечена, ответственный цензор Бекетов отстранен от должности, а на те номера «Современника», где публиковался роман Чернышевского, был наложен запрет. Новая публикация романа оказалась возможной лишь после революции 1905 г., снявшей запрет с имени Чернышевского. Роман вошел в Полное собрание сочинений Н. Г. Чернышевского в 10-ти томах (11-ти книгах), осуществленное его сыном М. Н. Чернышевским (СПб., Т. IX. 1906), а также был выпущен отдельным изданием (СПб., 1906; СПб., 1909).

[23] *Ренан Жозеф Эрнест* (1823—1892), знаменитый французский филолог и историк. Труд Ренана «Жизнь Иисуса» (Ч. 1—2. Dresden, 1864—1865) в то время, о котором повествует Кареев, существовал на русском языке лишь в заграничном переводе, а потому был малодоступен.

[24] *Ткачев Петр Никитич* (1844—1885), русский революционер, идеолог якобинского направления в народничестве, литературный критик и публицист. Окончил С.-Петербургский университет (1868). Литературную деятельность начал в 1862 г. С 1865 г. сотрудничал в журналах «Русское слово» и «Дело». В 1869 г. судился по «процессу нечаевцев». После отбытия заключения бежал за границу. В эмиграции сотрудничал в журнале «Вперед», после разрыва с П. Л. Лавровым начал издавать журнал «Набат». Сблизился в середине 70-х годов XIX в. с французскими бланкистами. В конце 1882 г. тяжело заболел; последние годы жизни его были поистине трагическими: он провел их в психиатрической больнице.

[25] *Поливанова Екатерина Яковлевна* опубликовала свои воспоминания о 60-х годах XIX в. «Тени прошлого (Записки подруги)» в журнале «Исторический Вестник» (1909. IX. С. 755—789).

[26] *Бюхнер Фридрих Карл Христиан* (1824—1899), немецкий натуралист, философ и медик, приват-доцент в Тюбингене, где издал свою книгу «Сила и материя» (Kraft und Stoff. Frankfurt am Main, 1855). В ней он сделал попытку обосновать на базе новейших знаний о природе атомистическо-материалистическое мировоззрение. Книга вызвала горячую полемику, обратив на себя всеобщее внимание, в результате чего Бюхнер был вынужден покинуть университет.

[27] *Шатобриан Франсуа Рене де,* виконт (1768—1848), французский писатель, политический деятель консервативного направления. Слова Шатобриана, которые приводит Н. И. Кареев, переводятся так: «Я прослезился и уверовал; я прослезился, но не уверовал».

[28] *Конт Огюст* (1798—1857), французский философ, один из основоположников позитивизма и буржуазной социологии. Наибольшую известность Конту принес «Курс позитивной философии» (Т. 1—6. 1830—1842); русский перевод вышел под названием «Курс положительной философии» (Т. 1—2. СПб., 1899—1900). Знаменито также и многотомное сочинение Конта «Система позитивной политики» (Т. 1—4. 1851—1854). Социологические и политические идеи Конта были подвергнуты К. Марксом и Ф. Энгельсом беспристрастному анализу (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 33. С. 138; Т. 39. С. 326—327).

[29] *Кант Иммануил* (1724—1804), немецкий философ и ученый, родоначальник немецкой классической философии. Прожил всю жизнь в Кёнигсберге, где окончил университет (1745) и был в 1755—1770 гг. доцентом, а в 1770—1796 гг. — профессором университета. Главные труды Канта: «Критика чистого разума» (1781), «Критика практического разума» (1788), «Критика способности суждения» (1799) и др.

К. Маркс охарактеризовал философию Канта по ее общественному содержанию как немецкую теорию французской буржуазной революции конца XVIII в. (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 184).

[30] *Спенсер Герберт* (1820—1903), английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма. Философия Спенсера явилась дальнейшим развитием позитивизма О. Конта. Спенсер является основоположником органической школы в социологии. В России он пользовался широкой известностью, о чем в определенной степени свидетельствуют издания его собраний сочинений (Спенсер Г. 1) Собр. соч. Т. 1—7. СПб., 1866—1869; 2) Соч. Т. 1—7. СПб., 1898—1900), а также довольно обширной его «Автобиографии» (Ч. 1—2. СПб., 1914).

[31] *Каракозов Дмитрий Владимирович* (1840—1866), участник русского революционного движения. В начале 1866 г. принадлежал к революционному центру Ишутинского кружка. 4 апреля 1866 г. стрелял в императора Александра II у ворот Летнего сада в Петербурге. Но покушение не удалось. Казнен на Смоленском поле в Петербурге 3 (15) сентября 1866 г.

[32] «Московские Ведомости» — газета, издававшаяся в 1756—1917 гг. (до

1812 г. — 2 раза в неделю, затем — 3 раза, с 1859 г. — ежедневно). В 1779—1789 гг., когда «Московские ведомости» арендовал Н. И. Новиков, они были лучшей русской газетой. С 1863 г. арендаторами-редакторами «Московских ведомостей» становятся М. Н. Катков и П. Н. Леонтьев. Газета приобретает реакционный характер, сохранившийся вплоть до ее закрытия после Октябрьской революции.

[33] *Комиссаров Осип Петрович* (1838—1892), шапочный мастер, уроженец Костромской губернии. 4 апреля 1866 г. спас жизнь императора Александра II, отведя в сторону руку с пистолетом Д. В. Каракозова, целившегося у ворот Летнего сада (в Петербурге) в царя. Каракозов промахнулся, а Комиссаров был возведен в потомственное дворянство под фамилией Комиссаров-Костромской.

[34] Н. И. Кареев не точен. В 1867 г. в Париже на жизнь Александра II покушался поляк Березовский. А. Н. Соловьевым была произведена попытка убить царя 2 апреля 1879 г.

[35] *Фурье Франсуа Мари Шарль* (1772—1837), французский утопический социалист. Свои исторические и социальные взгляды Фурье изложил в книге «Теория четырех движений и всеобщих судеб» (1808) и многочисленных статьях. Подробный план организации общества будущего им разработан в «Трактате о домоводческо-земледельческой ассоциации» (Т. 1—2. 1822). К. Маркс и Ф. Энгельс называли Фурье наряду с К. А. Сен-Симоном и Р. Оуэном одним из тех мыслителей, которые «гениально предвосхитили бесчисленное множество таких истин, правильность которых мы доказываем теперь научно...» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 18. С. 499).

[36] *Карлейль Томас* (1795—1881), английский публицист, историк, философ. В его сочинении «Французская революция» (1837; русск. пер. 1907), наряду с оправданием свержения народными массами абсолютистского строя, уже намечается субъективистская идеалистическая концепция «культа героев», которую он развернул в книге «Герои, почитание героев и героическое в истории» (1842; русск. пер. 3-е изд., 1908). Исторические сочинения Карлейля вызывали значительный интерес у российского читателя второй половины XIX в.

[37] *Шахматов Алексей Александрович* (1864—1920), русский ученый-лингвист и филолог-текстолог. Академик (с 1898 г.), член многих иностранных академий. У Шахматова с малолетства проявился интерес к истории, к русским летописям. Он первым дал цельную историю русского летописания XI—XVI вв. Методика изучения русского летописания, разработанная Шахматовым, с некоторыми поправками и дополнениями, сделанными советскими учеными, успешно применяется в современной науке.

[38] *Бопп Франц* (1791—1867), основатель сравнительного языкознания. Главный его труд — «Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Send, Armenischen, Griechischen, Gotischen und Deutschen» (Berlin, 1833). С 1821 г. Бопп стал профессором Берлинского университета, был избран академиком.

[39] *Мюллер Макс* (1823—1900), известный индианист и мифолог. в 1884 г. издал свой первый труд — перевод «Хитопадеши». Издал «Purbegy» в 10-ти книгах (2-е изд. 1890—1892). Читал лекции в Оксфордском университете. Занимался и философией. Его сочинения есть и на русском языке: «Сравнительная мифология» (Летописи русской литературы и древности. Т. 1—5/ Сост. Н. С. Тихонравов. Т. 5. М., 1863); «Лекции по науке о языке» (СПб., 1865); «Науки о языке» (Воронеж, 1868) и др.).

[40] Кареев Н. И. Фонетическая и графическая система древнего эллинского языка. М., 1868.

[41] Фогт [Рецензия]//ЖМНП. 1869. IX. С. 175—182.— Рец. на кн.: Кареев Н. Фонетическая и графическая система древнего эллинского языка. М., 1868. 32 с.

[42] Нам удалось разыскать первый печатный опус гимназиста Кареева «Краткая русская история для народных школ» (М., 1869. 54 с.), которого зрелый ученый стыдился всю свою жизнь.

[43] В «Филологических записках», которые издавал А. А. Хованский в Воронеже, Н. И. Кареев в 70-е годы XIX в. опубликовал около двух десятков

статей и рецензий, в том числе такие крупные исследования, как «Главные антропоморфические боги славянского язычества» (1872. Т. 3, 4, 5); «Миф и героический эпос» (1872. Т. 6); «Мифологические этюды» (1873. Т. 2, 3, 4, 6) и др. Прочные связи с журналом еще более укрепились у Н. И. Кареева в 80-е годы.

[44] *Вундт Вильгельм Макс* (1832—1920), знаменитый немецкий философ-идеалист, психолог и физиолог, один из основателей экспериментальной психологии. Его сочинение «Душа человека и животных» было довольно ранним плодом его творчества. Более знаменитым оказался труд Вундта «Система философии» (Wund V. M. System der Philosophie. Leipzig, 1889).

[45] *Бокль Генри Томас* (1821—1862), английский историк и социолог-позитивист. Его сочинение «История цивилизации в Англии» (Т. 1—2. 1857—1862; русск. пер. Т. 1—2. СПб., 1863—1864) имело очень широкое распространение в европейских странах, в том числе и в России, поскольку автор предпринял попытку открыть исторические законы социального прогресса с помощью индуктивного изучения истории и применения статистического метода, а также проиллюстрировать действие этих законов в истории некоторых стран. Этот труд Бокля пропагандировал Н. Г. Чернышевский в своей большой статье «Замечания на книгу Г. Т. Бокля „История цивилизации в Англии"» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. 16. М., 1953. С. 535—635).

Глава V

[1] *Перетяткович Егор Иванович* (1840—1908), русский историк, преподавал отечественную историю в Новороссийском университете (с 1877 г.). Перетяткович — ученик С. М. Соловьева. Окончил Московский университет. Написал магистерскую диссертацию «Поволжье в XV и XVI вв.: Очерки из истории края и его колонизации» (М., 1877). Этой же теме он посвятил свою докторскую диссертацию.

[2] *Ключевский Василий Осипович* (1841—1911), выдающийся русский историк. Родился в семье сельского священника Пензенской губернии. В 1865 г. окончил историко-филологический факультет Московского университета. В 1872 г. защитил магистерскую диссертацию «Древнерусские жития святых как исторический источник» (М., 1871), в 1882 г. — докторскую диссертацию «Боярская дума Древней Руси» (М., 1882). С этого же времени — профессор Московского университета, с 1889 г. — член-корреспондент Академии наук, с 1900 г. — академик истории и древностей российских, с 1908 г. — почетный академик изящной словесности. Ключевский — автор знаменитого пятитомника «Курс русской истории» (М., 1956—1959), многократно издававшегося в нашей стране.

[3] *Шлейхер Август* (1821—1876), знаменитый германский языковед, написавший ряд статей, в том числе «Die Darwinsche Theorie und die Sprachwissenschaft» (1863), в которых стремился применить (любопытно, хотя и неудачно) учение Дарвина о происхождении видов к объяснению разнообразия языков.

[4] *Боков Петр Иванович,* врач, один из ближайших друзей Н. Г. Чернышевского. Был причастен к распространению прокламации «Великорусс» в 1861 г. Участник «Земли и воли» 1862—1863 гг. В 1862 г. судился по делу о распространении «Великорусса». По мнению некоторых современников, — прототип Лопухина в романе «Что делать?» Чернышевского.

[5] *Цицерон Марк Туллий* (106—43 гг. до н. э.), римский политический деятель, оратор и писатель. Сторонник республиканского строя. Из сочинений сохранились 58 судебных и политических речей, 19 трактатов (в том числе и упоминаемый Н. И. Кареевым трактат «Об ораторе») по риторике, политике, философии и более 800 писем. Сочинения Цицерона — важный источник по эпохе гражданских войн в Риме.

[6] *Тацит* (ок. 58 г. — ок. 117 г.), римский историк. Главные труды посвящены истории Рима и Римской империи в 14—68 гг. («Анналы») и в 69—96 гг. («История» в 14-ти книгах, из которых дошли 1—4-я и начало 5-й),

а также религии, общественному устройству и быту древних германиев (в том числе и очерк «Германия», о котором упоминает Н. И. Кареев).

[7] *Леонтьев Павел Михайлович* (1822—1874), профессор (с 1847 г.) кафедры римской словесности и древностей Московского университета. С основанием катковского «Русского Вестника» (1856) начинается журнальная деятельность Леонтьева. На М. Н. Каткова он имел заметное влияние. С 1865 г. Леонтьев стал издавать газету «Московские Ведомости». Находя спасение от «язвы материализма» исключительно в изучении древних классиков, Леонтьев немало способствовал подготовке и проведению гимназической реформы (1871 г.) Д. А. Толстого. Леонтьев отличался консервативными взглядами и скандальным характером.

[8] *Корш Федор Евгеньевич* (1843—1915), филолог, сын Е. Ф. Корша (о нем см. прим. 50 настоящей гл.); профессор римской словесности в Новороссийском и Московском университетах, академик. Обладал громадной эрудицией. Из его работ по словесности упомянем «Способы относительного подчинения. Глава из сравнительного синтаксиса» (М., 1877). Он написал также ряд книг по римской литературе. Выступал и как публицист, и как общественный деятель. В 1908 г. в Москве было основано Общество славянской культуры, и Корш единогласно был избран его председателем. Один из биографов Корша писал: «...мера дарований, отпущенных ему судьбой, была почти безгранична» (ГМ. 1915. V. С. 239).

[9] *Катков Михаил Никифорович* (1818—1887), русский публицист, издатель журнала «Русский вестник» (с 1856 г.) и газеты «Московские Ведомости» (1851—1855, 1863—1887). В 50-е годы — умеренный либерал, сторонник английской политической системы. С 60-х годов — апологет реакционного правительственного курса, один из вдохновителей контрреформ. Имел громадное влияние на общественное мнение России того времени, о чем свидетельствует, например, посвященный ему памфлет времен 70-х годов XIX в., впервые опубликованный лишь в 1916 г.:

М. Н. Катков
(Один из памфлетов 70 гг.)

Кто всей Россией управляет?
Министров ставит и сменяет?
Кто нас берег от разных ков?
Михаил Никифорович Катков.
Кто усмирил сепаратистов?
И в грязь втоптал всех нигилистов?
Кто русских спас от поляков?
Михаил Никифорович Катков.
Кто, убоясь естествознания,
Как страшной гидры отрицания,
Спас от него нас, дураков?
Михаил Никифорович Катков.
Кто основал лицей, в котором,
Классическим питая вздором,
Готовят родине сынов?
Михаил Никифорович Катков.
И кто вдруг стал из англоманов
На страже русского дурмана
Плетей, доносов, кабаков?
Михаил Никифорович Катков.
Но нам всего не перечесть,
Что делает Каткову честь,
Итак, не тратя лишних слов,
Кричите все — ура, Катков!
(ГМ. 1916. XI. С. 206).

[10] *Шерцель (или Шерцль) Викентий Иванович* (1843—?), филолог, в 1869 г. за диссертацию «Личные местоимения в санскрите» получил степень магистра и был избран доцентом сравнительного языкознания в Харьковском

университете. В 1880 г. Шерцель получил степень доктора в Московском университете за диссертацию «Числительные в индоевропейских языках». Из его трудов следует назвать «Сравнительную грамматику славянских и других родственных языков» (Харьков. Ч. I, II. 1871, 1873), «Санскритскую грамматику) (1873) и др.

[11] *Гильфердинг Александр Федорович* (1831—1872), русский славяновед, собиратель и исследователь былин, член-корреспондент Петербургской академии наук (1856). В 1852 г. окончил историко-филологический факультет Московского университета. С большой филологической точностью он записал 318 былинных текстов (Онежские былины. М., 1873). Гильфердингу принадлежат также значительные работы по истории. В 1871—1872 гг. он предпринял поездку за былинами в Олонецкую губернию, где и умер.

[12] Кареев Н. И. 1) Главные антропоморфические боги славянского язычества//ФЗ. 1872. III—V; 2) [Рецензия]//Там же. 1876. IV — Рец. на кн.: Крек Г. Введение в изучение славянства (Krek G. Einleitung in die slavische Literaturgeschichte. Graz, 1874).

[13] *Петров Павел Яковлевич* (1814—1875), известный русский ориенталист. Окончил Московский университет в 1832 г. В 1838 г. был отправлен за границу для усовершенствования знаний в санскрите. По возвращении в 1841 г. начал работать в Казанском университете. В 1852 г. был переведен в Московский университет на кафедру санскрита, которая получила название восточных языков. Лекции Петрова не были обязательны для студентов, тем не менее слушатели у него всегда находились, особенно по санскриту. Посещали лекции и некоторые профессора (например, П. М. Леонтьев). Интересные сведения о П. Я. Петрове содержатся в статье Н. В. Берга (Русская Старина. 1876. Т. XVIII).

[14] *Геттнер Герман Теодор* (1821—1882), немецкий историк литературы и искусства. Работал в качестве приват-доцента в Гейдельбергском университете. Написал обширное исследование «Literaturgeschichte des 18 Jahrhunderts». Имеется русский перевод (см. Геттнер Г. История всеобщей литературы XVIII в. 2-е изд. Т. 1—2/Пер. А. Н. Пыпина. СПб., 1896—1898). В этом труде Геттнер стоит на исторической точке зрения и решающее значение придает условиям эпохи, при которых развивается литературная деятельность того или другого писателя. У Геттнера есть также ряд исследований по истории литературы и искусства.

[15] *Стороженко Николай Ильич* (1838—1906), выдающийся текстолог, профессор Московского университета по кафедре всеобщей истории литературы. Окончил Московский университет в 1860 г., учился у профессоров О. М. Бодянского и Ф. И. Буслаева. Около четырех лет провел за границей, работал в библиотеке Британского музея над изучением творчества Шекспира, которому посвятил много работ. В 1872 г. вышла его магистерская диссертация «Предшественники Шекспира» (СПб., 1872). Докторская диссертация «Роберт Грин» (М., 1878) переведена на английский язык (London, 1881).

[16] *Веселовский Алексей Николаевич* (1843—?), историк литературы. Окончил Московский университет. После этого уехал за границу, где занимался не только историей литературы, но и историей музыки славянских народов. После возвращения учительствовал и сотрудничал в газетах и журналах. В 1870 г. вышла его книга «Старинный театр в Европе». Затем написал целый ряд работ о западноевропейских писателях: Мольере (1878), Свифте (1877), Дидро (1884), Бомарше (1887), Байроне (1902) и др. С 1906 г. — почетный академик. С. А. Венгеров писал об А. Н. Веселовском: «Блестящий стилист, одаренный живым пониманием прекрасного, Веселовский принадлежит к числу тех немногих у нас историков литературы, которые умеют соединить специальные знания с широтою взгляда» (Новый энциклопедический словарь. Т. 10. СПб., б. д. С. 305).

[17] *Брандес Георг-Морис-Коген* (1842—1927), знаменитый датский критик и историк литературы. Автор работ: «Идея возмездия у древних» (написана в студенческие годы), «Этюды по эстетике» (1868), «Современная французская эстетика» (докторская диссертация, посвященная И. Тэну). С 1871 г. в Копенгагенском университете читал курс «О главных течениях в европей-

ской литературе XIX века». В 1897—1898 гг. Брандес написал исследование о Шекспире. Он проявил интерес и к русской литературе, написав статьи о творчестве И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. М. Горького. Присутствовал и произнес речь при открытии памятника Н. В. Гоголю в Москве (1910). Есть переводы работ Брандеса на русский язык. В 1902—1903 гг. в Киеве вышло собрание сочинений Брандеса в 12-ти томах под редакцией М. В. Лучицкой. В 1908—1910 гг. вышло собрание сочинений Брандеса в Петербурге в 20-ти томах.

[18] *Куторга Михаил Семенович* (1809—1886), русский историк, специалист по истории Древней Греции. Окончил Петербургский университет и Дерптский профессорский институт. В 1832 г. защитил магистерскую, а в 1838 г. — докторскую диссертацию. С 1835 по 1869 г. преподавал в Петербургском, а с 1869 по 1874 г. — в Московском университете. С 1874 г. — на пенсии. Исследования Куторги посвящены узловым проблемам социальной и политической истории античности. В центре его научных интересов была архаическая и классическая Греция. После смерти Куторги было издано его собрание сочинений (Куторга М. С. Собр. соч. Т. 1-2. СПб., 1894—1896).

[19] *Герье Владимир Иванович* (1837—1919), русский историк, профессор всеобщей истории Московского университета (1868—1904), один из первых ученых всеобщей истории в России, приступавших к исследованию проблем истории нового времени стран Запада на основе русских и зарубежных архивных источников. Герье в конце 60-х годов XIX в. впервые в процессе обучения студентов-историков Московского университета ввел практические занятия, что значительно повлияло на профессиональную подготовку молодых историков. Сам получив прекрасную подготовку в германских университетах, он сумел привить своим ученикам строгость мышления и научные методы исследования проблем истории. Написал В. И. Герье мало. Эволюция его политических взглядов постоянно шла вправо — от либерализма к консерватизму. Закономерно, что в 1907 г. он стал октябристом, а годом позже был назначен членом Государственного совета. Активно поддерживал аграрную политику П. А. Столыпина. У Н. И. Кареева отношения с В. И. Герье были весьма неровные. Но все же на склоне лет Н. И. Кареев признался: «В. И. Герье... я считаю своим учителем более, чем кого-либо другого из московских профессоров в свои студенческие годы...» (ГБЛ. Ф. 119. П. 44. Д. 12. Л. 32).

[20] Н. И. Кареев, как по всему видно, вослед М. С. Куторге, передает разговорные фамилии историков, изучавших «эллинство»: Исаака Казабона и Клавдия Сомэза. *Исаак Казабон* родился в Женеве 8 февраля 1559 г., умер в Лондоне 1 июля 1614 г. Казабон — старинный французский род, владевший поместьями в Дофине, но подвергшийся гонениям за принятие учения Кальвина. Отец Исаака уехал в Женеву, где оставался несколько лет; возвратившись в Дофин, он был избран пастором реформистской церкви в городе Кресте. Исаак был направлен отцом в Женевский университет, где учился у Франциска Порта, затем был профессором греческого языка в Женеве и позже в Монпелье. Генрих IV вызвал его в Париж, но Иссак пробыл там недолго и в конце 1608 г. переселился со своей семьей в протестантскую Англию. Не только изданные Казабоном труды Аристотеля, Афинея, Феофраста, Полиэна, а также и многие его собственные сочинения сыграли свою роль в развитии исторической науки.

[21] *Сомэз (или Сальмазий) Клавдий* родился в Семюре 15 апреля 1588 г., умер в Миа 6 сентября 1658 г., профессор в Лейденском университете, много сделал для «установления науки об эллинстве». Прекрасно владея языком, он свободно читал Пиндара и сам сочинял стихи по-гречески. В Париже Клавдий Сальмазий учился у Казабона, пока тот не уехал в Англию. После этого юный Клавдий Сальмазий обучался в Гейдельберге, где проявил всю свою даровитость. В 1631 г. он принял профессуру в Лейденском университете. Написал много сочинений, в которых указал на важность и значение финансов в древних греческих республиках, стараясь разъяснить этот, едва до него затронутый, предмет.

[22] *Гордон Чарльз Джордж* (1833—1885), английский генерал, в 1855—

1856 гг. участвовал в Крымской войне и осаде г. Севастополя. В 1863—1864 гг. участвовал в подавлении восстания тайпинов в Китае. В 1884 г. был послан в Судан для подавления движения махдистов. Явился в Хартум без достаточного количества солдат, был там осажден, взят в плен и умерщвлен в январе 1885 г.

[23] *Грот Джордж* (1794—1871), английский историк и политический деятель, автор монументальной истории Греции (History of Greece. Bd 1—12. London, 1845—1855). Биография Грота написана его женой Гарриет Грот (Groten G. The personal life of George Groten. London, 1873).

[24] *Геродот* (между 490 и 480 гг. — около 425 г. до н. э.), древнегреческий историк, прозванный «отцом истории». Автор сочинения, посвященного описанию греко-персидских войн с изложением истории государства Ахеменидов, Египта и др.; дал первое систематическое описание жизни и быта скифов.

[25] *Фукидид* (около 460—400 гг. до н. э.), древнегреческий историк. Автор «Истории» (в 8-ми книгах) — труда, посвященного истории Пелопоннесской войны (до 411 г. до н. э.). Это сочинение считается вершиной античной историографии.

[26] *Страбон* (64—63 гг. до н. э. — 24—23 гг. н. э.), древнегреческий географ и историк. Много путешествовал. Автор «Географии» (в 17-ти книгах), являющейся обобщением и итогом географических знаний античности.

[27] *Павсаний*, древнегреческий писатель II в. Он создал «Описание Эллады», которое представляет собой своего рода путеводитель по наиболее достопримечательным памятникам архитектуры и искусства Греции.

[28] Семинарские и практические занятия в русских университетах стали прививаться лишь в конце 60-х — начале 70-х годов XIX в. В Московском университете они впервые были введены, как уже было упомянуто, В. И. Герье по всеобщей истории, а затем и по русской истории С. М. Соловьевым, Н. А. Поповым и др. В Харьковском университете первенствовал в этом деле профессор М. Н. Петров (1823—1887).

[29] Специализация — по нынешней терминологии — в Московском университете начала строго проводиться в жизнь лишь в начале 70-х годов XIX в.

[30] Правила Московского университета совершенно определенно говорят об оставлении при университете «отличнейших из окончивших университетский курс» (ЖМНП. 1916. VII. С. 49).

[31] *Попов Нил Александрович* (1833—1891), историк и славянофил. Окончил Московский университет. В 1857—1859 гг.— адъюнкт по кафедре русской истории в Казанском университете. В 1860 г. Попов был переведен на кафедру русской истории, где и работал до конца жизни. Проф. В. О. Ключевский в своей речи на похоронах Н. А. Попова назвал его одним из последних представителей лучших времен Московского университета — времен Т. Н. Грановского, П. Н. Кудрявцева и С. М. Соловьева. Попов много лет работал деканом историко-филологического факультета, был членом-корреспондентом Академии наук.

[32] Именно Н. А. Попов, будучи деканом историко-филологического факультета Московского университета, взял на себя хлопоты по организации защиты магистерской диссертации Н. А. Кареева «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века» (М., 1879).

[33] *Иванцов-Платонов Александр Михайлович* (1835—1894), протоиерей, профессор церковной истории Московского университета в 70 — 90-е годы XIX в. С начала 60-х годов Иванцов-Платонов поступает бакалавром по кафедре церковной истории в Петербургскую духовную академию, а с 1863 г. — законодателем Александровского военного училища и настоятелем находившейся при нем церкви. В 1872 г. по предложению Н. А. Попова и при содействии С. М. Соловьева Иванцов-Платонов избирается экстраординарным профессором церковной истории Московского университета, где и преподавал до конца жизни.

[34] *Богословский Ипполит Михайлович* служил вместе с А. М. Иванцовым-Платоновым в церкви Московского университета.

[35] *Герц Карл Карлович* (1820—1883), профессор Московского университета.

[36] Малеин А. И. Карл Карлович Герц (1820—1883): Биограф. очерк. СПб., 1912.

[37] *Юркевич Памфил Данилович* (1827—1874) окончил Киевскую духовную академию, в 1861 г. был приглашен на кафедру философии Московского университета, где и работал до конца жизни. В 1889—1873 гг. был деканом историко-филологического факультета Московского университета. Именно Юркевич заметил дарование Вл. Соловьева и много сделал для дальнейшего продвижения его в науке. Вл. Соловьев не остался в долгу, написав после смерти Юркевича статью «Три характеристики. М. М. Троицкий, Н. Я. Грот, П. Д. Юркевич» (Соловьев Вл. Соч. Т. 8. Пг., б. г. С. 414—430), в которой дал характеристику своему учителю. Несколько ранее он проанализировал мировоззрение Юркевича в специальной статье «О философских трудах П. Д. Юркевича» (ЖМНП. 1874. XII). Весьма подробно Юркевича характеризует биограф Вл. Соловьева С. М. Лукьянов в своей книге «Вл. С. Соловьев и его молодые годы: Материалы к биографии» (Кн. 1. Пг., 1916. С. 184—203).

Н. Г. Чернышевский «разносил» Юркевича в статье «Полемические красоты» (Чернышевский Н. Г. Избр. филос. соч.: В 3 т./Под общ. ред. М. М. Григорьяна. Т. 3. М., 1951. С. 343—426).

[38] Юркевич П. Д. Разум по учению Платона и опыт по учению Канна //Московские университетские известия. 1865.

[39] *Льюис Джордж Генри* (1817—1878), известный английский писатель. Ревностный поклонник Огюста Конта, которому посвятил сочинение «Conte's philosophy of the positive sciences» (1847). Русск. перевод см.: Генри Л. Огюст Конт и положительная философия. СПб., 1867.

[40] *Фишер Куно* (1824—?), немецкий историк философии, с 1856 по 1872 г. — профессор Йенского университета, затем — Гейдельбергского. Имеет целый ряд исследований по истории философии.

[41] *Тэн Ипполит* (1828—1893), французский литературовед, философ и историк. Профессор истории искусств в Школе изящных искусств в Париже (1864—1884). Член Французской академии (с 1878 г.). Труды Тэна 50—60-х годов были посвящены вопросам историографии. Основной исторический труд Тэна — «Происхождение современной Франции» (Vol. 1—3. Paris, 1876—1893; русск. пер. Т. 1—5. СПб., 1907). Подробный анализ этого сочинения дал Н. И. Кареев в своей обширной статье «Тэн перед судом Олара» (РБ. 1907. VII). См. также: Taine I. De l'intelligence. Paris, 1870.

[42] *Швеглер Альберт* (1819—1857), немецкий историк и философ, гегельянец. Он написал краткую, но очень ценную для своего времени «Историю философии» («Geschichte der Philolosophie im Umris», 1846), которая долгое время служила учебником. Есть русский перевод. Эту книгу Швеглера и имеет в виду Н. И. Кареев.

[43] *Шопенгауэр Артур* (1788—1860), немецкий философ-идеалист. Учился в Гёттингенском университете. В 1818 г. закончил свой главный философский труд «Мир как воля и представление» (Лейпциг, 1819). В 1820—1831 гг. — приват-доцент Берлинского университета. После 1831 г. жил во Франкфурте-на-Майне. Незамеченная современниками философия Шопенгауэра получила довольно широкое распространение во второй половине XIX в. во многих странах Европы, в том числе и в России.

[44] *Бабухин Александр Иванович* (1835—?), профессор гистологии и эмбриологии Московского университета. Лекции его пользовались большой популярностью благодаря широким сравнительным обобщениям из разных смежных наук, которые проводил ученый.

[45] *Капустин Михаил Николаевич* (1828—1899), юрист и государственный деятель. Окончил Московский университет, где работал на кафедре международного права. Позднее был директором Демидовского лицея в Ярославле, затем последовательно попечителем Дерптского и Петербургского учебных округов. Главные его сочинения: «Древнерусское поручательство» (Киев, 1855), «Международное право» (Ярославль, 1873), «О значении национальности в международном праве» (М., 1863) и др.

[46] *Крылов Никита Иванович* (1807—1879), русский ученый-правовед,

профессор кафедры римского права в Московском университете (1834—1874). Крупнейший юрист А. Ф. Кони писал о нем: «Крылов принадлежал к той группе молодых ученых, которые в половине 30-х годов были посланы графом Сперанским за границу и приглашены потом занять в русских университетах кафедры, в значительной степени до тех пор замещенные иностранцами, стоявшими чуждо и обособленно от русской общественной жизни и задач русской науки... Крылов начал читать в 1835 г. историю римского права... (она. — *В. З.*) не была сухим перечнем последовательно правовых норм и институтов — это была полная и яркая картина всего политико-юридического роста римского государственного организма. Положения догматики римского права он вел сравнительно с германским и русским правом, стараясь проследить с большой наблюдательностью и вдумчивостью влияние каждого института на дальнейшее развитие права в Европе...» (цит. по: ЖМНП. 1916. 1. С. 68, прим. 623). Крылов как лектор пользовался большой популярностью. Вместе с этим отметим, что С. М. Соловьев, не отрицая выдающихся способностей Н. И. Крылова-лектора, был невысокого мнения о его нравственном достоинстве, о чем и писал в своей работе «Моя записка для детей моих, а если можно, и для других» (Соловьев С. М. Избр. труды. Записки. М., 1983. С. 295—298).

[47] *Умов Владимир Алексеевич* (1847—1880), юрист. Окончил Московский университет. В 1872 г. защитил магистерскую диссертацию. В 1876 г. защитил докторскую диссертацию, что дало Умову возможность занять место ординарного профессора. Умов занимался главным образом юридическими основами собственности. В 1877 г. публикуется последний труд Умова «О влиянии отчуждения нанятого имущества на существование найма». Заметного следа в науке не оставил.

[48] *Муромцев Сергей Андреевич* (1850—1910), профессор Московского университета, юрист, одно время редактор журнала «Юридический Вестник» (где сотрудничал и Н. И. Кареев), председатель I Государственной думы. Н. И. Кареев писал: «Нас сблизил в умственной сфере интерес к позитивизму и к социологии... а в сфере общественной на почве либеральных стремлений, но, кроме того, у меня было и большое личное расположение к этому умному и благожелательному человеку, такому спокойному, корректному и изящному, каких вообще я очень мало встречал» (ГБЛ. Ф. 119. П. 44. Д. 12. Л. 41). После кончины Муромцева был подготовлен и издан сборник «Сергей Андреевич Муромцев» (М., 1911).

В. И. Ленин в своих работах неоднократно писал о С. Муромцеве как о политическом деятеле (см., напр.: Ленин В. И. Иван Васильевич Бабушкин//Полн. собр. соч. Т. 20. С. 82).

[49] *Герцен Александр Иванович* (1812—1870), русский революционер, писатель, философ. Окончил Московский университет (1833), где возглавлял революционный кружок. Печатался с 1836 г. под псевдонимом Искандер. С 1842 г. в Москве возглавлял левое крыло западников. Остро критиковал крепостной строй. С 1847 г. — в эмиграции. В 1853 г. основал в Лондоне Вольную русскую типографию. Издавал газету «Колокол», в которой обличал самодержавие, вел революционную пропаганду, требовал освобождения крестьян. В 1861 г. решительно встал на сторону революционной демократии, содействовал созданию «Земли и Воли», выступал в поддержку польского восстания 1863—1864 гг.

[50] *Корш Евгений Федорович* (1810—1897), редактор «Московских Ведомостей», в 40-е годы XIX в. участник кружка А. И. Герцена в Москве. Отец академика Ф. Е. Корша.

[51] Конечно, если судить по «Отчетам Московского университета» за годы, о которых идет речь, то действительно в них исследователь не найдет ничего существенного, что могло бы поколебать оценку Кареева. Однако есть свидетельства современников Кареева, которые говорят об обратном. Приведем отрывок из воспоминаний, например, А. В. Никитенко, весьма близко стоявшего к российской университетской жизни в то пятилетие (1869—1873), когда Н. И. Кареев был студентом Московского университета. В своем знаменитом дневнике 6 января 1869 г. А. В. Никитенко писал: «Студенты опять начина-

ют дурить: они предъявили свои требования о дозволении им сходок и проч.». 8 февраля: «Акт в зале дворянского собрания... Накануне боялись... что студенты сделают какую-нибудь непристойную демонстрацию. Однако все обошлось как нельзя лучше». 20 марта: «Да, в технологическом институте вчера действительно произошли беспорядки, для усмирения которых потребовалось содействие жандармов. В „Голосе" напечатано, что и в Московской Петровской академии прекращены лекции». 15 декабря: «В Московской Петровской академии убит один студент...» и т. д. и т. п. (цит. по: ЖМНП. 1915. X. С. 62—63).

[52] Н. И. Кареев в данном случае имеет в виду выступления студентов-медиков, недовольных чтением лекций профессором *Полуниным Алексеем Ивановичем* (1820—?). Полунин окончил в 1842 г. Московский университет. Был командирован на четыре с половиной года за границу. По возвращении в 1847 г. назначен адъюнктом терапевтической госпитальной клиники. В 1848 г. — магистр, с 1849 г. — экстраординарный, а с 1853 по 1879 г. — ординарный профессор патологической анатомии и физиологии.

[53] *Боборыкин Петр Дмитриевич* (1836—1921), русский писатель, автор многочисленных романов, в том числе романа «Китай-город», в котором есть описания Татьянина дня (см.: Боборыкин П. Д. Китай-город. Т. 1—2. М., 1883. С. 402—412).

[54] Н. И. Кареев, по всей вероятности, подразумевает главу XXXIX («Кутеж») повести Л. Н. Толстого «Юность» (Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т./Под ред. Б. М. Храпченко. Т. 1. М., 1978. С. 312—315).

[55] *Плеве Вячеслав Константинович* (1846—1904), царский министр внутренних дел и шеф жандармов (с апреля 1902 г.), ярый реакционер. Убит Е. Сазоновым 15 июня 1904 г.

[56] *Константин Николаевич,* сын Н. И. Кареева, окончил исторический факультет Московского университета, знал несколько иностранных языков, но, по словам Ореста Георгиевича Верейского, «не нашел себя в жизни». В 1928 г. Константин Николаевич был незаконно арестован, просидел несколько недель в тюрьме, затем был выпущен и выслан из Ленинграда. Во время Великой Отечественной войны попал в оккупацию. Умер на Украине в 1945 г. (Архив АН СССР (ЛО). Ф. 980. Оп. 1).

[57] *Громека Михаил Степанович* (1852—1883), окончил вместе с Н. И. Кареевым Московский университет. Затем работал школьным учителем в Варшаве (в конце 70-х — начале 80-х годов XIX в.). Написал книги о Л. Н. Толстом: «Последние произведения графа Л. Н. Толстого» (М., 1884. 226 с.); «Критический этюд по поводу романа „Анна Каренина"». (5-е изд. М., 1893. 211 с.). В этих сочинениях, по словам Н. И. Кареева, Громека «искусно умел изложить многие воззрения великого писателя...» (ГБЛ. Ф. 119. П. 44. Д. 12. Л. 21). В тридцатилетнем возрасте Громека покончил жизнь самоубийством.

[58] *Барсов Элпидифор Васильевич* (1837—1913), собиратель и исследователь произведений народного творчества и древней письменности. Заслугой Барсова является монументальное исследование «Слово о полку Игореве как художественный памятник Киевской дружинной Руси» (Т. 1—3. СПб., 1887—1890).

[59] *Шахов Александр Александрович* (1850—1877), окончил Московский университет, был командирован за границу для «приготовления к профессорскому званию», затем работал приват-доцентом. Его основные труды: «Французская литература в первые годы XIX века» (М., 1875), «Гете и его время» (М., 1891), «Очерки литературного движения в первую половину XIX века» (М., 1894), «Вольтер и его время» (М., 1907). «Эти книги, — писал Кареев,— отличаются большою литературностью, вполне позволяют судить, какую утрату понесли наука и профессура в лице Шахова. Он обладал живым и острым умом научно-реалистического склада с особенно подчеркнутою склонностью к „вольнодумству", что делало его большим поклонником позитивизма» (ГБЛ. Ф. 119. П. 44. Д. 13. Л. 1—2).

[60] *Блан Луи* (1811—1882), французский утопический социалист, историк, деятель революции 1848 г. во Франции. В 1841—1844 гг. Блан издал «Исто-

рию десяти лет» (в 5-ти т.), работу историко-публицистического характера, направленную против Июльской монархии. В 1847 г. Блан начал издавать 12-томную «Историю французской революции», последний том которой увидел свет в 1862 г. (русск. пер. Т. 1—12. СПб., 1907—1909), о чем и упоминает Н. И. Кареев.

[61] *Виноградов Павел Гаврилович* (1854—1925), русский историк-позитивист, один из крупнейших буржуазно-либеральных историков-медиевистов. Академик с 1914 г. Учился в Московском университете. Ученик (как и Н. И. Кареев) В. И. Герье. Выступал одним из оппонентов на магистерском диспуте Н. И. Кареева. По своим политическим взглядам консервативен. Видимо, поэтому Герье предпочел оставить на своей кафедре П. Г. Виноградова вместо Н. И. Кареева. После Октябрьской революции Виноградов принял английское подданство. В последующие годы работал в Оксфордском университете.

[62] *Фортунатов Степан Федорович* (1850—?), был младшим братом академика-лингвиста Филиппа Федоровича Фортунатова. Окончив Московский университет, стал преподавателем средних учебных заведений, читал лекции по новой истории на Высших Женских курсах и в качестве приват-доцента — в Московском университете. С. Ф. Фортунатов был одним из первых выпускников Московского университета, кого В. И. Герье направил за границу для подготовки, как тогда говорили, к «профессорскому званию».

[63] *Гольцев Виктор Александрович* (1850—1906), видный публицист и юрист. Окончил Московский университет. Был послан за границу (в Париж). Здесь он написал в 1875 г. открытое письмо П. Л. Лаврову за подписью «Русский конституционалист». Название письма четко выражает его общественно-политические взгляды. Это была первая ласточка оформлявшегося русского конституционализма, которая и закрыла для Гольцева путь на профессорскую кафедру. Много лет редактировал журнал «Русская Мысль».

[64] *Кишкин Николай Семенович* (1854—?), врач-терапевт, окончил С.-Петербургскую медико-хирургическую академию. Был профессором Московского университета по кафедре врачебной диагностики и пропедевтической клиники. В 1913 г. уволен реакционным министром народного просвещения. Определенный интерес представляют его труды: «Американский метод лечения желчных камней большими приемами прованского масла» (Труды Физико-медицинского общества. 1889. № 11), «О хлорозе» (М., 1898) и др.

[65] Кареев Н. И. Очерк истории французских крестьян с древнейших времен. Варшава, 1881.

[66] Кареев Н. И. Основные вопросы философии истории. Т. 1—2. М., 1883.

[67] *Дарвин Чарльз Роберт* (1809—1882), английский естествоиспытатель. С 1867 г. член-корреспондент Петербургской Академии наук. В основном своем труде «Происхождение видов» (СПб., 1868) Дарвин вскрыл основные факторы эволюции органического мира. В работе «Изменение домашних животных и растений в домашнем состоянии» (СПб., 1896) изложил дополнительный фактический материал к своему основному труду. В книге «Происхождение человека и половой отбор» (СПб., 1872) выдвинул гипотезу происхождения человека от обезьяноподобного предка.

[68] *Вайнц Теодор* (1821—1864), психолог и антрополог. С 1844 г. состоял профессором в Марбурге. В своих исследованиях Вайнц делал попытку основать психологию на естественнонаучных началах, указывая на несостоятельность идеалистических систем Фихте, Шеллинга и Гегеля, и в то же время призывал вернуться к Канту. Главное сочинение Вайнца «Anthropologie der Naturvölker» (Bd 1—4. Leipzig, 1859—1864).

[69] *Тэйлор (Тайлор) Эдуард Бернет* (1832—1917), английский антрополог, позитивист. Одним из главных трудов Тэйлора является «Primitive culture» (1871). Термины «переживание» и «анимизм» навсегда останутся связанными с именем Тэйлора. Широкой известностью в XIX в. пользовалась его «Антропология» (1881). На русский язык были переведены следующие труды Тэйлора: «Доисторический быт человечества и начало цивилизации»

(М., 1868), «Первобытная культура» (СПб., 1873), «Антропология» (СПб., 1882).

[70] *Лёббок* (1834—?), английский естествоиспытатель, археолог и политический деятель, один из последователей Ч. Дарвина. Написал ряд работ, посвященных построению и развитию низших животных.

[71] *Михайловский Николай Константинович* (1842—1904), русский публицист, литературный критик, социолог, один из идеологов народничества. Литературную деятельность начал в 1860 г. С 1866 г. работал в «Отечественных записках» (сотрудник, затем один из редакторов). В этом журнале опубликовал свои работы: «Что такое профессии?», «Теория Дарвина и общественные науки», «Записки профана» и др. С 1892 г. до самой смерти — один из ведущих редакторов журнала «Русское Богатство», в котором активно сотрудничал Н. И. Кареев. После смерти Н. К. Михайловского Кареев опубликовал воспоминания о нем: (Кареев Н. И. Памяти Н. К. Михайловского как социолога//РБ. 1904. III. С. 137—149). Ранее Кареев подверг анализу социологические воззрения своего коллеги в статье «Н. К. Михайловский как социолог» (РВ. 1900. № 318). Более подробно о нем см.: «На славном посту (1860—1900): Литературный сборник, посвященный Н. К. Михайловскому. СПб., 1900.

[72] *Лесевич Владимир Викторович* (1837—1905), философ-позитивист. Был сослан в Сибирь. Первая работа Лесевича «Очерк развития идеи прогресса» (Современное обозрение. 1868. IV, VI). Н. И. Кареев написал о Лесевиче воспоминания (Кареев Н. М. Памяти В. В. Лесевича: (Речь, произнесенная на годовом собрании Литературного фонда 2 февраля 1906 г.)//Современность (Русское Богатство). 1906. I. С. 131—135).

[73] *Южаков Сергей Николаевич* (1849—1910), русский публицист и экономист, либеральный народник. Автор «Социологических этюдов» (Вып. 1. 1891: Вып. 2. 1896), а также работ о крестьянском хозяйстве. В 1900—1919 гг. под редакцией Южакова вышла 22-томная «Большая энциклопедия». Субъективный идеалист в области социологии. Взгляды Южакова были подвергнуты острой критике в работах В. И. Ленина. «Что такое „друзья народа" и как они воюют против социал-демократов», «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г. Струве» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 1).

[74] Н. И. Кареев имеет в виду книгу П. Васильчикова «Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах» (Т. 1—2. СПб., 1876), которую подвергли не совсем корректной критике профессора Московского университета Б. Н. Чичерин и В. И. Герье в своей совместной работе «Русские дилетанты и общинное землевладение» (М., 1878). Под защиту Васильчикова взял не только Н. И. Кареев, но и патриарх российской журналистики того времени Н. К. Михайловский в своих «Письмах к ученым людям» (Михайловский Н. К. Соч.: В 6 т. Т. 4. СПб., 1895. С. 597—620).

Глава VI

[1] *Вейнберг (Вайнберг) Петр Исаевич* (1830—1908), известный поэт-переводчик, общественный деятель. Родился в г. Николаеве. В 1855 г. окончил Харьковский университет. В 1860 г. издавал журнал «Век», где выступал под псевдонимом «Гейне из Тамбова». С 1864 г. принялся за перевод Шекспира и в следующие годы в основном занимался переводческой деятельностью (Гёте, Гейне, Верне, Шелли, Ленау и др.). В 1868—1873 гг. занимал место профессора истории всеобщей литературы в Варшавской главной школе и Варшавском университете. В 1905 г. был избран почетным академиком. Был председателем Литературного фонда. Состоял приват-доцентом Петербургского университета по кафедре всеобщей истории литературы. 3 июля 1908 г. скончался в Петербурге. Его основные книги: Стихотворения. Одесса, 1854; Стихотворения. СПб., 1902; Русские поэты. СПб., 1904; Страницы из истории западных литератур. СПб., 1907; Русские народные песни об Иване Грозном. СПб., 1908.

[2] *Чупров Александр Иванович* (1842—1908), русский экономист, статист и публицист, чл.-кор. Петербургской Академии наук (1887). Окончил юридический факультет Московского университета (1866), в 1878—1899 гг. — профессор кафедры политической экономии и статистики. Один из основоположников русской статистики, автор многочисленных работ по политической экономии, аграрному вопросу и жилищно-аграрному хозяйству. Организовал Общество распространения технических знаний (1869), Статистическое отделение при Московском юридическом обществе (1882).

А. И. Чупров выступал за проведение аграрных преобразований в России. Редактировал сборник «Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства» (1897). Этот сборник рецензировал В. И. Ленин (см., напр.: Полн. собр. соч. Т. 3. С. 207.), А. И. Чупров — один из ведущих сотрудников русской либеральной газеты «Русские Ведомости».

[3] Впоследствии материалы этих лекций были обработаны Н. И. Кареевым и опубликованы в виде большой статьи «Несколько личных воспоминаний и общих мыслей о преподавании истории в средней школе и подгототовке учителей» (Наука и жизнь. 1916. IV—V).

[4] *Морозов Николай Александрович* (1854—1946), русский революционер-народоволец, ученый, почетный член АН СССР (1932). Член кружка «чайновцев», «Земли и Воли», исполкома «Народной Воли», участник покушений на Александра II. В 1882 г. приговорен к вечной каторге. До 1905 г. — в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. Человек энциклопедически образованный. Написал труды по химии, физике, астрономии, математике, истории.

В воспоминаниях «Как я стал революционером. Повести моей жизни» (В 3 т. Т. 1. М.; Л., 1928) Н. А. Морозов подробно описывает свои споры с М. С. Кореликым (с. 121—129).

[5] *Корелин Михаил Сергеевич* (1855—1899), русский историк западноевропейского средневековья. Ученик В. И. Герье. Профессор Московского университета с 1892 г. За исследование «Ранний итальянский гуманизм и его историография» (2-е изд. Т. 1—4. М., 1914), представленное как магистерская диссертация, получил степень доктора. Причем первый том четырехтомника М. С. Корелина открывается вступительной статьей Н. И. Кареева о своем друге и коллеге. Кареев, в частности, написал о Корелине несколько больших статей (Кареев Н. И. 1) Итальянский гуманизм и новый его исследователь//ВЕ. 1893. VIII—X; 2) М. С. Корелин как историк гуманизма// РМ. 1900. V).

[6] Беллярминов И. И. Элементарный курс всеобщей и русской истории. Вып. 1—2. СПб., 1871—1872. — С 1872 г. учебник выпускался в одном томе.

[7] *Шульгин Виталий Яковлевич* (1822—1878), историк и журналист. Окончил Киевский университет. С 1849 г. — адъюнкт по кафедре всеобщей истории Киевского университета, затем (до 1862 г.) экстраординарный профессор. Блестящий лектор. В конце своей профессорской деятельности Шульгин положил начало семинарским занятиям в Киевском университете. С 1864 г. — редактор газеты «Киевлянин». Шульгин написал, в частности, учебники истории для гимназий: «Курс истории древнего мира» (Киев, 1859; 6-е изд. 1865); «Курс истории средних веков» (Киев, 1859; 8-е изд. 1881); «Курс истории новых времен» (Киев, 1861; 7-е изд. 1892). Учебники эти имели для своего времени большое значение: ничего подобного в русской педагогической литературе до тех пор не было. «Как можно менее голых чисел и безличных имен и как можно более живых людей», — в этом Шульгин видел основу исторического преподавания. В текст своих учебников он внес отрывки из разных исторических сочинений как русских, так и иностранных; учебники были снабжены библиографическими указателями; написаны своеобразным, колоритным языком.

[8] *Иловайский Дмитрий Иванович* (1832—1920), историк консервативного направления. В начале 70-х годов XIX в. издал свои школьные учебники по всем разделам отечественной и всеобщей истории, основанные на монархической методологии, которые по существу царили в российской школе вплоть до Великой Октябрьской революции.

[9] *Долгушин Александр Васильевич* (1848—1885), русский революционер. За революционную деятельность неоднократно судился. Приговаривался к длительным тюремным заключениям. С 1884 г. томился в Шлиссельбургской крепости, где и умер.

[10] Подробнее о М. Н. Каткове см. прим. 9 к гл. V.

[11] *Ковалевский Максим Максимович* (1851—1916), русский историк общественного и государственного строя и социально-политических учений, этнограф, социолог. В 1878—1887 гг. работал приват-доцентом, профессором Московского университета. Как лектор пользовался широкой популярностью, играл большую роль в кругу молодой профессуры Московского университета того времени.

[12] Критическое обозрение. М., 1879. IX. С. 17—36. Кроме того, см.: Московские Ведомости. 1879. № 75 (25 марта). С. 6; Критическое обозрение, 1879. X. С. 45—48.

[13] Кареев опубликовал (в советское время) сохранившийся у него перевод письма К. Маркса к М. М. Ковалевскому (Былое. 1922. XX. С. 103—105). См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 34. С. 286—287.

[14] Дело. 1879. № 4 (апрель).

[15] *Виппер Роберт Юрьевич* (1859—1954), советский историк, профессор, академик Академии наук СССР (с 1943 г.). Учился в Московском университете (1876—1880). В 1894 г. защитил докторскую диссертацию «Церковь и государство в Женеве XVI в. в эпоху кальвинизма».

[16] *Якушкин Вячеслав Евгеньевич* (1856—1912), исследователь русской истории и русской литературы. Окончил Московский университет. С 1890 г. — магистр русской истории. Принимал активное участие в «Русских Ведомостях». За речь о А. С. Пушкине на юбилейных торжествах 1899 г. был выслан из Москвы. Много исследований посвятил творчеству Пушкина (Радищев и Пушкин. М., 1886; О Пушкине. М., 1899, и др.).

[17] Кареев Н. И. Несостоявшийся юбилей//Русский Библиофил. 1915. № 5. С. 109—110.

[18] Кареев Н. И. Заметка о распадении поземельной общины на Западе: (По поводу брошюры «Очерк истории распадения общинного землевладения в кантоне Ваадт» Максима Ковалевского. Лондон, 1876. С. 1—38)//Знание. 1876. IV. С. 1—14.

[19] Кареев Н. И. М. М. Ковалевский о своих исторических работах// Право (Еженедельная юридическая газета). 1916. № 13 (3 апреля). С. 790—797.

[20] Кареев Н. И. М. М. Ковалевский как историк Французской революции//ВЕ. 1917. II. С. 211—226.

[21] Кареев Н. И. М. М. Ковалевский как историк и социолог//Максим Ковалевский. СПб.; Пг., 1918 (на титульном листе «1917»).

[22] *Стороженко Николай Ильич* (1836—1906), русский ученый, историк западноевропейской (главным образом — английской) литературы. Окончил Московский университет. В 1872 г. был избран профессором вновь учрежденной в Московском университете кафедры истории всеобщей литературы. Являлся председателем «Общества любителей российской словесности» (1894—1901) и главным библиотекарем Румянцевского музея (1893—1902), (ныне Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина в Москве).

Основные исследования Н. И. Стороженко посвящены изучению творчества В. Шекспира: «Поэзия мировой скорби» (Одесса, 1895); «Опыт изучения Шекспира» (М., 1902); «Из области литературы» (М., 1902).

[23] *Иванюков Иван Иванович* (1844—1912), в 70-е годы XIX в. — профессор политической экономии Петровской академии в Москве. В начале XX в. Иванюков переехал в Петербург, где работал профессором С.-Петербургского политехнического института в одно время с Н. И. Кареевым. Кареев сохранил об Иванюкове самые добрые воспоминания, которые опубликовал сразу же после его смерти (см.: Известия С.-Петербургского политехнического института. 1912. Т. 17).

[24] *Янжул Иван Иванович* (1846—1914), известный экономист. Окончил Московский университет. Был послан за границу для совершенствования зна-

ний. В 1874 г. написал магистерскую диссертацию «Исследование о косвенных налогах», после ее защиты был избран доцентом кафедры финансового права в Московском университете. В 1876 г. получил степень доктора за сочинение «Английская свободная торговля» и был избран ординарным профессором. Имел ряд трудов по экономическим вопросам.

[25] *Боголепов Николай Павлович* (1847—1901), юрист и государственный деятель. Окончил Московский университет, где состоял потом профессором на кафедре римского права. С 1884 по 1887 г. — ректор Московского университета, с 1895 г. — попечитель Московского учебного округа, с 1898 г. — министр народного просвещения. Человек консервативных убеждений. Будучи министром, был непосредственно причастен к увольнению большой группы профессоров С.-Петербургского (в том числе Н. И. Кареева в 1899 г.) и Московского университетов.

Глава VII

[1] Речь идет о Степане Федоровиче Фортунатове (см. об этом прим. 62 к гл. V настоящей книги), который был послан одним из первых выпускников историко-филологического факультета Московского университета за границу, но, не выдержав одиночества, действительно за много месяцев до истечения срока вернулся в Москву.

[2] *Патера Адольф Осипович,* выдающийся чешский филолог. В совершенстве владел русским языком, всегда оказывал содействие русским ученым, посещавшим Прагу. Главный труд Патера «Чешские глоссы в Mater Verborum» (СПб., 1878). Написал ряд статей по филологии.

[3] *Тьер Адольф* (1797—1877) — французский государственный деятель и историк — умер 3 сентября 1877 г., похороны состоялись несколько дней спустя. Следовательно, Н. И. Кареев приехал в Париж 5 или 6 сентября 1877 г.

[4] *Мак-Магон Патрис* (1808—1893), маршал Франции, герцог. Руководил армией, разгромленной в 1870 г. под Седаном во время франко-прусской войны. Командовал войсками версальцев, подавивших Парижскую Коммуну 1871 г. В 1878—1879 гг. — президент Французской Республики. В 1877 г. участвовал в подготовке сорвавшегося монархического заговора.

[5] *Гамбетта Леон* (1838—1882), французский государственный деятель, лидер левых буржуазных республиканцев. В 1881—1882 гг. — премьер-министр и министр иностранных дел Франции. В конце жизни сблизился с правыми буржуазными республиканцами.

[6] *Дерели (Дорелли) Виктор* переводил не только произведения Ф. М. Достоевского, но и сочинения русского романиста А. Ф. Писемского. Сохранилась по этому поводу переписка А. Ф. Писемского с В. Дерели (Писемский А. Ф. Полн. собр. соч.: В 24 т. 2-е изд. Т. 1. СПб., 1895. С. CCV—CCXII).

[7] *Консидеран Виктор* (1808—1893), французский писатель, глава школы фурьеристов. С 1830 г. активно работал в журналистике, пропагандируя учение Фурье. Принимал участие в восстании 13 июня 1849 г., после его подавления бежал за границу, заочно был приговорен к ссылке. После возвращения во Францию отошел от активной общественной деятельности. Н. И. Кареев встречался с В. Консидераном, о чем написал статью «Мои встречи с Виктором Консидераном» (ГМ. 1915. X. С. 179—183).

[8] *Фюстель де Куланж Нюма Дени* (1830—1889), французский историк, член Академии моральных и политических наук. В 1875—1888 гг. (с перерывом в 1880—1883 гг., когда возглавлял Высшую нормальную школу) — профессор Сорбонны. Главный труд Фюстель де Куланжа «L'Etat antique» (Paris, 1864), в русском переводе — «Гражданская община античного мира» (М., 1867), был широко известен в России и в других странах.

[9] Краткое содержание книги Кареева «Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четверти XVIII века» (М., 1879) было изложено во французском журнале «Séances et travaux de L'Academie des sciences morales et politiques» (1879. Août — Septembre) при прямом содействии Фюстель де Куланжа.

[10] *Грегуар Анри* (1750—1838), видный деятель Великой Французской

революции, депутат Генеральных штатов, Учредительного собрания и Национального конвента.

[11] Н. И. Кареев много писал о П. Л. Лаврове. В данном случае он имеет в виду свою статью «Из воспоминаний о П. Л. Лаврове» (Былое. 1918. IX. (кн. 3). С. 11—23).

[12] Кареев Н. И. Лавров как социолог//Петр Лаврович Лавров. Пг., 1922. С. 193—248.

[13] Лавров П. Л. Опыт истории мысли нового времени. Т. 1: Задачи истории мысли. До истории. Женева, 1888. С 78, 101—102.— Двухтомное исследование Н. И. Кареева «Основные вопросы философии истории» (Т. 1—2. М., 1883) Лавров дважды назвал «замечательным трудом» (с. 78, 101), для убедительности не преминув при этом добавить, что «разница в оттенках мысли едва ли может устранить общий характер согласия между нами...» (с. 101).

[14] *Лопатин Герман Александрович* (1845—1918), русский революционер, член Генерального совета I Интернационала, первый переводчик «Капитала» К. Маркса в России. За революционную деятельность в октябре 1884 г. был арестован, по «процессу 21-го» (1887 г.) навечно заточен в Шлиссельбургскую крепость. Революция 1905—1907 гг. вызволила Лопатина из заточения.

[15] *Кропоткин Петр Алексеевич* (1842—1921), русский революционер, один из теоретиков анархизма, социолог, географ, геолог и историк. Наибольший интерес в связи с настоящим изданием для нас представляет его книга «Великая Французская революция. 1789—1793». Сначала она была издана за границей (1909 г.), а затем и в России. Переиздана в советское время (Кропоткин П. А. Великая Французская революция 1789—1793. М., 1979).

[16] Подробнее см. прим. 2 гл. XII настоящей книги.

[17] Кареев Н. И. Новая книга по истории Французской революции// РБ. 1910. IX—X.

[18] *Драгоманов Михаил Петрович* (1841—1895), историк и публицист. Окончил Киевский университет. В 1870 г. получил степень магистра. С 1876 г. жил за границей, в частности в Болгарии, где в Софийском университете занял профессорское место.

[19] *Деникер Жозеф* (1852—?), французский натуралист и антрополог. Родился в Астрахани, окончил С.-Петербургский технологический институт. С 1876 г. жил в Париже. В 1888 г. был назначен библиотекарем естественноисторического музея. Написал ряд трудов по антропологии и этнографии.

[20] *Трачевский Александр Семенович* (1838—1906), русский историк либерально-буржуазного направления. Ученик историка профессора С. В. Ешевского в Московском университете. В 1878—1890 гг. — профессор Новороссийского университета.

[21] Цикл «За рубежом» М. Е. Салтыков-Щедрин печатал в «Отечественных записках» в течение 1880—1881 гг.

[22] *Лучицкий Иван Васильевич* (1845—1918), русский историк. Окончил Киевский университет. С 1877 г. — профессор Киевского университета. Лучицкий был членом кадетской партии, член ее ЦК, депутат III Государственной думы. Написал значительное количество исторических исследований. Наибольшую известность получили его работы по аграрной истории Франции накануне буржуазной революции конца XVIII в.: «Крестьянское землевладение во Франции накануне революции (преимущественно в Лимузине)» (Киев, 1900), «Вопрос о крестьянской поземельной собственности во Франции до революции и продаже национальных имуществ» (Киев, 1894), «Состояние земледельческих классов во Франции накануне революции и аграрная реформа. 1789—1793 гг.» (Киев, 1912), и др.

[23] Причины предпринятого П. Л. Лавровым, Н. И. Кареевым и А. С. Трачевским неудавшегося предприятия издать «Всемирную историю» подробно проанализированы (см.: Золотарев В. П. «История Западной Европы в новое время» Н. И. Кареева: замысел и воплощение//История и историки: Историографический ежегодник за 1981—1982 гг./Под ред. М. В. Нечкиной. М., 1987. С. 201—213).

[24] *Гамбаров Юрий Степанович* (1850—1926), русский юрист, специалист по теории права. Окончил Московский университет. В 1879 г. защитил магистерскую диссертацию. Был профессором сначала в Новороссийском, затем в Московском университетах. Вместе с М. М. Ковалевским основал Русскую высшую школу общественных наук в Париже (1901—1906 гг.), в которой читал лекции В. И. Ленин. Кстати, работал в этой школе и Н. И. Кареев.

[25] *Дитятин Иван Иванович* (1847—1892), профессор государственного права и истории русского права Одесского университета. Окончил С.-Петербургский университет. Из его трудов отметим «Устройство и управление городов России. Т. 1. Города в XVIII столетии» (СПб., 1875).

[26] В очередной свой приезд во Францию Н. И. Кареев узнает, что больной И. С. Тургенев переехал на время из Буживаля в Париж. По заранее установленной договоренности в середине ноября 1882 г. Н. И. Кареев посещает великого русского писателя. Несмотря на сильное недомогание И. С. Тургенева, встреча была теплой с обеих сторон.

Глава VIII

[1] По действовавшим тогда правилам должность доцента мог занять в университете лишь имеющий ученую степень магистра, а место профессора — лишь доктор соответствующей науки. Но, по-видимому, были и неписаные правила для отдаленных от обеих столиц России университетов, каковым в данном случае и был Варшавский университет. В нем с квалифицированными кадрами преподавателей дело обстояло плохо, поэтому столичному магистранту сразу же было предоставлено право занять место экстраординарного профессора, оклад которого был вдвое выше доцентского, однако значительно ниже оклада ординарного (т. е. штатного) профессора.

Конечно, время стерло то острое нежелание, которое охватило молодого магистранта, когда он узнал от Герье, что ему уготовано место (хотя и профессорское) в отдаленном Варшавском университете. Следы этого нежелания сохранили письма Н. И. Кареева к разным лицам, но особенно к П. Л. Лаврову в Париж. В одном из них Н. И. Кареев не без горечи писал: «Герье... не особенно доволен моей диссертацией... Едва ли ему особенно хочется видеть меня штатным доцентом в Москве...» «Тем более, что совсем близко время, когда, — писал Кареев, — будет представлена диссертация другим диссертантом по всеобщей истории, которому Герье покровительствует (речь идет о П. Г. Виноградове. — *В. З.*), и можно будет посредством него оттеснить меня». Но это пока предположения, очень похожие на правду. А вот сама правда: «Герье даже говорил, что, кажется, ректор Варшавского университета думает меня пригласить. Но мне, конечно, хочется остаться в Москве» (Н. И. Кареев — П. Л. Лаврову в Париж. Письмо от 19, 24, 31 января, 1 марта 1879 г.//ЦГАОР СССР. Ф. 1762. Оп. 4. Д. 207. Л. 3). Документы более позднего происхождения, чем процитированное нами письмо Кареева П. Л. Лаврову, также убедительно подтверждают его нежелание ехать в Варшаву. Так, в письме к своему московскому приятелю М. С. Корелину в конце декабря 1884 г. из Варшавы, когда уже был решен вопрос о зачислении Кареева преподавателем Александровского лицея, он не удержался от радостных эмоций по этому случаю (что не было для него характерным) и воскликнул: «Ура! Из Александровского Лицея получил телеграмму... Слава богу, могу уйти из варшавской травли» (ЦГИА. Ф. 2202. Оп. 2. Д. 48—59. Л. 14). После того, как Н. И. Кареев уже обосновался в Лицее, он в более спокойных тонах сообщал Корелину: «...я не в Варшаве более, откуда стремился чуть ли не со дня приезда туда» (Там же. Оп. 1. Д. 60—65. Л. 2об.).

[2] ***Благовещенский Николай Михайлович*** (1821—1892), профессор римской словесности, сын священника, окончил в Петербурге Главный педагогический институт. Был командирован за границу. По возвращении послан в Казанский университет. В 1852 г. вернулся в Петербург, где занял кафедру римской словесности в университете. В конце 1872 г. был назначен ректором Варшавского университета и занимал эту должность до выхода на пенсию

в 1883 г. Немногочисленные исследования Благовещенского были посвящены римской литературе, отличались изяществом стиля.

[3] *Апухтин Александр Львович,* государственный деятель, до 1879 г. — директор Московского Межевого института, с 1879 по 1897 г. — попечитель Варшавского учебного округа, ярый обруситель и жестокий правитель округа. Снискал своей деятельностью всеобщую ненависть поляков.

[4] *Будилович Антон Семенович* (1846—1908), русский славист. Окончил С.-Петербургский университет. После защиты докторской диссертации был назначен ординарным профессором русского и церковнославянского языка в Варшавский университет, в котором весьма резко проявлял свою неприязнь к полякам. Имеет ряд работ по славянской словесности.

[5] Кареев Н. И. Польская медаль в память Апухтина//ГМ. 1916. IV. С. 172—173.

[6] *Лавровский Николай Алексеевич* (1827—1899), историк литературы. Окончил Главный педагогический институт, где и стал работать профессором, затем перешел в Харьковский университет. Был последовательно директором Нежинского историко-филологического института, ректором Варшавского университета, попечителем Юрьевского (Дерптского) учебного округа. Избран членом Академии наук.

[7] *Лавровский Петр Алексеевич* (1827—1836), брат Н. А. Лавровского. Окончил Главный педагогический институт. Тема магистерской диссертации — «О языке северо-русских летописей» (СПб., 1852). Работал на кафедре русской словесности в Харьковском университете. Был ректором Варшавского университета. Славянофильские убеждения высказывал резко, вынужден уйти в отставку в 1872 г. с ректорской должности. Написал ряд работ по истории русской литературы.

[8] *Шмурло Евгений Францевич* (1853—?), русский историк. Окончил С.-Петербургский университет. Последовательно приват-доцент университета (1889—1891), профессор кафедры русской истории в Дерптском университете (1891—1903), с осени 1903 г. работал ученым корреспондентом в Риме при историко-филологическом отделении Российской академии.

«Митрополит Евгений как ученый» (СПб., 1888) — магистерская диссертация Шмурло. Много исследований посвятил жизни и деятельности Петра Великого.

[9] *Коцебу Павел Евстафьевич* (1801—1884), военный и государственный деятель. В 1862—1874 гг. — новороссийский и бессарабский генерал-губернатор, в 1874—1880 гг. — варшавский генерал-губернатор. С 1863 г. — член Государственного совета, с 1874 г. — граф.

[10] *Альбединский П. П.,* русский государственный деятель, генерал, сменил в 1880 г. графа П. Е. Коцебу в должности варшавского генерал-губернатора, в которой пробыл до начала мая 1883 г., был уволен за несколько дней до смерти (13 мая 1883 года). Альбединский в молодости служил при Российском посольстве в Париже (при кн. А. Ф. Орлове). По возвращении из Франции был командиром конно-гренадерского, а затем лейб-гвардии гусарского полков, потом назначен начальником штаба Петербургского военного округа. Затем последовательно занимал должности прибалтийского, виленского и варшавского генерал-губернатора. В политике он не был человеком крайних взглядов, видимо, поэтому пользовался в Варшаве симпатиями общества, о чем свидетельствует и Кареев в своих мемуарах. Информация Кареева подтверждается данными книги: Сидоров А. А. Русские и русская жизнь в Варшаве (1815—1845). Вып. III. Варшава, 1899. С. 167.

[11] *Гурко Иосиф Владимирович* (1828—1901), русский генерал-фельдмаршал (1894). Окончил Пажеский корпус (1846), служил в лейб-гусарах. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. показал себя талантливым и решительным военачальником. В 1879—1880 гг. — помощник главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа и временный петербургский генерал-губернатор, в 1882—1883 гг. — временный одесский генерал-губернатор. В 1883—1884 гг. генерал-губернатор Привисленского края и командующий войсками Варшавского военного округа. Проводил русификаторскую политику в Польше.

[12] *Ришави Людвиг Альбертович* (1851—?), доктор ботаники. В 1872 г. окончил Новороссийский университет. В 1877 г. получил степень магистра за диссертацию «К вопросу о дыхании растений». В конце 70-х — начале 80-х годов работал экстраординарным профессором Варшавского университета, откуда вернулся в Новороссийский университет. В 1885 г. получил докторскую степень за сочинение «К вопросу о так называемом гальванотропизме».

[13] *Лагорио Александр Евгеньевич* — известный русский петрограф; с конца 70-х годов работал в Варшавском университете, а с 1885 г. состоял ординарным профессором по кафедре минералогии Варшавского университета.

[14] *Самоквасов Дмитрий Яковлевич* (1843—1911), русский археолог и юрист. Окончил С.-Петербургский университет. С 1871 г. работал доцентом, потом профессором русского права в Варшавском университете. С 1892 г. был управляющим Московским архивом Министерства юстиции.

[15] *Сонин Николай Яковлевич* (1849—1915), известный русский математик, академик (1893). Окончил Московский университет. С 1872 г. работал в Варшавском университете сначала в должности доцента, потом профессора. Написал много математических работ. С 1899 г. — попечитель С.-Петербургского учебного округа. Не без его ведома в 1899 г. Н. И. Кареев был уволен из С.-Петербургского университета.

[16] Кареев Н. И. Первое марта 1881 г. и варшавские россияне//Былое. 1907. III. С. 279—282.

[17] Кареев Н. И. Формула прогресса в изучении истории: Вступительная лекция в Варшавском университете. Варшава, 1879.

[18] *Бобржинский (Гобжинский) Михаил* (1849—1935), польский историк и политический деятель. С 1872 г. — доцент, профессор Варшавского университета, где читал немецкое и древнепольское право. С 1878 г. — директор Краковского архива. С 1885 г. — депутат Венского парламента. Важнейший труд Бобржинского «Dzieje Polski wzazysie» (Warszawa, 1879, 1890). «История Польши» Бобржинского издана Н. И. Кареевым на русском языке в 1888 г.

[19] Н. И. Кареев написал около двух десятков работ по истории Польши. Назовем некоторые из них: Кареев Н. И. 1) Борьба шляхты с духовенством в Польше на сеймах середины XVI в.//ЮВ. 1881. № 9, 10; 2) Нечто о русско-польском вопросе в нашей журналистике//РМ. 1881. III; 3) Реформация и католическая реакция в Польше//ВЕ. 1885. VIII—XI; 4) Сейм в польской Речи Посполитой//ЮВ. 1888. V—VI; VIII—IX; 5) Падение Польши в исторической литературе//ЖМНП. 1888. I, III, V, VI, IX, XI, XII; 6) Польские реформы XVIII века//ВЕ. 1889. V—VI, и др.

[20] Подготовка к защите докторской диссертации у Н. И. Кареева шла не столь безмятежно, как это ему представлялось много позже. Сохранились письма Кареева к декану Нилу Попову, по которым можно судить о реальном продвижении докторской диссертации к защите. Факультет долго «тянул время». И лишь когда Н. И. Кареев после длительной размолвки лично встретился с Герье, а последний ознакомился с диссертацией и вместе с доктором философии М. Троицким дал предварительный отзыв, дело, наконец, стронулось с мертвой точки и была определена дата защиты: конец марта 1884 г., хотя (как свидетельствуют письма) она планировалась на декабрь 1883 г., а затем на январь 1884 г. (ГБЛ. Ф. 239. П. 14. Д. 16. Л. 15—15об. и др.).

[21] Кареев Н. И. Моим критикам. Защита книги «Основные вопросы философии истории». Варшава, 1884.

[22] Кареев Н. И. Polonica: Сб. статей по польским делам. СПб, 1905.

[23] *Свентоховский Александр* (1849—?), польский писатель и публицист. Учился в Варшавском университете. В 1881 г. основал журнал «Prawda» («Правда»). Своей публицистической деятельностью показал себя горячим сторонником обновления общественного строя. Некоторые его литературные произведения были переведены на русский язык: «Клемент Боруша» (Дело. 1881. II), «Карл Круг» (Дело. 1882. III), «Умственный поворот в польском обществе» (Устои. 1882), «У могилы» (Новое время. 1899. № 8364), и др.

[24] *Павинский Адольф* (1840—1896), польский историк, профессор Главной школы и Варшавского университета. Специалист по эпохе Ст. Батория, издатель многочисленных памятников по экономической истории Польши. Павинский известен также трудами по истории польского сеймика, дающими картину польского парламентаризма при Ягеллонах.

[25] *Моно Габриель* (1844—1912), французский историк-медиевист. С 1868 г. преподавал, а затем стал директором Практической школы высших знаний, где начал использовать распространенный в немецких университетах метод семинарских занятий историков. Моно положил начало подготовке во Франции высококвалифицированных источниковедов, архивистов. С 1880 г. — профессор Высшей нормальной школы. В 1876 г. основал и стал главным редактором журнала «Revue Historique», в котором сотрудничал Н. И. Кареев.

[26] *Штерн Альфред* (1846—?), профессор Цюрихского Политехнического института. О его исследованиях см.: Минцес. Новая история XIX-го столетия//МБ. 1898. X.

[27] *Голль Ярослав* (1846—?), выдающийся чешский историк, профессор Пражского университета по всеобщей истории. Голль стал организатором научной историографической работы в Чехии. Написал ряд исторических и историографических работ. Имел связи с российскими историками.

[28] *Любович Николай Николаевич* (1855—1935), профессор всеобщей истории, ученик И. В. Лучицкого. С 1880 г. — доцент, с 1883 г. — профессор Варшавского университета. Защитил в Киеве докторскую диссертацию «Начало католической реакции и упадок реформации в Польше» (1890). В 1915 г. вместе с Варшавским университетом эвакуировался в Ростов-на-Дону. Член-корреспондент АН СССР (1924).

[29] Кареев Н. И. Отзыв о сочинении проф. Н. Н. Любовича под заглавием «Начало католической реакции и упадок реформации в Польше. Академический отчет о IV присуждении Макарьевских премий». СПб., 1892.

[30] *Никитский Александр Иванович* (1842—1886), русский историк. Окончил Киевский университет. Работал в Варшавском университете профессором и деканом историко-филологического факультета.

[31] *Барсов Николай Павлович* (1839—1889), историк. Окончил историко-филологический факультет С.-Петербургского университета (1861), корреспондент «Санкт-Петербургских ведомостей» в Австрии (1862), кандидат-стипендиат по кафедре русской истории С.-Петербургского университета (1869—1871), библиотекарь Варшавского университета (1871); магистр (1874), профессор (1888) Варшавского университета, где в 1873—1889 гг. читал курс русской истории.

Основной труд Н. П. Барсова «Очерки русской исторической географии» (Варшава, 1873; 2-е изд. 1885) содержит ценный фактический материал.

[32] *Макушев Викентий Васильевич* (1837—1883), славист, окончил С.-Петербургский университет, с 1862 по 1865 г. был секретарем консульства в Дубровнике, где, привлекая архивные источники, изучил историю Дубровицкой республики. Результатом этого исследования стал «Очерк дипломатических сношений России с Дубровицкой республикой» (1865). Макушев написал ряд статей по истории славянских народов.

[33] *Первольф Осип Осипович* (1841—1891), славист, чех по рождению, учился в Пражском университете. Уже в первых своих работах проявил интерес к России. Пропагандировал в Чехии сочинения С. М. Соловьева, Н. И. Костомарова, К. С. Аксакова, Б. Н. Чичерина и др. Идея славянской взаимности стала главенствующей идеей всей ученой деятельности Первольфа.

В 1871 г. по предложению ректора П. А. Лавровского Первольф занял кафедру славянской филологии Варшавского университета и читал лекции по славянским древностям, исторической этнографии и славянским языкам. В 1876 г. за книгу «Германизация балтийских славян» (СПб., 1876) получил степень доктора. Написал много статей для русской периодической печати.

[34] *Иезбера Франтишек Ян* (Федор Иванович) (1829—1901), этнограф, переводчик, общественный деятель. Образование получил в академической гимназии в Праге и Пражском университете. Работал экстраординарным профессором русского и сербского языков в Пражском политехническом ин-

ституте. С 1869 г. — доцент славянских языков Варшавского университета. Много путешествовал по России в поисках этнографического материала. Итогом деятельности Иезбера явился основанный им Русский этнографический музей при Варшавском университете. Иезбера был поборником идеи единства славянских народов.

[35] *Грот Яков Карлович* (1812—1893), русский филолог, академик Петербургской Академии наук (1856). Профессор Гельсингфорсского университета (1840—1852), профессор Петербургского лицея (1852—1862). Автор ряда работ по фольклору и мифологии, а также исследований о русской литературе: «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники» (1887), «Очерк жизни и поэзии Жуковского» (1883). Грот подготовил и издал «Сочинения Г. Р. Державина» (Т. 1—9. СПб., 1864—1883). Большое значение имеет его труд «Русское правописание» (1885, 22-е изд. 1916). В 1891 г. под руководством Грота начал издаваться академический «Словарь русского языка».

[36] *Кулаковский Платон Андреевич* (1848—1913), историк, филолог, публицист, общественный деятель. Окончил историко-филологический факультет Московского университета. С 1876 г. — сотрудник и корреспондент «Московских Ведомостей» в славянских землях. В 1882 г. защитил магистерскую диссертацию «Вук Караджич, его деятельность и значение в сербской литературе». В 1882—1891 гг. — преподаватель русского языка, в 1892—1902 гг. — профессор славянских наречий в Варшавском университете. С 1886 по 1902 г. — редактор-издатель газеты «Варшавский дневник». В 1894 г. защитил докторскую диссертацию «Иллиризм: Исследование по истории хорватской литературы периода возрождения».

Кулаковский активно сотрудничал в русской периодической печати.

[37] *Блок Александр Львович* (1852—1910) (отец поэта А. А. Блока), магистр государственного права, преподавал в Варшавском университете. В примечаниях к своим мемуарам, не вошедшим в основной текст, Н. И. Кареев вспоминал: «В бытность мою в Варшаве он (А. Л. Блок. — *В. З.*) защитил в Петербургском университете магистерскую диссертацию (ничего особенно собою не представлявшую) под заглавием „Государственная власть в европейском обществе" (1880 г.) и работал над докторской, которую собирался назвать „Коренные вопросы политики", но она так и осталась ненапечатанною. В эти же годы (речь идет о начале 80-х годов XIX в. — *В. З.*) он издал брошюру „Политическая литература в России и о России: Вступление в курс русского права" (Варшава, 1884, 108 с.), где рассматривал политические идеи славянофилов и западников. По этому вопросу между нами происходили часто продолжительные беседы: Блок был очень интересный, вдумчивый и остроумный собеседник, и я разговоры с ним очень любил. Об упомянутой брошюре я поместил небольшую заметку в „Юридическом Вестнике" за 1885 г. (Кареев Н. И. К вопросу о роли субъективного элемента в социальных науках//ЮВ. 1884. № 2. С. 351—358. — Как видим, Кареев ошибся годом публикации своей заметки. — *В. З.*).

В связи же с этими беседами я тогда написал статью „Мечта и правда о русской науке" (Русская мысль. 1884. XII) и брошюру „Лекция о духе русской науки" (1885), воспроизводившую мою публичную лекцию, читанную в Варшаве на прощание, о чем сказано в тексте. Главным пунктом моего несогласия с Блоком было его отрицательное отношение к конституционализму. Эту черту я отметил в своей заметке о брошюре Блока, но С. А. Муромцев, бывший тогда редактором „Юридического Вестника", строку об этом из заметки исключил (впрочем, с моего согласия). В первое время моей петербургской жизни с Блоком я еще изредка виделся, но потом слышал только о нем, как о человеке, сделавшемся крайне нелюдимым и до скаредности скупым, ни у кого не бывавшим и никого у себя не принимавшим. Говорили, что он был совершенно неузнаваем, что это был у него какой-то психоз. В таком виде его и изобразил его сын в своей поэме „Возмездие"» (ГБЛ. Ф. 119. П. 44. Д. 12. Л. 55). Добавим, что оценки А. Л. Блока, высказанные Н. И. Кареевым в свойственной ему мягкой и корректной манере, подтверждены в фундаментальном исследовании Вл. Н. Орлова. «Гамаюн. Жизнь Александра Блока» (Л., 1978. С. 32—41).

[38] *Ольденбург Сергей Федорович* (1863—1934), русский востоковед, один из основателей русской индологической школы. Окончил восточный факультет С.-Петербургского университета. С 1889 г. преподавал в нем. С 1900 г. — академик. С 1904 г. по 1929 г. — непременный секретарь Академии наук. В 1917 г. был министром народного просвещения Временного правительства. В 1930—1934 гг. — директор Института востоковедения АН СССР.

[39] *Здзеховский Мариан* (1861—?), известный польский писатель, профессор Краковского университета по кафедре славянской филологии и сравнительной литературы. Окончил С.-Петербургский университет. Под псевдонимом «М. Урсин» издал книгу «Очерки из психологии славянского племени» (СПб., 1887). На русском языке под тем же псевдонимом издал «Религиозно-политические идеалы польского общества» (Лейпциг, 1896). Предисловие к этой книге написал Л. Н. Толстой. М. Здзеховский принимал участие в освободительном движении. Много печатался в различных русских газетах и журналах.

[40] *Коялович Михаил Осипович* (1828—1891), профессор русской церковной и гражданской истории в С.-Петербургской Духовной академии. Коялович занимался главным образом западно-русской историей. По своим историческим взглядам Коялович примыкал к славянофилам, выступал как публицист, решительно отстаивая русификаторскую политику царизма.

[41] *Бодуэн де Куртенэ Иван Александрович* (1845—1929), специалист по теоретическому языкознанию, новым и древним славянским языкам, а также по истории и культуре славян. Окончил Варшавский университет. С 1874 г. по 1883 г. — доцент, профессор Казанского, с 1883 г. по 1897 г. — Дерптского (Тартуского), с 1900 г. по 1918 г. — Петербургского, с 1918 г. по 1929 г. — Варшавского университетов по кафедре сравнительной грамматики славян. С 1897 г. — член-корреспондент Петербургской Академии наук. Создал несколько научных школ в области сравнительного языкознания.

[42] *Спасович Владимир Данилович* (1829—1906), криминалист и литератор. Окончил юридический факультет С.-Петербургского университета, где с 1857 г. работал на кафедре уголовного права. Занимался активной политической деятельностью.

[43] *Грушевский Михаил Сергеевич* (1866—1934), историк и литературовед, один из лидеров украинского буржуазно-националистического движения. В 1890 г. окончил историко-филологический факультет Киевского университета и был оставлен при нем для приготовления к профессорскому званию. Активно занимался политической деятельностью, состоял членом Киевской буржуазно-либеральной партии — Громады (1897). В марте 1917 г. вступил в партию украинских эсеров. После Октябрьской революции эмигрировал в Австрию. В 1924 г. вернулся на Родину.

[44] *Павлик Михайл*, радикальный публицист и политический деятель Украины 80—90-х годов XIX в.

[45] *Берг Николай Васильевич* (1823—1884), русский писатель и поэт. Учился в Московском университете, но не окончил полного курса. Был корреспондентом «Петербургской газеты» в Польше в 1863—1864 гг. С 1868 г. — лектор русского языка в Варшавской главной школе. 1874—1877 гг. — редактор «Варшавского дневника». Известен своими удачными переводами славянских поэтов (Песни разных народов. М., 1854), а также поэмы А. Мицкевича «Пан Тадеуш» (2-е изд. СПб., 1907).

В свое время пользовались популярностью его «Записки об осаде Севастополя» (1858). Небезынтересны его «Записки о польских заговорах и восстаниях 1831—1864 гг.» (М., 1873).

[46] *Бауер Василий Васильевич* (1833—1884), русский историк, специалист по всеобщей истории. С 1851 по 1855 г. учился на историко-филологическом факультете С.-Петербургского университета. Стажировался за границей. С 1863 г. В. В. Бауер работал доцентом, с 1866 г. — ординарным профессором столичного университета. В 1867 г. — один из первых в России — начал чтение курса новой истории стран Запада. Работал деканом историко-филологического факультета С.-Петербургского университета. Научное наследие В. В. Бауера невелико: Лекции по новой истории профессора В. В. Бауе-

ра, читанные в С.-Петербургском университете/Изд. гр. А. А. Мусин-Пушкин. Т. 1. СПб., 1886; Т. 2. 1888.

Глава IX

[1] Очередной, шестой Археологический съезд в Одессе состоялся в 1884 г. с 15 по 28 августа (см.: VI Археологический съезд в Одессе: Программа. Одесса. 1883; Труды VI Археологического съезда. Т. 1—4. Одесса, 1886—1889).

[2] В отредактированном Кареевым тексте мемуаров последняя фраза этого абзаца звучала иначе: «...короткий эпизод скромного участия». Нам представляется, что первоначальный текст, который приведен в настоящей книге, определеннее говорит о сути политической деятельности мемуариста.

[3] Никитенко А. В. 1) Моя повесть о самом себе и о том, «чему свидетель в жизни был»: Записки и дневники (1804—1877): В 3 т. СПб., 1893; 2) В 2 т. СПб., 1904—1905; 3) В 3 т. М., 1955—1956.

[4] Университетский устав 1884 г. был введен 23 августа (4 сентября). С него, в сущности, начались в 80-е годы «контрреформы». Поскольку этот устав ликвидировал выборность всех административных должностей и профессоров, крайне сузил права Совета профессоров (все это было законным в университетском уставе, принятом 18 (30) июня 1863 г., который теперь отменялся). Он поэтому не мог не вызвать протест большинства профессоров и студентов. Университеты были отданы полностью под контроль Министерства народного просвещения. Университетский устав 1884 г. действовал до февраля 1917 г.

[5] *Делянов Иван Давыдович* (1818—1897), граф, министр народного просвещения (1882—1897). Окончил юридический факультет Московского университета. С 1858 г. — попечитель С.-Петербургского учебного округа, с 1861 г. — директор департамента Министерства народного просвещения, с 1866 г. — товарищ министра, с 1882 г. — министр.

Во время его министерской деятельности был разработан реакционный устав российских университетов (1884), циркуляром 1887 г. был ограничен прием детей из «недостаточных классов» в средние учебные заведения, ограничен процент евреев, допускаемых в средние и высшие учебные заведения, закрыты в 1886 г. Высшие Женские курсы.

Кареев очень метко охарактеризовал Делянова как «хитрого армянина», все время опасающегося, как бы его о чем-либо не спросили власть предержащие, а он не оказался бы в положении незнающего.

[6] *Семевский Василий Иванович* (1848—1916), историк русского крестьянства и общественных движений в России в XVIII и XIX вв. За прогрессивные взгляды и убеждения Семевскому был закрыт доступ к университетской кафедре. В силу этого в течение многих лет он вел занятия со студентами на дому.

Н. И. Кареев питал к Семевскому глубокие дружеские чувства: «Это был человек, которого нельзя было не уважать за стойкость убеждений и за нравственный ригоризм его общественного поведения» (ГБЛ. Ф. 119. П. 44. Д. 12. Л. 31). На смерть своего друга Н. И. Кареев отозвался несколькими статьями: Кареев Н. И. 1) Одна черта научной деятельности В. И. Семевского//ГМ. 1916. X; 2) Памяти ушедших//ГМ. 1923. II; 3) [О Семевском] //РВ. 1916. 23 сент.

[7] *Васильевский Василий Григорьевич* (1838—1899), русский историк-византивист. С 1876 г. — член-корреспондент АН, с 1890 г. — академик. С 1870 г. вел преподавание курса истории средних веков в С.-Петербургском университете. Васильевский первый из русских медиевистов XIX в. стал привлекать материал из истории Византии для решения важных вопросов средневековой истории. Способствовал переходу Н. И. Кареева из Варшавского университета в С.-Петербургский.

[8] *Миллер Орест Федорович* (1833—1889), фольклорист, историк русской литературы, критик и публицист. Окончил Московский университет. С 1864 г. по 1888 г. работал сначала доцентом, затем профессором С.-Петербургского университета на кафедре русской словесности.

[9] *Замысловский Егор Егорович* (1841—1896), историк и археолог. Окончил С.-Петербургский университет. С 1884 г. — профессор С.-Петербургского университета, где читал лекции по истории России XVII в., памятникам древнерусского права, историографии и исторической географии. С 1888 г. — член корреспондент Петербургской Академии наук. В 1890 г. вышел в отставку.

[10] *Новиков И. П.*, генерал, попечитель Петербургского учебного округа в 80-е годы XIX в.

[11] *Оболенский Леонид Егорович* (1845—?), философ, публицист и критик. В 1883 г. Оболенский приобретает в собственность журнал «Русское Богатство» и издает его до 1891 г. Многочисленные философские статьи Оболенского перечислены в приложении к русскому переводу книги «Иберверг-Гейнц. История новой философии» (СПб., 1890).

[12] Кареев имел в виду свою статью «Идея прогресса в ее историческом развитии», которая в 1891 г. была прочитана как публичная лекция в С.-Петербурге, затем напечатана в журнале «Северный вестник» в 1891 г., а в 1912 г. вошла в первый том собрания сочинений Н. И. Кареева (Кареев Н. И. Собр. соч.: В 3 т. СПб., 1910—1912). К сожалению, это собрание сочинений вышло лишь в трех томах. Расстройство типографского дела, начавшееся во время мировой войны, и затем последовавшие события не дали исторического шанса Карееву издать свое полное собрание сочинений.

[13] *Гревс Иван Михайлович* (1860—1941), русский историк и педагог, ученик В. Г. Васильевского. С 1899 г. — профессор С.-Петербургского (с 1924 г. — Ленинградского) университета. Н. И. Кареев и И. М. Гревс были не только коллегами по историческому факультету университета, но и находились в дружеских отношениях. И. М. Гревс в день юбилея Н. И. Кареева написал и опубликовал статью «Николаю Ивановичу Карееву: (Сорок лет труда за культуру)» (Речь. 1913. № 307).

[14] *Мякотин Венедикт Александрович* (1867—1937), русский историк и публицист. Работал в Александровском Лицее (по рекомендации Н. И. Кареева) и в Военно-юридической академии. Деятельный сотрудник (с 1904 г.) журнала «Русское Богатство», один из основателей партии народных социалистов. После Октябрьской революции эмигрировал.

[15] *Платонов Сергей Федорович* (1860—1933), русский историк, академик АН СССР в 1920—1931 гг. (член-корреспондент с 1908 г.). Окончил С.-Петербургский университет в 1882 г., с 1899 г. — профессор этого университета. Платонов был председателем Археологической комиссии (1916—1929), Комиссии по изучению сочинений А. С. Пушкина, директором Пушкинского дома (Ин-та русской литературы) (1925—1929) и библиотеки АН СССР (1925—1928).

[16] Кареев Н. И. Краткий очерк истории Лицея (1861—1886 гг.)//Памятная книжка императорского Александровского Лицея на 1886 год. СПб., 1886. С. 1—277.

[17] *Фельдман Федор Александрович* (1835—1902), генерал. Образование получил в Николаевской Академии Генерального штаба. При непосредственном участии Фельдмана вырабатывался устав о всеобщей воинской повинности. Был на дипломатической службе. С 1896 по 1900 г. — директор Александровского Лицея.

[18] *Георгиевский Александр Иванович* (1830—1911), ученый и государственный деятель. Окончил Московский университет. С 1866 по 1870 г. — редактор «Журнала Министерства народного просвещения». В 1873—1898 гг.— председатель Ученого комитета Министерства народного просвещения. С 1898 г. — сенатор. Принимал активное участие в выработке всех важнейших министерских документов в 1873—1898 гг.: положения 1874 г. о начальных училищах, устава гимназий, университетского устава 1884 г. А. И. Георгиевский упорно проводил консервативную политику самодержавного правительства в области народного просвещения.

Из его работ наиболее известны «Галлы в эпоху К. Юлия Цезаря» (М., 1865) и «О реальном образовании в Пруссии, Саксонии, Баварии и Швейцарии» (ЖМНП. 1871. XII).

[19] *Дмитриев Федор Михайлович* (1829—1894), русский юрист, литератор и государственный деятель. Окончил юридический факультет Московского университета. В 1859 г. защитил магистерскую диссертацию по гражданскому праву и занял кафедру иностранных законодательств в Московском университете. Работая в университете, Дмитриев оказался в числе противников влиятельной группы «Московских Ведомостей» (М. Н. Катков и К°), имевшей сильное давление на решение дел в университете (эта группа поддерживалась правительством). В результате в 1868 г. Дмитриев вынужден был покинуть университет и уехать в деревню Симбирской губернии. В 1882 г. он занял пост попечителя Петербургского учебного округа. Недолго оставаясь на этом посту, он все же на короткое время сумел оживить деятельность Петербургского университета. В частности, лишь благодаря Дмитриеву было создано студенческое научно-литературное общество, причем попечителю было присвоено звание его почетного председателя.

Вполне понятно, что с введением нового университетского устава (1884 г.) Дмитриев не мог оставаться далее попечителем столичного учебного округа.

Диссертация Дмитриева «История судебных инстанций и гражданского апелляционного судопроизводства от Судебника до учреждения губерний» выдержала два издания (М., 1859; 2-е изд. 1899).

[20] *Владиславлев Михаил Иванович* (1840—1890), философ. Учился в С.-Петербургской Духовной академии. Защитил магистерскую диссертацию на тему «Современные направления в науке о душе» (СПб., 1866) и занял кафедру философии в С.-Петербургском университете. Получил степень доктора философии за диссертацию «Философия Плотина, основателя новоплатоновской школы». В 1887 г. назначен ректором университета. Перевел «Критику чистого разума» Канта (СПб., 1867), написал «Логику» (СПб., 1872; 2-е изд. 1881) и двухтомную «Психологию» (СПб., 1881), третий том которой не успел закончить.

[21] *Андреевский Иван Ефимович* (1831—1891), юрист. Окончил С.-Петербургский университет. Защитил магистерскую диссертацию на тему «О правах иностранцев в России до половины XV столетия» (СПб., 1854) и вскоре начал читать лекции в университете в качестве приват-доцента. В 1864 г. защищает докторскую диссертацию «О наместниках, воеводах и губернаторах». В 1883 г. Совет университета избрал Андреевского ректором университета, на этом посту он оставался до 1887 г. Вместе с ректорством Андреевский оставил и профессорскую деятельность. В 1890—1891 гг. Андреевский принял на себя редакторство «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона.

[22] В примечаниях к своим мемуарам Н. И. Кареев перечислил исследования по истории Польши (ГБЛ. Ф. 119. П. 44. Д. 12. Л. 7). Некоторые из них нами названы в прим. 19 к гл. VIII.

[23] *Ону Александр Михайлович* (1865—?), историк, окончил С.-Петербургский университет, где занимался под руководством профессоров В. Г. Васильевского и Н. И. Кареева. Еще в университете начал изучение истории Французской революции конца XVIII в. по оригинальным источникам, продолжив свою работу в Национальном архиве и библиотеке Франции. В 1908 г. Ону издал книгу «Выборы 1789 г. во Франции и наказы третьего сословия с точки зрения их соответствия истинному настроению страны», за которую Академия наук присудила ему Ахматовскую премию. (Тайный советник М. Н. Ахматов завещал Академии наук средства для присуждения премий за выдающиеся успехи в области гуманитарных и естественных наук.) Эта премия в 1916 г. открыла А. М. Ону возможность работы в Петроградском университете в качестве приват-доцента.

[24] В своем отзыве И. В. Лучицкий признал «книгу г. Ону одним из самых выдающихся трудов по истории Франции XVIII в.» и находил «вполне справедливым» присудить автору первую премию, что и сделала Академия наук (см.: Лучицкий И. В. [Рецензия]//Сборник отчетов о премиях и наградах, присуждаемых Академией наук. IV: Отчеты за 1909 год. I: Премии тайного советника М. Н. Ахматова (первый конкурс) и др. СПб., 1912.

С. 32—74.— Рец. на кн.: Выборы 1789 г. во Франции и наказы третьего сословия с точки зрения их соответствия истинному настроению страны. Часть первая: Опыт установления метода исследования и критики наказов, как исторического источника. СПб., 1908).

Профессор П. Н. Ардашев также был высокого мнения о книге Ону и назвал ее «крупным научным трудом автора» (Ардашев П. Н. [Рецензия]. СПб., 1909. С. 1—33.— Рец. на кн.: Ону А. Выборы 1789 г. во Франции и наказы третьего сословия...).

[25] *Погодин Михаил Петрович* (1800—1875), русский историк, писатель, журналист, академик Петербургской Академии наук (1841).

Сын крепостного крестьянина. Получил «вольную» в 1806 г. Окончил Московский университет в 1821 г. В 1825 г. защитил магистерскую диссертацию «О происхождении Руси». С 1822 по 1844 г. — профессор Московского университета (сначала кафедры всеобщей, а с 1835 г. русской истории). Написал: 1) Исследования, замечания и лекции о русской истории. Т. 1—7. М., 1846—1857; 2) Древняя русская история до монгольского ига. Т. 1—3. М., 1871; 3) Историко-политические письма и записки в продолжение Крымской войны 1853—1956 гг. М., 1874, и др.

В 1827—1830 г. издавал журнал «Московский Вестник», а с 1841—1856 гг. вместе с С. П. Шевыревым — «Москвитянин». По своим политическим взглядам был близок к славянофилам. Погодин — автор широко известной драмы «Марфа Посадница» (1830) и других литературно-художественных произведений, написанных живым русским слогом.

[26] *Гримм Эрвин Давидович* (1870—?), историк. Был приват-доцентом и профессором С.-Петербургского и Казанского университетов. В 1911 г. — ректор С.-Петербургского университета. Первоначально занимался исследованием римской истории, позже — проблемами новейшей истории. В советское время работал в Народном комиссариате иностранных дел и Институте востоковедения.

[27] *Митрофанов Павел Павлович* (1873—?), историк, окончил С.-Петербургский университет, где занимался в семинарии Н. И. Кареева. В университете работал в качестве приват-доцента. Его магистерская диссертация «Политическая деятельность Иосифа II, ее сторонники и враги» была издана в 1907 г. в С.-Петербурге.

[28] *Бутенко Вадим Аполлонович* (1877—1930), историк. Окончил С.-Петербургский университет. Занимался под руководством Н. И. Кареева. С 1907 г.— приват-доцент университета. Около десяти лет В. А. Бутенко профессорствовал в Саратовском университете. Сотрудничал в журналах «Вестник Европы», «Русское Богатство», в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона, в «Новом энциклопедическом словаре». Изданы также его исследования «Краткий очерк истории русской торговли» (СПб., 1911) и «Либеральная партия во Франции в эпоху Реставрации» (Т. 1. СПб., 1913).

[29] *Лаппо-Данилевский Александр Сергеевич* (1863—1919), русский историк, академик (с 1899 г.), один из идеологов русской буржуазии. В 1886 г. окончил С.-Петербургский университет, с 1890 г. — приват-доцент, а позднее — профессор этого университета. Подробнее о нем см.: Сб. статей, посвященных А. С. Лаппо-Данилевскому/Под ред. Н. И. Кареева. Пг., 1916 (Историческое обозрение. Т. XXI).

[30] Подробнее см. прим. 19 гл. IX настоящей книги.

[31] *Водовозов Василий Васильевич* (1864—1933), русский публицист. Окончил С.-Петербургский университет. За политическую деятельность высылался в Архангельскую губернию в 1887 и 1894 гг. Печататься начал с 1886 г. в «Неделе», «Северном Вестнике», «Юридическом Вестнике» и многих других изданиях. Деятельное участие принимал в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона и в «Новом энциклопедическом словаре». Интерес представляют следующие его работы: Водовозов В. В. 1) Материалы для характеристики положения русской печати. Женева, 1898; 2) Исследование Е. В. Тарле по социальной истории Англии. СПб., 1901; 3) Всеобщее избирательное право на Западе. Ростов-на-Дону, 1905. С 1906 г. по своим политическим взглядам был близок к партии трудовиков.

[32] *Кауфман Александр Аркадьевич* (1864—1919), экономист и статистик. Окончил С.-Петербургский университет. В 1906 г. за исследование «Переселение и колонизация» (СПб., 1905) получил степень доктора. Из изданных работ отметим: Кауфман А. А. Хозяйственное положение переселенцев, водворенных на казенных землях Томской губернии. Т. 1—3. СПб., 1895—1896. Был одним из организаторов и лидеров партии кадетов.

[33] *Свешников Митрофан Иванович* (1862—?), публицист. Окончил юридический факультет С.-Петербургского университета. В 1888—1899 гг. — приват-доцент этого же университета по государственному праву. В 1892 г. Свешников напечатал «Основы и пределы самоуправления» (СПб.).

[34] *Форстен Георгий Васильевич* (1857—1910), историк, один из основоположников изучения Скандинавии в России. В 1880 г. окончил С.-Петербургский университет, с 1896 г. — профессор этого университета. После изгнания оттуда Н. И. Кареева в 1899 г. являлся одним из основных специалистов в С.-Петербургском университете по новой истории стран Запада.

[35] *Ламанский Владимир Иванович* (1833—1914), известный русский ученый-славист. Окончил С.-Петербургский университет. В 1859 г. опубликовал свою магистерскую диссертацию «О славянах в Малой Азии, Африке и Испании». С 1865 г. работал в С.-Петербургском университете. С 1890 г. редактировал издание Географического общества «Живая Старина». В. И. Ламанский создал целую школу славистов. Подробнее о нем см.: Линниченко И. А. Патриарх русского славяноведения: (Владимир Иванович Ламанский)//ГМ. 1915. II. С. 244—253.

[36] *Гуревич Яков Григорьевич* (1843—1906), известный петербургский педагог, издатель и общественный деятель. Имея свою гимназию, где преподавал историю, он одновременно состоял приват-доцентом в С.-Петербургском университете. Издавал и редактировал журнал «Русская Школа». В течение многих лет работал казначеем Литературного фонда. Деятельное участие принимал в работе Исторического общества при С.-Петербургском университете, председателем которого бессменно был Н. И. Кареев. Теплые воспоминания о нем см.: Кареев Н. И. Я. Г. Гуревич//Юбилейный сборник Литературного фонда. 1859—1909. СПб., 1910. С. 273—276.

[37] *Белов Евгений Александрович* (1826—1895), историк и географ. Вместе с Н. И. Кареевым продолжительное время преподавал историю в Александровском Лицее.

[38] *Анненский Николай Федорович* (1843—1912), русский экономист-статист, публицист и общественный деятель. Занимался активной политической и публицистической деятельностью. Неоднократно высылался из С.-Петербурга. Накануне 9 января 1905 г. вместе с Н. И. Кареевым и другими представителями либеральной интеллигенции старался предотвратить «кровавое воскресенье» и за это попал в Петропавловскую крепость. Был деятельным работником редакции журнала «Русское Богатство». В 1906 г. вместе с В. А. Мякотиным, А. В. Пешехоновым основал партию народных социалистов.

[39] *Арсеньев Константин Константинович* (1837—1919), русский либеральный публицист, литературовед и общественный деятель, почетный академик (с 1900 г.). Журнальной работой начал заниматься в 1858 г., сотрудничал в «Историческом Вестнике». В 1866—1867 гг. вышел в свет редактированный им перевод и с его предисловием труд Ф. Минье «История Французской революции» (В 2 т. СПб.). С 1880 г. Арсеньев — один из редакторов «Вестника Европы», а с 1909 г. — редактор этого журнала; с 1891 г. — один из главных редакторов «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона. За многочисленные труды Советом С.-Петербургского университета Арсеньев был удостоен степени почетного доктора государственного права.

[40] *Воропаев Федор Федорович* (1839—?), публицист. Сотрудничал в «Петербургских Ведомостях» В. Ф. Корша, «Порядке» М. М. Стасюлевича, «Вестнике Европы», «Слове» и других изданиях. Ему принадлежат много-

численные статьи по вопросам крестьянского хозяйства, земской деятельности, крестьянским налогам, переселениям и т. п.

[41] *Венгеров Семен Афанасьевич* (1855—1920), известный историк русской литературы, библиограф и редактор. Учился в Медико-хирургической академии, в С.-Петербургском университете. В 1875 г. в С.-Петербурге выходит в свет первая книга Венгерова «Русская литература в ее современных представителях. И. С. Тургенев», открывшая целый ряд его исследований по российской общественной мысли и литературе. В 1886 г. Венгеров начинает выпускать свой знаменитый «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых», который остался, к сожалению, незавершенным (Т. I—VI. СПб.). С 1891 г. Венгеров редактирует литературный отдел «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона (в эти же годы Кареев — редактор исторического отдела этого словаря). С 1893 г. Венгеров выпускает капитальное собрание произведений русских поэтов с комментариями, библиографией и портретами под названием «Русская поэзия» (Т. 1—2. СПб., 1893, 1901). Он редактировал многие собрания сочинений русских и зарубежных писателей и поэтов; создал крупнейшую литературную картотеку — собрание карточек со сведениями о писателях и их сочинениях.

По своим политическим взглядам Венгеров был весьма близок к Н. И. Карееву. С 1896 г. он читал лекции по русской литературе в Петербургском университете и в 1899 г. вместе с Кареевым был уволен как «политически неблагонадежный» профессор. Осенью 1906 г. после первой русской революции, так же как и Н. И. Кареев, возвращается к активной научной деятельности в университете.

С 1911 г. книгоиздательство «Прометей» приступило к изданию сочинений Венгерова (вышло 5 томов). (Это же издательство начало издавать собрание сочинений Кареева, но также не закончило его.)

[42] *Корнилов Александр Александрович* (1862—1925), русский историк и писатель. Окончил С.-Петербургский университет. За участие в протесте вместе с 42 литераторами против избиения молодежи на площади у Казанского собора в Петербурге был выслан в Саратов в апреле 1901 г. С 1904 г. жил в Париже, работал в журнале П. Б. Струве «Освобождение». Возвратившись в Россию, участвовал в организации партии кадетов. С 1909 г. — профессор Петербургского политехнического института.

[43] *Котляревский Нестор Александрович* (1863—?), историк литературы. Учился в Московском университете. Получил степень магистра всеобщей литературы за диссертацию «Мировая скорбь». Преподавал в Александровском Лицее и на Петербургских Высших Женских курсах. С 1906 г. — почетный академик по разряду изящной словесности, а с 1909 г. — ординарный академик по отделению русского языка и словесности. Член редакции «Вестник Европы», работал в Литературном фонде. В 1890 г. выпустил брошюру «Поэзия гнева и скорби» (М.), в 1891 г. — «М. Ю. Лермонтов: Личность поэта и его произведения» (М.). Три издания выдержала его книга «Мировая скорбь в конце XVIII и в начале XIX в.» (СПб., 1898; 3-е изд. 1914).

С 1910 по 1914 г. в «Вестнике Европы» печатался обширный труд Котляревского «Очерки из истории общественного настроения в России в шестидесятых годах прошлого века», где была дана характеристика Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова и других писателей и публицистов того времени.

[44] *Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич* (1859—1927), генерал, военный юрист, политический деятель и писатель. Окончил Военно-юридическую академию, где после защиты диссертации возглавил кафедру. С 1908 г. читал лекции по уголовному праву в С.-Петербургском университете.

С 1898 г. печатался в журналах и газетах «Право», «Вестник Европы», «Северный курьер», «Русь», «Страна», «Слово» и др.; с 1915 г. — член редакции «Вестника Европы». В 1906 г. был одним из организаторов Партии демократических реформ. Член I и II Государственной думы (1906 и 1907 гг.). Кузьмин-Караваев — один из руководителей правого крыла кадетской партии. После Октябрьской революции выступал против Советской власти. С 1920 г. жил за границей.

[45] *Манасеин Вячеслав Авкентьевич* (1841—1901), выдающийся русский терапевт и публицист. Окончил Медико-хирургическую академию. В 1877—1891 гг. занимал кафедру частной патологии и терапии в Военно-медицинской академии. Лаборатория и клиника Манасеина выпустила огромное количество научных работ. Манасеин был редактором журнала «Врач». Неоднократно избирался председателем Литературного фонда. Издал много медицинских трудов (см., напр.: Манасеин В. А. 1) О значении психических явлений. СПб., 1877; 2) Материалы для вопроса о голодании. СПб., 1869).

Н. И. Кареев оставил о Манасеине воспоминания: Традиции Литературного фонда и В. А. Манасеин как выразитель их//Юбилейный сборник Литературного фонда. 1859—1909. СПб., 1910. С. 265—269.

[46] *Меншуткин Николай Александрович* (1842—1907), известный русский химик. Окончил С.-Петербургский университет. В 1866 г. защитил магистерскую, а в 1869 г. докторскую диссертации. Работал профессором химии в университете. В 1902 г. Меншуткин оставил университет и был назначен деканом металлургического отделения С.-Петербургского политехнического института. На этой должности он пробыл до 1906 г., а профессором института — до конца жизни.

[47] *Набоков Владимир Дмитриевич* (1870—1922), криминалист, политический деятель. Окончил юридический факультет С.-Петербургского университета. В 1896—1904 гг. преподавал уголовное право в училище правоведения, откуда вынужден был уйти по политическим соображениям. С 1905 г. — председатель русской группы Международного Союза криминалистов. Был членом и председателем комитета Литературного фонда. В 1906 г. Набоков — член I Государственной думы от конституционно-демократической партии, членом ЦК которой он состоял. Набоков активно сотрудничал в «Освобождении», «Вестнике Европы», и т. д. Издавал еженедельник «Вестник партии народной свободы» (1906—1908), который являлся одним из органов кадетов. В 1917 г. был управляющим делами Временного правительства. Убит в 1922 г. в Праге во время покушения на П. Н. Милюкова.

В. Д. Набоков — отец известного русского писателя В. В. Набокова (1899—1977).

[48] *Постников Александр Сергеевич* (1846—1921), русский экономист, профессор (1876—1882) политической экономии Одесского университета и С.-Петербургского политехнического института. В последнем был деканом экономического отделения (именно А. С. Постников привлек Н. И. Кареева к преподаванию истории на этом отделении, когда тот был изгнан из университета), одно время работал директором Политехнического института. Постников был человеком прогрессивных взглядов; в течение 10 лет он редактировал газету «Русские Ведомости» (1886—1896). После Октябрьской революции занимался преподавательской деятельностью.

[49] *Поссе Константин Александрович* (1847—1928), русский математик, почетный член Петербургской Академии наук (1916). В 1868 г. окончил С.-Петербургский университет, с 1883 г. — профессор университета. Преподавал во многих учебных заведениях Петербурга.

[50] *Султанова Екатерина Павловна* (урожд. Леткова) (1865—?), писательница. Окончила Высшие Женские курсы В. И. Герье в Москве. Литературная деятельность ее началась переводами с итальянского. В 1881 г. в журнале «Русская Мысль» под псевдонимом «Т. З.» Султанова опубликовала повесть «Ржавчина». Активно сотрудничала в журналах «Отечественные Записки», «Друг женщины», «Северный Вестник», «Русское Богатство» и др. Произведения Султановой отличаются изяществом языка.

[51] *Сергеевич Василий Иванович* (1832—1910), историк русского права, представитель государственной юридической школы в России. С 1868 г. преподавал государственное право в Московском университете. С 1871 г. — профессор Московского, а с 1872 г. — Петербургского университетов. В 1867 г. защитил магистерскую диссертацию «Вече и князь. Русское государственное управление во времена князей Рюриковичей», а в 1871 г. — докторскую «Задача и методы государственных наук». В 1889 г. Сергеевич был ректором С.-Петербургского университета.

[52] *Таганцев Николай Степанович* (1843—1923), русский юрист, специалист в области криминологии, представитель классического направления в науке уголовного права. С 1867 г. преподавал в С.-Петербургском университете (по 1882 г.) и в училище правоведения. Служил в Министерстве юстиции. С 1906 г. — член Государственного совета, сенатор. Таганцев придерживался либеральных взглядов: выступал защитником одного из подсудимых на политическом процессе 193-х (1877—1878), высказывался против смертной казни, за выработку фабричного законодательства и т. д.

[53] *Родичев Федор Иванович* (1856—?), тверской помещик и земский деятель, один из лидеров партии кадетов, член ее ЦК. Депутат I, II, III и IV Государственной думы. После февральской буржуазной революции 1917 г. был комиссаром Временного правительства по делам Финляндии. После Октябрьской революции эмигрировал за границу.

[54] *Фидлер Федор Федорович* (1859—?), даровитый переводчик русских поэтов на немецкий язык. Переводил А. Кольцова и других русских поэтов. Окончил С.-Петербургский университет. В 1879 г. издал книгу, не поступившую в продажу («Dichtungen von Puschkin, Krylow und Lermontov»).

[55] *Беренштам Вильям Людвигович,* известный петербургский врач и педагог конца XIX — начала XX в.

[56] *Мокиевский Павел Васильевич* (1856—1927), врач, публицист и общественный деятель. Учился в Киевском университете на математическом факультете. Затем переехал в Петербург, где занимался частной врачебной практикой. Состоял членом редакции журнала «Русское Богатство», где главным образом и помещал свои статьи. Принимал участие в работе разных общественных организаций (Отдела для содействия самообразованию, Союза взаимопомощи русских писателей, Центральной комиссии партии народных социалистов и пр.). На службу Мокиевский поступил после Октябрьской революции. Н. И. Кареев как-то заметил, что Мокиевский был другом его семьи «во всю вторую половину своей почти семидесятидвухлетней жизни», т. е. примерно с 1891 г. и до конца жизни (ГБЛ. Ф. 119. П. 44. Д. 13. Л. 28).

[57] Н. И. Кареев был редактором исторического отдела лучшей русской дореволюционной энциклопедии «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона. Этой же фирмой в начале XX в. было начато издание еще более объемной российской энциклопедии под названием «Новый энциклопедический словарь» (всего вышло 29 т.; последний 29 т. оканчивается на слово «Отто» (Пг., 1916 г.). В «Новом энциклопедическом словаре» Н. И. Кареев так же, как и в ранее вышедшем «Энциклопедическом словаре», возглавил отдел истории. К сожалению, это издание осталось неоконченным.

[58] *Петрушевский Федор Фомич* (1828—1904), русский физик. Окончил С.-Петербургский университет. В 1862 г. получил степень магистра физики и начал преподавание в университете. В 1865 г. защитил докторскую диссертацию по физике и написал ряд работ по своему предмету. С 1891 г. Петрушевский — редактор отдела естественных наук «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона.

[59] «Историческое обозрение», орган Исторического общества при С.-Петербургском университете. Всего вышел 21 том: в 1890 г. — I том, а последний, XXI — в 1916. Постоянным редактором был Н. И. Кареев.

[60] Кареев Н. И. Краткий обзор деятельности Исторического общества за двадцатипятилетие (1894—1914)//Историческое обозрение. СПб., 1915. Т. 20. С. 188—200.

[61] *Макаров Аполлон Николаевич* (1840—?), русский генерал, педагог. Был морским офицером, потом служил по военно-учебному ведомству; с 1891 по 1906 г. был директором Педагогического музея военно-учебных заведений. По его инициативе в 1900 г. при Педагогическом музее были открыты педагогические курсы для подготовки офицеров-воспитателей, а в 1903 г. — учительские курсы для подготовки учителей для кадетских корпусов. Кроме журнальных статей и «Краткого обзора деятельности Педагогического музея военно-учебных заведений» за 1891—1906 гг., им изданы «Педагогические курсы для подготовки офицеров к воспитательной деятельности в кадетских

корпусах» (СПб., 1902—1904), сборник «Полные педагогические наброски: (После войны)» (Вып. II. СПб., 1907) и «Думы после войны» (СПб., 1907).

[62] Кареев Н. И. Одна черта научной деятельности В. И. Семеновского //РМ. 1916. X. С. XXX—XXXIII; см. также: Русские Ведомости. 1916. 29 сент.

[63] Программа чтения самообразования. СПб., 1896.

[64] *Конский Петр Алексеевич* (1870—?), историк и педагог. Окончил С.-Петербургский университет. Был преподавателем морского кадетского корпуса, Александровского Лицея и других учебных заведений. Сотрудничал в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона, а также в журналах «Русская школа», «Исторический Вестник» и др. Имел тесные отношения с Н. И. Кареевым. В 1897 г. П. А. Конский опубликовал статью «К 25-летию профессорской деятельности Н. И. Кареева» (РШ. 1897. IV. С. 267—275).

[65] *Звягинцев Е. А.*, известный русский педагог первых десятилетий XX века.

[66] *Ястребов Николай Владимирович* (1869—1923), историк-славист. Окончил С.-Петербургский университет (1895). Был оставлен для подготовки к профессорскому званию по кафедре славяноведения (специально по истории славян). В 1900—1902 гг. находился в заграничной командировке, с 1902 г. — приват-доцент, с 1914 г. — профессор С.-Петербургского университета и других высших учебных заведений. По политическим взглядам Ястребов был либералом. После Октябрьской революции в политической деятельности не участвовал.

Ястребов был крупным специалистом по истории славян. Написал много исследований по этой теме.

[67] *Васильевский Михаил Григорьевич* (1875—1903), писатель и историк, окончил курс в С.-Петербургском университете. Переводил с французского языка на русский. Написал статьи («Конституция», «Рабство», «Сен-Симон и сен-симонизм», «Фурье и фурьеризм» для «Энциклопедического словаря» Брокгауза и Ефрона. Состоял в 90-е годы XIX в. личным секретарем Н. И. Кареева. Участвовал в студенческих волнениях 1899 г. в С.-Петербургском университете. Умер в 28 лет. Некролог о нем «Памяти М. Г. Васильевского», написанный Кареевым, был опубликован сначала в газете «Русские Ведомости» (1903. № 268. 26 сент.), а затем в книге Кареева «Письма к учащейся молодежи» (9-е изд. СПб., 1907. С. 169—171).

[68] *Струве Петр Бернгардович* (1870—1944), буржуазный экономист и публицист, один из лидеров партии кадетов. В 90-х годах — виднейший представитель «легального марксизма», сотрудник и редактор журналов «Новое слово», «Начало» и «Жизнь». Струве был одним из теоретиков и организаторов либерально-монархического «Союза освобождения» (1903—1905) и редактором его нелегального органа — журнала «Освобождение». С образованием партии кадетов в 1905 г. — член ее ЦК. После Октябрьской революции стал ее противником, состоял членом правительства Врангеля. Остаток жизни провел за границей.

[69] *Туган-Барановский Михаил Иванович* (1865—1919), русский буржуазный экономист; в 90-х годах — видный представитель «легального марксизма», сотрудник журналов «Новое слово» (1897), «Начало» (1899) и др.; выступал с критикой К. Маркса. В период первой русской буржуазно-демократической революции — член партии кадетов. В 1917—1918 гг. — активный деятель буржуазной контрреволюции на Украине, министр финансов Украинской Центральной Рады. Основные работы Туган-Барановского: «Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь» (СПб., 1894), «Русская фабрика в прошлом и настоящем» (СПб., 1898).

[70] Кареев Н. И. Старые и новые этюды об экономическом материализме. СПб., 1896. — Второе издание вышло в 1913 г. под названием «Критика экономического материализма (Старые и новые этюды)» (Кареев Н. И. Собр. соч.: В 3 т. Т. 3. СПб., 1913. 224 с.).

В. И. Ленин в составленной им библиографии к статье «Карл Маркс» назвал оба издания этой работы Н. И. Кареева (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 92).

[71] *Плеханов Георгий Валентинович (Бельтов)* (1856—1918), первый про-

пагандист марксизма в России, борец за материалистическое мировоззрение, выдающийся деятель русского и международного движения.

Во время первой мировой войны стоял на позициях социал-шовинизма. После Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г. в России Плеханов занял позицию поддержки Временного правительства. К Октябрьской революции отнесся отрицательно. Неоднократно полемизировал с Н. И. Кареевым по философско-социологическим проблемам.

[72] *Лесгафт Петр Францевич* (1837—1909), русский педагог, анатом и врач; основоположник научной системы физического образования и врачебно-педагогического контроля в физической культуре, один из создателей теоретической анатомии. В 1886—1897 гг. читал лекции по анатомии на естественном факультете С.-Петербургского университета. По своим политическим взглядам Лесгафт был прогрессивным человеком.

[73] *Кронштадтский Иоанн* (настоящая фамилия — Сергиев Иван Ильич) (род. 19 октября 1829 г.), протоиерей, духовный писатель, долго был священником в Кронштадтском Андреевском соборе. Обладал большим влиянием на паству, достигая этого прежде всего замечательным красноречием. (Приведем мало кому известный факт. Смертельно заболев, Александр III (октябрь 1894 г.) отказался от услуг своего врача профессора Захарьина, а приказал вызвать к себе в Крым отца Иоанна Кронштадтского.)

Напечатал много бесед, проповедей, поучений и т. п. В 1890—1894 гг. вышло его «Полное собрание сочинений» (в 6-ти томах), которое неоднократно переиздавалось. Позже появилась в печати «Моя жизнь во Христе или минуты духовного трезвления и созерцания, благоговейного чувства, душевного исправления и покоя в Боге» (М., 1894; 5-е изд. 1899). Выступал против Л. Н. Толстого в своей работе «Несколько слов об обличении лжеучения графа Л. Н. Толстого» (М., 1898).

[74] *Слонимский Леонид (Людвиг) Зиновьевич* (1850—1918), публицист. Окончил Киевский университет. Сотрудничал в разных журналах, с конца 1882 г. стал постоянным сотрудником «Вестника Европы», где печатал статьи по экономическим и общественно-политическим вопросам. Выступал с полемическими статьями против Н. И. Кареева (Слонимский Л. З. Законы истории и социальный прогресс (по поводу сочинения Н. И. Кареева «Основные вопросы философии истории»). Т. 1—2. М., 1883//ВЕ. 1883. XI. С. 253—282). Н. И. Кареев не остался в долгу и уже в 12-й книге журнала «Русская мысль» за 1883 г. появилась его ответная статья «Pro domo sua». Однако и оппонент Кареева не успокоился и в начале 1884 г. публикует новую статью под характерным названием: «Еще раз об „Основных вопросах философии истории" г. Кареева» (ВЕ. 1884. I). На что Кареев отпарировал статьей «Маленький ответ критику» (РМ. 1884. II. С. 111—114).

[75] В данном случае имеется в виду профессор юридического факультета Варшавского университета Александр Львович Блок (см. прим. 37 к главе VIII).

[76] *Вржеснёвский Август Викентьевич* (1836—?), профессор зоологии Варшавского университета в 80-х годах XIX в. Окончил С.-Петербургский университет в 1856 г. В 1861 г. получил место прозектора при кафедре зоологии и сравнительной анатомии в Варшавской Медико-хирургической академии, которая была преобразована в медицинский факультет Варшавского университета (1869). В 1872 г. защитил докторскую диссертацию в С.-Петербургском университете. С 1880 г. — ординарный профессор, в 1889 г вышел в отставку. Написал множество статей по зоологии. Полный список его работ дан в кн.. Богданов А. Материалы для истории научной и прикладной деятельности в России по зоологии и соприкасающимся с ней отраслям знания. Т. 1. М., 1888.

[77] *Азеф Евно Фишелевич* (1869—1918), один из лидеров партии эсеров, провокатор; секретный сотрудник департамента полиции (1892). Руководил подготовкой нескольких террористических актов (убийство В. К. Плеве — 1904 г., великого князя Сергея Александровича — 1905 г.). В 1901 г. выдал полиции съезд партии эсеров в Харькове, в 1905 г. — почти весь состав ее «боевой организации». В 1908 г. Азеф был разоблачен В. Л. Бурцевым; при-

говорен ЦК партии эсеров к смерти, но ему удалось скрыться. Во время первой мировой войны в 1915 г. был арестован в Германии как русский шпион и заключен в тюрьму, где находился до декабря 1917 г. Умер в Берлине.

78 *Печковский М. Л.*, малоизвестный петербургский журналист начала XX в.

79 *Бильбасов Василий Алексеевич* (1838—1904), русский историк и публицист. В 1861 г. окончил С.-Петербургский университет. С 1863 г. — магистр всеобщей истории. С 1866 г. — приват-доцент С.-Петербургского университета, с 1867 г. — Киевского университета. С этого же года — доктор всеобщей истории. С 1871 по 1883 г. в Петербурге редактировал газету «Голос». Научное наследие Бильбасова обширно. Главный его труд «История Екатерины II». Из 12 намеченных томов вышло лишь три (I, II, и XII). У современников исторические труды Бильбасова пользовались большой популярностью, чему способствовало талантливое изложение материала.

80 *Вагнер Николай Петрович* (1829—1907), зоолог и писатель, доктор зоологии. Окончил Казанский университет. Работал профессором сначала в Казанском, затем в С.-Петербургском университетах. Написал много работ, в том числе «Беспозвоночные Белого моря» (СПб., 1885), «Историю развития царства животных» (СПб., 1887). В 1876—1878 гг. издавал журнал «Свет», где были напечатаны первые стихотворения Надсона. Наибольший успех имело произведение Вагнера «Сказки Кота Мурлыки» (СПб., 1901). Беллетристические произведения Вагнера были изданы под общим названием «Повести, сказки и рассказы Кота Мурлыки» (В 7 т. СПб., 1890—1899). Отдельным изданием вышли блестяще написанные «Картины из жизни животных» (СПб., 1901).

81 Кареев Н. И. Введение в изучение социологии. СПб., 1897 (2-е изд. 1907; 3-е изд. 1913).

82 Кареев имеет в виду свою полемику с В. Н. Латкиным на страницах журнала «Юридический Вестник» (Кареев Н. И. 1) Земские соборы Древней Руси: По поводу книги В. Н. Латкина «Земские соборы Древней Руси» //ЮВ. 1886. II. С. 255—268; 2) Замечания на «ответ» г. Латкина//Там же. 1886. VI—VII. С. 435—445) и с Н. Д. Чечулиным в журнале «Вестник Европы» (Кареев Н. И. Заметка по поводу «исследования» г. Чечулина//ВЕ. 1897. I).

83 Кареев Н. И. Выбор факультета и прохождение университетского курса. СПб., 1897. (2-е изд. 1901; 3-е изд. 1905).

84 Кареев Н. И. 1) Профессорский гонорар в наших университетах// ВЕ. 1897. I; 2) Заключения университетских советов о системе гонорара// ВЕ. 1898. I.

85 Кареев Н. И. Историко-филологические и социологические этюды. СПб., 1895; 2-е изд. 1899.

86 *Пильц Эразм Иванович* (1851—?), польский журналист, редактор еженедельной политической, литературной иллюстрированной польской газеты «Край», издававшейся в Петербурге с 1882 г. Газета выражала взгляды польской умеренной партии, стремившейся к сохранению и развитию польской национальности, согласованным с русской государственностью.

87 Н. И. Кареев в данном случае неверно оценивает роль молодежи в освободительном движении. Однако эта оценка соответствует тем теоретико-методологическим взглядам, которые уже вполне сформировались у Кареева к концу 90-х годов XIX в.

88 *Бекетов Николай Николаевич* (1827—1911), крупный русский ученый, физико-химик, академик Петербургской Академии наук (1886). Окончил Казанский университет в 1849 г., работал у Н. Н. Зимина. В 1859—1887 гг. — профессор Харьковского университета. В 1886 г. переехал в Петербург, где работал в Академической химической лаборатории и на Высших Женских курсах. Н. Н. Бекетов — брат А. Н. Бекетова, деда А. А. Блока.

89 *Фамицын Андрей Сергеевич* (1835—1918), русский ботаник и общественный деятель. Академик Петербургской Академии наук (1884). Окончил С.-Петербургский университет (1857), в котором преподавал с 1861 г., а в

качестве профессора — в 1867—1889 гг. Основоположник петербургской школы физиологии растений. Президент Вольного экономического общества (1906—1909), почетный президент Русского ботанического общества (1915).

[90] *Ванновский Петр Семенович* (1822—1904), русский генерал и государственный деятель, с 1881 по 1898 г. — военный министр; возглавлял комиссию по расследованию обстоятельств студенческих волнений 1899 г.; с 1901 по 1902 г. был министром народного просвещения.

[91] *Хрусталев Петр Алексеевич* (настоящие фамилия и имя — Носарь Георгий Степанович, псевдоним — Ю. Переяславский) (1877—1918), русский политический деятель, меньшевик. В октябре — ноябре 1905 г. как беспартийный был избран председателем Петербургского совета, затем стал меньшевиком. Был делегатом V съезда РСДРП от меньшевиков, затем ликвидатор. В 1909 г. вышел из РСДРП. После Февральской революции 1917 г. в России уехал на Украину. В 1918 г. сотрудничал с П. П. Скоропадским и С. В. Петлюрой. В конце 1918 г. расстрелян советскими властями за контрреволюционную деятельность.

[92] *Савинков Борис Викторович* (1879—1925), один из лидеров партии эсеров, писатель (псевдоним — В. Ропшин). В конце 90-х годов принимал участие в студенческом движении в Петербурге. С 1901 г. примыкал к социал-демократам. В 1903 г. вступил в партию эсеров и вошел в ее «боевую организацию». Участник убийства В. К. Плеве (15 июля 1904) и великого князя Сергея Александровича (4 февраля 1905 г.). В 1906 г. был арестован и приговорен к казни, но накануне казни бежал, жил за границей. После Февральской революции активно боролся с Советской властью. В августе 1924 г. арестован. На суде заявил о признании Советской власти. Приговорен к 10 годам тюремного заключения. В тюрьме покончил с собой.

[93] *Щеголев Павел Елисеевич* (1877—1931), историк и литературовед. Окончил С.-Петербургский университет. За участие в студенческих волнениях в 1899 г. сослан в Вологду. В 1906 г. приступил к изданию журнала «Былое», но в 1907 г. журнал был закрыт, а Щеголев заключен в Петропавловскую крепость, где находился около 2,5 лет. С 1918 по 1926 г. он вновь редактор журнала «Былое». Щеголев подготовил к изданию сборник документов «Падение царского режима» (Т. 1—7. М.; Л., 1924—1927); был одним из основателей Музея революции в Ленинграде.

[94] *Зверев Николай Андреевич* (1850—?), юрист и государственный деятель. Окончил Московский университет. После защиты диссертаций — профессор кафедры энциклопедии и истории философии Московского университета. Работал короткое время его ректором. В 1898 г. занял пост товарища министра народного просвещения (при Н. П. Боголепове). Н. И. Кареев отметил назначение Боголепова и Зверева в министерство четверостишием:

Вселились в министерство
В довольно равной мере
Божественность и зверство
В нелепом богозвере.
(ГБЛ. Ф. 119. П. 44. Д. 14. Л. 6).

В 1901 г. Зверев был назначен сенатором, в 1902—1904 гг. — начальником Главного управления по делам печати и на этом посту принимал крайне реакционные меры в отношении печати.

[95] В личном фонде Н. И. Кареева хранится запись разговора Н. И. Кареева со Зверевым о причинах его увольнения «без объяснения причин» из С.-Петербургского университета в 1899 г. (ГБЛ. Ф. 119. П. 44. Д. 14. Л. 19—23).

[96] Уже в советское время Н. И. Кареев обобщил оставшиеся у него документы и личные наблюдения и написал статью «Мое изгнание из профессоров С.-Петербургского университета в 1899 г.», которая так и не увидела свет (ГБЛ. Ф. 119. П. 44. Д. 14. Л. 1—46).

[97] *Протасов-Бахметев,* граф, попечитель Александровского Лицея в 1899 г.

[98] Это не совсем так. Об увольнении профессоров, например, писала га-

зета «Россия» (1899. № 125), сообщал о студенческих беспорядках и «Правительственный Вестник» (1899. 24 мая. № 110), а газета «Неделя» опубликовала статью (Пл. К. Профессорский кризис//Неделя. 1889. № 41. С. 1335—1337).

Глава X

[1] *Алексеев Александр Семенович* (1851—?), профессор государственного права. Окончил Московский университет. После заграничной командировки в 1879 г. начал чтение лекций по истории политических учений в Московском университете. В 1880 г. получил ученую степень магистра. В 1884 г. был вновь командирован за границу на год, что дало ему возможность собрать большой материал и позже, обработав его, написать сочинение «Этюды о Ж. Ж. Руссо» (1887). Интерес представляет и написанная им работа «Макиавелли как политический мыслитель» (М., 1889), а также целый ряд статей, помещенных в русских журналах.

[2] *Корзон Тадеуш (Фаддей)* (1839—1918), крупный польский историк. Окончил Московский университет. По политическим мотивам высылался в Оренбург, позднее жил в Варшаве. Писал учебники для средней школы, работы по общим вопросам исторической науки и по всеобщей истории, на изучении которой особенно настаивал. Главный его труд посвящен истории Польши: «Внутренняя история Польши при Станиславе Августе» (Т. 1—6. Варшава, 1897—1898). О Корзоне как историке Н. И. Кареев писал в своей книге «Падение Польши в исторической литературе» (СПб., 1888. С. 341—372).

[3] *Якубович Петр Филиппович* (1860—1911), революционер-народоволец, поэт, писатель и критик. В 1882 г. окончил С.-Петербургский университет, участвовал в студенческом движении. С 1878 г. сотрудничал в демократических журналах «Дело», «Слово», «Отечественные записки». В 1882 г. вступил в петербургскую организацию «Народной воли» и стал одним из лидеров народовольческого движения. Оказывал большую помощь Г. А. Лопатину в воссоздании партии. Арестован в Петербурге 15 ноября 1884 г. и по «Процессу 21-го» приговорен к смертной казни, замененной 18-ю годами каторги. С 1895 г. находился на поселении в Кургане. В 1899 г. Якубович вернулся в Европейскую Россию. Был редактором отдела поэзии, с 1904 г. (совместно с В. Г. Короленко) — отдела беллетристики журнала «Русское Богатство». Писал под псевдонимами: М. Рамшев, Л. Мельшин, П. Я., П. Ф. Гриневич.

[4] Русская высшая школа общественных наук (РВШОН) в Париже (1901—1906 гг.) была основана М. М. Ковалевским и представляла собой «Вольный русский университет» за пределами России. Идейно она была связана с русскими либералами. В ней читали лекции по истории — Н. И. Кареев, И. В. Лучицкий, М. А. Дьяконов, А. С. Трачевский, П. Н. Милюков и др.; по политической экономии — А. А. Исаев, А. И. Чупров, П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский и др.; по праву — Ю. С. Гамбаров, С. А. Муромцев, М. М. Винавер и др. В 1903 г. (с 10 по 13 февраля) В. И. Ленин прочел в РВШОН в Варшаве лекции по аграрному вопросу (см.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 107, 599). По словам современника событий, ленинские «лекции и реферат, по-видимому, произвели сенсацию» (см.: Ленинский сборник. Т. XIX. С. 223). Царское правительство считало РВШОН в Париже «семинаром по революции» (см.: История философии в СССР: В 5 т. Т. 4/ Редколл. В. Е. Евграфов, М. Т. Иовчук, И. Я. Щипанов и др. М., 1971. С. 115) и сделало все необходимое, чтобы ее ликвидировать. Директор этой школы М. М. Ковалевский вспоминал, что при его свидании с главой русского правительства С. Ю. Витте последний поинтересовался судьбой школы. Когда Ковалевский ответил, что она закрыта, Витте «с улыбкой заметил, что причина закрытия ему хорошо известна» (Ковалевский М. М. Моя жизнь//История СССР. 1969. № 4. С. 60).

[5] Н. И. Кареев к этому времени задумал написать большое исследование о парижских секциях времен Великой Французской буржуазной революции конца XVIII в. Оно требовало большого архивного материала, который находился в Парижском Национальном архиве, где и работал историк. Мно-

гие причины, главная из которых — мировая война 1914—1918 гг.— помешали Н. И. Карееву полностью осуществить этот весьма интересный замысел.

[6] *Закржевский Станислав* (1873—1936), польский историк, профессор Львовского университета, член Польской Академии наук, председатель Польского исторического общества. Исследовал главным образом политическую историю средневековой Польши.

[7] *Войцеховский Тадеуш* (1838—?), польский историк, профессор Краковского университета. Представляют интерес его труды: «Chrobacýa Rosbiór starożythości slowianskich» (Warszawa, 1873); «O roznickach polskich X—XV w» (Krakow, 1880), и др.

[8] *Дэмблинский Бронислав* (1858—1939), польский историк новейшего времени (XIX в.), политик и дипломат, профессор Львовского и Познаньского университетов, заместитель государственного секретаря в Министерстве по религиозным делам и просвещению в Польше того времени.

[9] *Потканьский Кароль* (1861—1907), польский историк-медиевист, профессор Ягеллонского университета, член Польской Академии наук.

[10] *Ашкенази Михаил Осипович* (1851—1914), писатель и переводчик русских произведений на французский язык. Начиная с 1887 г. жил в Париже, где посвятил свою деятельность ознакомлению западноевропейского общества с русской литературой. Переводил на французский язык произведения Л. Н. Толстого («Война и мир»); М. Е. Салтыкова-Щедрина («За рубежом»), И. А. Гончарова («Обрыв»), И. С. Тургенева и др.

[11] *Бальцер Освальд Мариам* (1858—?), польский юрист, профессор (с 1887 г.) польского права в Львовском университете, с 1888 г. — член Краковской Академии наук. Одним из его исследований является «Studia nad prawem polskiem» (Poznan, 1889).

[12] *Финкель Людвиг* (1858—?), польский историк, профессор (с 1886 г.) Львовского университета. По его инициативе в 1886 г. было основано Историческое общество во Львове. Из его многочисленных работ наиболее известна «Marcin Kromer, hystoryk polski XVI w» (Krakow, 1883).

[13] *Калина Антон* (1846—1906), польский историк-славист. С 1878 г. — приват-доцент, с 1888 г. — профессор славянской филологии в Львовском университете. Написал много сочинений по истории Польши, занимался активной общественной деятельностью. По инициативе Калины было основано во Львове в 1894 г. Этнографическое общество «Towarzystwo ludoznawcse» и его орган «Lud».

[14] *Малэцкий Антоний* (1821—1913), польский филолог, критик, историк литературы и истории. Учился в Берлинском университете. Был приглашен профессором классической филологии в Краковский университет, но в 1851 г. был отстранен от преподавания. В 1856 г. был принят на кафедру польского языка и литературы в Львовский университет. Имеет многочисленные труды по польской литературе и польскому языку.

[15] *Дашинский Игнатий* (1866—?), австрийский политический деятель, по происхождению поляк. Сидел 6 месяцев в Петропавловской крепости после того, как переехал в Россию и работал учителем гимназии. В 1891 г. вернулся в Галицию, где вел социалистическую агитацию среди польских рабочих. Редактировал газету «Rabotnik» в Кракове. Много раз арестовывался, сидел в тюрьмах. Замечательный оратор. Его называли австрийским Лассалем. В 1897 г. избран от Кракова, а в 1901 г. — переизбран в рейхстаг. Был социал-демократом.

[16] *Буйвид Оскар* (1857—?), польский бактериолог. Учился в Варшавском университете. Стажировался в Берлине, Париже, после чего основал в Варшаве лабораторию по бактериологии. Написал много трудов по бактериологии.

[17] *Шараневич Исидор Иванович* (1829—1902), австрийский историк, профессор Львовского университета.

[18] Публичная лекция Н. И. Кареева была опубликована: Кареев Н. И. Мик. Михайловський і його значення у російській літературі//Вісник Наукового Товариства ім Шевченко у Львові. Львів, 1901. — Работа этого общества в начале XX в. получила большой резонанс в научных кругах России.

Академик А. А. Шахматов в этой связи писал М. Грушевскому: «Я часто говорю, что деятельности Товарищества может позавидовать любая академия» (ГМ. 1915. I. С. 272).

[19] *Шаховской Николай Владимирович,* князь, в начале XX в. работал начальником Главного управления по делам печати в России. Был учеником Е. В. Белявского в 1-й и 5-й московских гимназиях. Именно Шаховской устроил своего учителя членом совета Главного управления по делам печати 1 февраля 1902 г.

[20] *Козловский Владислав* (1832—?), польский писатель. Учился в Киевском университете. Написал много журнальных статей о философии, преимущественно о новой английской школе позитивистов.

[21] *Дейков Иван* (18?—19?), болгарский общественный деятель и педагог, переводчик школьных учебников по истории Н. И. Кареева и других книг на болгарский язык. Автор книги «Недъзи на учебното дело. Зародители и учители». Ст. Загора. 1906. Принимал участие в подготовке и издании труда: Железнов А., Буров Хр. и Дейков И. Руска граматика за средни учебни заведения. 1915; 3 изд. 1920. Он переводил некоторые исследования Н. И. Кареева с русского языка на болгарский, в том числе и «Письма к учащейся молодежи», упоминаемые в мемуарах, правда, под другим названием.

[22] *Каравелов Петко Стойчев* (1843 или 1845—1903), болгарский государственный и политический деятель. Будучи студентом Московского университета, был связан с народниками. После освобождения Болгарии от османского ига (1878 г.) избран депутатом Учредительного собрания. Был одним из лидеров левого крыла Либеральной партии. В конце 70-х — начале 80-х годов занимал различные государственные посты. В 1884—1886 и 1901 гг. был премьер-министром Болгарии. В период Стамболовского режима (1887—1894) отстаивал буржуазно-демократические свободы.

[23] *Агура Димитр Димитров* (1849—1911), болгарский историк, член Болгарской Академии наук. Окончил Ясский университет (1872 г.) и преподавал историю в разных болгарских учебных заведениях. Затем — профессор (1904—1911) и ректор (1907—1908) Софийского университета. Министр народного просвещения (1883), председатель Болгарского исторического общества (1901—1911).

[24] *Златарский, Златарски Васил Николаев* (1866—1935), болгарский историк. Позитивист. Окончил С.-Петербургский университет (1891). Был учеником русских славистов В. И. Ламанского и В. Г. Васильевского. 1895—1897 гг. — учитель гимназии. С 1897 г. — доцент, с 1901 г. — профессор Софийского университета. В 1907 г. избран почетным доктором Харьковского университета, а в 1911 г. — членом-корреспондентом Российской академии. Специалист по истории болгарского средневековья. Написал большое количество работ, которые обобщил в основном труде «История на Българската държава презъ средните векове» (Т. 1—3. София, 1918—1940), занимающем важное место в историографии Болгарии.

[25] Н. И. Кареев, по-видимому, ошибся. Нами было просмотрено издание «Ежегодника Министерства иностранных дел России», в котором публиковались списки служащих России в посольствах за границей. В указанные мемуаристом годы фамилия Бахметева не значится.

[26] *Милюков Павел Николаевич* (1859—1943), русский буржуазный политический деятель, лидер Конституционно-демократической партии, историк и публицист. Окончил Московский университет (1882), с 1886 г. — приват-доцент этого университета по кафедре русской истории. В 1895 г. за связь со студенческим движением был уволен из Московского университета. Уехал за границу, где выступал с лекциями в Софийском и Чикагском университетах. Весной 1905 г. вернулся в Россию. Занимался активной политической деятельностью. В первом составе Временного правительства занял пост министра иностранных дел. Октябрьскую революцию встретил враждебно. Эмигрировал за границу. С началом второй мировой войны Милюков встал на позиции той части русской эмиграции, которая отказалась от сотрудничества с гитлеровцами.

[27] *Шишманов Иван Димитров* (1862—1928), болгарский литературовед, фольклорист, историк культуры. С 1902 г. — член Болгарского литературного общества (ныне — Болгарская АН). С 1894 г. — профессор университета в Софии. В 1903—1907 гг. — министр просвещения. Шишманов внес крупный вклад в исследование творчества болгарских писателей, положил начало болгарской фольклористике и этнографии. Ему принадлежат работы о болгаро-русских и болгаро-украинских литературных связях.

[28] Кареев, как известно, писал учебники по истории и для средней школы: Кареев Н. И. 1) Учебная книга новой истории. СПб., 1900; 2) Учебная книга истории средних веков. СПб., 1900; 3) Учебная книга древней истории. СПб., 1901.

[29] *Сакаров Никола Илиев* (1881—1943), болгарский общественный деятель и публицист. Общественной деятельностью начал заниматься в период учебы в торговом училище, за что был исключен из него в 1899 г. Позднее учился в Берлине (1900—1904 гг.). В 1902 г. стал членом Болгарской рабочей социал-демократической партии. После первой мировой войны вступил в Болгарскую Коммунистическую партию (1920). Был депутатом болгарского парламента. В 30-е годы Н. Сакаров отошел от политической деятельности и занялся публицистикой. Во время второй мировой войны Н. Сакаров стоял на антифашистских позициях и выступал за мир и дружбу с СССР. Однако в тяжелые моменты борьбы Народного фронта против фашистского господства Сакаров проявил колебания. Подробнее о нем см.: Бързакова Н. Архивен фонд «Д-р Никола Илиев Сакаров»//Известия на Държаннте архиви София, 1961. Кн. 5. С. 310—315.

[30] *Стамболов (Стамбулов) Стефан* (1854—1895), болгарский политический и государственный деятель. В молодости участвовал в национально-освободительной борьбе против турецкого ига. В 1884—1885 гг. — председатель Народного собрания, в 1886 г. входил в правительство П. Каравелова. В 1887—1894 гг. — глава правительства. В мае 1894 г. под давлением народных масс (проводил политику террора) смещен с поста премьер-министра. 6 июля 1895 г. убит агентами княжеского двора.

[31] Кареев Н. И. Высшая и средняя школа Болгарии//Школа и жизнь. (Еженедельная общественно-педагогическая газета. СПб.). 1912. № 40.

[32] Кареев Н. И. Изучение русского языка во Франции//ВЕ. 1911. III. С. 293 и след.

[33] Кареев Н. И. По поводу двух новых томов «Истории Европы» Альфреда Штерна//ВЕ. 1912. V. С. 339—344.

[34] *Эрисман Федор Федорович* (1842—1915), русский врач-гигиенист, заложивший основы для развития в России гигиены как самостоятельной науки, окончил медицинский факультет Цюрихского университета. С 1869 г. жил в С.-Петербурге. Опубликовал первое в России «Руководство к гигиене» (Т. 1—3. СПб., 1872—1877). В 1878 г. руководил дезинфекционными работами в русской армии в Болгарии во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. С 1879 г. жил в Москве. В 1882—1896 гг. — профессор кафедры гигиены Московского университета. В 1896 г. в связи со студенческими волнениями уволен из Московского университета и переехал в Цюрих, где работал до конца жизни.

[35] *Белоголовый Николай Андреевич* (1834—1895), врач и публицист; в 70-х годах был близок к редакции «Отечественных записок»; с 1881 г. жил за границей и редактировал эмигрантский журнал «Общее дело». Лечил Н. А. Некрасова.

[36] *Бемон Чарльз* (1848—?), французский историк, член Академии наук (1919). Автор значительных работ по истории Англии: «Симон Монфор» (1885), издатель «Хартии свободных англичан» (1892), директор (1896—1909) «Revue Historique». Его исторические труды имели большое влияние на современников.

[37] *Пфистер Христиан*, французский историк, профессор. Окончил Высшую нормальную школу в 1877 г., по образованию историк; доктор словесности (1886). Преподавал в лицеях Франции, в университетах Нанси и Парижа. В 1920 г. избран членом Академии моральных и политических наук. Участ-

вовал в написании многотомной «Истории Франции» Лависса. Имеет ряд исследований по истории Франции.

[38] *Берр Фердинанд Анри* (1863—1954), французский историк и философ, профессор, провозглашал необходимость целостного изучения исторического процесса. Имеет ряд историко-философских исследований, о некоторых из них писал в русской периодической печати Н. И. Кареев (Кареев Н. И. Книга Анри Берра по теории истории//Историческое обозрение. СПб., 1912. Т. 17).

[39] *Рамбо Альфред* (1842—1905), французский историк и государственный деятель. Член Академии моральных и политических наук (1897). Окончил Высшую нормальную школу (1864). С 1881 г. — профессор Сорбонны. В 1895—1903 гг. — сенатор, в 1896—1898 гг. — министр народного просвещения. Сторонник сближения Франции с Россией. Под совместной редакцией Э. Лависса и А. Рамбо вышел многотомный коллективный труд (Всеобщая история с IV столетия до нашего времени» (Т. 1—12. 1893—1901). Первые 8 томов вышли в России на русском языке в 1897—1903 гг. Последние тома французского издания опубликованы на русском языке под названием «История XIX века» (Т. 1—8. СПб., 1905—1907). Второе издание «Истории XIX века» вышло под редакцией Е. В. Тарле уже в советское время (Т. 1—8. М., 1938—1939). Н. И. Кареев писал об одном из исторических трудов А. Рамбо в журнале «Библиограф» (1888. IV. 187—191).

[40] Кареев Н. И. Книга о французском культурном влиянии в России// ВЕ. 1910. IX. С. 307—312.

[41] *Ланглуа Шарль Виктор* (1863—1929), французский историк-медиевист. Член Академии надписей (1917), профессор истории средних веков и палеографии в Сорбонне. В работе «Введение в изучение истории» (русск. пер. СПб., 1899) Ланглуа совместно с Ш. Сеньобосом изложил правила критики источников. Во время изучения Н. И. Кареевым документов по парижским секциям времен Великой Французской революции конца XVIII в. Ланглуа служил директором Национального архива Франции (с 1912 г.). Ланглуа много сделал для упорядочения архивного дела во Франции.

[42] *Лиштанберже,* французский ученый начала XX в.

[43] *Лот Фердинанд* (1866—?), французский историк, архивист-палеограф, доктор словесности, профессор университета в Париже.

[44] *Матьез Альбер* (1874—1932), французский историк, исследователь истории Великой Французской революции, окончил Высшую нормальную школу, доктор гуманитарных наук (1904). Матьез был инициатором создания Общества робеспьеристских исследований. Испытал влияние марксизма. Матьез вслед за Ж. Жоресом сыграл крупную роль в изучении истории Великой Французской революции. На русский язык переведены следующие исследования Матьеза: «Французская революция» (Т. 1—3. М.; Л., 1925—1930); «Борьба с дороговизной и социальное движение в эпоху террора» (М.; Л., 1928); «Термидорианская реакция» (М.; Л., 1931).

Матьез знал исследования Н. И. Кареева по истории Французской революции. 9 апреля 1925 г. на заседании робеспьеристского общества он сказал, имея в виду последние публикации о Великой революции: «Позвольте мне в этом отношении выразить радость за наше дело вследствие заметной поддержки, которую оказал нам старейшина русских историков Н. Кареев, который посвятил свою долгую и прекрасную жизнь изучению нашего XVIII века и нашей Революции. Господин Кареев, который является автором многочисленных работ, известных в его стране, воспитал на своей кафедре в Ленинградском университете плеяду историков, владеющих прекрасными методами, воодушевленных стремлением к точности» (Annales historiques de Révolution française. Reims. 1925. IX. P. 271—172).

[45] *Дени Эрнест* (1849—1921), французский историк-славист. Профессор истории в Гренобле (1881—1886), Бордо (1886—1890), с 1896 г. — профессор Сорбонны. В 1920 г. основал при Парижском университете Институт славянских исследований. Основные работы Дени посвящены истории Чехии XV—XVII вв.

[46] *Сеньобос Шарль* (1854—1942), французский историк, с 1900 г. —

профессор Сорбонны. В 1882 г. опубликовал исследование «Феодальный режим в Бургундии до 1380 г.», а затем ряд работ по истории древних цивилизаций. В дальнейшем стал заниматься проблемами новой истории. В 1897 г. издал «Политическую историю современной Европы». Ему принадлежат труды по методологии истории, истории международных отношений. Сеньобос рассматривал историю не как науку, а как особый процесс познания. В своих исторических сочинениях он уделял основное внимание политической истории, главным образом парламентской.

[47] *Брэш Ф.*, французский историк, специалист по истории Великой Французской революции конца XVIII в., автор громадного тома (1236 с.) под заглавием «Коммуна десятого августа 1792 года» (Braesch F. La Commune du dix août 1792: Etude sur histoire de Paris du 20 Juin au 2 Décembre 1792. Paris, 1911) и других исследований и документальных публикаций по истории Великой Французской революции.

[48] Н. И. Кареев имеет в виду свои историографические обзоры: «Работы русских ученых по истории французской революции», с которыми он выступил в Обществе Французской революции (см.: Известия С.-Петербургского политехнического института. 1904. Т. 1), а также «Эпоху Французской революции в трудах русских ученых за последние десять лет (1902—1911)» (см.: Историческое обозрение. СПб., 1912. Т. 17).

[49] *Вормс Ренэ* (1862—1926), французский социолог. Главная его работа «Организм и общество» (Paris, 1896; русск. пер.: Общественный организм. СПб., 1897), в которой были развиты идеи органической школы в социологии. Вормс основывал свои взгляды на установлении аналогии между обществом и животным организмом.

[50] *Тард Габриэль* (1843—1904), французский социолог и криминалист. В 1893—1896 гг. возглавлял отдел в Министерстве юстиции, а затем занимался преподавательской деятельностью. С 1900 г. — профессор новой философии в Коллеж де Франс. Социологическая концепция Тарда (Законы подражания. Paris, 1890; русск. пер. СПб., 1892) проникнута психологизмом.

[51] *Уорд Лестер* (1841—1913), американский социолог, геолог, палеонтолог, один из основателей палеоботаники. С 80-х годов XIX в. занялся социологией, профессор социологии в университете Брауна (1906—1913), первый президент Американского социологического общества (1906—1908). Уорд — автор знаменитой работы «Динамическая социология» (Dyname sociology. Vol. 1—2. New York, 1924), которая была запрещена в России. О нелепости этого запрета с грустной иронией рассказывает Н. И. Кареев в своих мемуарах.

[52] *Лориа Ахилл* (1857—1926), итальянский социолог и экономист, фальсификатор марксизма. Кареев писал о нем в статье «Новая попытка экономического обоснования истории» (РБ. 1894. I. 27—47), а также в 3-м томе своего собрания сочинений (СПб. Т. III. 1913. С. 97—122).

[53] *Лилиенфельд-Тоаль Павел Федорович* (1829—?), русский социолог. Окончил Александровский Лицей. Служил С.-Петербургским вице-губернатором, издал главное свое сочинение «Мысли о социальной науке будущего» (СПб., 1872) под псевдонимом «П. Л.», что повлекло за собой курьезную и вместе с тем драматическую ситуацию, о которой и рассказывает Н. И. Кареев. Участвовал в международных социологических конгрессах 1894 и 1895 гг.

[54] *Келлес-Крауз Казимир* (псевдоним — Мыхал Люсня) (1872—1905), польский социолог, публицист, теоретик исторического материализма. Изучал проблемы исторических традиций. Изданы его «Избранные письма». (Warszawa, 1972. S. 513).

[55] *Рауль де ла Грассери*, французский социолог конца XIX — первых десятилетий XX в., участник Международных социологических конгрессов.

[56] *Мазон Андре* (1881—1967), французский историк-славист, член Академии надписей (1941). Учился в Сорбонне и Пражском университете. Преподавал в Харьковском университете (1905—1908), профессор Страсбургского университета (1919—1923) и Коллеж де Франс (1924—1951), работал в Институте живых восточных языков (1909—1914), вице-президент Междунаро-

ного комитета славистов (1958—1967), крупный исследователь русской классической литературы. Опубликовал ценные материалы об известных русских писателях, в том числе о творчестве И. А. Гончарова.

[57] Н. И. Кареев написал 13 исследований о Парижских секциях времен Великой Французской революции конца XVIII в. Назовем некоторые из них: Кареев Н. И. 1) Парижские секции времен Французской революции (1790—1795). СПб., 1911; 2) Неизданные документы по истории Парижских секций 1790—1795 гг. СПб., 1912; 3) Политические выступления Парижских секций во время Великой революции//РБ. 1912. № 11. С. 28—49; № 12. С. 49—66; 4) Революционные комитеты Парижских секций (1793—1795). С приложением неизданных документов. СПб., 1913; 5) Роль Парижских секций в перевороте 9 термидора: По архивным источникам. Пг., 1914; 6) Неизданные протоколы Парижских секций 9 термидора II года. СПб., 1914, и др.

[58] Кареев Н. И. В недавнем немецком плену//РЗ. 1914. I. С. 89—103.— В 1915 г. издательство «Наши Дни» выпустило большой сборник «В немецком плену» (М., 1915), в котором Н. И. Кареев опубликовал статью «Пять недель в германском плену», состоявшую из двух частей: «I. Сидение в Дрездене» (с. 11—16) и «II. Наша работа в Берлине» (с. 16—20). Первая часть была ранее опубликована (РВ. 1914. № 209. 12 сентября. С. 5).

Глава XI

[1] Кареев Н. И. 1) О преподавании истории в средней школе//РШ. 1899. X—XII; 2) О желательной постановке курса средневековой истории// Там же. 1900. III—IV.

[2] Ботушаров Х. Автори и подбор на учебниците по истории в България (1877—1944 гг.)//Исторически преглед. 1985. IX. С. 33; см. также: Из далекого и близкого прошлого: Сборник этюдов из всеобщей истории в честь пятидесятилетия научной жизни Н. И. Кареева. Пг.; М., 1923. С. 12—13.

[3] Кареев Н. И. Из моих воспоминаний об И. И. Иванюкове//Известия С.-Петербургского политехнического института. СПб., 1912. Т. 17.

[4] Кареев Н. И. 1) Город-государство античного мира. СПб., 1903: 2-е изд. 1905; 3-е изд. 1913; 2) Монархии Древнего Востока и греко-римского мира. СПб., 1904; 2-е изд. 1908; 3-е изд. 1913; 3) Поместье-государство и сословная монархия средних веков. СПб., 1906; 2-е изд. 1909; 3-е изд. 1913; 4) Западноевропейская абсолютная монархия XVI—XVIII вв. СПб., 1908; 5) Происхождение современного народно-правового государства. СПб., 1908. Был задуман и шестой типологический курс — «Варварские королевства начала средних веков», который, по мысли Н. И Кареева, должен был пополнить хронологический пробел между «Монархиями Древнего Востока...» и «Поместьем-государством...», но замысел не получил исполнения, хотя даже в 1908 г. ученый с уверенностью писал: «Этой форме (варварским государствам. — *В. З.*) будет впоследствии посвящена особая книга» (Кареев Н. И. 1) Поместье-государство и сословная монархия средних веков; вып. II. СПб., 1906. С. III; 2) Западноевропейская абсолютная монархия XVI—XVIII вв. СПб., 1908).

[5] *Гагарин Андрей Григорьевич* (1855—?), выдающийся ученый, физик, князь. Окончил С.-Петербургский университет, затем Михайловскую артиллерийскую академию. С 1895 по 1900 г. Гагарин был помощником начальника С.-Петербургского орудийного завода. В 1900 г. назначен первым директором только что открывшегося С.-Петербургского политехнического института и возглавлял его до 1 марта 1907 года. Когда полицейский обыск в общежитии студентов института обнаружил взрывчатые вещества, князь Гагарин был предан суду и отстранен от директорской должности.

[6] *Плеве Вячеслав Константинович,* министр внутренних дел. 15 июля 1904 г. был убит бомбой, брошенной в его карету бывшим студентом Московского университета Сазоновым.

[7] Упоминаемые Н. И. Кареевым фотографии хранятся в архиве АН СССР (ЛО) Ф. 980.

[8] Об этом см.: Ленин В. И. Трепов хозяйничает//Полн. собр. соч. Т. 9. С. 238—241.

[9] *Дурново Петр Павлович* (1835—?), генерал, реакционный государственный деятель. В 1866—1870 гг. был губернатором в Харькове, в 1872—1878 гг. — губернатор в Москве. Затем служил в министерствах внутренних дел и военном. С. 1905 г. — член Государственного совета. С июля по ноябрь 1905 г. — московский генерал-губернатор. Находясь на этом посту, пытался установить контакт властей с либеральной буржуазией, заигрывал с земцами и лидерами городского самоуправления с целью организации совместных действий против надвигающейся революции.

[10] Фотография с картины Е. С. Зарудной-Кавос хранится в архиве АН СССР (ЛО) (Ф. 980. Оп. 1. Д. 92). По словам внука Н. И. Кареева, О. Г. Верейского, картина эта долгое время висела в петербургском кабинете ученого.

[11] *Аничков Евгений Васильевич* (1866—1937), историк литературы. В 1887 г. был исключен из С.-Петербургского университета за участие в «беспорядках» и окончил его позднее. С 1895 г. работал приват-доцентом по истории западноевропейских литератур в Киевском университете. Вместе с М. М. Ковалевским, Ю. С. Гамбаровым и Де Роберти в 1901 г. принимал участие в устройстве Русской высшей школы общественных наук в Париже, состоял ее секретарем.

Читал лекции в С.-Петербургском университете и на Высших Женских курсах с 1902 до конца 1903 г. Затем был арестован по обвинению в политическом преступлении и посажен в крепость, где пробыл 13 месяцев. Публиковался в разных русских журналах; частично статьи Аничкова собраны в сборнике «Литературные образы и мнения» (СПб., 1904).

[12] Поиски этого письма в ЦГИАЛ в личном фонде Витте (Ф. 1622), к сожалению, не увенчались успехом. Вероятно, Витте уничтожил это письмо, рисовавшее его в явно отрицательных тонах перед последующими поколениями российского общества в случае сохранения этого документа. А «граф Полусахалинский» (так современники иронически называли Витте) уж очень старался выглядеть в зеркале истории в привлекательном виде, о чем, кстати, свидетельствуют и его мемуары (Витте Р. Ю. Воспоминания: В 3 т. М., 1960).

[13] *Шварц А. Н.* (1848—1915), реакционный деятель царской России, по образованию филолог. Несколько лет был преподавателем. В 1908—1910 гг.— министр народного просвещения; провел ряд реакционных мероприятий в области средней и высшей школы: при нем отменена университетская автономия, запрещен прием женщин вольнослушательницами в высшие учебные заведения, строго соблюдалась процентная норма для евреев при приеме в учебные заведения.

Шварца на посту министра народного просвещения в 1910 году заменил Кассо (1865—1914), столь же реакционный деятель самодержавной России. Он был крупным помещиком. Это не помешало ему служить сначала профессором гражданского права в Харьковском, а затем и в Московском университетах. С 1910 по 1914 г. — министр народного просвещения. Проводил крайне реакционную политику, препятствовал открытию новых университетов, запрещал студенческие союзы и собрания, жестоко расправлялся с революционным студенчеством и прогрессивной профессурой. Подобную же политику Кассо проводил и в отношении средней, а также начальной школы: отменил родительские комитеты, ввел внешкольный надзор, назначение народных учителей при нем осуществлялось непосредственно инспекцией и т. п.

[14] *Кульман Николай Карлович* (1871—?), филолог, историк литературы. Учился в С.-Петербургском университете, работал профессором Педагогического института и Александровского Лицея. Написал ряд исследований по литературе и общественной жизни первой половины XIX в. (см.: Кульман Н. К. 1) Рукописи В. А. Жуковского, хранящиеся в библиотеке гр. Боб-

ринских//Известия. II Отд. Академии наук. СПб., 1900. Кн. 4; 2) Памяти А. Н. Майкова. СПб., 1902, и др.). С 1915 г. — редактор еженедельного журнала «Летопись средней школы».

[15] Кареев Н. И. Исторический очерк представительных учреждений в Западной Европе//Конституционное государство: Сб. СПб., 1905.

[16] В. И. Ленин кадетской партии посвятил множество статей (см.: Справочный том к Полному собранию сочинений В. И. Ленина. Ч. I. М., 1978. С. 212—217.

[17] В исторической литературе укоренилось неверное утверждение о том, что Н. И. Кареев был одним из «основателей партии» кадетов, ее руководящим деятелем, членом ее ЦК (Вайнштейн О. Л. Историография средних веков. М.; Л., 1940. С. 311; История философии: В 5 т.//Ред. колл.: М. А. Дынник, М. П. Иовчук, Б. М. Кедров и др. Т. 5. М., 1961. С. 351; Ефимов А. В. Некоторые вопросы методики как науки//Известия АПН РСФСР. Вып. 99. М., 1959. С. 88, и др.). Оценка роли Н. И. Кареева в конституционно-демократической партии нами дана в Предисловии. Более подробные сведения можно найти в кн.: Золотарев В. П. Историческая концепция Н. И. Кареева: содержание и эволюция. Л., 1988. Гл. 1.

[18] В этом признании Н. И. Кареев искренен. Осуществленный нами просмотр таких органов партии кадетов, как «Вестник партии народной свободы» (1906—1908) и газеты «Речь», в которых Н. И. Карев после 1906 г., в сущности, не выступал по политическим вопросам, подтверждает высказывание историка.

[19] Н. И. Кареев преуменьшает критические стрелы лидеров кадетской партии, направленные в сторону социал-демократов. В этом легко убедиться, прочитав статьи и выступления П. Н. Милюкова, П. Б. Струве, В. Д. Набокова в «Вестнике партии народной свободы». 98 номеров этого еженедельника, выходившего с февраля 1906 г. по февраль 1908 г., содержат богатый материал.

[20] «Товарищ Абрам» — псевдоним Н. В. Крыленко (1885—1938), который в это время был одним из руководителей студенческого революционного движения в С.-Петербурге. После Октябрьской революции занимал ответственные должности в Советском государстве.

[21] Кареев Н. И. Выборы в Петербурге в Первую Государственную думу//К десятилетию Первой Государственной думы: Сб. СПб., 1916.

[22] Этот снимок сохранился и находится в архиве АН СССР (ЛО). Ф. 980.

[23] Н. С. Таганцев в своих воспоминаниях иначе описывает открытие Государственной думы (Таганцев Н. С. Пережитое. Учреждения Государственной думы в 1905—1906 гг. Вып. I. Пг, 1919. С. 34—37). С описанием открытия Государственной думы, которое дал Н. С. Таганцев, не согласились не только Н. И. Кареев (там присутствовавший), но В. П. Обнинский (ГМ. 1917. IV. С. 39) и др.

[24] *Петрункевич Иван Ильич* (1844—1928), помещик, земский деятель. Кадет. В 1904 г. был председателем либерально-монархического «Союза освобождения». Участник земских съездов 1904—1905 годов. Один из основателей и видных деятелей партии кадетов, председатель ее ЦК, издатель центрального органа партии — газеты «Речь». Был членом I Государственной думы. После Октябрьской социалистической революции — белоэмигрант.

[25] Кареев выступал в Думе несколько раз (см.: Стенограф. отчет. Государственная дума. Т. 1. Ч. I. СПб., 1906. С. 120—123, 152, 156; Ч. II. СПб., 1906. С. 1071—1072). Н. И. Кареев просил слова и на заседании 27 июня 1906 г., но председатель Государственной думы С. А. Муромцев не предоставил ему возможность выступить (см. об этом: Стенограф. отчет. Т. 1. Ч. II. С. 1787).

[26] Кареев имеет в виду ответ царского правительства на адрес I Государственной думы (см.: Тронная речь Государя Императора. Ответный адрес Государственной думы. Речь Горемыкина на заседании Государственной думы 13 мая 1906. СПб., 1906. С. 1—47 (Приложение к «Вестнику партии народной свободы». 1906. № 14)).

[27] Выборгское воззвание («Народу от народных представителей») группы депутатов I Государственной думы, принятое в Выборге 10 июля 1906 г. в ответ на роспуск Думы, было призывом к пассивному сопротивлению царскому правительству и имело целью предотвратить возможный революционный взрыв, вызванный роспуском Думы, направить возмущение масс в «конституционное» русло. Несмотря на миротворческий дух Выборгского воззвания, было начато уголовное преследование подписавших его, и 12—18 декабря 1907 г. Особое присутствие Петербургской судебной палаты приговорило 167 обвиняемых к трем месяцам тюрьмы каждого. В. И. Ленин детально анализировал причины провала первого парламента России (см.: Ленин В. И. 1) Роспуск Думы и задачи пролетариата//Полн. собр. соч. Т. 13. С. 305—327; 2) Политический кризис и провал оппортунистической тактики//Там же. С. 348—364; 3) Тактические колебания//Там же. С. 378—382).

[28] *Герценштейн Михаил Яковлевич* (18?—1906), экономист. С 1903 г.— приват-доцент Московского университета, с 1904 г. — профессор политической экономии и статистики в Московском сельскохозяйственном институте. Был членом партии кадетов и депутатом I Государственной думы. Убит в 1906 г. Из его работ упомянем «Аграрный вопрос. Национализация земли. Выкупная операция» (М., 1905).

[29] Поскольку жену Кареева звали Софьей, а просительницы бывали чаще всего в её комнате, поэтому гостиную Герасимов и назвал «Софьинским департаментом».

[30] Эта машинописная выписка сохранилась в архиве Н. И. Кареева (ГБЛ. Ф. 119. П. 20. Д. 66).

[31] *Пергамент Михаил Яковлевич* (1866—?), юрист. Окончил Новороссийский университет. После заграничной командировки в Берлин работал профессором кафедры гражданского права в Юрьевском университете. Из его работ назовем: «Договорная неустойка и интерес» (2-е изд. М., 1905); «К вопросу о задачах науки римского права» (Право. 1899. № 44).

[32] *Покровский Иосиф Алексеевич* (1868—?), юрист. С 1903 г. работал профессором римского права в С.-Петербургском университете. В 1902 г. защитил докторскую диссертацию «Право и факт в римском праве».

[33] *Феррер Гуардия Франсиско* (1859—1909), испанский просветитель и педагог, мелкобуржуазный республиканец, близкий к анархистам. Во время восстания в Барселоне в 1909 г. против марокканской колониальной авантюры был арестован, без всяких оснований обвинен в руководстве восстанием и расстрелян. Казнь Феррера вызвала мощную волну протеста во многих странах.

[34] Н. И. Кареев был весьма обеспокоен действиями цензуры. Об этом свидетельствуют его письма, датированные 20 ноября 1898 г. М. С. Корелину он писал: «Мой V том (в 888 стр.) в самый день цензурного срока подвергли задержанию, и вот уже прошло больше двух недель, а я не имею никаких сведений» (ЦГИАМ. Ф. 2202. Оп. 3. Д. 3. Т. 2. Л. III). В тот же день Кареев с огорчением сообщил об этом и В. И. Герье: «Я нахожусь в неизвестности, чем все еще кончится» (ГБЛ. Ф. 70. Оп. 46. Д. 8. Л. 2). А в письме к В. П. Бузескулу от 20 января 1899 г. он писал о мытарствах, кои ему пришлось испытать, чтобы 5-й том увидел свет (Архив АН СССР (ЛО) Ф. 825. Оп. 2. Д. 91. Л. 5об.).

[35] Кареев Н. И. Польские реформы XVIII века//ВЕ. 1899. V, VI.

[36] Кареев Н. И. Новая попытка экономического обоснования истории //РБ. 1894. I. 27—47.

[37] В серии «История Западной Европы по эпохам и странам», выходившей под редакцией Н. И. Кареева и И. В. Лучицкого, увидело свет около 30 монографий. Их перечень дан в журнале «Педагогическая мысль» (1923. № 4—5. С. 109—110).

[38] Вышло всего только 5 книжек. Журнал прекратил существование из-за начавшейся мировой войны (Научный исторический журнал/Под ред. Н. И. Кареева. Пг., 1913—1914. № 1—5).

[39] В архиве АН СССР (ЛО) находится большая рукопись Н. И. Кареева

«Новая история (Историографический обзор по новой истории)», предназначавшаяся для этого сборника (Ф. 154. Оп. 2. Д. 50).

[40] Николаю Ивановичу Карееву ученики и товарищи по научной работе. К сорокалетию профессорской деятельности. 1873—1913. СПб., 1914.

[41] В газете «День» (1913. № 308, 13 ноября) имеется коллективная фотография присутствовавших на чествовании Н. И. Кареева. Вырезка фотографии из этой газеты хранится в отделе рукописей ГБ (Ф. 119. П. 21. Д. 50. Л. 5).

[42] *Соколов Федор Федорович* (1841—1909), русский историк, филолог и эпиграфист. Профессор древней истории и классической филологии С.-Петербургского университета (с 1884 г.). Создатель русской эпиграфической школы. Соколову принадлежит большое количество исследований в области древней истории (главным образом эпохи эллинизма), классической филологии и эпиграфики.

[43] Кареев Н. И. Всеобщая история в университете//Историческое обозрение. Т. 3. СПб., 1891. С. 1—21.

[44] Память Кареева подвела: Психоневрологический институт был основан в 1908 г. (БСЭ. 3-е изд. Т. 3. М., 1970. С. 288).

[45] *Нечаев Александр Петрович* (1870—?), писатель и педагог. Окончил С.-Петербургский университет. Читал психологию на педагогических курсах военно-учебного ведомства. Основал в Петербургском университете кабинет психологии, затем лабораторию экспериментальной педагогической психологии при Педагогическом музее в Петрограде. При его участии в 1904 г. были основаны впервые в России педагогические курсы для изучения человека как предмета воспитания (Кареев назвал их Педагогической академией).

Отметим две работы Нечаева: «Труды по экспериментальной психологии» (СПб., 1902) и «Курс педагогической психологии для народных учителей» (Пг., 1915).

[46] Кареев Н. И. 1) Традиции Литературного фонда и В. А. Манасеин как выразитель их//Юбилейный сборник Литературного фонда. 1859—1909. СПб., 1911; 2) Я. Г. Гуревич//Там же.

[47] Карееву, разумеется, было невдомек, что на банкете присутствовал и осведомитель, который доложил министру внутренних дел и вовсе противоположное тому, что сообщил перестаравшийся для власть предержащих репортер. Так вот, агент письменно уведомил своего принципала, что Н. И. Кареев будто бы заявил: «Русская действительность так мрачна, так отвратительна, что праздновать 19 февраля было бы нелепо. От реформ Александра II не осталось ничего, и то, что замышляет правительство в близком будущем, прямо зловеще» (ЦГИАЛ. Ф. 1282. Оп. 1. Д. 701. Л. 2).

[48] *Верейский Георгий Семенович* (1886—1962), советский график, народный художник РСФСР (1962), действительный член Академии художеств СССР (1949). Учился в Петербурге (1913—1916) у М. В. Добужинского, Б. М. Кустодиева, А. П. Остроумовой-Лебедевой. В 1918—1930 гг. работал в отделении гравюр Государственного Эрмитажа. Мастер графического портрета. Был женат на дочери Н. И. Кареева, Елене Николаевне.

[49] *Верейский Николай Георгиевич* родился в 1912 г. в Петербурге. Сын Г. С. и Е. Н. Верейских. До начала Великой Отечественной войны жил в Ленинграде. Был призван в действующую армию. Демобилизовался в 1946 г. в Москву, где и живет. По специальности геолог, кандидат геолого-минералогических наук. Николай Георгиевич написал свои воспоминания о Н. И. Карееве, которые хранятся в архиве АН СССР (ЛО) (Ф. 980. Оп. 1. Д. 35).

[50] *Верейский Орест Георгиевич* родился в 1915 г. в дер. Аносово (ныне Смоленской области), сын Г. С. и Е. Н. Верейских, народный художник РСФСР (1970), действительный член Академии художеств СССР (1983). В 1936—1938 гг. был вольнослушателем Академии наук в Ленинграде, участник Великой Отечественной войны, автор иллюстраций к поэмам А. Т. Твардовского «Василий Теркин» (1942—1948), «Дом у дороги» (1957), роману А. Фадеева «Разгром» (1949, 1967), произведениям М. А. Шолохова «Тихий Дон» (1951—1952), «Судьба человека» (1958), «Поднятая целина» (1967).

О. Г. Верейский написал воспоминания о Н. И. Карееве (хранятся в личном архиве В. П. Золотарева).

[51] Кареев Н. И. Государственные территории и их границы в Западной Европе со второй половины средних веков до нашего времени: (Очерки по исторической географии). 1922 г. Машинопись. 231 с.//ГБЛ. Ф. 119. П. 35. Д. 15.

[52] Кареев Н. И. Южные славяне и Италия на Адриатике. Пг., 1917.

Глава XII

[1] См., напр.: Кареев Н. И. Учредительные собрания в Западной Европе (1789—1911)//Правительственный Вестник. 1917. № 7(53), 12(25 марта). С. 2—3.— После революции эта газета стала называться «Вестник Временного правительства». Ее главным редактором был князь С. П. Урусов.

Кареев Н. И. 1) Отчего окончилась неудачей Европейская революция 1848 г. Пг., 1917; 2) Чем была Парижская Коммуна 1871 г.? Пг., 1917.

[2] Кареев Н. И. 1) Государственный строй Франции//Свободный государственный строй: Сб., Пг., 1917.

[3] Государственное совещание состоялось в Москве 12—15 (25—28) августа 1917 г. В нем участвовали представители организаций крупной российской буржуазии и помещиков, верхушки казачества, меньшевиков и эсеров. Созвано Временным правительством для мобилизации всех контрреволюционных сил России. Вел совещание А. Ф. Керенский. На совещании выступили — в числе других ораторов — Г. В. Плеханов, П. А. Кропоткин и др. (Государственное совещание: (Стенограф. отчет). М.; Л., 1930).

[4] *Брандт Александр Андреевич* (1855—?), профессор, инженер путей сообщения. Образование получил в Институте инженеров путей сообщения, где работал профессором, а с 1906 по 1911 г. был одним из первых выборных его директоров.

[5] *Зернов Дмитрий Степанович* (1869—?), профессор и общественный деятель. Окончил Московский университет. Работал профессором Московского технического училища и читал лекции по начертательной геометрии в Московском университете. В 1898 г. был назначен директором Харьковского технологического института, а в 1902 г. — директором и профессором С.-Петербургского технологического института. Играл видную роль в союзе профессоров высших учебных заведений.

[6] *Тома Альбер* (1878—1932), французский политический деятель, историк. С 1904 г. сотрудничал в социалистической печати. С 1910 г. — депутат парламента от социалистической партии, один из лидеров реформизма. В годы первой мировой войны 1914—1918 гг. — социал-шовинист; в 1915—1916 гг. — государственный секретарь, а в 1916—1917 гг. — министр вооружения. В мае 1916 г. и в апреле — июне 1917 г. посетил Россию с целью активизации ее действий в империалистической войне. Один из создателей Международной организации труда при Лиге Наций, в 1920—1932 гг. — ее председатель. Автор ряда исторических исследований. Назовем одно из них: «Вторая империя. 1852—1870» (1907; русск. пер. СПб., 1908).

[7] *Кашен Марсель* (1869—1958), деятель французского и международного рабочего движения. В 1891 г. вступил в рабочую партию, руководимую Ж. Гедом и П. Лафаргом. В 1905—1920 г. — один из лидеров французской социалистической партии. Был сторонником марксистского направления во французском рабочем движении. С 1912 г. — редактор газеты «Юманите», с 1918 г. и до конца жизни ее директор. С 1914 г. — депутат парламента.

[8] *«Наполеон после битвы при Маренго».* Битва между войсками Наполеона Бонапарта и австрийской армией произошла 14 июня 1800 г. на равнине, посредине которой расположена деревушка Маренго (Северная Италия). Сначала победа склонилась на сторону австрийцев, но подоспевшая дивизия Дезэ склонила чашу весов на сторону французов. После битвы Наполеон со слезами сказал: «Как хорош был этот день, если б сегодня я мог обнять Дезэ!» (Дезэ в битве погиб.) Академик Е. В. Тарле отмечал: «Это

сражение сыграло колоссальную роль в международной политике вообще и в исторической карьере Наполеона в особенности» (Тарле Е. В. Наполеон//Собр. соч.: В 12 т. Т. 7. М., 1959. С. 103).

[9] *Брешковская (Брешко-Брежковская) Екатерина Константиновна* (1844—1934), один из организаторов и лидеров партии эсеров. В народническом движении с 1873 г. С 1874 по 1896 г. на каторге и в ссылке. С 1903 г. в эмиграции. В 1905 г. вернулась в Россию, работала в эсеровских организациях. Неоднократно избиралась в члены ЦК партии эсеров. В 1907 г. была арестована и сослана в Сибирь, откуда вернулась в Петроград после Февральской революции 1917 г. Энергично поддерживала Временное правительство. К Октябрьской революции 1917 г. отнеслась враждебно. В 1919 г. эмигрировала в США, в 1924 переехала в Чехословакию, затем жила во Франции.

[10] Плеханов Г. В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю//Избр. филос. произв.: В 5 т. Т. 1. М., 1956. С. 549.

[11] *Родзянко Михаил Владимирович* (1859—1924), русский политический деятель, один из лидеров партии октябристов («Союз 17 октября»), крупный помещик. В 1906—1907 гг. член Государственного совета. Депутат III и IV Государственной думы (1907—1917), с 1911 г. — ее председатель. В годы первой мировой войны 1914—1918 гг. блокировался с кадетами, выступал против распутинщины. После победы Февральской революции 1917 г. возглавил Временный комитет Государственной думы. В годы гражданской войны 1917—1920 гг. находился при армии генерала Деникина. В 1920 г. уехал в Югославию, где и умер. Оставил мемуары «Крушение империи» (1927).

[12] *Гучков Александр Иванович* (1862—1936), крупный русский капиталист, основатель и лидер партии октябристов. Гучков приветствовал разгром декабрьских вооруженных восстаний 1905 г., одобрил введение военно-полевых судов. В мае 1907 г. избран в Государственный совет, в ноябре 1907 г. — в III Государственную думу, с марта 1910 г. по март 1911 г. — ее председатель. После Февральской революции 1917 г. вошел в первый состав Временного правительства, где занимал пост военного и морского министра. В августе 1917 г. — один из организаторов корниловщины. После победы Октябрьской революции 1917 г. боролся против Советской власти. В 1918 г. эмигрировал в Берлин.

[13] *Егоров Дмитрий Николаевич* (1878—1931), русский историк, ученик П. Г. Виноградова. Работал профессором Московского университета (до 1925 г.). В 1906 г. издал «Саллическую правду» со своими комментариями. Главный труд Егорова — «Славяно-германские отношения в средние века. Колонизация Мекленбурга в XIII веке» (Т. 1—2. М., 1915).

[14] *Добужинский Мстислав Валерианович* (1875—1957), русский художник. Учился в Рисовальной школе Общества поощрения художеств в Петербурге. В 1905 г. сотрудничал в сатирическом журнале «Жупел», где были опубликованы его рисунки, обличающие самодержавие. В дореволюционный период работал главным образом в области станковой и книжной графики. В советское время — профессор (с 1922 г.) Академии художеств в Петрограде. С 1925 г. жил в Литве, а с 1939 г. — в Англии и США, где работал главным образом над оформлением спектаклей. Добужинский был учителем Г. С. Верейского.

[15] *Котляревский Нестор Александрович* (1863—1925), русский литературовед, академик Петербургской Академии наук (1909). Окончил Московский университет (1885), продолжал образование во Франции (до 1889 г.). Работы Котляревского посвящены западноевропейскому и русскому сентиментализму и романтизму, художественному творчеству декабристов. Небезынтересно и сейчас исследование Котляревского «Мировая скорбь в конце XVIII и начале XIX в.» (3-е изд. СПб., 1914).

[16] Свои мемуары Н. И. Кареев написал на разграфленных листах, вырванных из старых конторских книг, на всевозможных бланках, например, Исторического общества, бессменным председателем которого он был. (Поэтому подготавливать текст воспоминаний Кареева к публикации было весьма непросто.)

[17] Кареев Н. И. История Западной Европы в начале XX века. Второе издание. Московский научный институт. Издательский отдел. М., 1920. 506 с.

[18] Эту статью Н. И. Кареев писал с 21 июля (по его конец) 1923 г., и судьба рукописи, о которой идет речь, ему была неизвестна. Однако позже «Французская революция в историческом романе» (Пг., 1923) была напечатана. Вскоре вышла и рецензия на эту книгу в «Печати и революции» (1924. Кн. 5. С. 229).

[19] Кареев Н. И. Коммунистические стремления времен Французской революции//Ежемесячный журнал. 1918. № 4-6. С. 175—192.

[20] Кареев Н. И. Великая Французская революция. Вып. 1—4. Пг., 1918. — В журнале «Нива» Кареев опубликовал в 1918 г. еще шесть статей под общим названием «Французская революция и русское общество» (Нива. 1918. XV. С. 226—228; XVII. С. 264—266; 266—268; XVIII. С. 278—279; XXIV. С. 369—370; XXX. С. 479).

На книгу Н. И. Кареева «Великая Французская революция» в журнале «Книга и революция» была дана анонимная рецензия (1921. VII. С. 48—49).

[21] Кулишер А. [Рецензия]//ВЛ. 1919. IX. С. 6. — Рец. на кн.: Кареев Н. И. Общие основы социологии. Пг., 1919.

[22] В эти годы (1919—1921) Н. И. Кареев опубликовал 2 книги и 4 больших статьи (см.: Из далекого и близкого прошлого: Сб. Пг.; М., 1923. С. 18).

[23] Вкралась неточность: о Вильяме Годвине Кареев написал большую статью (а не книжку, как он об этом упомянул): Кареев Н. И. 1) Вильям Годвин и его «Политическая справедливость»//Учен. зап. ин-та истории РАНИОН. М., 1929. Т. 3. С. 327—340; 2) Томас Карлейль. Пг., 1923; Европа до и после войны в территориальном отношении. Пг., 1922.

[24] Имеется в виду поэма Н. А. Некрасова «Русские женщины (Княжна Трубецкая. Княжна М. Н. Волконская)» (Библиотека всемирной литературы. Сер. вторая. М., 1971. Т. 98. С. 298—360).

[25] *Мережковский Дмитрий Сергеевич* (1866—1941), русский писатель. Окончил С.-Петербургский университет. Писал стихотворения и романы. В 1920 г. эмигрировал во Францию.

[26] Ошибочно опубликованные в иностранной печати материалы о смерти Н. И. Кареева хранятся в архиве АН СССР (ЛО). Ф. 980. Даже такое уважаемое и авторитетное издание, как французская энциклопедия «Большой Ляруссе», посчитало Н. И. Кареева умершим, проставив после его фамилии дату смерти: «1921 г.» (Larousse Du XX^{e} siècle. Tome Quatrième. Paris, s. a. P. 231).

[27] Об этом институте см.: Дунаевский В. А. Советская историография новой истории стран Запада 1917—1941 гг. М., 1974. С. 106—107.

[28] См. статьи учеников Н. И. Кареева — И. Л. Попова, В. В. Бирюкович, П. П. Щеголева, С. М. Глаголевой-Данини, Е. Н. Петрова, В. А. Бутенко, Я. М. Захера в сборнике «Из далекого и близкого прошлого».

[29] Книга Кареева «Методология общественных наук» в 1922 г. была отдана автором для набора в «Военную типографию РККА» (площадь Урицкого, 10). Часть книги была уже набрана. На корректурных листах рукою Н. И. Кареева начертано: «Сверстанная часть книги „Общая методология гуманитарных наук". Запрещена была цензурою» (ГБЛ. Ф. 119. П. 39. Д. 14).

[30] *Сорокин Питирим Александрович* (1889—1968), крупный социолог, бывший правый эсер. В 1919—1921 гг. — преподаватель социологии в Петроградском университете. В 1922 г. Сорокин выслан за границу. Читал лекции в Пражском университете. С 1923 г. жил в США, где с 1929 г. возглавлял факультет социологии в Гарвардском университете. В 1920 г. Сорокин издал труд «Система социологии» (Т. 1—2. Пг., 1920), который Н. И. Кареев подверг критическому анализу в своей статье «О системе социологии П. А. Сорокина» (ВЛ. 1920. № 7 (19); 1921. № 1 (25)).

[31] *Тахтаров Константин Михайлович* (1871—1925), русский историк первобытной культуры и социолог. Учился в Военно-медицинской академии. Участник революционной борьбы в России в 1890—1900 годах. С 1897 г. на-

ходился в эмиграции, где изучал социологию. Был учеником и последователем М. М. Ковалевского. С 1903 г. занялся исключительно научной и преподавательской деятельностью. Читал курс социологии в Русской высшей школе общественных наук в Париже. После революции 1905—1907 гг. вернулся в Россию, где читал социологию в ряде высших учебных заведений, а с 1917 г. — в Петроградском университете; с 1924 г. он — сотрудник Института К. Маркса и Ф. Энгельса. Из его трудов отметим: «Очерки по истории первобытной культуры» (СПб., 1907), «Сравнительную историю развития человеческого общества и общественных форм» (В 2 т. Пг., 1924). Н. И. Кареев рецензировал некоторые его сочинения (см., напр.: Кареев Н. И. Социология г. Тахтарова//РЗ. 1917. IV—V (апрель—май). С. 201—211).

[32] Конспект речи Н. И. Кареева хранится в отделе рукописей ГБЛ (Ф. 119. П. 20. Д. 35). На этом торжественном акте выступило 20 человек, среди них И. М. Гревс, Е. В. Тарле, С. Ф. Ольденбург.

[33] Орест Георгиевич Верейский (23 сентября 1987 г.) рассказывал, как Н. И. Кареев обучал его французскому языку. Дед неукоснительно требовал от внука прилежания и тщания в подготовке заданий. Бывал недоволен, когда Орик (так Н. И. Кареев ласково называл своего внука) во время уроков отвлекался. Вообще, надо сказать, Н. И. Кареев был выдающимся педагогом, умевшим довольно точно распознать склонности и способности своих учеников (в том числе, разумеется, и своих внуков). В одном из писем 20-х годов к своей московской знакомой Н. П. Корелиной Н. И. Кареев писал, что старший внук любит природу, естественные науки, «будет путешественником», а у Орика — «твердая рука рисовальщика». Так оно и случилось: Н. Г. Верейский стал ученым-минералогом, а О. Г. Верейский — художником.

Глава XIII

[1] *Короленко Владимир Галактионович* (1853—1921), выдающийся русский писатель, публицист и общественный деятель, создавший, в частности, самое обширное по объему из своих произведений «История моего современника» (начал публиковать по главам в 1906 г., закончил в 1911 г., полностью опубликовано в 1922 г.), носящее автобиографический характер. Это произведение и имеет в виду Н. И. Кареев. Добавим, что В. Г. Короленко с 1904 по 1918 г., с перерывами, был главным редактором либерального журнала «Русское Богатство», в котором активно сотрудничал Н. И. Кареев.

[2] В своей двухтомной докторской диссертации «Основные вопросы философии истории» (М., 1883) Н. И. Кареев писал, что «исторические законы нужно отнести к области химер вроде философского камня» (Т. 1. С. 113). «Нам кажется, — отмечал он далее, — что пора бы раз и навсегда оставить выражение „исторические законы", тем более, что многие писатели давно чувствуют его неудобство...» (с. 125).

За эти умозаключения он подвергся жестокой критике, на которую ответил целой книжкой «Моим критикам. Защита книги „Основные вопросы философии истории"» (М., 1884). Недоразумения по этому поводу продолжаются до сего времени (подробнее см.: Золотарев В. П. Историческая концепция Н. И. Кареева: содержание и эволюция. Л., 1988. Гл. II, § 2).

[3] В газетном зале ГБЛ, к сожалению, отсутствуют «Биржевые Ведомости» за 1917 г. (с № 1615 по 1619). В остальных просмотренных номерах этой газеты упоминаемой Н. И. Кареевым статьи нами не обнаружено. Это же приходится сказать и о статье «Уроки истории», о которой вскользь упомянул мемуарист.

[4] *Суханов Н.* (псевдоним — Гиммер Николай Николаевич) (1882—1940), участник российского революционного движения, экономист и публицист. С 1903 г. — эсер, с 1917 г. — меньшевик. Сотрудничал во многих журналах. После Октябрьской революции 1917 г. работал в советских экономических учреждениях. Автор «Записок революционера» (Кн. 1—7. 1922—1923), кото-

рые В. И. Ленин подверг резкой критике в статье «О нашей революции» (Ленин В. И. Полн собр. соч. Т. 45. С. 378—382).

[5] *Минье Франсуа Огюст Марк* (1796—1884), французский историк, член Академии моральных и политических наук (1833), член Французской академии, один из создателей (наряду с Тьерри, Гизо и Тьером) нового направления в историографии, рассматривавшего борьбу классов как основную пружину исторических событий. Минье участвовал в Июльской революции 1830 г. во Франции и был сторонником конституционной буржуазной монархии, которая утвердилась во Франции после 1830 г. Основные работы посвящены средневековой и новой истории. В 1824 г. Минье написал «Историю Французской революции 1789—1814 гг.» (русск. пер. СПб., 1866).

Тьер Адольф (1797—1877), французский государственный деятель, историк, член Французской академии (1833), занимал ряд постов в правительственных органах. В феврале 1871 г. Тьер был назначен главой правительства Франции. Он с исключительной жестокостью подавил Парижскую Коммуну 1871 г. В историографии Тьер — один из создателей нового направления (наряду с Ф. Минье и др.). С 1823 по 1827 г. Тьер опубликовал свою главную историческую работу — «История Французской революции» в 10-ти томах.

Мишле Жюль (1798—1874), французский историк, идеолог мелкой буржуазии. С 1827 г. — профессор Высшей нормальной школы, с 1836 г. — профессор Коллеж де Франс. За отказ присягнуть Наполеону III в 1852 г. был лишен профессорской кафедры и должности заведующего секцией Национального архива. Мишле написал много исторических сочинений, наиболее значительным из которых является семитомник «История Французской революции» (Париж, 1847—1853). О Луи Блане см. прим. 60 к гл. V настоящей книги.

Обо всех этих исследователях Н И. Кареев писал в своей работе «Историки Французской революции» (Т. 1. Л., 1924. Гл. IV, V, VI).

[6] Кареев цитирует роман «Война и мир» Л. Н. Толстого по второму его изданию, осуществленному в 1868—1869 гг. в Москве, в типографии Т. Риса.

Глава XIV

[1] Действительно, только личный фонд Н. И. Кареева, находящийся в отделе рукописей ГБЛ, насчитывает более 12 тысяч листов. В нем хранятся несколько рукописей книг, среди которых и 4-й том «Историков Французской революции», имеющий название «Французская революция в философии истории» (ГБЛ. Ф. 119. П. 36. Д. 1—15).

[2] В 1924 г. Николай Александрович Морозов начал публикацию своего огромного труда «Христос» (Кн. 1—7. М.; Л., 1924—1932), который хотел подвергнуть анализу Н. И. Кареев, но ему это не позволили сделать.

[3] Всю бытовую сторону жизни семьи Н. И. Кареева вела Софья Андреевна. Орест Георгиевич Верейский вспоминает об этом: «Он (Н. И. Кареев,— *В. З.*) был в быту, во всяких домашних делах совершенно беспомощен и наивен. Я помню постоянные его вопросы: „Сонюша, а где у нас...?” Это о самых элементарных вещах.

Каждый вечер в один и тот же час раздавался его голос: „Сонюша, не пора ли чайку?”» (О. Г. Верейский — В. П. Золотареву. 17 февраля 1982 г.).

[4] В деревушке Шалове отдыхал в это же время и писатель Константин Александрович Федин с семьей. Н. И. Кареев дружил с Фединым. Константин Александрович много лет спустя вспоминал об этом: «Живя летом в деревне Лужского уезда, я однажды на прогулке встретился с историком Кареевым. Мы проходили мимо сельской церкви, он вдруг взял меня под руку и сказал: „Зайдемте, я покажу вам кое-что весьма интересное”. В церкви, в полусвете вечернего часа и в полной безлюдности, Кареев подвел меня к большой почерневшей от копоти „голгофе” и, показав необыкновенно длинным желтым ногтем мизинца на „Адамову голову” в подножии распятия, быстро сказал мне на ухо: „Федор Сологуб”. Череп и правда будто улыбнулся мне желтой улыбкой Сологуба, так что я попятился, а старик Кареев, разглаживая свою

бороду-фартук, с полным наслаждением захохотал тут же в церкви» (Федин К. А. 1921—1928 годы//Горький среди нас: (Картины литературной жизни). М., 1968. С. 146—147). Речь идет о Федоре Кузьмиче Тетерникове (псевдоним — Федор Сологуб) (1863—1927), русском поэте-символисте.

[5] Н. И. Кареев еще раз подтверждает, что уже в середине 1928 г. начал сказываться сталинский произвол по отношению к ученым. Он точно уловил и деликатно выразил это словами: «Спорные темы были уже не по сезону».

[6] Н. И. Кареев имеет в виду статью Д. И. Писарева «Пушкин и Белинский» (Писарев Д. И. Соч.: В 4 т. М., 1955—1956; Т. 3. М., 1956. С. 306—417).

[7] Кареев, по-видимому, имеет в виду повесть Л. Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» (Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 12 т. Т. 11. М., 1984. С. 42—96).

[8] *«Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман»* — строка из стихотворения А. С. Пушкина «Герой» (1830) (Пушкин А. С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1974—1978; Т. 2. М., 1974. С. 251).

[9] Это не совсем так. Под влиянием обстановки, сложившейся после Октябрьской революции, взгляды Н. И. Кареева менялись. Эта эволюция закончилась признанием Советской власти (подробнее об этом см.: Золотарев В. П. Научно-исследовательская деятельность Н. И. Кареева в советское время//Изучение и преподавание историографии в высшей школе/Отв. ред Л. В. Суни. Петрозаводск, 1985. С. 121—125).

[10] *Лютер Мартин* (1483—1546), выдающийся деятель Реформации в Германии.

[11] К выборам новых академиков//Известия. 1928. № 128 (3 июня). С. 5.

[12] Поэтические опыты Н. И. Кареева сохранились. Большое собрание его стихотворений находится в архиве АН СССР в Ленинграде (Ф. 980).



НАУЧНЫЕ ТРУДЫ Н. И. КАРЕЕВА (1917—1931)[1]

1917 г.

Английское умственное влияние в России полвека тому назад//Русско-английский вестник. № 1. С. 7—9.

Государственный строй современной Франции//Свободный государственный строй: Сб. статей. М. С. 77—100.

Да здравствует Россия, да здравствует Учредительное собрание//Вестник городского самоуправления. 12 ноября.

Не сотвори себе кумира//Современный вестник. 31 декабря.

Попытка «дехристианизации» Франции в эпоху Великой революции//ГБЛ. Ф. 119. П. 36. Д. 26. Л. 1—72.

Социология г. Тахтарева//РБ. № 4-5. С. 201—211.

Учредительное собрание в Западной Европе (1789—1911)//ВВП. № 7 (53). 12 (25 марта). С. 2—3.

Учредительное собрание в историко-философском освещении//Вестник культуры и политики. № 1. С. 9—13.

1918 г.

Два цензурных казуса//ГБЛ. Ф. 119. П. 44. Д. 15. Л. 1—2.

Женщины и женский вопрос времен французской революции. I: Светские салоны во Франции XVIII века//Нива. № 24. С. 369—370; II: Участие женщины в политических клубах//Там же. С. 371—372; III: Несколько женских фигур революционной эпохи//Там же. С. 372—373; IV: Политические права женщин во время революции//Там же. С. 373—375; V: Женщины в гражданском праве 1789—1804 гг.//Там же. С. 375—377.

---

[1] Наиболее полный перечень книг, брошюр и статей Н. И. Кареева дореволюционного времени и первых пяти лет после Октября 1917 года под названием «За полвека (1868—1923)» опубликован в сборнике «Из далекого и близкого прошлого» (Пг.; М., 1923. С. 8—18), изданном в честь пятидесятилетия научной деятельности выдающегося ученого-историка. Основой этого списка трудов Н. И. Кареева явился перечень, опубликованный в сборнике «Н. И. Карееву ученики и товарищи по научной работе. 1873—1913» (СПб., 1914). Что же касается работ, созданных Н. И. Кареевым после Октября 1917 г., то они до настоящего времени не были еще учтены.

Данный список трудов Н. И. Кареева советского периода его научной деятельности составлен на основе каталогов ведущих библиотек СССР, обследования фондов Отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина, Государственного исторического архива Ленинградской области, Отдела рукописей Института русской литературы, Центрального государственного исторического архива СССР в Ленинграде, Центрального государственного архива Октябрьской революции и социалистического строительства СССР в Ленинграде, Центрального государственного исторического архи-

И. В. Лучицкий (некролог)//Известия Российской Академии наук. 6 серия. Т. 12. № 18. С. 2029—2038.

Из воспоминаний о П. Л. Лаврове//Былое. № 3.

Мои отношения к «Отечественным запискам» и «Русскому Богатству» (1868—1918)//ГБЛ. Ф. 119. П. 44. Д. 15. Л. 3—22.

Новая история (историографический обзор по новой истории проф. Кареева для сб. «Русская наука», 1918)//Архив АН СССР (ЛО). Ф. 154. Оп. 2. Д. 50. Л. 1—69.

Новое истолкование политического учения Руссо//ГБЛ Ф. 119. П. 43. Д. 13. Л. 1—27.— Рец. на кн.: Гурвич Г. Руссо и декларация прав. Идея неотъемлемых прав индивида в политической доктрине Руссо. Пг., 1918.

О преподавании истории в университетах: (Докладная записка Кареева в совет историко-филологического факультета Петроградского университета, направленная им в октябре 1918 г.)//ГИАЛО. Ф. 14. Д. 8612. Л. 321—322 об.

Патриотизм Французской революции//Наш век. № 22.

Первая в России женщина-доктор всеобщей истории[2]//Нива. № 30. С. 479.

[Рецензия]//Наш Век. 1918. 11 марта. № 56. С. 6. — Рец. на кн.: Хвостов В. М. Социология. Введение Часть I: Исторический очерк учений об обществе. М., 1917.

Тадеуш Костюшко//Нива. № 10. С. 160.

Французская революция и поэзия мировой скорби.[3]

Французская революция и русское общество. Очерк первый: Как отнеслись в России конца XVIII века к Французской революции//Нива. № 15. С. 226—228; Очерк второй: Отношение к Французской революции декабристов и Пушкина//Там же. № 17. С. 264—166; Очерк третий: Отношение к Французской революции Герцена и западников//Там же. С. 266—268; Очерк четвертый: Романтическая идеализация и научное познание революции//Там же. № 18. С. 278—279.

1919 г.

Доклад университетской комиссии по вопросу о реформе преподавания (1918—1919 гг. Председатель комиссии Н. И. Кареев)[4]//ЦГАОРЛ. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 21. Л. 1—3.об.

Кунов о борьбе классов в эпоху революции//Архив АН СССР (МО). Ф. 627. Оп. 5. Д. 48. Л. 1—4.— Рец. на кн.: Генрих Кунов. Борьба классов

ва г. Москвы, Центрального государственного архива Октябрьской революции и социалистического строительства СССР, архива Академии наук СССР (Московское отделение), архива Академии наук СССР (Ленинградское отделение), архива Ленинградского отделения Института истории СССР, а также базируется на журналах «Анналы» (1922—1924), «Былое» (1917—1926), «Голос Минувшего» (1917—1923), «Педагогическая Мысль» (1918—1924) и др., газетах, в которых были возможны публикации статей Н. И. Кареева.

Поиск работ Н. И. Кареева советского времени необходимо продолжить, поскольку данный перечень пока нельзя считать окончательным. Мы перечисляем лишь те работы Н. И. Кареева за 1917—1923 гг., которые не указаны в сборнике «Из далекого и близкого прошлого».

[2] К этой статье Н. И. Кареева художник Г. С. Верейский специально нарисовал портрет О. А. Добиаш-Рождественской. Оригинал этого портрета хранится в Государственной Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина.

[3] Эта работа Кареева пока не найдена. 5 июля 1920 г. Н. И. Кареев обратился с письмом в Комитет Литературного фонда, в котором сообщал, что на исходе 1918 г. рукопись была принята к напечатанию редакцией журнала «Нива», однако журнал был закрыт в 1918 г. «Меня очень тревожит судьба моих рукописей, почему я и позволил себе обратиться в Комитет Литературного фонда», — писал Кареев (ИРЛИ. Ф. 402. Оп. 3. Д. 86. Л. 1 об.).

[4] Документ датирован 31 января 1919 г. и подписан Н. И. Кареевым.

и партий в Великой Французской революции 1789—1794 гг./Пер., предисл. и доп. И. Степанова. 2-е изд., пересмотренное и расширенное по новому немецкому изданию. М., 1919. 544 с.

1920 г.

История Западной Европы в начале XX века. М. 506 с.

Книга о социальной аналитике//ВЛ. № 7(19). С. 7—8.— Рец. на кн.: Сорокин П. А. Система социологии. Т. 1: Социальная аналитика. Пг., 1920.

1921 г.

Книги о Французской революции//ВЛ. № 1(25). С. 12.— Рец. на кн.: 1) Попов М. С. Французская революция и религия. Пг., 1919; 2) Процесс жирондистов. Пг., 1920; 3) Овсянников А. Песни Великой революции. Пг., 1920; 4) Берков К. Н. Процесс Людовика XVI. Пг., 1920; 5) Борьба классов и партий в Великой Французской революции. Пг., 1919.

Книги о Французской революции//ВЛ. № 6-7 (30-31). С. 12—13.— Рец. на кн.: 1) Лукин (Антонов) Н. М. Максимилиан Робеспьер (1758—1794). М., 1919; 2) Захер Я. М. Парижские секции 1790—1795 гг. М., 1921; 3) Фолькнер С. А. Бумажные деньги Французской революции. М., 1919.

Книги о Французской революции//ВЛ. № 8(32). С. 15. — Рец. на кн.: Овсянников О. Последние дни Людовика XVI по песням Великой революции. М., 1921.

О системе социологии П. А. Сорокина//ВЛ. № 1(25). С. 9. — Рец. на кн.: Сорокин П. А. Система социологии.[5] Т. 2.

По поводу предыдущего письма: (Ответ на «Письмо в редакцию» журн. «Педагогическая Мысль» С. Фарфаровского)//ПМ. № 5-8. С. 115—116.

[Рецензия]//Архив АН СССР (МО). Ф. 627. Оп. 5. Д. 49. Л. 1—4.— Рец. на кн.: Виппер Р. Кризис исторической науки. Казань, 1921.

[Рецензия]//ПД. № 1—4. С. 83—87.— Рец. на кн.: Фарфаровский С., Кочергин И. Социология. Пг., 1921.

[Рецензия]//ПМ. № 5-8. С. 78—79.— Рец. на кн.: Сингалевич С. П. Условия работы в трудовой школе и преподавание истории. Казань. 1920.

[Рецензия]//ПМ. № 9-12. С. 76. — Рец. на кн.: Примерные программы по истории для школ I—II ступени.[6] М., 1920. 96 с.

[Рецензия]//ПМ. № 9-12. С. 67—70. — Рец. на кн.: Сингалевич С. П. Преподавание истории в трудовой школе. Часть II. Вып. 1. Казань, 1919.

[Рецензия]//ПМ. № 1-4. С. 107.— Рец. на кн.: Дела и дни: Исторический журнал. Кн. 1. Пг., 1920.

[Рецензия]//ПМ. № 1-4. С. 105—106. — Рец. на кн.: 1) Карсавин Л. П. Введение в историю: (Теория истории) (Сер.: Введение в науку: История)/Под ред. С. А. Жебелева, Л. П. Карсавина, М. П. Приселкова. Вып. 1). Пг., 1920; 2) Вульфиус А. Г. Западная Европа и новое время//Там же. Вып. XIII. Пг., 1920.

Четыре письма П. Л. Лаврова к Н. И. Карееву. 1879—1880 гг./Публикация и комментарии Н. И. Кареева//Материалы для библиографии П. Л. Лаврова /Под ред. П. Витязева. Вып. 1. Пг. С. 43—50.

1922 г.

П. Н. Ардашев. Некролог//Архив АН СССР (МО). Ф. 627. Оп. 5. Д. 50. Л. 1—4.

---

[5] 2-й том «Системы социологии» П. А. Сорокина Н. И. Кареев читал в корректуре. На этот счет имеется упоминание рецензента: «Благодаря любезности автора мне удалось познакомиться в корректуре со вторым томом...» (ВЛ. 1921. № 1. С. 9).

[6] Рецензия имеет подпись «Старый преподаватель истории».

Взаимоотношение главных сторон духовной культуры//ГБЛ. Ф. 119. П. 37. Д. 17. Л. 1—22.

Памяти ушедших: В. И. Герье//ГМ. № 2. С. 220—223.

Государственные территории и их границы в Западной Европе со второй половины средних веков до нашего времени: (Очерки по исторической географии)//ГБЛ. Ф. 119. П. 35. Д. 15. Л. 1—231.

Диспут проф. П. А. Сорокина//Экономист. № 4-5. С. 279.

Западная Европа в новое время: (Революционная и наполеоновская эпоха). Пг. 121 с.

Исторические причины культурной отсталости России//ГБЛ. Ф. 119. П. 37. Д. 16.

К вопросу о географических названиях стран у различных народов// ГБЛ. Ф. 119. П. 33. Д. 9. Л. 1—6.

П. А. Кропоткин о Великой Французской революции//Петр Кропоткин/ Под ред. А. Боровского и Н. Лебедева. Пг.; М. С. 108—138.

Общая методология гуманитарных наук[7]//ГБЛ. Ф. 119. П. 39. Д. 11.

Метафизик о «методологии общественных наук»//Анналы. № 2. С. 267—271.— Рец. на кн.: Франк С. Л. Очерк методологии общественных наук. М., 1922. С. 1—124.

[Рецензия]//ПМ. № 1-2. С. 68—69.— Рец. на кн.: Кругликов П. В поисках живого человека. Очерк I: Современная психология и ее сближение с науками о культуре и обществе. Пг., 1922.

[Рецензия]//ПМ. № 1-2. С. 83. — Рец. на кн.: Бузескул В. П. Афинская демократия: Общий очерк. Харьков, 1920.

[Рецензия]//На путях к новой школе. 1922. № 2. С. 129—130.— Рец. на кн.: Жаворонков Б. Н. От мотыги к трактору: Очерк по истории земледельческой культуры. М., 1922.

[Рецензия]//ПМ. № 1-2. С. 75—78.— Рец. на кн.: Сингалевич С. П. Лабораторное преподавание истории в школе первой ступени: I: Теоретические методы преподавания. Казань, 1921.

[Рецензия]//ПМ. № 3-4. С. 63—64.— Рец. на кн.: Волжанин Вл. История как предмет начального обучения. Пг., 1922.

[Рецензия]//ПМ. № 3-4. С. 81—82.— Рец. на кн.: Виппер Р. Ю. Кризис исторической науки. Казань, 1922.

[Рецензия]//ПМ. № 5-6. С. 95—98.— Рец. на кн.: Первушин Н. П. Наука социология. Казань, 1921. С. 40.

[Рецензия]//ПМ. № 3-4. С. 82—83.— Рец. на кн.: Лапшин И. Н. Философия изобретения и изобретения в философии. Введение в историю философии. Т. 1. Пг., 1922.

Территориальные изменения Европы в связи с войной 1914 года//ГБЛ. Ф. 119. П. 33. Д. 10. Л. 1—11.

Указатель историко-этнографической и историко-географической литературы//ГБЛ. Ф. 119. П. 35. Д. 17. Л. 1—70.

1923 г.

Научные труды А. Н. Савина//Анналы. № 3. С. 224—227.

Очерки социально-экономической истории Западной Европы в новейшее время. Пг. 268 с.

Проект речи на пятидесятилетнем юбилее 14 июня 1923 г.//ГБЛ. Ф. 119. П. 20. Д. 35.

Прожитое и пережитое//ГБЛ. Ф. 119. П. 44. Д. 1—13.

[Рецензия]//Анналы. № 3. С. 240.— Рец. на кн.: Васильев Н. А. Вопрос о падении законов Римской империи и античной литературы в историографической литературе и в связи с теорией истощения народов и человечества. Казань, 1921.

---

[7] Эта рукопись Кареева была частично набрана в типографии РККА, но книга не вышла в свет.

[Рецензия]//ПМ. № 2. С. 73—74.— Рец. на кн.: Сеньобос Ш. Политическая история современной Европы/Пер. с франц.; Пед ред. В. А. Поссе. Т. 1. 5-е изд. М., 1922.

[Рецензия]//ПМ. № 3. С. 78.— Рец. на кн.: Приселков М. Д. Нестор-летописец: (Опыт историко-литературной характеристики). Пг., 1923.

[Рецензия]//ПМ. № 1. С. 85—86.— Рец. на кн.: Тюменев А. И. История труда. Пг., 1922. 233 с.

Французская революция в историческом романе. Пг.[8]

1924 г.

Беглые заметки о новых исторических книгах//ПМ. № 4-5. С. 113—115.

Две английские революции. Пг. 270 с.

Историки Французской революции: В 4 т. Т. 1: Французские историки первой половины XIX века. Л. 288 с.; Т. 2: Французские историки второй половины XIX века. Л. 302 с.; Т. 3; Изучение Французской революции вне Франции. Л. 306 с.; Т. 4: Французская революция в философии истории// ГБЛ. Ф. 119. П. 36. Д. 1—16. Л. 1—268.

По большой дороге истории//ГБЛ. Ф. 119. П. 34. Д. 1—25.

[Рецензия]//ПМ. № 2. С. 54—55. — Рец. на кн.: Жан-Жорес. История Французской революции. Т. 3: Конвент. Вып 1: Республика (1792). М.; Пг., 1923.

[Рецензия]//Архив АН СССР (МО). Ф. 627. Оп. 5. Д. 51.— Рец. на кн.: Савин А. Н. Лекции по истории английской революции. М., 1924.

[Рецензия]//ПМ. № 4-5. С. 113—114.— Рец. на кн.: Сингалевич С. П. Обществоведение в системе ступенчатого построения. Казань, 1924.

[Рецензия]//ГБЛ. Ф. 119. П. 43. Д. 11. П. 1—3.— Рец. на кн.: Попов-Ленский И. Л. Антуан Барнав и материалистическое понимание истории. М.; Л., 1924.

Страны, народы и языки главного исторического мира: Очерк исторической географии и этнографии//ГБЛ. Ф. 119. П. 33. Д. 1—8.

Французские крестьяне и рабочие в эпоху революции//ГБЛ. Ф. 119. П. 36. Д. 17—25. Л. 1—280.

1925 г.

Анекдота: (Кое-что из «неизданного» о профессорах А. Ф. Кони)//Анатолий Федорович Кони. 1841—1924: Юбилейный сборник. Л., 1925. С. 57—69. См. также: Московский университет в воспоминаниях современников (1755—1917). М., 1989. С. 450—457.

Les derniers travaux des Historiens Russes sur la Révolution Française (1912—1924)//Annales Historiques de la Révolution Française (Reims). 1925. N 9 (mai — juin). P. 252—262.

Мое изгнание из профессоров Петербургского университета в 1899 г.[9]// ГБЛ. Ф. 119. П. 44. Д. 14. Л. 1—46.

[Рецензия]//Annales Historigues de la Révolution Française (Reims). 1925. N 8 (mars—arvil). P. 180—181.— Рец. на кн.: Popov-Lensky J.—L. Antoine Barnave materialistischeskove ponimanie istori). Moscou, 1924.

1926 г.

Программа курса исторической этнографии Н. И. Кареева//ЦГАОРЛ. Ф. 7240 (ЛГУ). Оп. 14. Д. 188. Л. 3 и 3об.

---

[8] Этот труд написан Н. И. Кареевым в 1918 г.

[9] Дата написания статьи-воспоминания установлена из письма Н. И. Кареева к В. Д. Бонч-Бруевичу от 13 января 1930 г. В нем Кареев, в частности, писал: «...есть еще рассказ об изгнании из университета в 1899 г. Он был написан для „Былого”, которое тем временем прекратило существование» (ГБЛ. Ф. 369. П. 282. Д. 41. Л. 2). Журнал «Былое» издавался до начала 1926 г., следовательно, статья написана не позднее 1925 г.

1927 г.

Какие народы жили прежде в Крыму//ГБЛ. Ф. 119. П. 34. Д. 30. Л. 1—21.

Какие народы жили прежде на Кавказе//ГБЛ. Ф. 119. П. 34. Д. 30. Л. 21—27.

1928 г.

Закатные годы: Глава XIV книги воспоминаний «Прожитое и пережитое»//ГБЛ. Ф. 119. П. 44. Д. 11.

Начало социологии в России...//ГБЛ. Ф. 119. П. 38. Д. 7. Л. 1—39.

Отчет о русской исторической науке за 50 лет[10]//Histoire et historiens depuis 50 ans Méthodes, organisations et résultats du travail historique de 1876 à 1926. Vol. 1. Paris, 1927. P. 341—370.

Очерки по истории социологии в России во второй половине XIX в.// ГБЛ. Ф. 119. П. 38. Д. 8. Л. 1—72.

Рецензия на кн.: Сказкин С. Д. Конец Австро-русско-германского союза. М., 1928.[11]

1929 г.

Вильям Годвин и его «Политическая справедливость»//Учен. зап. Ин-та истории РАНИОН. Т. 3. С. 327—340.

[Рецензия]//Средние века. Вып. 42. М., 1978. С. 282—283 [Письмо от 26 января 1929 г.]; С. 283—285 [Письмо от 4 февраля 1929 г.]; С. 287—289 [Письмо от 14 февраля 1929 г.]. — Рец. на кн.: Неусыхин А. И. Общественный строй древних германцев. М., 1929.

1930 г.

Воспоминание о 9 января 1905 года.[12]

Основы русской социологии//ГБЛ. Ф. 119. П. 38. Д. 18.

Швеция//Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат. 7-е изд. Б. м., б. г. Т. 49. С. 289—313.

Шотландия//Там же. Т. 50. С. 350—361.

Эволюция внешнего быта (жилище, одежда, пища)//Там же. С. 658—684.

Эволюция собственности (недвижимой)//Там же. Т. 51. С. 20—48.

---

[10] Об этом отчете Н. И. Кареев писал 3 сентября 1928 г. Н. П. Корелиной: «...имейте в виду, что в статье моей только 29 маленьких страничек (а давали мне только 16), на которых я должен был написать о наших архивах, ученых обществах, изданиях документов, справочниках, университетском преподавании, работах по русской истории, по Востоку и античному миру, по средним векам и новому времени, так что я часто был вынужден называть только авторов, писавших о том-то, не приводя заглавий ... и почти всегда без характеристик, хотя бы и ... кратких...» (ЦГИАМ. Ф. 2202. Оп. 3. Д. 3. Т. 1. Л. 40об.).

[11] Это письмо-рецензия отправлено С. Д. Сказкину, о чем есть пометка в записной книжке Н. И. Кареева на 1928—29 гг. (ГБЛ. Ф. 119. П. 17. Д. 6. Л. 56об.). В ф. 119 хранится также ответ С. Д. Сказкина на письмо Кареева (Там же. П. 11. Д. 21).

[12] Воспоминания эти Н. И. Кареев начал писать 18 октября 1930 г., закончил 29 октября 1930 г. (ГБЛ. Ф. 369. П. 282. Д. 41. Л. 4). Они были пересланы В. Д. Бонч-Бруевичу, который в ответ писал Н. И. Карееву 7 ноября 1930 г.: «Рукопись Ваших воспоминаний я получил вместе с фотографией. Фотография с картины очень удачная» (ГБЛ. Ф. 369. П. 159. Д. 6. Л. 5). Речь идет о фотографии с картины Е. Зарудной-Кавос. Внук Н. И. Кареева О. Г. Верейский написал: «На стене (кабинета Н. И. Кареева в его петербургской квартире. — *В. З.*) за его спиной висела большая картина ху-

1931 г.

La Révolution française dans l'historiographie marxiste en Russie[13] //ГБЛ. Ф. 119. П. 42. Д. 9. Л. 1—75: (Русский перевод этого историографического обзора Н. И. Кареева, подготовленный Д. А. Ростиславлевым, см.: Великая французская революция и Россия/Под ред. А. В. Адо и В. Г. Сироткина. М., 1989. С. 196—209.)

Les études sur l'histoire de France en Russie depuis Vingt ans (1911—1931)//Revue d'histoire moderne. (Paris). 1931. N 35 (sept..— oct.). P. 369—389.

В Малой Советской Энциклопедии...[14]//ГБЛ. Ф. 119. П. 43. Д. 7. Л. 1—6об.



дожницы Зарудной-Кавос, изображающая Ник. Ив. сидящим на железной койке в камере Петропавловской крепости и склоненного над книгой. Картина была написана по его точному рассказу» (О. Г. Верейский — В. П. Золотареву. 24 марта 1981 г.).

В письме от 29 ноября 1930 г. Бонч-Бруевич сообщал Карееву: «В настоящее время мы приступаем к оформлению 2-го и 3-го томов, где и пойдет Ваша статья» (ГБЛ. Ф. 369. П. 159 Д. 6. Л. 4об.). Речь идет о сборнике «Минувшее». Однако воспоминания Н. И. Кареева о 9 января напечатаны не были. Дальнейшая судьба этих воспоминаний неизвестна. В личном фонде Н. И. Кареева в Отделе рукописей ГБЛ воспоминаний под таким названием не имеется. Правда, о событиях 1905 г. говорится в рукописи статьи «Итак, мы „пошли в Думу"» (ГБЛ. Ф. 119. П. 23. Д. 26. Л. 1—12). Но эта рукопись была написана сразу же после революции 1905—1907 гг.

[13] Это последний историографический обзор Н. И. Кареева на французском языке, над которым он работал 11, 20 января 1931 г. в библиотеке АН СССР в Ленинграде. Дни работы над обзором установлены нами по бланкам заказа на книги, которые заполнены рукою Кареева: 11 января 1931 г. Н. И. Кареев запрашивал журнал «Под знаменем марксизма» (1925 и 1927 гг., тома 2, 10—12) и книгу Н. М. Лукина «Максимилиан Робеспьер» (по возможности 3-е изд.), а 20 января 1931 г. — книгу Н. М. Лукина «Новейшая история Западной Европы» (ГБЛ. Ф. 119. П. 42. Д. 9. Л. 55об, 56об., 6).

[14] Письмо написано карандашом. Дата и подпись отсутствуют. Н. И. Кареев начал это письмо 3 января 1931 г., 8 января — окончил. Даты установлены нами по «Записной книжке на 1930—31 гг.», принадлежащей Н. И. Карееву (ГБЛ. Ф. 119. П. 18. Д. 34. Л. 20об., 21), причем в ней Кареев назвал это письмо иначе: «Работа об отношении к Марксу» (ГБЛ. Ф. 119. П. 18. Д. 34. Л. 21).



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БСЭ	— Большая Советская Энциклопедия
ВВП	— Вестник Временного правительства
ВЕ	— Вестник Европы
ВЛ	— Вестник литературы
ГБЛ	— Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина в Москве
ГИАЛО	— Государственный исторический архив Ленинградской области
ГМ	— Голос Минувшего
ЖМНП	— Журнал Министерства народного просвещения
ИВ	— Исторический Вестник
ИРЛИ	— Институт русской литературы (Пушкинский дом)
ЛГИА	— Ленинградский государственный исторический архив
МБ	— Мир Божий
ПМ	— Педагогическая Мысль
РБ	— Русское Богатство
РВ	— Русские Ведомости
РЗ	— Русские Записки
РМ	— Русская Мысль
РС	— Русское Слово
РШ	— Русская Школа
ФЗ	— Воронежские Филологические Записки
ЦГАОРЛ	— Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства в Ленинграде
ЦГАОР СССР	— Центральный государственный архив Октябрьской революции и социалистического строительства
ЦГИАЛ	— Центральный государственный исторический архив в Ленинграде
ЦГИАМ	— Центральный государственный исторический архив г. Москвы
ЮВ	— Юридический Вестник

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Август, римский император 154
Агура Д. Д. 216, 347
Азеф Е. Ф. 201, 342, 343
Аксаков К. С. 330
Александр I 306
Александр II 18, 51, 78, 79, 94, 164, 165, 307, 308, 311, 312, 323
Александр III 184, 201, 306, 342
Александрова Н. П., см. Корелина Н. П.
Алексеев А. С. 210, 345
Алмазов Б. Н. 66, 81, 306
Альбединский П. П. 161, 162, 163, 328
Алянчиков В. Я. 88, 91
Алянчикова П. П. 91
Андреев В. А. 123, 125, 129, 173
Андреев К. А. 146, 153
Андреевский И. Е. 184, 335
Аничков Е. В. 231, 352
Анненский Н. Ф. 190, 210, 224, 226, 227, 337
Антокольский П. 93
Апухтин А. Л. 157, 158, 159, 160, 161, 163, 167, 168, 169, 172, 209, 328
Ардашев П. Н. 248, 336, 364
Аристотель 316
Арсеньев К. К. 24, 190, 191, 198, 226, 227, 234, 337
Аршаумов 226
Афиней 316
Ахматов М. Н. 335
Ашкенази М. О. 214, 346

Бабухин А. И. 123, 318
Бабушкин И. В. 319
Багговут 54, 305
Баженов Н. Н. 136
Бальцер О. М. 214, 346
Барнав А. 366
Басов В. П. 100, 110, 309
Барсов Н. П. 166, 330
Барсов Э. В. 126, 320
Баторий Ст. 330
Бауер В. В. 16, 172, 175, 176, 332, 333
Бахметев 216, 347
Бебутов В. О. 54, 305
Бекетов Н. Н. 206, 343
Белинский В. Г. 78, 306
Беллярминов И. И. 137, 323
Белов Е. А. 189, 222, 237, 337
Белоголовый Н. А. 218, 348
Бельтов, см. Плеханов Г. В.
Белявский Е. В. 6, 7, 98, 99, 100, 105, 107, 110, 111, 112, 135, 172, 173, 211, 308, 309, 347
Бемон Ч. 218, 348
Бенедикт 217
Берг Н. В. 171, 315, 332
Беренштам В. Л. 191, 205, 222, 254, 340
Берков К. И. 364
Берр А. 218, 349
Бехтерев В. М. 252, 253
Бидло 212
Бильбасов В. А. 202, 343
Бирюкович В. В. 259, 260, 284, 358
Благовещенский Н. М. 157, 158, 159, 161, 327, 328
Блан Л. 128, 292, 320, 321
Блок А. А. 331, 343
Блок А. Л. 169, 200, 331, 342
Боборыкин П. Д. 124, 190, 320
Бобржинский (Гобжинский) М. 165, 170, 179, 182, 188, 329
Бобчев 216
Богданов А. 216
Боголепов Н. П. 20, 33, 143, 206, 225, 325, 344
Богословский И. М. 122, 317
Бодуэн де Куртене И. А. 170, 201, 332

Бокль Г. Т. 111, 132, 313
Боков П. И. 113, 114, 125, 146, 185, 313
Бомарше П. 315
Бонмер 147
Бонч-Бруевич В. Д. 37, 38, 39, 366, 368
Бопп Ф. 109, 312
Боровский А. 365
Ботушаров Христо 351
Брандес Г. 118, 210, 315, 316
Брандт А. А. 265, 266, 356
Брешковская Е. К. 269, 357
Брокгауз Ф. А. 21, 133, 141, 191, 224, 247, 310, 335, 336, 337, 338, 340, 341
Брэш Ф. 219, 350
Буайе П. 217, 220
Будде Ф. Э. 99, 110
Будилович А. С. 158, 160, 162, 167, 169, 203, 328
Бузескул В. П. 5, 18, 30, 31, 260, 261, 354, 365
Буйвид О. 214, 346
Буковецкая М. А. 285
Булла К. К. 237, 254
Бурцев В. Л. 342
Буслаев Ф. И. 7, 99, 108, 117, 118, 121, 128, 309, 315
Бутенко В. А. 187, 210, 220, 224, 245, 336, 358
Бухарин Н. И. 30
Бюхнер Ф. К. 106, 311
Бялецкий 163

Ваганка 212
Вагнер Н. П. 202, 343
Вайнберг (Вейнберг) П. И. 134, 190, 205, 230, 255, 322
Вайнберг Я. Г. 134, 135
Вайнц Теодор 131, 321
Вайнштейн О. Л. 22, 34, 353
Ванах 203
Ванновский П. С. 19, 207, 208, 344
Васильев Н. А. 365
Васильевский В. Г. 176, 189, 333, 334, 335, 347
Васильевский М. Г. 183, 193, 194, 341, 211
Васильчиков П. 133, 322
Ватсон М. В. 190
Ватсон Э. К. 198
Вебер Б. Г. 9, 12, 40
Вебер Г. 99, 137, 283, 309
Вебер Г. К. 283
Величко В. Л. 102, 310
Величков 216
Венгеров С. А. 147, 190, 315, 338, 363
Веревкин 229
Верейский Г. С. 28, 40, 258, 282, 355, 367
Верейская Е. Н. 28, 29, 40
Верейский Н. Г. 258, 301, 355, 359
Верейский О. Г. 27, 28, 38, 40, 258, 301, 302, 320, 352, 355, 356, 359, 360, 367, 368
Вернадский В. И. 30
Веселовский А. Н. 118, 315
Вильгельм I 307
Виноградов П. Г. 5, 18, 128, 139, 140, 321, 327, 357
Виппер Р. Ю. 31, 141, 324, 364, 365
Витте С. Ю. 33, 227, 231, 267, 305, 306
Витязев П. 364
Владиславлев М. И. 184, 185, 335
Водовозов В. В. 188, 231, 336
Водовозов Н. В. 198
Водовозова Е. Н., см. Семевская Е. Н.
Войцеховский Т. 214, 346
Волгин В. П. 30, 31
Волжанин Вл. 365
Волконская М. Н. 358
Волконский М. С. 19
Вольтер Ф. 320
Вормс Р. 219, 350
Воропаев Ф. Ф. 190, 337
Врангель Ф. Ф. 121, 181
Вржесневский А. Р. 201, 342
Вульф Ю. В. 169
Вульфиус А. Г. 364
Вундт В. М. 110, 122, 313
Вырубов 147
Высоцкий 138

Гавелка 170, 171
Гавличек-Боровский К. 52, 305
Гагарин А. Г. 223, 230, 351
Газье 9
Гайн 212
Гамбаров Ю. С. 155, 220, 224, 327, 345, 352
Гамбетта Л. 146, 325
Гапон Г. А. 226
Гарибальди Д. 62, 79
Гарофало 219
Гартман Н. Н. 181
Гейне Г. 322
Генрих IV 316
Георгиевский А. И. 182, 334
Георгиевский С. М. 125
Герасимов М. В. 279
Герасимов О. И., дед Н. И. Кареева по матери 46, 48, 49, 73, 78
Герасимов О. П., двоюродный брат Н. И. Кареева 20, 58, 59, 174, 240, 242, 263, 266, 267, 268, 271, 279, 307
Герасимов П. О. 106

Герасимов П. О. 106
Герасимова А. А. 230
Герасимова А. И. 49, 50
Герасимова Г. О. 57
Геродот 119, 317
Герц К. К. 122, 124, 317, 318
Герцен А. И. 29, 33, 78, 124, 218, 255, 280, 281, 319, 363
Герценштейн М. Я. 241, 354
Герье А. И. 143
Герье В. И. 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 118, 120, 121, 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 138, 139, 140, 141, 143, 148, 178, 195, 196, 203, 316, 317, 321, 322, 327, 339, 365
Гессен И. В. 24, 226
Геттнер Г. Т. 118, 315
Гефель 152
Гёте И. 322
Гизо Ф. 120
Гильфердинг А. Ф. 116, 315
Глаголева-Данини С. М. 260, 285, 358
Гоголь Н. В. 72, 78, 83, 86, 105, 306, 316
Гогунцова З. Н. 265
Годвин В. 276, 367
Годунов Б. 78
Гойер 164
Голль Я. 166, 212, 330
Головнин А. В. 97, 308
Гольцев В. А. 130, 142, 143, 321
Гомер 119, 296
Гончаров И. А. 83, 220, 351
Гордон Ч. Д. 119, 316, 317
Горемыкин И. Л. 239
Горчаков А. М. 306
Горчаков М. Д. 54, 79, 305, 306
Горький А. М. 24, 79, 226, 316
Гракх Г. 139
Гранат А. Н. и И. Н. 33, 37, 367
Грановский Т. Н. 5, 317
Грассери Р. 219, 350
Гревс И. М. 17, 179, 188, 203, 205, 220, 223, 260, 283, 334
Грегуар А. 9, 148, 325, 326
Греков М. И. 85
Григорьева Е. А. 49, 50, 51, 80, 81, 82
Гримм Д. Д. 244
Гримм Э. Д. 187, 232, 245, 285, 336
Громека М. С. 126, 129, 145, 165, 169, 320
Грот Г. 317
Грот Д. 119, 317
Грот Н. Я. 59, 305, 318
Грот Я. К. 119, 167, 331
Гриневицкий И. И. 188
Грушевский М. С. 170, 214, 332, 347
Гуревич Г. 363
Гуревич Я. Г. 189, 190, 191, 220, 222, 254, 337, 355
Гурко И. В. 161, 328
Гусеев 200, 201
Гучков А. И. 357

Давыдов Д. Ф. 81, 307
Даневский С. 113
Даневский В. 113
Даневская С. Х. 113, 114
Данини С. М. 260, 285
Дарвин Ч. 103, 110, 113, 131, 313, 321, 322
Дашинский И. 214, 346
Деборин 30
Дезе 356
Дейков И. 215, 347
Делянов И. Д. 17, 33, 168, 173, 175, 182, 183, 184, 198, 206, 218, 333
Дени Э. 219, 349
Деникер Ж. 152, 326
Дерели (Дорелли) В. 147, 325
Державин Г. Р. 331
Де-Роберти 219, 220, 352
Дерюгин К. М. 232
Дидро Д. 315
Дитятин И. И. 155, 327
Дмитриев Ф. М. 184, 335
Добиаш-Рождественская О. А. 363
Добролюбов Н. А. 7, 92, 105, 157, 338
Добужинский М. В. 272, 283, 357
Додэ А. 229
Долгушин А. В. 138, 324
Домбковский 201
Достоевский Ф. М. 147, 316, 325
Драгическо 266
Драгоманов М. П. 152, 216, 326
Дружинин Н. М. 12
Дунаевский В. А. 358
Дурново А. И. 58
Дурново В. М. 58
Дурново М. И. 58
Дурново П. П. 228, 352
Дынник М. А. 22
Дьяков В. А. 15
Дьячан 167, 168
Дэмблинский Б. 214, 316, 346
Дювернуа А. Л. 94, 108, 109, 115, 307

Егоров Д. Н. 270, 357
Ежов В. А. 40
Екатерина II 202, 343
Ерофеев 164
Ефимов А. В. 22, 353
Ефрон И. А. 21, 133, 141, 191, 224, 247, 310, 335, 336, 337, 338, 340, 341
Ешевский С. В. 326

Жаворонков Б. Н. 365
Жебелев С. А. 364
Жинзифов Р. И. 100, 110, 116, 309
Жорес Ж. 147, 349, 366
Жуковский В. А. 331, 352

Задонский Н. А. 307
Зайончковский П. А. 5
Закржевский С. 214, 346
Замысловский Е. Е. 176, 189, 334
Занд (Санд) Ж. 229
Зарудная-Кавос Е. С. 38, 229, 367, 368
Засулич В. И. 152, 153
Захарьин, врач Александра III 342
Захер Я. М. 358, 364
Зверев Н. А. 19, 207, 208, 209, 344
Звягинцев Е. А. 193, 341
Здеховский М. 170, 214, 332
Зелинский В. 308
Зернов Д. Н. 103
Зернов Д. С. 265, 356
Зибрт 212
Зигель Ф. Ф. 169
Зимин А. А. 343
Златарский (Златарски) В. Н. 216, 347
Золотарев В. П. 38, 40, 326, 353, 356, 359, 361, 368
Золотарев Д. В. 307
Золотарева Е. Д. 307

Иван III 112
Иван IV (Грозный) 112, 322
Иванов Г. А. 114, 115, 117, 118
Иванцов-Платонов А. М. 122, 139, 317
Иванчин-Писарев А. И. 24
Иванюков И. И. 142, 223, 324, 351
Иезбера Ф. 167, 330, 331
Изяслав, киевский князь 270
Иловайский Д. И. 137, 305, 323
Ильчинский Вс. 23
Индушный П. А. 61, 62
Иоанн, апостол 269
Иовчук М. П. 22
Иосиф II Австрийский 187, 336
Исаев А. А. 101, 103, 310, 345
Исаенков В. Д. 128

Кавос Е. С., см. Зарудная-Кавос Е. С.
Кадлец 212
Казабон И. 119, 316
Казанский С. В. 259, 260
Кайзль 212
Калина А. 170, 214, 346
Кант И. 107, 122, 255, 311, 335
Капустин М. Н. 123, 194, 205, 208, 209, 318
Каравелов П. 216, 347
Караджич В. 331
Каракозов Д. В. 311
Карамзин Н. М. 5, 56
Кареев Алеша 135, 145
Кареев А. В. 69
Кареев В. Е. 48, 86, 305
Кареев В. И. 46
Кареев Епифан 305
Кареев И. В. 46, 70, 71, 305, 308
Кареев К. Н. 30, 69, 320
Кареев К. В. 53, 58
Кареева В. В. 80, 69, 70, 72, 80
Кареева Е. И., бабушка Н. И. Кареева по отцу 62, 63, 66, 67, 68, 69, 72, 82, 86, 90, 93, 96
Кареева Е. О. 48, 73
Кареева Л. 96
Карицкий А. Д. 110, 112, 113, 127, 129, 138
Карл Великий 258
Карл I 180
Карлейль Т. 107, 276, 312
Карпинский А. П. 31
Карсавин Л. П. 364
Кассо Л. А. 232, 234, 243, 244, 276, 352
Катков М. Н. 114, 115, 119, 123, 144, 307, 312, 314, 324, 335
Качевский А. И. 77
Кауфман А. А. 188, 337
Кауфман П. М. 59, 242, 306
Кашен М. 265, 356
Кашница Ю. 157
Кащенко И. В. 130
Кедрин Е. И. 24, 226, 228
Кедров Б. М. 22
Келле-Крауз 219, 350
Кенэ 220
Керенский А. Ф. 33, 265, 269, 270, 275, 290, 291, 356
Киселев П. Д. 219
Киттары М. Я. 6, 94, 307, 308
Кишкин Н. М. 130
Кишкин Н. С. 130, 321
Кишкина Н. С. 130, 210, 321
Ключевский В. О. 5, 112, 140, 143, 229, 313, 317
Ковалевский 13
Ковалевский М. М. 9, 12, 33, 38, 139, 140, 141, 142, 148, 150, 151, 154, 206, 210, 211, 219, 220, 221, 224, 244, 253, 285, 313, 317, 324, 327, 345, 352
Козловский В. 215, 347
Комиссаров О. П. 107, 312
Кони А. Ф. 366, 319
Консидеран В. 148, 325
Конский П. А. 17, 193, 194, 341
Константин, великий князь 79
Конт О. 107, 111, 132, 142, 255, 311, 318

Корелин М. С. 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 27, 36, 136, 137, 138, 141, 143, 202, 248, 323, 327, 334
Корелина Н. П. 27, 30, 31, 37, 136, 138, 143, 172, 359, 367
Корзон Т. 210, 345
Корнилов А. А. 15, 190, 338
Коркунов Н. М. 175, 176
Короленко В. Г. 190, 210, 288, 345, 359
Коротаев 101
Коротнев А. А. 101, 102, 310
Корш В. Ф. 154, 337
Корш Е. Ф. 124, 314, 319
Корш Ф. Е. 115, 314, 319
Костомаров Н. И. 330
Костюшко Т. 363
Котляровский Н. А. 190, 273, 338, 357
Коцебу П. Е. 161, 328
Коялович М. О. 170, 182, 332
Крамарж 212
Крашевский 171
Крек Г. 116, 315
Кронштадтский Иоанн 196, 342
Кропоткин П. А. 151, 269, 270, 326, 356, 365
Кругликов П. 365
Крыленко Н. В. (товарищ Абрам) 33, 236, 353
Крылов Н. И. 123, 124, 125, 318, 319
Кудрявцев П. Н. 317
Кузин 226
Кузищин В. И. 26
Кузьмин-Караваев В. Д. 190, 338
Кулаковский П. А. 167, 331
Куланж Ф. 9, 33, 148, 149, 325
Кулишер А. 358
Кульман Н. П. 232, 352, 353
Кунов Г. 363
Куторга М. С. 7, 118, 119, 120, 121, 316

Лабюскьер 147
Лависс Э. 349
Лаврентьев 205, 206
Лавров М. Н. 11
Лавров П. Л. 9, 11, 16, 131, 140, 151, 152, 153, 155, 220, 247, 311, 321, 326, 327, 363, 364
Лавровский Н. А. 160, 167, 328
Лавровский П. А. 160, 161, 171, 328, 330
Лагорио А. Е. 162, 168, 329
Ламанский В. И. 16, 189, 203, 206, 337, 347
Лампрехт 217
Ланглуа Ш. В. 218, 349
Лаппо-Данилевский А. С. 188, 191, 248, 285, 336
Лапшин И. Н. 365
Латкин В. Н. 202, 343
Лафон 265
Лебедев Н. 365
Леже Л. 149, 217, 220
Леман П. А. 285
Ленин В. И. 21, 24, 25, 27, 28, 32, 33, 34, 37, 40, 310, 319, 322, 323, 327, 341, 345, 352, 353, 354, 360, 362
Леонтьев П. М. 114, 115, 117, 118, 119, 123, 312, 314, 315
Лермонтов М. Ю. 229, 338
Лесгафт П. Ф. 196, 197, 252, 253, 342
Лесевич В. В. 131, 190, 219, 322
Лёббок 131, 322
Либталь М. 285
Ливенцов 112, 126, 128, 129, 130, 131, 136, 138, 143, 145
Ливенцова В. А. 127
Лилиенфельд-Тоаль П. Ф. 219, 350
Линберг А. Л. 99, 173, 308, 309
Линберг М. В. 173
Линиченко И. А. 337
Лиштанберже 218, 349
Ловейко А. Д. 62, 63
Ловейко М. В. 61
Ловейко С. Д. 60, 61
Лопатин Г. А. 9, 33, 151, 152, 240, 262, 326, 345
Лориа А. 246, 319, 350
Лот Ф. 218, 349
Лукин Н. М. 31, 364, 368
Лукьянов С. М. 99, 101, 106, 123, 309, 318
Лучицкая М. В. 261, 316
Лучицкий И. В. 16, 18, 33, 154, 155, 173, 175, 186, 189, 211, 220, 245, 247, 261, 285, 326, 330, 335, 345, 354, 363
Льюис Д. Т. 122, 318
Любович Н. Н. 166, 248, 330
Людовик XVI 137, 147, 364
Лютер М. 139, 301, 361

Мабли Г. 178
Мавродин В. В. 40
Мадвиг И. Н. 100, 309
Мазон А. 220
Майков Л. Н. 102
Макаров А. Н. 192, 340, 341
Македонский А. 139
Мак-Магон П. 146, 325
Макушев В. В. 167, 330
Малеин А. Ю. 122, 318
Малэцкий А. 214, 346
Малиновский В. И. 135
Малиновский М. А. 6, 94, 97, 98, 108,

110, 308
Мамай 305
Мамин-Сибиряк Д. Н. 190
Мамонтов А. И. 11
Манасеин В. А. 190, 199, 200, 209, 222, 254, 339, 355
Мануйлов А. А. 59, 266, 275, 306
Маркс, профессор в Лейпциге 217
Маркс К. 9, 12, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 140, 280, 281, 311, 312, 324, 341, 368
Масарик Т. 212, 213
Матвеева (Леман) А. А. 260
Матьез А. 33, 218, 349
Меншуткин Н. В. 190, 223, 233, 339
Меньшиков А. Д. 54, 305
Мережковский Д. С. 29, 280, 358
Мержинский Т. 157, 164, 167
Мериме П. 149
Мечников И. И. 300
Мещерский, князь 179, 267
Микешин В. Н. 165
Микутский 167
Миллер Вс. Ф. 116, 140, 142
Миллер О. Ф. 176, 188, 189, 249, 333
Миллер Ф. Ф. 94, 98, 108, 308
Милюков П. Н. 216, 291, 299, 339, 345, 347, 353
Минье, аббат 118
Минье Франсуа 292, 360
Мирабо О. 217
Митрофанов П. П. 187, 336
Михайловский Н. К. 28, 33, 131, 166, 177, 190, 196, 197, 200, 215, 224, 322, 346
Мицкевич А. 171, 332
Мишле Ж. 292, 360
Мокиевская М. И. 229
Мокиевский П. В. 203, 210, 221, 294, 296, 299, 300, 340
Мольер Ж. 315
Моно Г. 33, 166, 218, 330
Мори А. 9, 149
Морозов Н. А. 136, 296, 298, 323, 360
Муравьев Н. М. (Вешатель) 157
Муромцев С. А. 124, 130, 142, 160, 180, 220, 237, 243, 319, 331, 345, 353
Мутер 265
Мюллер М. 109, 312
Мюрэ 218
Мякотин В. А. 24, 179, 181, 188, 189, 191, 192, 194, 210, 226, 229, 233, 299, 334, 337

Набоков В. В. 339
Набоков В. Д. 190, 228, 237, 339, 353
Навроцкий 164
Назаров Д. Ф. 100, 110
Назимов В. С. 112, 114, 123, 126, 128, 135, 138, 145, 146
Наполеон I 34, 137, 269, 306
Наполеон III 62
Нахимов П. С. 54, 305
Невский Александр 159
Некрасов Н. А. 92, 107, 229, 358
Нератов 261
Нечаев А. П. 254, 355
Нечкина М. В. 9, 15, 18, 326
Неусыхин А. И. 367
Нидерле 212
Никитин П. В. 184, 204, 205
Никитенко А. В. 319, 333
Никитский А. И. 166, 167, 330
Николай I 44, 51, 52, 78, 101, 219, 225, 280, 281
Николай II 228, 237, 238, 267, 280, 289
Нобилинг 152
Новиков И. П. 176, 177, 178, 184, 194, 334
Новиков Н. И. 29, 312
Новиков Н. М. 219
Новиков Я. 219
Носарь, см. Хрусталёв П. А.

Оболенский Л. Е. 177, 334
Овсянников А. 364
Олар А. 33, 186, 218, 318
Ольденбург С. Ф. 169, 188, 204, 269, 332
Ольховский И. В. 79, 80
Оман 216, 217, 218, 220
Ону А. М. 185, 186, 245, 335
Орлов А. Ф. 328
Орлов В. Н. 331
Островский А. Н. 83, 220
Оуэн Р. 312

Павинский А. Н. 166, 330
Павел I 306
Павлик М. 170, 214, 332
Павсаний 120, 317
Пальмерстон Г. 62
Панкратова А. М. 12
Патера А. 145, 325
Патулье 220
Пекарж 212
Перврльф О. О. 167, 330
Первушин Н. П. 365
Пергамент М. Я. 244, 354
Перетяткович Е. И. 111, 112, 114, 135, 141, 313
Петков 318
Петр I 67, 93, 94, 121, 305, 328
Петров Е. Н. 245, 259, 260, 284, 340, 358
Петров М. Н. 317
Петров П. Я. 116, 315
Петрункевич И. И. 237, 238, 353

Петрушевский Д. М. 31
Петрушевский Ф. Ф. 191, 340
Печковский М. Л. 202, 343
Пешехонов А. В. 24, 226, 269, 299, 337
Пильц Э. И. 203, 246, 343
Пирогов Н. И. 132, 139
Писарев Д. И. 7, 92, 103, 104, 105, 107, 110, 126, 157, 167, 298, 310, 361
Писемский А. Ф. 90, 101, 307, 308, 325
Писемский Н. А. 97, 101, 102, 308
Платон 122
Платонов С. Ф. 179, 334
Плеве В. К. 125, 224, 225, 320, 344, 351
Плеханов Г. В. 35, 196, 269, 270, 356, 357, 341, 342
Плотин, греческий философ 335
Погодин А. Л. 15, 186, 220
Погодин М. П. 186, 336
Погодин Н. Д. 186
Покровский И. А. 244, 354
Поливанов Д. Д. 104, 105, 112
Поливанов К. 104, 105, 112
Поливанов Н. 104, 105
Поливанова Е. Я. 105, 311
Полиэн 316
Полунин А. И. 320
Попов И. Л. 259, 260, 285, 329, 358
Попов М. С. 364
Попов Н. А. 9, 121, 122, 135, 139, 143, 317, 329
Попов-Ленский И. Л. 366
Поссе К. А. 190, 339
Постников А. С. 190, 223, 339
Потканьский К. 214, 346
Полунин А. И. 320
Приселков М. П. 364, 366
Протасов-Бахметев 208, 209, 344
Пушкин А. С. 67, 69, 83, 86, 104, 105, 229, 298, 299, 306, 324, 330, 331, 361, 363
Пфистер Х. 218, 348, 349
Пыпин А. Н. 190, 203, 315

Радищев А. Н. 29, 255
Рамбо А. 218, 349
Ренан Ж. 105, 109, 149, 310, 311
Репин И. Е. 310
Рикардо Л. А. 139
Ришави Л. А. 162, 168, 172, 210, 329
Робеспьер М. 143, 364, 368
Родзянко М. В. 270, 357
Родичев Ф. И. 190, 237, 340
Ростовцев М. И. 220
Роттердамский Э. 8, 229
Руссо Ж.-Ж. 178, 193, 210, 345, 363

Савин А. Н. 365, 366
Савинков Б. В. 194, 207, 344
Сазонов Е. 320
Сакаров А. 216, 348
Салазкин С. С. 232
Салмазий К., см. Сомэз
Саломон А. П. 181
Салтыков-Щедрин М. Е. 154, 326, 363
Самоквасов Д. Я. 163, 169, 329
Свентоховский А. 166, 210, 329
Свешников М. И. 188, 203, 337
Свифт Д. 315
Святополк-Мирский П. Д. 33, 226, 230
Святослав, киевский князь 270
Семевская Е. Н. 262
Семевский В. И. 24, 176, 177, 179, 189, 190, 192, 197, 198, 199, 200, 226, 231, 333
Сен-Жюст 143
Сен-Симон К. 312
Сеньобос Ш. 219, 349, 350, 366
Сергеевич В. И. 190, 205, 206, 339
Сергей Александрович (Романов), великий князь 206
Сидоров А. А. 328
Симоненко Г. Ф. 169
Сингалевич С. П. 364, 365, 366
Сказкин С. Д. 367
Скоропадский П. П. 344
Слонимский Л. З. 197, 342
Смольниковский Сев. 166
Соколов А. А. 112, 113, 114, 126, 127, 128, 136, 138
Соколов Н. П. 260
Соколов Ф. Ф. 249, 355
Соловьев А. Н. 312
Соловьев В. С. 7, 99, 101, 102, 106, 107, 108, 112, 118, 123, 127, 134, 143, 198, 309, 310, 318
Соловьев Е. А. 183, 186
Соловьев С. М. 5, 7, 101, 117, 121, 141, 310, 313, 317, 319
Сомэз (Салмазий) К. 119, 316
Сонин Н. Я. 163, 167, 209, 329
Сорель А. 33
Сорокин П. А. 285, 358, 364, 365
Спасович В. Д. 170, 198, 203, 332
Спенсер Г. 107, 311
Сперанский М. М. 319
Сталин И. В. 29
Стамболов (Стамбулов) Стефан 217, 348
Станислав Август 345
Старчевский А. В. 83, 307
Стасюлевич М. М. 83, 190, 232, 246, 337
Степанов И. 364

Столбенский (Столобенский) Нил 66, 306
Столыпин П. А. 23, 316
Стороженко Н. И. 118, 142, 315, 324
Страбон 119, 120, 317
Струве П. Б. 169, 195, 196, 322, 338, 341, 345, 353
Султанова (Леткова) Е. П. 190, 339
Суни Л. В. 361
Суханов Н. (Гиммер Н. Н.) 226, 230, 291, 359

Таганцев Н. С. 190, 194, 257, 340, 353
Тард Габриэль 219, 350
Тарле Е. В. 5, 12, 31, 33, 220, 231, 245, 248, 285, 336, 356, 357
Тахтарев К. М. 285, 358, 359, 362
Тацит 114, 313, 314
Тейлор (Тэйлор) Э. 131, 321, 322
Тест 146, 147
Тихонравов Н. С. 99, 117, 118, 309
Ткачев П. Н. 105, 150, 311
Толмачев 284
Толмачева А. Ф. 95
Толстой Д. А. 97, 308, 314
Толстой И. И. 59, 305, 306
Толстой Л. Н. 58, 124, 126, 293, 294, 300, 316, 320, 332, 342, 346, 360, 361
Тома А. 265, 356
Трачевский А. С. 16, 154, 175, 176, 183, 197, 198, 326, 345
Тресс 167
Троицкий М. М. 318, 329
Трояновский В. И. 282
Трубецкой Е. Н. 310
Трусевич 230
Туган-Барановский М. И. 195, 196, 341, 345
Тургенев И. С. 83, 141, 155, 316, 327, 338
Тьер А. 145, 292, 325, 360
Тэн И. 122, 292, 293, 315, 318
Тюменев А. И. 366
Тютчев Ф. И. 302

Умов В. А. 123, 129, 210, 319
Уорд Л. 219, 350
Успенский Ф. И. 18

Фамицын А. С. 206, 343, 344
Фарфаровский С. 364
Федин К. А. 360, 361
Фельдман Ф. А. 181, 208, 209, 334
Фелькель 115
Феоктистов 246
Феофраст 316
Ферер Г. 244, 334, 354
Фигк 203
Фигнер В. Н. 33, 262, 362
Фидлер Ф. Ф. 190, 340
Филимонов Г. П. 85, 86, 87
Филимонова А. Д. 87
Филипов А. Н. 135
Филиппов Т. И. 186
Финкель Л. 214, 346
Фишер (Вейс) С. Н. 81, 134, 143, 144, 216, 307
Фишер Куно 122, 143, 144, 318
Флавицкий 93
Фогт Р. 312
Фойницкий 178
Фолькнер С. А. 364
Форстен Г. В. 189, 245, 337
Фортинский 18
Фортунатов С. Ф. 129, 132, 138, 144, 321, 325
Фортунатов Ф. Ф. 321
Франк С. Л. 365
Франко И. 170, 214
Францев В. А. 15
Фридрих Вильгельм III 167
Фролова И. И. 12
Фукидид 119, 317
Фурье Ш. 107, 312, 325

Хвостов В. М. 363
Хованский А. В. 312
Ходобай 138
Хомяков А. А. 66, 306
Храпченко Б. М. 320
Хрусталёв (Носарь) П. А. 207, 344

Цветаев Д. 248
Цветковский Ю. Ю. 222
Цветницкий В. Д. 188
Цезарь Ю. 154, 334
Циглер 217
Цицерон М. 114, 313

Чаркова С. Н. 307
Черный А. 212, 213
Чернышевский А. Н. 113
Чернышевский Н. Г. 29, 92, 105, 113, 122, 157, 255, 281, 310, 313, 318, 338
Черняев А. С. 252
Чечулин Н. Д. 202, 203, 243, 343
Чичагов В. Я. 306
Чичагов П. В. 69, 306
Чичерин Б. Н. 133, 322, 330
Чупров А. И. 9, 135, 139, 142, 216, 323, 345

Шаль, братья 220
Шамиль 78, 305
Шараневич И. И. 214, 346
Шарлова М. Р. 302
Шатобриан Ф. 311

Шахматов А. А. 109, 261, 312, 347
Шахов А. А. 127, 129, 130, 132, 143, 146, 320
Шаховский Д. И. 169
Шаховской Н. В. 215, 347
Шварц А. Н. 232, 243, 276, 352
Швеглер А. 123, 318
Шевченко Т. Г. 215
Шевырев С. П. 305, 336
Шекспир В. 315, 316, 324
Шелли М. 322
Шелохаев В. В. 23
Шервуд В. О. 141
Шереметьевы, бояре и графы (XVIII в.) 297
Шерцель В. И. 116, 314, 315
Шиман Т. 217
Шишманов М. Д. 216, 348
Шлейхер А. 113, 116, 313
Шмидт Г. 248
Шмурло Е. Ф. 161, 328
Шнитников Н. Н. 24
Шовен 148
Шопенгауэр А. 123, 318
Шталь О. О. 100
Шталь Оттон 106, 110
Штауде 283
Штейн Л. 217, 219
Штерн А. 166, 217, 330, 348
Шульгин А. Я. 259, 260
Шульгин В. Я. 13, 137, 238, 270, 323

Щеголев П. Е. 207, 344
Щеголев П. П. 358

Эмин Н. А. 6
Энгельс Ф. 12, 33, 35, 36, 311, 312, 324
Эрисман Ф. Ф. 218, 348
Эспинас 219

Юбер-Лагардель 265
Юделевский Я. Д. 186
Юденич Н. Н. 279
Южаков С. Н. 131, 322
Юнг Артур 8
Юркевич П. Д. 122, 123, 318

Ягайло В. 305
Ягеллоны, королевская династия в Польше 330
Якубович П. Ф. 210, 345
Якушкин В. Е. 141, 324
Янжул И. И. 142, 324, 325
Ястребов Н. В. 193, 341

ОГЛАВЛЕНИЕ

Историк Николай Иванович Кареев и его воспоминания. «Прожитое и пережитое» 5
Предисловие 43

Глава первая. **Муравишники**

Характер самых ранних воспоминаний. — Жизнь в Муравишниках. — Дедушка Осип Иванович и его семья. — Некоторые черты помещичьего быта. — Муравишниковская дворня. — Время Крымской войны. — Мое обучение чтению. — Религиозное воспитание. — Муравишниковский дьякон. — Некоторые эпизодические воспоминания. — Мой характер в детстве. — Одно из ранних моих сновидений.— Ночные страхи.— Воспоминания о тетках, дядях и других родных. — Некоторые черты старых нравов 46

Глава вторая. **Гжатск и Сычевка**

Первые далекие поездки. — Бабушка Елена Ивановна. — Ее сыновья и дочери. — Городническая деятельность отца в Гжатске. — Начало более близкой жизни с родителями. — Мое отношение к старшим. — Детские шалости наши. — Первые случаи влюбленности. — Любимые животные. — Мой фантастический мир. — Период повышенной религиозности. — Начало правильного учения. — Несколько мелких воспоминаний. — Настроение накануне падения крепостного права. — Переезд в Сычевку. — Отражение политических событий в детской душе. — Мои сычевские наставники. — Мой сомнамбулизм. — Товарищи игр. — Любовь к писательству и учительству. — Фантазерство. — Летние месяцы в Аносове. — Переселение в Аносово. — Мое с ним прощание 66

Глава третья. **«Благородный пансион для девиц обоего пола»**

Лошадкино и его обитатели. — Пансион и винный склад. — Наши воспитательницы.— Лошадкинские соседи. — Дом-клоповник. — Внутренний распорядок пансиона. — Пансионские товарищи. — Лошадкинские гости. — Несколько заключительных строк 87

Глава четвертая. **Москва и гимназия**

Месяц в Петербурге. — Переезд в Москву. — Поступление в гимназию. — Материальные средства семьи. — Моя семейная обстановка в гимназические годы. — Начало давания уроков.— Мое учение в гимназии. — Наши наставники и учителя. — Мои товари-

щи.— Вторжение в мою голову новых идей.— Знакомство с «нигилистами». — Общий перелом в моем миросозерцании. — Неприятная история в V классе. — Мои научные интересы. — Начало писательства. — Пирушка в день последнего гимназического экзамена.— Летнее чтение по окончании курса в гимназии 93

Глава пятая. **В Московском университете**

Поступление в университет.— Новые знакомства.— Нервное настроение на первом курсе. — Мои факультетские профессора. — Мои занятия лингвистикой и литературой. — Переход к занятиям историей. — Профессора-историки. — Некоторые профессора других факультетов. — Общестуденческая жизнь начала семидесятых годов. — Факультетские товарищи. — Ближайшие приятели. — Мои чтения. — Специальные работы 111

Глава шестая. **Годы моего учительства в гимназии**

Поступление на место учителя истории в 3-ю московскую гимназию. — Мои отношения к ученикам и вообще к младшему поколению молодежи. — Гимназическая реформа 1870 года. — Общий дух ее проведения на практике. — Приготовление к магистерскому экзамену и самый экзамен. — Мой магистерский диспут. — Начало моего преподавания в высшей школе.— Сближение с академической средой. — Молодой профессорский кружок семидесятых годов.— Московские журфиксы. — Кратковременное преподавание в женской классической гимназии. 134

Глава седьмая. **Первые заграничные поездки и встречи**

Первая поездка за границу. — Путешествие до Парижа. — Приезд в Париж. — Мои русские приятели в Париже. — Политическая жизнь Франции в 1877—1878 годах. — Французские знакомства. — Парижские ученые знаменитости. — Русские эмигранты. — Мое тогдашнее отношение к революции. — Экскурсии в Италию. — Вторая поездка в Париж. — Одно неудавшееся научное предприятие.— Третья поездка за границу 144

Глава восьмая. **Профессорство в Варшаве**

Мотивы переезда в Варшаву. — Варшавский университет. — Его два ректора и попечитель Варшавского округа.— Мои с ними отношения. — Преобладание «политики» в университетской жизни. — Островидовская история. — Русско-польские отношения в профессорской среде. — Варшавское студенчество. — Условия жизни в Варшаве. — Моя там работа. — Мои отношения с поляками. — Некоторые черты нравов в русской профессорской среде. — Варшавская русская молодежь. — Мои краковские и львовские знакомства. — Уход из Варшавы 156

Глава девятая. **В Петербурге на исходе XIX века**

Моя женитьба. — Семья моей жены. — Периоды петербургской жизни.— Причины неведения мною дневника. — Обстоятельства моего перехода в Петербург. — Мое поступление преподавателем в Александровский Лицей. — Моя приват-доцентура в университете и вступительная лекция. — Анекдотический попечитель учебного округа. — Приглашение читать лекции на Высших Женских курсах. — Мое преподавание и связанные с ним печатные труды.— Различия между студентами, курсистками и лицеистами.— Лицейское начальство.— Университетские порядки по уставу 1884 года.—

Искажение общего характера историко-филологического факультета.— Высшее над университетом начальство. — Реакционный ректор.— Смерть отца.— Мои семинарии и ученики.— Коллеги по историческому преподаванию. — Участие в общественной жизни и личные знакомства. — Историческое общество при университете. — Работы по вопросам самообразования. — Мой личный секретарь девяностых годов. — Студенческие чаепития. — Раскол в студенческой среде во второй половине девяностых годов. — Один мой доклад в Москве. — Юношеский догматизм в студенческой среде. — Случай клеветнического навета на меня. — Мое участие в третейских судах. — Шпионаж и конспираторство. — Печатные труды второй половины девяностых годов. — Моя опасная болезнь. — Студенческие волнения девяностых годов. — Студенческая история 1899 года 172

Глава десятая. **Новые заграничные поездки и встречи**

Частые поездки за границу с 1889 года и посещение разных мест в России. — Цели этих путешествий. — Мои пребывания в Праге и чешские знакомства. — Встречи с поляками и украинцами в Галиции. — Посещение Болгарии и Сербии. — Отношение славянской интеллигенции к русскому языку. — Мои знакомства в немецком ученом мире. — Воспоминания о двух швейцарцах. — Парижские знакомства. — Участие в международных социологических конгрессах. — Вольная русская школа общественных наук . 210

Глава одиннадцатая. **В Петербурге в начале XX века**

Мои занятия по удалении из университета.— Преподавание на экономическом отделении Политехнического института. — Работа в Союзе взаимопомощи русских писателей. — Участие в городском самоуправлении. — «Записка 343». — Кровавое воскресенье. — Интеллигентская депутация к министрам и ее заключение в Петропавловскую крепость. — Инцидент на обеде городского головы. — Мое сидение в крепости. — Его последствия. — На другой день 17 октября. — Академический союз преподавателей высшей школы. — Конституционно-демократическая партия. — Мое в ней участие.— Партийность и учащиеся.— Мои выступления на публичных митингах. — Мое избрание в I Государственную думу и пребывание в ней. — Отношение мое к Выборгскому воззванию. — Два небольших эпизода 1906 года. — Возвращение в университет и на Высшие Женские курсы. — Софьинский департамент. — Выход из Лицея. — Реакционные министры народного просвещения. — Профессорская оппозиция. — Участие в университетском суде. — Новые учебные планы прохождения курса. — Мои работы этого периода. — Цензурные препоны. — «История Европы по эпохам и странам» и «Научный исторический журнал». — Празднование сорокалетия со дня окончания курса в университете. — Беглый взгляд на мое прошлое в Петербургском университете и на мои исторические занятия.— Преподавание на курсах Лесгафта. — Психоневрологический институт и Педагогическая академия. — Юбилей Литературного фонда. — Репортерское вранье. — Клиенты Литературного фонда. — Семейные дела. — Новые ученики. — Годы войны 222

Глава двенадцатая. **Трудные годы**

Давнишний отказ от политической деятельности. — Возобновление Академического союза. — Приезжие иностранцы в Петербурге весной 1917 года. — О. П. Герасимов. — Летние месяцы 1917—

1919 гг.— Деревенские впечатления. — «Государственное совещание».— Холодное и голодное время. — Условия научной работы в эти годы. — Работа исторического семинария. — Вопрос о реформе университетского преподавания. — Круглый год в деревне.— Деревенская весна. — Возвращение в Петербург. — Возобновление преподавательской деятельности. — Научная работа начала двадцатых годов. — Пятидесятилетний юбилей 263

Глава тринадцатая. **Вставная глава о революции**

Задача этой главы. — Мои историко-философские взгляды. — Историческая наука не предсказывает событий. — О некоторых газетных суждениях по поводу нашей революции. — Параллели между Французской революцией и нашей. — Переменила ли последняя мои взгляды на первую. — Пробуждение в части русского общества особого интереса к труду Тэна. — Замечания о двух сторонах жизни каждого человека 288

Глава четырнадцатая. **Закатные годы**

Прекращение чтений исторических лекций в университете. — Закатные годы. — Смерть жены. — Конец Аносова. — «Санузия». — Беллетристическое чтение. — Сокращение круга старых знакомств. — Отношение к смерти. — «Отшитость» от жизни. — Занятия с внуками. — Старческие развлечения 295

Комментарии и примечания 304
Научные труды Н. И. Кареева (1917—1931) 362
Список сокращений 369
Указатель имен 370

Научное издание

Кареев Николай Иванович

ПРОЖИТОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ

Редактор И. М. Рай
Художественный редактор В. В. Пожидаев
Художник С. В. Алексеев
Технический редактор Л. А. Топорина
Корректоры Н. В. Ермолаева, В. А. Латыгина

ИБ № 3336

Сдано в набор 02.10.89. Подписано в печать 23.08.90. Формат 60×90 1/16. Бумага тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 24+2 п. л. вкл. Усл кр.-отт. 26,26. Уч.-изд л. 30,62. Тираж 11000 экз. Заказ № 87. Цена 2 р. 30 к. Издательство ЛГУ. 199034. Ленинград, Университетская наб. 7/9.

Сортавальская книжная типография Государственного комитета Карельской АССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 186750. г. Сортавала ул. Карельская, 42.

УЧЕБНАЯ КНИГА
НОВОЙ ИСТОРІИ

ИСТОРІОЛОГІЯ

ОЧЕРКИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИСТОРИИ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ИСТОРІЯ ФРАНЦІИ
ВЪ XIX ВѢКѢ

ИСТОРІЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
ВЪ НОВОЕ ВРЕМЯ

ФРАНЦУЗСКИЕ
ИСТОРИКИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ
XIX ВЕКА

УЧЕБНАЯ КНИГА
ИСТОРІИ СРЕДНИХЪ ВѢКОВЪ

ОБЩІЙ КУРСЪ
ИСТОРІИ XIX ВѢКА

ВЕЛИКАЯ
ФРАНЦУЗСКАЯ
РЕВОЛЮЦІЯ

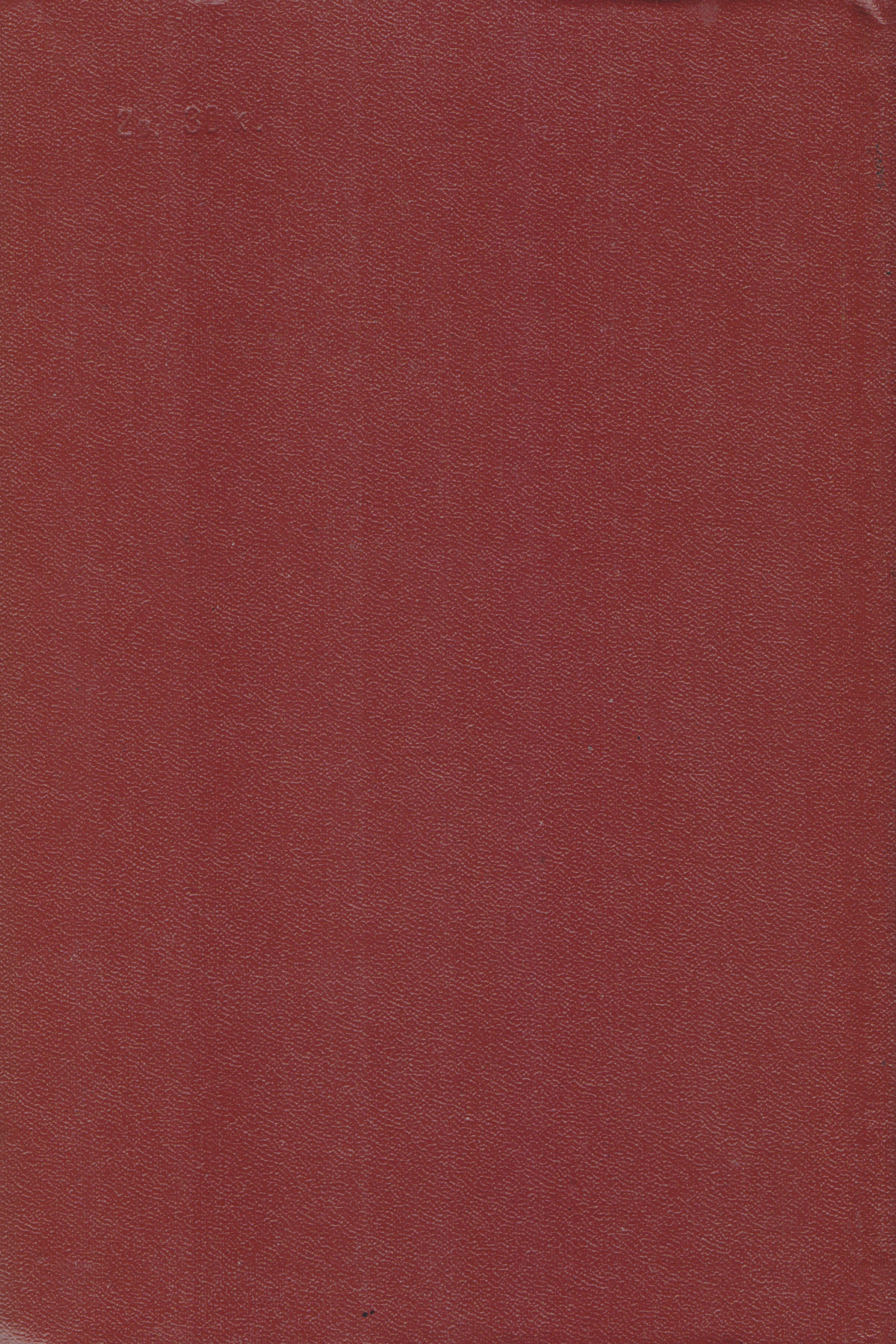
СЪ ПОРТРЕТАМИ И ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ

ИСТОРИЯ
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

ИСТОРИКИ
ФРАНЦУЗСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

ОБЩІЙ ХОДЪ ВСЕМІРНОЙ ИСТОРІИ

ИСТОРИЯ
ВЫПУСК XVI
Н. И. Кареев
РЕВОЛЮЦИЯ И НАПОЛЕОНОВСКАЯ ЭПОХА


2 р. 30 к.